

ТОМ
VIII

В. А. ЖУКОВСКИЙ
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ

В. А. ЖУКОВСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ

ТОМ ВОСЬМОЙ

ПРОЗА

1797—1806 годов



В. А. ЖУКОВСКИЙ

**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ**

ТОМ ВОСЬМОЙ

**ПРОЗА
1797—1806 годов**



В. А. ЖУКОВСКИЙ

**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ**

В ДВАДЦАТИ ТОМАХ



В. А. ЖУКОВСКИЙ

ТОМ ВОСЬМОЙ

**ПРОЗА
1797—1806 годов**



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКИХ КУЛЬТУР

Москва 2011

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8
Ж 86

Томский государственный университет



Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект № 11-04-16034

Жуковский В. А.

Ж 86 Полное собрание сочинений и писем: В двадцати томах / Ред. коллегия: И. А. Айзикова, Э. М. Жилиякова, **Ф. З. Канунова**, О. Б. Лебедева, И. А. Поплавская, Н. Б. Реморова, А. С. Янушкевич (гл. редактор). — Т. 8. Проза 1797—1806 гг. / Ред. И. А. Айзикова. — М.: Языки славянских культур, 2011. — 536 с.

ISBN 978-5-9551-0501-7

Полное собрание сочинений В. А. Жуковского впервые в эдиционной практике представляет наследие великого русского поэта в максимально полном на сегодняшний день объеме. Тексты Жуковского даны на основе критического осмысления всех известных автографов поэта и прижизненных публикаций.

В 8-м томе собрана ранняя проза Жуковского (1797—1806 гг.), включающая оригинальные ученические упражнения писателя и его первые прозаические переводы, в том числе и незавершенные, ранее никогда не публиковавшиеся.

ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8

На фронтиспise:
В. А. Жуковский. Литография неизвестного художника
с гравюры И. Ческого, выполненной по оригиналу К. Зенфа.
Середина XIX века (?)

ISBN 978-5-9551-0501-7



© И. А. Айзикова. Редакция тома 8, 2011
© Языки славянских культур, оригинал-макет, 2011

Электронная версия данного издания является собственностью издательства,
и ее распространение без согласия издательства запрещается.

ОТ РЕДАКЦИИ

Проза В. А. Жуковского мало известна не только широкому кругу читателей, она до последнего времени практически не привлекала и внимания исследователей. Между тем ряд прозаических произведений был введен Жуковским уже во второе издание его сочинений (1818 г.), в котором они составили отдельный том (т. 4). Кроме того, проза публиковалась отдельным томом в 1826 г., вышедшем в дополнение к С 3, а также в составе С 4 (1835—1844 гг.) и С 5 (1849 г.). При жизни писателя выдержали два издания его переводы романов и повестей Коцебу, Флориана, Флорианова перевода «Дон Кихота» Сервантеса, а также «Переводы в прозе» (1816—1817 гг. и 1829 г.), представляющие избранную прозу Жуковского, публиковавшуюся в 1807—1811 гг. в «Вестнике Европы».

Имеется несколько посмертных изданий прозы первого русского романтика, в том числе и в составе Полного собрания сочинений под редакцией А. С. Архангельского (т. 9—11), в котором прозаическое наследие Жуковского, особенно 1830—1840-х гг., было представлено более широко, чем когда бы то ни было. Однако многие тексты публиковались в ПСС произвольно сформированными в рубрики, с купюрами и почти без комментариев. В послереволюционных Собраниях сочинений Жуковского (СС 1 и СС 2) раздел «Проза» традиционно ограничивался повестью «Марьяна роща» и несколькими ранними критическими статьями. Одним из последних опытов публикации прозы Жуковского являются издания «Розы Мальзерба». Европейская новелла в переводах В. А. Жуковского» и «Василий Жуковский. Проза поэта»¹.

Однако ни о каком полном представлении о прозе Жуковского, не говоря уже о ее текстологии и научном комментарии, говорить до сего дня не приходится, поскольку до сих пор многое остается неопубликованным, хранясь в писательских архивах, большая часть прозы Жуковского разбросана по периодическим изданиям 1800—1840-х гг., оставаясь плохо датированной, несистематизированной, не введенной в контекст творчества и самого писателя, и всей русской литературы XIX в.

¹ «Розы Мальзерба». Европейская новелла в переводах В. А. Жуковского / Сост., подгот. текста и коммент. Е. Е. Дмитриевой, С. В. Сапожкова, вступит. ст. Е. Е. Дмитриевой. М.; Париж; Псков, 1995; Василий Жуковский. Проза поэта / Сост., предисл. А. С. Немзера. М., 2001.

Состав прозаических текстов, включаемых Жуковским в свои собрания сочинений, менялся весьма примечательно. Озаглавленный «Опыты в прозе», т. 4 С 2 включил в себя повести «Марьяна роща», «Три сестры» и статьи «О критике», «О басне», «О сатире», «Писатель в обществе» и «Кто истинно добрый и счастливый человек». Корпус этих сочинений, с добавлением «Путешествия по Саксонской Швейцарии», «Отрывков из письма о Швейцарии 1821 г.» и «Рафаэлевой “Мадонны”», составил и отдельный том прозы, который был издан Жуковским в 1826 г. уже под заглавием «Сочинения в прозе». В С 4 содержание тома пополнилось «Отрывками из письма о Швейцарии 1833 г.», «Воспоминаниями о торжестве 1834 г.», «Чертами истории государства Российского», статьями «Взгляд на землю с неба», «Последние минуты Пушкина» и другими поздними произведениями. Том прозы (7-й) в последнем прижизненном издании повторил прозаический том предыдущего собрания сочинений. В посмертные тома 5-го издания — XI и XIII — вошла поздняя (1830—1840-х гг.) проза Жуковского — публицистика, религиозно-философские и эстетические статьи. Архив писателя, а также его переписка с П. А. Плетневым дают достоверное представление об авторской концепции XI-го тома, который сам писатель называл томом «святой прозы» и «целым томом».

Таким образом, очевидно, с одной стороны, очень строгое отношение Жуковского к включению в свои собрания сочинений прозаических произведений. Их основной корпус переходил из одного издания в другое, как бы составляя фундамент. С другой стороны, весьма характерно, что на протяжении всей жизни Жуковский последовательно «надстраивает» свои прозаические тома, дополняя их новыми произведениями.

История прижизненных публикаций прозы Жуковского в составе собраний сочинений и переводов писателя или отдельными изданиями, безусловно, должна быть одним из основных ориентиров при осмыслении проблемы отбора материала для настоящего ПССиП. Однако следует учитывать тот факт, что многие сочинения и переводы в прозе Жуковский представлял на суд читателей первоначально на страницах периодических изданий и при этом далеко не всё, печатавшееся в периодике, он включал в свои собрания сочинений.

В частности, при жизни Жуковского не переиздавалась его ранняя оригинальная проза (1797—1803 гг.). П. А. Ефремов, редактор С 7, впервые опубликовал ее в составе собрания сочинений писателя, перепечатав из периодических изданий («Приятное и полезное препровождение времени», «Иппокрена», «Утренняя заря» и др.). Некоторые произведения из «Вестника Европы», «Собирателя», «Муравейника» также

были опубликованы единственный раз в этих изданиях и т. д. Причины здесь могли быть самые разные. Вот, напр., объяснение отсутствия в собрании сочинений Жуковского «Бородинской годовщины», отнесенной П. А. Плетневым «к числу лучших произведений ⟨...⟩ таланта» писателя: «Странное дело сделалось; подивитесь моей памяти, — писал Жуковский Плетневу в октябре 1850 года. — Я на сих днях купил русскую грамматику, напечатанную в Лейпциге на немецком языке: половину этой книги составляет хрестоматия, выбор отрывков в стихах и прозе. Из моих творений немец взял только отрывок “Певца в стане русских воинов” (который теперь мне самому весьма мало нравится); а в прозе напечатал мое “Письмо о Бородинском празднике”, о котором я вовсе забыл и сам теперь не помню, к кому оно было написано и где напечатано. ⟨...⟩ Если бы я знал об его существовании, то внес бы его в том “Прозы”, ибо описание очень живо и тепло ⟨...⟩ Знаете ли вы об этом письме? Если знаете, скажите, где оно гнездится?»².

Уже самый беглый взгляд на материал показывает, что категория «проза», не являясь, конечно, для Жуковского безграничной, обозначающей любой авторский текст, основанный на прозаическом принципе его организации, тем не менее понимается поэтом-романтиком довольно широко. Осмысляя широту возможностей прозы в изображении мира и человека, Жуковский пользуется этим термином для определения не только собственно художественной, сюжетной прозы, но и прозы философской, публицистической, литературно-критической. При публикации в журналах оба типа прозы Жуковского входили хотя и в разных рубриках («Повести» и «Смесь»), но все же в общие разделы «Изыщная словесность» или «Проза». В составе же собрания сочинений писателя повести, публицистика, эстетика, критика, документально-философские и т. д. произведения попадали, без какой бы то ни было рубрикации, в один том, который озаглавливался «Сочинения в прозе».

Решая проблему отбора материала для настоящего ПССиП, мы сталкиваемся и с вопросом о месте переводов Жуковского в его прозаическом наследии. Опору и здесь помогает обрести сам писатель, давно выявивший одну из важнейших особенностей своего творчества. В письме к Н. В. Гоголю от 6/18 февраля 1847 г. он писал: «Я часто замечал, что у меня наиболее светлых мыслей тогда, как их надобно импровизировать в выражение или в дополнение чужих мыслей. Мой ум, как огниво, которым надобно ударить об камень, чтобы из него выскочила искра. Это вообще характер моего авторского творчества; у меня почти все или чужое, или по поводу чужого — и все, однако, мое» (СС 1. Т. 4. С. 544).

² См: В. А. Жуковский в воспоминаниях современников. М., 1999. С. 409—410.

Такая установка Жуковского позволяет считать переводы, в том числе и прозаические, органичной частью его творческого наследия.

Корпус прозы Жуковского, собранной в полном объеме, оказывается достаточно обширным и вместе с тем внутренне очень подвижным, неканоническим, определяющимся специфическим пониманием поэтом-романтиком категории «проза», эволюцией его творчества, общей логикой развития русской прозы первой трети XIX в. В этот корпус, органично соединяющий переводы и собственные сочинения, художественную, сюжетную прозу и прозу философскую, публицистическую, литературно-критическую, представляется необходимым ввести и незавершенные и неопубликованные при жизни писателя (по разным причинам) прозаические произведения, поскольку это позволит проникнуть в лабораторию его творческих поисков. В связи с этим во все прозаические тома ПССиП Жуковского войдет раздел «Из черновых и незавершенных рукописей».

Предлагаемое издание прозы Жуковского можно считать первой попыткой представить ее, по возможности, во всей полноте, в системе, в процессе становления, от первых оригинальных и переводных опытов периода обучения Жуковского в Московском благородном пансионе до последних произведений 1851—1852 гг. В ПССиП проза Жуковского займет следующие тома:

8. Ранняя проза (1797—1806 гг.).

9. «Дон Кишот».

10. Проза периода «Вестника Европы» (1807—1811 гг.).

11. Проза и публицистика 1810—1840-х гг.

Внутри томов также соблюдается хронологический принцип расположения текстов.

Сегодня вопрос о полном издании прозы Жуковского не только назрел, но и имеет твердую почву для своего решения, хотя в истории изучения творчества Жуковского, какие бы времена оно ни переживало, проза писателя всегда оказывалась на заднем плане. Современники Жуковского, изумленные прежде всего открытым им для русской литературы миром поэзии, оставили о его прозе лишь отдельные, весьма немногочисленные, однако положительные замечания. Так, А. А. Бестужев-Марлинский оценил прозаические сочинения Жуковского как «примерные»³, П. А. Плетнев как «драгоценные образцы повествований»⁴, «образцом современной русской прозы» назвал «Рафаэлеву „Мадонну“» Н. Полевой (МТ. 1832. Ч. 47. № 19. С. 375) и т. д. Специ-

³ *Бестужев-Марлинский А. А.* Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1981. С. 384.

⁴ *Плетнев П. А.* О жизни и сочинениях В. А. Жуковского. СПб., 1853. С. 53.

ально прозе Жуковского при его жизни была посвящена только одна статья, написанная П. А. Вяземским — «Сочинения в прозе В. А. Жуковского» (*Вяземский*. Т. 1. С. 260—269). Poleмика велась вокруг баллад и идиллий Жуковского, вокруг его стихотворных переводов, прозу писателя словно не замечали. В этом отразилось явное непонимание современной критикой значения прозы для развития отечественной литературы и очевидное новаторство Жуковского, изначально связывавшего «образованность» русской словесности с уровнем развития прозы.

Вместе с тем споры вокруг поэзии Жуковского, статьи таких его современников, как О. Сомов и В. К. Кюхельбекер, Н. Полевой и особенно В. Г. Белинский, посвященные его поэзии, точнее сказать, ее нравственной природе, имеют большое методологическое значение для изучения Жуковского-прозаика. Положения критиков о том, что «Жуковский и Пушкин пленяют нас не одними словами новыми, но богатством мыслей»⁵ о том, что Жуковский «освободил нас (...) от управления (литературы. — *И. А.*) по законам Лагарпова “Лицея” и Баттева “Курса”»⁶, о поэзии Жуковского как «целом всеобъемлющем мире души человеческой» (МТ. 1832. Ч. 47. № 20. С. 536 (из рецензии Н. Полевого на «Баллады и повести» В. А. Жуковского, изданные в 1831 г.), о Жуковском как о «литературном Коломбе Руси, открывшем ей Америку романтизма в поэзии», как о «целом периоде нравственного развития нашего общества», о Жуковском-воспитателе, развивавшем в своих читателях «все благородные семена высшей жизни, все святое и заветное бытия», наконец, мысль Белинского о «живой исторической связи» русского литературного процесса и о том, что «без Жуковского Пушкин был бы невозможен и не был бы понят» (*Белинский*. Т. 6. С. 460; Т. 7. С. 241; Т. 3. С. 505, 507), чрезвычайно важны для определения значения не только поэзии, но и прозы писателя. Не меньшую роль в понимании прозы Жуковского, ее эволюции играют статьи конца 1840-х гг., посвященные переводу «Одиссеи»⁷, в которых очень остро была поставлена проблема национального эпоса и роли эпического начала в творческом развитии первого русского романтика.

Первая попытка систематизации прозаического наследия Жуковского была сделана А. Д. Галаховым, в 1852—1853 гг. опубликовавшим в «Отечественных записках» «Материалы для определения литера-

⁵ *Сомов О.* О романтической поэзии. СПб., 1823. С. 97.

⁶ *Кюхельбекер В. К.* О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие // Мнемозина. 1824. Ч. 2. С. 40.

⁷ См. об этом: *Егунов А. Н.* Гомер в русских переводах XVIII—XIX веков. М.; Л., 1964.

турной деятельности В. А. Жуковского», в составе которых — списки сочинений и переводов писателя, относящиеся к раннему периоду его творчества — до 1812 г. (ОЗ. 1852. Т. 85. № 11. Отд. 2; 1853. Т. 88. № 6. Отд. 2; Т. 91. № 12. Отд. 2). В 1853 г. в Московском университете С. Шевырев произнес свою знаменитую речь «О значении Жуковского в русской жизни и в поэзии», где очень точно была поставлена проблема генезиса и национального своеобразия русской словесности, в том числе и прозы, у истоков которой, по словам Шевырева, оказался Н. М. Карамзин и его «ученик», поэт Жуковский, ставший в свою очередь, по выражению критика, «учителем Пушкина»⁸. Кроме того, Шевырев подчеркивал такие принципиальные для изучения прозаического наследия Жуковского идеи, как связь его поэзии и жизни, стержнем которых критик назвал «самовоспитание» писателя.

Конец 1860-х — 1880-е гг. были ознаменованы работой над изданием нескольких собраний сочинений Жуковского и в связи с этим систематизацией его прозаического наследия. В 1864—1870 гг. М. Н. Лонгинов опубликовал «Материалы для полного издания сочинений Жуковского» (РА. 1864. Вып. 5, 6; 1866. № 11—12; 1870. № 3). В 6-м издании сочинений Жуковского (практически копировавшем последнее прижизненное), вышедшем под редакцией К. С. Сербиновича, находим «Хронологический указатель сочинений и переводов в прозе» (С 6. Т. 6. С. 807—813). В 7-м издании «Сочинений В. А. Жуковского», вышедшем под редакцией П. А. Ефремова, также содержались «Библиографические примечания» к прозе писателя. На 1880-е гг. приходится и публикация книг К. К. Зейдлица («Жизнь и поэзия В. А. Жуковского. По неизданным источникам и личным воспоминаниям». Пб., 1883) и П. Загарина («В. А. Жуковский и его произведения». М., 1883), в которых на биографическом материале прослеживается духовное становление Жуковского, формирование его философии жизни и человека, столь многое определявшей в развитии Жуковского-прозаика.

Особым вкладом в исследование творчества Жуковского и его прозы, в частности, стало описание бумаг писателя, поступивших в Императорскую публичную библиотеку, публикация его дневников и писем к А. И. Тургеневу, сделанные И. А. Бычковым в конце 1880-х — начале 1900-х гг. (Бумаги Жуковского; Дневники; ПЖТ), и издание в 1902 г. Полного собрания сочинений Жуковского (в 12 т.) под редакцией А. С. Архангельского. Это было основой научного подхода к творческому наследию первого русского романтика, в том числе и к его прозе.

⁸ Москвитянин. 1853. Кн. 2. № 2. Отд. 1. С. 75—166 (отдельный оттиск вышел в этом же году в Москве).

На необходимость ее серьезного изучения одним из первых указал на рубеже XIX—XX вв. Н. С. Тихонравов, справедливо усматривавший в ней «материал для его (Жуковского. — *И. А.*) характеристики как человека и писателя»⁹. Своего рода откликом на призыв ученого стала статья П. Н. Сакулина, представляющая собой предисловие к изданию прозы Жуковского, вышедшему в Петрограде в 1915 г.¹⁰

Работа В. И. Резанова «Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского» (СПб./Пг., 1906—1916. Вып. 1—2), к сожалению, была только начата. Однако значение ее трудно переоценить. С точки зрения рассматриваемых нами проблем оно заключается прежде всего в систематизации ранних прозаических сочинений Жуковского (1801—1806 гг.), в том числе и неопубликованных. Методологическое значение для нас приобретает стремление исследователя включить прозу Жуковского в общий процесс его творческого развития, в литературный контекст эпохи.

Исследование А. Н. Веселовского «В. А. Жуковский. Поэзия чувства и “сердечного воображения”» (СПб., 1904) явилось закономерным продолжением и своего рода обобщением всех достижений в жуковсковедении XIX в. Работа, безусловно, не потеряла своего значения и сегодня, на нее опираются ведущие литературоведы XX и XXI вв. Более того, она звучит в настоящее время предельно актуально прежде всего в связи с тем, что А. Н. Веселовский, рассматривавший творчество Жуковского как отражение определенного типа сознания, одним из первых и немногих ученых XIX в. указал на принципиальное значение соотносительности нравственно-философских, эстетических и религиозных исканий писателя, что чрезвычайно важно для уяснения эстетики и поэтики его прозы, особенно 1830—1840-х гг. Вместе с тем, ученый поставил один из сложнейших вопросов творчества Жуковского — о его художественном методе. Как известно, А. Н. Веселовский исходит из утверждения его сентименталистской природы. В XX в. эта проблема встанет особенно остро в отношении ранней прозы Жуковского, а следовательно, генезиса и логики развития отечественной прозы в целом.

Чрезвычайно важное значение для исследования прозы писателя имеют работы представителей так называемой формальной школы литературоведения — Б. М. Эйхенбаума, Ю. Н. Тынянова, В. М. Жирмунского. Посвященные проблемам теории стиха, интерпретирующие

⁹ Тихонравов Н. С. В. А. Жуковский // Тихонравов Н. С. Сочинения. М., 1889. Т. 3. Ч. 3. С. 386.

¹⁰ Жуковский В. А. Проза. Пг., 1915. С. VII—XLII.

Жуковского как родоначальника одного из двух стилей в русской лирике XIX в. — «напевного, эмоционального», противостоящего «пластическому, вещественно-логическому, понятийному»¹¹, эти исследования впервые ставили такие принципиальные для понимания Жуковского-прозаика вопросы, как стиховое слово и слово прозаическое, функция ритма в стихе и в прозе, взаимодействие поэзии и прозы и др.

Вопрос о художественном методе Жуковского вновь становится актуальным в XX в. благодаря Ц. С. Вольпе, который, рассматривая главным образом поэзию, утвердил важнейшее положение общеметодологического характера о психологизме писателя как выражении его романтизма¹². Оно принципиально для понимания прозы Жуковского, причем как ранней, так и поздней. Не менее принципиальным для нас является подход исследователя к романтизму Жуковского как к общественно-эстетической системе.

Чрезвычайно важна для определения философско-эстетических основ прозы Жуковского, ее места как в его собственном творческом развитии, так и в становлении русской прозы книга Г. А. Гуковского «Пушкин и русские романтики»¹³, которая стала новым этапом в осмыслении творчества писателя. В ней впервые по существу был поставлен вопрос о значении романтизма Жуковского. Г. А. Гуковский, вслед за А. Н. Веселовским, обращается к универсальной проблеме творчества писателя — к его поэтике «невыразимого», которая нашла свое преломление не только в стихах, но и в прозаических произведениях, определяя их «генетическую близость». Через «идею стиля», через наблюдения над природой слова исследователь выходит на проблему субъективности, лиризма, поэтичности и связанного с этим психологизма как органичного свойства художественных произведений Жуковского, важнейшего принципа их построения.

1960—1980-е гг., обозначенные в советском литературоведении предельным интересом к русскому романтизму, дали свои плоды и в изучении творчества Жуковского. В свет вышли монографии М. Я. Бессараб, Р. В. Иезуитовой, И. М. Семенко, а также работы Т. Л. Влащенко, Л. И. Кашкиной, Н. Г. Корниенко, С. А. Матяш. На первом плане в них идеи системности и закономерной эволюции творческого пути Жуковского. Дискуссионными остаются вопросы о художествен-

¹¹ *Жирмунский В. М.* Мелодика стиха (по поводу книги Б. М. Эйхенбаума «Мелодика стиха». Пб., 1922) // *Жирмунский В. М.* Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. С. 62.

¹² См.: *Вольпе Ц.* Жуковский // *История русской литературы.* М.; Л., 1941. Т. V. С. 355—391.

¹³ *Гуковский Г. А.* Пушкин и русские романтики. М., 1965.

ном методе писателя и о значении его поздних произведений. Вопрос о сентименталистской эстетике и поэтике прозы Жуковского поднимается в работах И. М. Семенко и Н. В. Фридмана. Его решение привело к парадоксальному противопоставлению романтической поэзии Жуковского его же сентименталистской прозе. «Проза Жуковского, — пишет И. М. Семенко, — оказывается архаичнее его стихов (...) В прозе Жуковский не стал романтиком» (СС 2. Т. 1. С. 36)¹⁴. Эту точку зрения по существу разделяет Н. В. Фридман, утверждавший, что «прозаические произведения Жуковского (...) выдержаны в духе традиции карамзинских чувствительных повестей (...) Проза Жуковского (...) ни в коей мере не подготовила прозу Пушкина»¹⁵. Эволюция Жуковского-прозаика и его роль в развитии русской прозы первой трети XIX в., как видим, не берутся во внимание, что, безусловно, сужало представление о творчестве Жуковского в целом, о масштабе его вклада в становление отечественной словесности.

В то же время ряд исследователей, признавая безусловность влияния Карамзина и литературных традиций сентиментализма на Жуковского-прозаика, не были склонны понимать его как прямое следование карамзинистам. Новаторство писателя не только в поэзии, но и в прозе отмечают в своих работах Р. В. Иезуитова, Н. Н. Петрунина, В. Ю. Троицкий. Н. Н. Петрунина, например, считает, что такие прозаические сочинения Жуковского, как «Марьяна роща», ряд лирических миниатюр, начало исторической повести «Вадим Новгородский», «Три сестры» и «Три пояса», «осложняют сентиментальную традицию, впитывая опыт преромантической поэзии и утверждая новую модификацию лирической прозы»¹⁶. «Имеется достаточно оснований для пересмотра широко бытующего мнения, что его (Жуковского. — И. А.) роль в развитии русского романтизма исчерпывается областью поэзии. Жуковский в какой-то мере оказался первооткрывателем новых путей и в романтической прозе», — отмечает Р. В. Иезуитова¹⁷. Исследования Н. Н. Петруниной и Р. В. Иезуитовой подчеркивали необходимость рассмотрения прозы Жуковского как органической части его творчества и в связи с этим важность постановки проблемы взаимодействия поэзии и прозы как определяющего фактора эстетики и поэтики художественного наследия писателя.

¹⁴ Точку зрения И. М. Семенко поддерживает и немецкая исследовательница Х. Айхштедт (см.: *Eichstädt*).

¹⁵ Фридман Н. В. Проза Батюшкова. М., 1965. С. 165.

¹⁶ Петрунина Н. Н. Проза 1800—1810-х годов // История русской литературы: В 4 т. Л., 1980—1984. Т. 2. С. 63.

¹⁷ Иезуитова Р. В. Жуковский: Итоги и проблемы изучения // РЛ. 1983. № 1. С. 20.

Настоящей же точкой отсчета для полного издания прозы Жуковского следует считать трехтомную коллективную монографию «Библиотека В. А. Жуковского в Томске» (Т. 1—3. Томск, 1978—1988) и труды томских филологов Ф. З. Кануновой, А. С. Янушкевича, Э. М. Жиликовой, Н. Б. Реморовой, О. Б. Лебедевой, где была убедительно доказана необходимость и важность системного подхода к творческому наследию Жуковского, с которого, как справедливо указывает Ф. З. Канунова, «начинается в литературе XIX века блестящая плеяда классиков (...), отличающихся подлинным универсализмом мышления, в творчестве которых были неразрывно слиты поэзия и философия, история и педагогика, эстетика и естествознание. С Жуковского в XIX веке начинается именно тот путь русской литературы и русского литератора, вершину которого означает деятельность Толстого, писателя, историка, философа, проповедника, педагога»¹⁸. В этом плане принципиальной для данного издания представляется мысль о том, что проза Жуковского являет собой сложную, динамичную систему, выстраиваемую автором на определенной этико-онтологической концепции мира и человека.

Именно изучение библиотеки Жуковского наиболее полно раскрыло склонность Жуковского к философским, нравственно-этическим, а в последние годы и к нравственно-религиозным исканиям. «Традиционные представления об общественной индифферентности поэта, о его эстетической неподготовленности, неразвитости философских и исторических воззрений вряд ли могут удовлетворить сегодня», — пишет А. С. Янушкевич. Творческую индивидуальность Жуковского ученый видит в «органичном синтезе мыслителя и художника» (Янушкевич. С. 8). Здесь — истоки принципиального, не прекращавшегося в течение всего творческого пути, интереса Жуковского-поэта к эпосу и к прозе, а также корни эволюции Жуковского-прозаика.

Следует отметить, что в последнее время усилилось внимание к эпическим и прозаическим опытам Жуковского¹⁹. Между тем разговор

¹⁸ Канунова Ф. З. Некоторые проблемы идейного и творческого развития В. А. Жуковского (на основе новых материалов поэта) // БЖ, II, 4.

¹⁹ Назовем некоторые из исследований: Разумова Н. Е. «Дон Кихот» в переводе В. А. Жуковского // ПМиЖ. Томск, 1983. Вып. 10. С. 14—28; Петфунина Н. Н. Жуковский и становление новой русской прозы // РЛ. 1983. № 3. С. 250—251; Она же. Жуковский и пути становления русской повествовательной прозы // Ж. и русская культура. С. 45—79; Маркович В. М. Балладный мир Жуковского и русская фантастическая повесть эпохи романтизма // Ж. и русская культура. С. 138—165; Багно В. Е. Жуковский — переводчик «Дон Кихота» // Ж. и русская культура. С. 293—310; Троцкий В. Ю. Значение поэзии Жуковского в развитии русской ро-

о Жуковском как о прозаике в науке заканчивается, по сути, отдельными произведениями, написанными в период с 1797 г. по 1811 г. Более поздней прозе Жуковского — 1810—1840-х гг., когда писатель постепенно отказывается от использования художественного вымысла и обращается к реальности, к «поэзии мысли» как к основному содержанию прозы, в плане исследования не повезло. Она до сих пор практически не привлекала специального внимания ученых.

Основной текстологической трудностью при подготовке прозы Жуковского к изданию было отсутствие автографов и последней воли автора, т. к. многие произведения не вошли в С 5 — в последнее прижизненное собрание сочинений писателя. Кроме того, прижизненные публикации нередко имеют значительное количество опечаток и грубых ошибок. Их отличительной чертой является также вариативность орфографии, которая может объясняться не только недостатком редактур, но и стремлением издателей сохранить правописание оригинала. Наконец, мы столкнулись с отсутствием текстологической и эдиционной традиции, о чем уже шла речь выше.

В связи с этим редакторский коллектив счел целесообразным сохранять орфографию последних прижизненных изданий, по возможности не осуществляя ее унификацию, пунктуацию же и употребление заглавных букв в большинстве случаев привести к современной норме.

Таким образом, в данном издании приняты следующие принципы передачи текста, частично оговоренные в редакционной преамбуле к данному ПССиП, частично уточненные и дополненные в отношении к прозе писателя:

1) в прозаических текстах, как и в стихотворных, заменены устаревшие и отсутствующие в современном алфавите буквы на нынешние соответствия; иноязычный текст дан по современным нормам; исправлены опечатки и грубые ошибки (в написании «не» с глаголами и отглагольными формами, в раздельном и слитном написании наречий и т. п.);

2) исправлены очевидные отступления от современных правил орфографии, в том числе славянизированные лексические и грамматические формы: *из молодого сучка, толстой голос, по щекам ея, месяцев, темносиний, несчастный, притти, вить* (вместо *ведь*), *бессмертный, прозьба, естльи* (вместо *если*), *ясиновая (жасминовая) беседка, не лъзя, по латине* и др. Хотя в некоторых случаях подобные формы можно рассматривать как стилистическое средство, в целях облегчения восприятия текста они были унифицированы в соответствии с современной нормой;

мантической прозы // Жуковский и литература конца XVIII — XIX века. М., 1988. С. 193—206.

3) заменены заглавные на прописные буквы в словах типа: *Католики, Христианин, Французский эмигрант, Эскулап, Гений горести, Судьба, Небо, добрый Господин, Арифметик, доложу Государю, добродушный Герцог, смелый Генералисим;*

4) исправлены очевидные отступления от правил современной пунктуации, в том числе и при оформлении прямой речи.

5) в текстах сохранены:

а) все курсивы, разрядки;

б) имеющееся у Жуковского вариативное написание слов: *с Божией помощью* и *с Божьей помощью*, *с важностию* и *с важностью*, *с восхищением* и *с восхищеньем*, *пьеса* и *пьеса*, *счастье* и *счастье*, *тамо* и *там*, *только* и *только*, *обнялись* и *обнялися*, *об ней* и *о ней*, *между ими* и *между ними*, *на колена* и *на колени*, *кфылушки* и *кфыльшки*, *приближим* и *приблизим* и т. п.;

в) авторское написание имен писателей, художников и т. д., названий произведений искусства, географических названий и т. п. — *Манторов, Дон Кихот и Том Джон, Юнговы ночи, Опытты Монтяня, «Шеллерова песня к радости»*. В подобных случаях см. реальный комментарий;

г) некоторые особенности пунктуации прижизненных изданий: использование восклицательных и вопросительных знаков внутри предложения; использование точки с запятой даже в тех случаях, когда она отделяет краткие отрезки текста; встречающиеся в прозе Жуковского случаи передачи диалогов в соответствии с традициями драматургии.

Основанием к предлагаемым текстологическим принципам служит последний по времени автограф (авторизованная копия) или прижизненная публикация.

В комментарий к произведению входят, как и в предыдущих томах ПССиП, справка об автографах и копиях, прижизненных публикациях, об источнике публикации, отмечены разночтения в разных изданиях. Особую роль играет обоснование датировки текста, его творческая история. Кроме того, в комментарии, в случае переводного произведения, по возможности указывается источник перевода, сведения об авторе подлинника, об особенностях перевода, а также о других переводчиках, обращавшихся к данному иноязычному сочинению. Комментарий сообщает сведения об интересе Жуковского к переводному произведению и его автору, о рецепции сочинения или перевода в критике, в читательских кругах, о судьбе произведения в дальнейшей истории литературы и общественной мысли. Особый пласт комментария составляет поэтический контекст прозаических произведений и переводов, вводящий их в общую логику развития творчества Жуков-

ского и русской литературы в целом. Раздел «Комментарии» в каждом томе предваряется краткой редакторской преамбулой.

Настоящее издание, таким образом, призвано показать неугасаемый на протяжении всего творческого пути принципиальный интерес Жуковского-поэта к прозе, его заботу о развитии отечественной прозы. Отличающаяся высочайшим уровнем нравственного пафоса, глубиной духовного опыта автора, широтой художественных поисков и открытий, чрезвычайно актуальных для современного общества и современной науки о литературе, проза Жуковского, собранная в полном объеме, представленная в эволюции, должна занять свое вполне определенное и значимое место в истории русской литературы XIX в. Тем самым будет не только конкретизирована история русской прозы, ее перехода из века Просвещения в век романтизма и реализма, от сентиментальной повести и многочисленных небеллетристических малых эпических жанров к классическому русскому роману, но и дополнится картина творческой эволюции Жуковского в целом.



ПРОЗА
1797—1806 ГОДОВ

МЫСЛИ ПРИ ГРОБНИЦЕ

Уже ночь раскинула покров свой, и серебристая луна явилась в тихом своем велелепии. Морфей помавает маковою ветвию, и сон с целебною чашею ниспускается на землю. Все тихо, все молчит в пространной области творения; не слышно работы кузнечика, и трели соловья не раздаются уже по роще. Спит ратай, спит вол, верный товарищ трудов его, спит вся натура. Один я не могу сомкнуть глаз своих, одному мне чуждо всеобщее успокоение. Встану и пойду... Как величественно это небо, распростертое над нами шатром и украшенное мириадами звезд! А луна?.. Как приятно на нее смотреть! Бледно-мерцающий свет ее производит в душе какое-то сладкое упоение и настраивает ее к задумчивости... Везде царствует тишина, только там — вдали — шепчет дремлющий ручеек, и едва, едва слышно колебание листьев. «Прекрасно, прекрасно!» — говорил я с восхищением и нечувствительно приблизился к озеру, окруженному древними дубами, коих вершины изображались в тихой и спокойной поверхности вод, как в чистом зеркале. Смотрю на них с почтением, иду вперед, и взору моему представляется полуразвалившаяся гробница. Седой мох покрывает ее; гнезда хищных птиц находятся в ее трещинах; эмблема смерти — череп — иссечен вверху, и еще приметны некоторые остатки изглаженной надписи. При сем виде я содрогнулся, трепет объял мое сердце. Но мало-помалу бодрость моя возвратилась, страх исчез, некоторая томность овладела мною, и мысль за мыслию теснились в душе моей. Живо почувствовал я тут ничтожность всего подлунного, и вселенная представилась мне гробом.

«Смерть, лютая смерть! — сказал я, прислонившись к иссохшему дубу, — когда утомится рука твоя, когда притупится лезвие страшной косы твоей и когда, когда престанешь ты посекать все живущее, как злаки дубравные? Ты неумолима; закон твой неприменен; ничто не избежит ударов твоих; ничто не подвигнет тебя на жалость. Там вижу я прекрасного отрока, подобного едва распутившейся розе; здесь лепообразного¹, сановитого юношу, гордящегося превосходными дарованиями своими. Нежные родители не могут насмотреться на них, не могут нарадоваться; ими дышат, ими живут, и надежда, что они будут некогда славою своего рода, украшением своего времени, восхищает чадолюбивое их сердце. Тщетная надежда! Один мах косы твоей — и их нет.

Стон и вопль раздаются, но ты не внемлешь и спешишь к новым жертвам. Спешишь — и муж добродетельный, коего вся жизнь посвящена благотворению, коего пример есть светильник, вверху горы стоящий, муж, достойный жить целый век, колеблется, падает, и еще раз взглянув глазами любви на оставляемый им мир, закрывает их навеки. Спешишь — и столетний старец, беспечно вчера игравши с милыми праправнучатами, сегодня в последние² прижимает их к холодной груди своей, и сердце его перестает биться. Ты спешишь далее, смерть грозная, и все — от хижины до чертогов, от плуга до скипетра — все гибнет под сокрушительными ударами косы твоей. И я, и я буду некогда жертвою ненасытной твоей алчности! И кто знает, как скоро? Завтра взойдет солнце — и, может быть, глаза мои, сомкнутые холодной твоею рукою, не увидят его. Оно взойдет еще — и ветры прах мой развеют...»

Тут глубокое смущение объяло мой дух, и грудь моя поколебалась от вздохов. «Но почто смущаться сею мыслию? — сказал я потом, — разве нет оплота против ужасов смерти? Взгляни на сей лазоревый свод: там обитель мира; там царство истины; там Отец любви. Смерть есть путь в сию вечно блаженную страну. Кто не угнетал слабых, кто не притеснял невинных и на кого горькая слеза сироты не вопияла на небо, кто всех любил, как братьев своих, всем по возможности старался делать добро, тому нечего бояться. Смерть для него будет торжество, а гроб — лестница к небу. Но вы, злодеи! Трепещите...» — Тут глаза мои устремились к гробнице. «Скажи мне, — воскликнул я, — чей прах вмещаешь ты? Чьи кости в тебе почивают? Друг ли человечества спит здесь сном беспробудным или изверг естества, притеснитель себе подобных? Скажи: да омочу тление сие слезою чувствительности, или да изреку...»

При слове сем вдруг вспорхнула из гробницы вещая сова, и стоном своим возмутила царствовавшую окрест тишину. Кровь во мне волновалась; голова отяжелела; я почувствовал некоторую слабость, я медленными шагами, с растроганным сердцем, возвратился в сельскую свою кущу.

МИР И ВОЙНА

Зазвучали оружия брани; засверкали острые мечи; знамена гордо развеваются в воздухе, и пернатые шлемы осеняют главы ратников. Соединившись в единое ополчение, с нетерпеливостью ожидают они знака к сражению. Раздается глас трубный — и, подобно молнии, летят они на врагов своих; кровь брызжет под ударами; меч, рассекая воздух, с свистом упадет на крепкую броню; она зыблется, и багровая кровь струится по блестящей стали. Стон пораженных, мешаясь со звуком оружия, раздается в долине, и земля дрожит под тяжкими стопами противоборцев.

Пламя войны! Все пожирает, ничто не сокроется от ужасного бича брани; там пылает дом беззащитной вдовицы и подавляет ее своим падением; там стонет сирота, лишенный родителей, — тщетно слабое дитя простирает невинные свои руки, дабы испросить себе пощады; убийца, жаждущий крови, не смягчается и с свирепством поражает свою жертву. Заструилась кровь из груди младенца, последний вздох излетает из сердца его, и бледность смерти покрывает его чело. Тщетно почтенный старец дрожащими стопами хочет сокрыться от ярости ожесточенного ратника, изверг настигает его и, невзирая на седины старца, вонзает дымящийся кровью меч в трепещущее его сердце — он падает, и смертный хлад объемлет его чувства. Ужас крылом своим покрывает поле брани, и все окрестные места трепещут от военных громов — всюду отчаяние и горечь поселились, и радость отвратила блестящий взор свой.

Поспеси, благодетельный мир, поспеси утешить вражду человеческов, осени крылом твоим ратующих братий и излей бальзамический сок твой в сердца, возженные пламенем войны.

Он нисходит, и светлая струя радости пробежала в сердца, горевшие злобою. Ратники, за час прежде сего яростно сражавшиеся и без жалости убивавшие друг друга, те самые ратники с дружелюбием объемлются — меч не блистает более в их руках, и кровь не кипит уже на светлой стали; все утихло, и радость, окруженная лучами, явилась посреди воинства.

Супруги в объятиях семейств своих вкушают неизреченные радости; сын на коленях объемлет руку седовласого родителя и с геройскою улыбкою полагает к стопам его залогом своего мужества. Теплые слезы текут из очей старца и орошают румяные щеки юноши, гордящегося таким торжеством.

Все радуется, все восхищается.

Воинство вступает во град, где милосердный монарх, нежный отец своего народа и тщательно устрояющий блаженство своих подданных, с милостию приемлет детей своих и вкупе с ними наслаждается плодами тишины.

Продлился, вожделенный мир, продлился между людей; под тихим покровом твоим блаженство их не поколеблется, и они в тишине будут наслаждаться благами жизни и дарами своего Творца.

ЖИЗНЬ И ИСТОЧНИК

Солнце торжественно появлялось на горизонте, и заря, предшествуя ему, покрывала румянцем вершины гор; природа скинула тихий покров ночи, и день на крыльях зефиров взлетел на лазурный свод неба.

Морфей отлетает в царство теней, и сны, подобно рою пчел, последуют за ним. Природа пробуждается; блестящий царь светил, восседая на лучезарной колеснице, сеет животворные лучи на поверхность шара; тихая роса блестит и мало-помалу исчезает на листьях деревьев, и жаворонок, стремясь в высоту синего неба, первым гимном поздравляет пробуждающуюся природу.

Сию на возвышенном холме, венчающем пестрый луг; светлый кристалл ручейка омывает подошву пригорка и оставляет перлы на траве. Его журчанье трогает мое сердце; голос соловья, тихо пробираясь сквозь священный дубовый лес, куда луч солнца не дерзает проникнуть, мешается с гармониею потока, и эхо далеко его повторяет. Здесь, под навислыми утесами, в молчании дремлет море, и его волны, величественно протекая неизмеримое пространство, разбиваются о камни. Источник, который там, под нежными сводами душистых цветов, скромно извивался через луг, вдруг по голому, неровному утесу, кипя, низвергается в море, и струи его пропадают там так, как часы в вечности.

«Разительная картина жизни!» — сказала мое сердце, и флеровая мантия меланхолии покрыла мои чувства; воображение на быстрых крыльях переносило меня из одной мысли в другую, и полет его не находил пределов.

«Скоро пролетают дни наши, — думал я, — особливо дни счастья; долго текут часы несчастий, и их течение оставляет глубокие черты в нашем сердце.

Человек, вышед из утробы матери, бывает чист и непорочен; зло не дерзает осквернить его своим прикосновением, и страсти спят в его душе — но это только младенец, он ничего не знает, ничто не может его

тронуть, самая добродетель не имеет прелестей в глазах его; жизнь его подобна тому месту, откуда вытекает ручей, подобна заре. Ах! Солнце не взошло еще; может быть, облака его закроют...

Из младенчества переступает человек на стезю юности, и течение жизни его уподобляется тогда струям ручья, журчащего уже среди цветов; но камушки препинают путь его, так как страсти иногда совращают юношу с истинного пути. Если ж благодетельная рука исторгнет сии камни из волн источника, то бег его становится прозрачен и чист. Если мудрый наставник гласом истины извлечет из неопытного сердца юноши жало страстей, то дни его просветятся и солнце благоразумия рассеет туман заблуждения. Счастлив тот юноша, который в златое время своей непорочности насаждает в своем сердце семя добродетели; оно пустит корни и превратится в дерево.

Теперь источник жизни нашей становится быстрее, он течет по голому утесу, совратяся с благовонных лугов, и с шумом низвергается в море. Человек приходит в мужеские лета, и если семя добродетели не пустило корней своих в его сердце, если порок прежде времени вырвал его оттуда, то — несчастный! — море заблуждений, море несчастий его поглощает, и ничто не в силах его оттоле исторгнуть; он бьется между валов его и, думая достигнуть берегов, только что от них удаляется. О человек! Для чего ты не следуешь добродетели?

Наконец приближается старость, и он погибает в пучине. Тиха старость праведника, солнце чистой совести оживляет ее своими лучами; оно закатится лишь тогда, когда поцелуй смерти похитит его жизнь.

Порочный! Какая была цель твоя? Вдали пред тобою синелся океан бедствий, и ты не задрожал — тогда только, когда увидел ты бегущую к тебе смерть, тогда ты почувствовал ужас. Для чего не страшился ты пороков? Они ужаснее смерти. Для чего позволил ты развращенно исторгнуть семя добродетели из твоего сердца? Для чего не дал ты ему превратиться в дерево? Ты бы умер — заснул под его тенью».

Смертный! Берегись совращаться с истинного пути, иначе ты, подобно источнику, будешь поглощен неизмеримым морем несчастий.

РЕЧЬ НА АКТЕ В УНИВЕРСИТЕТСКОМ БЛАГОРОДНОМ ПАНСИОНЕ, 14 НОЯБРЯ 1798 г.

Любезные товарищи! Никогда еще не посещали сердца нашего толь сладкие чувства, как в сии достопамятные для нас минуты. Заслужить отличие в благонравии, в стремлении к добру, к просвещению, заслужить право первенства между вами, право, утвержденное собственным

признанием беспристрастных, невинных сердец ваших — не есть ли восхитительно, неоценённо? Заслужить!.. Нет, любезные товарищи! Мы не заслужили толь лестного преимущества. Самая сия радость, самое сие восхищение, которое вы читаете теперь в глазах наших, не есть ли уже слабость, малодушие? Так, мы недостойны толь отличной оказанной нам чести. Многие из вас имеют, может быть, гораздо более права на то первенство, коим вы нас почтили по одному снисхождению, по одной своей к нам любви. Не мы вас, вы сами себя победили; и поднесенный вами венок другим приличнее бы мог украшать вас самих. Мы слабы, неопытны, часто претываемся и падаем. Способности наши очень ограничены, достоинства малозначащи, поступки не так чисты и неукоризненны, чтобы можно было поставить их в образец подражания; и если есть в нас что-нибудь доброе, то, может быть, единая готовность сделаться некогда прямо добрыми. Вот все наши преимущества; вот единственное наше право на то драгоценное для нас первенство, коим вы нас почтили. Друзья любезные! При подножии сих священных для нас изображений*, поставленных здесь пламенно нашею благодарностью, еще дерзаем мы повторить торжественный обет свой, что употребим все силы, да семя добра, лежащее в груди нашей, произрастит спасительные плоды свои; и тем потщимся доказать, сколь высоко ценим мы снисходительное ваше о себе мнение и сколь признательность наша чистосердечна. Счастливы, счастливы будем, если предохраним кого-нибудь из вас хотя от одного дурного поступка, влекущего за собою горькие следствия; если умножим хотя одним зерном его познания; если приблизим его, хотя на один шаг, к добродетели.

Священная добродетель! Не ты ли основание прямого нашего счастья? Не ты ли блюститель нашего спокойствия? Не ты ли тот чистый, неиссякаемый источник, из коего почерпаем мы все истинные свои наслаждения, все радости, восторги, удовольствия? И блажен тот, кто исполняет священные твои уставы! Блажен тот, кто воинствует под победительным знаменем твоим! Блажен! Ибо никакие сопротивные силы не поколеблют его, никакие бедствия и страдания не одолеют. Душа его светла и безмятежна, как покоящаяся при вечере нива. Любезные товарищи! Мы все ищем пути к счастью: он в добродетели. Я знаю вас: вокруг сердца вашего обращается кровь благородная — и вы не можете не разуметь меня; а сие ваше внимание, сии неподвижные взоры ваши, на меня устремленные, не показывают ли ясно, что вы жаждете заняться со мною, несколько минут, сим драгоценным для

* Здесь понимаются портреты гг. кураторов.

всех нас предметом. Повинуюсь — и слабою, дрожащею кистью изображу вам некоторые черты добродетели, уверен будучи, что сия картина детской руки моей не останется без действия.

Посмотрите на сего благодетеля человечества, посмотрите: как толпятся вокруг его несчастные, как устремляют на него слезящее око благодарности, как расцветает веселием томное чело их! Это бедные, не имевшие пристанища и получившие покров от благодетельной руки его. Посмотрите: как взоры его чисты, божественны! На ланите блестит слеза восхищения; в душе царствует мир и тишина. Он есть благотворное некое существо, обитающее не в рукотворном храме, но в скинии сердец обязанных. Здесь, в сем святилище, поставлен ему алтарь, на коем курится чистая, неугасаемая жертва благодарности, алтарь, которого рука времени не сокрушит и падение земли не поколеблет!.. Чистая, непорочная весть друга человечества будет щитом против ударов ожесточенного рока и украшением во дни счастья. Сон его есть сон праведника, и хотя камень служил ему возглавием, хотя колючий терн был ему одром, тогда бы во всякой ране его тела блистала роса душевного здравия.

Посмотрите на сего бедного, лишенного одежды, пищи, пристанища, но богатого добрым сердцем, посмотрите, с какою твердостью покоряется он определениям судьбы! Сердце его покойно — подобно ясному солнечному дню, когда ни одно облачко не плавает в лазури неба. Под соломенным кровом своей хижины находит он то счастье, коего вельможа ищет в своих чертогах, и не обретает. Кусок хлеба, который достает он в поте лица своего, сластнее для него роскоши пищи сластолюбца. Сколь часто, с душевным умилением, преклонив колено, устремляет он взоры туда, где царствует вечная любовь и говорит: «Я беден, я несчастен; Ты благ, Отец небесный! Ты не оставишь меня — и наградишь мое терпение». Так говорит он, и пламенная слеза, катящаяся из сердца его, не упадет на землю, но, проникнет небеса, принесется в жертву Живущему в них. Добродетельный человек тверд в несчастьи, непоколебим в напастьях и терпеливо, без ропота, проводит бедственную жизнь свою... Но можно назвать бедственную такую жизнь? Пускай напыщенный богач ступает по златошвейным коврам персидским! Пускай стены чертогов его сияют в злате: злато сие, многоценные исткания сии — они помрачены вздохом угнетенного, кровию измученного раба... Нет, с чистым сердцем, с тихою совестью, предпочту я сенистый лес мраморному дворцу, где всякий камень, представляющийся глазам моим, возмутит мою душу, где неумолимое раскаяние, с бледным лицом, с тусклым взором, будет следовать по стопам моим... В мирном убежище простоты и невинности, в тишине лесов,

с подругою души своей, добродетелью, сооружу я из согбенных ветвей чертог свой, и мягкий дерн будет моим престолом.

Посмотрите далее на сего невинно заключенного узника. Мрак темницы его объемлет, но светильник добродетели ярко сияет в глубине души его. Клочок соломы служит ему горестным одром!.. И тяжкие оковы обременяют его руки. Но взгляните на лицо его: какая небесная радость, какое величие! Душа его спокойна, и сердце дремлет под щитом совести. Он радуется, что скоро достигнет цели жизненного своего странствия; что скоро душа его, оставив брENNую скинию тела, на легких крыльях будет протекать небесные сферы, будет пленяться восхитительною, неведомою для смертного слуха, гармониею блаженных небожителей. Каждый звук цепей напоминает ему течение минут, приближение торжества. Сердце его пламенеет, душа исполняется умиления, и он, в восторге, целует бременящие его узы. Когда ж представит ему смерть и благодетельною рукою отверзет врата вечности, когда расторгнет покрывающую глаза его завесу и укажет подлежащую ему судьбу, тогда, с восторгом праведника, бросив во прах брENNое свое покрывало, в объятиях ее, устремится он туда, в оные вечноцветущие поля, где нет ни зависти, ни злобы, ни мщЕНИЯ и где царствует единая присноживая любовь.

Посмотрите на сего доброго, честного поселянина, окруженного многочисленным семейством. Как он доволен! Желания его умеренны, и счастье обитает в его хижине. С пришествием дня выходит он на дела свое, и с бодростию, с удовольствием принимается за работу. Когда ж силы его начнут слабеть и востребууют подкрепления, он возвращается домой; жена и дети встречают его и с нежностию приемлют в свои объятия. Умеренный обед, приправленный дружеством и любовью, утоляет его голод; после краткого отдохновения снова принимается он за работу и престаает трудиться тогда, когда солнце престает освещать землю. Ночь наступает, сон его тих и кроток, и совесть, молчащая в душе его, засыпает с ним вместе. Так проходит его день, так пройдет и жизнь его. Время рукою своею убелит власы его и покроет чело морщинами. Смерть, сия предвестница его блаженства, тихими шагами приблизится к нему, и он с улыбкою непорочности бросится в ее объятия.

Посмотрите на сего героя, на сего брANNого витязя. Преданность к государю, ревность к службе, любовь к славе пламенеют в груди его. Отечество взывает к нему: «Спаси меня!» И он летит на поле брани; обнажит меч — и необоримые силы валяются. Гром умолк, молния потухла, победа приносит свои лавры, но кого увенчает она? Где герой наш? Он здесь, любезные товарищи, на сих развалинах, на сих кучах пепельных, на сих дымящихся кровью телах; он здесь и проливает слезы. Да будет

благословенно имя твое, витязь бранный! Сердце твое отверсто состраданию, ты скорбишь о человечестве, ты любишь добродетель...

Но кто изочтет лучи солнца и кто исчислит красоты добродетели, кто исчислит спасительные ее действия? О, священная добродетель!

Сияешь ты в вертепах темных,
И в самых пропастях подземных,
Всегда светла, мила, чиста.
Тебя везде сопровождают
Надежда, радость и покой;
Вселенну громы поражают,
Но всюду благодать с тобой.
Ты носишь в сердце вечну радость,
Твоя стихия — мир и сладость.
Блаженна жизнь, блажен твой сон.
Сады сретаешь в дебрях райски,
Зимою дни вкушаешь майски:
Твой манна хлеб, твой холмик трон...

Да будет трон ее и в сердцах наших, любезные товарищи! Что просвещение без добродетели? Медь звенящая, кимвал бряцающей, нечистый, заразительный источник. Просвещение и добродетель! Соединим их неразрывным союзом; да царствуют оне совокупно в душах наших. К сему должны стремиться все мысли и дела наши. Сего ожидает от нас отечество, ожидают благотворные наши попечители, которые в награду за всю свою к нам нежность, за всю любовь, за все труды, о нас прилагаемые, ничего больше не желают, как только видеть нас просвещенными, добрыми и прямо счастливыми. Бесчисленные к нам их благодеяния, но дела их, но добродетельный пример их есть то, что мы драгоценнейшего от них получили.

Возрите на сии изображения. Се лик Шувалова! Грозная судьба похитила его от нас¹, но сердце еще бьется в груди нашей, и Шувалов там живет. Друг человечества! Ты достоин венка бессмертия, и грядущие, отдаленные веки с благоговением повторят имя твое. Се образ Мелиссино!² Любезные товарищи! Почто не можем мы повергнуться на гроб его, на сие вместилище драгоценного для нас праха! Почто не можем окропить его своими слезами! От них возросли бы на нем цветы и благоуханием своим возвестили бы страннику: «Здесь почитает покровитель наук». Шувалов! Мелиссино! Тени ваши, может быть, носятся теперь над нами и улыбаются, видя любовь нашу. Божественная улыбка! Она побуждает нас следовать по стопам вашим,

и если можно, вам уподобиться. Тени священные! Покойтесь в селениях праведных; мы не возмутим тишины вашей уклонением от пути добродетели.

Херасков, добрый, чувствительный, незабвенный основатель сего благотворного места⁴, воспитанию благородных юношей посвященного, Херасков с досточтимыми своими сотрудниками нас руководствует.

Питомцы толь знаменитых мужей! Потщимся заблаговременно пользоваться благодетельными поучениями, из уст наставников наших текущими. Время летит, и семена мудрости и добродетели, насажденные во дни юности в умах и сердцах наших, возрастут в древо великое, коего плоды будем мы собирать и в самой вечности.

ПОЛНЫЕ СОЧИНЕНИЯ г. ЛЕОНАРДА, СОБРАННЫЕ И ИЗДАННЫЕ ВИНЦЕНТОМ КАМПЕНОНОМ В 3 Т., ПАРИЖ, 1798

(Из «Spectateur du Nord»)

Сие собрание сочинений Леонардовых слишком полно. Когда б сего не было, то, конечно, было бы оно лучше. В сокращении его, вышедшем недавно в одном парижском журнале, называемом «Декада» («La Décade»), нахожу я собственные свои мысли и правила касательно до рода поэзии, в котором Леонард наиболее успеш; также и мое мнение о достоинствах и недостатках этого собрания. Итак, я сие сокращение употреблю и для себя, переправив несколько его в слоге, выбросив или переменяв в нем повелительные фразы, неприличные обороты, худые выражения, обезображивающие пиесу, впрочем очень изрядную. Я не могу решиться сказать насчет какого-нибудь рода поэзии. Ce genre place sur les bords d'un double escueil, или говоря о богатстве (или великолепии), нужном для прозы в поэтических местах: la richesse, que la prose doit revetir и пр. и пр. Ясность, чистота, справедливость — вот чего рассудок и вкус ищут прежде всего в стиле. В такое время, когда сии свойства становятся очень редки, не должно, чтоб они были пренебрежены журналистами, которые, как авторы «Декады», занимаются некоторого рода цензурою литературных новостей своего отечества.

Леонард, которого полные сочинения собраны и изданы Винцентом Кампеноном¹, заслужил и получил почтенное место между писателями нашего века. Посвятив хорошие способности свои приятному и кроткому роду пастушеской поэзии, не мог он приобрести той славы, которая идет вслед за успехами, а нередко и за простыми опытами в блистательнейших родах литературы. Чтоб хорошо чувствовать автора *идиллий*, должно весьма любить стихи и натуру; — два вкуса, которыми всяк хвалится, но редко кто их имеет.

Однако ж *идиллия*, будучи не так кротка, как *эклога*, терпит некоторое, но только лишь сельское украшение. Венок из натуральных цветков — вот вся пышность, которую она присвоивать может! Пространство, которое протекать ей позволяется в великой области природы, физической ли то или моральной, очень ограничено. Она может изображать ясность неба, но не великолепие; волнение души, но не расстройство;

может только представить кроткое движение некоторых страстей, но не бурю их; хитрость любви, но не коварство. Сей род поэзии, в котором равномерно должно бояться и слишком унижить, и слишком возвысить тон, будучи ограничен малым числом картин и идей, не имея давно аналогии с нашими слишком непастушескими нравами, более представляет опасностей, чем средств к их преодолению. От Феокрита до Фонтенеля (двух камней преткновения в сем роде) идиллии представляли картины, различествующие только красками друг от друга. К тому ж всегда найдешь в них или двух пастухов, попеременно спорящих о преимуществе в пении, или верную собаку, или хищного волка, или жестокость бесчеловечной, жалобное эхо, журчание ручья. Изображение сих предметов, выражение чувств своих произвели неподражаемые творения. Особливо вдохнули они Вергилию стихи, коих неизъяснимая приятность всегда будет восхитительным наслаждением вкуса и чувствительности. Но, признаться, ослабленное повторение одних и тех же картин, одних и тех же мыслей не может иметь одинакового права на почтение и любопытство читателей, уже пресыщенных.

Любовь, превращенная в волокитство во французских идиллиях и в кокетство в итальянских, не может более быть достаточна для такого рода поэзии, в котором она совершенно господствует. Должно бы найти другие пружины, которые бы могли это поднять и поддержать; должно дать чувства, не столь подделанные в их выражении; и наконец, не оставляя привлекательной сцены полей и не переменяя действующих лиц, которыми могут быть только те, которые средь их обитают и их обрабатывают, должно дать им роли совсем отменные от роли любовников, которою их без пощады изнурили.

Немецкий язык и швейцарские нравы могут хвалиться честью такой перемены. *Геснер* произвел сие в действо². Благодаря ему, ручейки у берегов своих, источники у своих кристаллов, луга на пестрой мураве своей и пещеры на мшистых коврах своих увидели отцов и детей, братьев и сестер, стариков и младенцев, — и картины семейств изобразились в рамах природы.

Скоро это счастливое изобретение получило своих подражателей — и Леонард, и Беркен³ преимущественно отличились. Я должен говорить о первом.

В идиллиях своих держался он и древних, и новых образцов. Подражал ли он, или описывал, переводил ли, или изобретал, однако ж многократно употребленные до излишества выражения пастушеской любви были для него удобнее, нежели выражения различных чувств, почерпнутых в простой, не столь истощенной натуре. Сколь трогательны слезы чувствительного младенчества в идиллии, называемой

«Жертвоприношение» и имеющей действующими лицами детей, брата и сестру, когда они молят богов об умирающем отце! Как приятна картина цветов и росы, их окропляющей!

«Миртил, дитя нежное, увидел на заре младшую из сестер своих: Хлоя печально собирала цветки, и срывая их, *мешала слезы свои со слезами утра*».

Какая любезная невинность в сем извинении Хлои пред богом Паном!

«Ты видишь, у меня одна только гирлянда. И ее повешу у колен твоих; я бы ею украсила твою голову, *когда б выросла повыше*».

Теперь не худо, кажется, уведомить тех, которые посвящают себя какому бы то ни было роду поэзии, чтоб они не повторяли мыслей, ими прежде употребленных, даже не изображали бы одних и тех же картин. Уже, если я не ошибаюсь, действие этих детей и самые их выражения потеряли свою приятность и, так сказать, свежесть по причине премногих им подражаний. Таким образом самые приятные картины становятся скучны и обыкновенны. Молодые поэты должны часто вспоминать о несчастной судьбе *розовых перстов Аврофы*.

«*Великодушное дитя*» — также прекрасная идиллия в подобном же роде. В ней хвалится ребенок тем маленьким добром, которое он сделал. Но невинность лет его, полнота юного его сердца, не могущего удержать в себе удовольствия от доброго дела, столь его извиняют, что этот предмет, который бы был предосудителен, когда б кто другой был на сцене, становится приятным по причине трогательного чистосердечия молодого Мизиса.

Под именем *идиллии*, которое здесь не так прилично, как имя *элегии*, с удовольствием будут читать маленькую поэму «*Уединение*». Вообще здесь найдут более поэзии и более жару, не столь обыкновенного в Леонардовых сочинениях. Правда, что он тут много себе помог подражанием Проперцию и Горацию, но он их, так сказать, присвоил, искусно и с успехом подобрал к тому, что собственно ему принадлежит. Пламенная любовь изображается тут в поэзии совершенной и исполненной гармонии. Сие сочинение заставляет думать, что автор его мог бы иметь отличное место между поэтами в роде элегии. Но кажется, что он того не искал, и страстные предметы, которыми, судя по сему примеру, мог бы он с успехом заниматься, редко встречаются в собрании его стихотворений.

Способности его имели в себе гибкость. Между многими пьесами в приятном роде, которые стоят быть предпочтены, одна, под названием «*Купанье*», показалась мне лучшею. Любовные доверенности двух пастушек во время купанья и стыдливый страх, чтоб их не приметил кто в

сем положении, возмущающем скромность, суть два контраста, столь же хорошо употребленные в пользу, как и приятно выраженные. Окончание прекрасно:

«Пастушки бежали подобно двум горлицам, за которыми алчный ястреб гонится в высоте воздуха; но то была только юная лань, столь же робкая, как и они, привлеченная под зеленые тени у ручейка».

Несколько отрывков не будет довольно для того, чтоб дать читателям справедливое понятие о способностях и искусстве автора, которого желаем с ними познакомить

Хотя здесь по большей части не что иное будет, как перепечатывание одних и тех же, уже известных и имеющих свою цену идиллий; но как это очень возможно, что еще не известны многим, то не худо, если их приведем в состояние судить о целой пиесе. Та, которую я для сего выбрал, не велика; и я думаю, что всякий из читателей, нашедших ее в издании 1787 года (на французском языке), не оставит, чтоб не прочесть и в другой раз:

ДВА РУЧЬЯ⁴

Дафнис, лишенный своей любезной, рассказывал сию трогательную баснь тем, которые осуждали его горесть. Два ручья, соединив струи свои, текли очень спокойно по лугу, усеянному цветами. По *одной* они струились пустыне: *один* скат их соединял, и они желали вместе погрузиться в недра моря. Ах, должно ли, чтоб жестокая судьба воспротивилась нежной любви! Сии источники встречаются на пути своем ужасный утес, который их разделяет. Один из них в несчастии своем ударялся о берега свои, и эхо в долинах отвечало жалобному его стенанию. Прохожий сказал ему с досадою: «Для чего не журчать тебе на мягком песку тихонько? Шум твой мне мешает и наводит скуку». «Разве ты не слышишь там, за холмом, стенания половины самого меня? Иди в путь твой, путешественник! И проси богов о том, чтоб сердце твое не лишилось того, что ему любезно».

Не все пиесы, составляющие идиллии Леонардовы, имеют такое совершенство; но вообще отличаются они приятностию, чувствительностию и наиболее точным приличием слога предмету. Сочинения его не обезображены усильными натяжками идей и слога, ни удалением от того, что истинно в первых и просто в последнем, — порок, господствовавший в то время, когда писал Леонард. Должно отдать ему должную похвалу за то, что он сего избежал. Нет ничего в свете холоднее и глупее ложного жару и надутости, когда можно занять и даже пленить и тронуть, дав идеям своим и их выражению посредственную степень жару,

если не будет во внутренности нашей полного пламени. Очень мало в сочинениях Леонарда ошибок, которые бы могли подпасть критике сей; а выше сего видно было, что она может в них найти истинные красы.

Я говорил только об идиллиях, для того что они составляют важнейшую и отличнейшую часть в сем собрании, состоящем из трех томов, в которых они, однако ж, мало занимают места. Винцент Кампенон в сем издании последовал роковому обычаю собирать без разбору после смерти автора, каков бы он ни был, все, что ни произошло от его пера. Ничто столь не сходствует с погребальными почестями, как это; и можно сказать, что того автора погребают, которому таким образом воздвигают истинный памятник. Это совершенно ложная набожность. Погребать должно тело, но разум избавлять от погребения. Можно увидеть такое намерение в тех легких собраниях *лучших произведений* поэтов древности, отделенных от всего того, что не заслуживает сего титла, и можно сказать, что трогательная формула погребения древних: *Sit tibi terra levis*, была для издателей их правилом вкуса. В самой вещи, кажется, ничего бы не было лучше и приличнее со стороны издателя, человека беспристрастного и со вкусом, как когда б он сделал выбор из выбора самого автора. Конечно, самолюбие ослепляет чаще, нежели просвещает; и если оно сделало выбор, то, верно, должно еще и из того сделать новый. Но мы совершенно делаем противное. Лучший друг или лучший родственник автора не упустит забрать его бумаги, и почти всегда выбор его состоит из всего, что только тот написал. Все равно, что подбирать стружки, отделенные скоблем, для составления из того какой-нибудь материи. Я сделал выговор сей общим потому, что злоупотребление стало общее. Издатель Леонардовых сочинений сделал ни больше, ни меньше, как и другие. Если б он не был увлечен примером, то бы никто не был более его в состоянии отделить со вкусом худое от хорошего так, как то всегда должно делать. К тому ж он имел на то более права, нежели кто другой; ибо мы имеем от него многие очень хорошие стихотворения в одном роде с тем, в котором Леонард наиболее отличился. Как не почувствовал он, что, вместо чтоб прославить, может он замарать славу поэта, оставив в творениях его трагедию Эдипа, в которой можно найти следующие стихи:

Je veux fuir ce palais — - — qu'on m'en
Ouvre la porte!
Au nom des Dieux, ouvrez! Et que le crime
Forte!..
(Я хочу бежать из сих чертогов:
...Да отворят мне двери!..

Отворите, ради богов! Отворите,
...Да изыдет отселе преступление!

Не прилично кажется делать извлечения такого рода, хотя бы то было не трудно. Издатель поступил не совсем богобоязненно, оставив четыре мужеские рифмы сряду.

В молодости, при первом открытии способностей, когда еще не знаем, на что их обратить, бывает часто, что хватаемся за все. Редко случается, чтоб проходило без трагедии. Но таковые отрывки должны остаться неизвестными публике... Горе, если ей их откроют!

On connait des grands vers les disgraces
Tragiques!

Комедия «Эмиль», которая по справедливости не что иное есть, как сцена, продолженная без всяких причин и драматических правил, несмотря на некоторые изрядные места, не более стоила быть опубликованною.

Пастушеский роман «Алексис», невзирая на некоторую растяжку, мог бы быть оставлен при строгом выборе. Этот роман есть идиллия в прозе, смешанной со стихами. В нем проза имеет всю приятность и даже обильность, какую она должна иметь в сем роде — стихи суть из лучших в сем собрании.

Я скажу еще, что долгое письмо о Антильских островах и «Клементина», небольшой роман, которые критика могла бы пощадить, — лишние в сем собрании и очень приличны идиллиям, к которым бы все надлежало отнести.

Что ж касается до поэм, «Гнидского храма» и «Времен года», состоящих каждая в 4-х песнях, то, кроме некоторых, изредка попадающихся хороших стишков, нечего бы было жалеть, если б их исключили. Наконец следуют идиллии, о которых я уже довольно говорил. Гораздо бы было лучше, когда б прекрасные стансы на «Романвильский лесок» и на «Смерть собаки», гораздо уступающие в красках, помещены были после сих стихотворений, а не в начале первого тома, под именем *Posthumes*. Это место не прилично им ни по порядку материй, ни по порядку времени, которым только одним должно последовать в распределении частей, составляющих собрание.

Весь последний том посвящен «*Письмам двух любовников, живущих в Лионе*» — роман, в котором я заметил прекрасное письмо *о страстях*⁵. Оно двадцать девятое в сем сочинении.

Здесь я скажу мимоходом издателю, что он ошибается, говоря при сем случае в своем замечании о жизни и сочинениях Леонардовых, что будто начальную идею сего романа занял он из сомнительного предания об одном памятнике подле Лиона (гробница двух любовников). Он вывел здесь случившееся не очень давно и очень вероятное приключение одного лионского фехтмейстера⁶ (имя, сохраненное в романе), который застрелился с своею любовницею помощью двух пистолетов, которых курки опустил он посредством ленты, приведенной к его руке. Уверившись по расширению артерии в горле о несомнительности приближения смерти, захотел он в ревности своей, чтоб и любовница его умерла с ним вместе — и получил это от ее любви. Леонард, пользуясь сею развязкою, присоединил к ней обыкновенную интригу родителей, противившихся взаимной склонности. Может быть, была бы какая-нибудь лучшая материя в самом настоящем происшествии, о котором я говорил.

Приписывают Руссо сочинение эпитафии для гробницы сих двух любовников. Вот последний стих:

Le sentiment admire, et la raison se tait
Чувство удивляется, и разум молчит.

Предуведомление в начале сего издания заставляет читателя принять участие в особе самого Леонарда. Оно представляет его как человека, всегда преданного меланхолии, увеличивающейся горестями любви, от которой он стал жертвою преждевременной смерти — судьба не одного поэта! — И после сего верьте их счастью, полагаясь на их стихи и песни. Какая меланхолическая противоположность несчастной Леонардовой кончины и сих его стихов:

Dans la tombe noire,
Quand j'irai sans gloire
Joindre mes yeux,
Je veux qu'on publie:
Il n'eut point envie
D'illustrer sa vie;
Mais il fut heureux!

Когда без славы соединяюсь я в мрачном гробе с моими предками, тогда пусть скажут обо мне: он не желал учинить блистательною своей жизни — но был счастлив!

К НАДЕЖДЕ

Надежда, кроткая посланница небес! Тебя хочу я воспеть в восторге души своей. Услышь меня, подруга радости! И ангельская улыбка твоя да будет мне наградою.

Тобою все живут и дышат, о божественная! От венценосца до пастуха, от первого счастливец до последнего бедняка, отверженного целым миром, в тебе находят все отраду и услаждение!

Без тебя царь несчастен на троне своем и уныл среди пышности, среди блеску, его окружающего, среди хвалебных в честь ему восклицаний.

Без тебя герой хладеет и лишается бодрости своей. Ты одушевляешь его, летящего на поле брани; и среди окровавленных трупов, среди дымящихся развалин, среди куч пепельных ты показываешь ему растущие победные лавры.

Ты водишь плугом земледельца, в поте лица возделывающего поле свое, поддерживаешь ослабевающую руку его, предвещая ему щедрую награду за труд.

Ты управляешь кораблем мореходца, плывущего по зыбким хребтам непостоянной и грозной стихии в страны отдаленные, и веселишь сердце его, возвещая ему близкий предел его странствия, а там — несметные ожидающие его сокровища.

Ты радуешь нежную мать, неусыпно пекущуюся о детях своих. Ты говоришь ей, что они будут некогда украшением ее, подпорою, и извлекаешь из очей ее слезы восторга.

Ты утешаешь нищего, оставленного человечеством, издыхающего на голом камне. Ты снимаешь благодетельною рукою покров с томных очей его и показываешь ему в отдалении будущее — он взирает и видит могилу, конец своих страданий, за нею Бога, вечную радость, видит — и вооружается твердостью.

Ты озаряешь лучами отрады темницу узника, обремененного оковами и не обретающего сожаления в сердцах братьев своих. Ты рождаешь бодрость в унывающей душе его и льешь целительный бальзам в раны его сердца. Ты сопутствуешь ему до последней минуты горестного бытия и провождаешь его даже за пределы гроба.

О надежда, усладительница наших горестей! Сопутствуй мне на мрачном пути сей жизни; сопутствуй до того времени, когда ангел смерти, отворив таинственные врата вечности, примет меня из объятий твоих и на крыльях бессмертия понесет в лучший, блаженный мир.

МЫСЛИ НА КЛАДБИЩЕ

Ночь наступает. Молчание, одеянное мраком, величественно несется на землю — все безмолвствует под кровом его ризы.

Луна, собеседница горестных, медленно подымлет бледное чело свое из-за отдаленных гор; слабо осребряет она кремнистые их вершины, и луч ее пробирается в дремлющий лес; кажется, тени, чада молчаливой ночи, блуждают в густоте его.

Серые облачка опушают задумчивый образ луны — тем она любезнее, тем привлекательнее!.. Трепещущий луч ее, преломляясь о них, тихо несется долу.

Здесь, в обители смерти*, в долине спокойствия, разливает он бледное сияние на могилы, скрывающие в недре своем почивших, он мешается с юными чадами весны, дышащими на них благоуханием, и кажется, хочет проникнуть гробные камни, чтобы оживить тление.

Бьет полночь — это час смерти — луна на половине пути своего; она прямо над моею головою; свет ее ударяет в узкое окно развалившейся часовни и рисует решетки ее на руинах.

Облокотясь на падший столб, смотрю я вокруг себя — все молчит — почившие спят сном беспробудным. Гений уныния, в белой одежде, с поникшею главою, сидит на гробовых обломках и стонет о бренности всего подлунного.

Они спят — сии сыны тления! Они спят — и кто их пробудит?

Натура, одеянная мраком, дремлет на лоне полуночи; все молчит; ни единый глас не вызывает к ним.

Все молчит в благоговейном ужасе. Пустынный ручей тихо струится по камням; соловей давно остановил громкие трели свои — все молчит!..

Но се грядет утро!.. С высоты отдаленных гор несется благотворное сияние его долу. Натура пробуждается: все творение возглашает гимны. Се грядет утро! Но они спят.

Они спят, не внемля гласу взывающего к ним дня; они спят — и кто их пробудит?

Спите, сыны тления! Еще не время — наступит утро бессмертия; жизненный луч его проникнет в сердце мира — и вы восстанете от сна своего.

Спите, сыны тления! Еще не время...

* На кладбище.

ИСТИННЫЙ ГЕРОЙ

Последний луч зари угас на западе, и ночь на крыльях тишины спустилась на землю; луна в кротком сиянии катится по синему своду небес, и лучи ее осребряют верхи дубов.

Стою у чистого ручья; в струистом кристалле его трепещет образ луны; на берегу воздвигнут обелиск — смотрю и при свете луны вижу не изгладившуюся еще надпись: *Победителю*.

Победителю, сказал я, и грудь моя поколебалась от вздохов. Кто сей победитель? Конечно, убийца тысяч? И убийц называют победителями, сооружают им памятники для того, чтоб потомство прославляло имена их!

Нет! Пускай прославляет их безумец; но тот, кто имеет сердце, кто любит добродетель, тот с ужасом отвратит взор от гордого обелиска, вспомнив, сколько жертв пало прежде, нежели он воздвигнут.

Герои! Куда стремитесь вы с обнаженными мечами? За чем бежите? За славою? За призраком, которого вы не достигнете? Оглянитесь: следы ваши обагрены кровью; тела убиенных покрывают путь ваш; злоба бежит с вами, потрясая пламенником своим; природа унывает вокруг вас, и бедствия льются от руки вашей.

Где же сия слава, которой вы так алкали? Венец на главе вашей, пустота в сердце — вы достигнете предела жизни своей; глыба земли покроет прах ваш; рука времени низложит гордый обелиск, в честь вам воздвигнутый; и гром дел ваших, раздавшись, подобно эху, умолкнет.

Слеза благодарности на могилу — вот *венец славы*! Благословения несчастливца — вот *песнь торжественная*! Друг человечества — вот *истинный герой*, которого дела в *сердцах*, которого слава в *вечности*!

МАЛЬЧИК У РУЧЬЯ, ИЛИ ПОСТОЯННАЯ ЛЮБОВЬ

КНИЖКА ПЕРВАЯ

Любовь и дружба — вот чем можно
Себя под солнцем утешать!
Искать блаженства нам не должно,
Но должно менее страдать!
И кто любил, кто был любимым,
Был другом нежным, свято чтимым,
Тот в мире сем недаром жил,
Недаром землю бременил.

*Послание к Д*¹*

ГЛАВА I

МАЛЬЧИК

Вильгельм *сидел у ручья* под березою. Из коры молодого раkitного сучка вырезал он для себя свирель и наигрывал на ней печальные, однозвучные песни; он часто останавливался, неподвижно устремляя глаза свои *в ручей* и плакал горькими слезами — шага на два от берегу лежала его шляпа, а в шляпе — кусок черного хлеба. Ласточки и коноплянки порхали около него с ветки на ветку; потом, спускаясь ниже, ниже, уселись без всякой церемонии на шляпу и начали клевать хлебные крошки, Вильгельм видел это, улыбался сквозь слезы и принуждал себя рыдать тише, чтоб не помешать маленьким гостям своим.

— Об чем ты плачешь, мальчик? — сказал вдруг толстый голос позади его.

— Об чем ты плачешь, мальчик? — повторил другой, тонкий и приятный. Вильгельм испугался и покраснел, как будто бы его застали в дурном деле. Люди стыдятся благороднейшего своего отличия, сты-

дятся слез — никто не хочет, чтобы видели, как он плачет; всякий старается скрыть свои слезы — скрыть последний признак человечества.

Вильгельм не успел обтереть крупных капель, которые одна за другою катились по смуглым щекам его; он поднял черные, блестящие глаза свои и увидел подле себя толстого, пожилого человека, в широком темно-синем кафтане и в круглом, ненапудренном парике; в правой руке его была длинная натуральная трость с золотым набалдашником; а левою вел он миловидную, одиннадцатилетнюю девочку, которой алые щеки горели от солнца, а длинные светло-русые волосы раздувались шутивным ветерком.

— Об чем ты плачешь, мальчик? — повторила она тем же ласковым, нежным голосом, и слезка, покотившаяся по щекам ее, упала на букет колокольчиков, нарванных ею в поле.

— Ах, сударыня! — отвечал Вильгельм встав с своего места, — как мне не плакать! Бог знает, что со мной будет вперед?

— Разве ты сирота? — спросил толстый человек.

Вильгельм. Нет, я не сирота, у меня еще есть отец — вы, верно, его знаете; он часто работал в вашем доме.

Толстый человек. Кто же твой отец?

Вильгельм. Носильщик *Ганз Визе*. По сию пору он позволял мне учиться в школе — я уже умею читать, писать, могу понимать своего Корнелия Непота² и все теперь должен бросить! Батюшка говорит, что не может больше платить за меня и что мне надобно самому промышлять деньги, то есть быть таким же носильщиком, как он.

Толстый человек. А этого тебе не хочется?

Вильгельм. Конечно, сударь! Я бы лучше стал чему-нибудь путному учиться.

Толстый человек. Друг мой! В этом мире всякий из нас носильщик; и тот, кто только из дому в дом переносит свою ношу и там сбрасывает ее с плеч своих, тот, поверь мне, не самый несчастный.

Вильгельм посмотрел на него пристально, и в больших глазах его было написано: «я вас не понимаю».

— Ты не понимаешь меня! — продолжал толстый человек. — Ах, мой друг, как бы хотел я сам не понимать себя! Сколько тебе лет?

Вильгельм. Тринадцать.

Толстый человек. Только? Ты еще молод и слаб для ремесла своего.

Вильгельм. От работы я не прочь, но вот чего мне жаль: я позабуду все, что учил в школе. Я всегда думал: будь прилежен, учись хорошенько; кто знает, может статься, когда-нибудь сделаешься ты школьным мастером и станешь кормить старого отца своего, когда он будет не в силах подымать ношу.

«Помоги ему, милый папенька», — шепнула маленькая девочка, прижавшись к толстому человеку и уставя на него светлые глаза свои. Но как он не скоро отвечал на слова ее, то она прибавила просящим голосом: «Не оставь его, пожалуй! Нынче мое рождение, ты еще ничего не подарил мне!»

Добрый старик улыбнулся, потрепал ее ласково по щеке и сказал Вильгельму: «Не плачь, мальчик! Я буду платить за тебя в училище; приходи завтра поутру ко мне с отцом своим — мы поговорим побольше об этом деле».

Вильгельм схватил правую его руку и обливал ее слезами — маленькая девочка целовала левую; старик был очень растроган. Вильгельм подарил малютке свою пастушью свирель; она приняла ее с радостью, кивнула головой и отдала ему в замену свой букет полевых колокольчиков. Они не говорили ни слова, но девочка с удовольствием посматривала на свою флейту, а Вильгельм прижимал колокольчики к сердцу.

— До свиданья! — сказал толстый человек, и маленькая Грация, весело прыгая, бежала за ним между березовых кустов.

Вильгельм долго смотрел за нею вслед. Она часто оглядывалась назад, и всякий раз ласково кивала головкой, до тех пор, пока не пропала из глаз его. Тут схватил Вильгельм свою шляпу, с важностию прищипил к ней букет, накрошил на траве хлеба для коноплянки и весело пошел домой.

ГЛАВА II

ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

Кто ложится спать с мыслию: *завтра ожидает тебя важное дело*, тот обыкновенно встает рано. Не успело еще взойти солнце, как Вильгельм стоял уже перед разбитым карманным зеркалом, пудрил мукою волосы и старался как можно лучше заплести косу. Розовый, довольно тонкого сукна кафтан, который за три года перед тем был куплен у ветошника и, следственно, стал везде короток нашему герою, получил новое украшение от букета полуувядших колокольчиков, приколотого на левой стороне его двумя пребольшими булавками. Отец повязал кофейный шелковый платок на шею и пригладил роговым гребнем свои остриженные в кружок волосы; потом вынул из сундука темно-синий праздничный кафтан свой с алым камзолом, взял в руки большую березовую трость с костяным набалдашником и надел на голову шляпу с тремя преострыми углами.

Нарядившись таким образом, пошли они к толстому человеку Старый Ганз от всей души благодарил Бога за то, что Он внушил сердцу язычника сожаление к бедному его Вильгельму.

Как! Разве толстый человек язычник?

Да, любезный читатель! Для протестантов; для католиков он истинный, правоверный христианин, потому что сам католик.

Г. Жером, которого жители города Л** обыкновенно называли Шроммом, был французский эмигрант, выгнанный из Франции не Эдиктом Нантским и не Национальным Конвентом³, а только худым своим счастьем, которого принужден был искать по белу свету, потому что оно упрямылось само искать его; он был ревностный католик и прилежный чулочный фабрикант; жил около двадцати лет в Германии, где, влюбившись в пару прекрасных глаз, до того забылся, что взял за себя протестантскую язычницу, которая, в наказание за свое прегрешение, спустя год после брака умерла, оставив ему дочь; эта дочь называлась Лизой.

Господин Жером был толст; но когда несчастный прижимался к его груди, то биение сердца его было очень ощутительно. Он охотно смеялся, любил пить бургонское, особливо когда был вместе с друзьями или поутру сделал какое-нибудь доброе дело. Благодетерия развеселяют наше сердце, и веселый всегда скорее сделает добро, чем угрюмый.

Двери растворились настежь, как скоро доложили о приходе Ганза и Вильгельма. Господин Жером курил тогда трубку кнастеру⁴, а Лиза обмакивала крендель в чай. Вильгельмова свирель лежала подле ее чашки. Она ласково кивнула головой, как скоро его увидела; он шаркнул ногою, и щеки его сделались краснее отцовского камзола. Лиза посматривала то на него, то на флейту, как будто хотела сказать: *«Видишь ли, как мне мил твой подарок!»* Он потуплял глаза свои и играл колокольчиками, как будто хотел отвечать: *«И мне тоже!»*

Ганз Визе первый начал разговор. Он говорил много о христианских добродетелях, о благословении Божиим и даже утверждал, что человек, творящий добро бедным сиротам, несмотря на свои заблуждения, может иногда попасть в число праведников Господних.

Господин Жером улыбался, посматривал на свою трубку, как будто хотел сказать: *«Дым или туман — все равно».*

— Я буду рад, — говорил он с ласковым движением головы, — я буду рад, когда этот малый станет хорошо учиться и порядочно вести себя; я охотно стану платить за него деньги и стараться, чтобы он ни в чем не терпел нужды — пускай он каждый день ходит на фабрику обедать с моими работниками; я буду узнавать об его успехах.

— Ну, Вильгельм, благодари! — сказал старый Ганз, ударив своего сына по руке широким обшлагом своим, — поди, поцелуй у доброго господина ручку.

Бог знает, как это случилось! Только Вильгельм, замешавшись, подошел к чайному столу и поцеловал руку у Лизы. Щеки девушки вспыхнули; Ганз Визе закричал: «*Экой болван!*» А Господин Жером улыбнулся. «Не тронь его, старик, — сказал он, — малый совершенно прав; он по-настоящему всем обязан моей дочери».

После многих неловких поклонов, которые бы всякий танцмейстер опорочил, и многих нескладных выражений благодарности, которые добрый Жером *все* принял к сердцу, распрощался старый Визе с своим благодетелем. Вильгельм хотел сперва из учтивости пройти боком в дверь, но самолюбие шепнуло ему на ухо: «Оборотись, чтоб прекрасная маленькая девушка увидела твою красивую распудренную косу». Проворно оборотился он и важными шагами вышел из дверей.

ГЛАВА III

ЯБЛОНЯ

Вильгельм вырастал больше и больше, учился писать, читать, петь, арифметике и знал наизусть весь маленький Лютеров Катехизис. Лиза также вырастала и училась еще больше, нежели Вильгельм. Но они обыкновенно забывали все выученное, когда случались друг с другом вместе. Всякий день обедал Вильгельм с работниками господина Жерома; по воскресеньям нередко сажали его за стол с его благодетелем, потому что он был любезный, скромный мальчик. Никогда не забывал он пить за здоровье присутствующих и обыкновенно проливал несколько капель красного вина на скатерть, ибо рука его дрожала, когда, смотря вокруг себя, взглядывал он на Лизу.

Ежегодно торжествовал он день рождения господина Жерома предолгими ямбическими шестистопными стихами, которые, чисто переписав на тетрадке из голландской бумаги, сшитой голубым шелком, подносил своему благодетелю. Лизино рождение было не меньше прославляемо, только не ямбами, а дактилями, и тетрадка шивалась не голубым, а алым шелком! Отец при таких случаях обыкновенно дарил его гульденом⁵, а дочь ласковым взглядом; гульден клал он в карман, а ласковый взгляд оставался в сердце.

Человек не может дать себе отчета в сладостных ощущениях души своей, потому что они, благодаря Всевышнего, составляют некоторую

часть существа его и рождены вместе с ним его потребностями; ненависть, клевета, зависть и все оные фурии, слишком часто терзающие грудь его, не иное что, как выродки общественного союза. Вильгельм никогда не думал, для чего выбирал алую шелковинку для Лизы и от чего при ней сердце его прыгало, как его дактили; а Лиза, со своей стороны, не знала, почему она в час обеда, когда надлежало прийти Вильгельму, сидела у ворот и для чего по воскресеньям, разливая суп, выбирала ему лучшие куски. Причиною сему было только то, что мы в течение первой половины своей жизни беспрестанно зреем для *любви*, так как в течение последней — для *смерти*; *любовь* и *смерть* во многом сходны между собою. Никто не может противиться их доле; обе стерегут и ловят нас, как разбойник путника среди ночи; обе переселяют нас в Елисейские поля⁶; *умирающий* и *любящий* сходны между собою в том, что посторонний замечает скорее, нежели они сами, то, что в них происходит. К счастью, сего не случилось с Вильгельмом и Лизой, ибо господин Жером и представить не мог, чтобы дочь его в прекрасном юноше забыла носильщикова сына или чтобы Вильгельм осмелился думать о дочери фабриканта, но он забыл, что *свобода* и *равенство* — девиз и *любви*, и *смерти*.

Подбородок Вильгельмов начинал уже покрываться нежным пухом, и косынка на груди Лизы подымалась выше, как плутишка Амур сыскал случай развернуть семена, посеянные им в младенческих неопытных сердцах их.

Господин Жером, которого все почитали зажиточным человеком, имел между прочим сад у городских ворот, в котором часто, в летние вечера, наслаждался он собственным своим летним вечером; сюда часто, промучив целый день бедную свою память, ходил Вильгельм есть землянику с свежими сливками.

Однажды, в ясный осенний вечер, захотелось Лизе отведать яблока, которое краснелось на самой вершине дерева. Вильгельм тотчас собрался на него лезть; желание принести ей удовольствие соединилось с маленьким честолюбием показать ей, как искусно и скоро умеет он лазить на самые высокие деревья; возбудить удивление любезной есть самое сладостное чувство.

Уже вскарабкался он на половину дерева и проворно лазил с сука на сук. «Ты упадешь, Вильгельм!» — закричал старик из ближней садовой беседки. «О! Нет, не бойтесь», — перехватил наш рыцарь смело и протянул руку за милым яблоком. Но как рука была немного коротка, а он слишком перегнулся вперед, то потерял равновесие, обрушился, схватился за сук, который, к несчастью, высох; сей переломился, и Вильгельм упал на землю.

Лиза вскрикнула! «Вот! Ведь я говорил!» — сказал старик и потащился к нему. Сучья изодрали в кровь правую щеку смельчака. «Вильгельм, ты в крови!» — кричала дрожащая Лиза.

— Это ничего! — сказал Вильгельм, наморщив болезненно лицо свое и валяясь по траве.

Господин Жером. Так встань же.

Вильгельм. Сейчас, сейчас.

Лиза. Ради Бога! Что ты? Встань поскорее!

Вильгельм. Я не могу.

Лиза. Для чего?

Вильгельм. Я переломил ногу!

Лиза при сих словах чуть не упала в обморок. Она так горько плакала и кричала, что Вильгельм жалел только о том, что переломил не обе ноги. Его положили на носилки, бережно отнесли в город, в дом Жеромов, где со всею заботливостью ходили за ним целых шесть недель. Ежедневно *дважды* приходила к нему Лиза с позволения отца своего и ежедневно *сто раз* приходила она без его ведома; носила больному желе, варенья, супы и все сие приправляла ласковыми, чрезвычайно целительными взорами.

— Каков ты, Вильгельм? — сказала она однажды, в начале седьмой недели.

— Ах! К несчастью, совсем здоров, — отвечал он жалобным голосом, — счастливые дни моей жизни миновались!

— Ты бредишь, Вильгельм, что за счастливые дни — беспрестанно лежать в постели и терпеть страшную боль!

— Ах! Как легко забывал я все, когда входила ко мне Лиза!

С сими словами закрыл он горящее лицо свое в подушках, а Лиза, раскрасневшись, подошла за каким-то делом к окну и неосторожноронила с него три пузырька с лекарством. Сим на первый раз и кончилось. Скоро лекарь объявил своего больного совершенно здоровым, и он с тяжким вздохом оставил дом, где в наслаждениях сердца забывал и свою ногу, и свои страдания. Зима наступила. Вильгельм и Лиза виделись реже, но при каждом свидании приходили они в некоторое неизвестное для них замешательство.

Учители самым лестным образом отзывались о Вильгельме. «Он прилежен и имеет изрядные способности, — говорили они, — только жаль, что часто задумывается, сидит по целому часу на одном месте и, разинув рот, смотрит перед собою; ему говоришь, он не слышит; толкнешь его, он вздрагивает; спросишь, *о чем он думал*, отвечает: “*Так, ни о чем*”».

«Я без вас знаю, о чем думаю; но вам этого не узнать никогда, — говорил Вильгельм сам с собою, — какая вам до меня нужда?» Лизе

также казалось, что и она об этом знала, но подобно Вильгельму, она никому этого сказать не хотела.

ГЛАВА IV

КАНАРЕЙКА

Уже весна прогнала зиму и пробудила натуру к жизни и любви, как господин Жером снова начал посещать сад свой. Там часто сидела Лиза под несчастною яблонею и удивлялась, что грудь ее, которая стала гораздо полнее прежнего, сжималась более, нежели когда-нибудь; ей казалось, что и в шнуровке не было ей так тесно, как теперь; но с шнуровкою прошли и радости младенческих лет ее. Прошедшею весною любила она яблоню только для одних плодов ее; теперь и самый ее цвет был для нее привлекателен. Тогда ей весело было гонять по горнице чижа с обстриженными крылышками; теперь она охотнее слушала голос его на вершине березы. *Младенец любит разрушать; юноша наслаждается; муж охотно бы возобновил все, но бывает настигнут старцем и засыпает на руках.*

Лиза не оставила для себя ничего из сокровищ детских лет своих, ничего, кроме одной милой канарейки, которую посредством органа выучили петь «*Мальбруг в поход пустился*»⁷; она часто садилась на плечо Лизино и клевала сахар изо рта. Отец ее и эта птичка были единственные творения, которые она любила явно и не стыдилась в том признаться. Таким образом мало-помалу уверила она себя, что ей никак нельзя обойтись без маленького *Мальбруга*. «Я умру с горя, если его у меня не будет» — говорила она часто. А это значило другими словами: я не могу жить без любви и не знаю, легко ли заменить потерю канарейки.

В один жаркий день Вильгельм был также в саду; случилось, что все окна в доме были раскрыты для того, чтобы дать пройти ветерку, который весьма тихо играл в винограднике, обросшем вокруг всего дома и всходившем до самых окон. Вдруг в сердечке маленького *Мальбруга*, который тогда летал по воле в горнице, пробудился беспокойный дух его предков — может быть, крик воробья привлек на себя его внимание и напомнил ему, что, несмотря на золотые его перышки и на сахарные бисквиты, которыми обыкновенно его кормили, он все происходил от воробьиной крови, в минуту решил он подать небывалый пример господам придворным и возвратиться к низкородным своим предшественникам. Не медля нимало, он порх за окно — и след простыл. Лиза

едва не кинулась за ним; с распростертыми руками стояла она перед окном и кричала так жалостно, как будто бы кого убивали в саду перед ее глазами.

Долго не могли узнать, от чего она кричала, ибо никто не приметил маленького беглеца; а Лиза была так испугана, что не могла даже и имени *Мальбруга* произнести. Вильгельм стоял перед нею, шевелил каждым пальцем, и, казалось, робкими своими взорами хотел выманить слова изо рта ее. Наконец он узнал, в чем состояло дело, и без дальнего размышления прыгнул в окно. Лиза последовала бы за ним, когда б девическая стыдливость не удержала ее за платье. Она обежала вокруг, в двери, и соединилась с Вильгельмом, которого глаза перебежали с одного дерева на другое.

— Вот он сидит! — закричал он вдруг и показал пальцем на одно вишневое дерево, на котором *Мальбруг* сидел и долбил незрелую вишню. — Как бы мне сманить его на низ и не спугнуть?

Напрасно свистал Вильгельм, напрасно кликала Лиза и показывала ему издали кусочек сахару; он поглядывал на него и не трогался со своего места, подобно довольному поселянину, которого зовут к царскому столу и который с большим удовольствием сидит за куском черного хлеба и за чашкою густых сливок. Доклевавши до косточки желтую вишню, полетел маленький беглец, распевая, с дерева, подобно любимцу богатой дамы, который долго принужден был петь ей то, что противно было его сердцу, и который, наконец, имел счастье прийти в немилость у скучной своей повелительницы. Преследователи его тотчас за ним — он сел на березу, и чувство свободы, казалось, совершенно заглушило в нем глас благодарности, ибо он совсем не слушал жалобных криков Лизы.

Вильгельм приготовился было лезть на березу, но *Мальбруг* избавил его от труда и начал порхать с дерева на дерево, далее, далее и, наконец, перелетел за садовый плетень, на ближний луг. Вильгельм, хотя без крыльев, тотчас перебрался через забор и пустился за ним вслед.

А бедная Лиза должна была остаться назади; она приподнялась, сколько могла, на цыпочки, и смотрела из-за плетня на луг, где, по крайней мере, взорами могла преследовать любезного беглеца своего.

— Ах! Вильгельм, Вильгельм! Поймай его, пожалуй, поймай! — кричала она таким жалким голосом бегущему, что он готов был преследовать птичку до самой клетки *феи Стригиллины*, с которою познакомил нас шутливый Казотт^s. Луг был испещрен цветами, и шагов за сто от сада текла довольно широкая, но мелкая река. На берегу этой реки сел *Мальбруг* на кусту, так низко, что, казалось, только бы схватить. Вильгельм подкрался на цыпочках и лишь протянул руку, как вдруг малень-

кий плутец вспорхнул, перелетел на другой берег, уселся на тростник и запел громко, не «*Мальбруг в поход пустился*», а то, чему без органа выучился у самой природы. Так делаем мы все, каждый из нас выучивает что-нибудь с органом и поет столько времени, сколько ему должно. Офицер вытягивается во фронт и не смеет сойти с места во время строя; но ученье кончилось, и он танцует в маскараде.

Не должно было терять времени. Вильгельм, не думая нимало, прыгнул во всем платье в реку, бежал по уши в воде и хотя счастливо дошел до берегу, но не достиг еще своей цели.

Лиза смотрела за Вильгельмом, и слеза, покотившаяся из глаз ее, остановилась на разгоревшейся ее щеке; она трепетала, но уже не о *Мальбруге*. «*Бедный Вильгельм!*» — сказала она громко. «*Милый Вильгельм!*» — повторило тихо ее сердце.

Он пропал уже из глаз ее вместе с милою птичкою, перелезал плетни, прыгал через рвы и никогда не терял милого беглеца из виду. Но уже силы его начинали истощаться, уже он едва дышал, биение сердце его было очевидно, он готов был упасть от усталости и оставить упрямого *Мальбруга* во власть судьбе его, как вдруг посторонний, который давно невидимо поджидал способного для себя случая, вмешался в игру.

Ястреб носился в воздухе тихо, подобно злодею, ищущему погубить невинность. Ах! Для чего натура не дала человеку, подобно как жаворонку, инстинкта, предвидящего издали коварство и злобу тогда, когда они, кажется, более всякого плана витают над головами нашими! *Маленький Мальбруг* никогда не видал ястреба в золотой тюрьме своей, но природа говорила ему громко: «Берегись! Над тобой носится неприятель!» Чего не могла сделать ни любовь, ни сахарные бисквиты, то сделал, наконец, страх. Он спустился ниже, ниже, почти совсем на землю, сел на траву; ястреб бросился, и *Мальбруг* скрылся в пазуху Вильгельма.

— Поймал! Поймал! — закричал Вильгельм, — слава Богу, теперь-то ты не уйдешь!

Он забыл свою усталость, думал только о Лизе, о ее радости, и эта мысль придала новые силы. Невозможно было ему решиться обойти вокруг на большую дорогу, с большой дороги на мост и так далее в сад Жеромов; с птицею в руке побежал он назад, и с большею легкостью, нежели прежде, перепрыгивал плетни и рвы, которые разделяли его с Лизою; с птицею в руках бросился он опять в реку и переплыл ее, подымая высоко свою добычу.

— Вот он! Вот он! — закричал Вильгельм, увидев издали белеющее за плетнем Лизино платье. Радостные слезы покатались по щекам милой девушки, и когда Вильгельм прибежал к ней бездыханен, про-

мочен насквозь водою, с разодранными в кровь руками, с раскрасневшимся лицом и взмокшими от поту волосами, то посмотрела она на него нежными, исполненными чувства взорами, забыла и *Мальбруга*, и флеровое свое неглиже, обхватила его обеими руками и, рыдая, поцеловала горячие его щеки.

Добрый юноша и заслужил это. Он был так истощен, что не мог даже отвечать на Лизины ласки. Он бросился на траву и дыханием вбирал в себя воздух. Лиза не могла благодарить его словами; она молчала, но сия минута решила жребий ее жизни. Вильгельм должен был идти в город и переменить платье, но он не хотел. На другой день сделалась у него лихорадка.

ГЛАВА V

ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ

Хитрец Амур живет в сердце каждой девушки. Если ты в него поступишься и оно не откликнется, то не думай, чтобы его в самом деле не было дома — нет! Только твое посещение ему неприятно. Его без зазрения совести можно назвать величайшим господином в мире; за то и пользуется он иногда правами больших господ — то есть он нередко незнатных, честных бедняков, не имеющих ничего, кроме своей честности, не пускает к себе на двор и захлопывает двери перед их носом. Этот бессмертный имеет сходство с смертными, что позволяет любимцам водить себя за нос, любимцам, которые, однако ж, никогда не приходят у него в немилость. Читатель! Ты, конечно, отгадаешь их имя. Они называются *самолюбие* и *чувственность*. Но любовь имеет также и друга, который, по обыкновению, хотя не в такой милости, как льстецы, но не менее их силен. Этот друг есть *сожаление*; и как скоро он — как часто и случается — вступит в союз с прочими любимцами, то жестокое сердце тотчас *смягчается* по их просьбе.

Вильгельм, не думая, открыл, что не худо и *друга*, и *льстецов* привлечь на свою сторону. Уже тогда, как слезы его лились в *ручей* и горесть извлекала унылые тоны из его флейты, уже тогда закралась *жалость* в сердце Лизы. Переломление ноги питало это чувство, и лихорадка придала оному исполинские силы. *Самолюбие* шептало приятным голосом: «Для тебя взлез он на яблоню; для тебя бросился в воду». *Чувственность*: «Вот прекрасно! Какая связь между шестнадцатилетнею девушкой и чувственностью, скажет мне пожилая, разрумяненная баронесса, нюхая табак».

— Извините, милостивая государыня, очень большая и натуральная связь, если вы только этого тонкого чувства не будете смешивать с его искусственным братом, с *сладофрастием* — не правда ли? Антиной⁹ покажется для вас лучше, нежели голова Сократова, и кто станет винить вас за такую чувственность? — Вильгельм был прекрасный, стройный юноша: цвет здоровья, свежая прелесть юноши, ясные открытые глаза, алые губы, пламенный румянец, милое лицо — виноват ли я, что натура всему этому дала способность нравиться? И, наконец, не должны ли мы сказать с Буфлером¹⁰:

Que deviendraient les familles,
Si les coeurs des jeunes garçons
Etaient fait comme ceux des filles?*

Та же горница в Жеромовом доме, в которой за год пред сим Вильгельм слишком скоро выздоровел, сделалась и на сей раз сценою его радостей и страданий. Он вошел в нее с некоторым пламенным чувством, которое на несколько времени прогнало лихорадочную дрожь.

Почти по целым дням просиживала Лиза у его постели; отец ее мало заботился об этом, частью потому, что не подозревал ничего, а частью потому, что дела его, пришедшие с некоторого времени в беспорядок, много занимали его мысли и отвлекали его внимание от всего постороннего.

Лиза научилась несколько ботанике у одного старого француза, ученика Руссова, и получила в наследство после матери множество дорогих рецептов. Таким образом, разумея кое-что в медицине, вздумала она сама лечить милого больного, в чем, может быть, напоследок и без рецептов бы успела. Вильгельм принимал охотно все, что ни подавала ему милая рука ее, и выпил бы самый яд, когда бы она того захотела.

Приметив наконец, что лихорадка его прошла, но что любовь к Лизе никогда не пройдет в его сердце, сделался он задумчив, печален. Лиза ежедневно с попечительною нежностью спрашивала его о причине, но напрасно! Никакое лекарство не могло заставить его говорить. Он охотно бы сбросил тяжкое бремя с своего сердца, но ему недоставало на то смелости.

«Безумный юноша! Когда любовь твоя несмела, то прибегни к хитрости. Ты боишься рассердить Лизу? Хорошо! Но кто мешает тебе открыться ей так, как будто бы ты не хотел этого? Разве ты не в лихо-

* Что бы было с семействами, когда бы мальчики имели такие же сердца, как и девушки?

радке? Разве ты не можешь бредить? Бред лихорадочного, конечно, не приведет ее в сердце, — попытайся».

Так говорило *не знаю что* Вильгельму, и Вильгельм прислушивался с удовольствием. Несколько дней бродило в голове его хитрое намерение; он ждал только случая произвести его в действие.

Однажды вечером сидела Лиза у его постели и читала книгу, не знаю какую, только очень скучную, ибо она зевала изо всей мочи.

«Чего ты ждешь еще? Ободришь! Случай хорош!» — шепнула любовь на ухо Вильгельму — и Вильгельм почувствовал мужество Геркулеса в своем сердце.

Вдруг начал он туда и сюда метаться на своей постели и говорить непонятные слова. Лиза взглянула на него. «Что ты, Вильгельм? Не дурно ли тебе?» — Он не отвечал ни слова. Лиза повторила вопрос свой — то же молчание. Она положила книгу, встала, нагнулась к нему и смотрела с беспокойством в лицо его. Щеки его горели — это показалось ей подозрительным; голова его была горяча — это почла она возвращением лихорадки; глаза его ходили кругом, а дыхание было тяжело. Она испугалась; молча и с робостию стояла она подле него и ждала, чтобы показались какие-нибудь признаки.

Вдруг зашевелил Вильгельм губами: «Лиза, — сказал он, не обращая на нее глаз, — *милая Лиза!*» И тут начал он говорить о замках и хижинах, которые с нею показались бы ему раем. Иногда притворялся он, будто видел перед собою господина Жерома, будто просил его со слезами не презирать его бедности и не отказывать ему в руке Лизы; иногда видел он ее в объятиях другого, плакал и проклинал судьбу свою, стонал и приходил в бешенство.

Лиза была очень испугана. Она хотела бежать и не сходила с места; хотела кричать, просить помощи и — молчала. Вильгельм бредил, не останавливаясь, и так неумеренно, что привлек на себя все ее внимание. С восхищением слышала она признание из уст любезного, тем более что могла слышать его не краснея.

Как скоро наш притворный больной с успехом отыграл свою ролю и без робости обнаружил тайнейшие чувства своего сердца, то повалился он, обессилив, на подушки и посматривал полузакрытыми глазами на Лизу, чтобы узнать, каково действие театрального его искусства. Лиза почла сие обмороком, бросилась к окну за каплями; схватила ложку и думала сосчитать на нее двадцать капель, но она влила туда, по крайней мере, восемьдесят, ибо рука ее дрожала, и она считала так худо, как будто бы нумерация была для нее то же, что Кантова «*Critik der geinen Vernunft*»¹¹. Впрочем, если бы она и заблагоразумно пришла в себя, то больной шалун, конечно бы, не получил от

того никакой пользы, ибо по дороге — от окна к постели — пролила дрожащая рука ее, по крайней мере, три четверти лекарства; с последней четвертью подошла она к больному и сказала просящим голосом: «Милый Вильгельм!» Тут схватил он, вместо ложки, ее руку, с жаром прижал ее к губам, и только смотрел в глаза ее.

— Ты разольешь капли! — закричала Лиза, смешавшись, но капли были давно разлиты. Вильгельм заботился об них мало; он обхватил обеими руками прекрасную девушку, прижался лицом к ее груди и сказал запинаясь: «Лиза! Прости мне, я не брежу!» — «Что ты, Вильгельм?» — «Ах! Я беден! Я не имею ничего, кроме сердца, которое тебя любит!» — «Ты болен!» — «О! До смерти, если ты меня презришь».

Самое лучшее и самое опасное обыкновение немцев есть то, что женщины отправляют должности врачей. Как часто делают чудеса прекрасные девушки! Но за то, как часто бывают они жертвою своего человеколюбия, и сколько раз больной встанет здоровым, а лекарь становится больным!

Лиза чувствовала, что крепительные капли были ей нужнее, чем Вильгельму; она бы охотно убежала, но ей недоставало сил вырваться из рук его; она бы охотно стала браниться, но не могла выговорить ни слова, ибо огненные Вильгельмовы губы зажимали рот ее. Обманщик Амур весьма проворно обменял в сию минуту сердца их и с помощью своего волшебства показал им вдали не ужасную пропасть, а прелестный и цветущий сад.

ГЛАВА VI

ШКОЛЬНЫЙ МАСТЕР

Только *четыре* человека могут назваться счастливыми в свете; для трёх первых счастье проходит скоро-скоро, подобно туману, который издали казался берегом для обольщенных глаз мореходца; оно продолжительнее для последнего, если только незванный враг не вмешается в игру. Читатель! Ты хочешь знать имя сих редких счастливых? Изволь, я скажу тебе. Первые три называются: *ослепленный, влюбленный, дитя*, а последний — *ах!* Для чего должен я сказать горестную истину? Последний есть *безумный*. Все четверо имеют то сходство между собою, что всякий почитает себя богатым, всякий наслаждается одним настоящим и не думает о будущем. От сего-то сходства называют иногда влюбленных ребенками, ослепленными, безумными, и я ни словом противоречить не буду, когда и моих героев удостоят таких же титулов, потому

что это было совершенное *ребячество* — влюбиться в их лета, *ослепление* — открыться друг другу в любви своей и *безумство* — надеяться счастливой будущности.

Самые смелые надежды Вильгельма не заходили далее школьного мастера. Лиза думала, что любовь придает благородство каждому состоянию и делает счастливыми как нищего, так и вельможу; она уже наперед воображала, как будет заниматься хозяйством и смотреть за домом так, как надобно.

Вильгельм, которого лихорадка стала совсем другого рода, казалось, получил нечеловеческие силы с тех пор, как розовые уста Лизы коснулись пламенным губам его. Учители не называли его более зевачкою; он был самый примечательный, самый прилежный ученик, который все понимал с удивительною скоростью и никогда не терял из виду драгоценной своей награды, цели неутомимого своего прилежания. Он *теперь* в шесть месяцев выучивал более, нежели сколько *прежде* в шесть лет, и оказался на экзамене, в присутствии генерал-суперинтендента Гористопеймуса, с таким успехом, что, несмотря на свою молодость, получил довольно доходное место школьного мастера в деревне Вальдорф!¹²

С восхищением мореходца, который, сражаясь несколько недель с голодом и бурей на непостоянном море, вдруг видит цветущий плодородный берег, полетел Вильгельм домой обрадовать неожиданную вестью немощного отца своего, хотя и не определено было доброму старику наслаждаться плодами сыновнего прилежания, ибо он умер спустя несколько недель после того, но за то он до самой последней минуты своей веселился надеждою на старости жить спокойно, управлять хозяйством своего сына, и иногда — во время отсутствия господина учителя — учить ребятишек читать в школе. Посреди сих веселых надежд заснул Ганз Визе, и, может быть, это для него же лучше, ибо фантазия обыкновенно пишет *al fresco*¹³ свои картины; вблизи никогда не должно смотреть на них.

Само по себе разумеется, что Вильгельм, не получивши нового чина, тотчас отправился из отцовского дому к господину Жерому; однако ж он не преминул прежде оправить несколько свое платье и попудрить немножко передние волосы, которые во время экзамена замочились потом. На улице не видал он и не слышал ничего, шел, уставя глаза в землю, разговаривал много сам с собою, и улыбка, которая часто появлялась на губах его, показывала ясно, что это был не Гамлетов монолог.

— Сердечно рад! — сказал господин Жером, узнавши о счастье своего воспитанника, — благослови тебя Бог, сын мой! — Щеки Лизины вспыхнули; она готова была кинуться на шею к милому юноше; слово

сын мой, произнесенное отцом ее, возбудило тысячу веселых надежд в ее сердце.

Вильгельм должен был остаться обедать. Он сидел в безмолвной радости, не трогал ничего, насыщал только взоры, и когда старик налил в стакан вина и сказал ласково: «Будь счастлив, господин Визе!», то глаза Лизы наполнились слезами; она принуждена была встать под предлогом какого-нибудь дела, чтобы не заметили ее смущения.

Обыкновение пить за здоровье и хорошо, и худо: худо, когда оно не иное что, как пустая церемония при столе высокопревосходительных господ, ибо тогда теряет оно свою цену; хорошо, прекрасно, когда в кругу откровенности, за чашею вина торжествует семейственная, всеобщая радость, когда сердца разгорячены добрыми чувствами, когда в глазах старца навертываются слезы и юноша говорит с ним в один голос: *«Да благословит Бог обычаи отцов наших!»*

ГЛАВА VII

КАК БЫТЬ, ТЕРПИ!

Чрез несколько дней после радостного сего происшествия носильщик Ганз Визе, сбросив свою жизненную ношу, отправился к своим предкам, и Вильгельм, оросив сыновними слезами отцовскую могилу и вступивши в законное наследство, которое состояло из темно-синего праздничного кафтана с алым камзолом, пошел весело в Вальдорф. Он нашел там прекрасное, живописное местоположение, веселый домик, в котором жила добренькая старушка, жена покойного школьного мастера; огород с разными садовыми овощами, беседку из акаций и жасминов, десятины три земли, луг, добрых, честных поселян и прямодушного священника.

Все соответствовало его желаниям и надеждам; и, радуясь как ребенок, вступил он в свое маленькое хозяйство. Старая вдова его предшественника трепетала сперва от прибытия нового учителя; ибо она боялась, чтобы не выгнали ее из маленькой хижинки, в которой жила она более тридцати лет спокойно. Но страх ее был напрасен. «Останься со мной, старушка! — сказал Вильгельм, — я буду кормить тебя до самой смерти». Он думал о Лизе; она не знает хозяйства, старуха будет учить ее и пособлять ей: старуха умеет варить кушанье, и когда я приду от венца с невестой, то встретит она нас с сладким пирогом, а Лиза сладкие пироги очень любит; тогда стол будет накрыт в ясиновой беседке¹⁴, а после обеда поведу я ее в поле и покажу все наше богатство. В огороде

есть яблоки; они, конечно, не хуже тех, от которых я переломил ногу; а салат, верно, полюбится маленькому *Мальбругу*.

С такими сладкими надеждами засыпал он каждый вечер, до тех пор покуда не обжился хорошенько в новом своем жилище и покуда все, по его мнению, не было готово к принятию невесты. В одно утро отправился он с сильно трепещущим сердцем в город, придумывал и передумывал дорогою, как бы хорошенько изъясниться и тронуть Жеромово сердце, и забыл все, как скоро дрожащею рукою повернул замок у дверей его.

— А! Здорово, господин Визе! — сказал старик, — каково поживаешь, каково идут дела твои?

— Слава Богу, господин Жером! Помаленьку! Доход мой хорош.

Г. Жером. Радуюсь! Садись-ка.

Вильгельм. Теперь остается мне жениться.

Г. Жером. Жениться? Ты уже и о женитьбе начинаешь думать? Ну! Не худо, в час добрый! Только смотри, не суйся в воду, не испытавши броду; выбери хорошую, богатую невесту.

Лиза подслушивала у дверей и едва дышала; косынка на груди ее колебалась сильно, и одним только волнением своим показывала, что она не статуя.

Вильгельм (дрожащим голосом). Ах, господин Жером, на что мне богатство. Искусство быть богатым есть искусство желать малого, а я, благодаря Бога, всем доволен! Все равно, кто бы ни была моя жена, только бы она меня любила.

Г. Жером. Без сомнения; да ты сам молодец изрядный и найдешь много девушек, которые тебя полюбят.

Вильгельм (опустив глаза и повертывая шляпу). Я, я уже нашел одну...

Г. Жером. Право? Поздравляю! Позови же меня на свадьбу.

Вильгельм. Она, она называется — Лизою.

Господин Жером. Лизою? Радуюсь! И моя дочь Лиза.

Вильгельм. Господин Жером! Господин Жером! Вы мой благодетель! Вы вывели меня в люди, сделали меня человеком: кончите начатое — выдайте за меня Лизу!

— Что? Что? В уме ли ты? (*Трубка выпадает изо рта его.*)

Вильгельм схватил руку старика, осыпал ее поцелуями, обливал слезами и сказал запинаясь: «*Лиза меня любит...*»

— Глупо она делает, когда тебя любит, — сказал старик, пришедши немного в себя от прежнего удивления, — вы оба глупы и неосторожны. Хоть я и не люблю пустяков, но должно быть порядку в свете. Пусть ровный ищет ровного; к тому ж я католик, а в супружестве различие религий ни к чему не годно; одним словом, хотя я не виню тебя за

то, что ты загляделся на Лизу, ибо у ней личико изрядное, но советуую выгнать этот вздор из головы и не платить мне за благодеяния мои неблагодарностию.

В первый раз в течение семи лет намекнул Г. Жером о *благодеянии*; тем сильнее подействовало это на Вильгельмово сердце. «*Неблагодарностию*, — сказал он, всасывая дрожащими губами покатившиеся слезы, — Боже избави меня от неблагодарности!» Он обеими руками сжал свою шляпу, посмотрел горькими глазами на небо и сказал: «Я буду несчастлив, но, Боже, избави меня от неблагодарности!»

С сими словами пошел он к дверям. Старик был тронут; сожаление говорило ему в пользу его воспитанника, но глас рассудка загремел: *нельзя быть иначе*, и он отпустил бедного Вильгельма без всякой надежды.

Когда Вильгельм отворил дверь, то увидел Лизу, которая лежала на пороге и рыдала. От порога приползла она к ногам отца своего; она не могла говорить, но глаза ее выражались таким нежным, трогательным языком, который был весьма понятен родительскому сердцу. Г. Жером должен был вооружиться всем своим мужеством против сильного, немного красноречия своей дочери. Он сражался и победил, ибо причиною непреклонности честного старика было не различие состояний и религии, а нечто другое, в чем он сам стыдился признаться.

Роскошная жизнь, употребленная во зло доверенность расстроили все дела его; с некоторого времени думал он о средстве поправить свое состояние и надеялся его поправить, выдавши дочь свою за одного молодого богатого фабриканта, который недавно поселился в Л* и, казалось, находил Лизу по своему нраву.

Как ни часто браним мы людские предрассудки, но все им следуем, и все стараемся прикрыть ими дела свои. *Интерес* и *страсть* суть тайные колеса машины; предрассудок только кукла,двигающаяся пред нашими глазами. Итак, не сердись, читатель, на толстого человека; он сделал то, что бы многие на его месте сделали: он жалел о бедных несчастливцах и советовал им *терпеть*.

ГЛАВА VIII

СОЛДАТ

Много добродетелей, о которых мы ничего себе представить не можем. *Много*, сказал я? Нет, может быть, *все!* *Климат*, *темперамент*, *возраст* производят *здесь* святого — там злодея. Если *остиндец*, которому

плодородная земля сторицею возвращает посеянное им пшено, благотворительнее *финна*, достающего из камней, в кровавом поте лица своего, бедную свою пищу, то это еще не добродетель. И если г. Жером в шестьдесят лет был сам столько же терпелив, сколько и другим быть советовал, так сим был он обязан простывшей, сгущенной своей крови, которая перестала уже кипеть и текла медленно в его жилах.

Существо юноши состоит из *желаний* и *надежд*; существо старца из *привычек*: юноша может по произволу переменять свои желания и надежды; старец привязан к привычкам своим так, как устрица к своей раковине; оторви его от них, и он умирает. Господин Жером чувствовал, что спокойная жизнь, хорошие стол и стакан доброго вина для него необходимы; Вильгельм был не в силах удовлетворять его привычкам, и он твердо настоял в своем отказе.

Вильгельм расстался с Лизою точно так, как *юность* расстается с *жизнью*: посреди содроганий и стонов. «Ах! Для чего я не носильщик?» — закричал Вильгельм и бросился из дверей. «И тогда бы я одного тебя любила!» — стонала горестно бедная Лиза. Напрасно старый Жером прилагал все старание, чтобы ее рассеять. Он гулял с нею в саду — там лежал Вильгельм под яблоней; он прохаживался по лугу — тут Вильгельм бросался для нее в реку; созывал гостей — ах, на конце стола сиживал Вильгельм; дарил ей новое платье — Вильгельма нет, для кого наряжаться? Волосы ее были в беспорядке, цветы не поливались, и маленький *Мальбруг* умирал с голоду. Она перешла из своей спальни в горницу, где лежал больной Вильгельм. Тут часто сидела она на постели, где он первый раз поцеловал ее, и смотрела неподвижными глазами на пол, где еще видны были красные пятна от расплескавшихся капель.

Вильгельм возвратился в свою деревню с горьким равнодушием ко всему, что называлось *человечеством*. Добрая старушка, его хозяйка, приготовила было ему любимый пирог его, но он, не отведав, отдал его собакам. Он пошел в поле и улыбался, видя, как червь точил зеленые колосья. Гулял по саду и радовался, что некоторые цветы поблекли на яблонях. Невзначай поглядел он вверх и увидел ястреба, который утащил цыпленка со двора его, и закричал: «*Браво!*»

Сложив руки, нахлучив на глаза шляпу¹⁵, потупив голову, и не видя ничего вокруг себя, ходил он скорыми шагами около деревни; вдруг услышал он неподалеку от себя жалобный голос: это вывело его на минуту из бесчувствия; он приподнял шляпу и увидел плачущую крестьянку, которая в отчаянии ломала свои руки. Вильгельм, доселе нежный, добродушный, чувствительный, всегда готовый помогать несчастным, Вильгельм теперь не захотел и спросить плачущую о причине ее

горести. «Верно, какие-нибудь пустяки! — думал он. — Кто-нибудь обокрал ее, или скот ее попадал — безделка!» Он хотел пройти мимо.

— Ах, господин учитель! Господин учитель! — кричала бедная женщина, — помоги мне ради Бога!

— Бог тебе поможет! — сказал Вильгельм с неудовольствием.

— Ах, безжалостные наборщики! Они взяли у меня последнего сына! «Наборщики?» — как молния, блеснуло сие в душе Вильгельма.

— Где? Где они?

— Там, в харчевне. Ах, Боже мой! Я никогда не увижу бедного моего Генриха! Он слаб здоровьем и не выдержит солдатских трудов!

— Потерпи, голубушка; посмотрю, чем пособить тебе.

Скорыми шагами пошел Вильгельм в харчевню. Ужасная буря была в душе его. «Кто я? Что я? К чему еще привязано мое сердце? Отец мой умер, Лиза моя умерла — неужели после всего этого стану я еще жить здесь так же, как и прежде? Однообразие и спокойство приличны только счастливым; беспокойства, шум, сражения — нынче здесь, завтра там, нынче здоров, завтра калека — вот жизнь несчастного!»

Тут вошел он в харчевню. Прусский фельдфебель сидел за столом, тянул за здоровье короля и подсмеивался над изнеженным матушкиным сыном, своим рекрутом, который, сидя подле него, плакал.

Вильгельм отозвал фельдфебеля на сторону.

— Друг мой, — сказал он, — на что ты взял такого слабого, молодого малого? Что тебе с ним делать? Он и ружья носить не может.

— Как же быть! — отвечал усач, — нельзя иначе; французы не дают нам отдохнуть; если теперь будешь смотреть на рост да на широкие плечи, то армия скоро пуста будет!

Вильгельм. А если я вместо этого рекрута приищу тебе другого, который здоров, силен и осьми вершков?

Фельдфебель. То Бог с ним; пускай идет, куда хочет.

Вильгельм. Давай же руку; я твой рекрут.

Фельдфебель (*отступая назад*). Ты, господин учитель?

Вильгельм. Без околичностей, я твой рекрут! Болтать пустого нечего.

Фельдфебель. Не хватил ли ты лишнего? Такой хороший доход променяешь на два гроша дневной порции!

Вильгельм. Тебе до этого нет дела. Вот тебе моя шляпа, нашпиль на нее бант!

Фельдфебель (*взяв шляпу*). Ну, когда так хочешь...

Вильгельм. Нет! Постой: это наделает много шума в деревне. Когда ты идешь?

Фельдфебель. Нынешним вечером.

Вильгельм. Тем лучше. Свистни, когда поравняешься с моим домом; я тотчас выйду.

Фельдфебель. А задаток?

Вильгельм. Задаток? Ха! Ха! Ха! Задаток — мое горе: не беспокойся, я не обману тебя. Поди-ка, отпусти своего рекрута.

Фельдфебель. Я пойду не прежде, покада не уверюсь совершенно, и покада ты не возьмешь задатка.

Вильгельм. Когда так, то давай его сюда.

Он взял несколько червонцев и опять вошел с фельдфебелем в харчевню. Тут равнодушно видел он радость бедного Генриха и восхищение его матери. Последней отдал он свои червонцы, не для того, чтобы оказать благодеяние, но чтобы освободиться от денег. Сопровождаемый благословениями, которые его не трогали и которых он не слышал, пошел он домой, чтобы собрать и увязать белье свое. Старушка посматривала на него с удивлением; раз двадцать спрашивала, что ему сделалось, и не получала ответа. Когда солнце начало садиться, то фельдфебель свистнул по уговору. «Прости, старушка!» — сказал Вильгельм и накинул связку себе на плечи.

— Ах! Куда ты, Вильгельм, идешь так поздно?

— Не беспокойся, ложись спать. Мы увидимся, увидимся, когда воссияет утро, там, где и фабриканты и учителя, и католики и протестанты пробудятся вместе и станут по ряду друг с другом.

Добрая старушка не поняла его. Она посмотрела за ним вслед, покачала головой и побрела к соседке, с которою до самой полночи проломала свою голову, стараясь угадать, что сделалось с господином учителем.

Солнце всходило, когда фельдфебель с своим рекрутом взобрались на холм, с которого виден был город, Вильгельмова родина. Он мог легко различить зеленую крышку дома, в котором жила Лиза; сад у ворот был к нему ближе, и он чаял распознать милую яблоню.

Доселе шел он тихо и задумчиво за своим путеводцем; ни одно слово, ни один вздох не обнаружили горести его сердца. Тут вдруг остановился он, как прикованный цепью; простер руки к милому месту своего рождения и плакал горько.

— Не печалься, друг! — сказал фельдфебель. — Прослужив лет пятнадцать верою и правдою, воротись сюда опять; город до тех пор не уйдет никуда, и твоя сударка будет рада, когда увидит тебя с медалью в петлице. Поверь мне: солдатский мундир лучше этого черного платья.

— Моя сударка? — сказал Вильгельм, испугавшись, — почему ты знаешь?

Фельдфебель. Гм! Разве я слеп? Кажется, я довольно потер бока в свете, можно примениться. Зачем ты так пристально глазеешь в долину?

Вильгельм. Там погребен отец мой.

Фельдфебель (*ворча, открывает свою суму*). Ты не хочешь сказать? По мне все равно. На-ка, выпей! Не знаю, кто сделал славную песню; там написано: «*Мир вам, спящие во гробе!*»¹⁶.

Вильгельм взял и выпил.

— Кому эта чарка, брат, — живым, или мертвым?

— Зачем притворяться! Моей Лизе!

Фельдфебель. Лизе? За здоровье Лизы! — Он хлопнул стакан вина.

— Брат! Брат! — сказал Вильгельм, — ты кстати напомнил мне прекрасную песню:

Кто любезную имеет,
У кого есть милый друг...

— Ах! Этого я еще не могу сказать, но

Твердость в горестях, страданиях!
Вечность, вечность данным клятвам!¹⁷

— Пойдем! Мне стало легче.

ГЛАВА IX

ВЕРТОПРАХ

Душа наша иногда походит на поврежденный член человеческого тела, которого нельзя тронуть, не причиняя ему ужасной боли, но часто бывает довольно одного прикосновения искусной руки, чтобы каждый мускул привести в прежнее его положение. Случай заставил фельдфебеля выговорить несколько слов из Шеллеровой песни «*К радости*»¹⁸. Вильгельм знал ее наизусть, и живо возобновилась она в душе его; каждая строка ознаменована печатью совершенства, каждая строка непреодолимою силою влечет к небесным ощущениям. Не знаю человеческого страдания, в котором бы сия песня не была утешительным бальзамом. Благословение стихотворцу! Он оживил некогда мою горестную душу. «Благословенье стихотворцу!» — вскричал Вильгельм, когда почувствовал надежду, бодрость в своем сердце.

Еще раз взглянул он слезящими глазами на гроб отца своего, на зеленую кровлю и на милую яблоню; скорыми шагами побежал он

с холма и почувствовал некоторое облегчение, когда увидел, что за ним и последний шпиц колокольни скрылся. «Облегчение?» — спросит у меня читатель. Конечно! До тех пор, покуда человек видит перед глазами любезное для души своей, покуда может питать хотя малую надежду получить его, до тех пор страдает он более, нежели тогда, когда не имеет никакой надежды. Всякий раз, когда Вильгельм остав-лял *за собою* в сизой отдаленности гору, которую вчера видел в сизой отдаленности *перед собою*, всякий раз, когда, переправившись через реку, смотрел он на отваливающий назад паром, всякий раз чувствовал он, что сердце его более и более сжималось, что буря в груди его умолкала; и если это не было *спокойствие*, то по крайней мере была *тишина*.

Натурально, что фельдфебель дорогою сделался его приятелем. Сообщать тоску свою другим есть потребность любящего, и если б какое человеческое сердце не открылось для разделения горести бедного нашего странника, то бы он украл в ближней деревне собаку и ей бы стал жаловаться на судьбу свою. К тому ж Вильгельмов товарищ был не так суров, как то показывали его черные усы и толстый его голос. У него были жена и сын; он охотно говорил о войне и сражениях, но еще охотнее о доброй своей Груше и милом ребенке, оставленном на руках ее. Человек, знающий цену доброй жены и семейственного счастья, не может быть жестокосердным человеком. Наш усач терпеливо выслушивал жалобы печального Вильгельма, и сего довольно было для растерзанного сердца.

После нескольких дней путешествия достигли наши странники надлежащего места: это была пограничная крепость, в которую соби-рались рекруты, где учились они военным экзерцициям. Тихий, крот-кий, терпеливый и понятливый юноша скоро приобрел любовь своих начальников. Он выучился первым приемам нового своего искусства, не получив ни одного палочного удара. Он был верен, прилежен к своему делу и никогда не вмешивался в дурные дела. Почерк его был хорош; он учил детей своего капитана читать и писать и таким обра-зом скоро приобрел себе от всех любовь и даже почтение; самые раз-вращенные из его товарищей не питали к нему ненависти, ибо он никогда не старался быть проповедником и никогда не мешал им в их удовольствиях. Но между ими был один, который больше, нежели кто-нибудь, казался к нему привязанным, и сей-то *один* был самый распущенный.

Фриц Перльстат, сын одного немецкого дворянина, имел нежное сердце и пламенный, необузданный характер. Еще ребенком надоедал он до крайности своим учителям; делал над ними всякие проказы и был

первый на удалые выдумки и шалости: то сажал козявок в парики высокопочтенных своих манторов¹⁹, то захлопывал дверью косы своих товарищей и прочее, и прочее.

Благомыслящие наставники не жалели ничего для спасения души его, — ничего, ни увещаний, ни розог, но последние еще меньше действовали, нежели первые. Отец смотрел сквозь пальцы на шалости своего сына, и, может быть, все бы кончилось благополучно, когда бы злой дух Фрицев не навязал ему на шею неугомонной мачехи.

Не отступая от истины, можно сказать, что бывают очень добрые, прямодушные мачехи, но это случается редко, почти никогда. Французы называют такую редкость *belle mère*, а обыкновенную мачеху *marâtre* — сильное выражение, которого нет на языке нашем. Фрицев мучительный дух был *marâtre*. Она всем сердцем ненавидела живого, веселого юношу и каждую ребяческую резвость, каждую неосмотрительную шалость приписывала скрытным, коварным намерениям, злomu, испорченному сердцу. Таким образом мальчик становился час от часу большим шалуном*²⁰, и как мы ни за что так хорошо не платим, как за ненависть, то и Фриц с своей стороны воздавал мачехе своей равным за равное. Он выискивал все, чем только можно было раздражить ее, и портил все, что только попадалось ему в руки. Накласть сахару в масло, наловить мышей и потом впустить их в столовую, подложить мешок жуков и козявок под подушку своей мачехи, чтобы не дать ей заснуть во всю ночь — это были обыкновенные Фрицевы подвиги; каждый день заводил он новый шум в доме; более и более предупреждал он против себя отца, и мачеха в самом деле начала думать, как бы от него отвязаться.

Однажды надобно было ей идти крестить к одному богатому человеку; для такого праздника вынула она из сундука новый блондовый прибор²¹ и положила его на софу. Фриц увидел это и улыбнулся коварно. «Погоди, голубушка! Я тебе насолю», — сказал он и приманил старого большого кота, которой имел худую привычку и самые дорогие вещи ставить за безделку. Он положил его в блонды, и следствия превзошли его упование, но тут обрушилась на его голову давно грозившая туча.

— С Фрицем нет мочи более! — сказала мачеха. — Либо меня, либо его прочь!

— Но куда?

* Les marâtres font désertter les villes et les bourgades, et ne peuplent pas moins la terre de mendiants, de vagabonds, de domestiques et d'esclaves, que la pauvreté. «*Caractères*» de la Bruyère.

— Куда хочешь! Мне все равно; только я не могу жить с ним вместе. Разве он маленькая повеса? Отдай его в солдаты: ружье выгонит из него всю блажь.

Фриц смеялся; сестра его плакала и просила. Отец осмелился сделать несколько слабых возражений; все напрасно! Ужасное слово мачехи превозмогло, и не прошло еще месяца, как Фриц был уже мускетером²².

Но мускет не усмирил его. Хотя он и перестал делать прежние шалости, но все был тот же неугомонный, ветренный юноша, который всегда был готов прошибить лбом стену, и которого пылкость часто вмешивала в худые дела. Кто знает, чтобы с ним сделалось наконец, когда б случай не привел театрального общества в отечественный его город? Помощию денег, которые изредка присылала ему добрая сестра его, имел он случай быть в театре. *«Благодарный сын»*²³ была первая пьеса, которую он увидел; она сделала неизъяснимое впечатление на его сердце. Он смеялся и плакал. Это были первые слезы чувствительности; он стыдился проливать их и удивлялся, что находил в них удовольствие.

Сия минута определила благородные склонности душевных сил его. Хотя он и не совсем переменился, хотя находил еще удовольствие в шумных, рассеянных увеселениях, но зато были и такие минуты, в которые занимали его книги, доставляемые ему сестрою, в которые *Дон Кишот* и *Том Джон* заставляли его смеяться, а *Оберон* и *Дон Карлос*²⁴ наполнили душу его восхищением.

В сие-то время сделался герой нашей повести его товарищем, и самые сии книги, которые Вильгельм, получая от него, читал и перечитывал с жадностью, стали первыми узлами их союза; союз сей был еще весьма слаб, но время утвердило его до чрезвычайности. Пламенный Фриц следовал иногда советам хладнокровного своего друга; он не мог воспротивиться, чтобы не почитать их, и часто находил в том удовольствие. Вильгельм также изредка соглашался участвовать в шумных его удовольствиях, и часто присутствием своим предупреждал многие худые следствия, обыкновенно происходящие от несогласия или недоразумения между любимцами Бахуса. Одним словом, Вильгельм спустился к Фрицу, а Фриц возвысился до Вильгельма. Ежедневно открывал он в сердце своем новые, нежные чувства; ежедневно голова его становилась чище, душа образованнее, и наконец от прежнего юношеского распутства не осталось в нем ничего, кроме сей вспыльчивости и сего скоро возгорающего огня, который хотя не всегда показывает доброту сердца, но зато всегда сноснее одного мертвого, скрытного хладнокровия, означающего мрачную, нечувствительную душу.

ГЛАВА X

УБИЙЦА

Так прошли два года для бедного Вильгельма. С родины своей не получал он ни малейшего известия, но он и не желал никакого. Чего было ожидать ему? Что Лиза вышла замуж за богатого человека? Что она, может быть, сделалась уже матерью? Горестные известия, которых любовник никогда получить не желает! Вильгельм боялся даже встретиться с земляком своим; он не читал газет, опасаясь найти в них публикацию о замужестве Лизы; впрочем, Лиза была для него все та же милая, единственная Лиза, которую любил он в своей юности и — между нами будь сказано — Фриц Перльстат не так бы легко приобрел его дружбу, когда бы сестра его по случаю не называлась Лизою; не потому, чтобы сестра сия возбуждала в нем какое-нибудь участие — нет, он даже не хотел ее и видеть, сколько, впрочем, ни предлагал ему Фриц; ему только приятно было знать, что друг его любит творение, которое также называется Лизою. По сей-то причине он с удовольствием слушал, когда Фриц говорил об сестре своей, и всякий раз, когда он произносил ее имя, кивал он с веселым видом головою, как будто хотел сказать: *«И у меня есть сестра, которую зовут Лизою»*.

Если Вильгельм при такой безнадежной, продолжительной, неизменяемой любви не сделался жертвою горести, то сим обязан он неутомимой своей деятельностью. Свободное время, остававшееся ему от службы, проводил он в наставлении молодых детей и в образовании собственной души своей. Редко удавалось Фрицу отвлекать его от книг и выводить с собою на свежий воздух; надобно, чтобы погода была очень ясная, чтобы небо самое чистое для того, чтоб Вильгельм согласился выйти прогуляться. Если же что когда случалось, то он, несмотря на тоску свою, так же, как и другие, мог радоваться; ибо нет такой горести, которая не услаждалась бы воззрением на величественную, ясную натуру.

Однажды, в прекрасный майский день, Фриц пришел к нему и вызвал его прогуляться в ближнюю деревню. Разговаривая с дружески-любною откровенностию, шли они спокойно между цветущих барбарисовых кустов. Неподалеку от деревни, в которой хотели они выпить по стакану полпива, пристал к ним третий солдат, *Франц Рор*, человек сварливый, который всякого искал затронуть и обидеть. Когда же он имел хоть немного в голове, то бросался на всех без разбору, и всякий должен был либо отойти от него, либо ударить его в рожу.

Вильгельм и Фриц охотно бы желали избегнуть от такого товарища, но это было уже поздно; они только тогда его приметили, когда он стал перед ними и сказал: «*Желаю здравствовать, г. пастор*».

Фриц. Кого это изволишь называть пастором?

Франц Рор. Кого ж другого, как не высокоумного господина Визе, который скоро будет нашим полковым проповедником.

Вильгельм. Благодарю за доверенность.

Ф. Рор. О! Тогда тебе будет хорошо: ты будешь без всякой заботы посиживать в обозе, а мы, между тем, будем резаться с неприятелем.

Фриц. От твоего проклятого языка и в обозе спокоен не будешь.

Ф. Рор. Боже оборони! Как нам обижать капитанского любимца? Он же ставит нам всегда его в пример.

Фриц. Да, правду сказать, жаль, что ты и тебе подобные не подражают ему!

Ф. Рор. Вот прекрасно! Подражать! Да что б из этого вышло, когда бы солдаты вместо патронов вынули из карманов книги и вместо стрельбы начали бы читать неприятелю оду.

Вильгельм (*равнодушно*). Полно, Рор! Каждый занимается так, как хочет.

Фриц. И до этого никому нет дела — понимаешь ли?

Ф. Рор (*насмешливо*). А если не понимаю?

Фриц. Так я тебе растолкую получше.

Ф. Рор. Ого! Как бы это, например?

Вильгельм (*Фрицу*). Оставь его, Фриц, не отвечай ему.

Оба замолчали, но Франц Рор не отставал от них.

— Куда вы идете? — начал он снова.

Вильгельм. В Грюндорф.

Ф. Рор. Зачем?

Вильгельм. Выпить бутылку пива.

Ф. Рор. Ого! И господин пастор попивает?

Фриц. Послушай Франц, ты несносная тварь! Советую тебе замолчать, или худо тебе будет!

Ф. Рор. Не всегда ж хорошо бывает!

Фриц. Особливо с тобою.

Ф. Рор. Да! Ты сперва и со мною водился.

Фриц. Сперва! Теперь этого нет.

Ф. Рор. Право, брат, ты тогда был детина исправный, а с тех пор, как познакомился с этим плаксой...

Фриц. Замолчишь ли ты? Он мой друг, и кто его обижает, тот должен держать наготове свою саблю.

Ф. Рор. Моя готова!

Вильгельм. Пожалуй, Фриц, перестань горячиться! Ты видишь, что он нарочно тебя дразнит.

Ф. Рор. Конечно, господин пастор изволит бояться крови?

Фриц. Может статься. Но когда я расшибу тебе в кровь рожу, то это для него сносно.

Ф. Рор. Ах ты проклятая болтушка! Посмотрим, посмотрим...

С сими словами ударил он его в щеку, отсоскочил на несколько шагов назад и выхватил свою саблю. Как молния заблестала Фрицева сабля в воздухе; с слепым бешенством бросился он на бездельника и прежде, нежели Вильгельм успел кинуться, чтобы разнять их, лежал уже Рор у ног Фрица. Рор сам в ярости насунул на саблю своего противника, которая прямо попала в его сердце. Черная кровь полилась изо рта его и заглушила последнее проклятие, с которым он испустил дух свой.

— Ах, Боже! Боже! — закричал Вильгельм. — Что ты сделал?

Фриц. Дельно ему, собаке! Он сам меня затрогал.

Вильгельм. Что же с тобою будет? Тебя все накажут, как убийцу! Кто поверит свидетельству твоего друга?

Фриц. Гм, худо. Что же делать? Надобно бежать!

Вильгельм. А старик, отец твой? А добрая сестра твоя?

Фриц. Это тяжело! Но я пострадаю невинно.

Вильгельм. И за меня? Нет, нет! Я не допущу этого. Фриц! Оправься поскорее, вложи твою саблю в ножны, ступай в город, обвини меня, я, между тем, побегу....

Фриц. Что ты! В уме ли?

Вильгельм. Нельзя терять времени! Я все обдумал. Ты никогда еще не оставлял своей родины, ты не знаешь света, тебя тотчас поймают, а я уже знаю, как помочь себе. К тому ж у меня нет ни отца, ни матери, ни сестры, ни брата, судьба моя никому ни слезы не будет стоить.

Фриц (*утирая глаза*). А это разве не слезы? Или ты думаешь, что, сделав тебя несчастным, буду я спокоен? Или ты думаешь, что я не умру со стыда, увидев имя твое, прибитое на виселице?

Вильгельм. Незаслуженное наказание нимало не стыдно. Мое имя останется в твоём сердце, а сам Бог был здесь свидетель.

Друзья обнялись с нежностью. Но время не позволяло им предаваться своим чувствам; опасность умножалась больше и больше: ибо легко могли их застать подле трупа; каждая минута замедления была новым препятствием бегству. Вильгельм со всем красноречием старался доказать Фрицу, что ему необходимо должно с ним расстаться, и что любовь к своим родственникам, на которых упадет весь стыд его, требовала от него сей жертвы; наконец, если он не убедил его совер-

шенно, то, по крайней мере, ослепил и притом так хорошо, что бедный Фриц сам не знал, что делал. Пропливая слезы, дал он кошелек свой в руки честному юноше и безмолвно прижал его к своему сердцу. Вильгельм вырвался из его объятий; с легкостью оленя полетел он через поле, ибо вместо убийства лежало доброе дело на душе его.

ГЛАВА XI

ЛАСКОВЫЙ ПРИЕМ

Если беглец с несколькими гульденами в кармане и чувством сделанного добра в душе берет в руки нищенский посох так же радостно, как венценосец золотой свой скиптр, то какой еще награды требовать нам от Бога? Мы награждены уже собственным своим сердцем. Около вечера услышал Вильгельм без содрогания три пушечные выстрела и скоро потом колокольный звон в ближних деревнях. Он знал, об чем дело было, и спрятался в ров под мост, на котором скоро услышал лошадиный топот: это были гусары, разосланные за ним в погоню. Он долго пролежал в своем убежище и оставил его только тогда, когда совсем сделалось темно и когда мрак стал благоприятен его бегству. Хотя дорога ему была и незнакома, но он знал, что граница была близко, и надеялся кое-как до нее добраться; наконец после двух часов шествия увидел он крест, который возвестил ему счастливое прибытие на чужую землю. Земля сия была католического исповедания.

Обессилев, повалился он на траву. Скоро занимающаяся заря возвестила ему наступающий день, и он приметил неподалеку от себя деревню, в которой решил пробыть до самого вечера, ибо он боялся без паспорта продолжать путь свой днем в иностранной, незнамой ему земле. Тут приметил он в траве, подле рощи, маленький чистенький дом, построенный на берегу небольшого озера и окруженный густыми вязами. «Наружность бывает зеркалом души, — думал он. — Попытаться; может быть, здесь живет человек, которого рука посвящена благодеяниям, которого сердце так же чисто, как его жилище. Если я хозяину этого дома чистосердечно признаюсь в том, что принудило меня к бегству, то он, конечно, не откажет мне дать убежище до вечера».

С таковым намерением подошел он к чистому домику и постучался у ворот. Маленькое окошко растворилось, и круглая, довольно толстая голова показалась оттуда. Остренькие, проворные глазки выглядывали из-за одутловатых щек, которые величественно опускались до самого подбородка.

— Чего тебе, дружок? — спросила Вителлиева голова²⁵ у нашего беглеца.

— Нельзя ли мне поговорить с вами наедине?

— Погоди, голубчик, погоди немного; тотчас выйду.

С сими словами та же голова спряталась опять тихо в окно. Скоро без всякого шума отворились ворота, и Вильгельм увидел, что голова служила только моделью брюху, которое, будучи подвязано широким кушаком, переваливалось с боку на бок при каждом шаге пузатого молодца. Вильгельм знал по собственному опыту, что и толстые люди бывают благодетельны, а потому без всякой сомнительности пошел вслед за жирным своим хозяином. Этот хозяин был зажиточный откупщик, который сидел в деньгах, как мышь в крупах, и который, наживаясь, как Крез²⁶, от богатых откупов своих, верой и правдой набивал пространный свой желудок.

Два рода ласковости между людьми: одна, подобно пыли с бабочкиных крыльев, только марает лицо человека; другая имеет свежий, румяный цвет осеннего плода (доказательство внутренней зрелости) и укрощает жажду утомленного путника. Человек, который всегда улыбается, как скоро заговоришь с ним, которого гладкие слова льются, как мед, такой человек имеет только одну поверхность ласковости; она еще не его собственность. Наш маленький, толстобрюхий откупщик имел одну *поверхность*, но и от ней получал он изрядный доход. Он и в нужде, и не в нужде умел улыбаться и виться, как змея. Таким благородным ремеслом нажил он довольно сильных покровителей, которые во многих случаях бывали ему полезны своим кредитом и часто выводили его из бед. За то служил он им усердно кошельком своим.

Вильгельм был не физиогномист²⁷ и не разобрал, какого рода ласковость его хозяина. Без всякого страха — ведь он не был преступник — объяснился он с дружелюбным, улыбающимся откупщиком, который выслушал его, нимало не изменяя в лице своем.

— Хорошо, друг мой! — сказал он тихим голосом. — Не бойся ничего, поди за мною.

Он привел его на чердак, где было набросано сено.

— Ты, верно, проходил всю ночь, устал и захочешь отдохнуть? Здесь тебе никто не помешает. Я принесу тебе сюда обедать; не погневаешься, чем богат, тем и рад. Когда же будет темно, то я тебя отправлю с Божиею помощью. Недалеко отсюда есть маленький город; исправник мне друг: я дам тебе к нему письмо, чтобы он снабдил тебя пашпортом — без пашпорта очень худо; к тому ж советую тебе как можно скорее переменить свое платье, иначе ты тотчас попадешься!

Вильгельм, тронутый и восхищенный таким редким добродушием, от всего сердца поцеловал пухлую руку грузного своего хозяина. «Я так и думал, — сказал он сам себе, когда остался один, — вера, которую исповедует Лиза, учит человеколюбию!» Беспечно бросился он на свежее благовонное сено и проспал спокойно несколько часов. Проснувшись около полудня, увидел он перед собою своего хозяина, который принес ему чашу похлебки, окорок ветчины, хлеба и бутылку полпива²⁸.

— На тебе, друг мой, поешь немного; вот и письмо к исправнику; только советую не уходить прежде ночи: в деревне есть прусские гусары; харчевня недалеко, и ты хорошо сделаешь, когда подождешь до тех пор, как все улягутся. Когда же ты совсем переоденешься и достанешь паспорт, то никто тебя не тронет, и ты с Божиею помощью будешь в безопасности.

Новая благодарность со стороны бедного беглеца. Доброхотный хозяин оставил его с тою же улыбкою, с тем ласковым лицом, как и прежде. Вильгельм наелся и напился досыта и заснул опять. К вечеру проснулся он подкрепленный новыми силами и предался мыслям, к которым уединение настраивало его душу. Горестно взирал он на прошедшее и безнадежно на будущее. Он не знал, куда деваться; не знал, что с ним будет, и со всем тем был довольно равнодушен. Человек, могущий работать, везде найдет себе хлеб; и если должно ему отказать от любви, то все равно, где бы он ни нашел его.

Доселе в доме откупщика царствовала мертвая тишина. Вильгельм не слышал ничего, все было спокойно. Две мыши, привлеченные запахом его окорока, довольно тихо расхаживали подле него и, казалось, были единые обитатели домика. Но когда стало смеркаться, то показалось ему, будто он слышит под собою стон. Он стал прислушивать — все опять утихло. «Я ошибся!» — подумал он и выбросил все из головы своей. Но только начал он заниматься другим, как тот же стон послышался в другой раз. Он остановил дыхание и слушал. Тут очень явственно мог он различить то продолжаемые, то отрывистые вздохи и стенания; они, казалось, происходили из горницы прямо под чердаком его. Дом был деревянный, и тонкий пол способствовал его любопытству. Он приложил к нему свое ухо и слушал прилежно. Тут узнал он, что не совсем ошибся в своем мнении. Но чьи были сии стоны? Какое несчастье извлекало их из страждущего сердца? Сего никак не мог он угадать.

Иногда казалось ему, что слышит и голос своего хозяина; из сего заключал он, что в доме был еще, кроме его, несчастный, который, также как и он, принят человеколюбивым его покровителем; только не

мог он понять, от чего происходил такой пронзительной вопль? Если это был больной, то надлежало, чтобы его болезнь была очень тяжела, ибо одно сильное, нестерпимое страдание могло исторгать такие болезненные стоны. Жалостливое сердце его мучилось вместе с незнакомым страдальцем: он забыл собственную свою опасность.

К ночи сделался стон пронзительнее и жалобнее, и, наконец, превратился в крик. Сей крик был женский; он терзал душу Вильгельма, который охотно бы желал быть на ту пору в харчевне с гусарами. Через полчаса все утихло снова. Вильгельм услышал, что кто-то крадется; калитка заскрипела: он выглянул в слуховое окно и увидел своего хозяина, который тихо пробирался по двору в сад и, казалось, нес что-то под плащом. Вильгельм последовал взорами за ним в сад. Он остановился под деревом, положил свою ношу на землю и начал копать ее лопатой.

Женский крик между тем превратился в томные вздохи и отвлек сострадательного Вильгельма от странного зрелища, которое происходило перед его глазами. На цыпочках сошел он с чердака вниз по лестнице и, удерживая дыхание, подкрался к горнице, где слышались жалобы. Лампада светила в дверь, которая была не заперта, а отворена немного. Он послушал, заглянул в нее. Пол облит был еще дымящею кровью, и ночник слабо освещал кровать, на которой лежала бледная как смерть девушка. Брось перо! И не старайся выразить ужасных чувств Вильгельма! Боже! Боже!.. Это Лиза!

Бездыханен, полумертв, стоял бедный юноша; ноги его, казалось, были прикованы на одном месте, колена его дрожали, волосы стояли дыбом; неподвижно смотрел он на страшное привидение, которое медленно оборачивало вокруг впалые глаза свои и стонало. Он хотел кричать — дыхание спиралось в груди его; хотел бежать — ноги его окаменели. Он не помнил, сколько времени простоял на одном месте, как вырвался из сего ужасного логовища преступлений, как дошел до ворот дома и очутился на большой дороге: все это представлялось ему на другое утро как будто во сне. Он опомнился только тогда, когда увидел себя, сидящего под деревом на поле, когда солнце было уже довольно высоко, и одна молодая крестьянка подошла к нему, спросив у него ласково, *не болен ли он?* И попотчевала его молоком.

Он посмотрел на нее неподвижными глазами и, казалось, пробудился от тяжкого сна. «Благодарствую, моя милая! — сказал он тихо. — Мне ничего не надобно».

Крестьянка поглядела на него с сожалением, покачала головой и пошла.

ГЛАВА XII

ТЮРЬМА

Когда небо ниспослало на землю ужас, то повелело оно сопровождать его *бесчувствию*, благодетельному его брату! *Ужас* в одно мгновение разрушил бы машину человечества, когда бы оно не спасалось в объятиях *бесчувствия*.

Ничего не помня, с охладевшим сердцем оставил Вильгельм мрачную сцену оных ужасов; поспешно, без всякого размышления шел он вперед или, просто сказать, передвигал ноги. Он поравнялся с харчевней, увидел при свете луны двух гусар, спящих на скамейках, и нимало не ускорил шагов своих. Спустя несколько часов бросился он, истощенный усталостию, на траву под дерево; утренняя роса промочила его насквозь — он не чувствовал; день показался — он не видал его; жаворонок вился над головой его и пел громко утренние свои песни — он не слышал ничего. Когда крестьянка с молоком отошла от него, то он смотрел на нее долго, без всякого размышления; потом склонил свою голову на землю и вырывал с корнем полевые цветы вокруг себя.

Около полудня поднялась гроза: гром гремел вдали, Вильгельм слышал его как будто бы сквозь тонкий сон и чувствовал некоторое удовольствие.

Небо обложилось мраком: он с жадностью смотрел на черные тучи. Крупные дождевые капли обливали его лицо и освежали пламенные его щеки; молния час от часу становилась сильнее, гром час от часу увеличивался. Вильгельм дышал свободнее. Сильный проливной дождь, сопровождаемый вихрем, полился из черных облаков. Близкая соломенная рига могла бы служить убежищем для путника: Вильгельм видел ее и не трогался с места.

В сию минуту проехала мимо его команда гусар; чтобы защитить себя от непогоды, укутали они лица свои епанчами²⁹ и ехали во всю рысь. Они не видали Вильгельма, но Вильгельм видел их: по мундиру узнал, что они прусаки, и не чувствовал страха, и не мог даже понять, для чего разъезжали они здесь без всякого дела.

Гроза увеличивалась больше и больше; гром гремел сильнее, и грудь Вильгельмова облегчалась постепенно. Туча была прямо над его головою; вдруг молния с страшным треском ударила в дуб, отстоявший от него шагов на сто, и расколола его от вершины до корня.

— Для чего ж не в это? — сказал Вильгельм, простерши руки к дереву, под которым находился. — Боже! Размозжи мою голову Твоим громом. Ах! На что, на что мне эта жизнь? Возьми ее; она мне ужасна!

Радуйся, юноша! Опять отверзаются сжатые судорогою безмолвные уста твои; ропщи, жалуйся, и если слезы твои смешаются с холодными каплями дождя на горящих щеках твоих, то адский дух отчаяния пролетит мимо и не коснется тебя черными своими крыльями. Так, уже с удаляющимся громом ниспускается на тебя кроткий Гений горести. Буря молчит, солнце проникает сквозь влажный покров, птицы начинают петь; ты плачешь!

Плачь! Рыдай! Слезы сии прогоняют возрождающуюся мысль самоубийства. «Я еще не совсем отторгнут от живущих в мире! — вскричал он. — У меня еще есть друг, которого спасти должно; друг, которому я обещал сохранять жизнь свою. Беги! Беги! Каждый шаг твой приносит ему спокойство и удаляет тебя от неверной. О Лиза! Лиза! В какую пропасть ты низверглась!»

Он встал с места и к вечеру пришел в городок, о котором говорил ему откупщик. Здесь вспомнил он о письме к исправнику, и хотя сердцу его было противно принять помощь от того, кто осквернил его святилище, но мысль: «*Теперь единственная должность твоя думать о спасении друга*» победила сие отвращение. Он пошел к исправнику, увидел старого, поседевшего человека с добродушным лицом и отдал ему письмо.

Старик надел очки, стал читать, удивился. Посмотрел сомнительно на Вильгельма, начал читать снова, и движение неудовольствия показалось на губах его. Он снял с размышлением очки, положил письмо на стол и прошел несколько раз по горнице. Наконец позвонил он дрожащею рукою в колокольчик: полицейский солдат вошел в комнату.

— Друг мой! — сказал старец Вильгельму. — Жалею очень, что принужден тебе сказать, что тебя обманули. Ты попался в худые руки. Если бы ты был просто дезертир, то бы я охотно стал смотреть на тебя сквозь пальцы, но в этом письме обвиняют тебя в убийстве; итак, прости меня, ты мой арестант. — *(К полицейскому)*: — Возьми его.

Вильгельм окаменел.

— Возможно ли? — вскричал он. — Столько злости под личиною добросердечия и кротости! Этот злодей, который так бесстыдно употребляет во зло доверенность гонимого судьбою, этот злодей сам обольстил невинную девушку, умертвил собственное дитя свое и прошедшею ночью зарыл его под деревом в саду своем.

Прямодушный старец содрогнулся, услышав слова сии. Вильгельм, которого сердце было до крайности растерзано, рассказал ему все, до последнего обстоятельства, не думая, в какую опасность ввергал он бедную Лизу. С расстроенными чувствами, с разрушенною доверенностию к любви и человечеству последовал он за полицейским в тюрьму свою, где тяжкая железная цепь приковала ногу его к стене. Впрочем, обхо-

дились с ним довольно ласково, столько, сколько позволяла строгая должность судей его.

В следующую ночь старик с несколькими полицейскими явился в домик испуганного откупщика. Родильница не запиралась ни в чем. На вопрос, где ее дитя, отвечала она со слезами, что его у ней отняли и, хотя ей самой хотелось кормить его грудью, отдали чужой крестьянке на воспитание. Сие сказала она с выражением невинности и чистосердечием, но у коварного злодея выступил холодный пот на лице.

Солдаты отправились в сад, стали обыскивать: увидели под одним деревом свежую, недавно взрытую землю; начали копать и нашли новорожденное дитя, обернутое окровавленной простынею; большая булавка была воткнута в его темя. Полицейские схватили преступника и обремененного цепями бросили в тюрьму, из которой только к смерти надлежало ему выйти. Но он не умер на эшафоте; пронырливый злодей имел много покровителей: их заступление избавило его от достойного наказания; он скрылся, и с тех пор не было об нем ни малейшего известия,

Бедная Лиза, узнавши о убийстве своего младенца, лежала целые три дня без чувств и на четвертый была почти без ума. Человеколюбивый исправник не хотел отягчать ужасного жребия ее заточением. Он велел сыскать для нее лекаря, приставил к ней надзирателя и служанку, и только по прошествии месяца, когда лекарь уверил его, что ее без всякой опасности переместить можно, была Лиза отведена в тюрьму.

Вильгельм в течение сего месяца томился в оковах и не знал, какой жребий ожидал его. Судебные обряды были причиною замедления пересылки его в полк; надлежало несколько раз писать в гарнизон прежде, нежели пришло известие, что отправлена за ним команда. Честный исправник хотел ускорить его выдачею, ибо тюрьма Вильгельмова была только одна в маленьком городке, в которую можно было сажать колодника, не опасаясь повреждения его здоровья.

Однажды утром, когда юноша старался приманить к себе мышь хлебными крошками, услышал он, что крепкие запоры застучали и двери тюрьмы его закричали: вдруг один полицейский солдат втокнул к нему девушку, которая упала без чувств на пороге. «Лиза!» — вскричал громко Вильгельм, загремел цепями и рванулся изо всей силы, чтобы выдернуть железные пробой из стены. Но тщетно! И в последнем утешении *помочь любезной преступнице* отказывала ему жестокая судьба его. Он застонал от бешенства... Этот стон, этот ужасный звук цепей вывел несчастную из бесчувствия: она открыла глаза и задрожала, чая видеть страшное привидение.

Вильгельм протянул к ней руки; она вскочила, чтобы кинуться к его сердцу, но вдруг совесть и стыд повергли ее опять на землю.

— Нет! Я недостойна твоих объятий; ты не знаешь, зачем я здесь.

— Знаю, все знаю! — закричал Вильгельм. — Ты бедная, обольщенная невинность. Но я надеюсь на Бога; ты еще не убийца своего младенца!

— Ах! Нет, нет! — Она притащилась на коленях к своему любезному, схватила его цепи и прижала их к слезящим глазам своим.

Но кто изобразит горестную сцену сей первой ужасной минуты? Отрывистые восклицания, пресекаемые рыданием; горькие слезы и тяжелые вздохи — вот что ознаменовало первые часы их свидания после долгой разлуки.

— Ах, Лиза! Лиза! Как это возможно? — повторял Вильгельм в неизъяснимой горести, и Лиза, рыдая, рассказала ему все, что желала бы утаить от всего света, от самой себя.

ГЛАВА XIII

ПРИЗНАНИЕ

— Добрый Вильгельм! — начала говорить несчастная. — Не гордость и не различие закона были причиною отказа отца моего. Мы и весь город почитали его богатым; он и был богат прежде, но злые люди обманули его. Он искал мне такого жениха, который бы мог поправить расстроенное его состояние. Ах, если б я знала, для чего он так ревностно желал этого ненавистного союза; если б я знала, что он боялся терпеть нужду на старости, то бы, конечно, пожертвовала ему всем, и самым спокойствием своей жизни. Тогда бы не стала я опускать глаз пред моим любезным, тогда бы смело поглядела ему в лицо и сказала: «Бедная, постоянная Лиза исполнением должности заменила безнадежную любовь свою!»

Но судьба определила иначе; я должна была испытать, сколь много несчастий может перенести слабая, неопытная девушка. Ложный стыд препятствовал говорить бедному отцу моему, он мучился беспрестанно. Когда ходил в свою контору, то видел, что день от дня состояние его больше и больше приходило в упадок; когда возвращался домой, то образ плачущей дочери, которая крушилась о тебе, терзал нежное его сердце. Он не знал, куда деться.

Когда же, наконец, проведала я о твоём побеге, то слезы мои не переставали литься; я по целым неделям просиживала одна в своей

горнице, с тоскою в сердце. Дом наш — прежде место веселостей и удовольствий — опустел, как гроб; унылая Лиза потеряла всю свою свежесть, шаталась, подобно тени, туда и сюда, и перестала служить утешением бедному, удрученному летами и горестию отцу своему.

Несчастный старик томился и скрывал свою горесть; мучительная тоска истощила, наконец, его силы: он слег; на одре смерти благословил он тебя и меня и скончался. Там Бог наградил уже его за все претерпенное в этой жизни. Смерть его растерзала бедное мое сердце, но я еще не знала всей великости своих несчастий! Надежда меня не оставляла. Я свободна, думала я, богата всем, а больше всего родительским благословением; я буду искать Вильгельма; голос любви всюду слышен, во всех «Ведомостях» буду публиковать об нем; и если я его найду, если он возвратится в мои объятия, то мы разделим с ним все оставленное моим родителем: *богатство и благословение*.

Такие сладкие мечты утешали горестное мое сердце в течение первых недель до тех пор, как наконец приехал ко мне один довольно зажиточный родственник мой, пересмотрел бумаги покойного и очень сухо объявил мне, что я нищая. Осиротевшая нищая, не привыкшая своими руками доставать хлеб, без друзей, без знакомых, совсем чуждая в свете — куда было мне деваться? Где искать спасения от голода? Мой зажиточный родственник, опасаясь навязать себе на шею лишнюю тяжесть, говорил много о своей многочисленной семье, о малом своем достатке и советовал мне ехать в Минстер к одной старой тетке, о которой я от роду не слыхивала. Нужда принудила меня последовать его совету: я не взяла из отеческого дому ничего, кроме маленького *Мальбруга*, и добралась кое-как до Минстера к старой своей тетке, которая была очень богата, очень набожна и очень скупа.

Долго сомневалась она, признать ли меня своею родственницею или нет. Наконец она решилась принять меня, по крайней мере, в дом, чтобы, как сама она говорила, спасти грешную свою душу. Не знаю, можно ли спасти ее таким средством. Она через силу снабдила меня тем, что было мне необходимо, и каждый кусок мой отравляла упреками и оскорбительными насмешками над худым хозяйством доброго отца моего.

Я не помню, когда бы я не плакала в ее доме; я снесла тут более, чем сколько думала когда-либо снести в счастливые дни своего младенчества. О, когда бы во цвете невинности сошла я в могилу! Но судьба определила иначе и не утомилась еще гнать меня.

Случай привел в дом наш откупщика Бертрама. Он жилал прежде в Минстере и был знаком моей тетке; никто не умел так хорошо, как он, принимать на себя личины прямодушия и кротости; сему искусству

одожден он доходным откупам. Он увидел меня, и я ему полюбилась. Дом его отстоял на несколько миль от Минстера; он часто приезжал к нам и проживал по целым неделям в нашем доме; только во все это время я не слыхала от него и одного слова, которое могло бы оскорбить мою невинность.

Наконец вздумал он предложить моей тетке, чтобы она отдала меня к нему в управительницы. Хотя и самому ему, как говорил он, было неприятно, что я так молода, но он полагался на мои хорошие правила и на свою добрую, всем известную репутацию. Тетка моя и не требовала лучшего; она не переставала желать мне всякого счастья, хвалить добродушие и честность Бертрама и представлять мне со всем красноречием, *что нельзя желать лучшего для моего состояния и сохранения доброго моего имени от всякого порицания и клеветы.*

Я легко могла заметить, как усердно хотела она от меня отделаться; к тому ж мне было невозможно подозревать злодейского сладострастия под сею кроткою, дружелюбною личиною. Прибавь к тому, милый Вильгельм, что состояние мое час от часу становилось несноснее, и ты без труда поймешь, что мне не можно было не согласиться на просьбу Бертрама и на представления моей тетки.

В течение нескольких месяцев не имела я ни малейшей причины раскаиваться. Мой хозяин поступал со мною с наружною благосклонностию и предупреждал, сколько мог, умеренные мои желания; казалось, что *он* более зависел от *меня*, нежели я от *него*. Натурально, что давно желанное мое *спокойствие* возвратилось; *горесть* моя утихла, и только благодарность наполняла опустевшее мое сердце.

Правда, иногда казалось мне, что он с необыкновенным жаром устремлял на меня глаза свои: я называла это *благосклонностию*, но это была *похоть сладострастного*. Позволь мне умолчать о всех адских происках оболстителя, искавшего обмануть невинность! Я скажу только, что, не успевши развратить моего сердца опасными правилами и воспламенить моей чувственности сладострастными картинами, прибегнул он, наконец, к злодейской хитрости: вмешал усыпляющие соки в мою пищу и воспользовался минутою бесчувственного, подобного смерти сна, чтобы похитить честь мою и сделать меня навек бедною, несчастною тварью! Ах! Я уверена, что в минуту бы оставила ненавистный дом его и бросилась в объятия моей тетки, когда бы сначала могла обозреть проклятый план его. Лучше сносить унижение, нежели подвергать опасности беспомощную свою невинность. Но я слишком надеялась на сердце, в котором жил Вильгельм; на правила, которые поселил в нем отец мой. Ах! Я не знала, что есть минуты, в которые чувственность побеждает слабую добродетель.

Я наказана; чаша страданий моих уже полна; я не боюсь больше судьбы и радостно иду в тюрьму, чтобы сокрыть стыд свой — так, по крайней мере, думала я за несколько часов доселе. Я не чаяла, что мне оставалось еще вынести ужасный, нестерпимый удар рока; я не чаяла найти в тюрьме своей того человека, от которого бы охотно скрылась в могилу. Нет! Нет! Я ропщу напрасно. Это усладительная капля на иссохший язык мой. Мне не должно оставить свет, не выдав моего Вильгельма, не получив от него прощения... Вильгельм! Вильгельм! Не откажи мне в последнем утешении».

Она лежала у ног его и обливала слезами его колена; волосы ее в беспорядке вились около цепей его; дрожащие руки обнимали блок, к которому он был прикован. Вильгельмово сердце раздиралось, слезы его катились градом и мешались со слезами Лизы.

— Я люблю тебя и буду любить по самую смерть свою! — вскричал он, рыдая. — Бедная, несчастная Лиза! Я, я один во всем виноват! Безрассудный побег мой причиною твоих бедствий. Если б я в своей хижине терпеливо ожидал милосердия Божия, который и верную любовь так же, как и добродетель, венчает, то бы мы жили теперь в блаженной тишине и однообразии, богатые умеренностию. Как можно мне обвинять тебя в своем малодушии? Я один причиною твоей гибели.

Так жаловались несчастные, оправдывали друг друга и обвиняли лишь самих себя. Через час отворились двери тюрьмы: вошла команда солдат, и тюремщик отдал им в руки Вильгельма. Лиза упала без чувств и обхватила в отчаянии блок, к которому был прикован ее любезный. С трудом оторвали ее от него; она осталась на полу в ужасных конвульсиях и когда открыла глаза через несколько часов, то уже окружали ее пустота и мрачность.

ГЛАВА XIV

БЛАГОРОДНЫЙ СПОР

— Друг мой! Ты глупо сделал, — сказал капитан Вильгельму: — это еще не беда, что ты воткнул саблю в брюхо негодяю Рору, это бы и всякий сделал; к тому ж, по словам Перльстата, он был пьян и сам тебя затрогал, но зачем было тебе бежать? Теперь сам подумай, что с тобою будет.

— Что Богу угодно! — перехватил Вильгельм без всякой робости.

Капитан. Ты, брат, кажется, очень спокоен?

Вильгельм. Я приближаюсь к концу своих страданий.

Капитан. Жаль мне тебя! Ты всегда был добрый малый; дети каждый день о тебе спрашивают; я буду стараться помочь тебе. Правда, без шпицрутена тебе не обойтись! Ну, да что ж делать? Только бы нам избавить тебя от виселицы.

Вильгельм. Ваше благородие, этим вы не окажете мне никакой милости.

Капитан. Э! Брат, стыдись! Если хочешь умереть, так умирай на поле с саблею в руках, а не на виселице. Завтра первый допрос твой; смотри, не дурачься; отвечай только то, чего от тебя требовать будут, и, ради Бога, складывай всю вину на мертвого; он не может тебе противоречить.

С сими словами отпустил добродушный капитан невинного преступника. Вильгельма посадили под крепкий караул, опять оковали цепями и кормили только хлебом да водой; сквозь маленькое решетчатое окно можно было смотреть в тюрьму его; почти все товарищи его приходили с ним повидаться и пожалеть об нем, почти все, кроме одного Фрица.

«Он хорошо делает! — думал Вильгельм. — Сердце его слишком мягко: он может изменить себе». В спокойном забвении ожидал он наступающего утра, чтобы при допросе торжественно признаться в вине своей.

Но между тем обстоятельства совсем переменялись. Через час после Вильгельмова прибытия прибежал Фриц, бледный как мертвец, на гауптвахту, снял с себя саблю, подал ее капралу и требовал, чтоб он его как убийцу Рора посадил под караул. Капрал удивился и почел его безумным, но он настоял твердо в своем требовании. Позвали караульного офицера. Фриц повторил то, что сказал прежде. Надлежало взять его и рапортовать команде о случившемся.

На другой день собрался военный совет, которому наши обвиненные стоили немало труда, ибо каждый усердно настоял в том, что он один — преступник. Их свели вместе; они обнялись братски и с нежностью укоряли друг друга за такое упрямство. Приключение было так необыкновенно, что привлекло на себя всеобщее внимание. Герцог **, генераллисим П* их войск был на ту пору в крепости; он любопытен был узнать все обстоятельнее и велел представить к себе обвиненных одного после другого. Фриц рассказал ему все без закрытия, точно так, как в самой вещи происходило, как друг его пожертвовал для него собою ради старого, немощного отца его; как он согласился принять великодушное его предложение, надеясь, что он спасется благополучно и своими дарованиями везде хлеб сыщет, но как надежда его рушилась, то он решился признаться во всем чистосердечно, ибо ему было невозможно больше пользоваться благородным жертвованием

своего друга. Он знал, что ему умереть надлежало, но умереть было для него легче, нежели жить смертью и стыдом своего друга.

Вильгельм противоречил ему во всяком слове; он рассказал герцогу, что Фриц, с самых молодых лет гонимый злою мачехою, был принужден наконец ее пронырством идти в солдаты; что он вступил в это звание против своей воли; что жизнь ему была от того несносна и что он искал только способного случая пожертвовать ею для какого-нибудь честного бедняка, которому она дорога и любезна. Он просил герцога ни в чем не верить Фрицу и божился, что один во всем виноват и, следовательно, один должен быть за все наказан.

Благородный герцог удивлялся великодушию обоих друзей. «Вы оба редкие юноши! — говорил он с чувством. — Но один из вас непременно должен быть преступник! Признайтесь чистосердечно; я доложу государю; он милостив и, может быть, вас помилует».

Но все было напрасно! Оба друга настояли упорно в словах своих, и Бог знает, как бы, наконец, выпутался полковой аудитор из этого лабиринта, когда бы вдруг не пришло ему в голову прибегнуть к осмотру. Ророво тело осмотрели с обыкновенною точностию и сочинили об нем подробный протокол. В этом протоколе было показано, что рана нанесена саблею и что конец этой сабли изломан. Сим документом воспользовался аудитор, велел осмотреть сабли обоих виновных, и по осмотре нашлось, что конец Фрицевой сабли в самой вещи изломан. Другого доказательства не требовали; дело было решено. Фриц предался неизъяснимой радости, а Вильгельм глубокому отчаянию.

Но благородство обоих юношей сделало сильное впечатление на сердце прямодушного герцога. Он донес государю о странном, необычайном происшествии и просил помилования обоим. Вильгельм был освобожден совершенно, а Фрица осудили на год работы в крепость.

Вильгельм продолжал служить так же, как и прежде, и когда находил свободное для себя время, то бежал на бастион к своему другу, приносил ему отраду и утешение и нередко, когда доставалось ему быть при нем караульным, работал вместо его по несколько часов сряду. Таким редким благородством души, своею расторопностию в службе, своим добродушием и верностью приобрел он, наконец, до такой степени любовь своих начальников, что по истечении года произвели его фельдфебелем. Также и Фрицево наказание кончилось, и оба друга были неразлучнее прежнего. Офицеры и рядовые смотрели на них с некоторым родом почтения, особливо Вильгельм возбуждал участие своим безмолвным, продолжительным унынием, которое изображалось на лице его. Ах! Как могло быть спокойным его сердце с горьким воспоминанием об ужасной судьбе Лизы!

Он узнал, что ее хотя и признали невинною в умерщвлении младенца, но, несмотря на то, за утаение своей беременности осудили на шестилетнее заключение в смиренном доме; что этот приговор в самой вещи исполнен и что бедная Лиза проливала горькие слезы в мрачном своем заточении. Образ страждущей, но все еще милой преступницы преследовал его беспрестанно; всякая пища была ему противна: он знал, что Лиза его питалась только хлебом и водою. Он не мог улыбаться, ибо Лиза проливала слезы и не имела утешения.

КОНЕЦ ПЕРВОЙ КНИЖКИ

КНИЖКА ВТОРАЯ

ГЛАВА XV

СОЛДАТСКОЕ СЧАСТИЕ

Вдруг Вильгельмов полк получил повеление выступить. Победоносный неприятель отмстил за поношение, которым слишком поспешно угрожали его столице; он устремился на границы Германии; должно было вооружиться всеми силами, чтобы укротить быстроту сего наводнения.

Вильгельм и Фриц бились с необыкновенным мужеством; один искал смерти, другой случая спасти жизнь своему другу. Храбрость — женщина, которая имеет сообщение с каждою страстию; она так же легко соединяется с *любовию и честолюбием*, как с *ненавистью и хищничеством*. Однажды около конца кампании надлежало гренадирскому батальону штурмовать, при глазах полководца, один неприятельский редут. Картечи сыпались, как град. Капитан лишился правой руки; у одного поручика оторвало ядром ногу, другой остался на месте, а прапорщик, нежный матушкин сынок, почел за благо показать неприятелю затылок. Неустрашимые гренадиры, лишенные своих начальников, окруженные со всех сторон сильным огнем, начали отступать; еще минута, и они бы обратились в бегство. Тут выскочил Вильгельм перед фронт и закричал в исступлении: «За мной, братья! За государя и отечество!»

С примкнутым штыком полетел он на холм, товарищи его с страшным криком устремились за ним, Фриц не отставал от него ни на шаг. Пулею сшибло с него гренадирскую шапку и оторвало половину уха; весь в крови, с обнаженною головою, взобрался он на вершину холма и заколол штыком артиллериста, который уже прикладывал зажженный фитиль к пушечной затравке. Дело дошло до рук, ударом штыка

ранили его в бок, Фриц заколол поразившего. Вильгельм упал и закричал: «Победа!» Фриц почел мертвым своего друга и свирепствовал, как тигр, посреди неприятелей; единый солдат в сию минуту решил победу! Ты удивляешься, читатель! В газетах, конечно, не упомянуто о сем происшествии, но как часто мужество простого гренадира производило чудеса, которые после блистали в биографиях полководцев!

Редут взяли, неприятель побежал. Вильгельма отнесли в лазарет; рана его казалась опасною только от большой потери крови, и через три недели мог он уже выходить. Он получил повеление явиться в главную квартиру.

— Г(осподин) прапорщик! — сказал полководец, подавая ему шпагу. — С удовольствием награждаю вашу храбрость. Государь жалует вам сто червонных на обмундировку вашу!

Почти стыдно было благородному юноше получить отличие за мужество, которым он обязан только отчаянию. Он осмелился представить генералу, что если исполнение должности заслуживает награждение, то и Фриц не меньше его достоин оного.

— Я не рассмотрел этого, — сказал полководец, — Перльстат заступит ваше место.

Га! Как нахмурили рожи некоторые знатнородные дворянчики, когда появился Вильгельм, носильщиков сын, с золотым эполетом на плече, у стола генеральского! Сделать его прапорщиком, à la bonne heure! Это еще сносно! Это всякий может выслужить, но сажать его за княжеский стол, где предки плавают в супах и запечены в пирожном, это несносно! Что же нам останется, когда уж мы не можем *исключительно* иметь права разрезывать жаркое при столе Его Высокопревосходительства?

Еще более зажуужжали, когда Вильгельм, наевшись досыта за столом генеральским, по выходе из палатки встретился с другом своим Перльстатом и без всякой церемонии кинулся к нему на шею. Один из его товарищей, герой за стаканом и теленок перед фрунтом, дернул его за полу и шепнул на ухо: «Г(осподин) прапорщик! Это не годится!»

— Г(осподин) поручик! — перехватил с жаром Вильгельм, — я не смотрю на то, что темляк мой золотой, а его нитяной³⁰; сердца наши одинаковы; то же, что сделало меня офицером, не может сделать меня плутом; кто в счастии забывает своего друга или позволяет дерзкому языку подавать себе недостойный совет, тот настоящий плут! — Таковою ласковый ответ, сопровождаемый довольно значащим взором и выразительным движением правой руки, ухватившейся за шпагу, произвел самое лучшее действие. Господин поручик пожал плечами, и не говоря больше ни слова, оставил сердитого г(осподи)на прапорщика.

Молодые, благородно рожденные обезьяны очень усердно отходили от него прочь, ибо он сам принял на себя труд заслужить то, что они, лежа на печи, наследовали от отцов своих. Правда, нередко пожимали у него руку старые штаб-офицеры, и разговаривали ласково заслуженные генералы, но это еще ничего не значило; г(оспода) соломенные матушкины детки очень помнили наставления высокородных своих родительниц и боялись встретиться с ним точно так, как брамины боятся сойтись с париями на Коромандельских берегах³¹.

Вильгельм улыбался. «Странно! — думал он, — все говорят, что гордость несносна; напротив, она избавляет нас от скучной компании».

Войска вступили в зимние квартиры; исполнение должности, дружба и образование духа попеременно занимали Вильгельма; воспоминание о Лизе наполняло его сердце, и слезы его не преставали катиться о судьбе несчастной. Несколько раз принимал он намерение идти в отставку и лететь с утешением и отрадой в пустынное ее жилище, но всегда останавливало его некоторое нежное чувство: «Может ли она снести твое присутствие? В состоянии ли ты помочь ей? Не увеличишь ли ты ее горести? Не лишишь ли ее последнего утешения, которое, может быть, находит она в привычке к горькой своей участи?»

Он перестал желать невозможного и довольствовался только тем, что каждый месяц посылал ей половину своего жалованья через одного честного молчаливого купца, который торговал в Минстере. «Я делаю это не из любви к ней! — говорил он сам себе. — Сим обязан я дочери своего благодетеля!»

Лиза получала подарки его с удивлением. «Итак, есть еще в мире хотя одно существо, которое сожалеет о моей участи! Я не знаю никого, кроме Вильгельма, которого жестоко обидела! Он простил меня, но жив ли он? Разве не пострадал он за чужое преступление? А если он и жив, то как может он помогать мне? Он простой солдат и не в состоянии делить со мною малого своего жалованья».

Она тщетно расспрашивала и терялась в заключениях. В конце каждого месяца являлся к ней в надлежащее время купеческий поверенный с словами: «Вот деньги, прошу подписать расписку!» И на все ее вопросы отвечал одним «не знаю». Ни просьбы, ни слезы не могли заставить говорить его; он был нем как рыба. Лиза укоряла его в жестокосердии, но бедняк сам не знал ничего.

С какою радостью увидел Вильгельм в первый раз руку Лизы на расписке! С какою горестию и с чувством прочел он следующее: «Лиза Жером благодарит великодушного своего благодетеля и сердечно желает узнать его имя; имя сего добродетельного принесло бы ей отраду в ее уединении и в молитвах ее смягчило бы гнев Всевышнего».

Вильгельм облил слезами сии строки и поцеловал их с восхищением. Так! И в самой пустыне расцветает лилия для добродетельного. Кто может разделить свое имущество с любезною, тот не беден; кто может облегчить судьбу ее, о! Тот не лишен еще радостей!

Зима прошла, и снова поднялась смертоносная гроза войны; ежедневно происходили сражения и сшибки. Раздор, носясь в мрачном облаке над полями ужаса, с злобною улыбкою ниспускал взор на сцену убийств и кровавыми устами лобзал Смерть, свою подругу, которая неумоимо рукою поражала бедных жертв и лишала цветущей надежды нежных супруг и матерей. Вильгельм и Фриц исполняли должность свою, как надобно, но *мужество без счастья* то же, что *заслуга без знатного происхождения*. Обоим юношам доставало только случая оказаться, и, сказать правду, Вильгельм уже не так ревностно, как прежде, искал сего случая. Чего бы лишился он за год пред сим? Только жизни; теперь, ах! Теперь кто разделит с Лизой последнюю свою копейку, если его не будет? Но скоро появился благоприятный случай. Надлежало быть решительному сражению пред глазами государя. Обе партии старались выиграть одна у другой время, чтобы занять одно выгодное место на пространной равнине, где имело быть сражение. Надлежало примкнуть левое крыло фрунта к одной деревне, которую необходимо нужно было захватить до прибытия неприятеля. Сильный корпус был отряжен для сего, но уже приближался неприятель, уже в многочисленной толпе устремился в деревню, уже сжимал он со всех сторон отряженный корпус и готов был совершенно разрушить план королевский.

Вильгельм видел, сколь важен был выигрыш времени, но он сам был запутан в стеснившейся толпе и почти увлечен бегущими. Просьбами и угрозами успел он, наконец, собрать маленькую кучу и бросился с несколькими сотнями гренадиров в каменную деревенскую церковь, которой положение было точно таково, какое требовалось для выгодного построения войска. Здесь загромоздил он двери скамейками, расставил людей своих перед окнами; гранаты сыпались на сжатые ряды неприятеля, и каждый ружейный выстрел повергал на землю того, кто осмеливался приближаться.

Число неприятеля час от часу увеличивалось — напрасно пули градом летели в церковные окна, смельчаки прятались за стены и были невредимы. Главнокомандующий неприятельский генерал подъехал к месту сражения и, увидев, сколь важно защищаемое место, *был так снисходителен*, что обещал свободный пропуск маленькой толпе неустрашимых, если только они добровольно оставят пост свой. Вильгельм отвечал, что он скорее погребется под стенами церкви, нежели уступит.

Уже *на* могилах кладбища лежало более мертвых, нежели *в* самих могилах; уже товарищи Вильгельмовы расстреляли почти всю амуницию, и неприятель готовился учинить сильный приступ к церкви, как вдруг король, который воспользовался благоприятным временем, появился со всею армиею. Покуда Вильгельм защищался, по тех пор невозможно было неприятелю устроить правого крыла своего; теперь он пришел в совершенный беспорядок, и неустрашимость нашего отважного героя была отчасти причиною счастливого успеха сражения.

— Где он? Как зовут его? — сказал государь.

Вильгельма представили пред лицо его; с пылающими щеками, с потупленными взорами стоял он перед ним и, казалось, стыдился собственных своих достоинств.

— Благодарю вас, господин поручик, благодарю вас! — сказал государь. — Вы нынче хорошо исполняли свою должность! Скажите, что могу я для вас сделать?

— Государь! — вскричал юноша и бросился на колени пред монархом. — У меня есть сестра — несчастная сестра! Она не моего имени, не от одного отца со мною, но я люблю ее больше всего на свете! Юность и злодейское ухищрение погубили ее! Три года страдает она в тюрьме, и еще три года должна бедная мучиться за преступление обольстителя! Государь, помилуй сестру мою!

Король приказал представить дело себе на рассмотрение и, узнав, что Лиза совершенно невинна в детоубийстве, немедленно удовлетворил просьбе Вильгельма, дал ему своеручное рекомендательное письмо к минстерскому губернатору и позволил отлучиться на десять дней, чтобы самому возвестить свободу милой сестре своей.

Вильгельм не мог благодарить великодушного монарха, он мог только плакать. Прекрасно видеть плачущего мужа, который за час был героем! Монарх был тронут. «Я не оставлю вас», — сказал он. Быстро полетел Вильгельм из палатки; напрасно спрашивал его Фриц: «Что с тобою сделалось?» Он болтал невнятные слова, рыдая, обнял своего друга, велел как можно скорее оседлать свою лошадь и пустился, как из лука стрела, по Минстерской дороге.

ГЛАВА XVI

СВИДАНИЕ И РАЗЛУКА

Минстер — примечательный город³²; *любопытный* путешественник с тайным благоговением вступает в Ратгауз, где некогда заключен онный

славный Вестфальский мир³³; *чувствительный* путешественник с растроганным сердцем будет посещать маленькую, уединенную келью, в которой три года страдала бедная Лиза, в которой при свете бледной лампы лила она горькие слезы и простирала умоляющие руки к милосердию Вечного. Мрак носился над горою св. Павла, и осенний туман колебался над гигантскими городскими башнями, когда Вильгельм остановил свою лошадь у шлагбаума и с нетерпеливою скоростью отвечал на вопросы караульного офицера. Он стал в первом попавшемся ему трактире, поймал первого встретившегося ему наемного слугу и, покрытый пылью и потом, вошел в прихожую губернатора, к которому адресовано было письмо его. Долго не допускали его к его превосходительству; ибо он играл тогда в *«три и три»*³⁴ с одним старым подагрическим тайным советником и духовным отцом своим и не кончил еще пули. Вильгельм кусал с досады ногти и без всякого размышления рассматривал эстампы, висевшие на стенах прихожей.

Наконец его пустили; он подал свои депеши. Королевское имя подействовало сильно: дело было решено в минуту, только исполнение его отложили до завтрава, а г(осподи)на поручика между тем приглашали отужинать. Хотя Вильгельм в целый день не съел ни куса, но у него совсем не было аппетита; он удивлялся хладнокровию губернатора, который *с таким благосклонным снисхождением оставлял его у себя кушать*; удивлялся, что люди так неповоротливо накрывали на стол, что часы били так медленно.

— Скорая помощь, — сказал он, — имеет двойную цену. Для больного ночь продолжительна, для несчастного кажется она веком; лекарство и утешение чем скорее, тем лучше; если б ваше превосходительство изволили приказать секретарю своему проводить меня!

— Вы, по крайней мере, у меня откушаете.

Вильгельм. Я буду лишний за столом вашим.

Вид его довольно подтверждал истину сказанного, но тут нельзя было искать спасения: знатные господа обыкновенно думают, что нет большей чести для простого человека, как когда они позволяют ему набить свое брюхо в высокопочтенном их присутствии, и Вильгельм как ни вертелся, как ни отговаривался, но все принужден был остаться.

За столом сидел он как на иголках, и при всяком новом блюде холодный пот выступал на лице его. Его превосходительство между тем изволил разговаривать о политике с подагрическим тайным советником, который икал изо всей мочи и только тогда стал разговорчивее, когда дело дошло до рассуждения о доброте рейнвейна и шампанского вина. Тут и духовный отец растворил уста свои; с видом знатока

тянул он один стакан за другим и бранил прусских гусаров, которые, в то время, когда он еще был монастырским отцом-казначеем, оборвали у него целый огород прекрасной смородины.

Наконец наступила минута избавления. Га! Как поспешно кинулся Вильгельм вниз по лестнице! Маленький, толстенький секретарь пыхтел и едва успевал за ним следовать; на улице оставил бы он его на месте, когда бы мог один найти дорогу в смиренный дом. Хладнокровный проводник его переваливался с ноги на ногу и вопросами своими о новостях приводил в отчаяние бедного Вильгельма.

— Вы, я слышал, выиграли сражение?

— Да.

— Сперва заговорили было, что вы его потеряли?

— И то, если вам угодно.

— Как это? Я вас не понимаю.

— *Ах, Боже мой! Сударь, мне, право, не до сражений — завтра все расскажу вам — теперь я ничего не знаю и знать не хочу!*

Секретарь покачал головою и подумал, что г(осподин) поручик немного помешан. Таким образом, молча, пришли они к смиренному дому.

— Надобно позвонить, — сказал секретарь, и уже Вильгельм оборвал шнурок. Лиза в ту минуту читала вечерние свои молитвы. Вильгельм был тот предмет, за которого она молилась, ибо почитала мертвым своего любезного.

Вдруг послышались скорые шаги в длинном, пустом переходе. — К кому это посещение? — Вдруг зашумело нечто у дверей. — Что, что значит? Двери растворились настежь. Молодой офицер бросился в горницу. Лиза не имела времени распознать его. Он лежал у ног ее и рыдал: «Лиза, ты свободна!»

Есть сцены в человеческой жизни, которые — когда опустится занавес — кажутся сном и для самих актеров. Такие сцены не для кисти поэта, и если читатель не может себе их представить сам, то не имеет он права обвинять и живописца.

Лиза не чувствовала, что с нею делается. Без памяти лежала она в объятиях Вильгельма, без памяти отнесли ее в наемную карету; с удивлением пробудилась она из своего бесчувствия в незнакомой горнице и в недоумении старалась вспомнить, как она зашла в этот дом, на сию постелю.

Все было тихо вокруг нее, подле ее постели стоял ночник и бросал бледный свет на старый шелковый ковер. «Где я? — спросила она самое себя, — не привиделся ли мне Вильгельм? Ах! Мне чудятся странные вещи».

Тут поворотила она случайно голову и что же увидела? — Вильгельм сидел в креслах подле ее постели; истощенный усталостью, он поневоле покорился краткому сну.

— Вильгельм! — вскрикнула громко Лиза.

Он проснулся и бросился к ее груди, радостные слезы облегчили стесненные сердца их. После многих безмолвных объятий собрал Вильгельм несколько сил и в несвязных отрывках рассказал ей свою историю.

Лиза слушала очень примечательно и спросила, в которое время произвели его офицером. Ответ его подтвердил ее догадки. Незнакомый благодетель открылся.

— Так это ты? Тебе обязана я всем! Сердце мое не обмануло меня.

Рыдая, прижалась она к груди его; в радостных слезах застигнул их день, посреди невинных ласканий застала их ночь; два дни пролетели быстрее молнии.

Чего бы не мог требовать, на что бы не мог осмелиться юноша, который приобрел такие права на сердце своей любезной! Но Вильгельм чтит невинность и добродетель, которые, несмотря на то что некогда страдали без защиты в когтях похитителя, все были так же чисты, как будто бы только теперь вышли из рук природы. Может быть, хладнокровный улыбается при имени *невинности*, но, несмотря на то, всегда останется справедливым, что невинность умирает только тогда, когда умирает чистота сердца, и что многие, никогда не оскверненные рукою мужчины девушки, давно уже лишились своей непорочности.

Что же будет с Лизой?

— Лиза будет моя супруга! — вскричал Вильгельм и скрыл пламенное лицо свое на груди ее.

— Никогда, никогда! — перехватила благородная девушка. — Преступница, потерпевшая посрамительное наказание, не должна лишить тебя чести! Как будешь ты сносить насмешки своих товарищей?

— Га! Я буду.

— Ну! Я понимаю, что ты будешь делать — проливать кровь и кровью смывать с себя поношение; ты сделаешься убийцею либо меня сделаешь вдовою. Нет, Вильгельм! Государь не может положиться на честь такого человека, который подает руку беспутной девке. Если я больше несчастна, чем виновна, если я стою больше жалости, чем презрения, то теперь должна доказать это, добровольно отвергнув твою руку, которую бы кровью искупить не пожалела. Ты назвал меня сестрою — хорошо! Вильгельм, брат мой! Позволь мне отказаться от драгоценнейшего имени — от имени твоей супруги!

Вильгельм со всем красноречием любви старался опровергнуть сие намерение. Уже прошло пять дней его отпуска, шестой наступил; нельзя

было терять времени. Сердце бедной девушки терзалось; трудно было ему противиться голосу любви, который обыкновенно кажется голосом истины. Она чувствовала, что не в силах долее сопротивляться и что, наконец, должна будет уступить просьбам и слезам любезного. С трудом удалось ей выпросить отсрочки до завтра.

Когда же Вильгельм, прощаясь с нею, пожал с нежностью ее руку и уже отворил двери, чтобы идти в свою горницу, то бросилась она за ним вслед, обхватила его обеими руками и плакала горько.

— Что ты, Лиза?

— *Ничего, ничего! Прости, почивай спокойно! Завтра, завтра!*

— Как! Ты боишься той минуты, в которую поклянешься быть вечно моею?

— *Нет! Нет! Я навек твоя! Поди, милый Вильгельм, будь спокоен! Ради Бога, оставь меня — я не могу сносить долее.*

Вильгельм пошел. Сладкие надежды скоро усыпили его, и прелестные мечты веселили его во время сна. Поспешно вскочил он с постели с первыми лучами дня, накинул на плечи сюртук и тихо подкрался к дверям Лизиной спальни. Они были только приперты; он осторожно растворил их и сказал тихим голосом: «Ты еще спишь, милая Лиза?» — Нет ответа. Он всунул голову в горницу — она пуста; взглянул на постель — там нет никого, ниже следа, чтобы кто провел ночь на ней. Краска вступила в лицо его, робкое предчувствие стеснило его грудь. С трепещущим сердцем вошел он в горницу, осмотрелся и увидел записку, лежащую на столе. С жадностию пожирал он ее глазами.

«Прости меня, добрый Вильгельм! Я бегу от самой себя. Сердце мое не смогло бы долее противиться любви твоей, но я должна, покуда есть время, избавить тебя от стыда и раскаяния. Может быть, в жару страсти будешь ты обвинять меня: ах, Вильгельм! Не делай этого, мое намерение стоило мне ужасного труда и многих слез. Я принуждена тебя оставить, чтобы сделаться достойною твоего сердца. Прости! Не беспокойся обо мне. С деньгами, которые ты присылал мне и которые я тщательно сохраняла, могу я прожить несколько месяцев без чужой помощи; между тем я успею найти себе место — нет нужды, какое — я ко всему привыкла. Прости! Не старайся узнать моего убежища; ты не увидишь меня, не увидишь до тех пор, покуда я не буду достойна называться сестрой твоей, покуда время не изгладит моего преступления, моего стыда, а может быть, и любви твоей. Ах! Для чего желать этого? Поспеш же, бедная Лиза, поспеш же, покуда есть время, покуда есть у тебя силы... Я подходила к твоей горнице; слышала тихое, спокойное твое дыхание — может быть, в последний раз! Сердце мое разрывалось! Уже бралась я за замок дверей твоих; уже невидимая сила влекла

меня к твоей постели, чтобы еще раз поглядеть на своего друга — ах! Я боялась разбудить тебя; боялась, чтобы пламенная твоя любовь и мое сердце не уничтожили моего предприятия. Я опустила руку, я покрывала поцелуями и обливала слезами щеколду у дверей, к которой ты завтра прежде всего прикоснешься милою рукою своею; на пороге лежала я в слезах и горести и просила тебе благословения от Вышнего. Ну, все кончено! Прости, единственный друг мой! Брат мой! Я спешу от тебя сокрыться. Прости! Может быть, навеки, навеки! Не забывай несчастной сестры своей!»

Вильгельм неподвижно смотрел на записку; ни одна слеза не катилась по щекам его, судорожные конвульсии сжимали его губы; он стоял безмолвно, как мертвый; наконец после долгого бесчувствия пробудился он, как будто из тяжкого сна.

— Га! Это слишком много! — закричал он, ломая руки. Смутный взор его бродил вокруг горницы, как будто искал остатков, признаков своей Лизы, но ах! Нет ни малейшего следа милой беглянки!

«Но она обливала слезами замок у дверей моих; она лежала на пороге и молилась обо мне Богу!»

Он бросился на колени и молился о Лизе, горячие слезы лились на стесненную грудь его.

Вдруг вскочил он с бешенством, бросился из горницы; шумел и бегал по всему дому; требовал от каждой кухарки отчета: куда девалась Лиза? И в жару своего испуга сбил с ног одного трактирного слугу, который сделал ему весьма натуральный вопрос, *не обокрала ли его эта красотка?*

Когда же ему никто не мог сказать, как и куда скрылась Лиза, то оделся он на скорую руку, побежал в дом старой тетки, из него в город, в предместье и окрестности. Попадались ли ему два человека вместе, он тотчас останавливался и прислушивал к словам их, воображая, что они говорили о Лизе. Примечал ли он женское лицо в окне за гардиною, он тотчас подходил к нему, стоял, как вкопанный, на одном месте, и не отходил от оногo до тех пор, покуда незнакомое лицо не выглядывало на него с любопытством.

Таким образом, не евши, не пивши и не успокоясь ни на минуту, проходил он целый день по городу и к вечеру прибежал опять в трактир свой, надеясь, что Лиза, может быть, нашлась во время его отсутствия. Трактирщик сидел у ворот и спокойно покуривал свою трубку. «О! Верно, верно, нашлась! — думал Вильгельм. — Иначе хозяин не сидел бы так спокойно». Он закидал его вопросами и должен был отказаться от всей надежды, когда он отвечал ему очень хладнокровно: «*Нет!*»

Ему оставалось только четыре дни срока; в три дни доехал он до Минстера, в четыре, по крайней мере, мог он возвратиться назад в лагерь. Лошадь его была очень измучена, и он сомневался, довезет ли она его до места. С раннею зарею пустился он в путь; в бесчувственной горести выехал за городские ворота, и когда с высоты одного холма оглянулся он на Минстер, то уже утреннее солнце сияло в слезах его, которые тихо катились по его щекам.

ГЛАВА XVII

ЗАБЛУДИВШАЯСЯ

В полночь, с маленькою связкою белья на плечах и несколькими червонцами в кармане, укралась Лиза из трактира³⁵. Она сама вспомнила о старой тетке, но как было к ней показаться после всего, что случилось? Она же во все три года ни разу не осведомилась о бедной сироте и ничем не помогла ей в ее заточении; Лиза лучше решилась идти, куда глаза глядят.

С великою трудностию, под предлогом посещения одной немощной в предместьи и за двойную пропускную пошлину, уговорила Лиза часового отворить ей маленькую дверь у заставы. Когда начала заниматься заря, то была она уже с милю от города и подходила к одной деревне, в которой большая дорога разделялась надвое. Она села отдохнуть под березою, и не прошло еще десяти минут, как увидела почтовую коляску, которая, проехав мимо ее, остановилась шагов за сто у корчмы, где почталион, по старинному похвальному обыкновению, намерен был промочить горло.

Вдруг вошло в голову Лизе: «Не сесть ли мне в почтовую коляску, чтобы скорее укрыться от поисков Вильгельма?»

Хотя она и не знала, на какой именно находилась дороге, но для нее было все равно, только бы удалиться от Минстера, только бы доехать до какого-нибудь города, где бы можно было найти себе место.

С сими мыслями вошла она в корчму и увидела там почталиона, который, сидя за столом, убирал хлеб с сыром и потягивал пиво. Она представила ему свою нужду и обещала дать хорошую плату. Он кивнул головою в знак согласия; сделал несколько приветствий беленьким ее зубкам и выкинул несколько шутивных слов на счет уединенной путешественницы. Кончив, наконец, свой завтрак и пригласив Лизу с почталионскою учтивостью *выкушать с ним кружок вина*³⁶, вышел он из корчмы и сказал своим пассажирам: «Государя мои! Пожмитесь

маленько и дайте место красотке, у которой ноги от ходьбы разболелись». С довольно неповоротливою услужливостью подхватил он Лизу под руку, всунул в коляску и, так как погода была очень хороша, снял с себя епанчу и разостлал ее на скамейке, чтобы любезной девушке было сидеть помягче. Сила красоты действует и на безмозглого так же, как и на поэта, и почталионова епанча в дорожной коляске была то же, что и сонет какого-нибудь стихотворца для прелестей Лизы.

Почтовая коляска нередко бывает таким местом, в котором молодая девушка — подобно Грессетову «Vert-Vert»³⁷ — находится очень в худой компании. Лиза испытала это, когда в первый раз ездила в Минстер к старой своей тетке, и потому, усевшись на своем месте, принялась она рассматривать физиогномии своих товарищей, чтобы узнать из них, чего ей бояться или надеяться должно.

Такое наблюдение, на которое женский пронизательный взор не больше секунды употребляет, хотя бы почтовая коляска была так же набита, как Ноев ковчег, такое наблюдение, говорю, успокоило ее совершенно, ибо она заметила с собою четырех или пятерых пожилых человек, которые показались ей купцами и, по-видимому, были не слишком разговорчивы; все они вместо поклона приподняли немного колпаки свои, и только один из них с флегматическою учтивостию потоптывал Лизу табаком; больше никто об ней и не беспокоился.

Охотно бы хотела она спросить у кого-нибудь из них, по какой дороге они ехали? Но она боялась, чтобы они из вопроса ее не увидели, что она едет без всякой цели, и, следовательно, не стали бы подозревать ее. Таким образом, она молчала, товарищи ее также молчали, и по угрюмому их виду казалось, что они выкладывали в голове своей барыши и уроны от какого-нибудь важного торга. Глубокая тишина сия, которая только тогда прерывалась, когда чихал кто-нибудь из присутствующих, была приятна для унылой Лизы; качанье беспокойной повозки не пробуждало ее из горестных ее размышлений.

В первые два дня встречались им только деревни и маленькие уездные города, которых имена были им совсем неизвестны; ибо они мало заботились о географии. Так как в сих непримечательных местечках не представлялось Лизе никакого случая для своего выгодного помещения, то продолжала она путешествие свое далее. Вечеру третьего дня, смотря без всякого размышления на луга и деревья, которые мелькали по правую руку коляски и, казалось, бежали назад, вдруг пришла она в сильное движение и с трудом могла удержать пронзительный крик.

Вильгельм проехал мимо коляски; лошадь его переваливалась с ноги на ногу; он сидел повесив голову и так был задумчив, что даже не видал почтовой коляски; впрочем, если б он ее и заметил, то бы, конечно, не

увидел Лизы, ибо стекла были задернуты голубыми занавесами, и она сама только что успела распознать его сквозь отверстие, которое находилось на середине гардины. Взоры любящих дальновидны. Лиза готова была клясться, что это был Вильгельм!

«Боже мой! Что мне делать? — говорила она про себя. — Я чаяла бежать от него и вместо того бегу за ним вслед. На первой станции мы остановимся; я должна буду выйти, и первый, кто попадетсЯ мне навстречу, будет Вильгельм!»

Беспокойно двигалась она туда и сюда на своем месте; щеки ее горели, сердце билось. Чем ближе подъезжала она к станции, тем сильнее становился страх ее. Невзначай спросил один пассажир у почталиона: «Далеко ли еще?» — «Четверть версты», — отвечал он. Лиза испугалась! — «Остановись-ка на минуту!» — сказала она вдруг решительно.

Почталион остановился. Она взяла свой узел, вышла из повозки, всунула гульден в руку извозчику и сказала: «Поезжай с Богом!»

— Куда ты, голубушка? Уж вечер на дворе! Как тебе остаться одной на большой дороге?

— Не беспокойся, пожалуй; в ближней деревне я дома и дойду туда скоро.

Почталион покачал головою, положил деньги в кожаную свою сумку, хлопнул бичом, и в минуту коляска пропала из глаз Лизы. Безмолвно смотрела она вслед за нею, и когда, наконец, оглянувшись вокруг себя, увидела, что оставлена одна без всякой помощи в природе; когда услышала отдаленный вечерний стон иволги и крик тоскующей перепелки, то сердце ее стеснилось; она зачала горько плакать.

«Бедная Лиза! Что будет с тобою? Что тебе делать? Идти назад? Куда? Вперед? Ах, Вильгельм!»

Наконец, решила она идти вперед по большой дороге, и прошедши немного, увидела тропинку влево, поворотила и пошла по ней, с намерением идти туда, куда приведет ее случай.

До сих пор могла она различить свою дорогу при бледном свете угасающей зари; скоро заря совсем угасла, последний луч ее скрылся, ночь становилась темнее, и Лиза, наконец, увидела себя при входе мрачного, дремучего леса. Несколько минут стояла она в нерешимости, но скоро ободрилась. «Эта тропинка, — думала она, — должна привести меня к человеческому жилищу! Верно, приду я или к деревне, или, по крайней мере, к шалашу какого-нибудь угольщика. Чем дальше в лес, тем лучше». Сперва шла она бодро, но мрак становился час от часу чернее; все молчало, только ветер шевелил тихо листьями, и сова выла в дупле своем. Лиза почувствовала в сердце своем ужас; она удвоила шаги свои, страх придал ей новые силы.

Доселе Лиза не теряла своей тропинки и чаяла замечать по обеим сторонам ее колеи, оставшиеся от тележных колес. Вдруг дорожка начала извиваться в кустарнике далее, далее, и Лиза стала уже бояться, чтобы совсем не потерять ее. Страх ее был основателен: дорожка в самом деле скрылась между кустов, и Лиза уже не могла более попасть на нее. Она увидела себя вдруг в большом пустом месте, окруженном соснами и елями, которых сучья так густо сплетены были между собою и так неучтиво стегали ее по лицу, что она без труда понять могла, что нога человеческая никогда сюда не заходила. Страх отнял у нее последние силы и мужество; она пришла почти в отчаяние и бродила вокруг без всякого намерения, не видя ничего перед собою. Наконец, утомясь до крайности, бросилась она на землю и поручила себя во власть ангела-хранителя.

Через час взошел месяц, и с ним просияла надежда в душе ее. Она поднялась опять и при свете луны зачала пробираться сквозь чащу кустов. Наконец, чрез несколько времени, исцарапав в кровь свои руки и изорвав в клочки белое свое платье, пришла она к плетню, который, сколько можно было рассмотреть, окружал гумно с сеном. «Слава Богу! Здесь, верно, есть люди!» — сказала она и в самом деле скоро увидела вдали огонь, который изредка мелькал между деревьями. «А! Огонь! Огонь!» — вскричала она радостно и удвоила шаги свои. С обновленными силами обошла она плетень, час от часу ближе подходила к огню и скоро увидела, что он сиял из окна маленького домика, который хотя и был покрыт соломою, но казалось, по наружности своей, не принадлежал обыкновенному мужику; он был окружен строением и со всех сторон закрыт лесом.

ГЛАВА XVIII

ЧУДАК

Хотя человек не имеет никаких знаков на лице своем, хотя сердце его облечено покровом непроницаемым, но можно по двум вещам довольно верно заключить о состоянии души его: по его *одежде* и *жилищу*. Когда он спокоен в сердце, когда его душа не увяла от горестей, то он одевается чисто, и дом его весел и приятен; только несчастный, убитый роком, зарывается в пустынях.

Так или почти так думала Лиза, приметив маленький домик в середине леса. «Может быть, я найду здесь убежище! — говорила она, — может быть, здесь дышит какой-нибудь страдалец, которого сердце растерзано завистью и гонениями так, как мое любовью!»

Она приблизилась на несколько шагов и увидела дерновую скамью, осеняемую дубом. Повыше на дубу светилось нечто от лучей месячных: это была доска, выкрашенная белой краскою, на которой было нечто написано и которая была прикреплена к дубу вызолоченною перевязью. Лиза взлезла на дерновую скамью и с помощью луны прочла следующую французскую надпись:

La plainte est pour le fat, le bruit est pour le sot,
L'honnête homme trompé s'éloigne et ne dit mot*.

— А! — вскричала Лиза, — тут живет человек, оставивший свет! Он не отвергнет несчастной.

Она спрыгнула со скамейки и пошла прямо к дверям домика. Вдруг выскочила цепная собака из своей конуры и начала громко лаять. Лиза испугалась и не смела приблизиться. Тут увидела она, что огонь, который светился в окно, тронулся с места; через минуту застучало кольцо у дверей: они отворились, мужчина вышел на крыльцо, сказал собаке: «*Куш, Фагель!*»³⁸ И когда она с ворчаньем улеглась на своем месте, оборотился туда, где белелось Лизино платье, и закричал: «Кто тут?» Лиза в коротких словах рассказала ему, что она заблудилась, и просила для себя ночлега.

Незнакомец не отвечал ни слова; он ушел и затворил за собою дверь. Бедная девушка не знала, что думать, *Фагель* начал снова лаять; огонь опять появился на старом месте, и казалось, что, кроме собаки, никто не заботился о бедной страннице.

Спустя несколько минут огонь зашевелился снова, кольцо застучало, дверь закрипела, тот же человек вышел, закричал на собаку: «*Куш, Фагель!*» И сказал Лизе отрывисто: «Сюда!» Лиза пошла; при свете ночника увидела она, что перед нею был пожилой человек, в синем камзоле и с обстриженными в кружок волосами. Он, казалось, совсем не разделял того любопытства, с которым Лиза на него смотрела; он шел перед нею очень спокойно, не говоря ни слова; привел ее в одну горницу, поставил ночник на стол, сказал: «Вот постель!» И ушел.

Лиза не знала, что думать о таком странном приеме. Она принялась рассматривать свою горницу: чистая посредственность видна была всюду, мебели состояли из маленькой кровати с белым тонким занавесом, из зеркала в черных рамах, двух зеленых лакированных столов и полдюжины соломенных стульев; пол был усыпан белым песком

* Пускай жалуется глупец и безумец шумит:

Честный обманутый человек удаляется и молчит (цитата из сочинения Ф. де ла Ноу (F. de la Noue, 1531—1591) «*La Coquette corrigée*». — И. А.).

и мелко изрубленными елками; четыре дорогие Вувермановы ландшафты³⁹, висевшие на стенах, показывали, что господин дому был не бедный человек.

Когда Лиза заметила, что все в домике успокоилось и что никто больше об ней не заботился, то бросилась она во всем платье на постелю и скоро, будучи истощена усталостию и беспокойствами, заснула крепким, приятным сном. Солнце было уже высоко, когда некоторый шум пробудил ее. Это был вчерашний молчаливый человек. Он вошел в горницу с корзиною, из которой, не говоря ни слова, вынул салфетку, разостлал на столе и поставил на него масла, хлеба, сыру, тарелку меду, земляники и чашку молока.

— Вот завтрак! — сказал он и ушел опять.

Такое приглашение заставило Лизу улыбнуться. Она пролежала еще с полчаса на постели, думая о странном обхождении гостеприимного ее хозяина, потом встала и отведала молока и фруктов. Поглядевши невзначай в окошко, заметила она другого человека лет в сорок, в сером сюртуке и, подобно первому, с обрезанными в кружок волосами. Он сидел на дерновой скамье под дубом и читал книгу. На бледном, сухом лице его видны были следы горести; глубоко впавшие глаза его были мертвы; черные густые брови осеняли их и придавали чертам его некоторую мрачную, угрюмую суровость.

Лиза рассматривала его долго и с примечанием. Она заключила, что он господин дому, и решила, как скоро он перестанет читать, подойти к нему, поблагодарить его за дружелюбное гостеприимство и представить себя во услужение, но серый человек не трогался с места и, казалось, век не хотел сойти с него. Правда, иногда оставлял он свою книгу, гладил пуделя, который лежал у ног его, или строгал ореховую палочку, причем обыкновенно задумывался, но, наконец, все опять снова принимался за свою книгу, хотя, по-видимому, читал очень мало.

В полдень слуга его (человек в синем камзоле) поставил стол под дубом, накрыл его и принес умеренный обед, до которого серый человек почти не дотрагивался. Скоро потом пришел он с теми же блюдами к Лизе, сказал: «*Вот обед!*» И ушел опять. «Эти люди совсем нелюбопытны, — думала Лиза, — кажется, им все равно, кто я ни есть. Однако ж я желала бы знать, кто таков этот человек, которому я обязана своим убежищем».

Когда слуга возвратился, чтобы собрать со стола, то осмелилась она спросить: «*Где я?*»

— *У честных людей,* — отвечал человек в синем камзоле и ушел. Из сего ответа Лиза легко могла заключить, что язык употребляют здесь только в нужде и не любят болтать пустого так, как водится в большом

свете. Сколько ни хотелось ей удовлетворить женскому своему любопытству, но она боялась быть в тягость своими вопросами и колебалась целый день, идти ли ей или нет к серому человеку. Несколько раз хваталась она за дверь; и когда, наконец, решилась совсем исполнить свое намерение, то увидела, что серый человек уже оставил свое место и скрылся в густоте леса.

Вечер наступил. Человек в синем камзоле принес свечу и сказал: «*Вот свеча!*» Скоро потом, не говоря ни слова, накрыл он на стол, поставил кушанье и сказал впоследние: «*Вот ужин!*» Сим заключился разговор того дня. Лиза осталась одна, не видала и не слыхала более ничего, и спала столь спокойно, сколько ей было можно, до другого утра.

Когда опять принесли ей завтрак, и она поела несколько, то сказал молчаливый синий человек: «Теперь ты можешь идти, влево дорога из лесу».

— Ах, друг мой! — сказала Лиза. — Не надобна ли девка твоему господину?

Синий человек в первый раз посмотрел ей в лицо, однако ж не отвечал ни слова, а пошел к своему господину, который опять сидел под дубом. Через минуту пришел он назад и сказал: «Нет! влево дорога из лесу».

— Я пойду тотчас! — сказала Лиза со вздохом. — Только нельзя ли прежде поблагодарить мне твоего господина?

— *Нет!* — отвечал с некоторою грубостью синий человек и ушел. Печально подошла она к окну, собиралась идти каждую минуту и все еще медлила. «Где найду я пристанище, которое так было бы прилично состоянию души моей? В городах многолюдство, пышность, беспокойство; здесь? Вечное молчание. Сии черные сосны, сия таинственная мрачность... О! Он должен непременно принять меня, этот чудак, который сидит под дубом!»

Вдруг некоторое справедливое чувство шепнуло ей на ухо: «*С чудными людьми надобно самому быть чудным, чтобы достигнуть своей цели*», и она решилась слушаться своего чувства. Накануне заметила она, что почти в это самое время слуга брал из бокового строения ушат, ходил с ним к колодцу и мыл его водою; потом отправлялся в маленькую закуту, где были две коровы, доил их и относил молоко в дом.

На сем замечании Лиза и основала план свой. Проворно подобрала она свое платье, вышла из дому без всякого замешательства, и, не смотря на серого человека, который сидел под дубом, пошла прямо во флигель, взяла ушат и вымыла его у колодца. Потом побежала в хлев, подоила коров и собиралась нести молоко в дом. Все это исправила она точно так, как будто ничего другого от роду не дельвала.

Серый человек опустил книгу свою на колена и смотрел на нее с удивлением. Когда ж она вышла с молоком из закуты и хотела пройти мимо, то сказал он: «Что это значит?»

— Милостивый государь!

— *Я не милостивый государь.*

— По крайней мере, человек!

— *К сожалению.*

— Я несчастна!

— *На земле нет счастливых.*

— Я желаю служить вам!

— *Я не имею нужды в девке.*

— Вы не имеете во мне нужды? Ах, сударь! Но я имею в вас нужду!

Серый человек помолчал несколько минут.

— Петр! — сказал он слуге. — Девушка может остаться. — Тут опустил он голову, начал читать снова и не беспокоился более о Лизе.

ГЛАВА XIX

СМЯГЧЕННЫЙ НЕЛЮДИМ

Старая латинская пословица говорит: «Когда двое делают *одно и то же*, то оно не всегда бывает *одно и то же*»; и эта истина останется истинною и в лесах Вестфальских, и в Риме. Тот, кто одарен от природы юностью, красотою и приятностью, тот неробко принимается за такое дело, о котором старуха, с харею феи Карабоссы⁴⁰, и подумать бы не осмелилась. Если б Лиза не была милая, прелестная девушка; если б руки ее не были нежны и белы, как снег, а стан ее строен и гибок, то Бог знает, как бы принял серый человек ее предложение. Но совсем невозможно было смотреть в ясные большие глаза ее и не чувствовать некоторой тайной сладости в своем сердце; не чувствовать утешения, подобного тому, которое некогда оживило сердце несчастливца, о котором упоминает Мориц в своем «Психологическом Магазине»⁴¹. «В прекрасный летний вечер, — говорит он, — бродил один печальный, с унылым сердцем, по валу; сперва лицо его было обращено на восток, где небо становилось уже мрачно; горесть, тоска и ненависть к жизни наполняли его душу. Вдруг он обернулся — тихая, кроткая заря сияла на западе: надежда, любовь, упование пробудились в его сердце».

Серый человек не хотел слышать Лизиной благодарности.

— *Хорошо! Хорошо!* — сказал и махнул ей рукою, чтобы она удалась. Он почитал простою обязанностью человечества то, что для нее

сделал, и не думал, чтобы что постороннее побуждало его исполнять сию обязанность. — «Она несчастна, — говорил он, — она представляет себе, что еще можно быть счастливым в мире. Пускай ее надеется! Зачем лишать ее последнего утешения? Да! Что же такое сделалось бы с нею? Но какая мне до этого нужда?»

Он хотел продолжать читать и скоро приметил, что не понимал того, что читал.

— Я рассеян! — проворчал он сквозь зубы; спрятал книгу в карман и пошел, по своему обыкновению, далее в лес.

Лиза между тем вступила в новую свою должность. Она приняла на свои руки кухню; приводила в надлежащий порядок поваренную посуду; чистила то, что было не совсем чисто; мыла горшки, грела воду, обчищала своими руками турецкие бобы для стола и при всем том не говорила ни одного слова, будучи уверена, что в этом доме только молчанием себя рекомендовать можно. Она хотела доказать серому человеку, что он худо сделал, выгнав женщин из уединенного своего жилища.

Петр стоял и смотрел на ее работу. Он не говорил ни слова, но зато часто усмехался с простодушием, нередко кивал головою, а иногда приговаривал в полголоса: «Гм! Гм!» Сколько ни хотелось Лизе узнать, где и у кого она, но она думала, что когда хозяйева ее, которые имеют больше права делать ей вопросы, оставляют ее в покое, то она и подавно должна платить им равным за равное и не тревожить их своим любопытством.

Прошел целый месяц, и ни разу человеческий голос не раздавался в уединенной пустыне. Каждый час дня имел свое собственное определение, каждое дело свою собственную форму. «Добрый день», «добрая ночь» выражались обыкновенно киванием головы, а редко, очень редко словами. Лиза имела предписание, какое когда готовить кушанье; ее даже и о имени не спросили, а когда надлежало позвать ее, то обыкновенно кликали: «Девушка!» Серого человека называли *господином*, а слугу его *Петром*.

Между тем Лиза всячески старалась угодить новому своему господину. Она очень радовалась, что старая тетка научила ее в Минстере варить кушанье. В счастливые времена своей юности была она охотница до садоводства и умела разводить цветы и плоды; все это опять возобновилось в ее памяти.

Она отделила для себя в огороде клочок хорошей плодородной земли, чтобы посадить на ней цветов.

— Петр! — сказала она, — возьми заступ и раскопай мне эту землю.

Петр посмотрел на нее, улыбнулся, кивнул головою, проворчал в полголоса: «Гм! Гм!» и вскопал землю. Скоро расцвели на ней розы и

гиацинты, которые Лиза каждый вечер тщательно поливала. Когда они во всем цвете своем начали разливать приятный запах вокруг себя, то пересадила она их в горшки, которые врыла в землю под дубом у дерновой скамейки. Когда серый человек, по обыкновению, пришел читать на свое место, то сделался он почти неподвижен от удивления, увидев цветы, которые, казалось, за одну ночь выросли под его ногами. Петр принес завтрак; господин его посмотрел ему в глаза и указал пальцем на розы. Петр понял мысли его и отвечал: «*Девушка!*»

— *Девушка!* — повторил невольным образом серый человек, и кроткая улыбка, смешанная с некоторою горестью, появилась на губах его. Он вынул червонец из кармана, подал его Петру и сказал: «*Девушке*». Петр отнес к ней червонец с словами: «От господина».

— За что?

— *За цветы.*

— Если цветы приносят удовольствие господину, то я награждена довольно; за привязанность деньгами не платят.

Петр посмотрел на нее с удивлением и в первый раз отроду потрепал ее по плечу. Он отнес червонец назад, положил его на стол и сказал: «Не хочет».

— Для чего?

— Если цветы приносят удовольствие господину, то она награждена довольно; за привязанность деньгами не платят.

— Она это сказала?

— *Да.*

Еще улыбка на губах серого человека, и почти без горести. Так пользовалась Лиза всяким представляющимся ей случаем, чтобы смягчить оледеневшую душу странного сего человека. Он не был неблагодарен; он чувствовал это, хотя молчал еще долго. Когда она утром проходила мимо его доить коров своих, то не мог он удержаться, чтобы не поднять глаз от книги и не посмотреть за нею вслед. Сие тайное наслаждение неприметным для него образом сделалось, наконец, так ему необходимым, что он тогда, когда она по случаю не выходила долее обыкновенного, раз десять в минуту посматривал на дверь, ища глазами милого образа Лизы. Но это было все! Однообразно прошла четверть года. Лиза, которой, между нами будь сказано, было немного досадно, что серый человек во все время не полюбопытствовал о ее имени, Лиза между тем искала случая обратить на себя внимание молчаливого нелюдима. Случай сей представился скоро.

— Кто писал доску, прибитую к дубу? — спросила однажды Лиза у немого Петра.

— *Я,* — отвечал он.

— А кто написал на ней стихи?

— *Я же.*

— Разве ты живописец?

— *Был прежде.*

— Радуюсь! Сделай мне такую же доску!

Петр посмотрел на нее и усмехнулся.

— Хочешь ли?

— *Хочу.*

— Однако ж, смотри, не сказывай господину.

— *Не скажу.*

— Я хочу сделать ему нечаянное удовольствие.

Петр усмехнулся опять, проворчал «Гм! Гм!» и сделал доску. Как скоро она поспела, то Лиза дала ему написать на ней стишки. Петр работал *con amore* и превосходил самого себя. Дружеская благодарность, которою Лиза заплатила ему за работу, принесла ему больше радости, чем подарок северной Семирамиды славному Casanova⁴².

Когда серый человек так, как обыкновенно, пришел поутру на свое место и нечаянно взглянул на дуб, то уже доска его пропала, а вместо ее висела другая, на которой с чрезвычайным удивлением прочел он следующую надпись:

Ne te vante point d'avoir en cet asile
Rencontré le parfait bonheur,
Il n'est point retiré dans le fond d'un bocage,
Il est encore moins chez les Rois,
Il est encore moins chez le sage;
De cette courte vie il n'est pas le partage,
Il faut y renoncer; mais on peut quelquefois
Embrasser au moins son image*.

Он прочел несколько раз написанное и едва верил глазам своим. Петр принес завтрак; господин его показал пальцем на доску; Петр понял его мысли и отвечал, улыбаясь: «*Девушка!*»

— *Девушка!* — повторил серый человек и улыбнулся без всякой горести. Он принялся читать книгу, но вместо того перебирал только листами и не читал. Когда Лиза через несколько времени с обыкновен-

* Не думай найти совершенного счастья в твоём убежище. Его нет ни в лесу пустынном, ни при дворе пышном, ни в куще мудрого; оно нам не дано судьбою в краткой сей жизни — откажись от него; иногда можешь ты обнимать только одну тень его (несколько неточная цитата из сочинения Вольтера «*L'auteur arrivant dans sa terre, près du lac de Genève*», 1755. — *И. А.*).

ною непринужденностию пошла мимо его к своим коровам, то не мог он более удержаться.

— *Девушка!* — закричал он.

— Чего изволите? — отвечала Лиза и оборотилась к нему.

— *Кто ты?*

— Несчастливая.

— *Больше ничего сказать не можешь?*

— Пощадите меня!

— *Хорошо: я люблю несчастных. Хочешь ли жить со мною до моей смерти?*

— От всего сердца!

— *Как тебя зовут?*

— Лизой.

— Поди.

Лиза пошла.

Давно не говорил столь много серый человек. Он сам удивлялся этому и так задумался, что позабыл утреннюю свою прогулку. Об чем же он думал? Любезный читатель! Этого он не сказывал ни своему дубу, ни, может быть, самому себе. Впрочем, это объяснение не переменяло ничего в роде жизни пустытника нашего и его товарищей; все шло по-старому, и всякая вещь, кроме одной доски на дубу, осталась на прежнем своем месте.

Скоро зима обнажила лес, покрыла снегом цветник Лизин и заключила серого человека в его горнице. Недостаток движения был, может быть, причиною, что тайная горесть, всегда обитавшая в душе его, больше, нежели когда-нибудь, подействовала в это время года на его тело: он сделался опасно болен.

Женщины способны доставлять нам самые счастливые и радостные минуты в жизни, но — что еще больше — они способны оживить страждущее сердце в минуту горести и уныния. Лиза не отходила от постели серого человека. Ботаника, которой для забавы училась она в своей юности, очень пригодилась ей в сем случае. Утром приготавливала она надлежащие лекарства для больного, в полдень варила ему супы, а вечером брала книгу из малой, но отборной его библиотеки и читала ему до тех пор, покуда он не засыпал; потом, не раздеваясь, бросалась она на софу в боковой горнице, чтоб быть готовой, как скоро больной пошевелится.

Благодаря неусыпным ее стараниям, серый человек скоро совершенно оправился. Хотя он все был так же задумчив, так же печален, как и до болезни своей, но взор его уже не был так мрачен, так *человеконенавистлив*, как прежде; он молчал по-обыкновенному, но молчание уже ему наскучило.

— Поди в Лизину горницу, — сказал он Петру одним утром, — и положи этот кошелек на стол ее.

Петр исполнил его приказание. Лиза увидела кошелек и отгадала, кто прислал его.

— Поди в горницу господина, — сказала она Петру, — и положи этот кошелек на стол его.

Петр повиновался, и таким образом кошелек несколько раз, без дальнего объяснения, переходил с одного стола на другой. Наконец серый человек принужден был опять положить его в карман, и ввечеру, когда он стоял у окна, оборотясь лицом к стеклам, а Лиза мела позади его горницу, вдруг начал он против своего обыкновения насвистывать песенку. Потом вдруг остановился и сказал отрывисто, не оборачивая головы: «Ты не берешь денег?»

— *Нет*, — отвечала Лиза.

Серый человек снова начал свистать, стучал пальцами по стеклу и не говорил больше ни слова.

Но на другой день, когда Петр пришел накрывать на стол, сказал он: «Поставь два прибора!» Петр остолбенел, повесил руки и опомнился только тогда, когда серый человек с сердцем повторил свое приказание. Он поставил два прибора и думал: «*Верно, придет какой-нибудь гость!*» Но гость не приходил, а кушанье было уже принесено.

— *Позови Лизу!*

Лиза пришла.

— *Садись со мной и ешь.*

Лиза чувствовала нежность сего обхождения. Она села и хотела есть, но слезы выступили на глазах ее; она ни куска проглотить не могла. Серый человек взглянул на нее украдкой.

— *О чем ты плачешь?* — сказал он.

Лиза вскочила и убежала.

— *У ней доброе сердце!* — проворчал пустынный; улыбка блеснула на губах его, и, вместо прежней горести, было в ней уже некоторое сердечное уныние.

ГЛАВА XX

БЕСЕДКА

Когда Бог изрек великое слово: «*Да будет свет!*», то послал Он красоту на землю. Она явилась, и стал свет. Какой мрак темницы не озарится, какое растерзанное сердце не утешится одною улыбкою красоты и невинности?

Пустыня серого человека мало-помалу теряла дикий свой образ. Группа высоких мрачных елей, на восток от домика находившихся, препятствовала веселому утреннему солнцу проникать в окна; но серый человек этого стоил: он сам прятался от лучей солнечных и для того единственно жил в южной половине своей хижины, в которую только изредка проходило летом сияние зари вечерней. Лиза выгнала его из этой горницы под предлогом некоторой нужной переделки. Петр должен был, по ее приказанию, срубить ночью старые ели, и когда серый человек пробудился в новой горнице, то утреннее солнце светило прямо на кровать его.

Удивленный сим неожиданным посещением, позвонил он в колокольчик. Петр пришел; господин его показал на солнце. Петр улыбнулся.

— Елей нет более? — сказал он весело.

— *Куда они девались?*

— Я срубил их.

— *Кто приказал тебе?*

— Девушка.

Серый человек замолчал при этом слове, подобно старому французу, которому *de par lè Roi* возвещают повеление министра.

Шагов за двести от домика находился холм, заросший густым кустарником. Когда наступила весна и листья начали пробиваться на деревьях, то Лиза велела своему услужливому Петру обчистить вершину холмика и столько оставить на нем кустарника, сколько нужно было для сплетения беседки. Скоро она поспела, и Лиза по проложенной от домика извилистой тропинке привела серого человека на холм, на котором вдруг поразила его неожиданная, великолепная картина.

Он не говорил ни слова, но когда Лиза отошла от него на несколько шагов, чтобы нарвать полевых колокольчиков, то он с вопрошающим знаком посмотрел украдкой на Петра. Петр кивал головою и мигал глазами.

В другой раз купила Лиза у одного крестьянина соловья — птичку, которая никогда не залетала в сию часть леса, где обыкновенно водились одни галки и вороны и были одни пустынные совы. Вечером повесила она милого певца под окном серого человека. Птичка начала петь нежную свою песню то громко, то тихо и томно. Серый человек проснулся, начал стучать, удивился и вместе обрадовался небывалому гостю, и в сердце его родилось желание: «Когда б эта птичка никогда не улетала отсюда, когда б она свила гнездо под моей кровлей!»

Открывши поутру окно свое, увидел он, откуда происходила серенада. Петр принес завтрак, и серый человек поднял было палец, чтобы

указать на предмет своего удивления, но вдруг тотчас опустил его. «На что спрашивать?! — подумал он, — кому, кроме девушки?»

Задумчиво облокотился он на чайный столик и долго мешал ложкою в чашке, как будто бы в самом деле положил в нее сахар.

— *Лиза*, — сказал он тихо.

— *Лиза!* — повторил он немного погромче.

— *Лиза!* — вскричал он громко с некоторым жаром.

Лиза была тогда в кухне и услышала, что ее кличут. Она проворно вбежала в горницу.

— Вы звали меня? — спросила она серого человека.

(*Серый человек, в приметном замешательстве.*)

— Я? Нет! Тебе послышалось, моя милая!

Лиза пошла и радовалась, ибо в первый еще раз назвал он ее *милою*. Это драгоценное название было целью всех ее попечений! С тех пор, как она с таким благородством отказалась от награды за излечение серого человека, с тех самых пор она всегда обедала и ужинала с ним вместе. Без ее ведома послал он однажды Петра в город нанять крестьянку ей в помощницы, ибо он не хотел более, чтобы она сама исправляла какую-нибудь грубую работу. По вечерам читала она с ним вместе книги и искусным образом умела привязать его к любимым авторам своим. *Циммерманово «Уединение»* и *Юнговы «Ноши»* уступили место «*Опытам*» *Монтаня*, «*Путешествию Анахарсиса*» и веселому «*Жилблазу*»⁴³; одним словом, серый человек через год столько же походил на самого себя, сколько через две недели походит на себя роза, которую весною вынимают из погреба и выставляют на солнце.

Он сам чувствовал сию перемену, и сердце его отворилось нежным, сладостным ощущениям. Сколько любезна ему Лиза, и что, наконец, выйдет из этой связи — об этом он почти никогда себя не спрашивал; случаю надлежало растолковать ему натуру чувств его.

С тех пор, как появилась беседка на вершине холма, он почти совсем оставил прежнее любимое свое место — дерновую скамью под дубом. Часто и охотно бродил он по лугу и всходил по излучистой тропинке на холм, где веселая картина природы уже не была ему больше в тягость.

Однажды, приближаясь медленно к беседке, услышал он вдруг какой-то необыкновенный шум. Он стал вслушиваться, и ему показалось, что кто-то рыдал. Он вошел в беседку и увидел плачущую Лизу. Она думала тогда о Вильгельме, и ему были посвящены сии слезы любви и нежности. Она вскочила и старалась улыбнуться и скрыть свои слезы, но серый человек неподвижно и примечательно смотрел в глаза ее.

— *Лиза*, — сказал он, — *ты плачешь?*

Она не могла тотчас отвечать на вопрос его.

— Или ты все еще несчастна?

— Ах! Я счастлива, столько счастлива, сколько мне можно быть в этом свете.

— И несмотря на то, слезы?

— Они посвящены прошедшему.

— А может быть, и надежде лучшей будущности?

— Нет, я перестала надеяться. Я не желаю ничего, кроме благоклонности вашей.

(Долгое молчание.) Серый человек сказал, запинаясь: «Ты замужем?»

— Нет.

— Так ты любишь? У тебя есть любовник?

— Был некогда!

— И умер?

— Не дай Боже!

— Не верен!

— Конечно, нет.

— Да что ж он? Для чего перестала ты надеяться?

— Судьба разлучила нас навеки!

— Как?

— Я, извините, я не могу этого выразить, но я не должна его видеть! Я не хочу его видеть!

— Не хочешь?

— Не хочу и не увижу до тех пор, покуда будет во мне хоть немного честности и добродетели!

— Правда ли это?

— Я стала бы ненавидеть себя, когда бы иначе могла думать; я стала бы презирать себя, когда бы иначе могла действовать.

(Молчание.) Серый человек с чувствительностью схватил Лизу за руку, посадил ее на дерновую софу и сказал нежным голосом: «Милая Лиза! Будь чистосердечна, открой мне то, что тебя мучит?»

— Если вы это узнаете, то, конечно, выгоните меня из своего дому, который теперь последнее мое пристанище.

— Тогда бы я лишился счастья своей жизни! — перехватил серый человек с скоростию, и краска выступила на щеках его, как будто бы он стыдился невольного своего признания.

— Говори без робости, — продолжил он спокойным, просящим голосом, — может быть, доселе казался я тебе нечувствительным? Про нашу братию голландцев говорят, будто мы так же холодны, как и туманы наши, но мои страдания были по большей части *страданиями сердца*. Говори, Лиза! Не бойся, чтобы я перетолковал что-нибудь в худую сторону!

Лиза, наконец, согласилась и рассказала ему не *свою*, а, собственно, Вильгельмову историю: как он, будучи носильщиком сыном, принят в дом их; как детская свычка их превратилась в любовь; как он, сделавшись школьным учителем, за нее сватался, получил отказ и от отчаяния пошел в солдаты; как благородно пожертвовал собою для своего друга; как мужественно сражался пред глазами государя и, наконец, достоинствами своими возвысился. Она представляла, что ей невозможно было неосновательным супружеством остановить благородного юношу посреди славного пути его. «Мы решились, — прибавила она, — вперед называться братом и сестрою, и ничто не в состоянии отвратить меня от сего твердого намерения».

Серый человек не нашел в этой повести ничего такого, что бы могло заставить Лизу бояться быть выгнанной из его жилища. Он заключил, что какая-нибудь другая тайна скрывалась в ее сердце, и напрасно старался ее выведать от боязливой девушки. Чтобы утешить несколько ее сердце, пытался он опровергнуть ее ложную разборчивость и вызвался соединить ее с Вильгельмом, но тщетно: она была непреклонна и просила его пощадить ее и не произносить более при ней Вильгельмова имени. Он принужден был ей обещать это и, признаться, обещать не без удовольствия.

Оба молча пошли домой; оба крайне были задумчивы и не дотронулись ни до чего за ужином. Серый человек лег в постелю, но он не спал, он не слышал соловья, который пел под окном его, и поутру заря застигла его, погруженного в глубокие размышления.

ГЛАВА XXI

ОТКАЗ

Следующий день прошел тихо. Лиза опять стала весела и спокойна, но душа серого человека, казалось, занята была каким-то предприятием.

«Пойдем прогуливаться, милая Лиза!» — сказал он около вечера. Они пошли, не говоря ни слова, на холм и сели по-вчерашнему на дерновую скамейку. Долго продолжалось молчание. Лиза в замешательстве смотрела на луг, обрывала листы с навесившихся на нее веток. Казалось, что она предчувствовала, какая сцена ее ожидала. Серый человек сидел, опустя голову; в сердце его происходило что-то необыкновенное.

— Лиза, — сказал он наконец, — ты еще не переменила своих мыслей?

— *Я никогда не переменяю их.*

— Ты отказываешься от своего Вильгельма?

Лиза (со вздохом). Я навсегда от него отказалась!

Серый человек (дрожащим голосом, чертя палкою фигуры на песке). Лиза, хочешь ли быть моею женою?

Лиза испугалась, она не ожидала такого скорого оборота. Неподвижными глазами посмотрела она на своего товарища; некоторое отвращение, чувство, которое доселе при виде его было неизвестно для души ее, изображалось в ее взорах.

«Ты удостоила меня своей доверенности, — продолжал он, оправясь от первого своего замешательства, — и так надобно и мне заплатить тебе равным за равное. Вот в кратких словах история моей жизни. Я голландец и называюсь *Ван Шуннер*. Отец мой был богатый купец, который любил деньги больше всего на свете. Образованием души своей обязан я путешествиям и хорошим книгам.

Когда я возвратился, то имел несчастье влюбиться в одну прекрасную девушку. Я хотел жениться на ней и не смел. Отец мой грозил лишить меня наследства и подливал только масло в пламя. Я хотел увезти ее, пожертвовать ей так называемым временным своим счастьем, но прежде, нежели это сделалось, один немецкий негодяй принес с собою язву *сентиментальности* в дом их, и она мне изменила.

Я бросил любовь к женщинам и принялся за любовь к отечеству, сделался патриотом — и был выгнан. Некто *Фагель*, которого однажды вытащил я из воды, был жесточайшим моим гонителем. Я бы давно забыл этого проклятого человека, если б имя собаки моей не напоминало мне об нем ежедневно. На голову мою положили цену. Отец мой умер. Я осмелился тайно приехать в Амстердам, скрывался несколько недель в доме моей матери и старался в это время переправить имение свое в чужую землю. Уже бóльшая половина его была вывезена, как я узнал, что моя родная мать мне изменила. Корыстолюбие и фанатизм смеются натуре. Меня хотели задержать, но я успел скрыться, поверил брату своему другую часть своего имущества и за доверенность свою был обманут. Так расторгла судьба все узы любви, дружества и природы. Я остался один в мире и тщетно простирал руки в воздух, чтобы прижать к сердцу подобное мне чувствительное существо; я трудился напрасно! Наконец я устал страдать; удалился в сию пустыню с одним человеком, которого глупость служит мне порукой за его честность, и здесь намерен кончить жизнь свою.

То, что сохранил я из временных богатств своих, слишком много для моих потребностей и слишком мало для моего сердца. С тех пор, как я узнал тебя, прошедшее кажется мне сном, а будущее опять улы-

бается. Я не могу жить без тебя! Не могу! Конечно, с тридцатью осмью годами на плечах и с такою суровостью чувств, не имею я права требовать любви твоей, но если ты решилась навсегда остаться в этом уединении, то для чего ж не моей супругой, не моим истинным, милым другом? Ты опять заставила меня верить человечеству, но если хочешь сделать меня опять счастливым, опять спокойным, то согласишься быть *моею!*

Ты молчишь — трепещешь! Знаю, что ты думаешь: *невозможно любить дважды*. Ошибаешься, ошибаешься, милая Лиза! Попробуй сделать счастливым человека, и создание твое будет тебе любезно; не отвергай руки и сердца честного несчастливца! Пусть буду я благословлять ту минуту, в которую принял тебя в дом свой!»

Лиза, трепеща и краснея, почти не слыхала слов его, а последнее приветствие совсем пролетело мимо ушей ее. Тысячу раз проклинала она самое себя за то, что вчера не открылась ему во всем, бояся быть выгнанной и опять оставленной во власть судьбы своей. Серый человек ей нравился, но не так, как *Вильгельм*, не так, как она ему. Впрочем, если б и это было, то бы она, конечно, никак не могла согласиться обмануть его и оставить в заблуждении о ее невинности, которая *только в душе ее* обитала. Несколько раз хотела она говорить, признаться во всем, но язык ее не ворочался: стыд, робость заграждали уста ее.

Серый человек с ожиданием смотрел ей в глаза и читал в них смятение и робость, но не отвращение. Сие замечание ободрило его; он наступал больше и больше, и наконец Лиза, запинаясь, попросила у него позволения письменно отвечать ему.

— *Когда?* — вскричал он с живостью.

— *Завтра*, — отвечала бедная девушка и бросилась из беседки. Он хотел за нею следовать. Она оборотилась: «Ради Бога, — сказала она, — оставьте меня одну!» Он остановился; она скрылась в лесу, бродила там до самой ночи и думала, каким бы образом написать свое признание. Любовь серого человека льстила ее сердцу; потерять ее было для нее горько, но вместе с нею лишиться и его почтения — а! Эта мысль терзала ее душу. «Но этому так быть должно. Лучше сносить заслуженное, лучше опять быть презренной, чем обманывать честного человека, своего благодетеля!»

С такими мыслями возвратилась она в домик. Она не входила в горницу *Ван Шиттера*, который скорыми шагами взад и вперед прохаживался; она прямо пошла на кухню, прибрала ее на скорую руку и потом заперлась в своей комнате.

Петр накрыл стол и положил только один прибор. Господин его указал на него пальцем и спросил: «*Для чего?*»

— Девушка не хочет ужинать.

— *Где она?*

— Заперлась.

— *Что она делает?*

— Не знаю.

— *Какова кажется?*

— Она плакала.

Серый человек удвоил шаги свои. Петр между тем принес кушанье, стал с тарелкою под мышкой за стулом и несколько раз шаркал и кашлял, чтобы обратить внимание господина своего на приготовленный ужин. Наконец увидев через четверть часа, что ни кашлянье, ни шарканье не помогают, осмелился он сказать: «Кушанье простынет». Он несколько раз повторял слова сии и так часто, что, наконец, вывел *Ван Шиппера* из терпения; он закричал на него с сердцем: «*Я не хочу есть!*» Уже девять лет служил Петр своему господину в его уединении и ни разу не слышал от него бранного слова. Не удивительно, что его первая вспыльчивость поддействовала на сего глупого добросердечного человека: он начал плакать. «Добрый мой господин! — сказал он, рыдая, — чем же я виноват, что вам есть не хочется?»

Ван Шиппер опомнился. «Не сердись, — сказал он ему ласковым голосом, ударив его по плечу, — не сердись на меня, Петр: я болен!» Петр снял со стола кушанье, отнес его на кухню, и у него самого пропал весь аппетит.

Серый человек часа с два еще ходил взад и вперед по горнице; наконец он так утомился, что колена его начали подгибаться, но ему невозможно было ни сесть, ни лечь в постелю; он горел желанием узнать, спала ли Лиза? Тихонько прокрался он на двор, откуда сквозь низкое окно мог легко видеть, что она делала. В горнице ее светился огонь. Он приблизился на цыпочках к окну, гардины были не совсем задернуты: он увидел Лизу, сидящую за столом; она писала и часто оставляла перо свое, чтобы утереть слезы, текущие по щекам ее. Сей образ последовал за ним на постелю и был совсем не такого рода, чтобы доставить ему спокойную ночь.

Утреннее солнце застигло Лизу еще за письменным столиком. Теперь она все кончила; перечитала написанное, запечатала его дрожащею рукою и кликнула: «*Петр!*» Серый человек вздрогнул, услышав ее голос. Он прислушивал⁴⁴ и едва дышал.

Вот уже отворяет Петр двери Лизиной горницы, входит, выходит назад, и с каждым шагом его сильнее бьется сердце ожидающего! Дверь отворяется: он видит письмо в руках Петра, и бледность разливается по щекам его. Трепеща, сорвал он печать и долго не мог собраться с духом, чтобы прочесть написанное.

Как гора свалилась с плеч Лизы, когда она отослала письмо свое; она с облегчительным сердцем пошла в свою кухню, велела разложить на очаге огонь, стала помогать работнице обчищать бобы и с стесненным сердцем прислушивалась к малейшему шороху в ближней горнице.

Через полчаса отворилась дверь. *Ван Шуппер* вошел в кухню с Лизиним письмом в руках. Пылающая девушка не смела поднять глаз и разроняла бобы, которые обчищать хотела. «Лиза! — сказал серый человек, — так уничтожаю я всякое воспоминание!» Он бросил письмо в огонь.

Лиза рыдала. *Ван Шуппер* подал знак работнице, чтоб она вышла. «Посмотри на меня, милая Лиза!» — сказал он и схватил дрожащую ее руку. Она взглянула на него робкими, слезящими глазами.

— Теперь мне известны все изгибы твоего сердца. Нет, это выражение нехорошо; в сердце твоем нет изгибов. Позабудь все претерпенное; прости хищнику твоей невинности: я уже простил ему. Какая мне до того нужда, что добродетель твоя некогда была запутана сетями? Ты избавлена, и сердце твое осталось непорочным. Я знал многих недостойных женщин; зависть и злоба кипели в сердцах их, и при всем том они с гордостью смотрели на бедную, обманутую невинность, которая, лишившись того, что они единственно называют добродетелью, осталась добродетельнее и непорочнее их. Успокойся, милая Лиза! Письмо сожжено, и с ним погребло воспоминание прошедшего; ни одно слово, ни одно движение тебе об нем не напомнят. Еще раз предлагаю тебе сердце свое и руку. Ты молчишь. Смею ли я послать Петра за священником?

Ах! Бедная Лиза была в ужасном положении. С одной стороны, благодетель, человек благородный, исполненный любви и нежности, который великодушно извинял ее проступки и предлагал ей с своим сердцем спокойствие и счастливую жизнь: с другой — ах! С другой, Вильгельм! Она отказалась от него, но в ее ли власти было отказаться от надежды, которая, подобно искре под пеплом, все еще тлела в ее сердце? И могла ли она в таком положении дать руку другому человеку? И если б вдруг появился Вильгельм с тою же верностью, с тою же пламенной любовью — ах! Не была ли бы она тогда совершенно несчастна? Не сделала ли бы несчастным и доброго, благородного своего супруга? Нет! Ей невозможно, невозможно навсегда разлучиться с Вильгельмом, и одна мысль сия ужасна! Долго сражалась в душе ее любовь с благодарностью; наконец любовь победила, и Лиза произнесла роковое, невозвратное «нет!»

Серый человек был слишком благороден, чтобы долее принуждать ее; ни один упрек, ни одна жалоба не сорвалась с языка его; он

умолк и скрыл горесть свою в сердце. Место прежней его угрюмости заступила теперь глубокая, безмолвная унылость. Он говорил меньше, нежели когда-нибудь; часто не слышал того, что ему говорили; бродил по целым дням по лесу и проводил ночи без сна. Едва питался он нужною пищею для продолжения бытия своего. Лиза видела это, видела, что тайная горесть снедала его сердце; что щеки его день от дня становились бледнее, глаза впадали глубже, и сердце ее раздиралось.

ГЛАВА XXII

ВДОВА

Душевные страдания имеют то сходство с телесными, что они делают нас равнодушными к жизни. Серый человек сам чувствовал, и притом лучше всех, что силы его час от часу истощались и что его состояние обещало ему скоро вечный спокойный сон. Одно только лежало у него на сердце, и он поспешил исполнить последнюю житейскую свою обязанность.

Однажды утром скрылся он по обыкновению в лес, но он не пришел по обыкновению назад к обеду. Лиза беспокоилась. Настал вечер — его не было; она просидела во всю ночь — он не приходил.

Петр выл голосом. Лиза не знала, что делать; она бегала по лесу, кликала серого человека по имени: все тщетно! Обессилев, возвратилась она около обеда назад, надеясь, что он между тем нашелся, и надежда опять ее обманула. Тут почувствовала она, сколь любезен ей серый человек! Она упрекала себя в неблагодарности; стенания Петра приводили ее в отчаяние. Она опять около вечера пошла в лес. Плача горькими слезами, бродила она в кустарнике и каждою минуту боялась найти мертвое тело своего благодетеля, но она не нашла его. Почти без чувств бросилась она под дерево, ломала с горести руки и совершенно предалась отчаянию.

— Что тебе сделалось, Лиза? — сказал вдруг милый, знакомый голос. Она быстро подняла глаза: серый человек стоял перед нею.

— Слава Богу! — вскричала она, сложив руки; залилась слезами, и, поднявшись на колена, обняла его ноги. — Слава Богу! Вы живы!

— Разве ты в этом сомневалась, моя милая?

— Ах! Я была в смертельном страхе!

— Жаль мне этого; я не знал, что ты принимаешь такое участие в моей жизни. Благодарю тебя. Это живительная капля в чашу моих страданий! Будь спокойна! Встань, уже вечер, пора идти домой.

Лиза встала, подала руку серому человеку и пошла с ним вместе в домик. Ей очень хотелось спросить его: зачем он от них скрылся и где и как пробыл в течение двух дней сих, но как он нимало не намекал об этом, то и она не осмелилась сама зачать говорить с ним.

Петр встретил доброго своего господина с покрасневшими и вспухлыми от слез глазами; рыдая, поцеловал его руку и перед сном пропел звонким голосом: *«Тебя, Бога, хвалим!»*

Через несколько дней после сего происшествия серый человек занемог. Но он этого совсем не показывал, а уверял всегда, что был совершенно здоров. Но от чего такой румянец на щеках его? От чего сии пламенные глаза, сии отверделые губы? От чего пропал у него аппетит? От чего разливалась такая дрожь по всему телу? Бедный серый человек! Напрасно ты сокрыть хочешь, что сильная лихорадка свирепствует в твоём теле!

Печальная Лиза опять принялась ходить за ним, за ним, который с радостью приближался к концу трудного пути своего. Каждое утро с нежнейшею попечительностию приготавлиала она для него лекарства, которые Ван Шиппер с благодарностию брал из рук ее и, не дотрагиваясь до них, ставил на стол. Напрасно Петр уговаривал его послать за доктором в город; он улыбался и говорил: «Вы странны мне кажетесь, дети! Я совсем не болен». Но дрожь и посинелые ногти обличали его в неправде. Впрочем, никогда не бывал он так весел и разговорчив, как теперь; он даже иногда шутил и смеялся. Это рвало Лизино сердце. Жалобы и упреки были бы для нее сноснее, чем это спокойствие и беспреестанное тщание, с которым он скрывал болезнь свою.

Он перемогался долго, до тех пор, покуда, наконец, крепкая натура его не утомилась и не ослабела. Он слег в постелю. Слишком напряженные силы его истощались, и болезнь его увеличилась до такой степени, что Лиза начала трепетать о его жизни. Она стояла у его постели и сжимала в руках своих горячую его руку; глаза ее были полны слез; с робостью считала она скорое биение его пульса; тяжкое дыхание больного отягощало вместе и грудь ее; лихорадный жар пылал на щеках его.

Благородное сердце ее было жестоко растерзано. Не зная сама, что делала, вдруг прижала она губы свои к пламенной руке страждущего. Он сделал некоторое движение, чтобы ей воспрепятствовать.

— Что ты делаешь, Лиза?— сказал он тихим голосом, — не отягощай моей смерти; я хочу умереть спокойно.

— Благодетель мой! Благодетель мой! — вскричала печальная вне себя, — нет! Нет! Вы не должны умереть; я была бы недостойнейшая тварь, когда бы могла снести это зрелище!

Она стала на колена у его постели.

— Благодетель мой! — сказала она в иступлении, — если надежда прижимать к сердцу верную, нежную супругу может оживить вас: то живите! Я ваша, навсегда ваша!

Слова сии поразили сердце несчастного. Он молчал долго, наконец, пожал ее руку и, несмотря на свою слабость, сказал с живостию: «Милая, добрая Лиза! Понимаю, что в тебе происходит. Благородные чувства извлекают из тебя слова сии, с которыми не согласно твое сердце. Страдания мои кажутся тебе упреком; ты хочешь пожертвовать собственным своим спокойствием, чтобы избавиться от сего упрека. Я никогда бы не воспользовался таким расположением твоего сердца, когда бы не чувствовал, что... что ты ничего опасаться не можешь. Напротив, надежда говорит мне, что сим утвердится будущее твое счастье и сострадание твое не останется тщетным. *Так, я хочу иметь супругом Лизы!* Встань, милая! Поспеши, если ты в самой вещи решилась, призвать сюда пастора ближней деревни. Если он не соединит сердец наших, то, по крайней мере, вложит слабую руку мою в руку моей любезной. Ты будешь носить имя мое дотоле, покуда по желанию своего сердца не переменишь его, но и тогда — не правда ли, добрая Лиза — и тогда не забудешь ты несчастного, который так любил тебя».

Лиза не могла говорить; рыдая, бросилась она из горницы и послала Петра за пастором. Священник пришел около обеда. Серый человек, казалось, получил новые силы; рука невесты дрожала сильно, его была неподвижна. Едва слышна была *клятва* ее; он произнес свою твердо и мужественно. Духовник изрек благословение; новобрачная бросилась из горницы и пролежала несколько часов на полу в своей комнате.

Больной, между тем, имел продолжительный тайный разговор с священником. Когда Лиза пришла несколько в себя и отерла свои слезы, то собралась она, сколько было можно, с духом и взошла опять в горницу немощного, которого нашла слабее и хуже прежнего. С попечительною заботливостью составила она свои лекарства.

— Вы дали мне драгоценное право на свою жизнь, — сказала она, — неужели отвергните принадлежащую вам руку, которая хочет вам подать помощь?

— Боже избави! — сказал больной, улыбаясь, — в первый день свадьбы ни в чем не должно отказывать своей супруге. Дай мне, милая Лиза, дай все, что тебе угодно: я готов все выпить.

Он сдержал слово и принимал охотно ложку за ложкой, хотя, впрочем, было очень приметно, что он это из одного снисхождения делал и никакой помощи не надеялся. К ночи сделался он слабее. Лиза и священник сидели у его постели; последний утешал и подкреплял его надеждою на милосердие Вечного; Лиза могла только плакать. Он пожал ее руку с

нежною благодарностью за сии слезы; священнику же отвечал: «Я всегда был честным человеком; милосердый Отец помилует своего сына».

В полночь дыхание его стало реже, реже; иногда оно останавливалось. В безмолвном, робком ожидании смотрела супруга его на сжатое конвульсиями лицо его; холодный пот выступил на его щеки; дрожащая рука ее хотела отереть пот сей — вдруг он схватил сию руку с некоторым содроганием и положил ее на глаза свои. Он вздохнул тяжело; еще раз — и его уже не стало!

Горесть Лизы была неизъяснима, несравненна. Если бы Вильгельм умер на руках ее, то бы она, конечно, с большим чистосердечием его не оплакала. Она в содрогании лежала на бездушном теле своего супруга; Петр плакал и выл голосом.

Doux noeuds de la reconnaissance!
C'est par vous, due dès l'enfance
Le coeur à jamais fut lié;
La voix du sang, de la nature,
N'est rien qu'un languissant murmure,
Près de la voix de l'amitié*

Тщетно утешал ее добрый священник; она не слыхала слов его до тех пор, покуда не объявил он ей последней воли умершего: *чтобы она немедленно оставила сию пустыню и потуда жила в его доме, покуда не успокоится первая ее горесть и дела ее не приведутся в порядок*. Почти насильно оттащили ее от тела; в бесчувствии села она в карету и дала везти себя туда, куда ее везти хотели.

Священник отдал ее на руки жене своей, доброй, простодушной женщине, и возвратился на другой день в домик, чтобы совершить погребение. Через несколько недель Лиза довольно успокоилась, чтобы обратить внимание на то, что до нее касалось; во все это время она ни разу не подумала о Вильгельме. Тут узнала она, на что употребил Ван Шиппер два дня своего отсутствия, в которые она перенесла столько беспокойств и страха. Он ходил в ближний город к нотариусу, где по форме написал последнюю свою волю. Лиза в завещании его была сделана наследницею имения в тридцать тысяч червонных с тем условием, чтобы она не оставляла бедного Петра до самой его смерти и держала его при себе.

* Сладкие узы благодарности! Вы связываете сердце в самой нежной юности; — глас крови и родства не иное что, как слабый шепот в сравнении с гласом дружества (несколько искаженная цитата из оды Вольтера «Ode VI. À monsieur le duc de Richelieu sur l'ingratitude», 1736. — *И. А.*).

Лиза плакала горькими слезами. Сие доказательство безнадежной, благородной любви тогда, когда еще не была она его супругой, снова растерзало ее сердце. «Где Петр?» — спросила она с жаром. Петр явился; он с самого погребения доброго своего господина жил в доме священника и только за тем не показывался, что боялся возобновить горечь Лизы.

Лиза, рыдая, подала ему руку, которую он поцеловал, заливаясь слезами.

— Мы никогда не расстанемся, добрый Петр! — говорила она, всхлипывая, — я буду пещись о тебе, как о своем брате.

— Ах! — сказал честный старик, — у вас добрая душа! Я знаю вас, но мой милостивый господин — о! Я никогда, никогда его не забуду!

Еще несколько месяцев прожила Лиза в доме честного священника и охотно бы навсегда осталась жить там, когда бы не видала, что дом его для нее слишком мал и тесен; к тому ж ей надобно было искать другого убежища. Война, которая все еще поблизости свирепствовала, делала жизнь в деревне опасною, особливо для девушки; итак, она решилась — наградив сперва священника за его дружбу, если только за дружбу награждать можно — переселиться с своим наследством в одну ближнюю крепость. Там купила она себе дом и жила уединенно, хотя, впрочем, на хорошей ноге, под именем вдовы *Ван Шиннер*.

ГЛАВА XXIII

ШТУРМ

Уже более года не имела она никакого известия о Вильгельме, так как серый человек обыкновенно получал гамбургские газеты, то Лиза всякий раз с робостию прочитывала в них реляции о сражениях и реестры убитых и раненых; но к счастью, имя Вильгельма не попадалось ей нигде. Казалось, молитвами ее сделался он невредимым, но зато она и между отличившимися его не находила и часто втайне проклинала его худое счастье, которое, вероятно, не давало ему случая отличиться.

Теперь, будучи молодою, богатою, не зависящею ни от кого вдовою, она каждый день раз по сту вспоминала о Вильгельме: «Где он? Любит ли еще меня?» На последний вопрос сердце ее обыкновенно отвечало: «Да!», но на первый ни сердце, никто другой не могли дать ей ответа, ибо война все еще с прежнею яростию свирепствовала, а земля, в которой она поселилась, была неприятельскою землею для Вильгельма.

Если бы у ней был какой-нибудь поверенный, которого бы она послать могла — не для того, чтобы возобновить прежние, давно забытые связи; Боже избави! В этом сердце языку не скоро признается — нет! Только для того, чтобы узнать, *жив ли милый Вильгельм ее?* Ведь сестра может без стыда наведаться о здоровье своего брата; к тому ж кто знает, в каком он состоянии? Не терпит ли нужды, не бедность ли мешает ему возвыситься, а она еще столько должна ему! Он лишил себя последнего куса хлеба, чтобы разделить с нею малое свое жалованье: не обязана ли она разделить с ним своего имения? О, охотно! Охотно! Только бы ей найти его, только бы сыскать молчаливого, верного человека, которого бы к нему послать было можно. «А Петр?» *Ну конечно; да очень прост.* — Прост? Какая до этого нужда? Не много надобно ума для того, чтобы расспрашивать о человеке, который так и так называется; чтобы проехать неприятельскую армию под именем богатого купца, переезжать из полку в полк, разведывая о таком-то офицере и, нашедши его, сказать ему: *«Сестра Лиза приказала кланяться; она теперь живет в Р**»*. Вот все! Кажется, дела не много, и Петр довольно смышлен для этого. Правда, иногда промедлит он неделю там, где бы другой в два дни отделался, и не редко будет подвергать имя вдовы Ван Шиппер насмешкам молодых прапорщиков и подпоручиков, но какая до этого нужда? Кто знает вдову Ван Шиппер, и кому известны связи ее с Вильгельмом? Итак, чего медлишь? Во имя Божие!

Петр получил сотни две червонцев на дорогу, выучил наизусть свою ролю и отправился в путь свой с уверением, *что найдет непременно молодого господина, где бы он ни был, хотя бы зашел за тридевять земель в тридесятое царство!*

Уже два месяца прошло с тех пор, как он отправился; Лиза считала минуты и ждала нетерпеливо его возвращения. Она стала жить еще уединеннее прежнего и посвятила себя единственно веселой надежде найти своего Вильгельма здоровым и верным. *Здоровым?* Ну это еще идет; но для чего же и *верным?* Разве она от него не отказалась? Если он, во время разлуки с нею, нашел для себя молодую, прекрасную, богатую невесту; если он соединил судьбу свою с ее судьбою, то не должна ли она еще благодарить его за то, что он подкрепил слабое ее сердце и навсегда лишил ее возможности отступить от своего намерения. Сперва почитала она себя его недостойною, но не то же ли она теперь, что была и прежде? Богатство никогда не возвратит потерянной чести!

Но она под словом *верность* разумела только братскую *верность*. А! Это другое дело; на братскую верность она еще имеет права.

Уже два месяца ждала она без всякой пользы. Театр войны приближался больше и больше, и наконец она совсем перестала наде-

яться, чтобы посланный ее возвратился, ибо крепость Р** была внезапно осаждена неприятелем, и следственно, ни одна душа не могла ни взойти, ни выйти из города.

Жителям Р** было не очень приятно, что незванные неприятельские бомбы посещали их жилища; они то и дело приходили к коменданту с представлением сдать крепость. Но честный генерал хорошо знал свою должность; и, наконец, наскучив неотвязностью осажденных, обещал первого, кто будет говорить ему о сдаче, привязать к столбу на валу крепости. Сия угроза подействовала: граждане замолчали и с тайным ропотом терпели страх и нужду.

Неприятельские батареи окружили крепость; то, что осажденные с трудом разрушали в неделю, часто в одну ночь опять возобновлялось. Скоро к пушечной пальбе привыкли точно так, как к колокольному звону по праздникам; еще мало сделано было вреда крепостному строению, еще голод не давал себя чувствовать, но неприятель уже несколько раз требовал сдачи. Однажды офицер явился с трубачом в крепость и с завязанными глазами был представлен коменданту.

Лизин дом находился на одной из тех улиц, по которым ему проходить надлежало. Она услышала шум и подошла к окну — ба! Посреди тысячей узнала бы она своего Вильгельма. Правда, белый платок закрывал его глаза и половину носа, но его губы, его волосы, поступь, талия — это был он, точно он! Посреди тысячей узнала бы она его! Она закричала громко и протянула к нему руки из окна своего. К счастью, народный шум заглушил крик ее; и как все смотрели на присланного чужестранца, то никто не приметил ее движения.

С трепещущим сердцем ожидала она возвращения его, чтобы совершенно увериться в своих мыслях. Уже прошло более полчаса. Лиза ходила скорыми шагами взад и вперед по горнице, и всегда невидимая сила влекла ее к окну. Наконец он показался опять. О! Это был он! Уже издали она в том удостоверилась. Бесчеловечные провели его мимо. Он так к ней близок — все жилки и мускулы ее трепетали; она не может его кликнуть, не может остановить его; он пропадает из глаз ее, и она в беспомощности бросается на софу.

Когда пришла она в чувство, то вспомнила, что в петличке его видела крестик.

— Благородный Вильгельм! — вскричала она, — ты хорошо исполнял свою должность! Проклятые газеты! В них ни слова не написано о твоей храбрости!

Этот крестик довольно льстил ее самолюбию. Желание обнять неустрашимого своего брата увеличилось в душе ее; ежедневно мысли ее перелетали вместе с ласточками за крепостные рвы, и надобно при-

знать, что она с самой той минуты, когда увидела Вильгельма, сделалась очень худою гражданкою и охотно бы сдала крепость, если б только это состояло в ее власти.

Она не могла удержаться от радости всякий раз, когда слышала, что неприятель построил новую батарею; что крепость стеснялась со всех сторон больше и больше; что все выходы были пересечены для осажденных; когда же комендант почел необходимым уменьшить порцию хлеба для избежания голоду и от сего произошел всеобщий ропот, то одна Лиза только осталась тогда спокойною и беззаботною, ибо она почитала сие знаком скорой сдачи, а до тех пор охотно бы согласилась есть по одной унции в день. Таковы все люди! Все страсти — выключая одной *страсти к отечеству* — делают нас эгоистами и заставляют нас, для нашего собственного блага, забывать благосостояние общее.

Но исполнение желаний ее было не так-то близко, как она чаяла. С увеличивающеюся нуждою и недостатком увеличивалось и упрямство коменданта, и на последнее предложение со стороны неприятеля, в котором он, между прочим, грозил штурмом, отвечал он, *что намерен пасть под развалинами своего города*. Неприятель начал в самом деле приготовляться к приступу, и осажденные ни день, ни ночь не сходили с вала, решившись сделать сильный отпор в случае нападения.

В одну дождливую сентябрьскую ночь вдруг гром артиллерии пробудил граждан. Неприятель оправдал свои угрозы и с ужасным воплем устремился на стены. Шум и тревога на улицах, стоны женщин, крики детей, гром пушек, вопли сражающихся в отдалении, горящие бомбы в воздухе, которые страшным образом освещали ужасное зрелище — все сие могло поколебать самого неустрашимого. Но Лиза почти не думала о своей собственной опасности; она видела одного Вильгельма, обогренившего кровью, летящего стремглав со стены, и лежала на коленях и со слезами молилась Богу.

Долго победа оставалась сомнительною; наконец наступил день, и с ним раздался крик на улицах: *«Неприятель, неприятель в городе!»* Что могло бежать, то бежало; иные скрывались в церквях и монастырях, другие на чердаках и погребках. Подобно шумящему, неукротимому потоку стремилась неприятельская толпа по улицам; ни одна купеческая кладовая, ни один примечательный по наружности дом не избавились от разграбления; младенцы отрывались от груди матерних и были носимы на пиках по городу; супруги, дочери лишались чести в глазах супругов и отцов своих. Напрасно старались офицеры укротить бешенство разъярившихся; голос их пропадал посреди ужасного шума и криков.

И в жилище Лизы прибежала толпа беснующихся. Она бросилась на колени с видом умоляющим. Алчные разбойники прежде всего устре-

мились на серебро и украшение, ломали и расхищали сундуки ее. Вдруг пробудились буйные желания в сердцах их при виде уstraшенной красавицы; со скотским иступлением кинулись они на свою добычу. Бедная жертва бессильно боролась с своими губителями. Ах! Она бы пропала, когда бы пронзительный вопль ее не привлек на помощь к ней великодушного избавителя. Молодой офицер вбежал в горницу, как молния, бросился на одного из самых остервенившихся злодеев, схватил его за волосы и грозил заколоть, если он будет противиться. Грозный его голос и приставленная к груди шпага уstraшили сладострастных; один за другим укрались с похищенным серебром из дому и оставили избавленную Лизу одну с ее избавителем.

Она пробудилась из бесчувственного забвения. Робко посмотрела на своего избавителя, надеясь узнать в нем Вильгельма, но это был не Вильгельм. Молодой офицер благородного виду стоял перед нею и радовался, что счастье привело ему быть ее избавителем.

Еще чувства ее не совсем успокоились от прошедших ужасов; она произносила только отрывистые, невнятные слова; с благодарными слезами сняла она дорогое кольцо с пальца и предложила его великодушному незнакомцу; но он с скромностию отвергнул его. — «Разве хотите вы, — сказал он, — отнять последнюю цену у моего дела, которым я и так одолжен случаю?» Он пробыл с нею до тех пор, как все утихло и успокоилось в городе. Потом вышел он от нее с обещанием посетить ее как можно скорее, и Лиза уже поздно вспомнила, что ей надлежало его, по крайней мере, спросить о имени. Вильгельмово имя тысячу раз готово было сорваться с языка ее, и только некоторое застенчивое чувство благопристойности препятствовало ей осведомиться о нем в сию минуту.

ГЛАВА XXIV

НАГРАЖДЕННОЕ ПОСТОЯНСТВО

Пришедши несколько в себя от прежнего страха, села она к окну и целый день смотрела на неприятельских офицеров, которые толпами ходили мимо ее. Она вздрагивала, как скоро примечала кого-нибудь похожего станом или поступью на милого ее брата; иногда казалось ей, что он идет вдали. «Он, он!» — говорило ей трепещущее сердце, но он приближался и — был не Вильгельм!

«О! Для чего не ему, а незнакомцу обязана я своим избавлением? Для чего случай и любовь не привели его в дом нежной сестры своей?

Или — Боже! Если его уже нет более? Конечно, мужество погубило его! Конечно, первый вскочил он на городскую стену. Ах! Он не знал, что за самую эту стену лежала Лиза его на коленях и молила его ангела-хранителя о спасении милой его жизни!»

Так колебалась душа ее между страхом и надеждою. Нетерпеливо дожидалась она обещанного возвращения молодого офицера, ее избавителя, и решила твердо спросить у него о Вильгельме.

«О, когда бы незнакомец пришел поскорее! Где он? Для чего медлит? Зачем стыдилась я тогда спрашивать? Может быть, теперь была бы я уже в объятиях Вильгельма!»

Потерпи, милая Лиза! Посмотри на улицу — вот он! Уже идет твой избавитель; ты узнаешь его по стройному стану, по ясным голубым глазам его; теперь он тебе кланяется, стучится у ворот твоих; девка ему отворяет: слышишь ли шаги его на лестнице? Для чего же ты трепещешь? Или ты не знаешь, как с ним объясниться?

Офицер вошел в горницу. Лиза хотела встретить его учтивостями, но он не дал ей времени говорить. «Сударыня! — сказал он, — извините меня, что я напоминаю вам обещание ваше: вы были так благосклонны, что прошедшим утром хотели сделать мне некоторое доказательство своей благодарности. Мне очень неприятно говорить о своих услугах, но, простите, крайность принуждает меня».

Лиза не поняла слов его и взялась было за кольцо, но офицер перехватил ее с скоростию: «Нет, нет, сударыня! Я не об этом прошу вас; просьба моя, может быть, будет для вас неприятна. У меня есть друг, который дороже мне всего на свете; он тяжело ранен во время штурму; в первом смятении отнесли его в дом, где ему весьма беспокожно и где, от многого числа раненых, очень худо за ним смотрят; если бы вы позволили его перенести в дом свой, то не только бы наградили меня за услугу, которую я имел счастье оказать вам, но еще сделали бы меня должником своим, ибо то, что вы сделаете для моего друга, драгоценнее для меня всех сокровищ света!»

Слезы навернулись на глазах его. Лиза была тронута; она отвечала с скоростию: «Хотя бы я имела и одну эту горницу, то бы, конечно, уступила ее вашему другу до его выздоровления; ему ни в чем недостатка не будет. Могу ли знать его имя?»

— *Капитан фон Эйхенвальд.*

— А ваше?

— *Поручик Перльстат.*

— Подите, сударь, изготовьте поскорее все, что нужно для принятия вашего друга. Этот дом и все, что я имею, принадлежит вам и ему.

Офицер с благодарностью поцеловал ее руку и побежал с лестницы.

Опять не успела она спросить о Вильгельме. Но время ли было для таких вопросов? Друг того человека, которому она обязана избавлением своей чести, лежал без всякой помощи в лазарете; жизнь его зависела, может быть, от одной минуты; как бы принял честный юноша, который, с слезами на глазах, говорил о своем друге, безвременное ее любопытство? Нет! Она не могла обвинять себя за то, что пожертвовала в сию минуту любовью святой благодарности. Немедленно велела она приготовить лучшую горницу своего дома для ожидаемого гостя и через полчаса увидела четырех гренадиров, которые на сплетенных из ветвей носилках несли раненого по улице.

Лиза бросила сострадательный взор на бледного, как смерть, юношу, который с закрытыми глазами, без всякого движения, лежал на носилках и, казалось, не знал, что с ним происходило. Друг его шел позади и беспрестанно повторял носильщикам, чтобы они были осторожнее.

«Ах, Боже мой! Какое сходство! Этот капитан Эйхенвальд и Вильгельм — это он! Точно он! Нет, нельзя стать! А если он? Нет! Невозможно! Я ошибаюсь!»

Тут внесли его гренадиры в горницу, которую выбрали нарочно в нижнем этаже для спокойнейшего помещения раненого. Лиза хотела броситься с лестницы, но не имела сил дойти до дверей своей горницы: колена ее дрожали, она принуждена была сесть на стул. Она была одна. Напрасно кликала девку и мальчика, который заступил место Петра; обоих увлекло любопытство на двор к раненому офицеру.

«Ах! Какой несносный страх! Какое сильное движение всех чувств и сил душевных! Если это Вильгельм, а я не могу идти к нему — не могу тронуться с места! Может быть, ему нужна моя помощь, или, может быть, уже близок час, в который никакая человеческая помощь не нужна ему более. Боже! Он умирает, а я не могу его видеть!» Она силилась встать с места, идти, но тщетно: страх подкосил ее ноги.

Успокойся, милая Лиза! К чему так себя мучить? Что тебе за нужда до капитана Эйхенвальда? Как может так беспокоить тебя сходство его с Вильгельмом! Может быть, воображение тебя обмануло. Кто в темноте беспрестанно боится видеть привидение, тому, в самом деле, будут казаться привидения.

Так говорил рассудок, когда страх позволял говорить ему. Но слова его столь же мало успокаивали душу Лизы, как и тихий весенний зефир взволнованное бурей море. Беспорядок и волнение чувств выражались на лице ее, когда поручик Перльстат вошел в ее горницу, чтобы благодарить ее. Он легко приметил, что нечто необыкновенное происходило в ее сердце.

— Помилуйте, сударыня! Что с вами сделалось? Вы, кажется, очень растроганы?

— Правда, г(осподин) поручик! Правда. Скажите мне, скажите еще раз, как называется друг ваш?

— *Капитан Эйхенвальд.*

— Точно Эйхенвальд?

— *Точно, сударыня. Но я удивляюсь.*

— Теперь я спокойна. Извините меня, сударь! Я обманулась: странное сходство! У меня есть брат в военной службе; он называется Визе.

— *Возможно ли, сударыня! Визе!.. Этот Визе и этот капитан Эйхенвальд... Но извините меня, у него никогда сестры не было.*

Лиза (вне себя). Все равно, сударь, все равно! Ради Бога скажите, Эйхенвальд и Визе?

— *Один человек.*

Он выговорил слова сии так неосторожно и скоро, что не успел подхватить упавшую без чувств Лизу. Тотчас прибежали к ней на помощь и отнесли на постель. Перльстат, которому известны были все тайны Вильгельмова сердца, догадался без труда, кого имел перед собою, и укорял себя за свою неосмотрительность. Он сидел подле нее, мял руки ее в руках своих, тер виски ее укусом и с робостию ожидал первого ее вздоха.

Наконец Лиза открыла глаза свои.

— Жив ли он еще? — сказала она.

— Успокойтесь, сударыня! — перехватил Фриц с дружеским жаром, — если надежда меня не обманула, если я вижу перед собою девицу Жером?..

— *Так, сударь!* — сказала Лиза тихим голосом.

— Не беспокойтесь! Все будет хорошо. Теперь имя это спасет жизнь моему другу!

— *Пустите меня к нему!*

— Чего вы требуете? Незапная радость⁴⁵ умертвит его; надобно сперва его приготовить.

— *Опасны ли его раны?*

— Еще первый пластырь не снят, но лекарь надеется.

— *Любит ли он еще меня?*

— Какой вопрос!

— *Но от чего же переменял он имя?*

— Господин капитан Визе должен был однажды захватить деревню, которая называлась Эйхенвальд, и в которой был неприятельский отряд втрое многочисленнее его корпуса: он прогнал его, и следствием его храбрости была решительная победа над неприятелем. Чтобы

наградить его, пожаловал ему государь то, что давно дала ему натура: *благородство*; и в память случившегося происшествия получил он фамилию *фон Эйхенвальд*.

Лиза никогда бы не устала слушать и расспрашивать Фрица, ибо он говорил о Вильгельме, когда бы вдруг не пришло ей на мысль, что помощь его необходима ее любезному. Немедленно послала она его вниз посмотреть, нет ли в чем недостатка его другу? Не лучше ли ему? Не беспокоит ли его что-нибудь? Хороша ли его горница? Фриц пошел и несколько раз принужден был ворочаться назад, ибо Лиза все что-нибудь позабывала сказать ему.

Он возвратился через несколько времени и принес ей утешительное известие, что Вильгельм спал спокойно. Тут не могла более она удержать своего желания посмотреть на него хотя на спящего. Она сняла башмаки и подкралась к дверям его горницы; она подслушивала в замочную щелку. Радость, горесть, надежда — все сии чувства вместе извлекали слезы из глаз ее. Фриц должен был почти насильно отвести ее, чтобы она рыданиями не разбудила спящего.

Прошло несколько недель прежде, нежели Фриц решился сказать другу своему радостную новость. Он говорил с крайнею осторожностью и только постепенно давал угадывать ему, что он жил под одною кровлею с любезной, но, несмотря на его старание, нечаянная радость сделалась бы, может быть, *ядом* для едва выздоравливающего, когда бы имя *Ван Шиппер* не послужило ему *противоядием*.

Вдова Ван Шиппер! Итак, ей было можно дать другому свою руку? — Мысль эта уменьшила его восхищение и сделала его почти печальным.

Фриц угадал, что происходило в душе его, и повествованием о судьбе Лизы прогнал мрачные мысли, которые было родились в голове его. С жадностью хватал Вильгельм каждое его слово; в сердце его лилось сладостное утешение из уст милого друга; любезная была оправдана в глазах его. Едва мог он дожидаться той минуты, в которую надлежало ему прижать ее к сердцу. Он проклинал лекаря, который все еще наистрожайше запрещал ему предаваться сильным ощущениям.

Наконец желанный час наступил. Двери растворились. Лиза лежала в его объятиях! Чувства заграждали уста обоим — чувства, которых никакое перо описать не может! В сладостном забвении сидел Вильгельм на софе, сжимал правою рукою руку своей любезной, а левою обнимал своего друга, которому был обязан спасением ее чести. *Я счастливейший человек в мире!* Больше не мог он ничего выговорить.

Равнодушно принял он через несколько недель после того известие, что король пожаловал его майором. Мог ли он *теперь* этому радоваться? *Ведь завтра он женится на Лизе!* И, как нарочно, в самый этот радостный

торжественный день возвратился Петр из дальнего своего путешествия и с печальною миною сказал госпоже своей, *что он, сколько ни старался, никак не мог найти господина поручика Визе.*

КОНЕЦ ВТОРОЙ КНИЖКИ

КНИЖКА ТРЕТИЯ

ГЛАВА XXV

ВОЕННОПЛЕННЫЕ

Что такое война? Можно ли назвать ее таким же натуральным побуждением, как и охоту к танцам? Один великий философ, и потому уже не друг мой, сказал, что наша земля, сия маленькая планета, о которой в Юпитере, думаю, и понятия не имеют, не иное что, как театр *всеобщей брани*; но добрые люди неохотно верят такой ужасной истине; добрые люди больше думают, что во всех тварях, от слона до полипа, *побуждение любить* пробуждается с весною и умирает с наступлением зимы; что если *побуждение умерщвлять* пробуждается также с весною и единственно для того, чтобы разрушать и губить, то из того следует, что оно противно законам природы и что оно не входит во всеобщий чертеж творения: только любовь должна выходить в поле с пришествием мая; только роса небесная должна соединиться с слезами любви и лишать разрушительной силы порох, грозящий гибелью существу, способному любить.

Так думал и Вильгельм, когда, по прошествии веселой зимы, получил неприятное повеление изготвиться в поход, чтобы дымными облаками помрачить первые лучи весеннего солнца и затоптать пробивающуюся траву опять в землю. Только пять месяцев провел он в объятиях супружеского и семейственного счастья и в это время успел только узнать, что все фантазии любовника ничто в сравнении с блаженством супруга; что хотя воображение и возносит страстного юношу в колеснице пламенной к самому небу, то существенность низводит его оттоле для того единственно, чтобы успокоить на розах. Он не мечтает более; он наслаждается кратким пламенем супружеской нежности, которое прежде пылало сильно, грозило пожрать все и угаснуть и которое теперь горит спокойно и будет гореть вечно.

Большие города сходны с сельскими хижинами в том, что в них можно жить уединенно, не будучи никому известным. Вильгельм испытал это на самом деле. Нежная, любезная супруга, верный друг, вкус-

ный обед, изрядный доход, возможность помогать бедным, несчастным ближним своим, — если кто-нибудь не назовет сего счастьем, то ему не нужно искать счастья в свете: он никогда не найдет его.

Желать и самый счастливейший никогда не перестанет; ни один добродетельный не свободен от порока, ни один счастливец не свободен от желаний. Но Вильгельм был из числа тех редких любимцев судьбы, которые желают только, *чтобы все осталось по-старому*; которые, не желая ничего выигрывать, ничего и потерять не хотят. Государь пожаловал ему небольшое поместье. «Дай Боже нам мир, — говорил он часто, — я бы пошел в отставку и в своем уединении стал бы наслаждаться благотворениями своего монарха, блаженством любви и дружбы». Место, где находилась его дача, было прекрасное; соседи его были знатные дворяне, которые бы никогда до того не унизились, чтобы посетить человека достойного, невысокой породы. Какая престелстная участь — жить в объятиях любви, дружбы, сельского спокойствия и быть свободным от несносных посещений!

Розы на щеках Лизы побледнели, кроткий пламень взоров ее потух, и счастливый супруг ее веселился надеждой прижать к сердцу драгоценный залог любви своей. Угасло его честолюбие; охотно бы снял он лавры с головы своей и обвил ими колыбель своего сына.

Никогда поход не был так неприятен для него, как в сие время. Несколько дней скрывал он сие известие от своей супруги, которая стала вдвое любезнее прежнего, но скоро взор любви проникнул его горесть. Уже давно страшилась Лиза новой разлуки. Она старалась вооружиться твердостью и внушать Вильгельму мужество, в котором сама имела такую нужду. Она скрывала слезы свои и плакала только в тишине ночи, когда Вильгельм казался спящим. Если она пробуждала его своими рыданиями, то обыкновенно слагала вину на дурной сон.

Едва было, из любви к ней, не оставил он службы при открытии кампании, но она воспротивилась такому пожертвованию. «Нет, — говорила она, — я не хочу, чтобы сказали, будто ты в моих объятиях лишился мужества и стал неблагодарным к государю; поезжай, будь храбр, но не отваживай своей жизни — помни долг свой, помни честь, но так же не забывай того беспомощного творения, которого ты еще не знаешь: ты возвратишься и найдешь его на груди моей; тогда уже будут исполнены законы, предписанные тебе честью, тогда уже можешь ты оставить меч свой и успокоиться на моем сердце!»

Так скрывала она, под маскою ложной твердости, свой страх и свою горесть. Обман был удачен по тех пор, покуда не наступил час разлуки, но когда пришло воскресенье последней недели и Вильгельмов полк впоследствии пошел парадом в церковь, ах! — тогда исчезло ее мужество,

и, дрожа, как преступница, повязала она галстук на шею своего мужа. Он пошел, робость и необходимость молиться повлекли и ее в церковь. Неприметно отирала она во время проповеди слезы, катившиеся по щекам ее, но когда полковой священник начал торжественно молиться о успехе оружия, когда благословил он собранных вокруг себя воинов и у старых гренадиров покатались слезы на черные усы их, то скрыла она лицо в муфту, чтобы заглушить свое рыдание.

А с каким жаром повторяло ее сердце слова священника: «Да позволит мне Бог некогда увидеть вас всех опять, собранных в сем храме; да не погибнет ни один из вас; да услышим мы не стоны вдов и сирот, но торжественные восклицания радости и благодарения».

Обессилев, возвратилась она домой; мужество ее исчезло. Чрез два дня должен был выступить полк Вильгельмов; беспрестанно слышала она стук под своими окнами; багаж и повозки перетаскивались по улицам; пушки перевозились и гремели; все было живо, все суетилось, между тем как она, плача, стояла на коленях перед дорожным сундуком своего мужа, укладывала его белье, прибирала к стороне полотно и перевязки, нужные для тех случаев, когда он будет ранен, и раз двадцать показывала слуге его место, в котором он их тотчас найти может.

Исполнив печальный долг сей, бродила она, как безумная, из одной горницы в другую, и неподвижно устремляла глаза свои то на пустое место, где обыкновенно стояла полевая постель Вильгельма, то на гвозди, на которых прежде висели его пистолеты. Когда же наступило последнее утро и Вильгельм тихо от нее удалился, чтобы избавиться горестной минуты прощания, то она бросилась в свою карету и, отъехав на полмили от города, остановилась у одной мельницы, возле которой надлежало ей сказать последнее «*прости*» своему любезному.

Густое облако пыли вдали возвестило выступление войск: один полк за другим проходил мимо ее, жены и дети со слезами и воплем втирались в сомкнутые ряды их. Там плачущий гренадир нес маленькую девочку на руках своих, и беременная мать, рыдая, шла подле него; там веселый парень с важным видом тащил на себе суму отца своего. Тут с добродушием тряс простосердечный усач благословляющую руку своей матери — здесь другой лежал в слезах на шее расплаканной жены своей; молодые солдаты, которые ни к чему не были привязаны, веселились и потрясывали своими шапками, обвитыми зелеными ветвями. Там и сям маркитанты продавали свои товары; многие пили вино для того, чтобы несколько ободриться, и слезы катились в их стаканы.

Лиза не видала и не слышала ничего; сердце ее билось, дыхание останавливалось, глаза были неподвижны и пламенны. Безмолвно смотрела она на городские ворота, из которых беспрестанно появлялись

новые войска. Тут вдруг показался коротко знакомый мундир Вильгельмова полку; Вильгельм с потупленною головою ехал перед своим батальоном; лошадь его, которая прежде была так бодра и горяча, переваливалась с ноги на ногу; повод неприметно выпал из рук седока и лежал на шее коня его. Поравнявшись с мельницею, Вильгельм соскочил с лошади, а Лиза вышла из кареты. Бледный, как смерть, приближался он к своей супруге. Она упала подле кареты без чувств. Он стал перед нею на колена, прижал холодные свои губы к пламенным устам ее, облил слезами своими бледные ее щеки, бросился на свою лошадь и ускакал. Лиза лежала бездыханна, но когда пришла в себя, то уже один только едва слышный звук барабана поражал слух ее. Она встала и увидела облако пыли, которое мало-помалу редело и скрывалось в отдалении.

Она отошла в сторону в кустарник, который рос на берегу ручья у мельницы, бросилась на колена и молилась с жаром. Счастлив тот человек, кто с надеждою в сердце может воссылать мольбы к небу, кому его молитвы вливают утешение и мир в горестное сердце. В ранние часы утра и в поздние часы вечера возносились моления Лизы к престолу Вышнего, подкрепляли растерзанное сердце ее в несносной разлуке и отгоняли от нее все ужасные мысли о судьбе ее супруга.

Ах! Слишком скоро полк его был замешан в сражении. Вильгельм сражался мужественно подле своего друга; храбрые солдаты его пали, и он, обессилев, должен был, наконец, уступить превосходству. Он и Фриц были взяты в плен. Ограбленные неприятельскими гусарами, были они увлечены в лагерь. Там приставили к ним крепкий караул и чрез несколько дней отослали их, с транспортом военнопленных, во внутренность Франции.

ГЛАВА XXVI

СМУГЛАЯ ДЕВОЧКА

Горесть и недостаток последовали за Вильгельмом в плен. Ему осталось единственное утешение — друг, который с участием внимал его стонам и жалобам и ободрял его словами нежности и сострадания. Часто в прежнее время называл его Фриц влюбленным мечтателем и говорил с насмешкою, что супружество греется только около угольев, которые оставляет по себе пламя любви, и что их часто раздувать должно для того, чтобы они совсем не потухли; но теперь принужден был он признаться, что любовь не всегда затушает факел свой тогда, когда

Гимен(ей) свой воспаляет, ибо Вильгельм никогда так не был привязан к жене своей, как теперь. Разлука еще более воспламенила страсть его. Он говорил только об ней, он думал только о ней. Никакой недостаток не был для него ощутителен, никакой предмет не возбуждал его внимания; ограбленный, лишенный всего необходимого, обрадовался он крайне, когда в кармане своего мундира нашел чернильницу и серебряное перо. Он писал каждый день на пути своем, во всяком месте, где хотя на минуту останавливался транспорт пленных, где только находил камень, который бы мог служить ему вместо стола. Горесть, желания, утешения, отдаленные надежды — все изливал он на бумагу; и прижал с восторгом к сердцу добродушного капрала, который обещал ему переслать первое письмо его.

После долгого, затруднительного путешествия достигли они, наконец, место, назначенное им для их пребывания, один маленький городок Гиенской провинции. Здесь хотя и позволили им, обязав их прежде честным словом, ходить по свободе в окрестностях города, но они должны были весьма осторожно пользоваться сим позволением, ибо необузданная чернь, почитая всех иностранцев рабами деспотизма, изыскивала всякие причины, чтобы оскорблять их или умерщвлять.

Вильгельм и Фриц по сей причине редко оставляли днем свое печальное жилище. Обыкновенно с наступающим утром выходили они из города, бродили по цветущим полям, отдыхали на берегу Гаронны и посещали в полдень хижины дружелюбных поселян, которые потчевали их молоком, медом и плодами.

Одним вечером попалась им в руки немецкая книга, и как они уже давно лишены были удовольствия читать, то ждали они утра как будто какого-нибудь праздника. С первыми лучами солнца были они уже в поле, безоблачное небо и покрытая росой трава предвещали жаркий день; чтобы защитить себя от зноя, сыскали они неподалеку от одной деревни густой кустарник, легли в тени его, и Вильгельм, вынув книгу из кармана, начал читать вслух.

Не прошло часу, как услышали они шум в ближней деревне, а скоро потом сильный колокольный звон — это их удивило; они не знали, что делать: выйти ли из своего убежища или еще более зарыться в кусты. Последнее могло сделать их подозрительными, и они остались на прежнем месте, решившись возвратиться в город, как скоро дорога туда станет посвободнее, ибо звон, который они слышали, происходил с башни, находившейся у самой дороги, по которой им идти надлежало.

Между тем как они были в нерешимости и рассуждали о причине смятения, послышался им вдруг в некотором отдалении шум между кустов — то ближе, то опять далее, то вправо, то влево — и, наконец,

уже могли они различить дыхание бегущего и усталого человека. Они притаили у себя дыхание и смотрели в ту сторону, из которой шум больше и больше к ним приближался.

— Вот они! — вскрикнула одна смуглая девочка, с распущенными волосами и изодранным фартуком, бросившись с робостью и беспрестанно осматриваясь, к нашим пленникам.

— Бегите! Бегите! — кричала она, задыхаясь, — идут, идут, вас ищут; вас найдут, и вы пропадете!

— *Как? Почему? Что такое случилось?*

Девочка была истощена до крайности; она не могла отвечать, а показала только пальцем на одну тропинку, и как чужестранцы все еще медлили, то бросилась вперед сама, знаками звала их за собою и с просящим видом складывала руки. Вильгельм и Фриц, наконец, последовали за нею, не зная, для чего и куда! Быстроногая их путеводительница привела их чрез несколько минут к одной пустой рыбацкой хижине; тут повалилась она на траву и сказала: «Я не могу более!»

Полная грудь ее подымалась сильно, щеки ее горели, пот катился градом по лицу ее; она то останавливала дыхание и прислушивалась, то опять начинала дышать сильнее и вбирала в себя свежий воздух. Оба друга стояли перед нею и не знали, что заключить из сего странного явления. Фриц нашел нечаянно подле хижины деревянный ковшик, зачерпнул в него воды и принес усталой девочке. Она выпила несколько капель и вспырынула щеки свои, чтобы остудить их. Когда же пришла опять в состояние говорить, то рассказала отрывисто и без всякой связи следующее: «Прошедшею ночью срубили дерево вольности⁴⁶ в нашей деревне — от этого все взбунтовались; молодые поселяне схватили ружья; они ищут того, кто это сделал, и хотят убить его! Вас заметили, и подозрение пало на вас».

— *На нас?* — вскричали оба друга с ужасом.

— Я этому не верю, — продолжала смуглая девушка, — вы, кажется, честные люди, а хотя бы этого и не было, то все бы я не могла снести, чтобы вас убили. Мой Филипп также в толпе, у него сабля, он клялся убить вас, я еще и теперь дрожу от страшных клятв его; ну если он делается смертоубийцей, тогда я уже не буду любить его. Нынче рано поутру видела я, как вы прошли в кустарник мимо деревни, пастух наш тоже видел и сказал им; они хотят обыскивать весь кустарник и не прежде воротятся, покуда не найдут вас. Я побежала к вам, чтобы спасти от неминуемой беды, и молила Пресвятую Богородицу, чтобы она привела меня к вам как можно скорее — она услышала мою молитву. Бегите, старайтесь как-нибудь неприметно пробраться в город; здесь вам нельзя оставаться долее, я бы охотно вас проводила, но не могу более! Если вы

пойдете по этой тропинке, то выйдете на Монтобанскую дорогу; тогда оставьте нашу деревню влеве, и хотя вы сделаете довольно большой крюк, но все поспеете к вечеру в город.

— *Но мы невинны*, — сказал Вильгельм.

— *Мы даже и не видали вашего древа вольности*, — прибавил Фриц.

— Это вам не поможет! — перехватила поспешно девочка, — вас убьют: вы чужестранцы, вы не французские граждане. — (Сии слова произнесла она с некоторою гордостью.) Никто за вас не заступится. Бегите! Бегите! Слышите ли голоса в кустарнике? Скоро будет все поздно!

Вильгельм и Фриц поняли ясно, что здесь, несмотря на всю их невинность, жизнь их находилась в крайней опасности и что нельзя было терять времени. Они поблагодарили добросердечную свою избавительницу и побежали по тропинке, которую она им показала. Сия тропинка вывела их на неизвестную им дорогу, на которой они остановились, немного отдохнули и осмотрелись, чтобы узнать, куда им идти надлежало.

ГЛАВА XXVII

ГРОБНИЦЫ

Так как страшная деревня была уже теперь довольно далеко от беглецов наших, то почли они себя вне опасности; пошли тише и в сердце своем благословляли добрую девушку, которая, несмотря на то что так гордилась именем французской гражданки, с ними так чело-веколюбиво поступала; но скоро приметили они, что возмущившаяся вольность, подобно разъяренной львице, своим рыканием устарила и привела в движение все окруженные места — влеве и вправо; позади и впереди бегущих раздавался страшный звон. Они удвоили шаги свои. Дорога шла через один холм. Ах! Там, у подошвы его, лежала деревня, и дикие восклицания и ужасный стук кос гремели им навстречу. Они сбежали с холма назад, ударились в сторону по другой дороге и увидели перед собою крутящееся облако пыли, возвещающее приближение преследователей.

Они бросились в поле, прыгали через рвы и плетни; хотели спрятаться то в высокую рожь, то в копны сена, находившиеся на лугу, но там отгоняла их лающая собака, здесь кричащее дитя. Голова их вскружилась; они метались туда, сюда; слышали везде за собою и перед собою шум и звон, и, наконец, опять против воли прибежали на ту же дорогу, которую оставили.

Опасность теперь становилась больше и больше. Поля были наполнены возмущившимися, пыль крутилась со всех сторон, колокола звонили со всех башен, всюду слышались человечесьи голоса и собачий лай.

— Я не могу более! — вскричал Вильгельм. — Бог не оставит моей жены и младенца — я умру здесь!

Он бросился под одно дерево. Фриц собрал силы свои, взлез на дерево и смотрел во все стороны.

— Я вижу деревенский дом! — кричал он Вильгельму, — он не далее четверти версты отсюда; чей бы он ни был, верно, господин его защитит нас от бешенства черни. Если он человек благородный, то лучше отдаст нас в руки правосудия, нежели допустит, чтобы мы погибли безвинно от безумных, необузданных бунтовщиков.

Он сошел вниз; Вильгельм встал, и они поспешили к деревенскому дому. В романической долине, орошаемой Гаронною, находилось уединенное жилище, осененное высокими березами; северная сторона его была прикрыта густою рощею, которая простиралась до самого берега реки. Беглецы беспрепятственно добрались до заржавевшей железной решетки, которая окружала передний двор дома, и нашли, что ворота были затворены и накрепко заперты замком. Смело схватил Вильгельм камень и начал стучать им в решетку. Громко отдавался звук, но ни одна собака не лаяла, ни одно живое существо не показывалось. Они стали кричать — и не получили ответа. Дом казался пуст. Множество разбитых стекол в окнах подтверждали их мнение. Решетка была слишком высока для того, чтобы перескочить ее, и слишком крепка для того, чтобы ее разломать; время было драгоценно, Вильгельм и Фриц побежали к роще, находившейся по ту сторону дома, чтобы там найти безопасное место, в котором бы можно было дожидаться ночи.

Роща была окружена довольно высокою каменною стеною, но как она зачала уже от древности разрушаться и в некоторых местах выпали камни, то легко можно было перелезть ее. Страх придавал им крылья, ибо голоса слышались уже в долине; они перебрались поспешно через стену: густая акация росла подле нее. Тут обождали они несколько минут, послушали, и так как роща казалась обитаема и оживлена только одними птицами и как и воробьи, и коноплянки весьма спокойно около них прыгали, как будто никогда людей не видали, то осмелились они идти далее.

Скоро увидели они, что дорожки в английском вкусе извивались по роще, но трава, которая везде в великом количестве сквозь песок пробивалась, сучья, сорванные бурей и рассыпанные всюду без всякого прибору, казалось, весьма ясно говорили, что уже давно никто из живу-

щих здесь не прохаживался. Смело хотели оба друга идти далее и, где только можно, хотя бы то было в пустом доме, сыскать надежное себе убежище, как вдруг Фриц остановился, удержал идущего перед собою Вильгельма за полу его платья и с любопытством, смешанным с некоторым страхом, указал на свежий, еще не изглаженный след, который прекрасная женская нога оставила на муравьиной куче.

По-видимому, это сделалось недавно, вчера или нынче, следственно, надлежало быть здесь людям; следственно, дом с разбитыми окнами не пуст, а обитаем; следственно, беглецы наши опять имели причину бояться и быть в нерешимости. Несмотря, однако ж, на опасное их положение (ибо голоса в долине все больше и больше приближались), чувство их при виде следа на муравьиной куче было совсем не сходно с чувствами Робинзона Крузе в подобном случае; они не могли воспротивиться, чтобы не смотреть с удовольствием на прекрасный образ ноги, которую Вильгельм почел бы Лизиной, когда бы ее здесь найти надеялся. Страх уступил на несколько времени место приятнейшим ощущениям. Так радуется странник, когда, окруженный мраком ночи, вдруг примечает огонь, который вселяет в него надежду найти мирное убежище.

Как странно человеческое воображение! Как одна и та же вещь, будучи больше или меньше хотя на волос, различно на него действует. Если бы след покрывал всю муравейную кучу, то бы идея красоты, а вместе с ней идея добросердечия и невинности не поразили воображения наших героев, и они, может быть, трепеща, стали бы искать дороги из рощи; но творение, которое такими прекрасными ножками оставляло следы на муравейных кучах, не только не производило нimalого в них страху, но еще заставляло их надеяться.

С большою осторожностью пошли они по тропинке, которая, казалось, вела их к берегу реки; скоро услышали они ее журчание и, сошедши по извивистой дорожке с одного возвышения, увидели они всю поверхность воды ее. Осмотревшись, заметили они вдруг маленький островок, на котором сделан был наподобие утеса грот, обсаженный вокруг густым кустарником; маленький опущенный подъемный мост соединял берег с островом.

Это уединенное место, казалось, могло им служить надежным убежищем, и они удвоили шаги свои, чтобы дойти поскорее к подъемному мосту. С осторожностью перешли они чрез него и подняли за собою. Также осторожно и с некоторою робостию приближались они к отверстию грота. Фриц был несколько шагов впереди. Вильгельм остановился привязывать мост и хотел уже идти вслед за своим другом, как вдруг сей последний, побледнев и трепеща, оборотился назад, положил

палец на губы и махал Вильгельму, чтобы он как можно тише подошел к нему.

Вильгельм приблизился и с робостию посмотрел в грот, в который свет проходил сквозь одну расщелину, вверху находившуюся. Два гроба, обложенные черным сукном, но без всяких других украшений, стояли один подле другого. На одном из сих гробов лежала девушка в глубоком трауре; лицо ее было отвращено от входа, она казалась спящею или погруженною в глубокую задумчивость. Ее дыхание было не слышно!

С растроганным сердцем стояли оба друга, не смели тронуться и говорили только знаками между собою. Долго ждали они, чтобы задумчивая уединенница на них оборотилась. Наконец, Фриц, заключив из ее неподвижности, что она была в обмороке, решился подойти к ней ближе. Он наступил на сухой лист, который зашумел. Девушка вздрогнула, оборотилась! А! Какое милое творение! Бледная, как лилия, с черными, рассыпанными в беспорядке волосами, стояла прелестная незнакомка перед ними; расцветающая, как снег, белая грудь, которая казалась еще белее от черного платья, была небрежно прикрыта креповою косынкою; томность изображена была в черных величественных глазах ее, и если бы сии глаза не наполнены были слезами, если б грудь ее не волновалась сильно, то бы наши беглецы бросились перед нею на колени как будто бы перед божеством небесным. Фриц стоял, не говоря ни слова, онемев от удивления, и пожирал глазами своими божественный образ. Вильгельм искал слов и не мог ничего выговорить. Незнакомка первая перервала молчание.

— Кто вы? Чего вы хотите? Для чего пришли в это уединенное святилище горести и слез? Или хотите у меня похитить и сии драгоценные остатки?

С сими словами сбросила она крышку с одного гроба, и оба друга увидели в нем тело старика, которого голова была отделена от туловища. Долгое молчание последовало за сим поразительным зрелищем. Красавица, сложив руки, печально смотрела на мертвый труп и рыдала. Фриц был не в состоянии говорить; Вильгельм сколько мог, собрался с духом и рассказал все, что с ними случилось, как завел их сюда случай. Он просил ее дать им пристанище и укрыть их от преследования беснующихся. Шум, больше и больше приближающийся, подтверждал истину слов его.

Незнакомка, не спуская глаз, смотрела на Вильгельма во все время разговора его с нею. Когда он кончил, то взор ее сомнительно устремился то на него, то на его товарища. Она молчала, как вдруг страшный шум, послышавшийся у железных ворот с одной стороны и у каменной садовой стены с другой, заставил всех троих содрогнуться.

— Что же мне для вас сделать? — сказала тихо красавица, — куда вас спрятать? Все закоулки этого дома известны сим бесчеловечным; из самого скрытого места вытащили они бедного отца моего и умертвили!

Она залилась слезами и, казалось, опять погрузилась в свое уныние, как новый шум опять поразил слух ее. Вороты загремели, казалось, были выломлены, и голоса слышались уже на дворе дома.

— *Они идут!* — сказал Вильгельм. Фриц не слышал ничего.

— *Они идут!* — повторила незнакомка с робостию, — поздно уже! Я не могу вас провести в пустое жилище! Там бы вы... Но нет, уже поздно, они в саду — бегите! Бегите! Я не могу быть свидетельницею вашей смерти!

Уже разъяренные проникали в сад; нашим беглецам не оставалось другого, как броситься в реку, но река была глубока, а плавать они не умели. «Га! — вскричал Вильгельм, — какую смерть определила мне судьба!» — Фриц не говорил ни слова, он смотрел только на незнакомку и, казалось, не чувствовал ничего!

Красавица с горестию ходила взад и вперед, ломала руки, с состраданием смотрела на несчастных, требующих ее помощи и, казалось, была в нерешимости, исполнить ли то намерение, которое родилось в голове ее. Вильгельм отгадал ее мысли, бросился к ногам ее и сказал: «Если эта красота есть изображение души вашей, то хотя из человеколюбия спасите несчастного, который в отечестве своем оставил беспомощных творений, только его одного имеющих в мире!»

— *Из человеколюбия!* — сказала тихо незнакомка. — *Ах! Мне было отказано в человеколюбии!*

Тут вся роща наполнилась вдруг голосами; со всех сторон раздавались крики бешенства, подобно буре шумели они в кустарнике; птицы разлетелись от страха; уже дорожка к реке и в грот была открыта, уже некоторые показывались у подъемного мостика, звали криком своим товарищей и рубили косами цепи. Щеки красавицы вспыхнули, взоры ее заблестали. Она бросилась к гробу; страх придал ей силы, она подняла тело и положила его на дерновую скамью.

— Незнакомец, — сказала она Вильгельму, — спрячься в этот гроб.

Он вскочил в него, и она поспешно накинула на него крышку; потом открыла она другой гроб: он был пуст; она сделала знак Фрицу, чтобы он скрылся, и принуждена была повторить его несколько раз, чтобы он ее понял; наконец, он лег, но с таким видом, как будто бы исполнял единственно ее волю. Крышка за ним закрылась, и в самую сию минуту загремел опустившийся подъемный мост, и слышались на нем *шаги* бегущих.

Красавица бросилась перед телом отца своего на колени и в таком положении ожидала прибытия преследователей. Они прибежали — то были поселяне с косами и серпами, дубинами и ружьями. Они вскочили в грот и вдруг, как громом пораженные, остановились в его входе и удержали тех, которые за ними хотели в него втереться.

— Чего вы ищете? — вскричала девушка твердым голосом, — разве не довольно того, что вы лишили жизни бедного моего родителя? Или хотите вы прекратить и мою бедственную жизнь? О! Я готова и не боюсь вас! Войдите, войдите! Разве страшно пролить кровь бедной, беззащитной сироты? Умертвите меня здесь на гробе отца моего!

Пришедшие посмотрели в замешательстве друг на друга. Контраст мертвого тела с печальной красавицею и обманутая надежда действовали сильно на грубых сынов природы; дикие восклицания уступили место мертвой тишине.

— Пойдем, брат! — сказал, наконец, один, — их здесь нет!

— Вы можете быть спокойны, сударыня, — подхватил другой, — только скажите нам, куда девались бездельники, которых мы ищем?

— О ком вы говорите? — перервала красавица, — с того времени, как этот старец погиб от ваших ударов, ни один человек не посещал этого уединения; или вы издеваетесь надо мною? Или хотите поругаться несчастным останкам умерщвленного вами! О! Подойдите, взгляните на его окровавленное лицо, как спокойно оно — кажется, еще улыбается! Он простил своим убийцам — подойдите, осмейтесь прикоснуться к этой холодной руке, которой благословения вы меня лишили!

С сими словами схватила она руку мертвого и подняла ее. Зломышленники испугались и отступили; те, которые были позади, скрылись. Толпа час от часу умаялась; наконец, и последние удалились с робостию. «Здесь их нет!» — раздалось за подъемным мостом. «Здесь их нет!» — раздалось в роще. Голоса больше и больше терялись в отдалении, утихли, и все замолкло по-прежнему.

ГЛАВА XXVIII

ПОДЗЕМЕЛЬЕ

Может быть, веселому читателю покажется смешно, что печальная девушка вынимает из гроба туловище и голову отца своего для того, чтобы вместо его скрыть в нем прекрасного юношу! Я не буду говорить ничего, а только напому о той Эфесской вдове⁴⁷, которая своего умерщвленного мужа оставила для весьма двусмысленных причин на виселице.

Полина — так называлась незнакомка — Полина была дочь одного дворянина, который имел несчастье быть богатым и честным человеком, и следственно, неприятелем республики⁴⁸. Скоро нашли средство от него отделаться: то есть его обвинили, задержали, и чернь, всегда готовая к преступлениям, насильственным образом лишила его жизни. Два сына его погибли; третий убежал, как думали, в Америку, чтобы там помогать плакать молодому Лафайету⁴⁹.

Старик нарочно выбрал для себя самое скрытое убежище и думал в своем уединении избавиться от гонителей, но тщетно: бешенство республиканцев преследовало его в самую его хижину, исторгло из объятий его дочери и погубило.

Шестнадцатилетняя Полина была воспитана в монастыре, и только несколько месяцев, с тех пор как демон свободы, разрушая все, разрушил и сии священные темницы, жила она в недре своего семейства. Покуда она была заперта в монастырских стенах, по тех пор не видала она, кроме старого слепого садовника, ни одного мужчины и не любила ничего, кроме своей кошечки, которую подарила ей одна монахиня. Когда же узнала она доброго отца своего и братьев своих, то привязалась к ним всем сердцем, и образ их мыслей сделался также и ее, ибо девушки редко образуются сами собою, а только обхождением своим с другими. Они любят всегда постоянно; и если случится, что они переменяют свои склонности, то с ними уже переменяется и образ их мыслей.

Полина была роялистка. Смерть отца ее и братьев повредила сначала ее рассудок, и даже и теперь ее горесть, питаемая уединением и ужасными предметами, была несколько похожа на безумство, ибо она говорила только с телом отца своего, спала на дерновой скамейке в гроте, питалась одними плодами, которые — когда случалось — при мечала на деревьях своего сада; не выходила никогда из рощи, была оставлена всеми своими служителями и хотела отпустить и последних, которые желали остаться с нею и делить ее страдания и опасности.

Ее воспламененное воображение вложило ей в голову мысль, которой она разогнать не могла, а может быть, и не хотела, а именно: она видела во сне, что в день рождения отца ее, которому надлежало быть чрез несколько недель, случится гроза, и громовой удар соединит ее с отцом и братьями. Она поверила сну своему, приготовила для себя гроб (тот самый, который находился в гроте), и мысль сия делала ее равнодушною ко всему, что ее окружало и что около нее происходило. Она улыбалась, когда ее хотели рассеять, и пожимала с сожалением плечами, когда ей советовали собрать остаток своего имущества, которое в отдаленных провинциях спаслось от расхищения.

В таком-то расположении духа нашли ее наши герои, при виде которых — в первый раз еще — натура взяла опять над нею власть свою и опять новыми, приятнейшими узами привязала ее к жизни. Девушке, которая до сих пор почитала себя оставленною небом и людьми, которая не имела ни родных, ни друзей, такому бедному, одинокому творению минута, в которую она спасла жизнь двум добрым юношам, конечно, должна дать совершенно новое бытие. Когда Полина опять подняла крышки с гробов, то вообразилось ей, будто ее братья из них выходят. Она более не была уже беззащитна; с опасностью собственной жизни, а может быть, и чести, она приобрела себе двух верных, благодарных защитников.

Юноши бросились к ногам ее, покрыли пламенными поцелуями руки ее и благодарили ее за свое избавление. Новое неизвестное чувство поколебало грудь ее, которую прежде только одни вздохи колебали. Она с удовольствием смотрела на незнакомцев, одолженных ей жизнью. Она решилась кончить начатое.

— Ступайте за мною, — сказала она, — ваши гонители могут одуматься, раскаяться в своей поспешности, могут возвратиться! Пойдем в пустой дом: я отведу вас в одно подземелье, в котором мой бедный отец несколько недель безопасно скрывался! Ах! Если бы он никогда не оставлял его!

Полина вышла из грота, Фриц и Вильгельм последовали за нею. Первый не чувствовал ничего и был, как будто автомат; последний опять пришел в прежнее спокойное свое состояние, разговаривал с Полиною, которая с скоростию шла пред ними, и так искусно замешивал в речи свои тонкие и остроумные замечания о красоте ее и добросердечии, что Полина мало-помалу оставила немое сообщество с духами и обратилась к людям.

Скоро добрались они к одной задней маленькой двери дома; взошли в одну небольшую прихожую, потом в кухню, в которой пожилой слуга и молодая девушка стояли на коленях и призывали к себе Бога и святых на помощь. Когда разъяренная толпа вбежала в сад, то вообразили они, что хотят погубить и последнюю отрасль фамилии, и почитали уже барышню свою пропадшею. Когда же услышали они шаги на крыльце и в прихожей, то подумали, что и их последний час приблизился, и начали читать себе отходную. Увидевши Полину, обрадовались они до крайности; страх их обратился вдруг в неописанное восхищение. Они вскочили, прыгали, кричали, и долго нельзя было допроситься у старого слуги ключа от тайной горницы. Наконец его привели в себя; он побежал, искал ключа везде по полкам, шкафам, углам, закоулкам и, наконец, нашел его — у себя в кармане!

Тут Полина повела своих гостей в прежний кабинет отца своего, взяла зажженную лампаду, отворила потаенную дверь, и они пошли вниз по узкой лестнице, которая скоро привела их в темный и пространный погреб. Тут остановилась Полина, взяла из одного угла небольшой железный лом, который как будто случайно был там покинута; она отдала его Вильгельму и, осветивши лампадой некоторую часть стены, просила его выломать оттуда недавно вставленные и слабо утвержденные камни.

Он исполнил ее желание, выломал камни — и железная дверь, вделанная в стену, представилась глазам их. Она была так узка, что едва можно было человеку пролезть в нее. Полина подавила одну скрытую пружину; дверь отворилась, и они вошли в низкую горенку, снабженную всем нужным: мебелью, постелью и тому подобным.

— Здесь побудьте до ночи, — сказала Полина, — я между тем пошлю осведомиться в окрестностях; когда все успокоится, приду я сама освободить вас. Мой слуга между тем принесет вам хлеба и плодов для утоления вашего голода. Больше у меня ничего нет! Они все у меня похитили! Вложите камни хорошенько в стену, притворите железную дверь и спите спокойно, пока я не разбужу вас!

Она исчезла. Через несколько минут старый Антон принес огня и обещанных плодов. Оба друга остались одни. Фриц бросился на соломенную постелью и закрыл руками лицо свое, между тем как Вильгельм, молча, вкладывал камни опять в стену.

ГЛАВА ХХІХ

СОКРОВИЩЕ

Когда мошенник Амур захочет украсть у своей матери клочок льну, чтоб из него выпрясть нить любви, то много зависит от того, в какие минуты он обовьет лен вокруг волшебной самопрялки; ибо по первым его приемам можно будет уже заключить, какова выпрядется нить его: мягкая ли или суровая, тонкая или толстая.

Без аллегории! Для красавицы, желающей понравиться мужчине, который ее в первый раз видит, неотменно должно выбрать для себя такое положение, которое бы все ее прелести обнаружило во всем их блеске. Это зависит столько же от прелестей души, сколько и от прелестей тела; например: введите меня в жилище какой-нибудь богини в то самое время, когда она даст пощечину одной из нимф, своих прислужниц, и потом покажите мне смертную, которая в своей хижине помогает дряхлому, усталому старику или одевает нагих сирот — то,

поверьте, смертная, хотя бы она была ряба от оспы и вся покрыта веснушками, восторжествует над богиней.

После такого вседневного замечания (ибо, к несчастью, под солнцем нет ничего нового, и сам Кант выдумывает иногда только новые слова) читатель может легко понять, что Фрицево сердце, из которого женские глаза не извлекали еще ни одной искры, вдруг вспыхнуло и загорелось.

Также должно ему припомнить, сколько стеклось обстоятельств, которые еще более возвысили красоту Полины: беспокойство духа, с каким Фриц вошел в грот и нашел в нем Полину, которой образ в другое время гораздо менее подействовал бы на его чувства; далее — уныние, в котором она была погружена; ее беспомощность, которая с юности и красотой вдвое больше трогает; великодушие, с которым она пустилась на такую опасность для спасения жизни двух незнакомцев, и, наконец, романическое средство, которое она изобрела для сего и которое только девушке, в таком критическом положении, может войти в голову. Право! Хотя бы глаза ее и не так были пламенны, ее грудь не так полна и бела, и хотя бы след на муравейной куче был вдвое больше, Фриц, которого так, как его друга, не защищал эгид супружеской любви, Фриц, говорю, и тогда бы не менее воспламенился.

Он лежал на соломенной постели, зажмурив глаза, чтобы избежать вопросов своего друга, не для того, что он хотел от него скрываться — нет! Но он сам не знал еще, что с ним происходило и что надлежало ему поверить своему другу. Он не мог не признаться, что с ним случилось что-то необыкновенное, но еще все был в нерешимости и не мог согласиться сам с собою.

Вильгельм стоял подле него и, улыбаяся, смотрел на больного. Наконец он прервал сие таинственное молчание и сказал: «Ты, конечно, очень устал?»

Фриц. Очень!

Вильгельм. Она тебе нравится?

Фриц (*с досадою усмехаясь*). Гм! Нравится!

Вильгельм. И, верно, так еще ни одна тебе не нравилась?

Фриц. Ни одна.

Вильгельм. Зачем ты зажмуриваешь глаза?

Фриц. За тем, что ее нет с нами!

Вильгельм (*помолчав*). Уж не влюблен ли ты?

Фриц (*переворотясь на другой бок*). Вильгельм, оставь меня, пожалуйста!

Вильгельм, который знал, что бывают такие минуты, в которые мы согласимся лучше, чтобы нас кололи иголками, нежели делали нам вопросы, ибо в первом случае мы можем *все перенести стоически*, а в последнем должны *делать ответы*, — Вильгельм отошел и старался раз-

влечь себя собственными своими мечтами, которые во всякой тюрьме свободнее, нежели где-нибудь. Он ходил взад и вперед, пел, свистал, осматривал мебели и скоро познакомился с своими хозяевами, лягушками и червяками.

Нашедши нечаянно заржавевший гвоздь, вздумал он из скуки, так, как водится в постоянных дворах и на почтовых станциях, начертить имя свое на стене. Для сего выбрал он камень, который был чище и глаже прочих; выдвинул креслы, современные Генриху IV, и с лампадою в левой руке и гвоздем в правой взлез на них, чтобы совершить важное свое предприятие и сделать бессмертным имя свое в этом подземельном мире.

Но как же он удивился, когда, осветив лампадою выбранный им камень, увидел на нем начертанные уже слова; можно было заключить, что камень нарочно был для сего употребления изготовлен; ибо он был покрыт краскою, которая его совершенно отличала от других камней. Черты были не очень явственны, но Вильгельм с некоторым трудом разобрал их и прочел следующее: *«Милая Полина! Если твоя невинность не будет иметь другого убежища, кроме сего таинственного жилища; если ты будешь лишена всего, то под сию соломенную постелею найдешь ты доказательство, что отец твой и в самые часы горести не забывал тебя!»*

Вильгельм тотчас сообщил Фрицу свое открытие, но Фриц не обращал на него ни малейшего внимания.

— Или ты не слышишь? — вскричал Вильгельм. — Вставай! Под соломой, верно, есть какое-нибудь сокровище!

— На что нам сокровище? — проворчал Фриц и не трогался с места!

— Но оно принадлежит нашей избавительнице!

ГЛАВА XXX

МЕЧТАТЕЛЬНИЦА

В полночь явилась к ним, подобно кроткому Гению, их избавительница; тихо подавилась пружина двери, дверь отскочила, и Полина представилась.

— Еще опасность не прошла, — шепнула она, — окрестности наполнены бешеными, остервенившимися убийцами; вам должно пребыть здесь до завтрашней ночи, когда, вероятно, всякий, уставши от бесполезных обысков, возвратится домой и все забудет. Конечно, до тех пор вы будете иметь во всем недостаток, ибо я не имею ничего! Вот все, чем я могу служить вам!

С сими словами положила она на стол несколько яиц и кусок черного хлеба.

— Две курицы! — продолжала она с горькою усмешкою. — Вот все, что я теперь имею, что осталось мне после всеобщего расхищения и убийства. О! Прежде у нас всего было много, теперь нечем мне прокормить и этих куриц. Они живут кое-как, а убить их не могу. Вот вам два яйца; этого мало, но это последнее!

— Как счастлив друг мой! — сказал Вильгельм, добровольно жертвуя своею собственною случайною заслугою, — как счастлив друг мой, что он может воздать за такую благодетельную милость. Он в то время, когда я спал, нашел сокровище, которое вас, прекрасная Полина, выведет из сего затруднительного положения!

Фриц стоял подле него и, дрожа, подал ей ларчик. Полина смотрела с удивлением то на гостей своих, то на знакомый ларчик, явление которого в чужих руках и открытие ее имени были для нее трудною загадкою. Вильгельм взял лампаду, привел ее к камню, стал опять на кресла и прочел вслух завещание отца ее.

Едва любезная девушка узнала почерк и услышала первые слова: «*Милая Полина!*», как бросилась на колена, залилась слезами и подняла руки свои к холодному камню. Как мощи приняла она в руки свои ларчик и с почтением прижала его к устам своим. «Добрый родитель! — сказала она, — ты знаешь, что это уже мне не нужно!»

С сими словами оборотилась она к обоим друзьям.

— Вы столько говорили о благодарности, если я ее заслужила, то от вас зависит мне теперь доказать ее!

— Говорите, — сказал Вильгельм, и взоры его друга запылали; в них можно было ясно читать, что он надеялся, по крайней мере, жизнью для нее пожертвовать.

— Вы возвратитесь в свое отечество, — продолжала Полина, — там будет вам можно осведомиться о кавалере Беллуа; он убежал в Америку! Может быть, он еще жив!

Сие сказала она с таким сердечным жаром; в пламенном взоре ее, обращенном к небу, изображено было такое участие в судьбе этого кавалера, что Фриц начал весьма беспокоиться, но милое творение скоро разогнало весь страх его, прибавив трогательным голосом: «Это мой брат! Теперь единственный брат мой! Ему одному принадлежат сокровища; ему со временем, может быть, послужат они для восстановления прежнего благосостояния в своем доме; для него отдаю я их в руки ваши; постарайтесь всеми средствами найти его убежище, обещайте мне это, поклянитесь!»

Она подала им руку. Вильгельм пожал ее с жаром, но его друг почти обеспамятел, когда прикоснулся к нежным ее пальчикам — он трепетал и заикался. Если б Полина была самолюбива или недоверчива, то, конечно бы, приняла его или за любовника, или за плута. Она продолжала говорить далее без всякого принуждения.

— Если все труды ваши будут напрасны, если Филипп мой уже предупредил меня, то дарю вам этот ларчик; разделите все, что в нем находится, и не забывайте меня.

Она замолчала и опустила глаза свои, наполненные слез, в землю. Вильгельм осмелился представить ей, что она сама еще очень молода и имеет больше нужды в помощи, нежели брат ее, который везде может вступить в военную службу и тем достать себе пропитание. Он просил ее бросить взор на свое разоренное жилище, на свою бедность и советовал оставить землю, в которой преступление торжествует, а невинность страдает.

— Такое бегство, — прибавил он, — сопряжено с большими трудностями, а без денег почти невозможно!

Полина слушала его, не говоря ни слова, и улыбалась.

— Так, — сказала она с пылающими взорами, — я убегу! Нет, не убегу — улечу в торжестве! И это так легко, так возможно! Даже и без денег — вы не знаете! — продолжала она с некоторым таинственным ужасом, — пройдут десять дней! И я буду там — с моим родителем!

Тут с благоговением посмотрела она на небо!

Вильгельм спросил ее: не больна ли она, что почитает себя так близко к смерти!

— О! Нет! — отвечала она, — Бог так милостив, что и без болезни позволяет мне оставить свет. (*Тихо и с доверенностию.*) Через десять дней ввечеру сделается гроза — злые люди около меня задрожат, я буду радоваться! Гром ударит в башню, которая там стоит на берегу реки, и мне стоит только стать подле башни и поднять руки! Добрый ангел слетит ко мне в громовом облаке и отнесет меня к Престолу Божию — и я буду счастлива!

Говоря это, пришла она в некоторое необыкновенное исступление. Вильгельм, изумясь, смотрел на нее пристально и начал думать, что она безумная, но скоро приметил он, что монастырское воспитание и несчастья сделали ее только легковерною мечтательницею. Она рассказала ему, как после смерти отца своего лишилась она рассудка; была несколько времени в ужасном отчаянии, не подкрепляя себя ни малейшею пищею, как однажды утром, обессилев, погрузилась она в глубокий сон, который и предсказал ей, что минута избавления приближается.

— С тех пор, — продолжала она, — рассудок мой пришел опять в прежнее состояние; моя горесть утихла — я приготовила себе гроб и скоро в него лягу, — поздравьте меня! Счастливый час мой уже недалеко!

С сердечным состраданием слушал ее Вильгельм; Фриц отвортился, ибо глаза его были наполнены слезами. Вильгельм довольно знал человеческое сердце, чтобы в сем случае делать логические опровержения; он притворился, будто совершенно верил пророчеству сна ее, взял к себе ящичек с драгоценностями, обещал в точности исполнить ее препоручение. Потом стал он стараться мало-помалу отвлечь ее внимание от единственного предмета, к которому оно прилеплено было, и устремить на другие. Неприметно в разговоре своем от постороннего перешел он к подробностям о ее фамилии. Она должна была много рассказывать о своих братьях, о их фигурах, темпераментах, о полках, в которых они служили, и, наконец, о посещениях к ней во время ее пребывания в монастыре.

Потом нечувствительно перешел он к монастырскому воспитанию, притворился, будто совсем ничего не знал об нем; расспрашивал о тамошнем образе жизни, учении и знакомствах, которые она заводила.

Сперва Полина, казалось, не очень охотно отвечала на вопросы его, но мало-помалу в душе ее пробудилось столько сладостных воспоминаний, столько веселых юношеских сцен, что она, наконец, если не сделалась разговорчива, то, по крайней мере, вступила в разговор, рассказывала *много* и даже с *удивлением*. Одним словом, милая веселость, которая постепенно оживляла все ее движение, довольно доказывала, что она не сотворена для унылости и что только в уединении могла горесть на нее так сильно подействовать.

Она удивилась, когда показалось утро; досадовала на свою рассеянность (так она это называла), извинилась с стыдливостию и удалилась поспешно, чтобы гостям своим дать успокоиться. Вильгельм бросился на солому, скоро заснул глубоким сном, между тем как Фриц медленно расхаживал взад и вперед и изредка останавливался на том месте, на котором стояла Полина.

ГЛАВА XXXI

ПРАВА НАТУРЫ

Сто раз говорили и переговаривали, что лесть настоящий яд! Верю! Но из этого еще не следует, чтобы она везде и всегда была вредна. Разве

лекаря не употребляют иногда яду вместо лекарства в отчаянных болезнях; а пожирающая, глубокая горесть разве не отчаянная болезнь?

Вот что думал Вильгельм, когда, проснувшись по прошествии нескольких часов, вознамерился тонкою лестию усыпить горесть своей благодетельницы. В самой вещи, ничто так скоро не отвлекает человека от печальных или ужасных предметов, как лесть искусная и хитро сплетенная — только само по себе разумеется — она должна быть скрытна и неприметна, должна быть не сильным дождем, льющим в потоках из облаков, а рососою утреннею, нечувствительно цветы окропляющею! О, против такой лести никакой мудрец мира устоять не может!

Когда Полина возвратилась в полдень и принесла гостям своим то, что в разоренном саду ее натура, оставленная на волю самой себе, для нее производила, то Вильгельм начал играть свою ролю; на помощь друга своего он, конечно, не мог полагаться, ибо тот, кто любит истинно, льстить не может. Он вооружился всею своею опытностию и человекопознанием; употребил в дело все, чему научился он в большом свете и чему до сих пор только смеялся; сожаление и благодарность придавали словам его увлекающую силу и жар, которым хладнокровие Полины скоро начало уступать. Иногда рождалась на губах ее улыбка, и не прошло еще двух часов, как уже Вильгельмово красноречие довело ее до того, что она села с своими гостями за стол и разделила с ними плоды, которые принесла для них.

День пролетел скоро. Полина досадовала на то, что наступил уж вечер, ибо она опять полюбила сообщество с людьми, которых так удалялась; взоры ее нередко с участием устремлялись на Вильгельма, который говорил один и которому его свободное сердце позволяло обнаружить все любезные свои свойства, между тем как Фриц сидел, повеся нос, и молчал, опасаясь сказать что-нибудь глупое.

Когда стало темно, то послала Полина своего старого слугу и свою девку в разные стороны осведомиться, миновалась ли опасность? Оба возвратились, подобно голубям Ноевым, с оливковыми ветками. Но сколь ни ободрительны были известия, ни для кого не были они приятны, кроме Вильгельма, который от всего сердца желал поскорее возвратиться в город, опасаясь, чтобы их не хватились и не почли дезертирами.

Другу его такие мысли совсем не приходили в голову. Он бы желал, чтобы дом отсюда был окружен убийцами, ибо чувствовал в себе довольно мужества и силы, чтобы защитить Полину против целого неприятельского войска; но как ни один неприятель не показывался и как только одни жуки да кузнечики шумели по полю, и совы беспре-

пятственно вылетали и влетали в разбитые окна замка, то наши герои и решились отправиться в поход.

Полина задумалась и растрогалась, когда они пошли от нее; она проводила их до железных ворот и подала им руку при прощании.

— Высшее определение привело вас ко мне, — сказала она, — будьте моими братьями во все краткое время горестного моего здесь странствия. Еще десять дней до сего желанного часа! Посетите хотя один раз сестру свою до ее вечной с вами разлуки, хотя один раз, если это не сопряжено с опасностью!

Фриц улыбнулся при слове *опасность*. Вильгельм обещал прийти хотя переодетый; Фриц улыбнулся при слове *переодетый*. Он поцеловал руку Полины! Она назвала его братом. Где же опасность? К чему переодеваться?

Они пошли. Фриц часто смотрел назад, хотя было темно, как в могиле. Полина стояла у ворот и прислушивала до тех пор, покуда шаги их были слышны; потом медленно возвратилась она назад; хотела идти в грот, к телу отца своего, и вместо грота пришла опять в подземелье, бросилась на солому и забыла о потухшей лампаде, погрузившись в мысли о приближающейся своей смерти.

Мысли сии со времени знакомства ее с Вильгельмом, казалось, получили для нее новые прелести, ибо всегда с грозным образом смерти соединялось в душе ее любезное воображение нового ее брата. Она желала, чтобы он был с нею в торжественный и ужасный день сей. Она представляла самое себя пораженною громом, без дыхания лежащую на руках Вильгельма; видела, как он безжизненное тело ее клал на мягкий дерн, как он стоял перед нею на коленях, как слезы его катились на холодную ее руку, как он — тут щеки ее покрывались огненным румянцем — напечатлевал последний братский поцелуй на бледные уста ее.

Так, с мрачными картинами смерти соединялись в душе ее другие приятнейшие картины, начертанные кистью чистейшей невинности. Она с некоторою нетерпеливостью ожидала второго посещения друзей своих; она не лежала больше при гробе отца своего, а только в задумчивости сидела на дерновой скамейке и слушала тихое трепетание волн, которые разбивались на берегах острова. Соловей пел в кустах; она досадовала на себя за то, что песни его были ей приятны. Слуга принес ей жареного голубя для обеда; она бранила его за то, что он почитал ее голодною, и когда он ушел, то съела одно крыло, потом другое, а потом и всего голубя.

Некоторое неизвестное внутреннее чувство увлекало ее часто из грота в дом, из окон которого видна была дорога в город. Она расхажи-

вала взад и вперед по пустым горницам и иногда посматривала украдкою в разбитые зеркала.

Между тем Фриц с бедным больным сердцем своим больше был похож на привидение, чем на человека, и, может быть, рана его сделалась бы опасною, когда бы дружба не вливала в нее бальзаму целительного; так как для любящего слова любезной — закон, то и Фриц, совсем не поврежденным рассудком своим был очень склонен верить, что, в самой вещи, Полина через десять дней должна быть убита громом, и Вильгельм принужден был *насмешками* выгонять эту глупую мысль из головы его, ибо *рассуждениями* никак невозможно было его разуверить.

Согласится ли Полина, если только будет пощажена громом, забыть свою горесть в его объятиях, этого он еще не осмеливался надеяться, ибо истинная любовь и самого Нарцисса может сделать скромным. Вильгельм, который смотрел на все хладнокровно, старался уничтожить всякое сомнение и уверить робкого своего друга, что юношеская невинность Полины и ее беспомощность, конечно, ее к нему привяжут. Он советовал ему быть посмелее, говорить если не языком, так, по крайней мере, взорами и не все стоять с опущенными глазами перед нею. Фриц обещал слушаться его советов — и не сдержал слова, ибо любовь, которая всегда боится не понравиться, препятствовала ему сдержать его.

Радостная весть ожидала их при входе в город: срубившие древо вольности были пойманы в другой деревне и наказаны так, как надлежало, следственно, оба друга могли опять ходить без помешательства и опасности по окрестностям города, и Фриц воспользовался сим, для него совсем неважным, обстоятельством, чтобы уговорить Вильгельма ко вторичному посещению Полины на другой день, но равнодушный Вильгельм, опасаясь, чтобы это не показалось предосудительным для мечтательной красавицы, почел за нужное обождать еще одним днем.

Фриц проклинал холодность своего друга, простоял целый день у окна и не мог понять, как могли городские жители так спокойно исправлять свои работы. В полночь разбудил он спящего Вильгельма и утверждал, что уже солнце восходит, но это было не солнце, а последняя четверть луны, которая бросала бледный луч в их горницу.

Наконец горизонт озарился, и выходящее солнце застигло наших друзей уже на дороге. Еще у всех домов были заперты ворота, только одни их шаги слышались на пустых улицах. В этот раз они наполнили свои карманы разными съестными припасами и надеялись уговорить свою благодетельницу разделить их с ними. Вильгельм выдумывал дорогою средства, как бы ее вызвать из грота, где предметы ужаса давали всегда новую пищу ее горести. Но его старание было бесполезно,

ибо, отворивши железные ворота, они оба увидели Полину, спокойно сидящую на дворе под березою; она кормила своих куриц хлебными крошками⁵⁰ и заметила их только тогда, когда они уже давно стояли перед нею.

Милая красавица покраснела и ласково им поклонилась. Вильгельм втайне сделал приятное замечание, что ее волосы были с большим старанием прибраны и грудь ее более закрыта, нежели в первый раз.

Все сели под тенью березы; разговоры в этом маленьком круге были, конечно, все еще принужденны, но Вильгельм всеми силами старался оживить их, и ему удалось несколько; Полина, казалось, была ему благодарна за такую примечательность и платила ему за труды его ласковыми взглядами. Короче сказать, ее натуральная веселость опять пробудилась, она уже могла обращать внимание на все, что вокруг ее происходило, на все, кроме одной любви Фрица. Опытная девушка, без сомнения, из частой его задумчивости, из его замешательства, когда она с ним говорила, и из краски, которая покрывала щеки его всякий раз, когда она пристально на него смотрела, без сомнения, узнала бы, что происходило в его сердце, но воспитанная в монастыре, Полина совсем не воображала, чтобы ее прелести так были действительны.

День прошел в спокойном однообразии. Полина водила гостей своих по полям, лугам и садам своим, показывала и описывала им все прежние приятности местоположения и остановилась с горестию на любимом месте отца своего, и в словах своих дала почувствовать, что если б смерть ее не так была близко, то она, конечно, не могла бы долее прожить в этом печальном месте и, верно бы, оставила Францию.

Вильгельм воспользовался сим случаем, чтобы сказать что-нибудь о своем отечестве, о его прелестях и о том, с какою бы радостию ее в нем приняли. Он сожалел, что судьба не определила ему быть ее избавителем, и осмелился прибавить, что желал бы, чтобы его молитвы отвратили от нее поражение грома.

Украдкою взглянул он на нее, чтобы узнать по лицу ее, как принято его желание, и заметил с удовольствием, что она, хотя казалась спокойною, но печально смотрела вниз.

Когда наступил вечер, то они разлучились с обещанием всякий день видаться до наступления роковой минуты. Бедный Фриц еще более растравил рану своего сердца, потому что Полина с непринужденною, милою непорочною обнаружила все прелести души своей, и невинность, какую только перо Геснера⁵¹ описать может, придавала телесным ее совершенствам величие ангела.

Вильгельмовы надежды подкрепились, и он думал в течение девяти оставших дней довольно успеть в своем предприятии. Полина пошла

в грот, в первый раз почувствовала в нем ужас, удивилась этому неизвестному ей чувству и в глубокой задумчивости возвратилась опять под свою березу.

ГЛАВА XXXII

ПРИВИДЕНИЕ

Сердце Полины от частых посещений новых ее братьев пришло совсем в другое состояние, нежели в каком оно было тогда, когда она, с презрением ко всему житейскому, возвратила им ящик с драгоценностями; с того времени она была привязана тайными желаниями к жизни так точно, как Гулливер лилипутцами к земле. Сей великан был пойман спящий и безоружный, наша мечтательница тоже; оба с презрением смотрели на бесполезные усилия врагов своих, давали им волю действовать, и после сами не могли уже выпутаться из оков, ими на них наложенных.

Три дня оставалось Полине, по счету ее, жить. В первый из сих дней призналась она сама себе, что *слишком поспешно* просила у Бога смерти, во второй осмелилась заметить, что Бог слишком поспешно согласился на сию просьбу, а в третий стала она трепетать наступающего утра.

Едва заметил Вильгельм сие счастливое расположение, как начал возбуждать в ней сомнения к истине пророческого сна ее. Он рассказывал ей множество примеров о снах, оставшихся ложными, остерегался упоминать о тех, которые описаны в Морицевом «Магазине»⁵², и толковал ей, сколько мог, действие крови и телесных органов на душу спящего. Полина хотя и не слишком его понимала, ибо кто поймет это совершенно, но с благоговением слушала слова его и желала втайне, чтобы они были справедливы.

Вильгельм нечувствительно сделался для нее любезным, с сею привязанностию соединилась доверенность, чистая, непритворная, и Полина, в прогулках своих, иногда прижималась к нему с такою неприужденностию, как будто он был монашенка, с которою она любила гулять в монастырском саду своем. Фриц между тем, в сравнении с другом своим, казался только месяцем, который получал бледное сияние от лучей солнечных. Полина почитала и его много, но только *почитала* и была с ним больше *другом*. И в самой вещи, больше дружбы ничего не могла она к нему чувствовать, ибо все блистательные свойства его были скрыты под завесою застенчивости.

Вечеру накануне страшного дня, когда стали прощаться, просила Полина обоих друзей пораньше прийти к ней на другое утро и не

оставлять ее в решительные и последние часы ее жизни. Они обещали исполнить ее желание, и как знойный вечер, в самой вещи, предвещал грозу, то они решились провести ночь неподалеку от жилища Полины, чтобы в нужде быть тотчас готовыми, и поместились в одной необитаемой лесничей избушке⁵³, которая находилась близ сада Полины.

Влюбленный, как все знают, во всем предается крайностям, он бывает или в восторге, или в отчаянии, или нем, или болтлив до крайности, и в последнем случае материя его так изобильна, что он обыкновенно не дает отвечать слушателю, и потому-то часто и дерево, и человек равно могут служить ему поверенным. Что Фриц в тишине ночи, в бедной лесничей хижине, беспрестанно говорил о Полине и превозносил красоту ее и любезность, то это столь же естественно, как и то, что Вильгельм, слушая его и не находя ничего нового в его словах и описаниях, заснул весьма спокойно. Несколько вопросов, оставленных без ответа, и дыхание спящего дали, наконец, знать говоруну, что он жаловался одним только стенам. Он не захотел прервать сна своего друга, встал тихо с постели и пошел в потемках по дороге.

Так как он в продолжение десяти дней познакомился коротко со всяким деревом и камнем, которые находились на дороге к жилищу Полины, то ему совсем не было трудно, несмотря на глубокую мрачность, к нему пробраться, не расшибши лба и не спотыкнувшись, благополучно пришел он к железной решетке и посматривал сквозь нее на разбитое окно, в котором мелькал бледный свет уединенной лампы. Он бродил взад и вперед, вздыхал и произносил иногда то громко, то тихо имя *Полины*.

Ах! Он не знал, какой мучительный страх приготавливал он своей любезной: робкая красавица, расставшись с своими друзьями, все стояла у окна и смотрела на черные облака, которые сбирались на западе и, казалось, в своем недре готовили для нее смерть; отдаленная зарница увеличивала страх ее; сердце ее билось всякий раз, когда она блистала, раздирая черные тучи.

Но как изобразить ужас ее, когда при бледном и грозном свете молнии вдруг заметила она человеческий образ, который блуждал у железной решетки, когда слышала глубокие вздохи и имя свое, томным и печальным голосом произносимое.

«Тень отца моего!» — эта мысль взволновала ее сердце, холодный пот вступил на лицо ее. *«Меня зовет тень отца моего! Сон мой не пустая мечта воображения! День смерти наступает! Духи выходят из гробов и готовы принять меня».*

Она бросилась на колена и хотела молиться, но силы ее исчезли, она упала без чувств на пол. Фриц между тем, не зная, не ведая, какое зло

он сделал, пошел назад в хижину, ибо восточный край неба уже позлащался, и разбудил своего друга. С первым лучом дня были они уже подле железной решетки.

Потихоньку вошли они на крыльцо и увидели старого слугу и девку, спящих глубоким сном в прихожей. То же думали они и о Полине. Вильгельм отворил осторожно дверь ее горницы, Фриц стоял позади и робко смотрел из-за плеча его, несчастная лежала бездыханна пред ними.

«Она спит!» — сказал Вильгельм и отступил назад; но Фриц с горестным предчувствием в сердце подошел ближе, взял ее руку, которая была холодна, как лед, и закричал: «Она умерла! Ужасы воображения умертвили ее!» Тщетно старался Вильгельм укротить его. Он бегал, как безумный, взад и вперед и кричал в ужасном отчаянии: «Она умерла! Ее нет уже! Ах! Я не могу жить более!»

Рыдая, бросился он на мнимый бездушный труп, рыдая, вскочил он опять и искал глазами орудия, которым бы прекратить жизнь свою. Вильгельм просил, угрожал, старался удержать его — все напрасно: Фриц его не слушал! Наконец друг его силою охватил его за руку и закричал: «Образумься, безумный! Она не умерла: сердце ее еще бьется!»

Без памяти бросился Фриц к своей любезной, трепеща, положил руку свою к ней на сердце, почувствовал, в самом деле, что оно билось, и от неизъяснимой горести вдруг перешел к сильнейшим восторгам. Он в исступлении прижал Вильгельма к своему сердцу, обнял старого слугу, плакал, смеялся, забыл о средствах, которыми бы привести в чувство Полину. Она жива, ее сердце бьется, сего довольно! Он рыдал и взорами благодарил небо.

Вильгельм между тем помогал ей, брызгал на лицо ее свежеею ключевою водою, тер ей руки и виски, и чрез несколько минут она открыла глаза свои.

Она осмотрелась с беспокойным видом вокруг себя: «Благодарю вас, — сказала она, — что вы так рано пришли ко мне; скоро ударит час мой!» Вильгельм подвел ее к окну, показал на чистую зарю, на черные облака, которые мало-помалу рассеивались на западе, и на сильный туман, который образовал блестящее море в долине — все сие предвещало ясный день. Но Полина не видала зари, взоры ее были неподвижно устремлены на железные ворота — там блуждало привидение, оттуда неслись к ней вздохи, там раздавалось ее имя. Напрасно хотел развлечь ее Вильгельм. «Оставьте меня!.. — сказала она. — Я должна умереть нынче — это верно; тень родителя моего мне явилась; грозный голос ее возвестил мне близкий конец мой. Я пойду, приготовлю себя к смерти!»

С сими словами вышла она в одну боковую горницу, чтобы молиться. С удивлением и досадой смотрел Вильгельм вслед за нею и роптал на случай, который, возмутив ее воображение, уничтожил все его планы. Напрасно старались оба друга от живущих с нею узнать, не случилось ли чего важного вчерашним вечером? Они ничего не знали. Полина приказала им лечь спать, и они повиновались без противоречия, ибо то, что их госпожа оставалась нераздетою, было уже для них не новое.

Вильгельм весьма беспокоился! Он не боялся чуда природы, но чуда воображения, которое, будучи управляемо фантомами, им самим созданными, разрушает слабый орган рассудка, — короче сказать, он не боялся Полининой смерти, но того, что еще хуже смерти — сумасшествия. Он, сколько мог, старался скрыть сии печальные мысли от своего друга, который в горести сложив руки, ходил взад и вперед по горнице, иногда неподвижно смотрел на дверь, в которую пропала Полина, а иногда останавливался пред Вильгельмом и уныло глядел на него, как будто искал утешения и отрады в глазах его.

Через час вошла Полина опять в горницу, и какая-то небесная ясность сияла во всех чертах ее; она говорила мало, отвечала отрывисто и избегала каждого слова, которое хотя мало могло бы заставить ее сомневаться в приближении смерти ее, как будто опасалась опять лишиться мужества, которое испросила себе от неба.

Разговор был весьма принужденный. Братья боялись говорить о снах, привидениях, смерти, а сестра их ни о чем другом слышать не хотела. Все по большей части ходили молча взад и вперед, друг подле друга. Фриц вздыхал так тяжело, как будто был приговорен к смерти. Полина ходила тихо. Не слышно было ни дыхания, ни шагов ее. Духи только летают, а Полина была почти дух.

Вильгельм изредка подходил к окну, и всякий раз не оставлял без замечания, что утро прекрасно и чисто, и что нет ни одного черного облачка на горизонте; но мечтательница не слушала слов его, ибо голос привидения еще страшно раздавался в ушах ее.

ГЛАВА XXXIII

ГРОЗА

Когда солнце было уже высоко и сильный жар предвещал уже близкий полдень, то Полина сама предложила гостям своим прогуливаться в прохладной роще. По-настоящему это было не для того, чтобы осве-

житься от жару — нет! Она стыдилась при вратах смерти чем-либо земным заниматься, но она хотела неприметным образом приблизиться к башне, которая во сне ее была назначена пределом ее странствий, и остаток человеколюбия научил ее пощадить друзей своих и скрыть от них свое намерение.

Вильгельм с радостью согласился на ее предложение. Они пошли, и добрый Вильгельм, обратив совсем на другой предмет свое подозрение, старался под разными предлогами удалить ее от маленького острова и ужасного грота. Полина заметила это и сказала, улыбаясь: «К чему такая осторожность? Я сама не пойду туда, я сама не хочу видеть бесчувственных остатков моего родителя тогда, когда скоро сама соединюсь с ним!»

Вильгельм вздохнул, а Фриц с досадою ломал ветки одну за другою с кустов, мимо которых проходила Полина. Наконец сильный полуденный жар принудил их искать прохладнейшего убежища в роще; они пошли по узкой дорожке к одному маленькому эрмитажу, в который едва проникало солнце, и сели на дерновую софу, чтобы отдохнуть немного.

Полина села посреди братьев своих, и Вильгельм, который чувствовал, что непременно должно было говорить о чем-нибудь, начал болтать о первом пришедшем ему в голову предмете, чтобы хотя несколько рассеять мечтательницу. То ловил он жука и вместе с нею удивлялся строению его тела, то рвал траву, которая росла у ног его, и спорил с Полиною о том, ядовита ли она или нет, и, наконец, герб, который был нарисован на окне эрмитажа⁵⁴, подал случай к интересному и продолжительному разговору. Полина в монастыре своем, с прочими бесполезными науками, училась и геральдике. Хитрый Вильгельм, который в самом деле мало знал ее, притворился, будто совсем ничего не знает, и с терпением выслушивал, что она говорила о щитах, шлемах, цветах и прочее. В крайних случаях, когда нужно только отвлечь воображение от единственного предмета, которым оно занимается, не презирают и самых маловажных средств, которые часто неожиданно приносят много пользы. Полина, говоря о геральдике, вспомнила о монастыре своем, о своих подругах, и многие приятные картины прошедшего, оживившись в ее памяти, неприметно отвлекли ее от горестной мысли о смерти. Кто знает, до чего бы Вильгельм довел ее своею хитростию и красноречием, когда бы вдруг по прошествии уже двух часов отдаленный звук грома не ужаснул ее!

Полина побледнела, Фриц тоже, и сам Вильгельм испугался и втайне роптал на судьбу, которая еще более хотела испытать несчастную. Все вскочили и бросились к дверям. Небо со всех сторон обложи-

лось тучами, вершины деревьев страшно шумели, вороны с криком летели к дому, и птицы в смятении носились по воздуху.

Полина, трепеща, сложила свои руки: «Идите за мною! — вскричала она слабым голосом. — Не оставьте меня!»

Фриц был от всего, что в нем и вокруг него происходило, в таком замешательстве, что не знал сам, что делал. «Дай Боже! — сказал он, рыдая, схватив руку Полины и сжав ее горестно, — дай Боже, чтобы я умер с тобою вместе!» Она удивилась и с изумлением посмотрела ему в глаза. Потом с робостию вырвалась из рук его и так скоро побежала между кустов, что оба друга насилу могли успеть за нею. Гроза становилась час от часу сильнее, крупные капли сыпались из облаков, ветер ревел, и вершины деревьев с шумом пригибались к земле.

Едва дыша, бежала Полина через маленький луг, из которого река образовала полуостров; в конце этого луга находились развалины древней башни, под которыми Полина хотела погresti себя. Вильгельм, запыхавшись, бежал за нею и догнал ее только тогда, когда она, обессилев, упала на камень и простерла руки к небу, чтобы принять ангела смерти в свои объятия.

Ее братья стали подле нее на колена. Она не могла более говорить: страх и усталость хотели, казалось, вырвать сердце из груди ее. Вильгельм осмотрелся вокруг себя и нашел, что в этом опасном месте случай легко мог исполнить предсказание пророческого сна Полины, ибо древняя башня была со всех сторон окружена старыми дубами, которых вершины противились буре и, казалось, смело вызывали к распрямлению молнии; но некогда было упоминать о опасности: несчастная боролась с смертью.

Громовая туча носилась уже прямо над ними, гром гремел страшно, молнии и удары быстро следовали друг за другом. Вдруг ветер утих, ни одна дождевая капля не падала. Ужасное безмолвие поселилось всюду, знойный воздух давил растения. Полина едва дышала; взоры ее померкли. Га! Вдруг молния с треском ударила в башню, расколола стену, камни покатались в реку, и земля задрожала!

«*Господи!*» — раздалось посреди развалин. Полина лежала без дыхания на земле; проливной дождь зашумел из облаков. Фриц стоял как окаменелый. Вильгельм тихо поднял бесчувственную, покрыл ее, сколько мог, сюртуком своим и оборотился к развалинам, в которых очень явственно слышал голос. Он взглянул и затрепетал: из расщелины падшей стены, посреди камней, которые все еще отпадывали и валялись вниз, поднялся, как будто из гроба, образ юноши. Он был сух, как скелет, покрыт изодранным рубищем: вид его был ужасен; неподвижно устремив тусклые, глубоко впадшие глаза свои на незнакомцев,

вышел он медленно из развалин и безмолвно, как привидение, к ним приблизился.

«*Кто ты?*» — закричал ему Вильгельм. Фантом не отвечал ни слова. Дождь лился на непокрытую его голову, он дрожал и старался прикрыть голое свое тело. Пробужденный восклицанием Вильгельма, Фриц поднял голову и с ужасом, смешанным с сожалением, увидел страшный образ. Он вскочил, бросился к юноше и сказал грозным голосом: «*Кто ты? Чего ищешь?*»

— Пощадите меня! — трепеща, проговорило привидение. — Вы видите, сам Бог меня помиловал. Из этой башни видел я, как вы стояли на коленях подле этой доброй девушки! Счастлив я, что она вам любезна! Моя Полина будет сама за меня просить вас?

— *Его Полина!* — вскричал Фриц, отсоскочил назад и подозрительно устремил взоры на ужасного человека и против воли своей признался, что он прекрасный миловидный юноша, которого только бедность и несчастья обезобразили и обратили в привидение.

— *Его Полина?* — повторил Вильгельм с любопытством.

— *Там! Моя Полина,* — сказал юноша несколько пошлее, подошел беспрепятственно к бездыханной, стал подле нее на колена, схватил холодную ее руку и старался согреть ее в руках своих. Фриц стоял, не говоря ни слова; ужасное чувство наполняло его сердце: оно как будто желало, чтобы Полина не пробудилась от смертного сна своего!

Между тем громовая туча прошла мимо, гром гремел уже вдали, мелкий дождь кропил луг, цветы подымались снова, птицы начали петь, и с цветами и птицами пробудилась опять Полина и увидела себя — в объятиях своего брата.

Он был первый предмет, который представился глазам ее; чему ж дивиться, если она вообразила себя в другом мире? Она почитала себя умершею и переселившеюся в обители блаженных.

«Мой брат! Филипп! — шепнула она, — или смерть нас опять соединила с тобою? Где наш родитель? Для чего нейдет он навстречу к своей дочери?»

С именем брата возвратилось спокойствие в Фрицево сердце. Юноша, которого он был готов ненавидеть, вдруг сделался для него любезен — он брат Полины!

Когда слон раздавит ногою какой-нибудь малый мир, и мы видим там муравьев, собирающих свои яйца, там пауков, которые поправляют изорванную свою паутину, инде цветы⁵⁵, подымающие опять свои головки, то эта картина может несколько служить изображением замешательства между нашими героями, больше или меньше приведенными в движение. Полина долго не могла увериться, что она в самом деле

жива; мнимый дух ее брата подтверждал ее мнение, которого и самое присутствие друзей ее не опровергло, ибо она и их почитала погибшими с нею от грома. Юноша, ослабевший и телом, и духом от многих бедствий и страданий, все еще видел в незнакомцах преследователей, жаждущих его крови. Фриц, движимый радостью, что Полина пришла в чувства, и колеблемый страхом, чтобы ее брат не отверг любви его, не говорил ни слова. Один Вильгельм через несколько минут возвратил присутствие своего духа. Он приметил, что это место, залитое дождем, и вид развалин были совсем неприличны для свободных объяснений. Он дал знак своему другу, чтобы проводил истощенную Полину в ее жилище, а сам подал руку ее брату. Медленно пошли они через рощу, Полина вздрагивала и пугалась всякий раз, когда ветка попадала по щеке ее, и смотрела на каждое дерево, на каждый куст с какою-то улыбкою, которая показывала ясно, что рассудок ее все еще сильно боролся с обольщающим воображением.

Фриц не спускал глаз с нее, рука ее была в его руке. Он дрожал как лист, никогда не было ему так трудно идти. Он не чаял кончить пути своего, робко посматривал на дом и со всем тем желал бы быть на сто миль от него.

Сухощавый товарищ Вильгельмов смотрел на него с робостию и недоверчивостию. Чем ближе подходили они к дому, тем мрачнее становились впадшие глаза его; казалось, несколько раз намерен он был вырваться и убежать, и, без сомнения, исполнил бы сие намерение, когда бы мог надеяться спастись от двух здоровых преследователей. Он затрепетал, вошедши в дом, и только на лестнице почувствовал опять бодрость в своем сердце, когда верный знакомый слуга с радостным криком бросился к нему навстречу.

Наконец пришли в горницу Полины, где брат и сестра смотрели с удивлением друг на друга и на все, что их окружало. Вильгельм заботился о успокоении и пище, двух лекарствах, нужных и для самых душевных болезней.

ГЛАВА XXXIV

РАЗЛУКА

Кавалер Беллуа, тот самый, которого Полина почитала в Америке, был свидетелем смерти отца и братьев своих и скрылся от преследования своих гонителей в неприступные руины, известные ему с малолетства. Здесь осмеливался он только во время ночи, вместе с совами,

выходить на поле и искать кореньев и диких плодов для своей пищи. Сперва думал он, что отцовский дом его был разорен совершенно и сама Полина погибла, но после был выведен из сомнения, увидев ее сквозь расщелину своей башни, в глубоком трауре прогуливающуюся по лугу.

Уже хотел он броситься в ее объятия, как мысль, что внезапная радость ее может изменить ему и его погубить, удержала его. Он не знал, были ли вблизи люди, или нет? Не подсматривали ли за нею какие шпионы? Печальная Полива удалилась, и хотя скоро недостаток и братская любовь победили в нем все опасения, но уже более она не показывалась.

Наконец он решился, не находя более средств, которыми бы продолжить бытие свое, оставить свое убежище и броситься либо в объятия сестры своей, либо на острые кинжалы разъяренных убийц; он определил уже на то день, в который надлежало кончиться запасу кореньев, которых он набрал при месячном сиянии и которыми до сих пор он бедственно питался.

Но это был самый тот день, в который Вильгельм и Фриц, преследуемые возмущившимися, спаслись в гроте Полины, и вся сторона пришла в движение. Филипп подумал, что искали его и почитали уже его погибшим; башня его была несколько раз окружена шумящею толпою; отважнейшие входили в нее, лазили по отломкам, и как только узкий переход вел к убежищу Филиппа, а он загромоздил ее камнями, сложенными в искусственном беспорядке, то и все поиски остались бесполезны.

Ничто не казалось для него вернее, как то, что он был предметом сих строгих поисков; страх его увеличивался, и в первые дни после сего происшествия не смел он даже выходить и ночью из своего убежища и терпел мучительный голод и жажду до тех пор, покуда не приведен был до величайшей крайности.

Между тем видел он иногда сестру свою у башни и радовался, что она спаслась от смерти; но как он видал ее всегда в провожании двух незнакомцев и как сильная горесть была изображена во всех чертах лица ее, то он и заключил, что сии провожатые были не друзья Полины, а только караульные.

Однажды осмелился он выйти ночью из своего убежища, чтобы, по крайней мере, утолить жажду свою в ближайшем источнике; отчаяние увлекло его к воротам родительского дома, и если б они были отперты, то он, конечно бы, проникнул в самую спальню сестры своей. Он не смел ни стучать, ни кашлять, боясь разбудить тех опасных незнакомцев, которых всегда видел с своею сестрою; в нерешимости бродил он

вокруг дома до тех пор, покуда первый крик петуха не принудил его опять укрыться в свою башню.

Но более сносить было невозможно для юноши, который всю свою юность провел в недре счастья и изобилия. Недостаток и отчаяние возродили в нем мужество, которое доселе было ослаблено роскошью и сладострастием, ибо все добродетели и пороки не иное что, как чада натуральных или искусственных нужд наших. Он твердо решился — во что бы то ни стало — войти в родительский дом, и если в нем обитают убийцы, умереть в объятиях сестры своей. Гроза предупредила его, разрушила его темницу, и он очутился посреди друзей своих.

Вот что рассказывал брат Полины, подкрепивши себя пищею, новым своим знакомцам. Открытие, что Вильгельм и Фриц военнопленные, разогнало все сомнения — их мундиры, которые он прежде почитал мундирами национальной гвардии, перестали его ужасать. Сии люди сражались за права его, были одинакого с ним мнения, одинакой веры, и, следственно, не могли изменить ему.

И состояние души Полининой переменилось; она уже опять чувствовала, что была жива и, казалось, с удовольствием предавалась сему чувству. Вильгельм, который примечал каждое изменение в чертах лица ее, осмелился говорить яснее и прямо назвал сон ее обманчивою мечтою воспламененного воображения, и когда она в опровержение рассказала со всею подробностью обстоятельства испугавшего ее видения, когда она привела его к окну и показала на ворота, подле которых явился ей дух, то Фриц, стоявший подле нее, покраснел и, запинаясь, признался, что он был привидение, произносившее ее имя. С робостию просил он простить его за ужас, который невинным образом причинил ей.

Радость Полины при таком известии помогла ей сокрыть стыд свой, который, при словах Фрица, в пламенном румянце обнаружился на щеках ее. Это странное происшествие привело ей на память необыкновенную живость, с какою Фриц, при выходе из эрмитажа, изъявил ей свое желание умереть вместе с нею. Сколь она ни была неопытна в любви, но готова была клясться, что Фриц любил ее, и румянец на щеках ее запылал еще сильнее.

Филипп, давно познакомившись с страстями человеческими, отгадал, что происходило в сердце незнакомца. Победа сестры его, казалось, была ему приятна, ибо он, не могши сам быть ее защитником, оставлял ее в безопасности под охранением честного человека. Что Фриц, робкий, застенчивый Фриц, вздыхающий в тишине ночи под окном любовницы, не обольститель, в этом уверяла его собственная его опытность, Вильгельм успокоил его совершенно, объяснив ему в тот же вечер честные намерения своего друга.

«Дворянин ли он?» — вот единственный затруднительный вопрос, предложенный *старофранком* германцу, и когда Вильгельм удовлетворительно отвечал на него, то он с радостью согласился, чтобы Полина, по размене пленников, вышла за Фрица замуж и последовала за ним в его отечество.

Робкий любовник остался один с своею любезною, но с грозою прошло и его мужество; он не мог воспользоваться сим благоприятным случаем и кончить вечером то, что начал в полдень. Не говоря ни слова, сидели они друг подле друга, оба опустив глаза вниз: *он* потому, что *сказал уже слишком много*; *она* потому, что уже *узнала слишком много!*

С блаженным чувством, которое обыкновенно поселяется в сердцах наших, когда мы избавимся от какой грозной опасности, проведен был остаток того дня, которого первая половина была так ужасна. В сей дружеской беседе занимались только тем, что надлежало начать Филиппу в его положении. Полина требовала, чтобы он скрылся в тайном подземелье до тех пор, покуда не утихнет гроза республиканства, и сам Филипп был к тому сперва склонен; но как скоро услышал он о найденном сокровище, как скоро увидел ящичек, наполненный драгоценными камнями, то вдруг переменил совершенно прежнее свое намерение.

Он был слишком великодушен, а может быть, и легкомыслен, ибо, несмотря на все просьбы сестры своей, не взял из отцовского наследства ничего, кроме самомалейшей части. «Я не хочу размотать приданого сестры своей!» — говорил он и уверял, что двух перстней, им взятых, будет довольно для того, чтобы счастливо перебраться за границу. — А там запишусь я, — продолжал он, — в корпус принца Конде и по тех пор не ступлю ногой на отечественную землю свою, покуда не буду в состоянии вооруженною рукою возратить своего наследства; а тебя, моя Полина, — продолжал он с улыбкою, — оставляю под охранением сих честных людей: они благородные люди, солдаты, и я спокоен; им уступаю я все отцовские права и братские должности, которых судьба не позволяет исполнять мне; под их защитою оставляю я сие разоренное жилище — будь благополучна!»

Тщетно старалась Полина уговорить его предпочесть безопасное подземелье опасному бегству; напрасно грозила ему, если он не согласится, за ним последовать и разделять с ним все опасности; он убедил ее своими важными и неважными доказательствами, и Вильгельм защищал его сторону с таким красноречием, что, наконец, Полина уступила.

Старый слуга достал господину своему простое крестьянское платье; ему обрезали волосы, превратили его белое, нежное лицо в смуглое и загорелое от солнца, и ветреный молодой человек, в провожании верного слуги, которому известны были все дорожки и тропинки,

простился в полночь с плачущею сестрою своею. Он намерен был идти в Монтобан, где надеялся найти одного своего друга и просить его помощи.

По отъезде его оставшиеся друзья его прожили в тишине и спокойствии целый месяц. Фриц наслаждался многими блаженными минутами, но только в одном *созерцании* своей любезной, ибо всякий раз, когда Вильгельм выговаривал ему за его застенчивость и робость, и он решился неотменно открыться *нынче* и узнать судьбу свою от Полины, возвращался он уныло домой и поверял только деревьям то, что надлежало поверить своей любезной. Мы одним только можем извинить его: Полина сама избегала случаев быть с ним наедине, а всякое любезное объяснение, в присутствии самого лучшего друга, Бог знает почему, претрудное дело.

Впрочем, дела не могли пребыть все в таком состоянии, ибо весьма непристойным казалось, что шестнадцатилетняя девушка всякий день принимала посещения от двух молодых офицеров. Правда, они жили в такое время, в которое никто об этом не заботился, и когда новые законы супружества освящали много, что прежде показалось бы ужасным; но Полина сама чувствовала странность своего положения, ее деликатность возмущалась, и только одна совершенная беспомощность ее могла заглушить в ней голос девической стыдливости. К сему присоединился слух о спорном размене пленников, что, в самой вещи, могло вдруг весьма легко случиться. Тогда бы скорый отъезд испортил все планы Фрицевы, ибо из опытов известно, что девушку легче согласить тогда, когда ей обещаешь дать время хорошенько подумать о новом состоянии, в которое она вступает.

То же и Вильгельм ежедневно проповедовал своему другу, и Фриц уверен был в истине слов его, но ему недоставало смелости. Однажды вечером, идя назад в свое жилище, вдруг пришло Вильгельму в голову возбудить его чем-нибудь таким, что бы могло самого робкого любовника довести до отчаяния и воспламенить его мужество. «Ну, если ты своею медлительностию, — сказал Вильгельм, — оставляешь в опасности невинность и целомудрие твоей любезной? Ну, если толпа необузданных с каким-нибудь недостойным намерением, которое теперь нельзя предвидеть, но все опасаться можно, опять ворвется в жилище Полины? В первый раз удержало их ужасное зрелище бездушного трупа отца ее, но теперь что удержит их от преступления?».

Фриц остановился, посмотрел пристально на Вильгельма и вздрогнул.

— И кто поручится тебе, — продолжал Вильгельм, — что в сию самую минуту, когда мы здесь так спокойно гуляем...

— Ради Бога перестань! — вскричал Фриц с большою робостию. — Ты победил, вот рука моя! Клянусь Богом! Завтра все скажу Полине.

Вильгельм поверил клятве своего друга и обещал завтра, под предлогом болезни, остаться дома, чтобы дать ему совершенную свободу. Фриц побежал вперед, как будто какой мечтатель, воображал себя у ног своей любезной, искал слов для своей страсти и, наконец, нашел, что либо французский язык очень беден в выражениях, либо он слишком слаб во французском языке.

Не успели они прийти домой, не успел Вильгельм предаться сну, а Фриц своим любовным мечтаниям, как сильный стук послышался у дверей их, и скоро потом двери были отворены их хозяином; шаги нескольких человек загремели по ступеням, и команда гусаров вошла в горницу друзей наших. Вильгельм проснулся навскачь, протирает глаза и не знал, что с ним сделалось. Один офицер национальной гвардии, бывший прежде мясником, подошел к нему и сказал суровым голосом: «Число военнопленных до того умножилось в нашем маленьком городке, что замечены уже некоторые беспокойные движения, в предупреждение чего начальство почитает нужным переслать половину в ближний департамент; а как имя поручика Перльстата находится в моем реестре, то ему теперь же неотменно надобно за мною следовать!»

Фриц остолбенел. Вильгельм собрался с духом и представил пришедшему офицеру, что он его друг, и просил, чтобы, по крайней мере, их не разлучили и обоих переслали в назначенное место.

«Того-то и нельзя! Начальство намерено разорвать все сии подозрительные связи!» — перехватил офицер и просил быть попроворнее, ибо ему надлежало еще многим пленникам помочь встать с постели. — Вам надобно еще благодарить правительство, — продолжал он, — за то, что оно велит вывести вас ночью за городские ворота; иначе вам бы худо было от черни, которая всех иностранцев ненавидит!»

Вильгельм понял легко, что здесь всякое противуречие бесполезно. Фриц был слишком расстроен, чтобы для себя что-нибудь изготовить. Вильгельм собрал все малое имущество своего друга и шепнул ему на ухо: «Ободришь! Завтра я вместо тебя поговорю с Полиной!»

Безмолвно лежал Фриц в объятиях Вильгельма; окруженный гренадерами, в немой горести пошел он по пустым улицам и у ворот увидел собравшихся своих товарищей; погруженный в глубокую задумчивость, тащился он посреди их, и тогда только вздох облегчил его сердце, когда они в темноте ночи прошли мимо жилища Полины.

ГЛАВА XXXV

ЛИХОРАДКА

Печальная красавица равнодушно приняла известие о незапном лишении своего обожателя, ибо кроме того, что юноша, для которого любовница его составляет *все*, должен быть и для нее хотя *чем-нибудь*, Полина очень любила Фрица, и Бог знает, что бы вышло из этого чувства, которому она без малейшей недоверчивости предавалась, когда бы присутствие Вильгельмова, неизвестным и для него, и для нее образом, не ослабляло ее привязанности к его другу.

Сожаление Полины о разлуке с Фрицем было больше участием в горести Вильгельмовой, и мы должны признаться, что с сим чувством смешивалась некоторая тайная, ей самой неизвестная радость, ибо она уже могла вперед обходиться с Вильгельмом свободнее без такого неусыпного свидетеля, каков обыкновенно бывает любовник.

С ребяческою непринужденностию брала она руку Вильгельма во время своих с ним прогулок, или прижималась к нему ближе, когда дул холодный осенний ветер, или позволяла ему переносить себя на руках через ручей, разлившийся от дождя, или вырывала из рук его стакан с холодною водою, когда он был разгорячен от жару и хотел пить; короче сказать, она невольным образом признавалась ему в невинной своей склонности, и раздающаяся любовь придавала милому лицу ее такие прелести, что ему надлежало вооружиться всею пламенною любовью к Лизе и всем дружеством к Фрицу, чтобы не заснуть опасным сном на цветах, которые для него расстилали.

Может быть, никогда еще не было для него сильнейшего испытания. Он знал человеческое сердце больше, нежели Полина, осмелился разобрать свои чувства и не мог сокрыть от себя, что невинность и прелести милой девушки сильно его привлекали. Он содрогнулся и положил, дабы скорее избегнуть от грозящей опасности, при первом случае открыть ей любовь Фрицеву.

Он не смотрел на то, что Полина всегда или убегала таких разговоров, или их перерывала, и сказал ей прямо, что в ее воле состоит сделать счастливым его друга, а с ним вместе и его самого. «*Разве я люблю его?*» — отвечала Полина и, покраснев, потупила вниз черные глаза свои. — «*Разве я его люблю?*» — повторила она, пылая, устремив на счастливейшего предстателя трогательный, выразительный взор и давая ему почувствовать то, чего он сам не смел чувствовать. Одним словом, Вильгельм должен был довольствоваться двусмысленным обещанием, что она предоставляет времени все обнаружить, что она сама признается ему откровенно тогда, когда почувствует к Фрицу что-нибудь более, нежели дружба.

Но его отдаление и присутствие Вильгельмово не могли сделать такого счастливого оборота; но для чего же последний не удалился тогда, когда очень ясно видел, что его пребывание могло быть опасно для любезной его друга? Софизмы самолюбия воспрепятствовали ему это делать. «Она всеми покинута, — думал он, — не иметь другого защитника, кроме меня. Я не смею оставить ее на волю непостоянного случая! К тому ж выгоды моего друга! Они требуют, чтобы я еще учащал свои посещения и беспрестанно говорил ей о его достоинствах и таким образом мало-помалу воспламенял ее сердце!»

Все бы это было хорошо, когда бы он ей, по крайней мере, сказал, что он женат, а может быть, уже и отец теперь. Но мы должны здесь признаться в одной слабости нашего героя, — слабости, которая досталась ему в удел, общий с большею частию его пола. Хотя он и не мог иметь никакого права на любовь Полины, но все она льстила его самолюбию, и признание час от часу становилось для него труднее; часто оно готово было сорваться с языка его, но один взор Полины, с нежностью на него устремленный, останавливал его — и он молчал; и хотя он и не старался питать сей возрождающейся страсти, но все был изменником против любви и дружбы, ибо не старался истреблять ее. Я не осмеюсь его оправдывать в глазах читателя; он виновен, весьма виновен, потому что позволил самолюбию управлять собою.

Но он и сам не осмеливался оправдываться перед своею совестью, он сам мучил себя жесточайшими выговорами и каждый день безуспешно рещался во всем открыться! Я не знаю, что бы с ним, наконец, сделалось, когда бы ангел-хранитель его не поспешил заранее к нему на помощь.

Одним вечером, возвратясь в глубокой задумчивости на свою квартиру, нашел он на столе своем письмо от Лизы. Он покраснел, прижал милые знакомые черты к губам своим и поспешно распечатал письмо. Она уведомляла его о благополучном своем разрешении от бремени, описывала милого своего ребенка, матерние свои радости⁵⁶, пламенное желание его увидеть, и это все с такою сердечною нежностью; во всем письме не видно было ни малейшего подозрения; всюду изображена была истинная доверенность, которая и самую мысль о возможной неверности отвергала! Га! Это сильно подействовало на благородное сердце ослепленного; слеза выкатилась из глаз его; он поклялся Богом и совестью завтра с письмом в руках явиться к Полине и все открыть ей.

И он бы сдержал свое слово, но капризная судьба хотела еще крепче стянуть сплетенный ее узел, ибо Вильгельм, проснувшись рано поутру, почувствовал лихорадочную дрожь в своих жилах. Сперва он не обратил на сие никакого внимания, хотел встать и одеться; но едва оставил

свою постелю, как болезнь его усилилась, и жестокая дрожь принудила его опять лечь.

В городке был только один лекарь, который, как будто нарочно вступив в союз с Вильгельмовою нетерпеливостью, еще увеличил болезнь его, и в пятый уже день наш страдалец чувствовал себя так ослабевшим от великого множества лекарьств, что перестал надеяться когда-либо увидеть свое отечество.

Полина, прождавши несколько дней понапрасну своего друга, послала в город одного деревенского мальчика о нем осведомиться. Известие о опасности, в которой находился тайный любимец ее сердца, устранило ее до крайности. Сто раз намеревалась она бежать к нему, и сто раз удерживала ее девическая стыдливость. Тут почувствовала она и в первый раз призналась самой себе, что Вильгельм ей любезен и что только от него жизнь стала ей приятна. Каждый день по несколько раз должен был ходить мальчик в город осведомляться. Нетерпеливость, с какою она ожидала его возвращения, робость и участие, с каким она его расспрашивала, были ясными доказательствами воспламеняющейся страсти.

Вильгельмова болезнь, не будучи опасною, сделалась продолжительною. Скоро она прошла, но он остался после нее чрезвычайно слабым. Хотя через несколько недель и мог он уже ходить по горнице, но все был еще слишком слаб, чтобы ходить долго или выйти на холодный осенний воздух. Между тем давал он своей беспокоящейся приятельнице самые ободрительные известия о состоянии своего здоровья и так привык к маленькому ее посланнику, что обыкновенно в то время, когда ему прийти надлежало, стоял у окна и ждал его с нетерпением.

Вдруг мальчик перестал ходить: не показывался ни утром, ни вечером. Это удивило Вильгельма в первый день, обеспокоило на другой, устранило в третий, и в четвертый было уже ему невозможно долее остаться в такой мучительной неизвестности. Он набросил на плечи свой сюртук и пошел, опираясь костью, по знакомой дороге.

Сердце его забилося, как скоро издали увидел он жилище Полины; но с ним был талисман его — письмо Лизы, и одно только участие дружбы было причиною сего робкого трепетания его сердца. Ожидание удвоило его силы. Он приблизился к воротам, прошел через пустой двор, задыхаясь, взобрался на лестницу; все двери были открыты, но все горницы были пусты. Нет и признаков Полины, ни одно живое существо не показывалось.

«Может статься, — подумал он, — что-нибудь понудило ее скрыться в подземелье». Он осмелился без огня сойти в погреб и старался, ощупывая руками, найти в стене то место, где фальшивые камни закрывали вход в подземелье. Он нашел его, наконец, и шепнул сперва тихо,

потом громче, еще громче: «*Полина, я здесь, я! Вильгельм, друг ваш!*» — Напрасно! Все мертво и тихо.

«Может быть, — подумал он еще, — уединение опять склонило ее к мечтательности; может быть, она в гроте». С большим трудом мог он найти в потемках дорогу к выходу. Пришел в сад, добрался кое-как через обнаженную и увядшую рощу к подъемному мостику, взглянул в грот — все пусто, всюду мрак и запустение.

«Боже мой! — вскричал он. — Что случилось с сим несчастным, беззащитным творением!» Он бродил через силу туда и сюда, зашел в эрмитаж, не забыл и развалин башни, по которым лазил, повторяя имя Полины — все тщетно!

Иногда обманывало его трепетание волн, иногда шум, произведенный кроликом в кустарнике; всегда надеялся он встретить Полину — и всегда обольщала его надежда, и силы его час от часу истощевались. Наконец, уставши до крайности, бросился он под березу, которая росла на дворе, и сидел долго без всякого размышления в тени ее. «Неужели нет никого, кто бы мог меня о ней уведомить! Когда бы попался мне хотя мальчик, ее посланный!» — Напрасно! Желание его не исполнилось, и наступивший вечер принудил его, наконец, идти назад в город, без всякого утешительного известия.

С унылым предчувствием и горестными мыслями о отчаянии своего друга, приближался он, потупив голову, к городским воротам, как вдруг крестьянский мальчик, распевая: «*allons enfants de la patrie*», встретился с ним и вывел его из задумчивости: он взглянул — это был маленький посол Полины.

— О! — закричал Вильгельм. — Куда девалась эта госпожа, которая тебя ко мне всякий день посылала?

— Не знаю, — отвечал мальчик весьма равнодушно. — За три дни перед этим она по обыкновению приказала мне прийти на другое утро; я пришел, но ее уже не было; я не нашел ни одной души во всем доме!

Больше от него нельзя было ничего выведать, ибо он сам не знал ничего больше. Вильгельм потащился печально в город, а мальчик, запевши опять марш свой, пошел своей дорогой.

ГЛАВА XXXVI

ПОЖАР

Незапный побег Полины так сильно подействовал на Вильгельма, что он стал еще нездоровее прежнего и, может быть, опять занемог бы

опасно, когда бы стал думать о самом себе и послушался своего доктора, который советовал ему лечь в постелю, ибо нигде так скоро не занеможешь, как в постели. Но он позабыл о себе, жаловался только на судьбу своей Полины и бродил по всем дорогам и окрестностям, чтобы где-нибудь и как-нибудь узнать об ней. Таким образом, свежий воздух и беспрестанное движение, вопреки доктору, вылечили его совершенно.

Но его совесть страдала. К настоящей вине своей придумал он и другую, которая не менее обременяла сердце. Не нашедши никакой причины к побегу Полины, вздумал он, что она *сокрылась* для того, чтобы в разлуке с нами дать времени вылечить рану, которой, судя по его холодности, любовь излечить не могла.

Ах! Если бы он прежде сказал ей, что он женат, то бы никогда этого не случилось! Когда странник, в незнакомом ему месте, приблизится к мрачному лесу и найдет дорогу, то идет с осторожностью по ней далее; также и тропинка может обольстить его. Если ж нигде не видит он ни дороги, ни тропинки, то возвращается назад. Так и в лабиринте любви: дорога Гименея⁵⁷ выводит из него странствующего, но если она скрыта, то какой-нибудь Вертер⁵⁸ прокладывает себе новую непозволительную тропинку; скромная же девушка возвращается назад и убегает, не слушая обольстительных песней привлекающего ее купидона. Конечно, Полина сражалась с своею страстию; конечно, была бы она уже давно невестою его друга, когда бы ребяческое самолюбие... А! Как он стыдится и краснеет сам своей совести! И в самом деле, самая худая краска та, которая покрывает щеки наши без свидетелей!

Где же оставалось ему наведываться о Полине? Кого о ней расспрашивать? К тому ж это самое могло бы возбудить подозрение! Все шаги пленников, слова их, разговоры — всё, всё было замечаяемо. Полина была из фамилии роялистов. Его участие могло бы быть растолковано в худую сторону; стали бы думать о какой-нибудь тайной связи, а всякая тайная связь в тогдaшнее время почиталась заговором. Итак, ему можно было только изредка спрашивать о Полине и то как будто без намерения или какими-нибудь сторонними путями идти к своей цели, но все ответы, которые он получал таким образом, ничего ему не объясняли, и он принужден был ждать объяснения от случая.

Для того, чтобы встретить такой случай, бродил он с утра до вечера по окружным местам и изредка посещал жилище Полины, в котором всегда находил пустоту и безмолвие.

Однажды вечером, проходя через одну деревню домой в город, услышал он вдруг позади себя крик: «*Пожар! Пожар!*»

Он оборотился и увидел один крестьянский дом, объятый пламенем, которое было так сильно, что прежде, нежели Вильгельм подо-

спел туда, уже загорелись и соседние дома. Поселяне сбегались со всех сторон, спасали то, что спасти было можно, и Вильгельм помогал им вытаскивать все, что попадалось ему в руки, и когда подхватывал он целый сундук, которого бы не поднял, когда бы страх не придавал ему силы, то наполнял водою ведро и помогал тушить. Пожар, который беспрестанно усиливался — пламя развивалось, всюду слышался крик и стон — и звон колокола мешался с шумом и криком.

Вдруг жалобный вопль поразил слух Вильгельмов. Он протерся к тому месту, откуда он слышался, и увидел молодую женщину, которая в отчаянии билась и валялась по земле. Она была на поле и работала тогда, как начался пожар; увидев это, бросилась она опростелю в деревню и нашла хижину свою всю в огне. В ней оставила она грудного младенца в колыбели, а подле колыбели осмилетнего мальчика, чтобы качать спящую сестру свою; обоих нигде не было. Пламя заграждало вход в хижину, крышка грозила падением.

Бедная мать была в неопisanном отчаянии; рвала на себе волосы и кричала жалобным, раздирающим сердце голосом: *«Дети мои! Дети мои! Мой Антон, моя Полина!»* Вильгельм не мог долее сносить сего зрелища: без размышления, ибо самое малейшее размышление удержало бы его от сего предприятия, бросился он в пламя.

Все окружавшие его содрогнулись. Мать поднялась на колена и простерла руки к небу; она не могла произнести ни одного слова. Она только стонала, и Бог услышал стон матери! С плачущим ребенком в одной руке и с спящим малюткой на другой возвратился избавитель через минуту назад и повалился, почти задохшись от дыму и жару, в ногах матери.

Радость ее обратилась почти в безумство: она с неопisanною нежностью целовала детей своих и прижимала их к сердцу; смеялась, плакала, молилась; то обнимала колена Вильгельмовы, обливала их слезами, благословляла его; то подымала младенца своего кверху, приказывала мальчику сжать ручонки и говорила: *«Молитесь, молитесь за своего благодетеля!»* Старики стояли вокруг них, с наполненными слез глазами; они с почтением сняли шляпы свои, когда Вильгельм опять опамятавался и поднял голову, и смотрели на него, как будто на божество благотворящее.

Пламя было утушено, никто не лишился в нем жизни, и Вильгельм был один, которому больше всех досталось и который лежал на одном месте в весьма худом положении, будучи не в состоянии идти домой в город. *«Добрый незнакомец, — сказала молодая женщина, — я с охотою предложила бы тебе свою хижину, но у меня нет больше хижины!»* *«Ко мне, ко мне!»* — раздавалось отсюда; всякий спорил о чести угостить

неизвестного господина, который так великодушно подвергал опасности жизнь свою. Один старик, наконец, получил это преимущество, ибо дом его был самый ближний. Вильгельма подняли осторожно, отнесли в избу, положили на кровать и принесли ему все, что могло способствовать для его облегчения и подкрепления сил его.

Благородная мать целую ночь не отходила от его постели. С младенцем у груди сидела она подле страждущего и втайне воссылала молитвы к небу о его выздоровлении. Он заснул скоро и на другое утро проснулся подкрепленный и гораздо в лучшем состоянии, нежели как был накануне.

Радостно пробуждение, когда первая мысль есть воспоминание о добром деле! Счастливая мать сидела подле него и, улыбаясь, с нежностью смотрела на избавителя детей своих. Она подала ему свою маленькую Полину, как будто хотела сказать: «Посмотри на это невинное творение; оно погибло бы без твоей помощи!» Милое имя *Полина* пробудило в нем приятные воспоминания, а может быть, и вчера, когда мать произносила его с горестными воплями, помогло ему исполнить смелое свое предприятие.

Теперь узнал он, что муж молодой женщины и брат ее служили в национальной гвардии, что они недавно куда-то откомандированы, что их со дня на день ожидали, и что они, обеднев от пожара, больше всего станут сожалеть о том, что им нельзя будет ничем доказать своей признательности своему благодетелю.

Вильгельм, благодаря попечениям новых друзей своих, скоро совсем оправился и мог уже оставить своего добросердечного хозяина. Все благословляли его. Молодая мать проводила его из деревни, хотела поцеловать его руку и просила не забывать ее и всякий раз, когда он пойдет мимо деревни, зайти к ней позавтракать или хотя посидеть минуту.

Он обещал скоро посетить ее, пожал с добродушием ее руку и с сладостным чувством доброго дела в душе своей пошел весело домой.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕЙ КНИЖКИ

КНИЖКА ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА XXXVII

ПАСПОРТ

Между тем как все сие происходило на шумном театре вольности, натура освободила из темницы маленького пленника, который уже

давно ждал своего разрешения. Лиза родила мальчика, я бы сказал, прекрасного, как майский день, когда бы все майские дни были прекрасны — итак, какое-нибудь другое сравнение: маленький Вильгельм был столь же мил и прекрасен, сколько милым и прекрасным почитает всякая мать своего первенца. Лиза, по обыкновению матерей, открыла уже в первые четырнадцать дней, что он очень умен; она одна замечала, что он уже умел улыбаться; она одна находила в маленьком его носике некоторое сходство с орлиным носом своего супруга и, наконец, уверяла всех, что он уже ее знает и протягивает к ней ручонки — одним словом, этот ребенок был осьмое чудо света.

Известие о плене Вильгельмовом уменьшило радость ее при рождении сына. Правда, утешало ее то, что уже ни пули, ни сабли не грозили ему смертью и что она уже без страха могла читать о происходящих сражениях, но разве не был он окружен тысячами опасностей, которых, может быть, труднее избегнуть, нежели гренадирского штыка на открытом поле? Разве не был он в такой земле, в которой малейшее подозрение было уже преступлением, в которой народ сам *судил* и сам *наказывал*? Но если он и известен своею предусмотрительностью от неусыпного подозрения, то разве не может он сделаться больным? Перемена климата, скука, горесть — все это легко изнурит его, он сляжет в постель, и тогда кто станет пещись о нем? Кто будет за ним ходить? Кто подаст ему лекарство в надлежащее время? Заплаченный наемник, который бы охотно желал уморить его, чтобы похитить все имущество иностранца! Разве нет у него супруги, которую любовь и должность к нему призывают? Путешествие опасно, но любовь страшится ли опасностей? Путешествие сопряжено с великими трудностями и препятствиями! Любовь не знает ни трудностей, ни препятствий! Но мать должна покинуть милое дитя свое. А! Это всего тяжелее? Прелестное, невинное творение так ей дорого, почти так же, как и отец его! Ее сердце колеблется и наконец склоняется *к нему*, — *к нему*, который своею неограниченною любовию получил право на всякое пожертвование.

Лиза оставила дитя свое у одной пасторской вдовы, своей приятельницы и соседки, и приставила к нему кормилицу, женщину добрую, которая любила младенца, как своего собственного. Минута разлуки была ужасна, но Лиза победила все и покорилась священнойшей должности; не взяв никого с собою, кроме верного Петра, поехала она в путь свой и скоро счастливо прибыла в Париж, который тогда был театром злодейств Робеспьеровых⁵⁹.

Она для предосторожности притворилась бедною, и Петр, в самой вещи, был точный *sanculotte*⁶⁰. Такая маска была ей выгодна тем, что ее никто не заметил. До сих пор покровительствующий гений защищал

ее, но вдруг явились затруднения, которых молодой, неопытной женщине превозмочь почти невозможно; несколько недель жила она уже в Париже и не могла еще узнать, к кому адресоваться для получения паспорта, с которым бы безопасно проехать во внутренность Франции. Ее отсылали из одной конторы в другую и нигде не обходились с ней с должным ее полу отличением. Там какой-нибудь портной вздергивал перед нею нос, тут парикмахер с трехцветным поясом⁶¹ подшучивал над нею; здесь осмеивает ее секретарь, там придирался к ней писарь. Те, которые были расположены получше, советовали ей остеречься, чтобы своею неотступностию не возбудить подозрения, и всегда откладывали до завтрава.

Пускай читатель сам вообразит, каково положение молодой беззащитной женщины, которая одна в большом вертепе убийств, не видя опасностей, ей угрожающих, бродит из одного судилища в другое, не зная ни форм, ни порядку, которые при том наблюдать должно, и не находит посреди миллиона эгоистов ни одного доброго человека, который бы наставил ее; которая с пламенным нетерпением хочет соединиться с своим супругом, всякое утро оставляет жилище свое с надеждою: *нынче получу желаемое*, и всякий вечер возвращается домой с унынием и горестию в душе своей. Таково положение Лизы; так прошло для нее несколько недель. Надежда, беспрестанно обманываемая, начала уступать место отчаянию в растерзанном ее сердце.

Однажды утром, исходив по-пустому по всем парижским улицам и по всем конторам и присутственным местам и не нашедши нигде человеколюбия под красными шапками⁶², уединилась она в Тульерийский сад⁶³, села там на скамейку и, не обращая внимания на мимо ходящих, плакала горькими слезами. Некоторые останавливались, осматривали ее с ног до головы; другие проходили мимо, весьма хладнокровно, как будто привыкши к зрелищу слез и горести, и никто не спросил: *«Бедная женщина! Что с тобою сделалось?»*

Тут вдруг явилась в алее прекрасная, одетая по-гречески дама⁶⁴. Лиза ее не заметила, но она посмотрела на нее с участием, и хотя не подошла к ней, но оборачивалась несколько раз на нее назад. Прошедши немного далее, она повернулась, опять прошла мимо плачущей и шепнула ей украдкой на ухо: «Не плачь, моя милая, слезы здесь преступление».

Лиза подняла голову и могла только увидеть профиль прелестной незнакомки, но черты лица сего были так приятны, в них изображалось такое добросердечие, что сердце несчастной мгновенно исполнилось доверенностию. Она вскочила, приблизилась к незнакомке и сказала ей с робостию: «Ах, сударыня, жальтесь над бедною, беспомощною иностранкой!»

Красавица оборотилась торопливо и сказала с скоростию: «Не здесь, не здесь! Приходите вечером на улицу св. Ганория и спросите в доме под № 27 Терезу Кабарро!»

Грация исчезла, но слова ее крепко запечатлелись в памяти Лизы; с нетерпением ожидала она вечера, надежда придала ей крылья, с доверенностию предстала она перед любезную Терезу.

«Извините, сударыня, — сказала красавица, — извините, что давешним утром поступила я с вами несколько грубо; вы не знаете, сколь опасно здесь принимать участие в несчастиях других. Теперь мы одни; скажите, что вам надобно: ваш вид и горесть, изображенная в ваших взорах, заставляют меня желать сделаться вам полезною: я имею небольшой кредит; говорите, ничего не опасаясь!»

А! Такой голос, такое милое, пленяющее добродушие давно сделались чуждыми Лизе. Она залилась слезами, но это были слезы унылой радости. Ее история, рассказанная без всякого искусства, тронула Терезу; она оставила у себя ужинать несчастную, которая так ее интересовала, и села за письменный столик, чтобы написать билетец. Потом разговаривала она с своею посетительницею непринужденно и весело и всячески остерегалась в разговорах своих тронуть такую струну, которой отзыв был бы не самый приятный. Лиза, оживотворенная новою надеждой, почти позабыла свои прошедшие горести. Час ужина приближился, сели за стол, и когда Лиза подняла свою салфетку, то паспорт лежал на тарелке.

ГЛАВА XXXVIII ФРАНЦУЗСКИЙ МЭР

Сердечными благословениями осыпала счастливая странница свою благодетельницу, когда парижские барьеры за нею затворились; погруженная в сладостные мечты, прижалась она в угол своей кареты; веселые ландшафты неприметно мелькали мимо ее, между тем как Петр спокойно завтракал на козлах. Нигде не было задержки; хотя Лиза и принуждена была раз двадцать на день вынимать свой паспорт, но всюду отдавали его ей с косыми взглядами назад, ибо и самый цепкий крючок не мог найти в нем ничего такого, к чему бы привязаться.

Нетерпеливая супруга, увлекаемая пламенною любовью, не позволяла себе ни малейшего замедления, ни малейшего отдыха; уже три дни, как была она в дороге, и почти ни разу сон не смыкал глаз ее. Тут вдруг представился ей довольно знатный город, в котором она реши-

лась пробыть до другого утра, чтобы несколько подкрепить ослабевшие свои силы.

Въехавши в ворота, слышала она шум в ближних улицах; сперва она не обращала на сие никакого внимания, но, приблизившись к площади, увидела она множество стекающегося вместе народу. Она оробела, ибо все, что она ни слышала и ни читала о буйстве народном, вдруг оживилось в ее воображении.

В недобрый час въехала она в этот город. Не нужно сказывать, как началось сие смятение. Чернь подобна песку в пустыне, который сперва подымается от дуновения ветерка, веется тихо, потом сильнее, сильнее и вдруг обращается в страшный вихревый столб, крутится, вырывает с корнем деревья, все рушит и опровергает.

Верно, опять какой-нибудь якобинец подстрекнул бедных поденщиков и дневных плутов своею системою о равенстве состояний, а сии возмутили чернь, которая тотчас с слепым бешенством умертвила несколько богатых людей для того, чтобы разделить между собою их богатства.

В самое то время, когда Лиза въехала в город, народ увеселялся слишком обыкновенным в ту пору зрелищем *кровавых тик*. Карета попала в такую тесноту, что ни вперед, ни назад не могла подвинуться и должна была остановиться. Лиза ужаснулась и побледнела, когда еще издали завидела странную процессию, в которой, вместо священных образов и знамен, несли отрубленные и окровавленные головы на пиках.

Петр сидел и смотрел, разиня рот и выпуча глаза. По несчастию, на высоких козлах своих был он, против воли своей, заметнее всех. Когда приближалась беснующаяся толпа, то вздумалось одному из шедших в процессии уткнуть безобразную голову ему под нос и закричать, чтоб он ее поцеловал. Петр не понимал по-французски, следовательно, не знал, чего от него требовали, и натуральное отвращение заставило его схватить окровавленную голову обеими руками и оттолкнуть от себя, но чем больше показывал он отвращения, чем сильнее старался чистым немецким языком декламировать против насилия, тем в большее бешенство приходил народ, тем неотступнее принуждал его криком своим *повиноваться*.

Лиза упала в обморок. Верного слугу ее сдернули с козел, били, таскали, и Бог знает, что бы с ним сделалось, когда бы внимание черни от слуги не обратилось к госпоже. «Сюда, сюда! — закричал один ослеплый голос, — здесь немка, она не любит крови роялистов». Карету разломали, бесчувственную Лизу вытащили вон, стали обыскивать ее карманы, похитили ее деньги, вынули ее паспорт, изорвали его и разбро-

сали куски его по воздуху. Уже тысячи голосов произносили в страшных воплях смертный приговор ее, уже один изверг вызывался с дубиною в руке заступить место палача, как вдруг молодой человек, из себя видный, протерся в толпу с отрядом национальной гвардии, именем законов повелел утихнуть и освободил бедную жертву. Чернь рассеялась с ропотом.

Когда Лиза пришла в чувство, то увидела себя окруженною солдатами на руках юноши, который смотрел на нее с удовольствием. Он назвался мэром города и сказал с почтительностью: «Ободритесь, сударыня, опасность прошла; пожалуйста на время ко мне в дом, я и жена моя всеми силами будем стараться прогнать худые мысли, которые вы, конечно, получили о нашем городе!»

Слово *жена* успокоило Лизу; она с благодарностию приняла его предложение; он посадил ее в карету, которую окружили солдаты, и сам пошел за ней пешком. Бедный избитый Петр был не в состоянии сидеть на козлах; два гренадира вели его под руки. Наконец он понял, чего от него требовали, и сквозь слезы жаловался на проклятую выдумку. «Я, — говорил он проводникам своим, — отроду не целовал и девок, а они хотят, чтобы я поцеловал отрубленную голову. Гм! Гм! Я не за тем приехал в вашу землю!» Солдаты смотрели на него и смеялись, ибо не понимали, что он говорил им. Это известная, но и самим Кантом не истолкованная странность, что необразованный человек *смеется* тогда, когда чего не понимает. Жена мэрова приняла избавленную незнакомку с любезным дружелюбием. Ей отвели спокойную горницу, снабженную всем необходимым; поставили ей на стол множество прохладений, просили всего покушать, и когда она сказала, что ей нужно было одно успокоение, то оставили ее одну.

Прежде всего, принесла она от чистого сердца благодарение Богу за свое избавление, потом бросилась на постелю, заснула крепким сном и пробудилась ввечеру, подкрепленная новыми силами. Не успела она протереть глаз, как хозяйка дому отдернула занавес ее кровати, с дружескою улыбкою спросила ее о здоровье и пригласила ее отужинать вместе с ее семейством!

Лиза явилась в полном сиянии красоты своей. Румянец, который от страха побледнел на щеках ее, пылал на них опять, живительный сон подкрепил ее силы, и прелестные мечты о скором свидании с своим любезным придавали ей некоторую привлекательную живость, и глаза ее наполнялись кротким пламенем; всякий удивлялся ей, все окружали ее; все старались сказать ей что-нибудь лестное, и пред всеми преимущественно выказывался Равильон (имя мэра), который больше всех ею занимался и тщился предупреждать ее малейшие желания.

Лиза, конечно бы, забылась посреди сих добрых людей, когда бы желание увидеть Вильгельма не было сильнее желания успокоиться; вставши из-за стола, попросила она своего избавителя послать за почтовыми лошадьми, чтобы уехать в ту же самую ночь. Просьба сия, казалось, несколько его смешала; он представил ей, запинаясь, что ей непременно должно успокоиться; подозвал лекаря, бывшего тут же с ними, чтобы подтвердить его мнение, и когда все сие не могло остановить нетерпеливой супруги, то упомянул о опасностях, которым она подвергнулась, ибо чернь еще не совсем успокоилась; но все тщетно! Лиза неотменно хотела тотчас без всякой остановки ехать.

Равильон должен был, наконец, уступить ей и просил ее паспорта, чтобы по своей должности рассмотреть его. Лиза тотчас опустила руку в карман, но сколько велик был ее ужас, когда в нем не нашла она ни паспорта, ни денег и должна была безо всего вынуть свою руку. «Ах, Боже! — вскричала она, побледнев как смерть, — ах, Боже!» Больше не могла она ничего выговорить — ее колена подогнулись; она принуждена была сесть.

Мэр, казалось, принял известие о сем незапном случае с притворным сожалением, некоторая тайная радость изображалась в его взорах. Он утешал бедную Лизу, которая сидела в крайнем унынии на одном месте, устремив неподвижно глаза вниз, и взялся немедленно отписать в Париж и выхлопотать ей новый паспорт. И деньгами также обещал он снабдить ее, и почитал себя счастливым, что мог быть ей полезным! Он просил ее, чтобы она во все это время была в доме его, как в своем, и между тем своими письмами предувредила Вильгельма о скором своем прибытии.

Лиза слушала его в безмолвной горести и могла благодарить только знаками; предложения, в самой вещи, были лестные, лучшего нельзя было ожидать в таком критическом положении, и так она уступила угнетающей необходимости и со слезами просила мэра поспешить своею помощью.

Он повторил свои утешительные обещания, дал слово еще тем же вечером отправить курьера и предписал своим домашним, чтобы они обходились с Лизою сколько можно почтительнее: «Следуйте мне! — говорил он, — я буду вам примером!»

К сожалению, он только в этом случае и сдержал свое слово. Равильон был из числа таких слабых людей, которых всякая новая прелесть совершенно поработала. Он имел любезную супругу, с которою до своего с нею соединения играл он продолжительный роман. Он еще любил ее, сердце его принадлежало ей, но уже его чувствительности она не могла более воспламенять. Часто втайне проливала она слезы, а

иногда делала кроткие выговоры непостоянному, который их чувствовал, но в котором они не производили другого действия, как только разве заставляли его быть осторожнее в своих интригах. Если когда он бывал пойман, то бросался к ногам своей супруги, обнимал ее колена, плакал, называл себя негодным, развратным человеком и не понимал, как, имея такую милую жену, мог он еще заниматься чужими прелестями, одним словом, он всегда выплакивал себе прощение.

Тут обыкновенно бывал промежуток из двух, трех и более месяцев, в которые жена бывала им, а он сам собою доволен, ибо всегда при подобных катастрофах решался он весьма сурьезно исправиться и позабывал свою решимость, как скоро встречался с какою-нибудь новою красавицею. Одним словом, он похож был на магнитную стрелку, которая неподвижно бывает обращена к своему полюсу до тех пор, покуда другой, сильнейший магнит, ее к себе не притянет.

Лиза явилась в самое то время, когда было перемирие между обоими супругами, когда Равильон уже около четырех или шести недель был постоянным мужем и при последнем своем прегрешении клятвенно обещался никогда не грешить более. Кто ж мог предвидеть, что такая женщина, какова Лиза, ему на глаза попадетя; видно, сама судьба хотела подшутить над ним и опрокинуть все его предприятия. Когда он избавил Лизу от бешенства черни, когда она без дыхания лежала на руках его и полуобнаженная грудь ее трепетала на его сердце, когда лилейная щека ее была прижата к его щеке и он слышал ее дыхание, то скажите, скажите, кто бы на его месте устоять мог! Все клятвы его забылись; его услужливость, его гостеприимство и человеколюбие проистекали из одного и того же источника. Опытная супруга его при самом начале все заметила; ее так часто оправдываемое подозрение пробудилось; она трепетала и скрывала страх свой, ибо кроткое сердце ее не хотело мстить несчастной иностранке за ветренность непостоянного.

Сперва утешала она себя скорым отъездом Лизы, но когда узнала она о потере паспорта, когда заметила тайную радость на лице своего супруга и принуждена была согласиться держать в доме своем опасную свою соперницу, то ей не осталось ни на что другое надеяться, как на характер незнакомки, которой вид и скромность уверяли ее, что все происки мужа ее останутся тщетны.

Она и не ошиблась. Долго не замечала Лиза действия своих прелестей в сердце Равильономом, но когда она в том уверилась, то огорчилась до чрезвычайности. Положение ее было тягостнее, чем когда-либо! Что делать: осыпать укоризнами того человека, который спас ее жизнь и принял ее в дом свой? Но он еще не открылся в любви своей; только взоры его говорили, только движения его изменяли ему. Могло статься,

что он сражался сам с собою, искал истребить рождающуюся страсть свою, и в таком случае достоин он был не укоризны, а сожаления. Как охотно бы она скорым бегством своим поспешила на помощь к борющейся его добродетели, но куда бежать без паспорта и денег?

Открыться ли ей своей любезной хозяйке, но, может быть, она ничего не замечает; для чего же лишить спокойствия сердце супруги и в благодарность за ее любовь вонзить кинжал в грудь ее? Нет, она решилась лучше молчать, скрыла страх свой, утаила свою горесть и вознамерилась навсегда убежать сообщества своего хозяина и в уединении ожидать своего паспорта. Она сказала, как будто без намерения, что привыкла спать долго, до самого полудня, и ложиться в постель рано. Таким образом, большую часть дня могла она быть свободна от докучливости влюбленного, но робкого Равильона. После обеда обыкновенно или головная боль мешала ей выйти, или она писала письма к Вильгельму, или брала под руку свою хозяйку и ходила с нею в сад, или, наконец, и сам Равильон по делам своим отлучался из дому. Таким образом, редко имел он свободную минуту заниматься своею любовью.

Конечно, Лиза нашла весьма действительное средство *отдалять* от себя Равильона, но *истребить* страсти его таким средством было невозможно, ибо сии вечные препятствия только что ее воспаляли и часто доводили до отчаяния. Он выискивал разные причины, чтобы продлить пребывание Лизы в своем доме, и надеялся со временем удовлетворить своим желаниям.

Для произведения в действо своего плана употребил он не самое невинное средство. Месяц прошел, новый паспорт, в самой вещи, был прислан из Парижа, но Равильон умолчал о нем. Восемь писем написала между тем Лиза к своему Вильгельму, но Равильон не послал их и некоторым образом утешался горестию супруги, которая из молчания своего любезного заключала для себя нечто неприятное. Он взял на себя разведывать о месте пребывания Вильгельмова, но это только для того, чтобы приносить ей двусмысленные и самые неудовлетворительные известия. То возбуждал он в ней подозрение о смерти ее супруга, то рассказывал, что один пленный офицер, который точно был сходен с ее описанием, женился на какой-то богатой наследнице и тому подобное.

Что ж касается до паспорта, то ему было еще легче обмануть ее, ибо что может быть натуральнее того, что в революционных смятениях, царствовавших тогда в Париже, позабыли о такой малости, а Тереза и Вильгельм молчали по одной и той же причине.

Бедная Лиза, разлученная со всем, что ей любезно и драгоценно, трепещущая о жизни своего супруга, своего младенца, часто проливала горькие слезы в своей уединенной горнице. Когда же наконец Рави-

льон мало-помалу совершенно сложил с себя маску, когда сделался он неотступнее и она принуждена была слышать многое, не совсем для нее приятное, то горсть ее достигла высочайшей своей степени.

Она старалась то суровостию, то шуткою, то строгостию, то кротостию привести его в себя и заставить вспомнить свои должности, но тщетно: он не трогался ее слезами, не слышал ее представлений, не примечал горести своей супруги. Он начал говорить с нею о смерти Вильгельмовой, старался знакомить Лизу с этою ужасною мыслию и намекал, что ему нетрудно будет, при теперешнем положении дел во Франции, развестись с своею женою; он упоминал также о своем богатстве, своем чине, своем образе жизни и, словом, не оставил ничего такого, чем бы можно было поколебать верность Лизы.

Не нужно, кажется, сказывать, что все его усилия остались тщетны. Сердце Лизино было чисто, никогда чувства ее не помрачались ничем, ее недостойным; самая достоверность в Вильгельмовой смерти не заставила бы ее переменить образа своих мыслей! Но это ей не помогало! Она зависела от человека, который, по-видимому, не утратился бы и преступления, когда бы сие преступление могло привести его к желаемой цели, ибо он уже начинал угрожать ей, и если бы страсть понудила его произвести в действие свои угрозы — ах! Кто заступился бы тогда за несчастную!

ГЛАВА XXXIX

ДОБРЫЙ ТОМАС

Счастлив Вильгельм, что ты не мог вообразить себе мученья бедной своей Лизы. Ты льстился, что она живет спокойно в своем уединении с милым младенцем на руках; ты представлял себе ее, сидящую с материнскою радостью у колыбели спящего сына своего; думал, что только одно беспокойство об отце заставляло ее проливать несколько горести в чашу своих радостей; что письма, которые ты всякую неделю к ней писал, ее успокоивали и делали отсутствие твое сносным. Бедный ослепленный! Она не получала твоих писем.

Для чего ты так слеп, бедный человек! Ах! Как часто горы и долины разделяют двух страждущих любовников и препятствуют им поверять друг другу чувства свои; как часто мать или супруга страдают и томятся в бедности в то самое время, когда сын или супруг без всякой заботы гуляют и веселятся; как часто два сердца, соединенные неразрывными узами чувств и разлученные роком, терзаются и не знают друг об друге

и не могут поверить взаимно своих горестей и страданий. Ах! Когда это так, то что сказать мне: *счастлив* или *несчастлив* человек?

Когда исчезла Полина и друга больше не было с Вильгельмом, то он только и думал, что о своем отечестве, о милой семейственной жизни; она была единственной целью его желаний. С такими мечтаниями бродил он в осенние дни по увядшим лугам, терялся в лесах, рассеивал себя, разговаривая с поселянами, и надежда когда-либо найти опять Полину становилась час от часу слабее.

В одно утро Вильгельм встал ранее обыкновенного и взошел на один маленький холм у городских ворот; погруженный в задумчивость, смотрел он на картину солнца, борющегося с ночным туманом. Он думал о рождении человека, о первом его утре; думал, как часто колыбель вельможи освещена бывает солнцем тогда, когда, может быть, уже собирается туча, готовящая ему гибель, и как часто колыбель нищего бывает покрыта туманом в то время, когда прихотливая судьба готовит, может быть, ему светлый полдень. Собственный пример его был у него перед глазами, и с последним туманным облаком вознеслась и его благодарная молитва на небо.

Душа его была в таком приятном расположении, что он искал занять ее каким-нибудь новым предметом, и для того самого решился он взойти на одну гору, которую уже давно хотел осмотреть, но по сию пору еще не мог этого сделать! Дорога туда шла через ту деревню, в которой был пожар и которой жители братски его любили. Он хотел пройти ее, чтобы никто его не приметил, но мальчик, которого он спас, увидел его, стал кричать и схватил его за платье. «Маменька скоро придет, — сказал он, — погодите. Маменька не может так скоро бегать!» Вильгельм остановился и дожидался молодой женщины, которая с видом искренней радости спешила к нему и уже издали показывала ему на смеющегося ребенка, лежавшего у груди ее. Она стала ласково упрекать его за то, что он совсем их позабыл. «Мальчик мой, — говорила она, — то и дело об вас спрашивал, а мне было очень жаль, что вы к нам не жаловали. Я уже тысячу раз благодарила Бога за то, что он сохранил детей моих, но мне было очень тяжело, что я не могла поблагодарить доброго человека, которого он послал для их избавления. Я теперь живу, — продолжала она, — у своего свекра; хижину мою опять скоро построят!» Тут стала она приступать к Вильгельму, чтобы он вошел к ней и чего-нибудь позавтракал. Она так убедительно просила его, что, казалось, он ей окажет величайшую милость, если войдет, и Вильгельм не мог отказаться. Он вошел в чистенький домик, где седой почтенный старичок встретил его с сердечною радостью. Его угощали всем, чем могли. Молодая женщина рассказала ему, что во время его отсут-

ствия муж ее и брат приехали домой и что они, услышавши о благородном его поступке, хотели тот же час ехать в город благодарить его, но служба и проклятые люди, которые не оставляли деревню в покое. На другое же утро, — прибавила она, — должны были они опять ехать отыскивать аристократов, и Бог знает, когда возвратятся!»

Однако ж, думала она, может быть, они будут нынешним вечером, и Вильгельм должен был обещать ей опять посетить ее на другой день. Позавтракавши довольно, сказал он добрым людям, что хотел взойти на вершину горы, которая при выходе из деревни уже начинала малопомалу возвышаться; он осведомился о лучшей дороге, и ему сказали, что до вершины будет несколько миль; что прежде ему надобно будет пройти чрез мост и после того у одной овчарни своротить с большой дороги и идти налево. «Там будет вам очень трудно, — говорила молодая хозяйка Вильгельму, — и для того советую вам запастись чем-нибудь на дорогу». С сими словами хотела она накласть в карманы его плодов и хлеба, но Вильгельм, боясь обременить себя, отказался и думал, что в овчарне ему не откажут в чашке молока. Но попечительная крестьянка уверила его, что обитатели горы грубые люди, и советовала ему лучше войти в дом, который он увидит недалеко от овчарни. «Там, — продолжала она, — живет один очень добрый человек, которого все любят и все называют *добрым Томасом*; подите к нему, у него вы найдете; он всякого принимает с радостию».

Вильгельм поблагодарил ее и пошел с намерением не возвращаться до тех пор, покуда не понудит его необходимость. Он счастливо нашел показанную ему дорогу, взобрался на гору и сел на вершине ее, откуда мог наслаждаться приятным видом плодovитой долины, по которой извивалась река и рассеяны были рощи и деревушки. Он искал глазами и нашел пустое Полинино жилище, которого вид возмутил опять его сердце; он отворотился, не хотел больше смотреть на него — и все смотрел. Ландшафт потерял свою приятность, он погрузился в глубокие размышления и не приметил, как застала его ночь.

Испугавшись, вскочил он с своего места; уже тьма покрыла долину, бледный луч зари сиял еще на вершине утеса. Он поспешно побежал по тропинке, и чем более сходил вниз, тем темнее становилась ночь. Неосторожная поспешность могла бы заблудить его: и так он пошел тише, опасаясь потерять дорогу, ибо, если бы он принужден был остаться без покрывки в темную осеннюю ночь, то легко бы мог опять слечь в постелю, что ему казалось ужасным с тех пор, как он узнал, каково больному без помощи друга.

Он очень обрадовался, как после трудного шествия, которое продолжалось несколько часов, очутился у забора, принадлежавшего к

овчарне. Но, вспомнив предостережение молодой женщины, он не вошел туда, а направил шаги свои к жилищу доброго Томаса, которое шагов за сто оттуда отстояло и которого выбеленные стены в темноте блистали. Тут хотел он просить ночлега, потому что начинал уже идти дождик, и ночь час от часу становилась темнее.

Но увидя, что в низком окошке не было света, начал он бояться, что не найдет никого дома, и взялся уже за снурок колокольчика, чтобы звонить, как вдруг жалобный женский крик поразил слух его. Он, казалось, выходил из нижней горницы дома или из погреба, и Вильгельм различил несколько раз повторяемые слова: *«Помогите! Помогите!»*

Тут схватил он за колокольчик и позвонил раз, два, три раза — никто не откликнулся. Он хотел отворить ворота, они были замкнуты. Он хотел перелезть через забор, но он был очень высок. Жалобный крик продолжался и раздираал его сердце. Он обежал вокруг всего дома, увидел сад с низким плетнем, перепрыгнул через плетень и пошел в дом; крик был его путеводителем.

Тут пришел он к маленькой калитке, ударил в нее ногой; калитка отворилась; он вошел, зацепился за что-то и упал. Железная лопатка лежала у него на дороге; он встал и, предвидя, что ему нужна будет в обороне, взял ее с собою. Крик переменялся в тихий стон. Он пошел туда, откуда, казалось, он происходил, и скоро очутился у дверей комнаты. Она была заперта. Он начал изо всей силы стучать в нее кулаком. Мужской голос спросил у него: *«Кто здесь?»* — *«Отвори!»* — закричал Вильгельм, но там мешкали и не отворяли. — *«Отвори, или я разломаю дверь»*. Все еще медлили — Вильгельм из всей своей силы уперся в дверь, и она сососкочила с петель. В то самое время погасили в горнице огонь, и Вильгельм получил в плечо жестокий удар, который, конечно, был направлен в его голову. Он мог насилу различить того, кто так ударил его, поднял свою лопату и так сильно пустил ее в него, что он упал на землю, закричав: *«Ах, Боже!»*, и стонал. В то время кто-то другой прокрался мимо его в отворенную дверь вон. Вильгельм остался в удивительном положении; у ног его лежал человек, которого он, может быть, до смерти ранил; несколько шагов дальше слышался тихий рыдающий голос; вокруг него было все мрачно, и выходы дома были ему совсем неизвестны. Он пошел туда, где слышалось рыдание, наткнулся на постелю и по платью узнал, что на ней лежала девушка. *«Кто здесь?»* — спросил он; ему отвечали только рыданиями. Он сам готов был плакать, потому что боль в руке его становилась весьма ощутительна. Огня не было — без огня он не мог ни себе, ни другим помочь. Но где было ему взять огня? Где найти кухню? Там, может быть, еще был огонь под пеплом? Он ощупью вышел вон, прошел весь дом, находил то запер-

тые, то отворенные двери, но нигде того, чего он искал; он даже не мог сыскать дороги назад и решился было на крыльце дожидаться утра, как вдруг услышал он стук замков и ключей и дверь, растворившуюся с стуком. Множество голосов раздалось на дворе, и большой огонь блеснул в отдалении.

Будучи уверен в своей невинности, пошел он смело навстречу пришедшим и скоро наткнулся на кучу полунагих крестьян, которые с дубинами и разными оружиями шли за дурною старою женщиною, которая держала фонарь в руке. «*Вот разбойник!*» — закричала женщина, увидевши Вильгельма. Вильгельм был один и уже бросил железную свою лопату, и так крестьяне без помешательства схватили его и связали ему руки.

Тщетно уверял он их в невинности своей, тщетно хотел рассказать им, каким случаем зашел он в этот дом, но старая фурия не давала ему выговаривать ни слова: «Он хотел обокрасть доброго моего господина, — кричала она хриповатым голосом, — может быть, он уже и убил его! Вы найдете племянницу его, связанную. Я ему, слава Богу, не попалась!» Обвинение было так ужасно, что Вильгельм онемел и поглядел на старую женщину с презрением. Она пошла с фонарем вперед, и вся толпа последовала за нею, таща бедного Вильгельма с собою. Они вошли все в горницу. Вильгельм взглянул и окаменел: на постели лежала связанная прекрасная девушка; это была Полина! На полу лежал облитый кровью толстый человек — это был Лизин соблазнитель!

ГЛАВА XL

ПОХИЩЕНИЕ

Природа так богата чудесами, что самое творческое воображение не может ее превзойти в этом, и для того прошу не почитать повесть мою невозможною потому только, что она чудесна. Мы живем в таком времени, что не будем уже дивиться, если найдем китайского императора, подобно Дионисию, учителем в каком-нибудь маленьком городке⁶⁵. Для чего же дивиться, что Бертрам стал добрым Томасом и вместо эшафота попал во Францию. Если невинный, добродетельный Лафает страждет в темнице⁶⁶, то почему ж преступнику не быть свободным. Если *первое* не находят невозможным, то и *последнее* может быть очень натурально. И все это так искусственно связано вместе, что совсем не трудно будет развязать его. Добрый Томас, *сi-devant* Бертрам, как читатель, может быть, сам вспомнит, не претерпел должного наказания:

его только заключали в монастырь. Но и это сделано было pro forma, чтоб удовлетворить тех, которые могли жаловаться на его поступок; словом, его наказали так, как спартане наказывали мальчиков, которые неискусно воровали⁶⁷. По истечении малого искуса дали Бертраму денег, перекрестили его Томасом и отпустили с Богом. Он пришел с приятным полным личиком своим во Францию, скоро вкрался в любовь народа и на счет легковверных нажил себе изрядное состояние и хороший дом близ самой той деревни, которую посещал Вильгельм. Здесь играл он свою ролю удачнее и осторожнее, нежели в Германии. Он принял к себе одну старуху, которая в лучшие времена жила в столичном городе Франции и служила поверенною и помощницею вельможам в любовных делах их; с их падением пришла она в крайность, голод принудил ее искать пристанища, и она нашла его у *добротого Томаса*. Тут имела она случай снова показать свои достоинства и сделала то, что он совсем бросил намерение свое жениться, обольщал невинных крестьянок, и, наконец, увидев Полину, вознамерился и ее сделать своею жертвою.

В тот самый день, как Вильгельм занемог лихорадкой и Полина под липою тщетно ожидала друга своего, случай привел Томаса к ее дому. Он увидел прекрасную девушку в трауре, сидящую небрежно на скамье. Белоснежная рука подпирала ее голову, темно-русые локоны лежали на полной груди ее, и маленькая ножка играла на песке. Чего больше для воспламенения его желаний. Он приблизился к ней с скромностию на лице, которая у него была в таком же послушании, как улыбка у придворного. «Ваше траурное платье и горесть, написанная на лице вашем, — сказал он ей, — заставляет меня думать, что вы несчастны, а мое первое попечение утешать несчастных!»

Он сел подле нее и начал говорить с нею с видом добродушия и простосердечия. Полина, невинная, неопытная, слушала его с почтением и доверенностию; он так хотел обольстить ее своими разговорами, что она не только с охотою позволила ему посещать себя всякий день, но еще сама просила его об этом; с самого первого свидания полюбила она уже его как отца своего.

Лицемер скоро приметил, какое невинное творение предал случай в его руки. На другой уже день узнал он все Полинины тайны: побег ее брата, склонность ее к Вильгельму, сокровище, которое сохраняла она в своем ларчике; узнал все и радовался, как сатана в «Месиаде»⁶⁸. Конечно, старался он переменить ее доверенность к себе в любовь, но она была слишком невинна и не понимала его намерений. Когда он глядел на нее с пламенным желанием, то принимала она огонь, сверкающий в глазах его, за отцовскую нежность и смотрела на него с почте-

нием, когда он пожимал ее руку. Открыться ей прямо было для него опасно: она стала бы убегать его, но если б она как-нибудь попала в дом его, то с помощью своей старухи он бы легко мог соблазнить ее.

Под предлогом ее безопасности предлагал он ей взять ее в дом свой под именем племянницы; он представлял ей все, чему она подвергала себя, живучи одна в пустом доме, и в привлекательной картине изобразил ей спокойствие, которым она будет наслаждаться в его уединении.

Слова его хотя сделали впечатление в Полинином сердце, но не произвели такого действия, какого он ожидал: образ друга ее был глубоко впечатлен в ее сердце; его должна она была прежде увидеть, с ним должна была посоветоваться прежде, нежели примет такое намерение, которое с ним ее разлучало. Таким образом, она хотя и не отказывала Томасу, но старалась все откладывать до выздоровления Вильгельмова.

Того-то и не хотелось Томасу: он боялся возвращения сего опасного пленника и видел, что нужно ему исполнить свой план прежде, нежели кто-нибудь ему в том помешает. В один вечер, когда Полина с непритворною радостью рассказывала ему, что имеет хорошие известия о здоровье друга своего и что в скором времени надеется его увидеть, решился он немедленно исполнить свою злодейскую хитрость. В полночь услышала она тихий стук у ворот своих; девка ее вышла, отворила ворота, и незнакомый человек подал ей письмо, которое она и отнесла своей госпоже; оно было худо и неразборчиво написано и содержало в себе следующее:

«Любезная сестрица! Судьба, которой тяжкая рука всех нас давит, еще не перестала гнать меня. Границы наши стерегут слишком крепко, верный слуга наш убит уже, а я не иное что, как бедный, несчастный беглец. Из того, что я взял из наследства отца моего, половину у меня похитили, половину я прожил. Теперь отчаяние один мой товарищ, а смерть последняя моя надежда, но умереть от руки палача для меня ужасно! Я здесь, я недалеко от тебя, милая Полина, и не смею войти в наше жилище. Шпионы повсюду следуют за мною. Если ты любишь единственного твоего брата, то исполни последнее его желание: дай ему себя увидеть прежде, нежели он и погибнет; завтра в полночь моя верная поверенная будет тебя дожидаться у ворот твоих; и если ты имешь довольно смелости и любишь меня, то следуй за нею: она приведет тебя в объятия к твоему брату.

Филипп шевалье Белау».

Трепеща, прочла Полина это письмо. Слезы покатались из глаз ее: она любила своего брата. Без малейшего подозрения решилась она, в назначенный час, следовать за женщиной, взять с собой свои сокро-

вища, оставить половину оных своему брату и отвратить его от самоубийства.

Она никогда не видывала руки брата своего, и если бы она ее и видела, то никакая недоверчивость не возмутила бы невинной души ее; с нетерпением ожидала она дня, с нежнейшим беспокойством вечера. Томас посетил ее по обыкновению. Он надеялся, что она ему скажет о случившемся и о предпринятом его намерении, но она молчала: это была не ее тайна, любовь к брату связывала язык ее.

Но хитрый оболститель скоро приметил, что она была очень беспокойна, и заключал из этого в свою пользу. Вечеру он простился с нею с такою же притворною миною, какую, верно, имела Катерина де Медицис тогда, когда она прощалась с раненым Колиньи⁶⁹. Он ушел и был уверен, что невинная Полина будет в его власти. Едва успел он удалиться, как Полина взяла свой ларчик, помолилась Богу и с служанкой своей вышла на двор, слушала и скоро услышала у ворот шорох и тихий кашель. Это была Томасова старуха, которая уже радовалась попавшейся в сети птичке. Куда Полина думала идти за ней, и куда она в самом деле пришла, все это теперь уже не загадка.

ГЛАВА ХLI

ЛЮБОВЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ

Так, как трепещет юноша, который, думая поцеловать розовые уста, видит мертвый череп перед собою, так затрепетала Полина, когда увидела без личины того злодея, которого она почитала вторым отцом своим. В первые минуты она не могла ни плакать, ни вздыхать, ни говорить; прежде должно было ей увериться в возможности такого ухищрения, чтобы на него жаловаться или проклинать его. Томас должен был вооружиться всем своим бесстыдством и все сказать ей прямо, чтобы она поняла его. Что могла сделать несчастная, беспомощная Полина! Она отвечала ему одним холодным презрением. Невинность ее так была соединена с существом ее, что она чувствовала, что теряет ее только с жизнью. Это чувство придало ей необыкновенную смелость. Во все продолжение ночи не говорила она ни слова, не принимала никакого участия в том, что вокруг нее происходило, не слушала ни слов Томасовых, ни бесстыдных утешений старухи и просидела в некотором бесчувствии до самого утра. Когда же наступил день, и она в некотором отдалении услышала свирель пастухов, то она вдруг вскочила, бросилась к окну, раскрыла его и из всей силы закричала: «*Помо-*

дите! Помогите!» Томас и его старуха пришли в страх от сего неожиданного восклицания; они старались оторвать бедную девушку от окошка, но она сильно за него ухватилась и час от часу кричала громче. Наконец они оттащили ее и заперли насильно в отдаленную горницу. Тут грозил ей проклятый обольститель завязать ей рот, если она опять так *ребячиться* станет. Усмешка глубочайшего презрения была ответом Полины, однако ж крик ее в самом деле привлек пастухов, которые тотчас успокоены были баснею, что добрый Томас из милосердия взял к себе сумасшедшую племянницу в дом. Он просил добрых сих поселян рассказать о том в деревне, чтобы крик больной вперед не пугал поселян. Таким образом, уничтожалось всякое подозрение. Без помощи осталась несчастная в руках своего похитителя; у нее даже отняли и верную ее служанку, которую заперли в погреб.

Все способы употреблял Томас, чтобы познакомить ее с пороком. То старался он понравиться ей самыми подлыми ласкательствами, то пугал ее угрозами. Иногда представлял он ей в привлекательном виде картины удовольствий, когда она будет в его объятиях, иногда поносную смерть, которою она умрет, как роялистка, если он того захочет. Но ни ласки его, ни угрозы не производили никакого действия в непрочном сердце милой девушки. Опытная старушка старалась те же воспламенить ее чувства, но и то было тщетно: Полина знала цену своей невинности, образ Вильгельма был в ее сердце, и хитрость обольстителей была бессильна победить ее.

Томас, наконец, заметил, что одно насилие только может привести его к цели, и поклялся Полине, что употребит сие средство, если она еще будет продолжать презирать любовь его. Ей не осталось другой надежды, кроме Всевышнего! «О Боже, покровитель сирот! — молилася она в тишине, — если уже нет средства спасти мне мою невинность добровольною смертию, то один только Ты мне остался; ангел Твой меня избавит от погибели!»

И он явился — явился, ангел-избавитель в образе друга: Вильгельм защитил ее в ту самую минуту, когда она боролась уже с гибелью; он спас ее и отместил за Лизу, за умерщвленного ее младенца! В конвульсиях испустил дух свой обольститель, и последние слова его были — злодейское признание: «Вильгельм разбойник, убийца!»

Все говорило против Вильгельма, все доказывало злодейство невинного: слова умирающего, крик старухи, разломанная дверь, связанная девушка и, наконец, собственное его молчание, ибо вид страждущей благодетельницы, с одной стороны, а с другой — умерщвленный обольститель Лизы лишили его совершенно чувств; ничто не могло защитить его, кроме бедной девушки, которую считали сумасшедшею.

Пастухи любили лицемерного Томаса и обременяли проклятиями Вильгельма! Уж был день, когда они повели его, связанного, с горы в город, кто с ними ни встречался, всякому они рассказывали, что этот беглец, этот скрытый роялист, убил тихого, добродушного Томаса, и всякий проклинал Вильгельма.

Только в той деревне, где жили друзья его, все было иначе: все толпились вокруг него, удивлялись страшному обвинению, не верили ему, жалели об нем и старались утешать его. Бездыханна, прибежала молодая женщина с детьми своими, пробилась сквозь толпу, громко уверяла всех в его невинности и не допускала вести его. Вильгельм сам должен был ее успокоить и просить ее, чтоб она оставила его на произвол судьбы и надеялась на Бога.

«Меня не можешь ты спасти, — сказал он ей тихо, — но спаси бедную девушку, которая заперта еще в доме вашего проклятого Томаса. Она не сумасшедшая, от нее ты все узнаешь!»

Слова его были загадкой, но добрая женщина уважала их. Вильгельма потащили прочь. Не бесполезное сожаление сопровождало его, но толпа крестьян вооружилась в деревне и последовала за ним, чтоб защитить его от ярости черни. К вечеру пришла она в город. Вильгельма посадили в тюрьму, куда не проникал ни малейшей свет, но душа его была светла, как день: он спас Полину, отместил за Лизу и ожидал спокойно смерти.

И как мог он не ожидать ее? Если бы и то, в чем его обвиняли, было сомнительно, то вся погибель его была бы несомненна: народ требовал жертвы. Приговор его был готов. Через несколько дней надлежало Вильгельму погнаться на эшафоте. Он воспользовался этим временем и карандашом написал все, с ним случившееся, оправдал себя, простился с женою и благословил своего ребенка. После того сыскал он между своими стражами, которые переменялись всякий день, того, которого физиогномия показывала добродушие и который, ему казалось, несколько раз с сожалением на него глядел.

Он просил его со слезами непременно отдать эту бумажку Лизе. «Я тебе больше ничего не скажу, — промолвил он, — но если ты имеешь жену и детей....»

«У меня есть жена и дети!» — отвечал тронутый солдат; хотел продолжать, но, не сказав ничего более, взял бумажку и пошел.

Тут наступил решительный час. Вильгельма на третий день вечером представили перед судей; все обстоятельства изобличали его; все, что он ни говорил, считали пустыми сказками, и его осудили на *смерть*. Следующее утро долженствовало быть последним в его жизни.

Он лежал на своей соломенной постели с сладостным уверением, что во всю жизнь свою не сделал ни одного порочного дела. Он молился — но не о себе, а о жене и младенце своем. В полночь он уснул спокойно. Скрып дверей, стук запоров разбудили его. Два солдата вошли с глухими фонарями. Вильгельм проснулся и думал, что страшная минута уже наступила. В одном из пришедших узнал он того, кому вручил записку к Лизе. «Я очень радуюсь, — сказал он, — что тебя выбрали моим проводником; будь свидетелем моей смерти и скажи жене моей, что я хотя не совсем спокойно, но с бодростию шел к ней навстречу».

«Молчи и ступай за нами!» — сказал солдат, приподнимая его цепи, чтоб он мог свободнее идти. Вильгельм замолчал и пошел. Они вышли на двор, звезды слабо освещали их. Вильгельм удивился, увидя, что еще ночь. Они пришли к маленькой калитке, которая была отворена. Как скоро Вильгельм в нее вышел, то увидел карету, запряженную четверней. Солдаты посадили его в нее, и сами с ним сели.

Они поскакали во весь опор. Вильгельм не знал, что с ним делалось. Он спрашивал; ему не отвечали, и стук кареты мешал ему что-либо слышать. Наконец вззошел месяц — Вильгельм увидел себя в чистом поле. Ему казалось это сном; они почти целый час ехали и вдруг остановились. Ему велели выйти. Как скоро он вышел, то кто-то поцеловал его руку и помочил ее слезами. Вильгельм поглядел ему в лицо — это была молодая крестьянка, а двое солдат — муж ее и брат. Тут муж прижал его к сердцу. «Ты спас детей моих от смерти, — сказал он, рыдая, — я избавил тебя от незаслуженного наказания: это была должность человека, но теперь я хочу наградить тебя, следуй за мною!» Вильгельм пошел за ним, держа за руку молодую крестьянку. Тут увидел он что-то белое за кустом, и женщина бросилась в его объятия. Это была Полина! За нею шла другая женщина, которая насилу держалась на ногах; Полина потащила к ней Вильгельма, незнакомка простерла руки, месяц осветил лицо ее, в молчании ночи услышал он тихо произносимое его имя — это была Лиза!

ГЛАВА XLII

БАБУШКА

Благодарность заставила честных крестьян, презирая свою собственную опасность, стараться об освобождении Вильгельма. Будучи солдатами национальной гвардии, имели они для сего довольно средств. Между тем как муж старался об исполнении этого, молодая жена его с

братом своим пошли в дом к убитому Томасу, чтобы найти развязку загадки Вильгельмовых слов. Но они нашли там только одну старуху, которая сбирала все, что только могла собрать, чтобы унести с собою. На вопрос их, *где сумасшедшая девушка*, отвечала она, что она убежала. Но бледность, которою в то самое время покрылось смуглое лицо ее, и ее смущение возбудили подозрение в ищущих; они потребовали ключа, но им было отказано.

Молодая женщина согласилась с братом своим разделить, пересмотреть весь дом и не оставить ни одного уголка в нем, и когда найдут запертую дверь, то громко спрашивать, не будет ли им кто отвечать, и таким образом они не медля это исполнили: одна пошла по лестнице вверх, а другой по лестнице вниз. Через несколько минут они возвратились и нашли больше, чем искали. «Там наверху, — говорила сестра, — слышала я жалостный стон». «Там в погребе, — говорил брат, — кто-то плачет и кричит».

Старуха заметила опасность; солдат поймал ее в то самое время, как она хотела убежать через калитку. Она оставила все тяжелое и взяла только один узелок, из которого солдат вынул подозрительный ларчик. «*Направо кругом, голубушка!* — сказал он грубо, взявши ее за руку, — *подай-ка мне ключ, или я брошу тебя в колодезь*».

Близость колодезя и суровый вид молодого человека принудили старую змею согласиться. Она предложила ему поменяться ключом на маленький ларчик, но как ей и в том отказали и она все медлила, то солдат подвел ее немного ближе к колодезю — и ключи были в его руках. Поспешно бросилась молодая крестьянка вверх, скоро сошел брат ее вниз; первая освободила страждущую Полину, а другой вывел почти умирающую с голоду ее служанку из погреба. Старуха воспользовалась их отсутствием и скрылась. Хотя она ничего не имела в кармане, но ремесло ее было самое доходное, и она скоро в Нанте нашла место у одной знакомой госпожи.

Полина не могла ничего рассказать порядочно до тех пор, пока не уверили ее, что Вильгельм жив и что надеются спасти его. Радостно отдала она им свой ларчик, и ей должны были обещать, что в нужде станут им пользоваться. Она пошла вслед за своими избавителями в их избушку, чтоб там выждать, пока исполнится опасное предприятие, и чтобы молиться о жизни своего друга.

Мы оставили бедную Лизу в очень опасном положении, и если к тому вспомним, какую силу имел мэр, и что мог он без всякого наказания делать, то будем весьма беспокоиться о ее участи. Собственная горесть ее увеличивалась еще при виде страданий доброй своей благодетельницы, ибо Равильонова супруга не могла долее скрывать, что

новая неверность ее мужа для нее не тайна. Конечно, она сама признавалась, что Лиза ни в чем не виновата, но она была похитительницею ее спокойствия, а любить ее не могла она. Охотно обходилась она с ней учтиво, ибо сим была она обязана гостеприимству и ее несчастиям, но сердечное дружелюбие, которое одно делает сию учтивость привлекательною, было не в ее власти. Такое обхождение терзало бедную Лизу больше, нежели открытая ненависть!

Уже начали они видаться только за столом, холодно кланялись друг другу, разговоры были скучны, и все радовались, когда подавали десерт.

Равильон играл весьма трудную ролю; чем больше чувствовал он свою несправедливость, тем больше старался истребить из мыслей, что это, в самом деле, несправедливость, как то обыкновенно с людьми случается. Холодное обращение жены его с Лизою не укрылось от глаз его, и он выговаривал ей за это, когда они бывали наедине. Она отвечала ему только слезами, которые еще более его раздражили; короче, принужденность ему становилась час от часу несноснее так, что бы надобно было ждать худой развязки, если бы, к счастью, благотворный *deux ex machina* не вмешался в дело.

Однажды ввечеру Лиза услышала стук кареты; она оставила это без всякого внимания. Но когда сделалась сумятица во всем дворе, когда начали вносить на лестницу дорожные узлы, и Равильоновы дети взбегались по всему дому, то спросила она у одного слуги: «Кто приехал?» «Бабушка нашего барина», — отвечал он ей.

Известие это обрадовало Лизу отчасти потому, что она надеялась, что при ней Равильон станет больше щадить жену свою, отчасти для того, что всякий посторонний человек, который не знает домашних обстоятельств, в случае подобного раздора весьма хорош, ибо с ним говорить можно. Когда Лизу позвали к столу, то вошла она веселее, чем прежде, и увидела сидящую на софе почтенную старушку, которая при входе ее встала и с учтивостию подошла к ней. Равильон рекомендовал Лизе сию даму сими словами: «*Бабушка моя, г(оспо)жа Жером!*» «*Г(оспо)жа Жером!*» — повторила Лиза, переменявшись в лице. «*Г(оспо)жа Жером!*» — повторила она еще раз с удивлением, которое все заметили.

— Мне кажется, что имя это вам известно, — сказала дама, — и я надеюсь, что оно вам не противно.

— Мне противно? Жеромом звали моего отца.

Равильон удивился. Старушка испугалась. С видимым беспокойством потирала она себе руки и спросила, запинаясь: «*Вы немка?*»

— Отец мой, — сказала Лиза, — был француз, который оставил отечество свое тому уже 20 лет.

— *Его имя?*

— Иосиф Эме.

— *Боже мой!* — закричала старуха; колена ее затряслись, она бы упала, если бы Равильон не поддержал ее. Читатель, верно, отгадал уже давно, что это значило. Она была бабушка Лизы, а мэр двоюродный брат ее.

Образ жизни и множество нажитых долгов рассердили старушку против своего сына; она отослала его от себя и строгостию своею принудила его искать счастья в чужих краях. Нужда, великий учитель, который воспитанников своих приводит или к добродетели, или к отчаянию, заставила изгнанного бросить роскошную жизнь и жить опять порядочно; однако ж, он не прежде хотел уведомить о себе мать свою, пока не наживет столько имения, чтобы можно было без нее обойтись, дабы она не подумала, что он раскаивается для того единственно, чтоб выманить у нее денег. Наконец, когда он достиг этой цели, то писал к матери своей трогательные письма. Но обстоятельства переменились, и фамилия его переселилась из Пикардии в Лангедок⁷⁰, и так его письма никогда не доходили в свое место.

Это бесполезное ожидание долго возмущало семейственное его счастье. Он мог только две причины представить себе: либо то, что мать его непримирима; либо то, что она умерла уже. Первое отвергало его сердце, и так он оплакал чистосердечно смерть ее и перестал писать.

Г(оспо)жа Жером, с своей стороны, давно уже позабыла свой гнев, ибо гнев матери не иное что, как клочок снегу в мае; она упрекала себя в суровости; в уединенные часы ночи видела она беспрестанно сына своего, шатающегося без помощи, всеми покинутого; с какою радостью позвала бы она его опять в свои объятия! Но где было его искать? С каким беспокойством ожидала она, что он сам ей о себе скажет, но он молчал. Как часто в «Ведомостях» просила она его возвратиться, но он не возвращался, ибо никакой счастливый случай не отдавал ему сих «Ведомостей» в руки. Он, который так почтительно всегда с нею обходился, он мог ее забыть? Ах! Нет; он, верно, умер, он, верно, сделался жертвою ее суровости!

Сии упреки, которые беспрестанно мучили ее сердце, отравили горестию осенние дни ее жизни, и вдруг — какое приятное пробуждение из столь горестного сна! Правда, Иосифа ее не было более на свете, но он не был несчастлив, и вместо его явилась дочь его, точное изображение отца своего, дочь, которая с нежностию называла ее *матушка*, творение, которое ей принадлежало и которым она могла гордиться.

Тут в доме все переменилось. Брат Равильон перестал быть робким с тех пор, как близкое родство возложило на него новые обязанности, и присутствие бабушки налагало на него новую узду. Он стыдился, думал,

что она имела право ему сказать: «*Бантист!* Вспомни, с каким жаром искал ты руки своей супруги, и чем я пожертвовала, чтобы сделать твое счастье и ее за тебя выдать, а ты ее уже не любишь». Он испугался, когда ему пришло в голову, что добрая жена его могла на него жаловаться! И как будет тогда показаться на глаза матери, которой он так много обязан, которую он, при всех своих проступках, так горячо любил.

Наконец Лиза исправила его совершенно своим поступком, который ей позволялся с тех пор, как она была родня Равильону и имела подпору в своей бабушке. Она искала — чего прежде с таким рачением убеждать старалась — быть наедине. Она сама зачала речь о том, о чем прежде и намекнуть не хотела: о страсти его к ней; она с таким красноречием говорила ему, так хорошо описала печаль своего супруга и свою собственную, умела так хорошо вмешивать упреки в уверения вечной дружбы и благодарности, что Равильон упал к ногам ее, прося со слезами позабыть прошедшее.

Первая минута раскаяния очень подкрепляется добродетелью, которая всегда готова явиться, как скоро позовут ее. Равильон вдруг почувствовал в себе необычайную бодрость, которая наполнила сердце его таким веселием, какого он давно уже не чувствовал. Он радовался, видя, что мог без всякого труда приготавливать все для отъезда Лизы. Она, конечно, должна была остаться несколько дней с новой своей бабушкой, но бабушка, с своей стороны, была так благоразумна, что и не требовала больше, с тем только уговором, чтобы, если обстоятельства позволят, посетить ее с супругом и сыном.

Богатыми подарками заменили ей то, что отнял у нее народ: она, запасшись несколькими паспортами и уверившись, что опять счастье любезной хозяйки ее возобновилось, поехала спокойно в Гиенскую провинцию⁷¹.

ГЛАВА XLIII

РАЗВЯЗКА

Когда после долгой разлуки путешественник видит издали башни того города, где живут люди, милые сердцу его, — ах! Какое неизъяснимое чувство наполняет тогда его сердце; всякого человека, который идет оттуда, хотел бы он спросить: знаешь ли ты того, в чьи объятия спешу я? Здоров ли он? Весел ли он?

Как всякий поворот с дороги причиняет ему досаду, как проклинает он медлительность почталиона, который, как нарочно, тут-то и едет

тише; то останавливается, чтобы поправить упряжку, то уходит, чтобы выпить стакан пива в трактире, а бедный пассажир, который только и беспокоится, только и думает, что о друзьях своих! Ему ни пить, ни есть не хочется! Слава Богу! Бич ударил по лошадям, они побежали рысью, карета съехала с горы, но какое несносное мучение! Надобно опять переезжать песчаное место, опять тащиться с ноги на ногу! Путешественник мой сидит как на иголках! Держится обеими руками за карету; то туда, то сюда качается, как будто хочет помочь лошадям; беспрестанно высовывается из окошка, чтоб увидеть, не переехали ли этого песку, который кажется так же бесконечен, как степь Сары⁷².

Такое точно было Лизино положение, когда она приближалась к городу, в котором был супруг ее. Наконец приехала она уже к заставе, но тут опять новые замешательства: должно было пересматривать ее паспорт, ибо добродетель и невинность, написанные на лице ее, могли только служить ей паспортом у диких. Вынимают очки, осматривают, сходна ли Лиза с описанием, которое сделано в паспорте. Во всех углах записывают, отмечают; тут важный муниципаль с гордым видом не делает ничего и медлит, думая, что много делает — так вьется и бегаёт, как угорелый, полицейский офицер и выдает себя за весьма великого человека. Но! Теперь все дело пошло на лад, на паспорт и пожитки положена печать вольности; почталион садится на козлы и спрашивает, где барыня прикажет остановиться?

«В первом трактире», — отвечала Лиза, и карета медленно поехала по улицам; площадь была наполнена людьми, во всех окошках были головы — Лиза ничего не видала, она искала только Вильгельма. Народ казался очень в большом движении; слова *убийца*, *гильотина* везде были слышны — Лиза ничего не слыхала, она слушала только Вильгельмов голос. Скоро выскочила она из кареты, когда она остановилась у трактира. Болтливая хозяйка, взводя ее на лестницу, рассказала ей, об чем все тогда говорили. Какого-то пленного офицера, который умертвил одного доброго человека, изнасиловал его племянницу, посадили в тюрьму и скоро казнят его на гильотине.

Лиза, конечно, испугалась при *слове пленный офицер*, но тотчас успокоилась, услышав, чем его обвинили. «Он всегда обедал у меня, — продолжала трактирщица, — и казалось, был такой добрый, тихий молодой человек. Я ему бы, не опасаясь, поверила и свои деньги, и свою дочь. Но в тихом омуте черти водятся. Он, знать, был храбр, потому что на нем был орден и его называли майором».

Лиза оцепенела — орден? Майор? Как его звали?

Ах! Имя его было очень мудро для нашей говорливой хозяйки. Но каков был вид его? Она описала тут всякую Вильгельмову черту,

и невозможно было не узнать его. Лиза проговорила насилу: «*Эйхенвальд!*» «Так! — сказала хозяйка, — точно так, его зовут Эйхенвальд!»

Бедная жена упала на землю, глаза ее помрачились, сердце перестало биться, и только некоторые конвульсии показывали, что она жива. Испуганная хозяйка призывала всех святых на помощь, и сама между тем помогала ей, сколько могла. «*Ах! Боже мой! Бедная госпожа!*» — кричала она, и слезы потекли из глаз ее, когда она узнала, что это несчастная — жена обвиненного.

Она тотчас заперла ворота, чтобы чернь не могла узнать о ней и не погубила вместе невинности с преступлением. Но Лиза, пришедши в себя, хотела идти — броситься к ногам судей, на площади клясться в невинности своего супруга. Добросердечная хозяйка должна была насильно удержать ее; должна была затворить все окошки, чтобы не слышали крику ее; тысячи раз повторяла ей, что она могла этим ускорить смерть своего любезного. Только тогда, когда Лизины силы истощались, когда слезы, которые удерживались в первом испуге, из глаз покатались тихо по щекам ее, только тогда могла она понять то, что говорила ей хозяйка. «Я верю, — продолжала добросердечная старуха, — верю, что он невинен, но как же помочь ему? Ах! Добрая госпожа, нынче невинность ничего не значит; наружность говорит против него, верно, есть у него злодеи. Только деньги могут спасти его!»

Лиза с скоростию показала на свой ларчик. «*Я понимаю вас, — сказала хозяйка, — вы хотите всем пожертвовать.*»

Лиза дала знак, что хочет; ибо язык ее не мог выговорить *всем*.

— Итак, успокойтесь, сударыня, я накину только мою мантилью, проберусь в толпу и послушаю, что говорят люди. Если он невинен, то Бог не оставит его. Он спас и Даниила от львов, Он, верно, даст нам средства освободить его!

С сим словом побежала она и оставила Лизу в страхе. В первый вечер ей не удалось ничего сделать в пользу пленника. Лиза была почти как сумасшедшая, лихорадка свирепствовала в ее теле, она начала бредить. Хозяйка во всю ночь не отходила от ее постели, и как скоро рассвело, то препоручила она ее попечениям своей дочери, и сама пошла искать опять лекарства в надежде.

К обеду пришла она назад с солдатом национальной гвардии. «*Этот добрый человек, — сказала она больной, — один из сторожей вашего супруга.*» Лиза приподнялась и сжала руку солдата. Глаза ее были горячи и красны, взор ее пылал, но слезы не катились по щекам ее.

«Сударыня, — сказал солдат, — если б я и не имел причин стараться о спасении вашего мужа, то бы ваше состояние меня, конечно, тронуло!» Лиза знаками показала хозяйке, чтобы она подала ей маленький

ящичек; она открыла его, он был наполнен золотом. С видом прощения подала она его солдату, который оттолкнул его с неудовольствием.

«Сударыня, — сказал он с выражением обиженного благородства, — муж ваш бросился в огонь и спас детей моих от смерти. Я надеюсь, что этого довольно, чтобы принудить меня отказаться от ваших денег. Вот рука моя, я спасу его или умру с ним!»

Лиза хотела поцеловать руку, которую он ей подал, благотельные слезы опять облегчили ее сердце, взгляд, брошенный ею на небо, был исполнен благодарности. Когда луч надежды, подобно электрической искре, возвратил ей чувства; когда она опять могла говорить, то хотела она принудить великодушного человека взять столько, сколько надобно на издержки, но он отказался и настоял в том, что он один хочет и должен все делать.

Тут попросила она чернильницу и хотела возвестить приезд свой Вильгельму и утешить его в темнице, но солдат не хотел взять письма, а хотел объявить ему, что Лиза здесь, ибо боялся, чтоб радость ему не изменила. «Терпите, — сказал честный солдат, — терпите до завтра или до послезавтра: тогда все решится. Эта добрая женщина отведет вас к жене моей; там дожидайтесь спокойно решения!»

«Спокойно?» — сказала Лиза со вздохом.

Солдат старался утешить ее; научил хозяйку, какую дорогою ей идти, а сам поспешил опять на свое место, чтобы не возбудить подозрения. Позабывши лихорадку и слабость свою, последовала Лиза за доброй хозяйкой, и в полночь пришли они в хижину молодой крестьянки. Ее приняли как супругу благодетеля, а в Полине нашла она милую сестру.

Что происходило в сердце этой любезной девушки, когда она увидела перед собою супругу любезного, то может только знать тот, кому известно человеческое сердце. Но склонность ее была слишком непорочна и чиста, чтобы дать хотя малейшее место ревности. Она видела только Вильгельмову опасность, позабыла все и привязалась сердечно к той, которая так усердно молилась о его спасении. Бог услышал моление обоих соединившихся ангелов. Вечеру третьего дня получили они приказ находиться ночью на большой дороге. С боязнию поспешили они туда. Молча сидели они в траве и дрожали при малейшем потрясении листов. Как забилось сердце Лизы, когда услышала она вдали стук кареты. Когда сей стук час от часу приближался, когда карета остановилась, тут побежала молодая крестьянка по дороге, и Полина поспешала за нею. Лиза потащилась туда же, колеблясь между страхом и надеждою; колена ее дрожали, она не могла больше удержаться на ногах и упала в объятия к своему супругу.

ГЛАВА XLIV

БЕГСТВО

Все простят моему герою, что он при этом удивительном происшествии долго не мог опомниться; он думал, что голова его отрублена и что он видит одни тени Елисейских полей. Растолковать ему все случившиеся с ним чудеса на большой дороге было невозможно. Добрый солдат растолкал Вильгельма и повел его в кусты, где ожидала его большая крестьянская телега, нагруженная всем нужным для безопасного побега.

Чрез десять минут Вильгельм был освобожден от оков. Сбросив мундир, надел он крестьянское платье; волосы его прикрыла красная шапка. Лиза и Полина также переоделись. Они спрятали свои локоны под простой чепчик, толстые платки закрыли их груди, короткие толстые юбки таили их прекрасный стан, а большие деревянные башмаки прекрасную ножку.

Уже Лиза и Полина простились с хозяйкой, проливая слезы чувствительности; уже Вильгельм посадил их в повозку и сам хотел в нее садиться, как вдруг неожиданный случай переменял его мысли и заставил было почти добродетельно возвратиться в темницу. До сего времени не пришло ему в голову спросить, кто их повезет, и теперь только приметил он, как велика жертва благодарности, которую принесло ему доброе крестьянское семейство.

Солдат отошел с женой своей на несколько шагов в сторону; Вильгельм смотрел, как она с ним прощалась, она плакала; несколько раз повторяла, рыдая, *когда мы увидимся?* Муж, удерживая свои слезы, старался ее утешать, благословлял ее и детей своих и обещал возвратиться, если жизнь его не подвергнется опасности... Бедная жена не могла его оставить, все его удерживала в своих объятиях; когда ж, наконец, муж сказал ей на ухо: *подумай о пожаре и о нашей должности*, то она его оставила и воротилась назад.

«*Бог с тобою!*» — сказал он, удаляясь; жена остановилась и протянула к нему руки свои. «*Нет!*» — сказал ему Вильгельм с трогательною чувствительностию. — *Нет!* Мне жизнь не дорога, когда надобно сохранить ее такою ценою. Если для моего спасения жена твоя должна сделаться вдовою, а дети сиротами, то я лучше возвращусь в темницу и завтра пойду на смерть!»

Пря сих словах все побледнели от страха, Полина и Лиза встали с своих мест, солдат пришел в замешательство, а жена его отерла слезы и скрыла вздохи свои.

«Чего ты хочешь? — сказал солдат решительным голосом. — Садись спокойно в свою карету! Шаг, который подвергает жизнь мою опасности, сделан, и нельзя уже воротить прошедшего. Положим, что ты пойдешь назад в свою темницу; ведь войти туда мудренее, чем выйти оттуда. Тебя, верно, уже хватились; если ж нет, то как можно будет тебе поспеть в город до рассвета; а для меня все равно, я все останусь виноват! Полно говорить пустое — поедем, я жену и детей препоручу Богу и брату, который ничего не знает о бегстве и которому, следственно, ничего не сделают. Я отвезу вас за границу и пробуду там до тех пор, покуда мое отечество избавится от своего тирана! Рано ль, поздно ль, это случится! Тогда правосудие опять станет свободно дышать, и благодарность не будет преступлением. Ну! С Богом!»

Тут схватил он вожжи и бросился на свое место. Вильгельм хотя и не был успокоен словами его, но, по крайней мере, уверен, что шаг назад тоже будет опасен для его проводника, и для того, предавшись на волю обстоятельств, сел подле Лизы, и они поехали.

Одно Луветово перо⁷³ могло бы описать этот побег; оно наполнило бы сердце читателя страхом, ожиданием, часто бы лишало его дыхания. Уже пять ночей ехали они; один только проводник их знал эту дорогу. Днем прятались они в густые леса и в пещеры; ночью ехали через поля и убегали проезда через города и деревни.

Мужество мужчин и твердость женщин превозмогли, наконец, все опасности, на рассвете пятого дня приехали они к швейцарским границам. Тут честный их проводник расстался с ними. Напрасно Лиза давала ему свой кошелек и Полина свои бриллианты, чтобы хотя несколько облегчить судьбу его в изгнании. «Я могу работать, — сказал он, — трудолюбие и честность повсюду будут хорошо приняты, а если хотите вы утешить меня в разлуке с моими любезными, то не давайте мне ничего, чтоб я, работая, мог сказать: *я исполнил свою должность!*»

При сих словах он пожал их руки и удалился. Вильгельм последовал за ним. Там бросился он к нему на шею, и чувствительнейшая благодарность изображалась в его глазах. Он записал имя своего избавителя в свою записную книжку и оставил его с словами: *клянусь честью, ты обо мне услышишь.*

Перед полднем Вильгельм с своими прекрасными сопутницами достиг города, где решился успокоиться от всех претерпенных им трудов.

Там свободно изъясняли они друг другу свои чувства; страх не связывал уже их языка, опасность не угрожала им, и надежда возвратилась опять в сердца их.

Лиза расспрашивала о Фрице, и Вильгельм воспользовался этой минутой, чтобы в присутствии Полины открыть чувства его сердца. Он

был в выигрыше тем, что слова его не относились к Полине, которая молчала и краснела, но друг ее был слишком скромн и притворялся, будто не примечает этой милой стыдливости.

Он описал Фрицеву страсть живейшими красками, распространился в похвалах о достоинствах, которые друг его, по стыдливости, не хотел показать, и окончил желанием, которое обратил к Лизе, а не к Полине, чтоб это прекрасное творение, которое обладает сердцем его друга, некогда наградило его взаимною любовью.

Полина молчала и в замешательстве потупляла глаза. Что происходило в ее сердце, того я не могу вам описать, но все то, что она слышала — разрушенная надежда когда-либо обладать тем, кто первый произвел любовь в юном ее сердце, и который так горячо ей говорил за другого — все это не произвело в ней, кажется, никакого дурного впечатления для Фрица.

Вильгельм также замолчал, оставя жене своей, на которую он бросил значащий взгляд, доканчивать начатое, будучи уверен, что женщина при таком случае всего лучше.

ГЛАВА XLV

ТИРАНСТВО ЧЕСТИ

Два дни уже прошли. Спокойствие и желание увидеть детей своих придали Лизе новые силы. Задумчивость, которая вчера и сегодня видна была на лице Вильгельма и которой причины она не могла угадать, надеялась она рассеять скорым отъездом. Она просила его выехать на другой день, и он обещал ей.

Это обещание, казалось, стоило ему много труда; он, по-видимому, против воли приготавливался к отъезду; а в последний вечер был он необычайно печален, горесть помрачала его взоры. Лиза часто в недоумении смотрела на него; и как она заметила, что он избегал ее вопросов, то и решила от времени ожидать растолкования этой загадки и рассеивала грусть свою мыслию увидеть скоро своего ребенка.

Утро наступило, Лиза проснулась весело и не нашла больше Вильгельма возле себя в день отъезда, когда все надобно было приготовить, это ее и не удивило. Она вскочила с постели, побежала в другую горницу, разбудила Полину, и они начали обе поспешно укладываться.

Тогда принесли ей завтрак, и в то же самое время подал ей ключник запечатанное письмо. Она поглядела на него и побледнела: это

была Вильгельмова рука. Трепеща, распечатала она его и прочла следующее:

«Добрая Лиза! Я не могу с тобою ехать, честное слово меня связывает, я должен его сдержать. Я не смею, ради пленного друга своего, употребить во зло свободы, за которую оставил я в залог свою честность. Но будь спокойна: я не предамся тому ослепленному кровожаждущему народу в руки. Есть еще честные люди во Франции, которые будут мне покровительствовать до скорой размены. Не сердись на меня, я супруг и отец, но вместе гражданин и солдат. Я не могу предстать в свое отечество как беглый, я не могу покоиться в твоих объятиях как бесчестный человек! Если предчувствие мое не обманывает меня, то мы скоро увидимся, очень скоро! Поезжай счастливо! Я благословляю моего сына; дорога твоя будет спокойна, она удалена от сцены войны; ты приедешь счастливо в свое отечество, ты имеешь любезную сопутницу, верного слугу и денег больше, чем тебе надобно — я спокоен. Поезжай, любезная! Поезжай нынче! Все приготовления сделаны. Не старайся меня сыскать, это невозможно; когда ты прочтешь это письмо, то я буду уже на границах Франции. Выбери ближайшую дорогу, не подвергайся новым опасностям и думай о нашем младенце! Ангел Божий да сохранит тебя! Мы скоро увидимся!»

Молния, внезапно раздробившая дуб, под которым покоился путешественник, не так бы ужаснула его, как это письмо Лизу. Поблудневши и дрожа, подала она его удивленной Полине. «Ах! Вильгельм! Вильгельм! Что ты сделал, — говорила она в горести, — ты поехал в такую землю, где народное право не защитит тебя; в такую землю, где смеются благородным чувствам, где остаток добрых людей должен сгибаться под железным скипетром тиранов — и я должна успокоиться! Тысячу опасностей превозмогла я, чтобы тебя увидеть — и ты меня покидаешь! Ах, Вильгельм! Что ты сделал!»

Так жаловалась она в своей горести и не слышала тщетных утешений своей приятельницы. Почти без чувств, без всякого намерения делала она все то, что от нее требовали; согласилась по просьбе Полины оставить печальное это место, последовала ей, как ребенок, в карету, сидела там, не зная где она, куда ее везут, и не старалась даже знать того.

Только тогда, когда повеял на нее воздух отечества, когда переступила она за границы Германии, только тогда Полина возбудила ее внимание, напомнив ей об сыне. И как им осталось только на один день пути до надлежащего места, то супруга уступила место матери, маленький усмехающийся Вильгельм представился ее воображению с распостертыми ручонками; она представляла себе, сколько он вырос, и утешалась мыслию, что он узнает её после столь долгого отсутствия.

Был вечер, когда они достигли до одного небольшого городка, откуда две маленькие станции отделяли ее от предмета ее желаний. Как они путешествовали, не останавливаясь и день и ночь, то Полина, уставши до крайности, просила Лизу остановиться на несколько времени в городке, чтобы насладиться несколькими минутами спокойствия, и это желание еще увеличилось, когда их хозяин стал им рассказывать о близком лесе, чрез который они должны были переезжать и в котором было не очень смирно. «Скопище всяких людей, — сказал он, — немецкие дезертиры, убежавшие голландцы и выгнанные французы собрались здесь и нападают на проезжих; близкие границы им благоприятствуют, убийства и грабежи беспрестанные. Все говорят об этом в городе. Уже начальство приняло свои меры и хотело послать туда отряд солдат, чтобы объездить лес и очистить от разбойников!» Но послан ли этот отряд, очищен ли лес от разбоев, того не знал хозяин, а отважиться так, особливо ночью, казалось ему очень странно.

Боязливая Полина говорила то же и напомнила своей приятельнице о просьбе ее супруга не подвергаться новым опасностям. Но материнская любовь опровергла все просьбы. Мать не знает страху. Лиза представляла себе в такой восхитительной картине ту минуту, как она поутру обнимет спящего своего малютку. Ночь была светлая, и хозяин сам сказывал, что правительство приняло свои меры для безопасности путешественников. Простой народ все увеличивает. Может быть, лес уже давно очищен от недобрых гостей своих. Короче сказать, любовь матери превозмогла страх друга, и при свете восходящего месяца они поехали далее.

Мужество их увеличилось, когда они встретили путешественника, который безо всякого неприятного приключения проехал лес и который обрадовал их утешительным известием, что два дня тому назад две команды гренадиров объехали лес и что теперь он в совершенной безопасности.

ГЛАВА XLVI РАЗБОЙНИКИ

Покуда наши путешественницы ехали по открытым полям и изредка слышали в близких деревнях лай собак, по тех пор не знали они, что такое страх, но когда ужасный лес становился час от часу к ним ближе; когда они в него въехали; когда он час от часу стал вокруг них стучаться и луна перестала освещать их, то начали они трепетать — ужас-

ное молчание царствовало в карете, малейший шум, всякая обманчивая тень вселяла в них ужас.

В иных местах лес становился просторнее, образовал маленькие площадки, которые освещены были месяцем. Проезжая их, они дышали свободнее и после часу путешествия, в продолжение которого они боялись и не отворяли рта, осмелилась Полина сказать приятельнице своей, что она надеется, что скоро страшный лес кончится, но только что она успела выговорить, как на левой стороне в кустарнике услышали они ужасный пронзительный свист, который так близко раздался подле них, что они со страху сососкочили с мест своих. Сигнал был повторен в некотором отдалении, и скоро услышали они топот лошадей и человеческие голоса.

«С нами крестная сила!» — сказал почталион, перекрестившись. Дрожащим голосом старалась уверять Лиза свою приятельницу, что это, может быть, гренадиры, которые ищут разбойников и охраняют дороги. Но выстрел, который в ту же минуту повергнул почталиона мертвым на землю, не оставил никакого сомнения. Карету окружили; бедные путешественницы плакали и изо всей силы просили помощи. Один статный человек приблизился к ним с пистолетом, начал говорить им по-французски и повелительным голосом приказал им молчать, если они хотят сохранить жизнь свою. Другой разбойник сбросил полумертвого Петра с козел, третий вспрыгнул на козлы с великим проворством и погнал лошадей в сторону; двое из них стали назад, прочие ехали на своих лошадях, указывая дорогу.

Не успели они проехать несколько шагов, как карета сильно ударилась в дерево, и ось переломилась; разбойники бесились; женщины дрожали от страха, и ничего больше делать не осталось, как все живое и мертвое навьючить на лошадей. Двадцать рук начали выкладывать пожитки, а статный разбойник опять приблизился к дамам, прося их довольно учтиво выйти из кареты; они повиновались.

Он, казалось, был главным из всей шайки и тотчас оставил их, чтобы людей своих побуждать к большей поспешности. Лиза и Полина сидели на корнях дерева, должны были смотреть, как таскали их пожитки, большую часть навьючили на бедного Петра, а когда он под тяжестью ноши своей начал останавливаться, тогда стали понукать его плетью. Как стадо ворон снедает горсть зернышек, так точно и разбойники в минуту успели очистить карету от всех ее пожитков и распороть сукно, чтоб увидеть, нет ли чего за ним спрятанного.

Уж все поднялись в путь, и дамы начали, было, думать, что про них совсем забыли и что, удовольствовавшись добычей, их хотели оставить одних в лесу, ибо казалось, что никто об них не заботился. Положение

их было горестно; они принуждены были сами желать остаться одни в лесу, и Лиза тихо молилась об этом для того, что мать всегда найдет дорогу к сыну своему. Но и эту надежду потеряли они, увидевши двух оседланных лошадей, которых им подвели, приказывая им на них садиться и следовать за прочими как можно скорее.

Бедные путешественницы тщетно уверяли, что они в жизнь свою не ездили на лошадях, что лучше хотят идти пешком, но их просьбы никого не тронули. Двенадцать разбойников, которые окружали их, с насмешкою уверяли, что будут иметь о них всевозможные попечения и что они, верно, не упадут, но как дамы все еще отговаривались, то они, схвативши их неучтиво, приготавливались силою посадить на лошадей.

В ту самую минуту раздалось множество ружейных выстрелов. Пули засвистели мимо ушей Лизы. Двое разбойников, которые близ них находились, были убиты, другие, будучи ранены, уползли в кустарники.

В ту минуту весь лес, казалось, оживился, гремящие голоса слышны были за всяким деревом. «Сюда! Сюда!» — закричал один молодой человек, едущий верхом, который очищал себе дорогу своею саблею. За ним блистало множество гренадирских шапок.

Разбойники, которые ушли вперед, возвратились, услышав первый выстрел, бросили свои ноши, схватили оружие и собрались вокруг своего предводителя, который смело пошел против солдат.

Тут началось страшное сражение, которое казалось еще страшнее от того, что происходило ночью. Лиза и Полина были также, как и сражающиеся, подвержены опасности. Они хотели бежать, но не могли, ибо они были в самой середине сражения; пули свистали мимо их ушей, раненые падали к ногам их.

Разбойники превосходили числом солдат, и последние начали уже, сражаясь, отступать, от чего дамы очутились в самой толпе их. Офицер, который предводительствовал ими, был ранен. Вдруг убили его лошадь, она упала; он сососкочил с нее подле стоящей на коленях Полины и со вздохом произнес: *«Я не могу более!»*

«Боже мой!» — вскричала Полина, ломая руки и подняв глаза к небу. При этом восклицании раненый взглянул на нее и вскричал: *«Полина! Полина!»* — и бросился снова в толпу: это милое имя, казалось, тотчас заживило его раны и подкрепило его. Сабля его очистила опять себе дорогу между разбойниками, и он дошел уже до их храброго атамана, с которым начал он совсем невыгодное для себя сражение. Он был пеший, тот на лошади; он ранен, а тот еще невредим: скоро начал он отступать. Разбойник напал на него сильно.

Ах! Он дошел уже, сражаясь, до Полины; покрытый новыми ранами, упал он у ног ее и сказал: *«Здесь я охотно умру!»* Уже незнако-

мец нагнулся, чтобы разрубить ему голову, как, увидевши Полину, он остановился. «Полина!» — закричал он. «Полина!» — повторил он еще раз, соскочил с поспешностию с лошади, схватил за руку испугавшуюся девушку и потащил ее мимо сражающихся глубже в кустарник. Офицер лежал без чувств и не был в состоянии противиться этому.

ГЛАВА XLVII ИЗБАВИТЕЛЬ

Только что Полина против воли своей оставила лес, в котором солдаты и разбойники дрались еще с одинаким бешенством, и счастье все еще колебалось, как вдруг сцена совсем переменилась: офицер с двадцатью гусарами вдруг бросился из-за кустарников, напал на разбойников и в ту же минуту решил сражение. Кто мог, спасался бегством. Место было покрыто мертвыми и ранеными; пойманных беглецов связали.

Офицер соскочил с лошади, с поспешностию пробежал по сему ужасному месту, увидел Лизу, которая без чувств лежала подле дуба; бросился к ней; она вздыхает, приходит в себя; она в объятиях Вильгельма!

Радость и удивление лишили ее способности говорить. Она не может спрашивать, каким чудом ее супруг сделался ее избавителем; она может только чувствовать сие счастье, может только проливать слезы на груди его.

Вдруг стон одного раненого пробудил Вильгельма из сладкой его забывчивости. Он оглянулся, увидел офицера, плавающего в крови своей, поглядел на него, удивился, затрепетал — и от горести упал подле страждущего: это был Фриц, это был друг его, который не узнавал его, ибо взоры его были покрыты мраком смерти. «*Помогите! Помогите!*» — закричал Вильгельм, схватил свой платок, чтобы остановить бегущую кровь. Лиза также приблизилась и закричала ужасно, увидевши бледное лицо доброго молодого человека.

Солдаты, переставши преследовать разбойников, возвратились с поспешностию, нарубили сучьев, сплели из них с поспешностию две носилки, осторожно положили на одну раненого, а на другую Вильгельмову супругу и так понесли их через лес. Прочие гусары гнали перед собою пленников; Вильгельм ехал тихо подле них; тысячу разных чувствований наполняли сердце его. Взгляд на избавленную супругу свою восхищал его, взгляд на умирающего друга своего и известие о потере Полины отравляли сие восхищение. При рассвете дня они достигли

до конца леса и скоро увидели маленькую деревню, где, несмотря на то, что не имели ничего, они должны были остановиться для того, что раненый не мог бы перенести большего беспокойства. Вильгельм тотчас послал одного гусара в ближайший город за лекарем. Он к обеду приехал и, к величайшей его радости, сказал, что друг его не имеет ни одной опасной раны. Он ручался за скорое его выздоровление и боялся только, не будет ли следствия от великой потери крови.

Тут вошел священник того места, человеколюбивый старик, который с любезным добродушием просил, чтобы перенесли больного в дом его, и сам вызывался смотреть за ним. Приглашение было с благодарностию принято, и Фрица после первой перевязки и с позволения лекаря перенесли в дом священника.

Фриц к вечеру пришел в себя. Говорить он не мог, но, усмехаясь, смотрел он на сидящего подле постели своей Вильгельма, усмехаясь, смотрел он на Лизу, которая взад и вперед ходила по горнице, но глаза его искали еще кого-то. Вильгельм понял этот взгляд, подал знак Лизе и потом спросил ее: «Где Полина?» «Она спит», — отвечала Лиза и должна была отворотиться, чтоб скрыть слезы свои. Эта маленькая хитрая выдумка произвела благодетельное действие в Фрице; он казался спокойнее и скоро заснул.

Усталостию и ужасом прошедшей ночи Лиза была так истощена, что почти не могла стоять на ногах. Вильгельм был почти в таком же состоянии, но он хотел непременно сидеть у постели своего друга и старался только о том, чтоб супруга его успокоилась; с одним лекарем остался он в Фрицевой горнице, а так как больной казался спящим, то и лекарь тотчас заснул, но Вильгельм не спал, мысли о удивительных происшествиях сей ночи не давали ему заснуть ни на минуту.

Вскоре после полуночи услышал он повторяемый несколько раз стук у ворот, но как стук сей не мог беспокоить его друга, то и он не беспокоился более об этом. Но скоро любопытство его возбудилось, когда он, немного спустя, услышал отдаленный шум и скоро потом громкие разговоры. Потом кто-то прокрался по коридору, подошел к дверям горницы, постучался тихо. Вильгельм вышел и увидел старого священника с свечою, который сказал ему, что молодая прекрасная девушка, с ящичком в руках, пришла пешком к нему в дом, велела его разбудить и хочет с ним говорить, но как она говорит только по-французски, а он не знает этого языка, то и пришел он попросить Вильгельма, чтобы он помог ему в этом случае. Девушка, кажется, очень печальна и плачет горькими слезами.

Вильгельм возвратился, разбудил лекаря, а сам пошел за стариком, и как скоро отворилась дверь, то Полина бросилась в его объ-

тия! Вильгельмово нечаянное явление сделало ее почти сумасшедшей. Она видела себя опять под покровительством милого друга, смеялась, плакала, вздыхала, молилась и долго не могла сказать внятного слова. Наконец спросила она об Лизе, потом с приметным участием о Фрице, ибо последние слова его *«здесь охотно умру я!»* раздавались еще в ушах ее.

Когда Вильгельм во всем ее успокоил, то спросил он ее, каким счастливым случаем возвратилась она к ним опять, но Полина положила палец на губы и замолчала. Глаза ее наполнились слезами и, походя немного по горнице, схватила она вдруг Вильгельма за руку и с жаром просила его никогда не делать ей этого вопроса.

Вильгельм, конечно, не понял причины этой просьбы, но как Полина самым убедительным голосом повторила ее и как он сам не любил добиваться чужих тайн, то он и замолчал, и священник также не мог ничего ему сказать. Он узнал от него только то, что когда Полина постучалась у ворот, он видел карету, стоящую недалеко от его жилища, которая была окружена несколькими верховыми, и что как скоро отворили ворота и ее впустили, то и карета, и верховые повернули влево и поскакали в лес.

На другое утро радость нашего общества увеличилась явлением честного Петра, который при начале сражения ушел в кусты; проходил, с навьюченными на спине пожитками, целый день по лесу, почти умер с страху и голоду, наконец нашел крестьянина, который вывел его на дорогу; тут начал он искать своих господ и пришел к ним в то самое время, как Фрицу перевязывали в другой раз раны, как лекарь обнадеживал его скорым выздоровлением, а Полина и Лиза стояли рука с рукой у его постели.

ГЛАВА XLVIII

ИСПЫТАННАЯ ЛЮБОВЬ

Как смешно бы было, если бы театральный машинист, по окончании представления какой-нибудь славной волшебной оперы, велел поднять еще занавес, чтобы показать зрителям всю механику декорации, обнаружить им все веревки и колеса, посредством которых двигались холмы и деревья; также смешно бы было и то, когда бы сочинитель не оставил читателям ничего отгадывать. Повествователь этой странной, но справедливой повести уверен, что читатели, а особливо читательницы (которые, по собственному его опыту, имеют отличную проницательность и гораздо скорее делают свои заключения, нежели

мужчины) уже давно знают последние две главы и давно разгадали все, что оставалось неизъясненным.

Что Фриц после разлуки с другом своим был возвращен в свое отечество; что он явился в полк свой, который много претерпел во время продолжившейся войны и для своего комплектования отослан был на старые свои квартиры; что молодой герой, привыкши к деятельности, взялся предводительствовать командою солдат для очищения дорог от разбойников, все это, само по себе, разумеется.

Честь принудила Вильгельма скрыться, а причиною скорого его возвращения было весьма справедливое французское великодушие. Ибо когда он сам пришел в главную квартиру генерала, который стоял с своею армиею на швейцарских границах, и добровольно отдался в плен, и с благородной отважностью рассказал историю своего побега, то полководец почел за нужное заглазить несправедливость, пользовавшись случаем размена пленных, возвратил ему свободу.

Какое употребление Вильгельм сделал из свободы своей, можно легко узнать. Он поехал туда, где оставил верную свою Лизу, надеясь там найти ее. Но, узнав, что она за сутки перед тем уехала, нанял он почтовых лошадей и поехал за нею вслед. Со всякой милею уменьшалось разлучавшее их расстояние, наконец в последний городок приехал он за час после их отъезда, и боязливый хозяин рассказал ему все, что знал, и как она, несмотря на его советы и на Полинину усталость, настояла в продолжении пути своего.

Вильгельм дрожал, воображая себе опасность, в какую завела ее материнская любовь. Он полетел к коменданту, старому своему товарищу по службе, и просил его дать ему солдат до ближайшей станции. Тотчас двадцать лучших гусаров получили приказание следовать за ним: он полетел за своей супругой. Шум в лесу поразил слух его, и он подоспел туда вовремя, дабы спасти свою Лизу и отомстить за своего друга.

Мрачный покров скрывает от нас приключения Полины, и, может быть, мы бы и теперь не могли поднять его, если бы она сама, спустя несколько лет, не открыла тайны своему мужу в минуту взаимной доверенности. Начальник разбойников, который произнес ее имя и увел ее в лес, был брат ее Филипп. Изнеженный в юности, воспитанный в мыслях, что он принадлежит не к низкому классу людей и не должен жить работою рук своих, думал он, что счастье и честь неразрывно сопряжены с знатным происхождением; с сими глупыми мыслями оставил он свое отечество, хотел играть блистательную роль между эмигрантами, связал дружбу с негодями и наконец, увлеченный ими в распутство, сделался разбойником.

Долгое время отправляя он худое ремесло свое довольно счастливо, но как шайка его час от часу увеличивалась, то правительство обратило на него внимание и приняло хорошие меры. И в самой вещи, скоро шайка его рассеялась, и он сам был довольно счастлив, что скрылся в Америку и тем избавился от эшафота.

Когда в жару сражения узнал он стоящую на коленях сестру свою, то сердце его тронулось, он позабыл собственную опасность свою, чтобы спасти ее. По окончании сражения, когда оставшиеся люди его опять собрались, велел он отыскать ее драгоценный ларчик, отдал его ей и проводил ее сам, по одной им только известной дороге, до жилища доброго священника. Тут подал он ей руку, которую оросила она горькими слезами, видя его в таком униженном, бедственном состоянии; на заклинание ее возвратиться к добродетели отвечал он одним ужасным молчанием.

С горестью в сердце и приняв твердое намерение никогда никому не открывать стыда своего брата, оставила она его на произвол Провидения и поспешила вступить в средину нового семейства, где в супруге своем нашла она и отца, и брата.

Любовь, дружба, надежда скоро возвратила здоровье Фрицу. Счастье поселилось в жилище Вильгельма. Веселость, удовольствия сияли на лицах родителей и их детей. Оба друга повесили оружия свои на стену, поливали свою капусту и вместе с Вольтером⁷⁴ говорили:

Ah! Cachon nous, passons avec les sages,
Le soir serain d'un jour, melé d'orages.

КОНЕЦ

РЕЧИ, ПРОИЗНЕСЕННЫЕ В ДРУЖЕСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ

〈О ДРУЖБЕ〉

Любовь и дружба — вот чем можно
 Себя под солнцем утешать!
 Искать блаженства нам не должно,
 Но должно менее страдать!
 И кто любил, кто был любимым,
 Был другом, нежным, святочтимым,
 Тот в мире сем недаром жил,
 Недаром землю бременил!¹

Друзья мои! Кто из вас не повторит сего со мною? Мы живем в печальном мире и должны — всякий в свою очередь — искать горести, назначенные нам судьбою², и если нежная дружба, если пламенная любовь соединятся, чтобы облегчить страдания наши, то возблагодарим милосердное Небо! Я буду говорить с вами о дружбе, — и что больше и приятнее может занимать нас в сии минуты, посвященные всему доброму, как не дружба небесная, благодатная, улаждающая горести, оживляющая радости и наслаждения житейские, Любовь — которую не сравниваю с дружбою³. Любовь — страсть сильная, пламенная — должна неоспоримо уступить ей! Любовь часто бывает источником горести, дружба всегда приносит с собою радость и утешение; любовь воспламеняется быстро, горит сильно и совсем потухает, если не успеет обратиться в дружбу, которой чистое пламя кротко, нежно греет сердце теплотою животворной и его не распялет. — Наконец, любовь в этом мире — гонима и несчастна; предрассудки, бедность, честолюбие и гордость нередко разрушают два сердца, созданные друг для друга, и роют между ими пропасти неприступные. Дружба не боится ни злобы, ни предрассудков, никакая сила не может разлучить сердца, соединенных самою природой, ни моря шумящие, ни степи непроходимые, ни гонения оскорбленного рока, — дружба и под кровом сельским все та же чистая божественная дружба, утешительница добродетельных, Гений-хранитель тружеников мира.

Пифагор в разговоре о дружбе сказал: «Я не один, когда со мною друг мой, однако ж нас не двое», — сильное, много значащее изречение, достойное великого философа, который произнес его⁴.

Я не буду распространяться в дефинициях дружбы⁵, я скажу только, что она есть чистый неразрывный союз двух сердец, рожденных одно для другого, что она имеет свои обязанности, свои законы, которые сама себе начертала и без которых существовать не может.

Вы, конечно, согласитесь со мною, что человек соединен с человеком некоторым внутренним чувством родства, данным ему от природы, а может быть, еще и больше своими собственными выгодами, ибо человек без человека был бы самую бедною, беспомощною тварью в свете; но вы согласитесь также, что сей союз, сколь он впрочем ни силен, не может назваться именем дружбы — и даже ничто в сравнении с нею. Посреди миллионов мне подобных существует для меня только один человек, к которому стремится мое сердце, которого одного оно требует и одного любить хочет с тою нежностью, с тем жаром, который только дружбе приличен — и это мой друг, мой любимец, которому душа моя поклялась; в груди его бьется половина моего сердца, он хранитель моих чувств, моих мыслей, он разделяет мое счастье, сносит мои горести — с ним не страшны для меня леса дремучие, с ним сельская хижина прелестнее для меня чертогов пышных, одним словом, это второй я, которого ничто, ничто не разлучит со мною.

Но как редок такой друг! Где найдем человека, который бы решился пожертвовать большею частию самого себя для того единственно, чтобы удвоить существо свое в своем друге. Выбор самое трудное в дружбе, мы повинемся влечению своего сердца и бываем обмануты; и кто не обманется, видя нежную, пламенную любовь, изображенную в лице дружелюбном, внимая трогательным изъяснениям добродушия, которые нисколько не согласны с сердцем. Ты бросаешься со всем испушением радости в объятия, которые — казалось — только для тебя были отверсты, и находишь лед, трепещущий в груди, к которой ты прижимаешься, — несчастный опыт лишает бодрости, — недоверчивость заступает место свободной непринужденности, большая и лучшая часть жизни твоей проходит в тщетных изысканиях; если наконец найдешь сердце добродетельное, готовое слиться с твоим сердцем, то уже будет поздно — время драгоценное, невозвратное протекло, жизнь твоя стала.

Но как счастлив тот, кто нашел себе друга испытанного, постоянного, кто нашел его тогда, когда он более всего нужен, — когда сердце пламенное, кипящее, начинающее только жизнь, требует себе наслаждений и открывается ко всему доброму и благородному, — тогда друг

есть прямо неоцененный дар неба, тогда дружба есть училище добродетели, храм счастья и наслажденья.

Законы дружбы — если только можно назвать законом то, что предписывает нам наше сердце, — законы дружбы так же кратки, как и сама дружба; и скажите, кто не согласится исполнять их все, когда от них только зависит единственно сохранение нашего счастья, наших радостей, — одним словом, дружбы. Я бы не стал и упоминать об них, если бы не знал, что человек часто с самым лучшим намерением и думая исполнять то, что ему должно, делает совсем противное — я люблю своего друга, люблю искренно, но не умею поддержать дружбы его, и союз наш час от часу ослабевает более-более и наконец — где дружба наша?.. Итак, позвольте мне поговорить о сих законах, которые, я уверен, вы давно уже слышали в своем сердце, но которых, может быть, — простите моей откровенности, — вы разобрать не умели. Я сужу потому так, что наше собрание, собрание друзей, едва было не разрушилось при самом своем начале.

Не довольно того, чтобы уметь выбирать друга, должно уметь всегда быть с ним другом, и в этом одном состоит все искусство. Еще повторю, пожертвуйте большею частию самих себя, чтобы удвоить бытие свое в друзьях своих; эгоизм не может существовать вместе с дружбой, — перестаньте быть эгоистами, и вы исполните все, чем обязаны друзьям своим!

Союз дружественный заключается сердцем, без его участия он никогда быть не может, — и что один холодный разум там, где должно действовать пламенное сердце? Дружба, заключенная умами, подобна тому союзу, который две стороны держав чрез своих политиков заключают одна с другою. Ты не можешь чувствовать, откажись от дружбы, или она будет так же холодна, как лед на вечных горах альпийских. Для тебя нет наслаждений, они предоставлены только тому, кто их ощущать умеет.

«Разум, — говорит Бартелеми, — не может быть единственным союзом в дружбе — он хочет только блистать, он не терпит ничего ни выше себя, ни наравне с собою, он разрушает его равенство, столько необходимое друзьям в непринужденном взаимном сообщении чувств своих; более всего противна в дружестве сия острота, которая питается своим собственным самолюбием и не щадит самолюбия других».

Дружба не может существовать без взаимного почтения, — и скажите, могу ли я любить того человека, в котором ни достоинство его, ни характер, одним словом, ничто не возбуждает во мне сего тайного удивления, которое называем мы почтением, и которое, сливаясь вместе с любовью, никогда отделиться от нее не может — также должно заме-

тить и то, что излишняя короткость (*familiarité*) много ослабляет почтение, а с ним и дружбу.

Откровенность необходима в дружбе. Я не люблю того человека, от которого скрываю. Я не могу любить его, когда не могу открыть ему своего сердца; если почтение есть начало и, так сказать, существо дружбы, то откровенность следует за ним непосредственно и им одним поддерживается, — но с нею не надобно смешивать грубости⁶, которая говорит истину упрямо и производит к ней отвращение — откровенность должна быть весьма осторожна, должна быть даже несколько времени противна самой себе для того, чтобы после получить право говорить все без закрытия. Надобно всегда войти в сердце человека, чтобы узнать, как примет оно от тебя твою истину, и сия истина будет для самого друга твоего неприятна, если ты скажешь ее, не приготовив его ее выслушать, или выразишь так, что она тронет его самолюбие, — дружба нимало не оскорбится тем, когда ты будешь щадить ее, ибо самолюбие неразлучно с человеческим сердцем и против воли нашей оскорбляется тем, что, будучи представлено в другом, привлекательнейшем виде, было бы для него приятно.

Тожественность, сообразность характеров усиливают дружбу и делают ее твердою, неизменною, нет двух вещей в природе, которые бы были совершенно между собою сходны, и нет двух характеров, которые бы во всем были сообразны один другому, — но это и не нужно: излишняя сообразность превратилась бы в монотонию, за которою непосредственно следует скука, а с сею ослабевает и дружба. Напротив того, излишнее разнообразие так же вредно, как и монотония; две противности не могут быть соединены вместе, два совершенно разные характера не могут быть согласны; но человек может владеть своей натурой, может управлять; в его воле и давать ей такой точно образ, какой ему угодно. Твой характер горяч, прыток, непреклонен, — старайся укрощать его, смягчать и сообразовать с кротким характером твоего друга; начало будет для тебя трудно, — привычка облегчит трудности впоследствии времени. Если ты не переделаешь совершенно твоего характера — ибо он зависит от расположения твоего тела, — то, по крайней мере, сделаешь его столь гибким, столь же тебе послушным, сколько для тебя это нужно — ты получишь из сего двойную пользу: сохранишь драгоценную дружбу своего друга и приучишь себя владеть самим собою, — в пожертвованиях состоит главнейшая обязанность дружбы. Пожертвовать многими благами своему другу почти приятнее, нежели ими наслаждаться; дружба только тогда дружба, когда она выдержит опыты и останется неизменною. В древние времена умереть за своего друга, лишиться для него чести

было священнейшей добродетелью. Тогда Пифиас радостно умирал за Дамона⁷ и боялся только того, чтобы друг его не предупредил его казни своим прибытием, — о, такой друг стоит больше, нежели собственная жизнь наша, и кто за него ею не пожертвует, какая смерть лучше той, которая полезна для любезного души моей. Когда я жертвую чем-нибудь для своего друга, тогда я позабываю то, чего лишаюсь, и помню только о том, что приобретает друг мой! Радость его заменяет для меня все. Таковы и все жертвования дружбы; они легки для истинной, пламенной любви, чуждой всякого эгоизма, и невозможны для холодного, нечувствительного сердца, которое только себя любит и себя любить желает.

Наконец, последняя необходимость в дружбе — тонкость, осторожность в обхождении (*delicatesse*). Не пугайтесь слова осторожность и не сливайте его со скрытностью. Осторожность и тонкость обхождения в дружбе не иное что, как всегдашнее старание согласоваться с чувствами, с образом мыслей своего друга, щадить его слабости, уметь возвышать и воспламенять его способности и никогда ничем не оскорблять его, — стоит только быть к нему истинно привязанным, чтоб уметь так с ним обходиться; в сем случае надлежит спрашиваться только своих чувств, — ответ их будет лучшим для нас наставлением.

Вот законы и обязанности дружбы, сумма их составляет самую дружбу, и тот, кому сердце повелевает исполнять их, тот может назваться истинным другом.

Почти не нужно после сего говорить о пользе, о наслаждениях, получаемых от дружбы. Я счастлив вдвое, когда друг мой разделяет со мною мое счастье, — мои страдания не тяжки, когда есть для меня сердце, в которое могу излить тоску свою. Друг и в горести, и в блаженстве утешительный Гений⁸, которого слова, которого чувства явят отраду — лежат ли между нами горы, шумят ли между нами потоки и моря пространные, ничто не преградит сообщений чувств наших, сердца наши слышат друг друга и за горами, и за морями; и мысль, что на той половине мира дышит существо, мне драгоценное, которое обо мне думает и ко мне стремится, сия мысль и в самой разлуке составляет мое счастье.

С чем сравнить жизнь, проведенную в пламенных объятиях дружбы? Сердце наше тогда так полно, так спокойно, что, кажется, и самые несчастья не смеют приступить к нему.

Тогда жизнь пролетает скоро, подобно молнии, тогда и самая смерть нам не ужасна — является не в виде грозного, разъяренного чудовища, но в виде мирного Гения, который с небесною улыбкою разрешает узы, привязывающие нас к жизни. Ах, скажите, не привлекателен ли и самый одр кончины⁹ тогда, когда стоит перед ним друг мой, которого слезы в

последний раз воспаляют хладеющее мое сердце, которого взоры устремлены на потухающие мои взоры, который, сжимая ослабевшую руку мою, в последний раз говорит мне прости, принимает прерывающийся вздох мой в пламенную грудь свою... Ах, друзья мои! Часто с неизъяснимою сладостию мечтал я о сей последней и блаженнейшей минуте — часто желал иметь друга, для того, чтобы умереть в его объятиях — мысль сладостная, мысль утешительная! Жить в сердце нежном тогда, когда меня не будет, оставить по себе лучшую часть бытия своего в груди, носящей вечное о мне воспоминание — о друзья мои! Больше не скажу ни слова!..

О СТРАСТЯХ

Друзья мои, что такое страсти? Какой-нибудь ученик Зенонов¹ покажет мне на дымящие в поле брани, покажет на костры Лиссабонские², на которых при благоговейных мольбах к небу сожигаются жертвы мщения и фанатизма, на Потозскую мину³ — мрачный и ужасный гроб, изрытый корыстолюбием на гибель бедным человекам, — на могилу Вертера⁴, и скажет: «Вот ответ мой, вот признаки, по которым ты узнаешь страсти!» — «Нимало, — я узнал только то, что человек из всякого добра извлекает для себя зло, что натура дала ему все для его счастья, и что он не умеет пользоваться благами дарами природы!»⁵

Что же такое страсти? Не иное что, как самолюбие⁶, изменяющееся вместе с характерами и в разных случаях принимающее разные оттенки; оно есть первая побудительная причина наших действий, без него человек был бы то же, что машина, лишенная пружины, приводившей ее в движение.

Человек при своем рождении не получает от природы страстей, а только одну основу их. Самолюбие и страсти, которые мы теперь в нем находим, не иное что, как чада самолюбия, рожденного от общественного союза, в который человек вступает с человеком; они с ним неразлучны, и разрушить их значило бы разрушить все отношения, какие люди между собою имеют...

Люди вообще сходны между собою страстями, потому что их источник один; но они различны между собою тем, что каждый из нас повинуетя особенно какой-нибудь страсти преимущественно пред другими и прочие, так сказать, ей подчиняет.

Страсти благодетельны! Сия истина остается истиною, несмотря на все выражения хладнокровных Зеноновых последователей, несмотря на бедствия рода человеческого, которые смелые софисты дерзают им приписывать.

Страсти благодетельны! — повторяю еще раз — только злоупотребление их вредоносно, пагубно! Все совершенно, исшед из рук Творца природы, все приходит в упадок в руках человека — говорит Руссо⁷, и он прав. Страсти даны нам природой; сохраним, сбережем благодатный дар сей, и мы будем им наслаждаться, и не выпьем отравы из той чаши, в которую влит для нас бальзам питательный. Здесь, может быть, спросят у меня, для чего же Верховный Творец, давши нам страсти, не лишил нас возможности употреблять их во зло. Я не буду испытывать путей Провидения, но скажу в ответ недоверяющему: Бог, давши нам страсти, дал вместе с ними и возможность обратить их в существенную нашу пользу, отдалил их для нашего счастья, но не ограничил нашей свободной воли, которая властна избирать между добром и худом.

Страсти, говорю, душа всех наших деяний, без них добродетель холодна и нечувствительна, без них самая жизнь наша, лишенная своих наслаждений, мертва, подобно сумрачному, осеннему дню, когда солнце закрыто бледным туманом. Они оживляют наши радости и в самых бедствиях доставляют некоторые утешения, которых нет для холодного сердца какого-нибудь стоика.

Никогда бы не обвиняли мы страстей в своих бедствиях, когда бы умели управлять ими; натура, всегда благодетельная, предвидела нашу слабость и вооружила нас рассудком, холодным правителем и судьей дел наших; ему дала она владычество над страстями и повелела содержать их в границах, им предписанных. Но мы сами лишили рассудок его власти и отворили путь страстям своим. Кому же приписать бедствия? Конечно, не страстям и не Провидению, которого мудрый перст и в самых бедствиях наших виден, ибо оно соединило наказание с преступлением! Я думаю, что нам самим! Зачем же мне страсти, — может сказать мне стоик, — зачем, когда я не умею управлять ими? Ты не машина, следственно, можешь управлять страстями, — скажу я в ответ; они даны тебе для наслаждений, но для наслаждений умеренных; всякое излишество пагубно! Они тебе необходимы, ибо ты хочешь быть счастлив.

Бесстрастие совершенно противно натуре. Можем ли мы быть бесстрастны тогда, когда любим самих себя! И что получим мы от бесстрастия? Мы только вооружимся против радостей жизни, отравим все наслаждения и лишимся единственной своей опоры, благодетельной, кроткой надежды! Но горести будут для нас вдвое ощутительнее, ибо в наших страданиях не будет нас оживлять мысль о блаженной будущности, которою мы наслаждаться не способны! Бесстрастие, разрушая наслаждение, делает нас еще беднее, еще несчастливее прежнего.

Необузданность страстей также противна природе, ибо она пагубна! — Мы исчерпываем все наслаждения, лишаемся способно-

сти наслаждаться и часто бедственно погибаем! Что же остается нам делать? Не обращаться на всякую крайность, держаться середины, не выходить из пределов, положенных нам натурою!

Стараясь быть бесстрастными, разрушаем мы законы природы, которые всегда благотворны, всегда мудры и не терпят изменения; не обуздывая страстей своих, мы употребляем во зло дар ее, — итак, заключим: пускай страсти повинуются рассудку⁸, рассудок не уничтожает страстей; они будут для нас благодетельны, и наши наслаждения останутся всегда чисты и невредимы.

О СЧАСТИИ

Взгляните со мною на театр мира — тысячи пилигримов бегут за счастьем¹ — фантомом, который от них беспрестанно скрывается², — бегут разным путем, обольщаются надеждою, по мере того, чтобы достигнуть к благословенной его сени, приходят к открытому гробу, ложатся в него с растерзанным сердцем, с охладевшею душою, и расстаются с жизнью, как с мрачною, ужасною темницею, в которой цепи рабства их отягощали.

Какая же участь бедных человеков, где их счастье? Где настоящий путь к нему? Куда ни обратишь унылый взор, повсюду видишь страждущего, всюду видишь слезы, льющиеся от горести, всюду слышим укоризны отчаяния против угнетающего рока! Человек стремится за счастьем, и сам себя от него удаляет, страсти воздвигают почти непреодолимую преграду между им и божеством, которое он обожает. Он почти равно подавлен и горестями и наслаждениями, и со всем тем, прикованный алмазовыми цепями³ к жизни, которая все ему драгоценна, не имеет сил разорвать сей нити, свитой из горестей и мучений! Неужели Божество, создавшее вселенную, кинуло нас в этот мир только для того, чтобы страдать и терзаться? Неужели подобно песчинкам, брошенным в бурное море, отданы мы во власть слепого случая и бед, которые, как тучи, собираются над головами нашими и сыплют на нас громы пожирающие?

Нет! Нет! Кто дерзает укорять Его? Где гордый недоверяющий ум, который осмелился стать наряду с Творцом своим и судить Его? Человек, если ты несчастлив, обвиняй самого себя: вечное Провидение премудро — тебе ли испытывать Его законы? Перст Его указал тебе твое место, — страшись его оставить: бездна разверзнется перед тобою, и ты погибнешь.

Где ты ищешь счастья? В наслаждениях ненарушимых, неизменяемых. Безумец! Перемени прежде вечный порядок природы, ибо тогда

только исполнятся дерзостные твои желания; ты хочешь уничтожить горести, но счастье без них не существует⁴, иначе не было бы то счастьем; так как свет не был бы светом без тени, не чувствовал бы ты всей цены его, потому что оно престало бы воспламенять твои желания. Эта мечта твоего воображения, мечта привлекательная, которая оттого единственно кажется для тебя столь прелестна, что невозможна! — Откажись от нее, и ты будешь счастливее потому, что не станешь стремиться к такому счастью, которое для тебя не существует.

Наша жизнь есть чаша, из которой мы пьем радости вместе с горестями, — неразлучно с ними в этом мире мы должны испытывать бесконечные превратности, должны беспрестанно переходить от счастья к несчастью, от наслаждений к печалям — это постоянный закон природы, с ним получили мы бытие, без него наша жизнь была бы жестока и единообразна, подобно пространной степи, в которой взор утомленного странника не видит ничего, кроме ровной, гладкой поверхности, с которою сливается унылое небо⁵, в сем отдалении на весах жребия тяжесть счастья равна тяжести бедствий, — эти две стихии, которые так смешаны между собою, что мы никак не можем разделить их, — на самом краю бед есть для нас наслаждения, так как и в величайшем блаженстве существует для нас горечь. Какое же из сего выведем заключение? Неужели то, что человек должен слепо предаться грозному потоку, который увлечет его и наконец разрушит состав его: неужели он должен, подобно беззащитной жертве, склонить голову перед самовластным, безропотно выносить поражающие его удары и быть отоматом, который действует только чужою волею. Нет, конечно! Мы имеем неограниченную волю действовать и так счастливы, сколько можем. Не станем преступать чреды, наложенной нам самой природой, откажемся от сего химерического счастья, которое рождено только нашим воображением и которое только в нем существует.

Я могу быть свободным, я могу иметь друга! Я могу любить! Чего для меня больше? Свобода драгоценная — принадлежность человека — благодатный дар неба, отличившего его от прочих тварей!

Человек может быть свободным, может чувствовать, избрать наслаждения, — и ропщет, и почитает себя невольником, и обвиняет Небо тогда, когда один виновник своих страданий, безумный, не сам ли он наложил на себя оковы, не сам ли подверг себя обстоятельствам, которые железною рукою давят робкого, который не может преодолеть их, и уступают мужественному, который побеждает. Я свободен — следственно, могу быть счастлив, следственно, и мои несчастья от меня же происходят. Кто препятствует мне сделать себя независи-

мым от людей, посреди которых рождаются беды и горести, кто препятствует мне, не отделяясь совершенно от мира, отделить от него свое счастье, очертить около себя круг, на который бы житейские беды преступить не дерзали; — мое счастье во мне⁶, — пускай оно во мне и останется, и оно будет едино, несмотря на все превратности, которые принужден буду я испытывать в бурном океане света; горести человечества не пригнетут меня и не доведут меня до крайности проклинать судьбу и себя самого; много радостей в жизни, я могу ими наслаждаться, но не презираю их, потому что в воображении своем создал для себя химеру, которая не может быть существенною, которая подобно ему исчезнет, обманет меня и оставит еще беднее, еще несчастливее прежнего.

Будем свободны, но не дерзнем злоупотреблять свободой своей, положим на нее узы мудрости и добродетели, — в сих узах будем мы еще свободнее! Мудрость и добродетель осветят лучами своими мрачную дорогу жизни, и мы безвредно устранимся от пропастей, которые для непросвещенного и порочного всюду отверсты на сей опасной и трудной дороге.

Но если бедствия шумящею грозною толпою устремятся ко мне на сретение; если унылая, бледная горесть будет бороться с мудростью и добродетелью моею, если на то ослабеваю и колеблюсь под их ударами, — ах! Тогда любовь, дружба поспешат ко мне на помощь и спасут меня в своих объятиях. Они разделят мои страдания, усладят засыхающую грудь мою, — и я в бедствиях, меня поражавших, увижу только одни фантомы, которых страшный образ приводил меня в трепет и ужасал мое воображение.

Друзья! Ах; какое это сокровище, какое неоцененное приобретение для души чувствительной. Кто назовет мир сей лишенным радости, кто увидит мрачную стезю в цветущей природе, если у него есть друг, если есть сердце, которое может разделить пламенный восторг его? Пускай шумит надо мною гроза бед, я подам руку моему другу, прижму грудь свою к пылающей его груди и не усташусь ни громов, ни бедствий. И что такое бедствия, когда я могу презирать их; никогда, никогда не растерзают они моего сердца — я мужественно против них восстану и дерзостно попру их ногою.

А любовь! Любовь, святой небесный неугасимый пламень, греющий сердце и воспаляющий дух наш, готовый увянуть и погрузиться в холодное, мрачное бездействие. Любовь есть одно из великих средств природы, данных человеку для счастья, она слита нераздельно с существом нашим, и беден тот, кто не любит и любить не способен, большая часть наслаждений для него не существует. Томное сердце его в поло-

вину меньше чувствует, в половину меньше находит радостей в этом мире. Любовь живит душу и никогда ее не истощает; скажите, друзья мои, что сравнится с нею; кто блаженнее любовников, соединенных узами сердца, которые забывают мир и находят его только в самих себе. Какие моря, какие горы могут разлучить их; печать радости напечатлена для них на самых голых утесах; в грозных бурях раздается для них сладкая гармония любви. И в самых диких степях малое пленяющее воспоминание наполняет восторгом сердца их и оживляет пустоту и дикость, вокруг их царствующую! Друзья мои, свобода, любовь, дружба — вот законы счастья.

Юные младенческие лета наши улетели! Где они? Остались только сладостные воспоминания, осталось одно тщетное, горестное сожаление! Но мы еще в цветущих летах, наша весна во всем еще пышном блеске своем; наши сердца еще пламенны, еще не охладели к ощущению истинных, чистых радостей — мы можем еще пользоваться жизнью, которая уже расцвела для нас! Не будем терять времени — положим основание будущему своему счастью и укрепимся мужеством и силою против бед, которые, может быть, скоро на нас обрушатся. Пролетит сие время, невозвратимое, драгоценное; пролетит как легкий быстрый сон, и мы пробудимся и, может быть, пожалеем о милых мечтах своих! Ах, где будем тогда искать утешения, когда огонь эфирный, огонь чувств погаснет в утомленной груди нашей! Напрасно будем мы простирать объятия к прошедшему — его не возвратим никогда, никогда! Наступит время зимы нашей, лдяная рука лет сожмет пламенное наше сердце, и мир, в котором теперь находим мы столь наслаждений, покроется для нас туманным покровом, обнажится, и унылая душа наша не найдет в нем никакой для себя пищи. Тогда мысль ужасная, горестная о скором разрушении заступит место привлекательных мечтаний, в цветущей природе увидит взор наш зияющую могилу.

Друзья мои, друзья мои — все проходит, все скоро, быстро проходит — но сии быстрые минуты могут быть для нас счастливы. Этот мир, на котором жизнь наша мелькнет подобно тени, может быть для нас чертогом наслаждений — поклянемся на жертвеннике любви любить пламенно и страстно, подадим друг другу руку, и пускай вихрь времени влечет нас, куда хочет^{* 7}.

* «Подадим друг другу руку» из «Писем русского путешественника» (примечания В. А. Жуковского)

ИЛЬДЕГЕРДА, НОРВЕЖСКАЯ КОРОЛЕВА

ГЕРОИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Кто ты, героиня, одаренная духом *Одина*¹ и красотой *Фрей*?² Кто ты, которой образ с таким сиянием проникает сквозь туман, скрывающий чудеса веков прошедших? Явися мне, великий дух *Ильдегерды*, оставь блаженные жилища *Вингольфа*³ — колена мои преклоняются пред тобою, как пред героинею, как пред супругою, как пред матерью.

Свенд назывался принц, рожденный *Торою* некогда царствовать в Норвегии; еще колыбель была его тронем, еще роза служила ему скипетром, еще он не знал никакой другой нужды, кроме голода, никакого другого успокоения, кроме сна. С прониканием женщины и с неутомимостию мужа управляла *Тора* дикою Норвегиею; с нежностью женщины и с твердостью мужа руководствовала она любезного сына своего по узкому пути младенчества к все объемлющему поприщу юношества. Он вырос, на лице его расцветала надежда наступающего утра, и седые воины, взирая на молодого государя, с удовольствием поглаживали долгие свои бороды.

Не шелковые одежды и драгоценные украшения, не принужденная улыбка и ложный румянец занимали тогда утренние часы женщин севера. Девушка, желающая понравиться норвежцу, долженствовала отказать от женской нежности, долженствовала подражать мужчинам в их военных действиях, объезжать диких лошадей, умерщвлять дротиком бегущую дичь, подставлять блестящий щит грозному мечу своей подруги. *Тора*, искусная в сих играх, часто собирала вокруг себя молодых девиц, и они под ее предводительством или гонялись в темных лесах за дикими зверями, или ломали копыя на гладких равнинах. Часто сидела государыня на возвышенном дерновом месте и увеселялась, смотря на своих амазонок, но всегда с удовольствием покоился взор ее на *Ильдегерде*, любезнейшей из подруг ее, ибо ни одна из молодых героинь не скакала так быстро на лошадях, не бросала так верно дротика и не ломала так искусно копыя, как она. А когда опускала она забрало своего шлема, чтобы отереть пот с величественного лица своего; когда обращала она вокруг голубые, победоносные глаза свои; когда она шла и белое перо тихо волновалось на ее шлеме; когда она говорила и голосом своим заставляла стыдиться флейту, о, тогда рождалось в сердце молодого принца некоторое неизъяснимое чувство, которое проникательная *Тора* читала с удовольствием в огненных глазах и на пламен-

ных щеках своего сына. Ибо хотя не царская кровь текла в жилах *Ильдегерды*, но она была последняя отрасль одной знатной фамилии, и в самом низком состоянии была бы достойна престола вселенной. Кто умел так искусно одним взором привлекать сердца, как *Ильдегерда*, и кто искал того меньше всех? Подруги ее смотрели на нее, и зависть рождалась в сердцах их; она зачинала говорить с ними, и зависть пропадала.

В то время *Ранфрид*, молодой шведский государь, бродил от одного северного двора к другому. Хитрая душа его питала в себе тщеславные предприятия, алчность к величию и могуществу наполняла огненный взор его. Не довольствуясь тем, что одни подданные его вздыхали под железным его скипетром, хотел он силою оружия соединить три государства под свою державу; для сего проехал он Данию и Норвегию, для сего приближался он к престолом монархов, и для сего старался он знать о их силе и слабости. Он был так же прекрасен и так же хитр, как *Утгардалоке**, жесток, как волк *Фарис*, и ядовит, как *Митгардский червь***.

В честь посетителя своего учредила *Тора* рыцарские пиры и увеселительные сражения; когда день начал склоняться к вечеру и рыцари, уставшие от военных действий, сняли шишаки свои, тогда явились — по повелению государыни — молодые норвежские героини на поприще, поклонились, по обыкновению рыцарей, судьям сражения и предложили *Ранфриду* изломать с ними *Ланц*⁴. С улыбкою взял *Ранфрид* тяжелое копьё, ибо он был искусен в рыцарских сражениях, с улыбкою вскочил на коня своего и въехал в отворенную загородку. Ни одна из амазонок не могла погнуть жиловатой руки его, копьё их разбивались об щит его, как слабые челноки о твердый утес. Наконец явилась *Ильдегерда*. Розовый луч вечернего солнца играл на светлом шишаке ее; лошадь прыгала и храпела под величавою героинею; как стрела, пустилась она на принца: копьё ее разлетелось в куски, но *Ранфрид* погнулся и едва усидел на седле.

«Ты сильна, — сказал удивленный швед, — могу ли я видеть лицо победительницы?» *Ильдегерда* проворно соскочила с лошади, сбросила с головы шлем, и белые волосы натуральными кудрями покатались на

* *Утгардалоке*, следуя Эдде или мифологии древних северных народов, есть злой дух, похожий на нашего дьявола. (Подстрочные примечания принадлежат Коцебу). От ред. — точнее, *Утгардалоки*, чаще — *Локи*. *Утгард* — холодная окраина земли за пределами обжитого мира людей — срединного *Митгарда*. *Локи* не вполне соответствует христианскому представлению о дьяволе, воплощении зла: он плут и насмешник, посредник между богами, карликами и великанами.

** *Волк Фарис* и *Митгардской червь* — дети *Утгардалоке*. От ред. — на самом деле не *Фарис*, а *Фенрир*; точнее, змей *Митгарда*, *Ермунганд*. Живет в океане, окружающем землю.

белую грудь ее... Взор, брошенный ею на *Ранфрида*, оковал его: это был взор, исполненный важности и украшенный благородною улыбкою. Гордый властелин Швеции запылал, посмотрев на красавицу, и любовь, подобно уединенному цветку в ужасной пустыне, родилась в непреклонном его сердце.

Уже солнце погрузилось в недре вод, уже полный месяц блистал на западном небе, как веселое собрание, оживившись напитком из полной чаши, рассеялось для прогулки в прохладной роще. Все веселилось; там лежал на зеленом дерне рыцарь и просил у резвой девушки награды за верную любовь свою; там арфы бардов гремели дела веков прошедших, блаженство духов *Валкалы*, и соловей соединял с ними звонкие свои песни; тут бродили рука в руку два друга и откровенно разговаривали между собою, далее хороводы нимф резвились у журчащего ручья.

В густоте рощи низвергался водопад и составлял у подошвы холмов озеро. Недалеко оттуда, на цветущем берегу, лежал мшистый камень, согретый жаром дня. Сюда часто вечернею порою приходила мыться *Ильдегерда*: раздевшись, садилась она на камень, и мелкие волны лобзали ее ноги. Оставив пестрый круг придворных, удалилась она в любимое свое место. Уединенный месяц кротко сиял сквозь ветви дерев, но как шум в лесу был очень велик, то не осмелилась она по-прежнему скинуть с себя платье; до колена только подобрала она долгую охотничью свою одежду, бросила в траву сандалии и вошла в воду в том самом месте, где на мелком песку едва половина ног ее обмывалась.

*Гефион** защищала тебя, целомудренная *Ильдегерда*, ибо *Ранфрид*, пылая зверским огнем, бежал по следам твоим. Дерзостно вышел он из-за куста и с громким смехом схватил сандалии твои, которые ты положила на берег. *Ильдегерда* оборотилась: «Принц! — закричала она, выскочив из воды и опустив свое платье. — Принц, это не водится в нашем государстве».

Ранфрид. Что? У вас не водится подсматривать за девушками, которые купаются в воде? Поэтому — извини моей откровенности — норвежцы не стоят таких красавиц, какова ты!

Ильдегерда. Если красавицы земли твоей любят, чтоб за ними подсматривали, то они того достойны. Отдай мне сандалии и поди.

Ранфрид. Это то же значит, что «*будь теперь без ума!*»

Ильдегерда (*рассердясь*). По крайней мере, ты уже теперь забыл благопристойность, а разум без благопристойности то же, что дерево без листьев.

* *Гефион* — богиня целомудрия.

Ранфрид. Прекрасно! Ты словами играешь так же, как и сердцами; однако ж, не трогая ни разума, ни благопристойности, позволь мне самому надеть сандалии тебе на ногу.

Ильдегерда. Я еще повторяю тебе, удались!

Ранфрид. Или считаешь ты себя в опасности?

Ильдегерда (*презрительно*). О нет!

Ранфрид. Ты сердисься; ты и опасным меня не считаешь. Посмотри! Я говорю без всяких шуток! **Ильдегерда!** Я люблю тебя.

Ильдегерда. Право? Не более двух часов, как ты знаешь меня, а уж и любишь?

Ранфрид. Тем более тебе чести.

Ильдегерда. Этого я не думаю — пусть лицо мое благодарит тебя за такую честь.

Ранфрид. Нет, **Ильдегерда**, я побежден тобою; ты прекрасна, как *Носа*^{*}, и умна, как *Вора*^{**}. У меня есть жена, которой я не могу оставить, ибо отец ее сильный государь. При том ты не царской крови! Но несмотря ни на что, пади в мои объятия! Я буду содержать тебя, как принцессу: раздели со мною сердце и ложе.

Ильдегерда. На такое предложение у **Ильдегерды** один ответ (*дает ему пощечину и убегает*).

С ужасною яростию бросился **Ранфрид** за нею, но быстро, едва нагибая траву, перебежала **Ильдегерда** лес и устремилась к тому месту, где слышался звук рогов, означающий присутствие государыни. Здесь села она у ног *Торы* и молчала. **Ранфрид**, который вскоре за нею пришел, также не хотел обнаружить стыда своего при многочисленных свидетелях. Но взор королевы скоро открыл обнаженную ногу **Ильдегерды**.

— Для чего ты без сандалий? — спросила она свою любимицу.

— Я ходила мыть ноги, — отвечала **Ильдегерда**, — и сандалии положила на траву; верно, какой-нибудь зверь их похитил.

— Этот зверь был я, — прервал **Ранфрид** с яростным видом, — я не знал, что сандалии принадлежали тебе, иначе (*насмешливо*), конечно бы, их не тронул.

С сими словами бросил он сандалии к ногам **Ильдегерды**.

— Принц! — сказала *Тора* с важностию, — если ты опять когда-нибудь здесь будешь, то не забывай, что это мое государство.

Ранфрид замолчал, быстро посмотрел на него **Свенд**, ропот послышался между придворных, **Ильдегерда** улыбнулась, и эта минута сделалась источником многих злодеяний, многих горестных бедственных

* *Носса* — прекрасная дочь богини *Фрей*.

** *Вора* — богиня мудрости.

минут. Разъяренный швед, которого сердце было исполнено злобы, в ту же ночь удалился в свое отечество и унес черный яд мщения с собою.

Медленно и печально приблизился час, в который *Тора*, мать народа, отдала свой долг природе и устремилась к вечным радостям *Вингольфа**. Она умерла в объятиях *Ильдегерды* и своего сына, умерла, благословляя обоих. При горестных воплях миллионов насыпан курган, долженствовавший покрыть ее остатки. Безмолвно, с покрасневшими от слез глазами приближался нищий и приносил последнее свое имущество для погребения его, по обычаю государства, с умершею. Ни один рыцарь не стыдился плакать. *Свенд*, рыдая, закрывал лицо свое, *Ильдегерда* бросилась на могилу, и слезы ее лились на белые ее кудри. Долго, в немом бесчувствии лежала она у гроба. Полночь мрачным покровом облачила море и лес, только шум волн, только одно колебание высоких елей, только вздохи *Ильдегерды* прерывали мертвую тишину. Наконец заря возвестила наступающее утро, утро сумрачного, дождливого дня. Птицы спрятались в своих гнездах, один хищный ворон кричал в высоте воздуха.

Ильдегерда встала; еще раз с неизъяснимою горестию взглянула она на курган, омоченный росой и ее слезами, бросила на него отрезанный локон волос своих и удалилась — удалилась с подругами своими во внутренность леса, где крепкий замок, осеняемый дряхлыми дубами, принял печальных, и долго вздохи о *Торе* раздавались в стенах его.

Следуя наставлениям своей матери, творя блаженным народ свой, внимая гласу каждого несчастливца, исполняя законы дружества и рыцарского звания, взошел девятнадцатилетний *Свенд* на престол Норвегии, и любовь воцарилась с ним вместе. Под бременем государственных дел в кругу рыцарей, в храме правосудия при алтаре *Одина* искал взор его *Ильдегерды*, и сердце его томилось посреди веселостей пиршества, при играх рыцарей, при песнях бардов. «Какое мучительное чувство!» — вскричал он однажды, тихонько удалившись от стола, где тщетно сладкие напитки манили его своим запахом и звоны серебряных струн бардов привлекали слух его. «Какое мучительное чувство превращает для меня трон в гробницу, рождает в сердце моем холодность к радостям благоденствия и дружбы. Сбросим это несносное бремя, это блестящее рабство! Самые блаженные наслаждения *Валкалы*** будут для меня хладны, если судьба не позволит мне в объятиях любви вдвое почувствовать их сладости. Что препятствует мне? Для чего не произнесет язык мой признания, уже трепещущего на устах моих, что удер-

* *Вингольф* — чертог дружества.

** *Валкала* — рай воинов.

живает руку мою положить скипетр и корону к ногам той, для которой мало престолов света? Пойдем, пойдем к *Ильдегерде*, я не смотрю на предков! Ах! В ней только оживет для меня *Тора*, с нею только привлекателен для меня венец мой!»

Сказав сие, полетел он в храм богини любви*, чтоб ей принести жертву. «Почтенный старец, — сказал он жрецу ее, — служители Одина предсказали мне судьбу моего трона; темны были слова их, но я спокоен, одни тираны опасаются будущего. Скажи мне судьбу моего сердца; оно для меня столь же дорого, но да будут слова твои ясны, как луч солнца; любовник трепещет будущего».

С почтением преклонил колена свои седовласый старик и пошел в алтарь богини; непритворно, чисто воспыало к ней пламя на священном алтаре и в *Свендовом* сердце. С важным видом возвратился назад старец, мрачно было его лицо, облако его покрывало, и взор смертного не мог различить, солнце ли надежды или грозная комета под ним таилась; так зачал говорить он после краткого, священного молчания. «*Ты любимец богов и своего народа, — добрый государь получит награду свою в объятиях Валькиры*»**.

— Это она, это она! — воскликнул в восторге молодой государь. Какой между смертными могла богиня любви дать имя бессмертной — только ей, только *Ильдегерде* оно прилично, благодарю тебя, старец! Ты скоро услышишь обо мне, скоро дары мои обременят помост этого храма. Прости! Дай мне твою руку! Прости, молись обо мне!

«Принц!» — сказал старик, заминаясь и сомнительно качая головою, но *Свенд* не слышал ничего, *Свенд* бежал уже через рощу, одни только мысли его бежали быстрее, образ *Ильдегерды* носился перед ним, имя *Ильдегерды* было на устах его, и только одно истолкование, которое он давал обманчивому оракулу, казалось ему возможным. Задыхаясь, прибежал он к своему дворцу, задыхаясь, приказал он оседлать себе быстрейшую лошадь, и в прелестных видах представляла ему фантазия первую минуту свидания после года разлуки. Вдруг военная труба извлекла его из сладостных мечтаний. «Да и не худо, — сказал ему Тотт, старый его полководец, — вели оседлать себе лучшую лошадь, собери всадников и воинов твоих и ступай против злодея *Ранфрида*. Видишь ли ты там беспрестанно увеличивающиеся кучи плачущих беглецов, смотри, тот оставил дом свой, объятый пламенем, тот видел поношение жены своей. Иной лишился плодоносных своих полей, иной был

* Она называлась *Лофна*.

** *Валкира* — так назывались девы *Валкалы*, которых *Один* посылал в сражения, дабы воспламенить сражающихся и облегчить страдания умирающих.

свидетелем убийства безоружного отца своего. С войском грабителей и убийц опустошает *Ранфрид* твое государство. Так вели подать лучшую лошадь! Собери храбрых норвежцев! Ступай ему навстречу. Пусть почувствует этот бесчеловечный, что кровь отца твоего течет в твоих жилах, что сильна рука твоих рыцарей и что жив еще старик *Тотт*».

Точно так, как спящий сладким сном пробуждается с содроганием, пораженный кинжалом, точно так затрепетал *Свенд* при сем известии. Но взор на плачущих граждан заставил его опомниться, и любовник уступил место герою. Не медля, разослал он гонцов к верным полководцам своим, скоро собрались они, ведя за собою множество хорошо вооруженных воинов, и с трепещущим сердцем видит *Свенд* при стенах своего замка гордую рать под предводительством *Тотта*. Ступай отмщать за твоих подданных, говорило мужество в благодарном сердце юноши, меня зовут их вздохи, на меня устремлен слезящий взор их, умолкни, приятный голос любви, умолкни на время, я иду побеждать, иду собрать лавры, чтобы их положить к ногам *Ильдегерды*.

В блестящем вооружении вскочил молодой государь на своего коня, подле него ехал опытный *Тотт*; воины ударили в щиты свои; барды зазвучали воинственные песни на своих арфах, и воинство выступило в поход. Женщины, дети и старики толпились на пути, по которому шло оно, благословили своего монарха, который ласково смотрел на них, и просили у богов ему защиты, победы и сохранения жизни.

Так шли воины, жаждущие сражений и мщенья. Беспреестанно гонцы, возвещая горесть бегущих и грабительство разбойников, раздували пламя яростных сердец их. Недалеко уже отстояло неприятельское войско, как *Свенд* собрал вокруг себя главных своих полководцев и говорил им в жару юности с песчаного возвышения, служившего ему вместо амвона, следующее: «Завтра, друзья мои, завтра будет решительный день! Принесем жертву *Одину*. Да ниспошлет он победу мечам нашим, победу справедливости — она ждет нас, поспешим в тишине ночи противу дерзостного грабителя и убийцы. Да поразит его подъятый меч народов моих и да низвергнет его во время сна в мрачные объятия *Гелы*»*.

— Поттише! — прервал хладнокровный *Тотт*, — надобно приняться за дело так, как должно, как требуют того уставы рыцарства. Надобно сперва послать в шведский лагерь герольда, чтоб знать причину войны, узнать, не можно ль обойтись без пролития крови. Если требование *Ранфридово* справедливо, если он согласится заплатить за то, что разо-

* *Гела* — смерть. От ред. — точнее, *Хель* (норв.), *Хелл* (англо-сакс.) — богиня смерти. Так же называется Нижний мир, загробный мир.

рило необузданное войско, то, государь, избери пальму мира вместо подъятого меча войны.

Свенд. Чего ему требовать? И за что платить ему — разве он Бог! Разве может оживить моих подданных?

Тотт. К несчастью, нет! Что прошло, того не воротить! Никогда не увидим мы смертных, ступивших за таинственную завесу. Но еще живы сирые дети умерщвленных; еще вздыхает вдова, разлученная с своим супругом. Пусть отворит им *Ранфрид* свои сокровища, пусть втрое возвратит им похищенное.

Свенд (с благородным жаром). Неужели я буду требовать платы за кровь моих подданных? О! Целого *Ранфридова* королевства не возьму я за одну каплю крови последнего из моего народа.

Тотт. Это хорошо, хорошо тогда, когда еще кровь не пролита, но худо, когда зло уже сделано. Разве хочешь ты вести войско свое на смерть для одних только пустяков? Ты потерял *сто* и хочешь жертвовать *тысячью*.

Свенд. Соглашаюсь! Пусть будет по-твоему; я почитаю совет твой, как совет отца.

И в самой вещи, он последовал совету старого *Тотта*. Поутру в стане *Ранфрида* явился *герольд*, который требовал, чтоб его допустили к государю. Между гордых рядов многочисленной стражи приведен он к трону монарха шведов, который, окруженный своею гвардиею, читал, казалось, изменничество во взорах каждого и в середине собственных подданных своих трепетал от малейшего шороха.

Ранфрид герольду. За чем пришел ты?

Герольд. Выслушай меня, *Ранфрид*, государь Швеции! Чрез меня говорит *Свенд*, сильный монарх Норвегии. Для чего напал ты на меня, как разбойник на спящего странника? Для чего умертвил ты подданных моих и разорил мои земли? Для чего преступил ты право народа и с честью не объявил мне войны? Смотри, кровь подданных моих вопиет о мщении! Я вооружился, и *Один* накажет тебя моею рукою. Если же ты, как надлежит доброму государю и рыцарю, скажешь мне причину своего нашествия, если ты построишь опять хижины моих подданных и успокоишь горестный стон от тебя осиротевших, то я сберу полководцев и главных своего войска и буду с ними советоваться о твоём требовании, и когда оно будет справедливо, то даю царское свое слово, что буду на него согласен, если ж ты отвергнешь миролюбивое сие предложение, то пусть судит нас *Один*, пусть на тебе останется стон умирающих, кровь убиенных.

Герольд замолчал; *Ранфрид* нахмурил густые брови, бросил грозный взор на присланного и отвечал следующее: «Поди, скажи юноше *Свенду*,

что *Ранфрид*, король Швеции, государь сильного народа, ужас Севера, не требует от монарха Норвегии его государства, что он по снисхождению своему готов заплатить за то, что отняли у него его воины. Одно обладание *Ильдегердою* было славною целию его оружий. Если *Свенд* в течение трех дней отдаст ее *Ранфриду*, то грозное сие войско оставит пределы Норвегии; если ж нет, то с мечом в руке проложит он к ней дорогу, сквозь соединенные ряды его».

Под тению столетнего дуба сидел молодой государь у ног *Тотта*, прилежно внимал словам опытного старика и поучительным его повествованиям о многих сражениях, о многих победах. Герольд предстал пред него и с трепетом повторил гордый ответ *Ранфрида*. С яростию вскочил *Свенд* с своего места, но *Тотт* сидел спокойно.

Свенд. Прежде упадет небо! Прежде потекут воды к своим источникам, нежели я исполню это постыдное требование.

Тотт. Тише, молодой человек, тише! Разберем хладнокровно *Ранфридово* предложение; сравним то, что ты потерять *должен*, с тем, что ты потерять *можешь* — ты должен потерять женщину. Ты можешь потерять государство.

Свенд. Но эта женщина была любимица моей матери.

Тотт. Благословение тебе за то, что ты считаешь память своей матери! Но и сама Тора пожертвовала бы своею любимицею для народного блага!

Свенд. И так я должен *Ильдегерду* сделать несчастною? Ее, которая меня никогда не оскорбляла, за которую каждый рыцарь с радостию будет сражаться, ее должен я предать во власть тирана, о! Никогда!

Тотт. Да разве ты наверно знаешь, что она будет несчастлива! Как часто добродетельные супруги мудростию и кротостию своею превращали кровожаднейших тигров в человек. Разве *Ильдегерда* не довольно имеет достоинств, чтобы жестокосердого врага Норвегии сделать нежным супругом и союзником *Свендовым*!

Свенд. Разве победа *Ранфридова* не столь же сомнительна, как и счастье *Ильдегерды* в его объятиях! *Тотт*, я не узнаю тебя! Ты предводительствуешь сильным войском, ты должен сражаться за справедливость, и ты трусишь.

Тотт (*улыбаясь*). Молодой человек, если когда-нибудь придешь ты в *Валкалу* и увидишь там отца и мать свою, то спроси у них, трусил ли когда-нибудь *Тотт*? Нет, юноша! Три сражения дал я уже на этой границе. Одержав в последнем победу, подал я тебе венок, которым наградил меня отец твой, ты играл им в твоей колыбели — тогда отец твой пожал мне руку и сказал, еще кажется, слышу я его голос — «*Тотт*! Если *Один* потребует меня к себе прежде, нежели вырастет этот мальчик, то

храни его мечом своим так же, как и меня; дай почувствовать ему, что никогда не должно сражаться для того, чтобы играть такими венками».

Свенд (*тронувшись*). Прости мне, честный старик! Но и ты несправедливо думаешь обо мне; пусть накажет *Вафа*^{*}, если пустое желание славы горит в груди моей! Постыдно кажется мне такую цену испкупить мир! Постыдно сделать такое предложение *Ильдегерде*.

Тотт. Последнее беру я на себя (*Свенд пугается, Тотт говорит далее*); я знаю *Ильдегерду*; она всегда была выше обыкновенной женщины, а иногда и выше самого мужа. Отец ее был друг мой, с самых молодых лет; он пал на сражении подле меня, последним вздохом своим посвятил мне *Ильдегерду*. Я сдержал слово, и она стоит этого. В ней пылает дух отца ее, радость блеснет в глазах ее, когда я скажу ей, что жертва, для которой ее назначили, спасет жизнь многих тысячей, может быть, жизнь самого ее государя (*встает*). Я спешу к ней. Заклучи, между тем, на шесть дней перемирие с *Ранфридом*. Прежде, нежели пройдут они, будет *Ильдегерда* в лагере (*хочет идти*).

Свенд (*с сильным движением*). Погоди немного, любезный *Тотт*, еще минуточку! И так, в самом деле, думаешь ты, что... что...

Тотт (*смотря на него с удивлением*.) Я думаю то, что ты очень странен и что мне стыдно видеть, что ты дрожишь.

Свенд (*бросаясь ему на шею*). Отец мой, я люблю *Ильдегерду*!

Тотт (*помолчав*). Право! А! Теперь понимаю! Не удивляюсь, что ты разобрал меня давичи — ты любишь *Ильдегерду*? Что ж намерен ты с нею сделать?

Свенд (*величественно*). И об этом *Тотт* спрашивает?

Тотт. Итак, ты на ней женишься! (*Качая седую свою головой*). Молодой человек, молодой человек! Я не хвалю этого. Однако переспорить влюбленного труднее, нежели выиграть три сражения. Я молчу, пойдем, станем биться.

Свенд. Так биться, биться — сражение при тебе только игрушка.

Они пошли. *Свенд* летал от одной ставки к другой, обнимал каждого рыцаря, жал каждому воину руку, лил пламень взоров своих в грудь каждого; воинство запыхало юношеским огнем его и скоро раздался крик брани! За ним шел старик *Тотт*, осматривал с важностию лежащее пред ним военное поле и показывал каждому солдату его место, место, которое он, не иначе как победив или погибнув, должен был оставить; посреди криков разгоряченного войска, в которых едва слышались бранные песни бардов, думал *Свенд* только об *Ильдегерде*; он видел образ ее на каждом блестящем щите, на каждом веющем зна-

^{*} *Вафа* — богиня клятв.

мени и, несмотря на громкие восклицания, чаял слышать приятный ее голос. В ставке своей бросился он на ковер и так говорил сам с собою.

«Потерять жизнь, потерять государство за *Ильдегерду*; эта мысль нимало не горестна. Но если *Один* хочет пощадить недостойного, если судьба избрала меня для того, чтоб быть примером, что и справедливость иногда побеждается, если завтра, вместо того, чтоб с лаврами возвратиться к *Ильдегерде*, увижу я мать свою в *Валкале*, то кто скажет ей о том, что сделал для нее *Свенд*, для нее, которая нимало не воображает, какую жертву готовится ей принести мое сердце, для нее, которая, может быть, и в глазах моих не читала признания любви моей. Охотно, охотно хочу я умереть, но умереть оплаканным от *Ильдегерды*. Она узнает, узнает тайну, хранившуюся в груди моей; и тогда пусть *Один* управляет моей судьбою! Вздох *Ильдегерды* будет спутником моим в жилища *Валкалы*».

Так говорил он и, схватив пергаментный сверток, написал следующее:
«*Свенд, король Норвегии, к Ильдегерде.*»

Помнишь ли ты, любезная подруга юности моей, помнишь ли ты о тех блаженных днях невинности и радости, которые при глазах *Торы* так быстро пролетели? Повторяешь ли ты еще имя *брата*, имя, которое некогда приводило меня в восторг? Помнишь ли ты еще благословение, данное нам обоим *Торою* при конце ее жизни? Если хотя один из тех блаженных часов, проведенных нами в сердечном союзе, остался в душе твоей, то укоряй меня, меня, который никогда от тебя не скрывался, укоряй за то, что несколько месяцев желания и надежды таились в груди моей и не были открыты *Ильдегерде*, за то, что и теперь еще рука моя дрожит и щеки пылают, как будто бы низкое чувство наполняло сердце сына *Торы*. *Я жертвовал в храме любви* — вот мое признание! *Обладание Ильдегерды* — вот желания мои и надежды, для того, чтоб похитить тебя у *Свенда*, пришел *Ранфрид* с сильным войском в Норвегию. Решительная минута приближается, минута, которая рассудит *Ранфрида* с *Свендом*. Если любовь и счастье будут благоприятствовать мне, то *Свенд*, через несколько дней, положит свою корону к ногам *Ильдегерды* и *Ильдегерда* исполнит благословение, которое мать моя, умирая, нам изрекла. Если же восторжествует враг мой — а только последняя минута моя будет первою торжества его — то пусть слеза твоя упадет на преждевременный гроб мой, пусть вздохнет *Ильдегерда* о потере своего брата, своего супруга».

Запечатав письмо шишкою рукоятки меча своего, отдал его верному гонцу, за которым взор его следовал дотоле, покуда он не пропал за возвышением. Весело возвратился молодой государь в свою ставку, оруженосец пришел вооружать его, весело смотрел он на блестящие латы,

которым или кровию врагов, или его собственною обагриться было должно; легче казался ему тяжелый стальной шлем, легче блистающий нагрудник. Он сел на коня своего и с обнаженным мечом полетел пред войско. Восклицания загрели ему на встречу. «Голубое перо! — шептали между собою солдаты, — не теряйте его из виду! Молодой герой в первый раз еще сражается; он будет слишком смел, в этом уверяют огненные взоры его, сюда! Старые опытные рыцари! Сюда! Соберитесь вокруг его». Немедленно тридцать или сорок храбрейших воинов окружают молодого государя, грудь каждого есть новый щит ему, и эта малая толпа сильнее многочисленной *Ранфридовой* стражи. С силою юноши взмахнул старый *Тотт* блестящим мечом своим и в минуту на обоих крылах воинства зазвучали бранные трубы, барды загрели песни, рыцари опустили забралы, зазвенели оружия, заржали кони, распустились знамена, и сильно забилося сердце молодого героя. «Чего мы медлим? — говорил он старику *Тотту*, — полетим! Полетим с быстротою молнии, смотри, жироватая рука рыцарей моих едва удерживает горячих коней». «Мы медлим для того, чтоб победить, — отвечал *Тотт*. — Пусть укротится первый огонь сей — он высоко подыметься, но мало объемлет». Медленно, подобно черной туче, носящей молнию в грозном недре, пошел он против трепещущего неприятеля. *Уффо*, достойный сын *Тотта*, который во многих сражениях делил лавры с отцом своим, *Уффо*, с отборными людьми, пробрался чрез кустарник около горы и дожидался знака к битве, чтоб непредвидимым нападением превратить робость наемников в сильный ужас.

Между тем *Ранфрид*, окруженный лучшими рыцарями своими, бегал от одного крыла армии к другому, повторял каждому долг его и старался возбудить слабеющее мужество солдат своих близкою надеждою грабежа. Но что может сделать низкое корыстолюбие тогда, когда оно должно сражаться с любовью к отечеству. Уже меч народов *Свендовых* проникнул в сомкнутые ряды шведов, уже *Тотт* рассеивал ужас и гибель вокруг себя, уже рука *Свендова* сложила кучу из мертвых трупов, уже латы *Уффовы* обагрились кровию шведов, уже стоны умирающих неслись к небу; *Ранфрид* видел это, дрожал и скрежетал зубами. Тщетно кричал он, стараясь собрать бегущих своих наемников, тщетно проклинал он час своего рождения, проклинал *Одина* и богов; отчаянье овладело им. С бешенством бросился он в толпу норвежцев; за ним последовал отряд смелых юношей; и смертоносный меч отворил им путь к тому месту, где голубое *Свендово* перо в воздухе колебалось. «Ты ли это? — закричал *Ранфрид* гремящим голосом, — ты ли, который недавно вышел из колыбели и уж хочешь сражаться с *Ранфридом*! Выходи, ребенок, не прячься под щиты своих рыцарей; попробуй сразиться с мужем!»

— Добро пожаловать! — закричал ему *Свенд*, — долго понапрасну искал я тебя в шуму сражения, выходи, похититель женщин! Выходи. Ребенок готов наказать тебя.

Опустив повод, поскакал было он против *Ранфрида*, но верные телохранители его, которые несколько раз отвращали от него опасность и которых число до половины уменьшилось, бросились между сражающимися и окружили своего государя. «Нет! Ты не должен подвергаться опасности с недостойным, который посрамляет собою корону и хочет похитить у тебя твою. Он не рыцарь более, пусть последний из солдат наших выйдет против него и умертвит его древком палатки; он другого недостойн». Кипя бешенством, закричал *Ранфрид* к своим: «Сюда! Отмстите за своего государя». Немедленно яростная толпа нескольких сот воинов бросилась на двадцать героев, которых грудь служила стеною их государю. Ни один не отступил, ни один не пал, не взяв пяти неприятелей с собою в *Валкалу*. Наконец пал и последний, пал от беспрестанно прибавляющейся и с мужеством биющейся толпы. *Свенд* остался один, смелость юноши завлекла молодого героя слишком далеко от его воинства. «Покорись! — закричал ему *Ранфрид*. — Пусть вступлю я в замок *Ильдегерды*, приковав тебя к торжественной своей колеснице!» Удар копья был ответом *Свендовым*. Быстро бросился на него *Ранфрид*, и сильный удар, которым он поразил своего соперника, скользнул на блестящем панцире. Яростное сражение началось между государем Швеции и отцом Норвегии. Юноши из свиты *Ранфридовой* бросились было, чтоб беззащитного *Свенда* стащить с лошади, но два старых рыцаря, одни только, у которых пылала в груди рыцарская честь, вступились и грозили заколоть того, кто осмелится к нему прикоснуться; они составили круг около сражающихся, бросили суровые взгляды на злонамеренных юношей и наблюдали за порядком поединка. Подобно молниям, сверкали мечи биющихся; *Ильдегерда* и королевство должны были наградою победителя, *Ранфрид* желал обоих, *Свенд* только *Ильдегерды*. Долго победа оставалась сомнительна, ибо геройство и искусство сражались против отчаянного бешенства, но как скоро *Ранфрид*, желая окончить одним ударом поединок, схватил меч обеими руками, поднял его, чтобы со всею силою обрушить на голову молодого государя, то *Свенд* приметил непокрытое место там, где панцирь сходил с нарукавником, искусно отвел он грозный удар, уже конец меча его искал дороги к *Ранфридову* сердцу — как вдруг один злоумышленный убийца ударил его палицею сзади, без чувств упал *Свенд* с лошади, кровь брызнула из его шеи. Один из старых рыцарей заколол злодея, нагнулся к *Свенду* и поднял забрало его шлема. Лицо его было в крови, глаза

совсем померкли. «Добрый государь, — сказал он, издыхая, — получит награду свою в объятиях Валкиры». Тотчас положили его на коня и повезли с поля сражения, но он умер, умер прежде, нежели успели довести его до ближнего источника, которого водою старый рыцарь хотел подкрепить несчастного.

«Свенд убит! — закричал *Ранфрид* к своим, — победа наша! Назад!» «Свенд убит», — закричали бегущие толпы шведов и оборотились назад. «Свенд убит, — раздалось в обоих концах войска, — с ним пропало мужество норвежцев». Ах! Это было слишком справедливо! «Свенд убит! — говорили вполголоса один воин другому, — пропало голубое перо, которое пред нами колебалось». «Свенд убит!» — шептал рыцарь рыцарю, и скоро ужасная весть достигла до старого непобедимого *Тотта*, который с толпой своей сражался еще с неприятелем. «За мною, дети! — закричал он, задыхаясь, — отмстим за государя, за отца нашего!» Но напрасно бросился он снова в толпу сражения, только малый отряд нескольких сот воинов последовал за ним. Ужас и уныние овладели побеждавшим уже воинством, норвежцы побежали в беспорядке, и тысячи пали под смертоносным мечом преследующего неприятеля. Только *Тотт* стоял непоколебимо с храбрым отрядом своим, взошел на холм и защищал жизнь и честь свою против всего шведского войска. «Где *Уффо*, сын мой? — закричал он близ стоящему рыцарю, — не бежит ли и сын мой?» «Нет! Почтенный старец, — отвечал рыцарь, — он пал в жару сражения, он пал покрыт ранами».

Тотт. Видел ли ты его? Наперед ли его раны?

Рыцарь. Все на груди и на голове.

Тотт. Ну, слава *Одину*! Нынче будем мы сражаться; завтра будет время плакать.

Так говорил он и поднял забрало шишака своего, чтоб стереть пот с геройского своего лица. Тут зашумела в воздухе стрела, вонзилась в правый глаз старца, и последний защитник Норвегии пал бездыханен на землю. Стон всего оставшегося войска раздался при его падении! Меч выпал из ослабшей руки его, и все руки, обессилев, опустились. Но ни один не захотел быть одолженным жизнью своею разбойникам, и *Ранфрид* сложил горы из трупов убиенных.

Лети, дух мой, лети от кровавых полей, усеянных жертвами. Для чего медлишь ты посреди трупов! Не храбрые, не великие дела знаменует дымящееся поле брани, *Тотт*, *Свенд* и *Уффо* погибли. Неси меня, фантазия, неси на крылах своих в спокойную рощу, туда, где во мраке земных теней приняла *Ильдегерда* гонца, пришедшего возвестить ей любовь его государя. «Вестник ли ты мира?» — сказала она ему, как скоро он вошел и стал перед нею на колени.

Гонец. Из рук государя получил я этот сверток для того, чтоб вручить его *Ильдегерде*.

Ильдегерда. Скажи, в каком состоянии было войско тогда, как ты оставил лагерь! Наказал ли *Один* злодея?

Гонец. Барды пели песни в то время, как я оставил лагерь, у меня самого кипела кровь. Рыцари опускали тогда забрала, оружия гремели, кони ржали, знамена развевались и трубы подавали знак к нападению.

Ильдегерда. О! Может быть, государь наш теперь уже победил; может быть, *Ранфрид*, питая ад в сердце, уже оставил наши границы.

С сими словами распечатала она письмо, стала читать, и щеки ее покрылись румянцем; прочла далее, и они запылали; слезы блеснули в прекрасных глазах ее. «*Оставь меня*», — сказала она ласково присланному.

Гонец. С охотою, прелестная девица, но не медли своим ответом, государь нетерпеливо дожидается меня.

Ильдегерда (краснея). Нетерпеливо? Почему ты это знаешь?

Гонец. Он сто раз приказывал мне ехать как можно скорее; говорил, что письмо важное, что каждая минута драгоценна для него. Сидя на своей лошади, которая быстро несла меня, слышал я еще его голос, он повелевал мне спешить, и издали видел я, что он стоял в палатке своей и, держа руку над глазами, смотрел за мною в след.

Ильдегерда (с чувствительностию). Довольно, довольно! Поди, накорми лошадь свою; завтра с первым лучом света отправлю я тебя в лагерь.

Гонец пошел, *Ильдегерда* упала на колени и молилась: «*Гора*, святая обитательница небес! Ты, которая в час смерти назвала меня дочерью! Явись молящейся *Ильдегерде*, явись, если, посреди радостей *Вингольфа*, ощущаешь ты блаженство матери, если имя *Свенда* любезно еще твоему сердцу, явись и истреби любовь в душе моей, если я недостойна быть супругою твоего сына; пусть сокроюсь я в мрак пустыни и буду плакать о том, что не царская кровь течет в моих жилах».

Она умолкла, и слезящий взор ее обратился к восстающей луне. Тихий вечерний ветерок повеял в кустах; запах цветков разлился в роще, и соловей запел унылую, томную песнь. Грудь *Ильдегерды* жглась, мрак, окружавший ее, наполнял сердце ее горестным предчувствием, робко осматриваясь, побежала она через рощу и заперлась в уединенной своей горнице.

Между тем известие о *Свендовом* письме разнеслось в замке. Болливый гонец рассказал окружавшим его амазонкам все; все, что знал и чего не знал, что *Свенд* ему говорил и чего не говорил; во сто раз увеличил он нетерпеливость государеву, сто раз пересказывал, как сильно

просил его *Свенд* скорее возвратиться, и кончил, наконец, с важным видом так: «Государя знает что-нибудь такое, чего голове моей нельзя придумать; может быть, вам *Ильдегерда* сама скажет».

Небо! Какой шепот, какие толки, какие споры поднялись между любопытными красавицами. Но как они ни догадывались, все вышло, что они ничего не знали. Наконец решились они за ужином узнать от *Ильдегерды* ее тайну, или, по крайней мере, угадать ее по лицу ее. Желанный час наступил, все взоры устремились на лицо *Ильдегерды*, когда сия последняя с обыкновенным ласковым и величественным видом вошла в залу. Она пришла уже несколько в себя, кроткий луч надежды блистал на улыбающихся щеках ее; наконец сели за стол; все молчало, все с ожиданием смотрело на нее, которая, ничего не примечая, равнодушно разговаривала с сидевшею подле нее. Наконец пред концом ужина зачала *Ильдегерда* говорить, и каждая рука, поднявшая последний кусок ко рту, опустилась на колена.

— Любезные подруги юности моей, — сказала застенчиво прекрасная, — долго оплакивали вы со мною потерю *Торы* в этом уединенном замке. Я надеюсь, что заслужила любовь вашу, итак, выслушайте весть радости, весть, которую прислал ко мне *Свенд*: он удостоил меня избрать своей супругой.

Она замолчала, щеки ее покрылись нежным румянцем, взоры ее опустились вниз.

Удивление сковало язык вокруг сидящих. Но скоро вскочили они с радостию с мест своих, окружили *Ильдегерду* и поздравили ее своею государынею. Однако ж зависть и тут шепнула на ухо некоторым: одна смотрелась украдкою в зеркало и не понимала, что нашел *Свенд* хорошего в *Ильдегерде*; другая ворчала под нос, третья улыбалась только, но *Ильдегерда* знала трудное искусство и на самом троне быть непременною, и ласковый взор, кроткое величие ее привязывали к ней самое гордое сердце. Впрочем, хроники говорят, что только в первые часы сна не могла некоторая из девиц сомкнуть глаз, но что не зависть отгоняла спокойствие от уединенного их ложа; только прелесть удивительного, заключающаяся в сем происшествии, только надежды и мечтания будущего, которые играли в пламенной их фантазии, лишали их спокойствия и отталкивали руку сна, который было прилетел к ним с живительным своим бальзамом.

Счастливые, добрые творенья! Для чего столь кратковременно сие спокойствие! Уже пронзительный стон, разделяя воздух, приближается к воротам вашего замка; уже громкие вздохи прерывают безмолвие полунощи; уже раздается в лесу крик бедствия. Три раза трубил в

рог юноша на башне замка, стражи с ужасом вскочили ото сна и бросились к запертым воротам, в которые пришедшие стучали.

— Кто прерывает спокойствие ночи?

— *Отворите! Отворите своим братьям!*

— Говорите, кто вы?

— *Бегущие, побитые, раненые.*

— Откуда?

— *Мы вырвались из сражения; кровь, текущая из ран наших, обгадила путь, по которому мы бежали! Один определил гибель Норвегии. Свенд убит, Уффо погиб, Тотт в Валкале.*

«Горе, горе вам, вестники бедствий!» — весь замок шел в смятение; все бегали, спрашивали, осведомлялись; плакали, стонали, кричали к оружию — только *Ильдегерда* сладко покоилась в объятиях надежды, кроткая улыбка награжденной добродетели сияла на девических, розовых устах ее. Тут с распущенными волосами вбежали к ней ее подруги: «Вставай, оставь сон твой! Смерть тебя ожидает!» С ужасом пробудилась *Ильдегерда*. «Что сделалось! Не загорелся ли замок? Не отворил ли какой предатель неприятелю ворот?» — тщетно повторяла она вопрос свой, на крылах ужаса отлетели чувства девиц, стоны, слезы были их ответом. *Ильдегерда* вскочила, набросила на плеча легкую ночную одежду, схватила свечу и быстро побежала по переходам, из которых глухой стон неся ей навстречу. Вдруг попадается ей под ноги труп, и блуждающий взор ее открыл раненого, распростертого на полу, покрывающего обеими руками кровавую рану свою и чувствующего холодное прикосновение смерти.

— Кто ты? — сказала с ужасом *Ильдегерда*.

— Умиравший, борющийся с смертью о радостях *Валкалы*.

— *Как пришел ты сюда, кто дал тебе сию рану?*

— Рука шведа. *Свенд убит, Уффо пал, Тотт в Валкале.*

«Боги!» — воскликнула пораженная *Ильдегерда*, свеча выпала из рук ее, и она без чувств упала на пол. Но скоро стоны умирающего подле нее вывели ее из бесчувствия, она пошла в свою горницу, заперлась и бросилась на землю. Ни одна слеза не катилась по щекам ее, ни один вздох не колебал ее груди. Сия первая, ужасная, немая горесть миновалась, она вынула *Свендово* письмо, взор ее устремился на слова «пусть слеза твоя упадет на преждевременный гроб мой, пусть вздохнет *Ильдегерда* о потере своего брата, своего супруга». И слезы градом покатались из глаз ее. «*Брат мой, супруг мой*», — повторяла она, рыдая, — *брат мой, супруг мой*», — более не могла она ничего произнести; но с сими именами возобновлялись в растерзанном сердце ее все картины прошедших радостей, все восхитительные картины будущего, кото-

рыми за несколько часов она во сне наслаждалась. В горести, которая беспрестанно извлекала новые слезы из глаз ее, лежала *Ильдегерда* на коленях до того времени, как первая заря покрыла кровавым багрянцем зубцы замка. Ее бесчувствие исчезло, как скоро первый луч восстающего солнца блеснул на ее оружии, которое со времени кончины *Торы* висело в уединенном угле. «Сюда, — вскричала горестная *Ильдегерда*, — сюда! Спутники моей юности, вы были только моим увеселением; теперь будьте в руках моих орудием ужасного, пламенного мщения! *Тор**, укрепи меня, излей в душу мою пламень бранный, пусть звук оружий будет приятнее гласа арфы для моего слуха, дай силу рукам моим, отыми от них женскую нежность! Оставь меня, *Фрейф***, преврати в сталь грудь мою, *Водан*, отец богов! А ты, *Фригга****, ты, которой это сердце так часто приносило жертвы, сниспошли ко мне твою луну, пусть сопутствует она мне в опасностях до тех пор, покуда не найду *Ранфрида*, покуда рукою мщения не свергну злодея в пропасти *Нифлеймура*****, сюда, Барды! Настройте военные звуки! За супруга своего хочу я сражаться. Брат мой! Супруг мой!»

Алым румянцем покрылись *Ильдегердины* щеки, глаза ее пылали, рука ее трепетала, и то было не содрогание женской робости, но трепет мужественного мщения. Она покрыла шелковые волосы свои пернатым шлемом, который некогда рука *Торы* украсила тремя змеиными головами. Одеда высокую грудь свою стальным панцирем, повесила меч у бедра, схватила щит, копье и вошла в залу, где несчастные девицы, распростертые на земле, терзали свои груди, оплакивали прошедшее и трепетали будущего.

— Для чего плачете вы? Для чего стонете! Что погибло, того не воротить! Слезы ваши не исторгнут мертвых из хладных объятий *Геллы*, слезы ваши не отвратят разбойника от стен нашего замка. Но разве *Тора* вооружила нас вотще, разве вотще исторгла она из рук наших веретено и приучила их к военным действиям. Нет! Пусть плачут женщины, которых оружие слезы и вздохи; пусть трепещут робкие, не умеющие жизнью своею искупить радостей *Валкалы* — пойдем, любезные подруги! Которая из вас станет колебаться между смертью и стыдом? Чего мы медлим! Пойдем против разбойника, угрожающего невинно-

* *Тор* — один из главных богов, которого молили о победе. От ред. — Бог грома, богатырь, защищающий человеческий мир от чудовищ.

** *Фрейф* — нежнейший из богов.

*** *Фригга* или *Фрея* посылала луну защищать ее любимцев.

**** *Нифлеймур* — ад. От ред. — Точнее, Нифльхейм. Не вполне соответствует христианским представлениям об аде. Согласно Младшей Эдде Снорри Стурлуссона, Нифльхейм — «Мир тумана», расположенный на севере; он не совпадает с *Хель*.

сти посрамленными оковами! Пойдем против убийцы, который похитил моего брата, моего супруга! Пусть почувствует он, что мужество сынов Норвегии обитает и в дочерях ее. Пусть почувствует он, что рука женщины не для того только сотворена, чтоб держать младенца у груди ее. Ступайте, ступайте! Спасайте честь отечества! Отмстите за своего государя! Победите или умрите с *Ильдегердой*!

Ярость, смешанная с горестию, прервала ее здесь голос, но сильно тронули слова ее сердца амазонок; с почтением смотрели они в огненные глаза героини; *Ильдегерда* в бессилии преклонилась на свое копьё, глубокое безмолвие царствовало вокруг ее.

В сию минуту старый, израненный рыцарь вошел медленно в зал, опираясь на своих оруженосцев, в руке его был шлем с голубым, окровавленным пером. Молча приближался он к *Ильдегерде*; горестно посмотрел он на шлем — тайный ужас объял *Ильдегерду*. «Ах! — сказала она, трепеща. — Это шлем *Свендов*!»

«Так, — отвечал старый рыцарь, — это *Свендов* шлем; кровь, покрывающая это перо, есть кровь моего государя. Шлем этот стоит мне жизни, я с честью сражался за него. Вот все, что я мог принести назад. Видишь ли раздробленное место — сюда ударил его злодей сзади! О, Боже, сзади!»

Ильдегерда упала без чувств. «Перестань! Перестань!» — закричали женщины и окружили несчастную. Старый рыцарь велел подать себе стул, положил шлем пред собою, смотрел на него, сжав руки и не взирая на стон вокруг себя, продолжал: «Так сзади убили они тебя! Ты был храбрый юноша! Еще вижу я, как это голубое перо колебалось в толпе сражения, как ветер волновал его. Но оно взмокло от твоей крови и опустилось. О мщении вопиет кровь сия — но тщетно дух твой ищет мстителя. *Уффо* пал с своим отрядом; *Тотт*, старец, пролил кровь свою, которая только любовь к отечеству согревалась. Мужественнейшие из воинства погибли от поражающего меча. Только мне оставил *Один* на несколько минут жизнь, чтоб сохранить этот священный залог и найти мстителя, мстителя, который бы ужаснейшею клятвою поклялся на хладяющей руке моей, которого бы я сим шлемом посвятил мщению, и клятву его отнес с собою в *Валкалу* к *Свенду*. Силы мои слабеют, глаза меркнут. Сюда мститель, сюда! Покуда я не умер!»

Он посмотрел вокруг себя — *Ильдегерда* пришла между тем в чувство. Горестно зачал опять говорить старый рыцарь: «Или ангел смерти не пощадил ни одного! Или не осталось юноши, которого бы слабеющая рука сия посвятила в рыцари. Сюда, мститель, сюда, покуда я не умер!»

Ильдегерда (в сильном движении, обнимая его колена). Я мститель, почтенный старец! Меня посвяти мщению (сбрасывает с головы шлем),

мне, мне отдай *Свендов* шлем! Пусть будет он ужасом врагов на голове моей! Пускай при виде его охладет жизнь в *Ранфридовом* сердце! И пусть кровь его смоем кровью моего государя с этого пера!

Старый рыцарь. Норвегия! Что сделалось с тобою! Честь, свобода твоя зависит от слабой руки женщины! Отец богов, разве для сего продолжил ты жизнь мою! Разве для сего отверз ты померкшие очи мои, чтобы я видел, как буря с корнем исторгнет древо, под тению которого я восемьдесят лет покоился, на котором я так часто вешал заслуженный лавр мой! Только на руках матери проливал я мои слезы, но то были слезы младенчества; теперь я — старик! И кроплю слезами отчаяния седые свои волосы! Вынесите меня на чистый воздух и дайте мне умереть.

Ильдегерда. Останься! Заклинаю тебя рыцарскою твоею честью — ты презираешь смелую женщину, ты не надеешься на слабую руку ее! Знай, старик, что женщина, избранная *Свендом* в его супруги, достойна быть его мстителем. Если смерть не помрачила очей твоих, то прочти это письмо. Я твоя государыня! Посмотри, государыня твоя обнимает твои колена и с пламенными слезами просит не отвергать ее, почтенный старец! Посвяти меня, посвяти мщению за моего супруга!

Трепещущею рукою взял старый рыцарь письмо, медленно пробежал он его потусклым взором и с задумчивостию устремил его на слово *супруг*. «Быть так, — сказал он наконец с чувством, — умирая, признаю тебя своею государынею. Не отвращайся хладных этих губ, поцелуй меня, да отнесу я поцелуй сей в *Валкалу*, туда, где *Свенд* под блестящими щитами *Одина* блуждает в чертогах воинов».

Ильдегерда прижала пламенные уста свои к бледным губам умирающего воина: «Отнеси поцелуй сей моему супругу и с ним торжественную клятву: *отмстить за него или умереть достойною любви его*».

Старый рыцарь. Так клянись мне.

Ильдегерда. Клянусь!

Старый рыцарь (*обнажает меч*). Положи руку твою на этот меч. Божий взор устремлен на нас! Говори за мною, слух Божий внимает нам! Клянусь огнем и мечом отмстить смерть *Свенда*, короля Норвегии. Пускай мозг высохнет в костях моих! Пусть окаменеет рука, которая опустит меч прежде, нежели он совершит мщение. Клянусь мечом и огнем преследовать *Ранфрида*, убийцу моего супруга! И если преступлю клятву сию, то пусть имя мое будет покрыто стыдом, пусть будет оно посмешищем младенца. Никакая могила да не покроет костей моих! Ни одна слеза да не упадет на тлеющий труп мой. Пусть будет он добычею врана, пусть всякой пройдет мимо его с проклятием! Да будет проклят час моего рождения, да будет проклят час моей смерти! Да будет

проклят прах моего отца! Прах моей матери! Пусть потомство читает имя *Ильдегерды* на постыдном столбе, как имя преступницы — да проклянет меня *Один*, отец богов, да низвергнет он меня в пропасти *Нифлеймура*, да представляет он мне образ моего умерщвленного супруга в тысяче ужасных видов, да мучит меня тысячью смертей! Да не изгладится клятва сия и тогда, когда тысячи алтарей будут куриться! Да не изгладится и тогда, когда священник скажет мне, разрешаю тебя, и ты свободна от преступления!

Так клялась *Ильдегерда*, вокруг стоящие трепетали от ужаса и устремляли неподвижные взоры на пылающий образ героини.

Старый рыцарь (*бросая от себя меч и взяв обеими руками Свендов шлем*). Пускай же каждое утро шлем сей возбуждает в тебе воспоминание твоей клятвы! Пусть кровь, висящая на этом пере, беспрестанно представляется твоему взору, представляется и тогда, когда дождь смоеет ее. Государыня! Тебя небо оставляет мстить убийцам! Обещаешь ли ты это умирающему?

Ильдегерда. Обещаю!

Старый рыцарь. Так прими же от меня священный залог, который я искупил кровию (*надевает шлем на Ильдегердину голову*), вооружись, сядь на коня твоего, я посвящаю тебя мщению — глаза мои меркнут, силы исчезают, благодарю тебя, *Один*! Не вотще повелел ты смерти медлить пресечь слабую нить моей жизни — час мой приближается, путь мой кончен, вынесите меня на чистый воздух, пусть умру я на солнце.

В бессилии преклонился он на своих оруженосцев — они вынесли его, и он умер, согретый лучами солнца.

* * *

Никогда еще в груди мужа не пылало такое мужество, как в груди *Ильдегерды*; она чувствовала новую жизнь в своем сердце, неизъяснимая сила текла в ее жилах, мщение воспламенило грудь ее, мщение, рожденное любовью. «Вы свидетели, — сказала она своим подругам, как скоро старый рыцарь оставил залу, — вы свидетели, что я посвящена в мстители, нынче иду я во сретение своей участи. Никто, кроме богов и справедливости, не следует за мною, ничто, кроме этого шлема и меча, не защищает меня. Пали они, сии мужественные чада Норвегии; никакое воинство не идет по следам моим — о! Вы, подружки моих радостей! Если есть из вас, разделявших мои страдания, если есть хотя одна, которая бы разделила со мною мщение, то пусть упадет она на грудь сию, пусть прижмется она к трепещущему моему сердцу и напитается жаром, которым оно пылает (*горестно смотря вокруг*). Неужели нет ни одной между вами?»

«Мы все, мы все за тобою! — вскричали в один голос амазонки, воспламенные незапною ревностию, которая, как электрической удар, потрясла сердца их, они окружили *Ильдегерду*, — будь нашей предводительницей, нашей государыней! Посвяти нас поцелуем своим мщению!» *Ильдегерда* обнимала их всех, и вдруг все рассеялись по уединенным горницам своим, повесили на стену лиры, арфы и бросились чистить свои оружия. Не в одних стенах замка пылало воинственное иступление, оно проникло рошу, быстрым полетом принеслось оно в ближний город, где еще столько жен рвались и рыдали над пеплом своих супругов, столько матерей плакали над телами сынов своих. Все отерли свои слезы, сняли с бездушных трупов любезных своих шлемы и панцири, мечи и вооружились, чтоб сражаться под знаменами *Ильдегерды*. Быстро, подобно ветру, пролетела молва по всей Норвегии, со всех сторон сбегались женщины и прежде, нежели вечерняя роса смешалась с кровлю умерщвленных, шесть тысяч амазонок, простираясь на пространной равнине, стояли под предводительством *Ильдегерды* и под синим сводом неба клялися ей ужаснейшею клятвою мстить за ее супруга, за своих сынов, братьев. Так пошли они под тению ночи, Орион был их путеводителем.

На другой день построилось войско у подошвы одного холма, и вдруг под знамена его собрались беглецы, избавившиеся от поражения, и число их простиралось до двенадцати тысяч. Задумчиво смотрела героиня с высоты холма на военные ряды, простертые у ног ее. «Это последняя сила слабого отечества, — говорила она сама с собою, — горе ему, когда сии тысячи будут жертвами смерти. Оно должно пасть, если рука богов не будет за них сражаться. Бешеное воинство, победившее избраннейших норвежских воинов, рассеет сию малую, неопытную толпу, как медведь пчелиный рой; я не боюсь смерти, я посвятила себя ей, и каждый из следующих за мною охотнее свободным бросится в хладные ее объятия, чем согласится носить постыдные оковы бесчеловечных. Но что будет с невинными младенцами, которых мы оставили беспечно играющих в домах родительских! Неужели норвежские старцы должны в цепях шататься над своей могилой! Неужели потомство наше должно возрасти под железным игом неволи?»

Горестно преклонилась голова ее к сердцу, фантазия представляла ей картины ужасной будущности. Но вдруг, подобно молнии, проникнул свет в ее душу. *Теодорик*, король Дании, сын сестры *Ториной*, был ближайший наследник норвежской короны после *Свендовой* смерти. Молва изображала его блестящими красками, приписывала ему красоту, справедливость, мужество. Кровь *Торы*, говорил всяк, кто хотя

несколько дней пробыл у двора его, кровь *Торы* струится в жилах этого молодого героя.

Скоро решила *Ильдегерда* и послала гонцов с вестию к *Теодорфу*: «*Свенда* более нет на свете. Убийственная рука *Ранфрида* умертвила его. Герои Норвегии пали. Женщина, предводительствуя женщинами и беглецами, решила мстить за опустошение своего отечества и за смерть монарха. Собери воинов твоих и поспеши избавить землю, которая признает тебя своим государем».

На быстрых конях полетели гонцы к берегам моря, где судно с напряженными парусами их ожидало. *Ильдегерда* приблизилась, между тем, к неприятелю, который, рассеявшись на равнине, опустошал поля, расхищал дома и умерщвлял детей и стариков. С насмешливой улыбкой принял *Ранфрид* известие о приближении неустрашимых amazонок. Злоба заблестала в его зоре, когда он услышал, что сама *Ильдегерда* предводительствует этою толпою. «Дело идет хорошо! — сказал он с злодейскою усмешкой, — птичка сама попадает в клетку. Добро пожаловать; добро пожаловать, дорогая невеста! Понапрасну угрожаешь ты мне! Я обнажил меч за тебя, а не против тебя. Посреди военного грома поведу я тебя в свою ставку, сладострастною рукою скину с тебя панцирь, буду увеселяться девственным твоим сопротивлением и прижмусь к полной груди твоей, которая не сотворена для того, чтобы носить железные латы». Так мечтал он, лежа на бархатном ковре в своей ставке, и сладострастные картины воспламеняли его чувства.

Спустя немного, толпы, рассеявшиеся для хищничества и убийства стариков и младенцев, возвратились со страхом в лагерь. Посланные от *Ильдегерды* захватили некоторых из грабителей, прочие убежали с вестию о приближении неприятеля. «Так ты уже близко, — говорил *Ранфрид* с злобною радостью, — право! Ты нетерпелива! Но прежде, нежели я мечом принужу тебя броситься в мои объятия, прежде посмотрю, не подействует ли искусно скованное оружие, от которого ярость женщины тает так, как снег от весеннего солнца, — *оружие лести!*» Сказав сие, схватил он перо и написал следующее к *Ильдегерде*.

«*Ранфрид*, король Швеции и Норвегии, к *храброй Ильдегерде*.

Не с тем пришел я, чтобы сражаться с тобою, но с тем, чтоб быть твоим невольником. Скинь с себя грозное вооружение, оно не нужно; ты давно уже победила. С самой той месячной ночи, в которую ничего не значащая шутка ожесточила тебя против меня, с той самой ночи красота твоя беспрестанно в сердце *Ранфрида*. Для тебя извлек он меч, для тебя пустился он в опасности, для тебя пожертвовал тысячами. И ты хочешь сражаться с ним, с ним, который лавры кладет к ногам твоим? Лучше было бы, когда б ты побежденному, который давно носит твои

оковы, подала великодушно руку. Неужели думаешь ты, упрямая голова, что женщины твои, научившись играть копьями, будут в состоянии сражаться с сильными рыцарями, от которых пали *Тотт* и *Уффо*? Выбрось из головы такую дрянь! Я предлагаю тебе мир и свое сердце. Останови свое прелестное войско, *мне* должно идти к тебе навстречу, *мне*, который решился получить тебя или как друга, или как неприятеля в свои руки».

В открытой ставке, гордо опершись на копьё свое, приняла *Ильдегерда* герольда, принесшего ей это письмо. «Благовари право войны, — сказала она грозно, — за то, что я не мщу присланному за бесстыдство пославшего. Ответ *Ильдегерды* есть презрение — отнеси его *Ранфриду*». С сими словами отворотилась она от трепещущего вестника и пошла готовить верных подруг своих к наступающей решительной минуте.

«Га! Все прежняя гордость! — вскричал *Ранфрид*, скрежеща зубами, — все то же презрение, с которым ты некогда упрекала меня за похищение сандалий, так будь же жертвою своего упорства; живую поймаю я тебя и стыд будет твоим наказанием!» Вечер наступил, *Ранфрид* послал другого герольда в лагерь.

«Завтра, — так говорил его посланный, — завтра восходящее солнце будет свидетелем моего торжества! Вооружися, женщина! Ободрай женщин своих! Завтра воины мои в оковах плена приведут вас в стан *Ранфридов*».

Улыбка была ответом *Ильдегерды*, принужденная улыбка на устах ее и горестное предчувствие будущего в сердце. Она не могла скрыть от себя, что малая толпа ее была бессильна против неприятеля, который втрое был многочисленнее, она видела, что мужество и храбрость едва составившейся толпы ее были ничто против искусства и многолюдства — амазонки ее посвятили себя смерти, она сама почитала сладостным умереть за того, кто за нее умер; смерть не заставляла ее трепетать. Но прийти в *Валкалу*, где, может быть, старый рыцарь встретит ее с вопросом, исполнила ли она клятву свою? И она должна будет отвечать *нет*, это, это одно заставляло трепетать ее. «Отец богов, — воскликнула она с слезящим взором, — этот вечер может быть последний в моей жизни! Неужели завтрашнее сражение должно погрузить отечество мое в неволю! О, дай мне, в шуму битвы, встретиться с злодеем, похитившим жизнь моего супруга, да обретет рука моя путь к его сердцу! Пусть падем мы вместе! Если ж меч мой не свергнет его в мрак *Нифлеймура*, то лиши его последней отрады страдать посреди тысячей — пусть страдает он один посреди блаженства *Валкалы*, пусть счастье тех, которых он преследовал, пусть радости их будут ему ужаснейшим мучением». Так молилась *Ильде-*

герда, мщение заглушило чувства нежности в ее сердце. Уже вечерние звезды блистали на небе, и *Ильдегерда* разослала по всем палаткам вестников. «Веселитесь, — говорили они с именем, — пускай в чаше радости пенится вино, пускай сон успокаивает вас до восхождения солнца, потом вооружитесь, восшлите молитву к богам и выступите на равнину — завтра решительный день».

Народы ее услышали сие повеление, наполнили чаши свои и пили весело до свидания в *Валкале*. Между тем *Ильдегерда* взошла на холм, бледно освещаемый лучом месяца, приказала воздвигнуть алтарь и принесла жертву богу сражений — тут пришла к ней *Эльга*, любезнейшая из подруг ее.

— Позволь мне, — говорила она ей с нежностью сестры, — позволь мне представить тебе свои опасения и предчувствия! Ты худо поступила, отпустив с таким презрением *Ранфридовых* герольдов.

Ильдегерда. Но что бы сделала *Эльга* на моем месте?

Эльга. Ты послала гонцов к *Теодорику*, датскому государю; все прославляют сего молодого героя, но наше мщение не есть его еще мщение; его нетерпеливость не так велика, как наша. Но положим, что он согласится на твое предложение; положим, что новый престол польстит его властолюбию, что он вооружится для приобретения новой короны — чего ожидаешь ты от его помощи? Решительный час приближается. Моли *Одина*, чтоб он дал крылья *Теодорикову* войску. Мы или победим, или погибнем без него, ибо король *Дании* всегда придет поздно.

Ильдегерда. Какое ж заключение выводешь ты из сего?

Эльга. Я заключаю, что *Ильдегерда* сделала бы лучше, когда б на несколько времени оставила мужеские оружия и употребляла женские: *лечь и притворство*; когда б обольстила *Ранфридовых* посланных обещаниями, двусмысленными ответами, некоторою надеждою — чем более времени, тем лучше!

Ильдегерда. Ты правду говоришь, но для убийцы своего супруга имеет *Ильдегерда* только кинжал. Мне хотя минуту оставить *Ранфрида* в надежде, что я благосклонна к подлым его предложениям! Нет! Это было бы преступление моей клятвы, измена тени нашего государя — нет! Не говори мне об этом более! Лучше умрем с честью.

Эльга. Я удивляюсь твоему мужеству, но не политике.

Ильдегерда. Как хочешь — я как друг слушала твои советы, но как полководец повелеваю тебе молчать; утро показывается, мало осталось нам времени, поди, дай мне молиться, взберись на вершину того холма, смотри на неприятельской лагерь и позови меня, когда заметишь в нем движение, мы сойдем и разбудим войско.

Эльга пошла, *Ильдегерда* приносила жертву и молилась. Края восточных облаков позлатились.

— *Эльга*, не видишь ли ты чего?

Эльга. На полях царствует мертвая тишина. Я слышу пение раннего жаворонка.

Ильдегерда молилась с жаром, дым жертвы ее подымался столбом; край солнца показался на восточном горизонте.

— *Эльга*, не видишь ли ты чего?

Эльга. Несколько человек ходят, рассеявшись в лагере. Они ведут поить лошадей.

Ильдегерда. Скоро, скоро наступит время!

Она подняла взоры и руки к небу и молилась громко и с жаром. Величественно показалось солнце.

— *Эльга*, не видишь ли ты чего?

Эльга. Вдали на западе вижу я густое облако пыли. Копья блистают в отдаленности.

Ильдегерда. На западе? Не обманываешься ли ты?

Эльга. Поди и посмотри сама.

Ильдегерда сошла с холма — тут предстало ее глазам бесчисленное войско, солнце бросало лучи свои на светлые шлемы, и ржание коней, гром оружия поражали слух ее.

Ильдегерда. Боги! Измена! *Один* одушевил камни, на погибель нашему бедному отечеству.

Эльга. Смотри, смотри, как они расширяются, лес кажется одушевленным, беспрестанно показываются новые толпы.

Ильдегерда. Пойдем, пойдем скорее! Разбудим своих воинов — умрем с оружием в руках.

Они сошли с холма; тут встретились им бегущие гонцы, которые были посланы просить помощи у датского короля.

— Откуда? Откуда бежите вы так скоро? Разве мало мы несчастны? Что значит поспешность эта, чье войско, показавшееся на западе?

Один гонец. Это король датский — он идет, наш избавитель, наш мститель, он идет с тридцатью тысячами избранных воинов; мы нашли его по ту сторону леса на день пути отсель; давно уже молва возвестила гибель, носящуюся над сим государством; смерть государя нашего поразила его сердце; он проливал слезы, он добрый государь, и вид его мужествен, он посылает тебе свой поклон и весьма желает узнать тебя — поставь войско в строй и вели держаться ему левой стороны по тех пор, покуда он по правую руку будет переходить через реку. Первый знак трубою возвестит тебе, что *Теодориково* войско переправляется. Второй даст знать, что оно переправилось благополучно, а с третьим

ударите вы в правое и левое крыло неприятеля! Да ниспошлют вам боги победу!

Они преклонились до самой земли и с веселием поспешили с холма, дабы распространить радостную весть, а с нею и мужество от ставки до ставки. О! Как заплескал лагерь! Посланные были окружены, благословения полились на *Теодорика*. Радостные восклицания привлекли неприятеля на равнины; в немом изумлении увидел он сверкающие бесчисленные копья и блистание солнечных лучей на гладко выполированных вооружениях. Долго стояла *Ильдегерда* неподвижно и смотрела с сжатыми руками и с благодарною слезою в голубых глазах на небо. Тут бросилась она в объятия *Эльги*: «Видишь ли, *Эльга*, *Один* правосуден! Гром его кажется почившим, но вдруг, незапно поражает он преступника — час мщения близок».

Выговорив сие, полетела она с холма — шумящее радостию войско встретило ее с торжественными восклицаниями; все уже сидели на конях, на всех лицах изображалась надежда, все нетерпеливо ожидали последнего звука трубы, долженствующего быть знаком нападения. *Ильдегерда*, следуя *Теодорикову* предписанию, повела влево мужественное войско, которое следовало за нею радостно, как будто увеселения и игры его ожидали. Недалеко от *Ранфридова* лагеря остановилась *Ильдегерда* и с восхищением услышала первый звук трубы.

Между тем *Ранфрид* в бешенстве перебегал из одной ставки в другую. Вотще! Мужество разбойников исчезло; с трепетом хватался каждый не за меч, но за похищенную добычу и робким взором искал средств к бегству; в таком опасном положении, не зная к чему прибегнуть, послал *Ранфрид* герольда к *Теодорику*. «Зачем, — говорил он его именем, — зачем нападаешь ты на меня, я живу с тобою в мире. Пускай войско твое соединится с моим, разгоним сих смелых женщин, которые бросают свое веретено и принимаются за меч. Потом разделим друженски Норвегию, завоеванную храброю моею рукою».

«Поди, скажи твоему государю, — был ответ *Теодориков*, — что ему надобно просить прощения у богов, ибо наступил последний час его. Я наследник Норвегии, я не разделяю ни с каким разбойником своей короны».

Герольд верно пересказал то, что ему надлежало — и *Ильдегерда* услышала второй звук трубы. Тут отчаяние покрыло тирана черным своим покрывалом. Стражи его поодиночке укрались от его трона, и он, от мановения которого вчера зависела жизнь тысячей, остался один. «И так должно, — вскричал он, скрежеща зубами, — и так должно, чтобы гордые мои намерения остались тщетны. Га, так пусть же смерть моя отличит меня от подлой шайки сих робких беглецов. Бледнее будут

трепетать потомки, когда они услышат о падении *Ранфрида*. Сюда, вы духи ада, сюда! Помрачите чувства мои, пускай бесстрашно брошусь я на тысячи мечей и найду сию гордую женщину, которая лишает меня лавров! Что я! Какой пламень проникает в мои кости — га! Тщетно, тщетно мучишь ты меня, неизвестное мне чувство, которое чернь называет совестью. Тщетно вопиет о мщении кровь тех, которые пали от руки моей, призрак, называемый добродетелью! Я умираю, не зная тебя! Тщетно терзаешь меня, ужасное воспоминание дел моих! Сердце мое вместе и сообщник, и мучитель мой! Но я не хочу чувствовать, что я несчастлив! Надежда моя — смерть, мучение — жизнь! Я проклиная тебя, *Один*! Я ненавижу людей и самого себя! Ступай, ступай навстречу к смерти! Ад тебя ожидает». Так побежал он из своей ставки и увидел вдали половину бегущего войска.

«Бездельники? Они бегут, разве никто не хочет умереть с своим государем?» Он оглянулся и усмотрел в стороне старого рыцаря, который задумчиво рассматривал пень изломившегося дуба. Это был самый тот, который заколол *Свендова* убийцу и прохладил водою язык умирающего юноши.

Ранфрид. Ты еще здесь! Что ты здесь делаешь?

Рыцарь. Я рассматриваю это дерево.

Ранфрид. Разве оно так примечательно, что ты для него забываешь собственную свою безопасность.

Рыцарь. Оно очень примечательно, еще вчера вершина его противилась буре.

Ранфрид. Я понимаю тебя, но *Ранфрид* и в падении не переменится. Поди, беги, оставь меня.

Рыцарь. Я никогда не бегал.

Ранфрид. Ты видишь, мы совсем оставлены.

Рыцарь. Я не оставлен.

Ранфрид. На что же ты надеешься?

Рыцарь. На богов и на свою руку.

Ранфрид (*пораженный его словами*). На богов.

Рыцарь (*бросив мужественный взор на небо*). Так, на богов!

Ранфрид (*стараясь ободриться*). И на твою руку? Но что одна рука против двух войск.

Рыцарь. Я умею умереть.

Ранфрид. И я! Я не хочу пережить ужасного часа, в который рушится моя слава; я не хочу, чтобы меня поймали живого и в поносных цепях повлекли к трону женщины (*вынимает меч*). На! Возьми! Исполни последнее повеление твоего государя! Умертви меня.

Рыцарь. Никогда!

Ранфрид. Я хочу умереть от руки друга, рыцаря. Возьми!

Рыцарь. Боже избави! Руки сии не обагрятся кровию моего государя. Неужели не осталось нам никакого средства! Пускай бегут наемники, лучшая половина твоего войска стоит неподвижно, и если она уступает числом неприятелю, то, по крайней мере, в ней много честных, добрых рыцарей. Пойдем, государь! Будь мужественен, предводительствуя ими, и если тебе умереть должно, то умри, сражаясь так, как прилично рыцарю.

Ранфрид. Так! Следуй за мною! Дорого продам я каждую каплю своей крови, и если *Один* в сей раз ниспошлет мне победу, то я построю ему храм и громко признаюсь: *есть Бог*.

Поспешно вскочил он на коня и полетел собирать рассеявшиеся части войска. Между тем раздался третий звук трубы, с трепещущим сердцем услышала его *Ильдегерда*, мужественно выхватила она меч и, предводительствуя своими амазонками, бросилась на кучу неприятелей. В ту же минуту появилось *Теодориково* войско, пред ним с пламенным мужеством сражался *Теодорик* и принц *Гаральд*, его любимец. Туча стрел помрачила солнце, и крик воинов заглушил ближний водопад. Тщетно сражался *Ранфрид* с неустрашимым отчаянием и делал чудеса своим мужеством. Беспреданно увеличивалась куча убитых вокруг его, беспреданно новые толпы его оставляли и бегством спасали жизнь свою. «Все свершилось! — закричал он, — я достиг цели своей жизни. Боги ада! Вам посвящаю себя, на краю гроба! Приидите ко мне на помощь! Дайте мне найти сию женщину, которою обладать я некогда так старался. Любовь моя превратилась в бешенство! Она презрела брачное ложе государя, так пусть будет со мною на ложе смерти». Дико обращались взоры его вокруг, ища *Ильдегерды*; *Ильдегерда* искала его; оба увидели друг друга; невольный ужас проникнул в сердце *Ранфрида*, когда на голове героини узнал он шишак *Свендов*.

«Или ад возвратил тебя к жизни», — сказал он сквозь зубы и одним ударом хотел кончить сражение. *Ильдегерда*, уступая ему в силе, но, будучи проворнее, увернулась, и меч скользнул по гладкому вооружению. Но как скоро *Ранфрид* поднял в другой раз руку, то заметила она открытое место между наручником и панцирем, предупредила удар и по самую рукоятку вонзила меч в грудь своего неприятеля. Застонав, упал он к ногам своего коня, ручьи черной крови полились по его латам, и с ужаснейшим проклятием против богов и *Ильдегерды* испустил он свой дух. Сие сражение решило победу и участь Норвегии. Кто мог бежать, тот бежал, кто же нет, тот, бросив оружие, на коленях умолял о пощаде. Только тот старик, от руки которого *Ранфрид* желал умереть, прислонился ко пню изломившегося дерева, которое за несколько часов

предсказало ему судьбу его государя, и с мечом в руках защищался против беспрестанно увеличивающейся толпы. Издали увидел его *Теодорик*. Поспешно прискакал он к сражающимся и разогнал собравшуюся кучу бесстыдно нападавших на одного.

— Покорись! — кричал он к обессилевшему старику, — посмотри вокруг себя, ты один! Как можно, чтобы старик имел неустранимость юноши!

Старик. От того самого, что я старик, не хочу я пережить сего сражения, но я сдаюсь под одним условием.

Теодорик. Под каким?

Старик. Отдай мне тело моего государя, потом отпусти меня, чтоб я мог оказать ему последнюю честь погребения.

Теодорик. Разве ты любил своего государя?

Рыцарь. Он был мой государь, этого довольно.

Теодорик (*будучи тронут сими словами*). Хорошо, твоя просьба будет исполнена!

Рыцарь. Я ничего не просил — я только требовал того, в чем бы сам не отказал твоему рыцарю, когда б тело твое лежало у ног моих.

Теодорик. Так ступай с миром! (*снимает с руки железную перчатку*) но прежде дай руку твою датскому королю.

Рыцарь (*пожимает его руку*). Ну! Теперь я тебе благодарен! И, молодой герой, прими в награждение дружеский совет старца. Не ослепляйся победою, не выпускай из виду *Ранфридова* примера и почитай любовь твоего народа крепче панциря и щита.

Теодорик. Я обещаю тебе, отец мой, будь сам свидетель исполнения моего обета; поди ко двору моему.

Рыцарь. Нет! У меня есть отечество и двое малолетних внуков.

Теодорик. Так оставь мне, по крайней мере, свою дружбу.

Рыцарь. Она тебе останется!

Тут они разлучились. Тело *Ранфрида* положено было на повозку, немедленно отвезено на границу его государства. Ни один вздох не раздавался в городах, через которые оно проезжало; ни одна слеза сожаления не блистала на песке, который покрывал его могилу.

Едва *Ильдегерда* как мстительница исполнила свою клятву; едва заметил обращающийся вокруг взор ее, что в день сей не осталось ей ничего иного, как только обвинить венец победы вокруг головы своей, то возвратилась она с одною *Эльгою* в лагерь, взошла на холм, на котором вчера дымилась ее жертва, и принесла *Одину* свою благодарность. Но когда сошла она с холма, чтобы скинуть с себя оружие, то приблизился к ней *Теодорик* с знатнейшими своего государства, в числе которых был и принц *Гаральд*; с почтительностию сошел он с коня

и говорил *Ильдегерде* следующее: «Тебе, мужественная девица, тебе принадлежит моя благодарность и благодарность отечества, прими ее пред моим воинством и дай мне увидеть лицо твое!» *Ильдегерда* ответствовала с скромностию: «Повелитель мой! Твое великодушие приписывает мне то, чего, без твоей помощи, не могла бы я сделать. Ты избавитель отечества; позволь *Ильдегерде* исполнить долг свой и первой почтить своего государя». Она подняла забрало своего шлема и величественно преклонилась перед *Теодориком*; с потупленными глазами стояла она на коленях, *Свендов* шлем придавал ей вид победительный, несколько локонов катились из-под него по плечам ее, и черная перевязь с золотою бахромою величественно билась на левом бедре ее. С удивлением смотрели на нее *Теодорик* и его придворные; едва не лишился государь присутствия своего духа, он подал ей дрожащую руку, поднял ее и, проговоря несколько невнятных слов, поцеловал ее в лоб. *Ильдегерда* не заметила впечатления, которое вид ее сделал над собранием, и удалилась в свою палатку, чтобы вооружение переменить на одежду женщины.

* * *

Не думайте, обольщенные смертные, избежать тех опасностей, которые так часто стоят вам счастья и спокойствия; это единственные, от которых ни расстояние лет, ни расстояние места вас защитить не могут. Неприятель ваш, ваше сердце; в груди своей носим мы волшебника, который может обратить старца в юношу, нищего в государя. О, когда б не должны были мы *любить*, когда б не должны были *умереть*, но что бы напомнило государю, что он человек?

Теодорик вошел в палатку свою не в таком состоянии, в каком он ее оставил. Цветущею казалась ему земля, по которой он шел, блестящими стены, которые его окружали, ибо на земле и на стенах видел он только образ *Ильдегерды*. Принц *Гаральд* вошел в палатку свою не в таком состоянии, в каком ее оставил. Везде находил он непонятную пустоту с тех пор, как сердце его стало полно образом *Ильдегерды*. Теперь время в нескольких чертах изобразить свойства обоих принцев. Молодой, неопытный *Теодорик* имел сердце, открытое для всякого впечатления; нетрудно было обольстить его, чувства его были отверсты для всего доброго, благородного, но часто почитал он *наружность* за *прямое, истинное* добро и находил во всяком дружелюбном улыбающемся лице друга, которому без размышления поверялся. *Гаральд*, будучи старше и опытнее, имел скрытный, пронырливый характер, был честолюбив и сладострастен, имел вид кроткий, но кипящее сердце, вид, который, по нужде и обстоятельствам, умел переменяться, принимать на себя

всякую маску. Он искал некогда получить трон *Теодориков*, по некоторому на него праву, но бессилие удержало его в звании *вассала*; тщетно некоторые дальновидящие старики советовали молодому государю отдалить сего опасного сообщника от своего престола. *Теодорик* не был политик, и *Гаральд* так искусно умел отвести от себя всякое подозрение, так пронырливо овладел его рассудком, что он скоро сделался необходимым для неопытного юноши.

Облокотясь на столе, сидел молодой государь в своей ставке, с сладостию приводил он на память каждое движение, каждое слово *Ильдегерды*. Сложив руки, скорыми шагами ходил *Гаральд* в своей палатке и составлял планы, в которых любовь и честолюбие играли главные роли. Послушаем обоих, читатель, склони правое ухо свое к исполненным любви *Теодориковым* вздохам и открой левое для внушения смелых предприятий *Гаральда*.

Теодорик. Я люблю *Ильдегерду*! Тщетно стараюсь обмануть себя.

Гаральд. Она прекрасна! Она бесподобна!

Теодорик. Я желаю обладать ею.

Гаральд. Я должен ею обладать.

Теодорик. Я — государь, но не блистанию венца моего хочу я быть одолжен победой, а ее сердцу! Я желаю только его!

Гаральд. Я — принц, я происхожу от царской крови, и дорога к трону мне еще не заграждена. Может быть, гордость ее даст мне то, в чем откажет ее сердце.

Теодорик. Если трон мой обольстит ее, то лучше откажусь я обладать ею.

Гаральд. Для меня все равно, любовь ли или честолюбие приведут ее в мои объятия — я хочу наслаждаться.

Теодорик. Должен ли я ей открыться?

Гаральд. Еще нынче поищу я случая поговорить с нею о любви своей.

Теодорик. Я не выговорю ни одного слова; оробею.

Гаральд. Она не устоит против моего красноречия.

Теодорик. Так сильно люблю я еще в первый раз!

Гаральд. Я очень знаю женщин.

Теодорик. Мое сердце хочет поверенности; я во всем откроюсь *Гаральду*.

Гаральд. Тайна моя останется скрытою в моем сердце, никто не должен ее проникнуть!

Теодорик. Никогда, никогда не чувствовал я такой тоски, такой скуки. Я должен выйти из мучительного состояния неизвестности.

Гаральд. *Не будь поспешен*, вот мой девиз. Умный человек любит и спит спокойно; он дает созреть своим намерениям, ибо самый лучший цвет меньше стоит, чем самый малый плод.

Так разговаривали они, каждый сам с собою, но *Теодорик* послал пажа к *Ильдегерде*, чтоб узнать, хочет ли она успокоиться после сражения или позволит ли ему посетить ее. *Гаральд* между тем разослал шпионов, присматривать за всяким, кто только приблизится к *Ильдегерде*.

Паж возвратился к государю с желанным ответом, что посещение его будет приятно; с сильно биющимся сердцем, с пылающими от любви щеками вошел *Теодорик* в ее палатку и с благородным приличием был приглашен сесть на мягкий ковер. Юноша безмолвно смотрел в большие голубые глаза ее. Он снял с себя панцирь и оружие, длинные, белые ее волосы не были уже скрыты под шлемом, который прежде закрывал величественный лоб ее. Белое, длинное платье, которому полная грудь ее придавала прелестный, волнистый образ, покрывало стройную ее талию. Так сидела она против молодого принца и казалась подобною *Носсе*, богине юности и красоты, они молчали, но то было красноречивое молчание, *Теодориковы* взоры говорили, и *Ильдегерда* невольным образом опускала глаза свои.

Не только нынче, но и в прежние времена было обыкновение, что все разговоры, важные или неважные, начинались хорошою или дурною погодою; и, какая бы ни была материя, переход к ней состоял всегда в молчании и редко был некстати. Следуя сему обыкновению, и *Теодорик*, запинаясь, дал заметить *Ильдегерде*, что на дворе был прекрасный, осенний день, что такая погода необыкновенна в десятом месяце года. *Ильдегерда* подтвердила его замечание, и разговор был кончен, за сим последовало молчание, так как обыкновенный в таком случае переход, пламенный румянец на щеках красавицы, служил признанием, потупленные глаза выводили это признание наружу, а пальцы, которые перебирали золотою бахромою шелкового пояса *Ильдегерды*, играли роль толкователей, в груди невинной девушки говорило некоторое тайное чувство: берегись, неприятель близок.

Теодорик. Милая *Ильдегерда*! Ты и врага, и друга победила! Врага оружием, а друга взором.

Ильдегерда (*улыбаясь и по обыкновению показывая, будто не понимает слов его*). Государь! Ты говоришь мне загадку.

Теодорик. Неужели одна ты не знаешь силы своих прелестей! (*берет ее за руку*), ты имела сердце для мщенья — неужели не имеешь любви.

Ильдегерда (*отнимая руку*). Ты шутишь надо мною или забываешься.

Теодорик. Первое была бы обида, второе очень возможно при тебе.

Ильдегерда. И если бы то была правда, в чем ты мне льстишь, то трудно, кажется, в этом поверить человеку, который только что оставил сражение.

Теодорик. Напротив! Очень можно, если сии волнения крови не будешь почитать любовью, иначе какую бы связь могло иметь состояние душ наших с сим сладостным чувством — скажи мне, что называешь ты любовью?

Ильдегерда. Поди и спроси у наших священников в храме богини — я знаю любовь по одним только песням бардов.

Теодорик. Неужели и в таких глазах может быть неправда, разве неизвестно мне, что *Свенд*?

Ильдегерда. Понимаю, что ты сказать хочешь. Так в объятиях *Свенда* надеялась я узнать ее. Но до сих пор ощущала я к нему только одну благодарность, она была причиною всего, что я ни делала, но от благодарности, слыхала я, только один шаг к любви, и, признаюсь, не стыдись, я хотела сделать шаг сей.

Теодорик. *Ильдегерда!* Могу ль я надеяться иметь твою дружбу?

Ильдегерда. Если ты находишь что-нибудь полезное в моей дружбе, то я охотно твоим буду другом.

Теодорик (*опять взяв ее за руку*). Того-то я и хотел. От дружбы к любви только шаг.

Ильдегерда. Этот шаг ни мне, ни тебе не будет приличен!

Теодорик (*чувствительно*). Ты также либо шутишь, либо забываешься. К холодности был я приготовлен, но не к презрению!

Ильдегерда. Выслушай меня. Это была бы женская хитрость, когда б я долее тебя не понимала — нет! Слова и взоры твои понятны. Но прилично ли тебе, государю Дании и Норвегии, посреди победы, на пути величия искать руки женщины, которая ничего, кроме своей добродетели, тебе принести не может. Ты государь земли сей; сердце твое — невольник твоих народов, оно не должно быть твоим повелителем. Победы это легкое чувство! Тебя ищут дочери монархов, государи желают с тобою связи. Ты вступишь в сильные союзы, имя *Теодорика* будет почитаемо твоими соседями, основание твоего престола не поколеблется.

Теодорик. Престол мой основан на любви моих народов, но кто, кроме *Ильдегерды*, утвердит меня в ней. (*С усмешкой.*) Право, когда я тебя слушаю, кажется мне, что сижу посреди своих советников! Точно слова их! Точно суровые их правила.

Ильдегерда. Ты, может быть, сам не зная, сказал мне величайшую лесть.

Теодорик. Отгадала, но, *Ильдегерда*, сняв с себя латы и шлем, ты должна быть опять женщиной — поверь мне! Глаза мои не сотворены

для одного престола, венец только отягощает мою голову, неужели должен он отягощать и мое сердце.

Ильдегерда. Ты принадлежишь своему народу.

Теодорик. Так пусть народ мой будет судьей нашим. Пускай решит он, есть ли кто тебя достойнее быть его государыней?

Ильдегерда. Нет, не так должен поступать *Теодорик*. Глаза твои должны видеть ясно там, где ослеплен народ твой — поверь мне, *друг мой*, так буду я тебя вперед называть, твои глаза откроются, когда потухнет первый жар юношеской любви твоей — Боже! Как бы несчастна была я тогда! *Теодорик*, прошу тебя, дай мне наслаждаться одною твоею дружбой.

Теодорик. То, что ты сказала теперь — я надеюсь, что ты сказала, не подумав — было поношением и богини любви, и твоих прелестей. Нет никогда?..

Тут добрый государь хотел осыпать *Ильдегерду* клятвами и уверениями, и читателю бы досталось довольно послушать, когда бы принц *Гаральд* как нарочно не вошел в палатку с объявлением, что на том берегу реки показываются толпы шведов и что он почитает за нужное удвоить караул. Но это был только предлог, и толпа шведов не иное что было, как двадцать сошедшихся вместе беглецов, шпионы его сказали ему, что *Теодорик*, в задумчивости и один, прошел в палатку *Ильдегерды*, что разговор продолжался уже около получаса и что с ними никого не было. Сего довольно было для подозрительного сердца, довольно для возбуждения ревности; *Гаральд* поспешил прервать посещение, которого цель стала ему сомнительна. *Теодорик*, сколько ни было ему неприятно оставить свое намерение в сию решительную минуту, вышел из палатки вместе с принцем, и *Ильдегерда* осталась одна, с беспокойством и робостию в сердце, которое мало соответствовало политическим ее советам.

Между тем *Гаральд* искал разными скрытыми путями вкратиться в тайну государя, но с *Теодориком* такие обороты были лишние; открытое его сердце летело к лицемеру навстречу с тем, чего ожидал он только от своего коварства. «Брат, — говорил молодой государь, пожмая руку *Гаральда*, — ты свидетель, что я часто, как пчела, перелетал с цветка на цветок, я почитал себя счастливым, и может быть, был счастлив, но час мой наступил — я люблю. Люблю беспримерно, страстно, мне кажется, в сию минуту мог бы я сделать весь свет счастливым.

Гаральд. Думаю, не нужно мне тебя спрашивать о имени, которое нынешнее посещение твое сделало известным.

Теодорик. Так *Гаральд*! Только прелести *Ильдегерды* могут привязать сердце *Теодорика*. Мне кажется, что *Один* прислал ее из лучшего света...

Гаральд. Тише! Тише! Ты должен ей это сказать сам прежде, нежели простынет твой стихотворческий жар, или, может быть, ты уж ей и сказал?

Теодорик. Что я ей говорил, того я совсем не помню, только, верно, было не слишком умно. Что же она мне отвечала, знаю я лучше — подумай, она отвергает мою корону.

Гаральд. Как, неужели? И ты уже до того ослеплен любовью, что предлагал твою корону дочери рыцаря?

Теодорик. Дочери рыцаря? Что разумеешь ты под сим? Этот рыцарь мог бы быть так же, как и я, государем; когда б судьба из чаши счастья вынула для него другой жребий; он бы мог быть и нищим, но *Ильдегерда* всегда останется *Ильдегердой*.

Гаральд. Но — прости мне — прежде надлежало бы тебе узнать желание народа и согласоваться с пользою государства.

Теодорик. Ты говоришь так же, как мои старые, хладнокровные советники — желание народа? Народ обожает *Ильдегерду*; польза государства? Что может более принести пользы государству, как не государыня, которой мудрость разделит со мною бремя владычества! Которой мужество заменит мне опытных полководцев? Право! *Свенд* думал так же, как и я — его образовала *Тора*, и я, несмотря ни на что, следую его примеру.

Гаральд. Но зачем ослепляться любовью? Я бы охотно согласился принять план твой, когда бы *только чрез него* можно было бы достигнуть до твоей цели. Но для чего же прямо делать из нее государыню?

Теодорик. Я боюсь и думать о том, что ты мне предлагаешь — стыдись, *Гаральд*.

Гаральд. Но...

Теодорик. Ни слова более! Я решился. Завтра, как скоро позволит благопристойность, поди к *Ильдегерде*, употреби все твое красноречие, представь в сильных чертах то, что я чувствую и не могу выразить — посторонний может сделать это лучше; завтра должна она изъясниться, и она, конечно, это сделает, сердце мое в том порука; поди, говори за меня как друг, я буду действовать как любовник.

Гаральд замолчал, он боялся изменить себе большим противоречием. Он пошел, ему было так же досадно, как ястребу, который, поймавши горлицу, принужден положить ее опять в гнездо. Он бросился на канаве и спал мало. Охотно оживил бы он побитых шведов, которых трупы покрывали поле, чтоб, если можно, посреди шуму сражения потушить любовь в груди государя. Охотно возвратил бы он бегущих, вселил бы в них мужество и побудил их к ночному нападению. Но как бегство обессилевшего неприятеля лишало его и сей безумной

надежды и как он понапрасну, ломая голову, без всякой пользы проворочался всю ночь на постели своей, то не осталось ему ничего иного, как улыбаться посреди мучений, проклинать прошедшее и ждать от будущего того, чего лишала его настоящая минута. «О чем я беспокоюсь, — вскричал он, вскочивши со своего места. — Если *Ильдегерда* не может быть любовницею *Гаральда*, то будет датская и норвежская королева. Пускай безумец думает, что первое объятие девушки есть самое сладостное. Пустое, только бы первый я был, который родил в ней сие неизвестное чувство. Великое расстояние от лепетания младенца до песней бардов, но должно прежде уметь лепетать, чтоб после разуместь песнопевцев? Итак, чего лучше — *Теодорик* будет учить ее лепетать, а я между тем настрою арфу».

Так утешал себя безумец картинами смутного своего воображения. Между тем молодой государь провел всю ночь в размышлении и делал планы к завтрашнему дню, но я не открою читателю его намерений, пускай он сам, поломавши понапрасну свою голову, удивится так же, как *Теодорикова* любезная.

Утро показалось; слишком долго не являлось оно для нетерпеливого государя, слишком рано явилось для ревнивого принца. Он пошел в лагерь *Ильдегерды* и спросил у женщин, составлявших стражу, можно ли поговорить с их повелительницею?

— Тебе — не знаю! — отвечала одна из женщин, — но *Эльга*, наперница ее, давно уже с нею.

— Это и натурально, — ворчал про себя *Гаральд*. — *Ильдегерда*, несмотря на храбрость свою, все женщина. Ей должно иметь поверенную, победа над сердцем льстит мало, когда она неизвестна другим! Поди, — сказал он одной женщине, — скажи ей о моем приходе.

Амазонка пошла, а принц с досады топтал цветы, которые росли вокруг палатки. Скоро вышла *Эльга* в легком утреннем платье и дала ему знак, чтоб он приблизился. Он нашел *Ильдегерду* в задумчивости, казалось, что она провела ночь беспокойно, и улыбка на устах ее была принужденная.

Гаральд (*приближаясь к ней с свободным видом*). Как бы счастлив был государь, когда бы он был предметом сих размышлений.

Ильдегерда. Удивительно! Всегда первое слово мужчины — лесть. Как же вы мало думаете о женщинах... я признаюсь, я думала о государе.

Гаральд. Так, я готов биться об заклад, что прелестные картины будущего занимали твое воображение.

Ильдегерда. Ты прозакладуешь!

Гаральд. Как! После всего, что *Теодорик* готов для тебя сделать!

Ильдегерда. Правда, принц, ты говоришь с женщиной, с женщиной, которая имеет слабости своего пола, но поверь мне, честолюбие никогда не посещало моего сердца.

Гаральд. Правда, корона приятнее из рук любви.

Ильдегерда. Любовь в своем начале не что иное, как солнечный луч, от которого выходят почки на дереве. Но кто скажет в ту минуту, что из почек родятся цветы или ветви, и кто станет строить хижину, надеясь, что сии ветви осенят ее.

Гаральд. По чести! Если ты умеешь так мастерски философствовать, то, верно, ты еще не любишь.

Ильдегерда. Кто ж сказывал тебе, что я люблю.

Гаральд. Столько мужества без честолюбия, столько прелестей без любви! Признаться, с тех пор как начал я себя чувствовать, всегда думал я, что сии две страсти были главными пружинами жизни. Корона и прекрасная женщина! Если б это была цель моя, то хотя бы утесы преграждали путь мой, хотя бы из каждой капли дождя истекали потоки, я бы презрел утесы и переплыл быстрые потоки, я бы достиг своей цели или, по крайней мере, умер, ее достигнув.

Ильдегерда. Когда ты так думаешь, то я сожалею о тебе. Высока степень, на которую вносит честолюбие, но глубока пропасть, к которой оно нас приводит. Сладостно питье, которое подает нам любовь, но горечь остается на дне.

Гаральд. Она там и остаться должна. Выпить всю чашу было бы излишество, а излишество рождает скуку.

Ильдегерда. Это правда, и когда б посреди жизненных бурей надлежало мне выбрать одну из сих двух страстей, то я бы предпочла любовь.

Гаральд. Право! Розовый венок любви золотому жезлу чести. Благодарю тебя, *Ильдегерда*; ты только *трон*, а не *сидящего на троне* отвергаешь; сердце, которое тебя благодворит, которое ничего не желает другого, как только обладать тобою, верное сердце может наконец надеяться — я оживаю! Я могу питать надежду.

Ильдегерда. Ни ты, ни другой кто! Я свободна и люблю свободу. Принц! Если ты пришел от своего имени говорить со мною, то разговор наш кончен; если ж ты пришел от имени государя, то скажи ему, что я долго думала о вчерашнем его предложении, что я почитаю его, как своего государя, что я люблю его, как брата. Пускай довольствуется он сим признанием свободной *Ильдегерды*; *Ильдегерда*, лишенная вольности, будет любить свои узы. Но горе! Горе! Если некогда должна она будет прервать их. *Теодорик* — добрый юноша, сердце его не знает притворства, но оно мягко, как воск пчелиный; кто поручится мне за его верность?..

— Я, — вскричал монарх, который в сию минуту бросился к ногам ее, — я, для которого жизнь будет ничто, для которого трон будет несносен, если *Ильдегерда* не захочет обоих разделить с ним! Для чего сия недоверчивость, и мне, и тебе обидная; разве *одни* только узы привязывают меня к тебе! Разве *одна* только красота твоя наложила цепи моему сердцу. Добродетель и мудрость, вы могущественные властелины душ чувствительных, вы всегда новы, всегда привлекательны, даже и тогда, когда лета покроют морщинами это божественное лицо, когда эти золотые волосы сделаются сединами. Милая девица! Не противься более! Презирай мою корону, но не мое сердце.

Нечаянность удивила *Ильдегерду*, она чувствовала сладостное привлечение к прекрасному юноше, который лежал у ног ее; с кротким, почти нежным взглядом подала она ему руку и сказала запинаясь: «Встань, *Теодорик*, и оставь меня одну».

Теодорик. Нет, до тех пор не оставляю я тебя, покуда не назову этой руки моею, покуда не напечатлею супружеского поцелуя на уста твои. Сюда, *Эскил*, минута наступила.

Тут вошел *Эскил*, один из знатнейших *Теодориковых* полководцев, обеими руками держал он бархатную, пурпурового цвета подушку с золотою бахромою, на ней лежала корона, блистающая дорогими камнями; *Эскил* преклонился на колено, и в самую сию минуту раздался гром труб и литавр, полы ставки поднялись, очам удивленной *Ильдегерды* представилось все войско, поставленное в боевой порядок; распущенные знамена веяли, копья блистали, и громко гремели торжественные слова: *да здравствует королева Ильдегерда!* — долее не могла она повелевать своим сердцем, она упала в объятия *Теодорика* и скрыла на трепещущей груди его пламенные свои щеки. Крепко прижал он к сердцу красавицу; схватил блестящую корону и надел на ее голову. Недалеко, вправо, стояла торжественная колесница, украшенная лентами и цветами; четыре подобные снегу коня были запряжены в нее и с гордостью повиновались сильной руке управляющего ими; достойный зависти *Теодорик* с восторгом посадил красавицу в колесницу и медленно поехал мимо воинственного строя, чтоб каждый воин мог видеть счастье своего государя. С радостным торжеством приняли его веселящиеся ряды войска, литавры гремели, трубы звучали, но громче и торжественнее раздавалось: *да здравствует королева Ильдегерда*. Но едва приблизились они к ставкам амазонок, то колесница была окружена, кони отпряжены и тысячи рук повлекли любящихся к алтарю *Сиофти*, богини браков. Тут стоял седовласый жрец, нож его дымился уже кровию пораженной жертвы, он воссылал молитвы к *Одину*, благословил соединяющихся, и они клялись сохранять вечную любовь и верность. Веселое пиршество при тысяче зажженных факелов заклю-

чило день, улыбка радости блистала на устах всякого, лишь взор *Гаральдов* был мутен. Ночь покрыла мраком любящихся, и юноша *Теодорик* вкусил блаженство и небо в объятиях *Ильдегерды*.

* * *

О, когда б мне можно было бросить перо, когда б мне можно было не лишать чувствительного читателя сладостной мысли, что чистая добродетель, наслаждаясь наградою, посреди невозмущаемых радостей совершила мирной путь свой! Но ах! *Наши горести, наши радости — все, все мечта*, и *Ильдегерде* после блаженного сна предстояло ужасное пробуждение.

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Как радостны, как блаженны первые часы наслаждений любви! Как сладок восторг награжденной верности! Сердце наше, которое, в самую минуту удовольствованного честолюбия, питает еще новые желания, молчит тогда так спокойно, кажется так довольным, как будто бы горести никогда его не ожидали, как будто бы счастье, сей катящийся над головами нашими шар, перестало обращаться, и остановилось, прикованное цепями из роз — прелестный сон! Только твои блестящие, привлекательные картины делают жизнь сносною для земного труженика, и в самой вещи, в нашей воле состоит продлить приятное заблуждение, в нашей воле наслаждаться им до тех пор, покуда смерть, оный мощный рушитель всех заблуждений, не придет открыть нам глаза и из объятий любви не перенесет в недра оных неувядаемых радостей, для наслаждения которыми Творец наделит нас лучшими, неразрушаемыми органами; так, это в нашей воле! Но только мудрость, сия вечная дочь неба, может скучное *однообразие* в любви обратить в неиссякаемый источник всегда новых радостей. Если день твой посвящен исполнению должностей и премудрости, то вечер твой будет весел, объятие супруги твоей покажется сладостным, и любовь, щедрою рукой, будет сыпать цветы удовольствия на твою голову, но не думай найти скромного, семейственного счастья в чертогах пышных, у подножия престолов великолепных — ах! Нет! Любовь изгнана оттоле, она скрывается в смиренном жилище посредственности — там только находит ее мудрец и там только наслаждается ею.

Первая неделя после брака пролетела на крылах радости к престолу любви, чтоб возвестить счастье юной четы, восторг ее и благодарность.

Ежедневно переменялись пиршества и игры при дворе Дании, из отдаленнейших стран государства сбирались рыцари в торжествующую столицу, все приближались к престолу молодой государыни, и тот, который хоть раз видел улыбающуюся *Ильдегерду*, возвращался весело в дом свой и радовался надеждой, что некогда будет рассказывать своим внукам о счастливом времени своей юности.

Какая живость, какая приятность изображалась во взорах и словах молодой государыни, никто не отходил от нее, не полюбив ее всем сердцем.

Когда какой-нибудь разговорчивый старик пересказывал ей происшествия своей жизни — происшествия только для него важные; когда огонь юности одушевлял его во время разговора и блистал в потусклых впалых глазах его, то *Ильдегерда* стояла перед ним почтительно, внимательно слушала слова его, как будто бы много поучительного и приятного в них заключалось. Старик оставлял ее и говорил с жаром: *«Государыня — добрая женщина, она почитает старость»*.

Когда жена какого-нибудь рыцаря, получившая от неба больше детей, чем рассудку, сидела подле нее и, зевая, слушала повествования о сражениях и подвигах, то *Ильдегерда* искусно заводила с нею разговор, расспрашивала ее о детях ее, о хозяйстве и тому подобном — и она, с удовольствием возвращаясь домой, говорила своему супругу: *«Государыня наша — любезная женщина! Она помнит о том, что была и что стала теперь»*.

Когда резвое юношество, собираясь играть при дворе ее и забывая, посреди непринужденных удовольствий, придворные этикетки, радостными песнями наполняли воздух, то *Ильдегерда* вмешивалась в веселую толпу их и не только сиянием венца своего не возмущала шумного удовольствия, но еще одному из лучших государей*, который в поздние времена занимал престол Дании, давала примером своим наставление, что иногда и с трона нисходить должно, чтобы насладиться, хотя несколько минут, зрелищем, достойным Сатурновых золотых времен⁵. Юношеская толпа возвращалась назад и восклицала громко и единогласно: *«Государыня — милая женщина! Она украшает блеск короны!»*.

Ни одно совершенство ее не скрылось от восхищенных *Теодориковых* взоров, которые всюду с веселостию за нею следовали, каждое утро

* *Фридрих II*, датский король, говорил обыкновенно, когда хотел из своих собраний выгнать принужденность этикетов: «Короля нет дома». — В ту минуту все предавалось свободным увеселениям. Когда же хотел он, чтобы все опять вступило в границы почтения, то говорил: «Король возвратился!».

желал он скорее вечера, чтобы броситься в ее объятия — ни одна прелесть ее не укрылась от мрачных взоров *Гаральда*, которые с дикостью устремлялись на молодую государыню, каждый вечер бросался он с новым бешенством на постелю; каждое утро встречал он новыми проклятиями.

Не могу наверно сказать, имел ли он довольно сил, чтобы победить страсть свою, пусть об этом рассуждает тот, кто хладнокровно говорит, будто *в нашей воле любить и не любить**; я скажу только, что *Гаральд* не старался и не хотел укрощать своей страсти — не одна любовь, но вместе и честолюбие, и зависть, и оскорбленная гордость терзали его сердце. Он бранился с судьбою и случаем — слова сии имели для него одинакое значение; укорял их за то, что они, бросив его так близко к престолу, не дали возможности взойти на него. «Для чего не рожден я земледельцем, — говорил он сам с собою, — тогда бы это честолюбие не мучило души твоей, тогда бы сияние короны не обольщало моих взоров. Судьба хотела терзать это гордое сердце и поставила меня между низостию и величием, поставила с тем, чтобы я носил цепи и служил только украшением трону — нет, нет, я не буду терпеть долее; *так или не так* — разве не кровь государей кипит в моих жилах; путь к трону еще не загражден мне, *право сильного* будет моим правом».

От сих опасных правил родилось скоро предприятие, которое только такой порочной душе, какова его, было сродно: хитрый бездельник знал, что с холодным сердцем и среди великолепия страдать можно, что с чувствительною душою и в бедной хижине живет для нас радость; знал и решился похитить и трон, и душевное спокойствие у слабого *Теодорика*.

Между тем прошел год в счастливом однообразии. Взоры *Гаральдовы* часто изъяснялись с дикою нежностью, *Теодорик* не примечал ничего, *Ильдегерда* показывала, будто не примечала. Она не хотела огорчить того человека, который был любезен ее супругу, не хотела презрением дать ему почувствовать всей тягости его жребия, и горе вам, женщины, если только презрением отвечаете вы тем, которые, иссосавши яд из ваших прелестей, лишились сердечного спокойствия — вы имеете тысячу способов удерживать их в надлежащих границах почтения, вы имеете тысячу способов излечить их от тягостной болезни! Насмешки и презрение показывают только ребяческую гордость, только необразованность души.

* *Мейнерс*. От ред. — Возможно, имеется в виду Кристоф Мейнерс (1747—1810), известный как профессор Геттингенского университета, исследователь эстетики, автор «Истории немецких университетов».

Ильдегерда обходилась кротко и осторожно с *Гаральдом*. Она принимала его всегда ласково, всегда свободно, никогда не избегала быть с ним наедине, но когда разговор становился двусмысленен, то умела она так искусно и без всякой приметной робости обращать его в другую сторону, что признание, которое часто готовилось вырваться из принцева сердца, умирало на губах его — никогда не опускала она глаз своих, когда *Гаральд* смотрел на нее пристально с безмолвною нежностью; с видом простосердечия и откровенности, которая ничего дурного не предчувствует, глядела она прямо в лицо его, и непринужденное спокойствие изображалось во всех ее чертах; наконец, принц должен был признаться, что таким образом ни в чем не успеет и что один взор безмятежной невинности в состоянии наложить цепи языку обольстителя.

Уже в другой раз цвели розы с тех пор, как счастливая чета вступила на престол *Дании*; царица *Ильдегерда* произвела на свет сына, который был изображением своей матери. Первая младенческая его улыбка была новою и сильнейшею связью чувствительных сердец супружних. С радостною слезою принял *Теодорик* драгоценный залог любви своей в родительские свои объятия, с нежным попечением проводил он целые ночи у постели страждущей своей супруги — народы *Дании* и *Норвегии* разделяли радость счастливого отца и торжественными восклицаниями благословляли рождение юного принца.

Только *Гаральд* видел в младенце похитителя короны, которой, как он думал, надлежало некогда украсить его голову. Только он в торжественный день сей, когда миллионы восхищались надеждою видеть некогда в младенце *Голдане* (так назывался принц) образ его родителей, скрывался во внутренности дворца своего, под предлогом болезни, препятствовавшей быть ему у двора; он знал, что угрюмое лицо его будет слишком заметно посреди всеобщей радости и что дальновидные взоры придворных могут легко проникнуть в глубину его сердца и обнаружить тайные его предприятия. Но он не терял своего времени и воспользовался им тогда, когда все торжествовало и веселилось.

После смерти *Раифрида* вступил на престол Швеции *Германфрид*, брат его, пылкий, опрометливый юноша, которого только шестнадцатилетняя сестра его, милостивая *Люитгардис*, удерживала иногда от многих проступков. Давно бросал он суровые взгляды на возрастающее величие *Дании*, но падение брата его, с которым погибла лучшая часть шведских войск, ослабило его государство и не давало еще действовать руке его.

Гаральд посредством шпионов своих узнал мысли молодого государя, нимало не колеблясь, решился он, как будто недовольный *Теодо-*

риком, сообщить ему свои намерения, которые, как он надеялся, будут приняты благосклонно. Он предложил ему свои услуги, свою помощь, дал почувствовать, что нетрудно будет завоевать Данию, и вызвался быть его вассалом и принять, вместо залога, приобретенную корону из рук победителя. Наконец ему удалось обольстить Германфрида, который вооружал силы свои, между тем как *Теодорик*, не зная ничего, покоился в недре мира.

Ты обманешься, читатель, если сие предложение коварного злодея, сделанное шведскому монарху, примешь за настоящую цель его — нет, он искал только *средства*, могущего запутать Данию в цепи, для разрешения которых требовалось сильного *удара*, и этот удар должен был поразить сердце государя.

Приготовив таким образом свои машины и расположивши все в свою пользу, пришел он одним утром, с иступленною головою, с печальным видом в кабинет *Теодорика*.

— Худые вести! Государь! — сказал он, вошедши, — очень худые!

Теодорик. И за то благодарю судьбу! Кто слишком счастлив, тот скоро забывается, что за вести?

Гаральд. Германфрид, король шведский, вооружается против тебя.

Теодорик. Только?

Гаральд. Только, но, мне кажется, и этого довольно.

Теодорик. Я думал, что шведы все лечат раны, которые нанес я им во время царствования *Ранфрида*. По крайней мере, их бешенство не иное что, как усилие выздоравливающего, который хочет бороться с здоровым.

Гаральд. Пусть и так, но и слабого неприятеля презирать не должно. К тому ж известия, полученные мною, не таковы, как ты думаешь, *Германфрид*, по словам моих шпионов, не может долее сносить стыда, который понесли шведские войска под скипетром *Ранфрида*, он решился загладить кровию поношения. Чувствуя слабость свою, привлек он на свою сторону князей татарских, которые или его союзники, или наемники. Между ими положено, что присоединившимся войскам оставлена будет завоеванная земля на расхищения, что побежденный народ будет подвергнут их игу и что одна только *Ильдегерда* останется во власти *Германфрида*, который, отмщая за смерть своего брата, намерен, пред лицом народов своих, предать ее на жертву диким зверям.

Теодорик. Безумный! Пускай прежде пронзит он грудь мою!

Гаральд. Он и сделает это! И, признаться, я трепещу о судьбе твоего трона.

Теодорик. Так поспеши же собрать всю мою силу, я сам буду предводительствовать ею и биться с неприятелем.

Гаральд (*пожимая плечами*). Твою силу, государь? Вся твоя сила не составит и десятой доли союзников. Ты знаешь, что и победитель не без урона получает лавр свой, падение *Ранфрида* стоило нам многих героев, многих опытных воинов.

Теодорик. Так присоветуй, что мне делать! Если нужны сокровища, я уступаю их, только бы отвратить бедствия, грозящие моему государству.

Гаральд. Такое средство тебя недостойно, и сверх того, можно угадать наверно, что оно нимало не подействует, а только что обнаружит нашу слабость; *Германфрид* ищет мщения, золото не может обольстить его; всю добычу уступает он татарам.

Теодорик. Так станем стараться вступить в союз.

Гаральд. Как и с кем?

Теодорик. С германскими владельцами.

Гаральд. Им и без нас довольно дела, они в беспрестанной распре между собою.

Теодорик. Или с Британиею?

Гаральд. С Британиею? Это бы было хорошо тогда, когда бы опасность не была так близка, но долго ожидать помощи от британцев! И какие выгоды им пуститься в море для такого народа, который им совсем неизвестен, с которым они никогда в связи не бывали?

Теодорик (*с робостью*). Так скажи, что ж мне делать, нет ли еще каких-нибудь средств?

Гаральд (*помолчав*). Для чего судьба сделала *Ильдегерду* столь любезною? И для чего не царская кровь льется в ее жилах?

Теодорик. Странный переход!

Гаральд. Нимало, если бы *Ильдегерда* была или сестрою, или дочерью какого-нибудь государя; тогда бы мы не стояли здесь, поджавши руки, и не ломали бы по пустякам голов о том, где искать себе союзников.

Теодорик (*пораженный справедливостию сего замечания*). Без сомнения!

Гаральд. И когда бы пламенный *Теодорик* не презрел холодного *Гаральдова* совета, тогда бы счастье народов его было утверждено сильным союзом, тогда б одно его слово могло обезоружить грозящую руку и воткнуть в ножны подъятый уже меч.

Теодорик. И это слово?

Гаральд. Наверно знаю, что шведский король не откажется посредством союза сестры своей с датским государем навсегда утвердить дружество между северными державами.

Теодорик (*в рассеянии*). Сестры своей? А у него есть сестра?

Гаральд. Есть прекрасная, шестнадцатилетняя девушка — ее имя *Люитгардис*.

Теодорик. *Люитгардис?* И ты думаешь, что *Ранфридов* брат, который ищет только мщения, так охотно согласится соединить сестру свою с своим неприятелем.

Гаральд. Так мне кажется, при дворе рассказывают один тайный анекдот — вот он: портрет твой, Бог знает, каким случаем, попался в руки принцессе, и с того времени, говорят, будто любезная красавица часто задумывается, ищет уединения в густых рощах и наотрез отказывает всем принцам, которые за нее сватаются. Сверх того одна из ее прислужниц сказывала, что будто она милое изображение, украшенное дорогими камнями, носит на сердце и часто омочает своими слезами.

Теодорик (*которой чувствует некоторое удовольствие от слов Гаральда*). Если б это была и правда, то я пожалел бы об ней.

Гаральд. Теперь ты можешь легко понять, что *Германфрид*, который много любит сестру свою и которому, конечно, неизвестно состояние ее сердца, охотно оставит свое мщение, чтобы сделать счастливою *Люитгардис*.

Теодорик (*в рассеянии*). Это очень понятно.

Гааральд. Мне было стороною дали почувствовать, но я отвергнул.

Теодорик. Что, что такое?

Гаральд. То, что будто ты можешь избегнуть пролития крови и спасти отечество от разорения, вступивши в союз с *Люитгардис*.

Теодорик. Глупая мысль! Как это можно! Разве *Ильдегерда*...

Гаральд. То же самое говорил и я, но мне отвечали, что ты можешь ее оставить, разными образами усладить для нее разлуку; можешь ее послать в ее отечество, дать ей двор, титул королевы и прочее, и прочее. Мало, что было сказано?

Теодорик. Нет, я скорей погибну сам, скорей погибнет народ мой, чем *Ильдегерда* будет несчастна.

Гаральд, думая, что довольно сказал на сей случай, и видя, что первые брошенные им искры начинали разгораться и что рассеянность и неудовольствие изображались на лице *Теодорика*, оставил времени докончить начатое и заключил разговор изображением бедствий, которые ожидали государя, если он не решится идти единственным оставшимся для него путем.

— Правда, — говорил он, пожимая плечами, — нужны только здоровые, хотя не слишком пронизательные глаза, чтоб выйти из такого опасного положения. Ты сойдешь с престола отцов твоих, будешь принужден бежать по трупам подданных. Спасать бедственно жизнь твою, *Ильдегерда* и верный *Гаральд* всюду последуют за тобою; мы удалимся в какую-нибудь отдаленную степь, и там руки наши оплодотворят невозделанную землю, там в поте лица своего будем мы искать пропитания.

Пуškai духи убиенных датчан обременяют тебя проклятиями, пусть кровь их вопиет к *Одину* о мщении, довольно одной невинной молитвы юного *Гальдана*, чтобы умилосердить разгневанных богов!

С сими словами оставил он слабого государя, которого сердце, сжатое горестно, колебалось в неизвестности, подобно лодке, носящейся без ветрил по бурному морю.

Может быть, падение целого света не побудило бы его быть изменником, если бы любовь его была все та же, которою он пылал на поле сражения, но должно признаться: невозмущаемое наслаждение простудило жар сей — только спокойное почтение, с некоторою частию прежней нежности, осталось в охладевшей груди его. Он уже позволял себе некоторые неверности, уже мог сравнивать прелести супруги своей с прелестями других красавиц, и хотя в душе своей находил еще первые превосходнейшими, но уже и последние почитал могущими возбудить любовь, одним словом, он был слабый юноша, неспособный управлять своими страстями, тем более что коварный *Гаральд*, который умел возбуждать их, умел также и удовлетворять им. Как искусно, в течение разговора, привел он в действие самолюбие государя. Эта машина была одною из сильнейших машин хитрого злодея. *Добрая Люитгардис* и не думала влюбляться в портрет *Теодориков*, беспечно и свободно перелетала она от одной юношеской радости к другой в то время, когда обольщенный *Теодорик* думал, что она с горестию в сердце и с бледностию в лице томилась безнадежною любовию.

Прошло несколько дней, и известие о наступающей войне распространилось при дворе *Теодориковом*, происками *Гаральда* опасность была увеличена, и гибель государства представлена неизбежною. Везде, куда ни обращался государь, везде встречались ему горестные лица, везде видел он предзнаменование бедствий, народ стонал и проливал слезы, богачи прятали свои сокровища, жрецы приносили богам жертву, *Теодорик* не знал, куда деваться.

Однажды утром, когда, потупив голову, погруженный в мысли, сидел он в своем кабинете, вошли к нему его советники, обольщенные частию словами, частию золотом *Гаральда*, вошли с тем, чтобы, от имени подданных, умолять его о спасении государства.

— Скажите, что мне делать? Если бы можно было, я бы камни превратил в людей, но это не в моей власти.

Советник. Но в твоей власти сохранить государство тех, которые еще живы, которые удобряют поля его, которые составляют его могущество.

Теодорик. Чего вы от меня требуете, разве я нарушаю мир?

Советник. Нет, но ты можешь сохранить его малой жертвой!

Теодорик. Какою, какою?

Советник. Ты знаешь цену, которою можно приобрести дружество короля Швеции — союзом с его сестрою!

Теодорик. И эту жертву называешь ты малою?

Советник. Государь! Она велика только для любви твоей!

Теодорик. Как! И вы можете желать изгнания той, которой вы одолжены своим величием и славой?

Советник. Это самое заставляет нас надеяться, что *Ильдегерда* не захочет разрушить воздвигнутого ею здания. Если в самой вещи благосостояние народов было целию великих ее деяний — а кто из нас в этом усумнится — то мы смело можем ожидать, что великая душа ее исполнит пламенные желания вопиющих народов, благословения избавленной нации будут ее наградой!

Что было отвечать на это? Слабый Теодорик и так почитал уже возможною разлуку с *Ильдегердой*, теперь она показалась ему нужной, необходимой. «Подите, спросите оракула, — сказал он, — изречение его решит все». С сими словами оставил он своих советников; с надеждою в сердце пошли они в храм, будучи наперед уверены, что обыкновенная темнота оракулов позволит им истолковать в свою сторону слова его.

Положив у подножия алтаря дары свои, ожидали они священного прорицания. Пламенное лицо жреца, пенящиеся уста его и содрогание его тела возвестили присутствие богов, наконец, торжественным голосом пророка сказал святой старец:

«Две царицы стоят пред моими глазами; одна вооружена мечом, другая держит пальму — Змея, грызущая Теодориково сердце, будет пофрана стопою Ильдегерды».

Он умолк, и Теодориковы советники, удовлетворенные темными словами его, возвратились к государю.

«Это очевидно, — рассуждали они между собою, — сами боги подтверждают слова наши. *Две царицы?* Кто ж они, как не *Ильдегерда* и не *Люитгардис*, в руке *Ильдегерды* меч потому, что она дает повод к войне; *Люитгардис* имеет пальму потому, что она возвращает нам золотой мир».

«Под змеєю разумеется, — продолжали они, — упрямство, с которым *Теодорик* противится желанию своего народа; и когда *Ильдегерда* согласится добровольно подвергнуться судьбе своей, то без сомнения раздавит она ядовитую змею. Никогда оракул не бывал яснее, без всякой трудности можно разобрать его, ребенок поймет смысл, в нем заключающийся».

С сими словами возвратились они во дворец к *Теодорику*, чтобы возвестить ему веление судьбы, которой он торжественно повиноваться обещался.

«Так и быть! Противиться богам не должно! — сказал государь после некоторого молчания. — Я решился, решился дать мир народу, может быть, с потерей собственного моего спокойствия».

Более Гаральд не желал ничего, немедленно отправил он послов к шведскому государю просить *Люитгардис* в супружество датскому монарху. Через несколько недель возвратились посланные с желанною вестью, что *Германфрид* готов на таком условии утвердить вечный мир с Данией.

Таким образом, первый шаг был сделан, отступить значило еще более раздражить ужасного неприятеля — надлежало предаться стремлению!

За первым посольством последовало другое, уполномоченное властью монаршей, чтобы сделать нужные переговоры о бракосочетании и других обрядах.

С первого взгляда можно распознать дорогу, которую выбрал коварный наперсник! *Ильдегерда*, раздраженная оскорбительными поступками, которых, конечно, не заслужила, *Ильдегерда*, лишенная супруга и престола, будет пылать мщением, будет искать мстителя и найдет то, чего потребует ее оскорбленное честолюбие, презренная любовь ее. Но чтобы сему честолюбию, чтобы любви сей нанести неизлечимую рану, надлежало сделать ее свидетельницею торжества ее соперницы, и для того *Гаральд* уговорил *Теодорика* до тех пор не удалять от двора *Ильдегерды*, покуда *Люитгардис* не приблизится к столице. «Ибо, — говорил он, — мало ли что может случиться! Буря, болезнь могут легко похитить твою невесту, и ты будешь жалеть об одной, лишась надежды получить другую!»

Охотно согласился государь на предлагаемое, ибо всегда стремимся мы откладывать то, что для нас неприятно, а разлука с *Ильдегердой* была тягостна для *Теодорикова* сердца. Таким образом, все способствовало предприятию коварного Гаральда. И он совершенно предался лестной надежде скоро получить выгоды от неусыпных своих стараний.

До сих пор *Ильдегерда* еще ничего не знала о злодейском против нее умысле. Во всей полноте чувств своих наслаждалась состоянием матери, столько для нее новым и столько привлекательным. Большую часть своего времени посвящала она юному *Гальдану*, кормила его грудью; смотрела с сердечною радостью на милого младенца и улыбалась, когда он улыбался. *Теодорик* остерегался похитить у нее сладостную мечту счастья, и *Гаральд* со всех сторон окружил ее своими шпионами, чтобы ничего прежде времени не допустить до ее слуха. Наконец когда разнеслось известие о скором прибытии молодой шведской принцессы, подумал он, что время снять покров с ужасной будущно-

сти перед глазами несчастной государыни. Он истребовал у нее позволение посетить ее и так искусно во время разговора сыграл ролю задумчивого и беспокоящегося, что супруга *Теодорикова* наконец спросила: «Отчего так молчалив, принц? Отчего это мрачное облако на лице твоём?»

Гаральд (*подумав*). Бойся рассеять сие облако! Из него может излететь молния, которая поразит *Ильдегерду*.

Ильдегерда (*улыбаясь*). Ты, конечно, хочешь испытать, такая же ли я женщина, как и все? Или только намерен постращать меня словами?

Гаральд. Словами? Да, конечно, только от слов сих в минуту пропадет улыбка, которая теперь на устах твоих.

Ильдегерда. Так прошу поскорее выговорить это ужасное слово, ты сам знаешь, что тот, кто может объять всю великость своего несчастья, не так жалок, как тот, кто стоит на краю бездны и ее не видит.

Гаральд (*притворяясь, будто напрасно принуждает себя говорить*). Нет! Тщетно! Я не в силах! Прости меня! Я не имею слов для изображения мрачной неблагодарности!

Ильдегерда. Ты заставляешь меня трепетать, принц! Что такое? Чем грозит мне судьба в объятиях любви, и *Теодорик* с некоторого времени так задумчив, рассеян! Скажи, какая горесть, неужели *Ильдегерда* без намерения оскорбила *Теодорика*?

Гаральд. Может ли *Ильдегерда*, венец своего пола, оскорбить своего супруга? Нет, напротив — *Теодорик* печален только от того, что сам намерен жестоким ударом поразить твое сердце.

Ильдегерда. *Теодорик*? Невозможно!

Гаральд. К несчастью, это слишком справедливо! Ах, государыня, если достоинства, красота и добродетели могут побеждать сердце, то никогда не могут они сделать сластолюбца постоянным; важны услуги, оказанные тобою государству, добродетель твоя приводит в удивление нацию, и корона твоя украшается ею более, чем всеми драгоценными перлами востока. Но для чего же первая из смертных должна быть игрою неограниченной ветрености неблагодарного?

Ильдегерда. Стой, принц! Ты далеко заходишь! Оправдай слова свои.

Гаральд. Ты желаешь этого? Хорошо, я согласен, почувствуй, если можешь, всю низость мрачной измены. Ты была некогда царицей, позабудь сие, все миновалось, ты больше не будешь на престоле, а разве только в сердцах тех, которые тебя любят. Ты некогда была супругой, позабудь и сие, ты мечтала! Проснись, открой глаза, ты *мать*, не забывай сего никогда! Что сделал он, сей невинный младенец? За что лишает его трона неблагодарный отец его? И кто защитит его, если мать его покинет.

Ильдегерда. Клянусь золотыми щитами *Одина!* Никогда Оракул в лесах Асгардских⁶ не бывал так темен! Я перестала быть царицей, я перестала быть супругой? С которых пор? Скажи, пожалуй.

Гаральд. С тех пор, как пресыщенный своим счастьем *Теодорик* принял адское намерение лишить тебя и трона, и супружного своего ложа, с тех пор, как отправил он послов к шведскому государю для заключения с ним вечного союза, а залогом сего союза *Люитгардис*, сестра *Германфрида*. Теперь довольно ли с тебя? Или, если ты хочешь за один раз выпить всю чашу горестей, так с тех пор, как он *Ильдегерду*, которой обязан короной, *Ильдегерду*, мать своего первенца, обещал не посылать в бедную Норвегию дотоле, покуда не будет она свидетельницею торжества новой его супруги, торжества своей соперницы.

Ильдегерда. ... Но зачем повторять все восклицания, исторгнутые изумлением и горестью из сердца несчастной; зачем изображать вздохи оскорбленной любви, растерзанной нежности?

Ужасная весть сия показала ей столь же невероятною, столь же необычайною, как для мягкосердечного европейца повествование о диких народах, которые холодною рукою подымают дубину на поражение дряхлых отцов своих. Она не могла решиться поверить словам принца. Но *Гаральд* клялся священнейшими клятвами, он с обыкновенною уловкою хитрости изъяснил ей многое, что доселе казалось ей непонятным, он заставил ее заметить возрастающую холодность *Теодорика* и пышные приготовления двора, предзнаменовавшие приближение торжественного дня, и наконец убедительными своими заключениями так искусно уверил ее, что несчастная увидела ясно пропасть, на краю которой находилась.

Неподвижно устремила она взоры свои вниз — ни одной слезы не было в глазах ее, ни одна мысль не рождалась в растерзанной ее душе.

Сего дождался *Гаральд*; все планы его основывались на первой сей минуте.

— Ты видишь, государыня, — продолжал лицемер, — ты видишь, что я подвергаю жизнь опасности, обнаруживая в глазах твоих тайну, которой открытия сам *Теодорик* трепещет. Но давно знаешь ты, сколь мало подорожу я счастьем и жизнью, когда надобно будет пожертвовать ими для *Ильдегерды*. Да позволит мне сие судьба! Трудно отвратить злодейство *Теодорика*, но не совсем невозможно. Ободришь! У меня довольно друзей, и амазонки твои готовы по одному твоему мановению вооружиться и мстить за свою государыню. Собери их! Примись опять за ужасный меч свой, надень на голову *Свендов* шлем. Ах! Он бы так не поступил с тобою, и с победой воссядь опять на престол свой. Рука моя, рука тысячей, приверженных ко мне, готовы обнажить за тебя мечи, с

голосом *Гаральда* загремит ужасный глас мятежа, под знаменами *Ильдегерды* мужество будет творить чудеса его рукою, вместе с *Ильдегердой* взойдет он на престол Дании или вместе с *Ильдегердой* погибнет на песке среди бою.

Ильдегерда. Нет, принц, это далеко от моего сердца, нет. Ты видишь слезы мои, видишь их от того, что я не могу удержать их, но не думай, чтобы лишение короны, которую *Теодорик* некогда принудил принять меня, заставляло *Ильдегерду* проливать их. Нет, они льются только о потере сердца, которое было мне дороже блестящего венца и царственного сана. Оружие возвратит мне трон, но где будет *Теодориково* сердце, нет, я не имею против него другого оружия, кроме слез!

Гаральд. А что будет сын твой?

Ильдегерда. Сыном *Ильдегерды*! Если не получит он венца из рук своей матери, то получит от нее сердце и добродетель.

Гаральд. Ты мечтаешь, прости мне, государыня, ты мечтаешь, ты забываешь, что все еще живешь на земле, где мечты всегда будут мечтами, я оставляю тебя, теперешнее твое положение не позволяет действовать *холодному*, но *дальновидному* рассудку. Я уверен, что скоро спадет туман с твоих глаз, что скоро сердце твое возмутится от одной мысли быть посмешищем соперницы — до тех пор, государыня, прости! (*Пожимает с нежностью ее руку.*) Прости! Будь уверена, что *Гаральд* для одного твоего взора готов тысячу раз пожертвовать жизнью.

Он пошел, и *Ильдегерда* осталась в таком положении, какого перо стихотворца изобразить не в силах. Наконец слезы покатались градом по лицу ее, стесненное сердце ее облегчилось, она бросилась в объятия верной своей *Эльги*, вздохи колебали грудь ее. «Разве для того только, — говорила она, — судьба определяла мне быть супругой двух сильных монархов, чтобы я лишилась одного, не обладав им, и чтобы, отвергнутая другим, оплакивала горькое заблуждение любви, за которую так дорого заплатила?»

Тысяча предприятий рождались и пропадали в голове ее: то хотела она идти к *Теодорику* и у ног его выплакать себе или любовь, или смерть; то намеревалась со всем величием оскорбленной добродетели предстать пред глаза его, одним взором укоризны растерзать раскаянием его сердце и потом оставить его с презрением. Но всегда отвергала она советы *Эльги*, которая хотела ее склонить на предложение *Гаральда*.

— Нет, *Эльга*, нет, — говорила она, — только от его сердца требую я справедливости; если оно мне откажет в ней, то я умолкну и буду молчать дотоле, куда мы оба не предстанем пред общего верховного Судию, там *Ильдегерда* простит *Теодорику*.

Эльга. Ты хочешь молчать? Молчать и тогда, когда торжество соперницы раздерет твоё сердце!

Ильдегерда. Нет, *Эльга*, я его не увижу, сего ужасного торжества — ни *Люитгардис*, ни *Теодорик* не будут утешаться стыдом моим, я решилась! В сердце моем сокроется пагубная тайна; лицо мое не изменит мне; улыбаясь, буду я сидеть за столом подле моего супруга, улыбаясь, оставлю царскую залу и во мраке ночи, покрывшись простою одеждою, удалюсь из ненавистной земли сей; добровольно погребусь я в пустынях Норвегии, и в торжественный день сей, который увенчает новую любовь его, не будет он, по крайней мере, иметь удовольствия видеть плачущую *Ильдегерду*. Ступай, любезная *Эльга*, бросься на коня моего, возьми сколько надобно из моих украшений, поспеши на берег моря и купи корабль, который бы, при первом знаке, был готов перенести меня в дикое мое отечество к диким, но добрым моим соотчикам.

Намерение было непоколебимо, тщетно хотела *Эльга* понудить ее выбрать для себя другое средство. «Напрасно стараешься ты, — говорила ей *Ильдегерда*, — обольстить меня мечтами! И чем иным могу я избегнуть грозящего мне поношения и сохранить обыкновенный образ моих мыслей, которым я так всегда гордилась! Стоя на коленях, умолять его о любви, нет; к этому *Ильдегерда* не способна! Неверность же супруга ее никогда не заставит ее забыть, что он ее государь! Совесть моя чиста, спокойна! А ты, верная подруга моей юности, участница слишком скоро протекшего моего величия, *Эльга*, скажи, согласишься ли отказаться от прелестей двора, чтобы разделить бедность с отторженной *Ильдегердой*?»

Со слезами прижалась *Эльга* к сердцу несчастной государыни и со слезами поклялась сохранить ей до гроба вечную верность, вечную дружбу; севши на быстрого коня, полетела она на берег моря исполнить приказание царицы и приготовить все к тайному ее побегу. Чрез несколько дней возвратилась верная наперсница к ногам своей повелительницы и принесла радостную весть, что совсем снаряженный корабль ожидал ее повелений в заливе, осеняемом густым лесом.

* * *

Слабый *Теодорик*! Ты не рожден злодеем! Не в виде кинжала найдено железо в недрах гор, только ненавистные страсти ископали из него орудие смерти. Сердце твоё отклонилось от добродетели, но несмотря на то, стоит оно больше сожаления, чем ненависти; о, для чего не всегда было оно святилищем невинности, премудрости и любви. Посмотрите, как он страдает, как, лишенный сна, завидует последнему стражу дворца

своего, который, опершись на длинную свою алебарду, в тишине души, наслаждается сном спокойным⁷. Бедный, бедный *Теодорик*!

Все тихо, все молчит окрест него, только он лишен спокойствия, только он один томится в уединенном своем чертоге.

Он смотрит в растворенное окно, пред глазами его блистает кроткое вечернее светило, которое некогда освещало для него цветущий путь любви, когда он с юною *Ильдегердой* шел в брачный чертог, чтоб снять с нее девственный пояс. Ах! Сладостная слеза блистала тогда в глазах восхищенного жениха, слеза восторга! А теперь? Теперь слезы раскаяния катятся по бледным щекам его, ночные туманы, расстилаясь пред безмолвствующей столицей, предвещают всеобщее успокоение, только для него ночь — посланница новых страданий; рассеяние, которого тщетно искал он в пестром кругу придворных, не развлекает более тоски его; он один — о ты, улыбающийся друг мудрецов, уединение, как ты ужасно для порочного!

Наконец не в состоянии будучи сносить тягостных чувств, которые стесняли грудь его, и, повинувшись влечению своего сердца, бросился он из своей спальни, чтобы бежать к *Ильдегерде* — случай хотел, чтобы часовой, который стерег вход в его горницу, заснул и не пробудился, когда зашумела растворившаяся сия настезь дверь.

Трудно при собственных страданиях видеть холодным взором спокойствие и счастье других! С неудовольствием схватил *Теодорик* за руку спящего и сильно потряс его. Содрогнувшись, пробудился бедный от своего сна, протер глаза и с безмолвным ужасом при свете лампад, горевших в галереях замка, увидел пред собою государя.

— Как, — сказал *Теодорик* с гневом, — ты осмеливаешься спать тогда, когда должен хранить жизнь своего государя! Прочь с глаз моих! Ты заслужил смерть, и первый луч дня не увидит тебя в живых.

Трепеща, бросился бедный к ногам своего монарха: «Выслушай меня, государь, выслушай — я невинен! У меня есть жена, у меня есть семеро детей, которые каждый день просят хлеба и для прокормления которых недостаточно мое жалованье, чтоб утолить голод семьи моей, целые три дни, обливаясь потом, за малую цену, пахал я поле одного господина и едва вырабатывал им и себе дневную пищу. Вчера ввечеру возвратился я, обессилев от тяжелой работы, в свою хижину, накормил бедных своих детей и хотел уже успокоиться от понесенных мною трудов, как вдруг пал на меня черед стоять ночью на часах у твоей спальни, силы мои были истощены, и сон против воли одолел меня; государь, я заслуживаю смерть, но я надеюсь, что монарх мой — не ради сих ран, полученных мною на сражениях, но ради горестного вопля моих сирот — пощадит мою бедную жену, пощадит оставленных моих детей».

— О, ты счастливый, — сказал со вздохом Теодорик, — как бы охотно поменялся с тобою своим жребием; ты невинен, старик, встань, я прощаю тебя, возвратись к жене своей, ты мне не нужен, я один охраняю вас всех.

Он сказал и робкими шагами пошел к спальне государыни; тихо постучался у дверей, трепеща, повернул замок и с потупленными взорами вошел в горницу своей супруги.

В самую ночь сию хотела *Ильдегерда* тайным побегом укрыться от незаслуженного поношения и навсегда оставить столицу Дании. Она лежала на софе и, смотря в окно, дожидалась месячного восхода, чтобы, при свете лучей его, дойти к ближнему заливу, где скрывался корабль, ожидавший ее пришествия. У ног ее сидела верная *Эльга*; обе сохраняли глубокое молчание, обе погружены были в горестные, унылые мысли.

Вдруг что-то зашумело у дверей. Утихло, как будто удалилось, потом послышалось опять и гораздо ближе. Наконец застучал замок, и вдруг тихо отворилась дверь и скрипом своим пробудила задумчивых.

— *Государь!* — сказала изумленная *Эльга*, распознавши пришедшего.

К счастью, бледная лампада разливала только слабый свет в горнице, мрак покрывал пылающие щеки *Ильдегерды*, и замешательство ее укрылось от потупленных взоров *Теодорика*, который сам едва осмелился взглянуть на нее.

— Супруг мой! — сказала она робко, вообразив, что кто-нибудь открыл ему ее намерение. — Для чего так поздно в час полуночи?

Теодорик. Прости мне, любезная, страшный сон понудил меня встать с моей постели: мне снилось, будто ты лежала в моих объятиях и вдруг была похищена жестокою рукою — я хотел помочь, спасти тебя, хотел вскочить и броситься за тобою — и не мог, и чувствовал, что железные цепи связывали мои руки; я слышал твои стоны, твои упреки; я кипел яростию и — ах! Чем больше силился разорвать жестокие узы, тем больше запутывался в них, тем больше они меня обременяли. Наконец я проснулся... Холодный пот капал с лица моего, я вскочил и поспешил к тебе.

Ильдегерда. Это пустой сон, не стоящий никакого внимания; только одно суеверие видит существенность в мечтах нашего воображения. Как можно, государь, бояться тебе таких снов? Кто вырвет меня из твоих объятий, когда я в твоём сердце.

Теодорик отвечал одним вздохом и с такою нежностью прижимался к ее сердцу, такими жаркими поцелуями покрывал горящее лицо ее, что *Ильдегерда*, которая все сие принимала за притворство, чувствовала ужасную горечь в душе своей. Для нее несносно было, что изменник,

которого одним словом она изобличить могла, старался обмануть ее ложными своими ласками, она молчала, но отвечать нежности, с какою неверный лежал на груди ее, было для нее невозможно.

Месяц взошел, и с ним наступило время, назначенное для побега. *Ильдегерда* вырвалась из объятий клятвопреступного своего супруга, представила ему свою усталость и просила дать ей успокоиться. Он пошел.

Ах! Тут пробудились, как будто от электрического удара, все воспоминания пролетевших радостей любви, и горестная будущность представлялась глазам ее.

Может быть, впоследствии — говорило ей сердце — может быть, впоследствии видишь ты любезного изменника, отца твоего сына! С отверстыми объятиями, с обнаженною грудью полетела она за ним вслед, обхватила его лилейными своими руками и сказала: «Прости, *Теодорик!* Извини меня, что еще на минуту лишаю тебя спокойствия, ты не видал еще своего сына — посмотри его».

С сими словами, почти насильно, привела она смешавшегося государя к колыбели, в которой почивала невинность:

— Посмотри, это сын твой! Поцелуй и благослови его. Пускай, охраняемый благословением родителя и нежностью матери, безопасно он будет сражаться со всеми бурями, которые, может быть, судьба ему определяет.

Тут нагнулся *Теодорик* к почивающему своему первенцу, поцеловал румяную его щеку, и горячая слеза упала из глаз его на руку младенца.

— Для этой слезы прощаю тебя, — вскричала тронутая *Ильдегерда* и сокрылась во внутренность своих покоев.

Слова сии подобно кинжалу поразили сердце доброго государя, долго неподвижно стоял он на одном месте и смотрел за нею вслед, сердце его стеснилось, он не понимал самого себя и косными шагами возвратился в уединенный чертог свой.

Когда все стало тихо, когда в пустых переходах дворца ни малейший звук не отражался от высоких сводов, тогда *Ильдегерда* отерла слезы свои и вышла, опираясь на руку своей подруги.

— *Эльга*, — сказала она, — кажется, полночь?

Эльга. Полночь! Все пусто, все мертво, только на небе сияет созвездие Медведицы.

Ильдегерда. Хорошо! Пойдем! От чего сердце мое так рвется? Где сын мой? Где сын мой?

Эльга. Он спит.

Ильдегерда (подходит к его колыбели и с матернею нежностью смотрит на спящее дитя). Он спит, и каким сладким сном! *Эльга*, так спит одна

невинность; а отец его? Так же ли он спокоен! О! Как легко можно узнать следы совести на лице спящего! Как скоро усталость закроет глаза его, то из самого таинственного сердечного изгиба вырывается воспомина-ние сделанного им добра или зла, оно поселяется мгновенно на щеках, его и тогда либо судорожные содрогания, либо кроткая улыбка его изображают! Как жаль мне разбудить бедного младенца! Может быть, он видит приятный сон! Но нет; рукою горести пробуждена мать его от приятнейшего сна, от сна любви и не смеет даже роптать. Пойдем, пойдем, я слышу крик петуха! Удалимся, покуда утро не воссияло.

Тут *Эльга* взяла на руки спящее дитя, и оно не пробудилось. Осторожно пробиралась *Ильдегерда* с своей подругой по темным переходам, наконец пришла она к маленькой двери замка, которую подкупленный страж отворил для нее. Она обратила назад слезящие взоры.

— В те ворота входила я некогда в торжестве, а нынче, как преступница, должна скрываться чрез потаенную дверь сию. Тогда великолепное солнце освещало радостный путь мой, теперь только уединенный месяц светится в горестных слезах моих — клятвопреступный супруг! Пойдем, пойдем! Я не хочу проклинать его!

Сказав сие, взяла она маленького *Гальдана* в свои руки. Нежность матери не хотела оставить его чужому попечению, с осторожностью несла она его сквозь непроходимые леса, чрез утесистые горы. Ночь была холодна, но крупные потовые капли катились с лица *Ильдегерды*, руки ее были изранены терновыми иглами, ноги изрезаны острыми камнями, и кровавые следы ее были приметны на желтом песке, по которому она шла. Уже целые два часа продолжался путь их.

— Верно, ты устала, бедная *Эльга*.

— Признаться, государыня, очень устала!

— Неудивительно! У тебя нет на руках сына, прости мне, добрая *Эльга*!

Эльга. Ты обижаешь меня, я готова умереть с тобою.

Они шли еще долго, но морской воздух не веял им навстречу, кустарник час от часу становился гуще, дорога час от часу делалась труднее.

— Кажется, — сказала *Эльга*, — занимается заря. Видишь ли эту золотую полосу на востоке? Горе нам, если солнце будет нашим предателем.

— Ободришь, это продолжится недолго. Мы слишком отошли влево, первый луч дня покажет нам настоящую дорогу.

Они удвоили шаги свои, страх придавал им крылья, подобно диким козам, перебегали они с одного утеса на другой, подобно гонимым ланям, переплывали быстрые потоки.

Вдруг поднялся вокруг их густой туман, собрался в мрачное облако перед утреннею зарею и составил другую ночь, которая была гораздо

мрачнее, гораздо непроницательнее! Бедная *Ильдегерда*, опасаясь, чтобы сырой утренний воздух не был вреден для маленького *Гальдана*, укрыла и увернула его всем, что могла отделить от своей одежды. Усталость начинала одолевать ее, она вооружилась мужеством и, изнемогая сама, старалась еще утешительными словами подкрепить свою *Эльгу*.

Наконец сия последняя без сил повалилась на камень. «Прости мне, государыня, — сказала она, — я не могу более».

— Боги, боги, этого слишком много, — вскричала *Ильдегерда*, — *Один*, не обременяй меня бедствиями, которых я снести не в состоянии, соедини туман сей в громовую тучу и пошли из нее стрелу *Гелы* в мое сердце.

Изнемогши, бросилась она подле своей подруги на сырую землю, холодная дрожь пробежала в ее жилах, слабо прижала она маленького *Гальдана* к сердцу, и горячие слезы ее лились на лицо спящего младенца.

Тут зашумел сильный дождь, смешанный с градом, в несколько минут поля покрылись водою, бедные изгнанницы были промочены насквозь, под ногами их текли потоки, крупные капли сыпались с деревьев на их головы. Маленький *Гальдан*, который, под сводом раздраженного неба, по сию пору так спокойно спал в объятиях матери, проснулся, облитый, несмотря на ее старания, холодным дождем, и наполнял воздух пронзительными криками. Материнское сердце раздиралось и обливалось кровию. Напрасно ласкала она бедного младенца, напрасно давала ему сосать грудь, в которой страдания и горесть почти всю пищу истощили; ничто не помогло. Наконец мужество ее пропало, надежда на провидение, защищающее невинность, готова была погаснуть в ее сердце, она готова была проклинать жизнь свою.

Вдруг недалеко в кустах послышался собачий лай! Новая жизнь, новые надежды продлились в ее сердце, новые силы подкрепили изнемогшие ее кости. Она вскочила, подала утомленной подруге своей руку и помогла ей встать. Разделяя левою рукою густой кустарник, а правую прижимая ко груди бедное, страдающее дитя свое, пошла она прямо на голос, который час от часу приближался.

Вдруг увидела она пред собою низкую хижину, которой сплетшиеся ветви деревьев служили защитой от бурь. «Я найду здесь людей, — говорила она сама с собою, — чистосердечно расскажу им все, страдания мои, конечно, тронут сердца лесных жителей, они не откажут мне в своей помощи. Если не удастся мне упросить их, то последним моим прибежищем будет сей кинжал!» Таким образом, приготовясь ко всему, смело постучалась она у дверей хижины.

Но кто изобразит ее удивление, когда женский голос отвечал ей изнутри: «Благословляю тебя, царица Дании и Норвегии, благословляю при-

ход твой, войди и грейся у огня моего, войди вместе с твоим Гальданом, вместе с верною Эльгою».

Тут отворилась дверь хижины, и наша героиня увидела сидящую у огня седую старуху, которая встала, опираясь костылем, побрела к ней навстречу, взяла ее за руку и посадила на кровать, сплетенную из тростника и устланную мягким мохом. С добродушною заботливостию отогрела она маленького *Гальдана* перед огнем, надоила козьего молока, чтобы покормить его, и принесла для своих посетителей плодов, хлеба и напитков, которые сама составляла из соку лесных ягод; все сие оживляла она дружелюбным разговором; просила гостей своих не отвергать простой ее пищи и не презирать ее бедности, ибо она от доброго сердца предлагала им все, что имела.

— Когда вы, — продолжала она, — успокоитесь от трудов и ужасов прошедшей ночи, то покажу я вам кратчайший путь к морскому берегу; правда, уже давно я не выходила из хижины, ибо вы сами знаете: дряхлость неразлучна с слабостию, но нынче кое-как пойду я с вами, такая добрая государыня стоит, чтоб ей пожертвовать последними своими силами. Не беспокойтесь, вас преследовать не будут, корабль стоит в безопасном заливе, ветер попутный, и прежде, нежели солнце совершит половину пути своего, берега Дании пропадут из глаз ваших.

Добрая государыня с изумлением посмотрела в глаза старухи, которой, казалось, были известны все ее мысли, она не знала, как разрешить эту загадку.

— Кто ты, непонятная? — сказала она с видом недоверчивости, — кто ты? Или таинмая книга судьбы раскрыта пред лицом твоим?

— Я *Сванильда*, — отвечала старушка, — *Сванильда*, столетняя предсказательница, которой имя, может быть, давно тебе известно.

Священный ужас почтения наполнил сердце государыни при словах сих: она много слышала чудесного о *Сванильде* при дворе своего супруга и за несколько минут собственным опытом уверилась, что все сказанное об ней было мало, недостаточно. Скрываться пред любимицею богов показалось для нее бесполезным, и она решилась, рассказав ей все, что, может быть, уже давно было ей известно, просить ее помощи.

Предсказательница обещала сделать для нее все, что могла, и сдержала свое слово.

Как скоро бедные странницы высушили свои платья, выжали взмокшие свои волосы и утолили голод, взяла она посох, чтобы их проводить к морю. С поспешностию, какая только была ей возможна с бременем столетия, лежавшего на плечах ее, вела она своих посетительниц по тропинке, ей одной известной; скоро пришли они на берег; матросы

восклицаниями встретили свою повелительницу, свежий воздух надувал ветрила, и луч просиявшего солнца блистал на колеблющихся волнах; *Сванильда* обняла *Ильдегерду*:

— *Прости*, — сказала она величественным голосом и быстро устремила на нее глаза свои, небесный огонь пылал в ее взорах. — *Прости*, скоро на хребте моря с ополчением сильным возвратишься ты на берега Дании; опустошенные поля ее, облитые кровию, будут ожидать спасения от руки твоей; к тебе будет обращен слезящий взор поселянина, уединенно блуждающего на разоренных своих нивах, к тебе будут нестись стоны плачущих, оставленных сирот. И ты возвратишься, возвратишься, подобно божеству благотворящему, при звучных плесках миллионов; и враги падут пред тобою, благословенная мать царей, и в поздних веках загремит славное имя *Ильдегерды* — смотри, из рода в род передают венценосные твои потомки обвитый лаврами скиптр норвежский; смотри...

Еще пророчествовала вдохновенная жена с утеса, склоненного на пенистые волны, еще, простерши руку, посылала она благословение бегущим, как уже великое пространство разлучало их с землею, которая с их изгнанием погружалась в бедствия; плавание было счастливо, погода была ясная; в несколько дней достигла *Ильдегерда* отечественных берегов своих и удалилась в густоту леса, в самый тот замок, в котором некогда проливалa она слезы о *Торе* и вздыхала о юном любезном *Свенде*.

Возвратимся к бедному, обольщенному *Теодорику*.

Едва успел он пробудиться от краткого сна, который больше утомил его, чем успокоил, как пришли ему возвестить, что одна из женщин государыни ожидала позволения быть допущенною пред лицо его.

— Впусти ее! — сказал оробевший государь, предчувствуя что-нибудь необыкновенное; краска вступила в лицо его, робкий взор его был неподвижно устремлен на дверь.

Тут вошла *Инжилльберта*, сестра *Эльги*, она была одета в печальное платье, долгий флер покрывал ее голову и простирался до самых ее ног; ее мрачная одежда, немая горесть, изображенная на лице ее, были ужасным предзнаменованием для робкого *Теодорикова* сердца; медленно подошла она к государю, безмолвно подала письмо и удалилась. Трепеща, развернул его *Теодорик* и прочел следующее:

«*Ильдегерда ко Теодорику, королю Дании и Норвегии.*

Твое великодушие — ты называл его любовью — понудило меня принять венец из руки твоей тогда, когда кровь шведов обогрела мои латы. В воинственном вооружении понравилась я *Теодорику*, в одежде супруги перестаю ему нравиться; некогда кровь *Ранфрида* отворила мне путь к престолу, теперь его же кровь лишает меня

короны. И твои, и мои враги торжествуют, но я не унижусь до того, чтобы обвинять их. Я возвращаю тебе венец, который не честолюбие наложило на мою голову; чтобы избегнуть ожидавшего меня поношения, я добровольно кладу его к ногам твоим. Сан, которым воля твоя облекла меня, не заставил меня еще забыть достоинства, в которое я опять вступить намерена. Я не буду укорять тебя; я ничего не лишилась, ничего, кроме твоего сердца, которое потеряно навеки. Будь счастлив, будь спокоен, если это возможно в таком положении, в каком я тебя оставляю. Я спешу в леса моего отечества; там найду я то спокойствие, которого не нашла на троне, и если когда, не возмущая радостей новой любви твоей, будешь ты вспоминать об *Ильдегерде*, то помни, что никогда не забудет она в *Теодорике* отца своего сына! *Ильдегерда*».

Читатель! Ты сам можешь представить, какое впечатление произвело в душе *Теодорика* торжественное прощание *Ильдегерды*; ты знаешь его, он не был злодеем, не был и тогда, когда слабость и легкость его характера увлекали его во многие преступления; вся нежность его пробудилась в сию минуту, он опять увидел в *Ильдегерде* любезную, бесподобную женщину, мать своего сына, страждущую невинность, он решился действовать, как муж, и плакал, как дитя, но вместо того, чтобы исполнять без отлагательства добрые внушения своего сердца, вздумал он потребовать совета у *Гаральда* — и любимец был позван к своему государю.

— Прочти *Гаральд*! — вскричал *Теодорик*, как скоро наперсник взшел в кабинет его, — прочти это ужасное письмо и дай мне совет, и успокой, если можешь, бурю, кипящую в моем сердце!

Гаральд взял письмо и прочел. Побег *Ильдегерды* был для него громовым ударом, который за один раз ниспроверг лучшие его надежды, но пронизательный взор такого сердцевида ясно видел, что ничто так не сильно было возвратить *Ильдегерде* колеблющегося *Теодорикова* сердца, как сие благородное ее отречение — надлежало еще раз обольстить бедное его сердце, и коварство было здесь больше, нежели когда-нибудь, нужно.

С трудом мог *Гаральд* скрыть смущение, изобразившееся в лице его; он улыбнулся принужденно, сложил письмо, спрятал его за пазуху и спросил с притворным равнодушием, что думает сделать государь?

Теодорик. То, что он сделать должен! Я наперед знаю, что ты станешь противоречить, но не теряй напрасно слов, они будут бесполезны; вооружи немедленно легкий корабль; пускай он летит вслед за *Ильдегердой* и пускай принесет в объятия *Теодорика* добродетельную, великую его супругу. Ах! Сколь я виноват пред нею! Что ж касается до *Люитгар-*

дис, то я не хочу об ней и слышать; пошли в Швецию *герольда*, пусть возвестит отказ мой *Германфриду*.

Гаральд. Военный крик неприятелей громко загремит ему в ответ. *Германфрид* будет раздражен; *Люитгардис* слезами своими вооружит каждую руку; каждый благородный швед согласится скорей тысячу крат умереть, чем оставить неотмщенным такое поношение! Уже я вижу, как, подобно отторгнутым утесам, стремятся они подавить нас, как опустошают цветущие твои земли, умерщвляют твоих подданных; государь, ты должен отвратить сии бедствия. *Ильдегерда* добровольно отреклась от престола — благодари ее! Она облегчила для тебя шаг, который был так труден твоему сердцу.

Теодорик. Ах, что будет с нею! Есть ли награда ее любви, ее мужеству?

Гаральд. Нет! Конечно! Но ты можешь равным образом облегчить судьбу ее?

Теодорик. А ее сердца?

Гаральд. Сердце ее? О! Поверь мне, оно не так бедно, как ты думаешь, оно будет наслаждаться радостями матери; оно будет посвящено образованию милого сына!

Теодорик (с тяжким вздохом). А я?

Гаральд. Ты? (Подавая ему маленький портрет.) На этот вопрос должен отвечать оригинал сего портрета.

Теодорик (с любопытством). Что это?

Гаральд (улыбаясь). Прекрасное изображение прекрасной девушки!

Теодорик. А оригинал?

Гаральд. Не смею назвать его, ты запретил произносить имя.

Теодорик. *Люитгардис*?

Гаральд. Отгадал!

Теодорик (приспально рассматривая картину.) Она хороша! (Помолчав.) Прекрасна. (Помолчав.) Бесподобна!

Гаральд. Говорят, будто живописцу не удалось всего хорошенько выразить, будто здесь нет того милого добродушия, которое оживляет все черты красавицы; будто кисть художника не умела изобразить той нежной улыбки, которая всегда на розовых устах ее!

Теодорик. От кого получил ты этот портрет?

Гаральд. От моего посланного, который также и скорое прибытие принцессы возвещает; она хотела — говорит он — только три дни промешкать после его отъезда, а как он сам замедлил на дороге, то, вероятно, что и она вскоре за ним будет.

Теодорик. Как поспешно, мы еще и к принятию не приготовились?

Гаральд. Не беспокойся ни об чем! Только бы сердце твое было готово; в прочем положишься на верного *Гаральда*.

Теодорик. Так поспеши, пожалуй! Не жалея ничего, ни сокровищ моих, ни издержек! Говорят, будто двор ее брата великолепен; и так надобно стараться, чтобы она здесь не претерпела недостатка в том, что, может быть, от привычки сделалось для нее необходимым.

Гаральд. Все будет исполнено! Я не пожалею ни твоих сокровищ, ни своих трудов, *Люитгардис* будет, конечно, довольна — (*коварно*) — тем более что все получит из рук *Теодорика* (*хочет идти*).

Теодорик. Постой немного, куда ты девал письмо?

Гаральд. Какое?

Теодорик. *Ильдегердино!*

Гаральд. Да! Оно у меня! Но лучше бы было, когда б ты не читал его.

Теодорик (*чувствительно*). По крайней мере, оно стоит ответа!

Гаральд. Ну, конечно! Еще не худо будет приложить к нему и подарки.

Теодорик (*рассматривая портрет*). Это правда, к тому ж в самых сильных выражениях представляю ей свою горечь, свою досаду — принуждение, которому сердце мое должно было повиноваться.

Гаральд. И прочее, и прочее, что придет тебе в голову; теперь позволь мне предложить свое мнение, и если оно будет несправедливо, то вини за то одну мою ревность.

Теодорик. Что такое?

Гаральд. Не худо бы было, когда б ты велел собрать некоторую часть своих войск на границе норвежской.

Теодорик. На что?

Гаральд. Легко станется, прости мне, это одно предположение, основанное только на познании женского сердца, легко станется, что *Ильдегерда*, к которой так привержена вся Норвегия, захочет возвратить трон свой и возмутить.

Теодорик. Молчи, этого никогда она не сделает.

Гаральд. Почему ж? Разве ты не знаешь, до чего может дойти раздраженная страсть, и кто раскаивался от излишней осторожности? К тому ж причина, для которой соберутся войска на границе, будет неизвестна.

Теодорик. Нет! Нет! Этого не будет, и никогда быть не может! Ни слова более! Ни один вооруженный не приблизится к границам Норвегии, и самые те, которые там находятся, будут выведены и возвращены во внутренность государства! Я не хочу заставить думать *Ильдегерду*, что душа *Теодорикова* способна подозревать ее.

Гаральд. Как хочешь! Я исполнил свою должность!

Лицемер пошел, и обманутый друг его остался с унынием, с неудовольствием в сердце, прекрасным изображением любезной шведки

старался он утешить тоскующую свою душу и разогнать воспоминание о *Ильдегерде*, которая, может быть, проливала слезы в сию минуту.

Уверившись, что исполнил свою должность и поступил так, как того требовали от него любовь и добродетель, и убедив совесть свою блестящими, ослепляющими софизмами, написал он к несчастной изгнаннице препышное письмо, наполненное сильными красноречивыми извинениями! Несказанно удивился он, когда она, не удостоив его ответа, возвратила с презрением присланные им великолепные подарки, которыми он хотел заменить холодную принужденность своего письма. Он называл сие дерзким, обидным и радовался втайне, что сама *Ильдегерда* подавала ему повод быть недовольным. Счастлив преступник, могущий усыпить свою совесть! Сам *Теодорик* завидовал ему, ибо софизмы его не всегда обманывали его сердце!

Наконец *Люитгардис* прибыла в столицу Дании; везде воздвигли в честь ее торжественные врата, улицы были усыпаны цветами, окны увешаны драгоценными тканями, праздничные одежды, великолепные украшения возвещали веселый, радостный день! Но горестные, унылые лица были слишком разительною противоположностью великолепным украшениям и праздничным одеждам! Радостные клики не гремели навстречу юной чете, все было тихо, мрачно, и *Теодорик* подле своей *Люитгардис* чувствовал жесточайшие мучения.

Он повелел раздать народу мясо и хлеб и потчевать его напитками в торжественный день сей, но народ не дотрогивался ни до чего; он молился в храме *Одина*, где *Ильдегерда* после сражения повесила меч свой и копье свое, и обливал их непритворными слезами. *Теодорик* видел это и терзался. Казалось, все нарочно соединилось, чтобы различным образом мучить его сердце. Рыцарь *Сиггурд*, старый швед, самый тот, который с поля брани унес *Ранфридово* тело и заколол *Свендова* убийцу, прибыл в свите шведской принцессы, чтобы вручить ее государю. Едва он сие исполнил, как, немедля нимало, вскочил на коня своего, чтобы ехать назад в свое отечество.

— Куда ты? — вскричал удивленный *Теодорик*, — разве ты не хочешь быть участником моей радости и на моей свадьбе осушить чашу пиршества.

— Монарх, — отвечал рыцарь, — помнишь ли, как на поле сражения старик *Сиггурд* пожал руку и обещался быть твоим другом? Помнишь ли? Мой государь повелел мне провожать принцессу, сестру свою, и я исполнил его повеление — я вручаю ее тебе, но прости мне: дружбу свою беру я назад.

Не дожидаясь *Теодорикова* ответа, кольнул он шпорами свою лошадь и скрылся из глаз пораженного государя, который довольно чувство-

вал, что он недостойн дружбы такого человека — так-то мучила его немолимая совесть! Так-то отравляла она все его удовольствия и изливала горечь в недра самых супружеских радостей.

А *Люитгардис*? О! Она была доброе любезное творенье, всегда весела, всегда спокойна, не думала ни о чем и наслаждалась радостями настоящей минуты, не заботясь о той, которая за нею следует.

А *Гаральд*? Время к нему возвратиться! Побег *Ильдегерды* разрушил все хитрые его намерения, но не обезоружил честолюбие его! Он, подобно хорошему шахматному игроку, который, при всем искусстве своего соперника, всегда готов дать новый ход игре своей, думал, как бы овладеть тронотцов своих — так называл он престол Дании — овладеть без помощи оружия, без кровопролития и сражений; он был совершенно уверен, что, с венцом монаршим, легко может получить и любовь *Ильдегерды*; несмотря на его тонкость, несмотря на приобретенное им глубокое познание человеческого сердца, он впал в такую же ошибку, в какую мы все, слабые смертные, нередко впадаем; то есть он рассуждал о чужих характерах, примешивая к ним всегда часть своего собственного. От сего-то он почти всегда ошибался в своих заключениях, ибо от ложных причин его происходили только ложные действия. Ему столь же невозможно было почесть *Ильдегерду* терпеливою, кроткою, как греку отнять ревнивость у Юоны. «Только бы мне сделаться государем! — думал он, — а то, я уверен, что она с жадностию будет искать всякого случая, чтобы доказать изменнику, что и без него может быть королевой...»

Уже обладал он неограниченную доверенностию *Теодорика*, уже войска Дании повиновались ему, как полновластному вождю своему, уже успел он отдалить всех верных, заслуженных приверженников государя и окружить его преданными себе тварями! Престол колебался, и кто не скажет со мною, что сам *Теодорик* подал повод поколебать его, что он сам был исполнителем хитрых замыслов коварного злодея! С лишением обожаемой всеми *Ильдегерды* лишился он любви своего народа и отворил вход *Гаральду* в сердца своих подданных; искусно воспользовался проницательный наперсник благосклонными обстоятельствами. Он жаловался вместе с обиженным, фоттал с недовольным, ослеплял корыстолюбца блестящими обещаниями и скоро узрел себя предводителем многочисленной партии, которая ожидала одного мановения, чтобы возмутиться — оставалось ему шагнуть — и путь исполина кончен! Скоро явился благопристойный к тому случай.

Теодорик, обладая прелестною супругой, управляя двумя народами и наслаждаясь ненарушаемым миром, все был несчастен, ибо ни радости

супружеской любви, ни сияние венца, ни улыбка благодатного мира — ничто не могло заглушить в нем обвиняющего гласа совести, он убежал самого себя, вдавался во всякое рассеяние, искал забвения прошедшего в шумной толпе двора — и все было тщетно. Тщетно! Скука и мертвая холодность была с ним неразлучны, даже в самых объятиях прекрасной *Люитгардис*.

Гаральд воспользовался таким расположением души государевой. Он предложил ему, как будто бы случайно, для *рассеяния объездить свои земли*. «Прекрасно! Прекрасно! — вскричал бедный, обманутый, но всегда добрый *Теодорик*, — я поеду! Буду искать в благотворении того счастья, которого не нахожу на троне; буду видеть всегда новые, привлекательные предметы и рукою *отца* стану изливать благотворения *государя* моему народу — скорей! Скорей! Приготовь все к моему отъезду!»

Нетерпение его было неограниченно, малейшее замедление было ему несносно, и чрез несколько дней выехал он из своей столицы, оставив *Гаральда* полновластным повелителем. Сей-то минуты ожидал наперсник, ежедневно получал он известия от государя, который уведомлял его о продолжении путешествия, и наконец, едва узнал он, что монарх достиг отдаленнейших границ своего государства, как, не медля нисколько, сбросил с себя маску, собрал своих сообщников, заключил в темницу молодую государыню и взошел на престол Дании при громких плесках ослепленного народа.

С ложною кротостию надел он на себя венец царский и с притворным благочестием вступил в храм *Одина*, чтобы принести ему жертву — неразрывной казалась ему цепь, которую он сковал своим пронырством; ничего не оставалось более желать ему, кроме сердца *Ильдегерды*; он схватил перо и написал:

«Гаральд, король Дании, к королеве Ильдегерде.

Я отмстил за тебя, прекрасная! Изменник наказан, и *Гаральд* на престоле — добровольно разорвал безумные связи, которые совокупляли его с *Ильдегердой*, ты свободна! Спешి составить новый союз! Спеши царствовать там, где царствует *Гаральд*.

Пышное посольство отправилось в Норвегию, чтобы вручить *Ильдегерде* письмо сие и в торжестве возратить ее на берега Дании.

Как раздробляющий гром *Одина*, поразила *Теодорика* ужасная неожиданная весть! Долго не мог он выговорить ни слова, наконец первое восклицание, вылетевшее из его сердца, было: *«Ильдегерда! Ильдегерда!* Я заслужил это! Кто изменил доброй жене, тот не должен роптать на предательство друга!»

Пожалейте несчастного, он престаает быть ненавистным; взгляните на его ужасное, отчаянное положение и удостойте бедного своим

состраданием; посмотрите — все его оставляют, он не имеет ни друзей, ни подданных, у него две супруги, и ни одну не может он прижать к сердцу, ни одна не может утешать его. Вот образ несчастного! Ах! Его страдания истребляют в сердцах наших ненависть, которую возбудила в них его слабость!

Он блуждает из города в город. Везде затворяют перед ним ворота, он переходит из села в село, и редкий поселянин разделяет с ним черствый кусок своего хлеба; наконец, сквозь тысячу опасностей достигает он в отдаленнейшую провинцию своего государства, одну, которая осталась верною законному своему монарху. Здесь собирает он маленькую толпу из нескольких тысяч и, предводительствуя ею, идет мужественно против хищника своей короны; не надеясь победить его, он решился в отчаянии устремиться на мечи врагов своих и на поле брани кончить бедственную жизнь свою.

Гаральд смеется усилиям безумного, надевает стальной панцирь свой, собирает бесчисленное войско и выступает в поле, чтобы довершить порабощение Дании и обремененного цепями своего соперника приковать к торжественной колеснице, которая повезет его к алтарю брака с *Ильдегердой*. Со дня на день ожидает он посланных в Норвегию и не знает, как изъяснить их продолжительное замедление. Но он утешается мыслию, что после совершенной победы, когда все преклонится пред скипетром завоевателя, спокойствие будет сладостнее для него в объятиях любви.

Между тем оба войска — если можно назвать войском маленькую толпу *Теодорика* — сблизились. *Теодорик* хотел сражаться, но *Гаральд* избегал сражения, он не сомневался в победе, он только хотел возмутителей — так называл он их — понудить, голодом и жаждой, кинуть оружие, сдаться и предать в руки его бедного, бессильного своего государя.

Все, казалось, благоприятствовало сему намерению. Неосторожный *Теодорик* стал лагерем в глухой долине, в которой не было ни одного источника, ни одного плодотворного дерева; неприятель заградил все проходы, скоро оказался недостаток в пище, скоро не осталось другого питания, кроме росы небесной; маленькие сшибки, происходившие между обеими партиями, только что ослабляли осажденных, они роптали, и верность их к государю час от часу уменьшалась; ежедневно подсылал *Гаральд* переодетых шпионов в лагерь, которые, его именем, обещали помилование колеблющимся, если они добровольно покорятся и предадут своего государя.

— Чего вы медлите? — говорили они, — смотрите, все ваши братья покорились и счастливы. Новый государь милосерд, он будет отцом

вашим, но бойтесь разъярить его! Или думаете вы, что горсть вооруженных может устоять против голода, жажды и бесчисленного войска? Давно бы рассеял *Гаральд* бессильную вашу шайку, когда бы не сожалел об вашем заблуждении, когда бы не щадил крови своих подданных, ибо он любит вас, как сынов своих. Одумайтесь, киньте оружие и облобызайте руку отца прежде, нежели гнев вооружит ее мечом мщения.

Натурально, что такие слова произвели свое действие. Войско *Теодориково* собралось и положило принести желанную жертву новому государю и тем избавиться от неизбежной гибели.

Таково было положение бедного *Теодорика*! Он слышал роптание своего народа и каждую минуту ожидал, что его обременят цепями и повлекут к ногам изменника, которого прежде осыпал он благотворениями. Мысль сия была для него ужасна. Героическое мужество пробудилось в его сердце! «Лучше умереть, чем сносить поношение!» — сказал он и приготовился выпить ад.

Тут вошел *Эскил* в ставку государя! С блестящими от радости глазами возвестил он ему, что некоторая женщина, которая, с корзиною плодов, пробралась сквозь неприятельский лагерь, желает говорить с ним, и не успел еще он кончить слов своих, как она явилась пред лицом *Теодорика*.

— *Эльга*! — воскликнул удивленный монарх, — *Эльга*! Возможно ли! Это ты?

Молча поклонилась она пред государем и подала письмо в его руки. «*Ильдегерда к Теодорику, государю Дании и Норвегии.*

В сию минуту пристаю я к берегам Дании, шесть тысяч амазонок и восемь тысяч вооруженных норвежцев следуют знаменам моим; я спешу защищать тебя, чрез несколько дней буду я с тобою, и как скоро воинственный крик моих народов возвестит тебе мое прибытие, то, не медля нимало, выступи из своего лагеря, ударь прямо в ряды неприятеля; я поражу его сзади; моя кровь и моя жизнь принадлежит тебе. *Ильдегерда*».

— Боже! — воскликнул растроганный *Теодорик*; слезы градом показались по лицу его, и он в исступлении прижал *Эльгу* к своему сердцу. — Боже! Не сон ли это! Сколько великодушия, и к кому! Ко мне, который не заслужил его — ах! Как могу я предстать пред лицо ее! Как могу поднять глаза свои на божество, оскорбленное мною!

— Об этом говорить не время, — перехватила *Эльга*, — прости мне, государь! Ты слишком часто жертвовал будущему настоящим; скажи мне, понял ли ты письмо *Ильдегерды*? И согласен ли исполнить ее волю?

Теодорик. Совершенно, совершенно! Исполню все, в точности!

Эльга. Итак, мне больше нечего здесь делать — прости!

Теодорик. Еще слово! Расскажи мне, как все это случилось? Как дошла к вам весть о моем несчастье?

Эльга. Неприятель был так благосклонен, что сам удостоил нас доверенности, которой моя государыня, по справедливости, могла скорей ожидать от тебя! Но чтобы кончить одним словом, ибо время дорого, принц *Гаральд*, достойный твой любимец, уже давно бросал страстные взоры на *Ильдегерду*, и как ему хотелось обладать и ею, и престолом вместе, то он осмелился, слишком рано к своему несчастью, отправить к ней послов и открытым образом требовать руки ее — можно легко отгадать то, что случилось после; присланных схватили и заключили в тюрьму, чтобы ни малейший слух не достиг к похитителю, потом в скорости собрали маленькое войско, благосклонный ветер нес корабли наши по морю, и мы уже здесь, готовы победить или умереть с тобою.

Добрый государь не мог удержать слез своих, не мог снести быстрого переворота счастья. «Скажи ей, — говорил он, рыдая, — скажи ей, что она избавляет от стыда и смерти неблагодарного, скажи, что яд был уже на устах моих».

Долго стонал он вослед *Эльги*, которая давно оставила его ставку; с корзиною своею безопасно пробралась она сквозь неприятельской лагерь, бросилась на коня, который ожидал ее в кустах, и поспешно полетела в объятия повелительницы, которой войско на день езды приближалось к лагерю.

Восхищенный государь немедленно собрал своих полководцев и сообщил им неожиданную, радостную весть, которая, быстро распространясь из ставки в ставку, мгновенно успокоила и роптание, и голод, влила мужество в каждое сердце, силу в каждую мышцу, воинственный огонь в каждые взоры! «*Ильдегерда!*» — раздалось отсюда в торжественных криках, радость на шумных крылах носилась в рядах войска, все хваталось за оружие! Воины чистили шлемы, острили мечи и пели заранее победные песни. На ближайший утес поставлен был страж, который должен был троекратным ударом в медный щит дать знать о приближении войска; всякий хотел сменить сего стража, ибо всякий хотел быть первым возвестителем радости.

С удивлением услышал *Гаральд* торжественные восклицания в долине, из которой прежде одни только вздохи достигали его слуха. Шпион, подсланный в лагерь *Теодориков*, возвестил ему неожиданное прибытие норвежской героини. Он закипел от ярости и положил с наступлением дня напасть на долину, рассеять малую толпу и предупредить победою пришествие смелой амазонки, он положил — но боги положили иначе.

Уже солнце склонилось, уже первые лучи его лобзали гладкую поверхность моря, как страж, стоявший на вершине утеса, ударил троекратно в щит. Все, что имело ноги, взобралось на холм и смотрело с немым восторгом, как из густого облака пыли выходили блестящие толпы, в сомкнутых рядах распространялись по долине и не в дальнем расстоянии от неприятеля разбивали шатры свои.

Гаральд скрежетал зубами и клялся принести в жертву своему гневу дерзновенную женщину! Не от страха бледнел он и потуплял в землю неподвижные свои взоры! Чего было ему страшиться? Войско *Ильдегерды*, соединенное с бессильною *Теодориковой* толпою, не составило бы и половины его воинства; нет! Презренная любовь распаляла мщением кипящее его сердце и клялась его устами: *отмстить со всею жестокостию надменной, непреклонной женщине, искоренить, до последней, опрометчивых ее сообщниц.*

С блестящими взорами оставил он свою палатку, чтобы приготовить войско к настоящей битве — но ах! Какая быстрая перемена!

Или ты мечтал, безумный, что имя *Ильдегерды* забыто? Что память ее изгладилась в сердцах датчан? «Кто сии пришедшие? — говорил один другому, — друзья или неприятели?» И скоро раздалось со всех сторон: «Это *Ильдегерда*, это наша государыня! Сия мужественная, сия добрая, великая душа! Кто осмелится сражаться с нею! Если она идет с помощью к *Теодорику*, то справедливость будет на его стороне и мы — возмутители. Пойдем, полетим к ногам ее, полетим испросить помилования у героини».

С сими словами вдруг отделяются в разных местах лагеря толпы, оставляют своих предводителей и бегут, восклицая громко: «*Да здравствует царица Ильдегерда!*», один увлекает другого, и тысячи стремятся, не зная, *зачем и куда?* Они ломают в знак мира зеленые ветви, бросают оружие перед стражами *Ильдегерды*, хотевшими воспрепятствовать их стремлению, с торжественными криками проникают в лагерь и громко, единогласно зовут свою государыню.

Она выходит, выходит к ним с величием на челе своем, подобно сияющему божеству; датчане бросаются на колена, поднимают высоко зеленые ветви, благословляют великую и молят о прощении...

Героиня подает знак, и тишина смерти распространяется окрест; робкое ожидание изображается на всех лицах. «Благодарю вас, — говорит она, — благодарю вас за любовь вашу, сердце мое чувствует ее цену, и я не стыжусь проливать слезы; я женщина и чувствительна, но не мне, не мне должно прощать преступлениям — падите к ногам вашего государя: *он* оскорблен вами, и *его* должны умолять ваши слезы — я только могу просить об вас монарха, я только могу соединить слезы

свои с вашими слезами; теперь подите, рассейтесь посреди моих народов и ожидайте будущего утра, с восходящим солнцем разрешится для вас очарование, доселе омрачавшее ваши чувства».

Она умолкла, и с почтением повиновались ее гласу беспрестанно прибывающие толпы, лагерь был мал для помещения новопришедших; и они провели ночь под звездным небом, нетерпеливо ожидая восшествия солнца.

Оно возшло, и тщетно искали противника взоры *Ильдегерды*. Несмотря на бешенство *Гаральда*, несмотря на ужасный пример многих умерщвленных собственной его рукою, ежеминутно уменьшалось грозное это ополчение: все бежало, и, наконец, он остался один, один с отчаянием, с ужасом в сердце, постыдное заключение и смерть представлялись ему в будущем. Не имея довольно мужества, чтобы пронзить мечом свое сердце, он полетел во мраке ночи к морю, бросился в рыбацью лодку, направил путь свой к берегам Германии и в бедном уединенном селе сокрыл свой стыд и свои страдания.

Никто не преследовал бегущего; чрез несколько лет пресекалась бедственная жизнь его, и от мучений совести перешел он к мучениям *Нифлеймура*.

Горестно возблагодарила *Ильдегерда* бога сражений за великую победу, которую он ниспослал ей без меча и крови; и едва кончила она жертвоприношение, как возвестили ей скорое прибытие государя, который с толпою своих приверженных оставил долину и сквозь опустевший неприятельский лагерь шел во сретение своей избавительницы; она поспешила принять его; какое божество одушевляет перо мое, стремящееся изобразить великое сие явление! *Теодорик* соскочил с коня своего и бросился на колена пред *Ильдегердой*, простирался в прахе у ног великой, и слезы его катились градом, и рыдания заглушали слова его — *Ильдегерда* подняла его и кротким голосом просила забыть прошедшее и простить возмутившихся. Она повела его во внутренность своей ставки, чтобы сокрыть от взоров войска стыд и унижение повелителя.

Какое торжество для изгнанной! Возложить венец на голову неблагодарного, дать ему почувствовать, что, несмотря на его несправедливость, она все царствует в сердцах своих подданных — какая слава!

Посреди громких торжественных кликов приближались они к столице, все врата были отверсты, все сердца летели им навстречу; *Люитгардис* была освобождена; с нежностью сестры обняла ее *Ильдегерда*, ни одна укоризна, ни один гордый взор не оскорбил юную государыню. Можно представить, каково было тогда *Теодорику*. Больше, нежели когда-нибудь, любил он *Ильдегерду*, войска обожали ее, сердца датчан

были привержены к ней, как к божеству благотворящему, и с глубоким почтением устремились на нее взоры придворных.

Все были уверены, что она после всего, сделанного ею для отечества, с честью вступит в первые права свои и возвратит потерянный сан свой. Все были уверены, что она сама потребует справедливости. Государь от всего сердца соглашался загладить свое преступление, и *Люитгардис*, хотя трепетала и от одной мысли, не могла не признаться, что *Ильдегерда* была достойна преимущества пред нею. Мнение сие было подтверждено, когда она потребовала всеобщего собрания государственных чинов, чтобы говорить пред лицом всей нации.

День для торжества сего был назначен, и с нетерпеливостью ожидали датчане его наступления. Читатель, если ты хочешь быть свидетелем великолепного зрелища, то следуй за мною на холм, с которого ты все увидать можешь.

Утро наступает, лучи восходящего солнца льются на пространную равнину, которая, красуясь разнообразием пестрых цветов и орошаясь пенистыми ручьями, великолепно расстилается пред глазами зрителя. Смотри, там, в синей отдаленности, исполински подымается к небу сосновый лес, вправо катится тихая река по разноцветным кремням и чистому песку и, тихо волнуясь, отражает яркие, золотые лучи солнца; в левой стороне величественно восходит грозный утес, которого глава часто кончается тучами, к стопам которого часто сыплются небесные громы. Ныне вершина его чиста, ни одно облако не носится над нею — на ней воздвигнут алтарь; священный жрец преклоняется при ступенях его и восплаляет на нем огонь жертвенный.

Но что сияет там посреди пространной равнины? Что с таким блеском отражает огненные лучи солнца? И что ослепляет взоры блестящей смесью злата с разноцветными красками?

Это престол государев, воздвигнутый на пяти ступенях, обитых алым бархатом. Парчовые завесы, подобранные золотыми шнурами, осеняют высокий стул царский, искусно выточенный из слоновой кости. Тут на бархатном ковре лежит блестящая корона, украшенная дорогими камнями, и подле нее золотой скиптр монарший; тысячи белых и страусовых перьев веют на пышном балдахине и тихо склоняются на седалище государя.

Но что сияет по обеим сторонам великолепного трона, подобно звездам кротким, подле всеослепляющего солнца?

То престолы государынь, воздвигнутые на трех ступенях, обитых голубым атласом, малые, позлащенные кресла стоят под серебряным балдахинном; на вершине его колеблются зефиром снегобелые страусовые перья.

В отдалении раздаются громы труб и литавр, извещают торжественное шествие — с громкими восклицаниями окружает народ колесницу, которая везет монарха; по правую руку его сидит *Ильдегерда* в воинственном вооружении, с открытым забралом шлема, на челе ее изображено веселие; по левую руку его сидит *Люитгардис*, задумчивость и уныние на лице ее, горестное ожидание в ее сердце; подобно морю, волнуется народ, окружающий колесницу и спешащий выйти из города. Уже они приближаются, шесть тысяч гордых амазонок, под предводительством верной *Эльги*, скачут в сомкнутых рядах, с поднятыми мечами наперед, разделяются по равнине и окружают престол своего повелителя, за ними следует торжественная монаршая колесница, и блестящие ряды телохранителей окружают ее отсюда; четыре, как снег, белые коня медленно влекут ее, гордо потрясают они долгими, крутящимися гривами и, ярясь, бьют в землю ногами; глаза их горят, ноздри пышут огнем, и рука управляющего ими едва может удержать их стремление. За колесницей следуют рыцари и вожди государства, и каждый из них предводительствует особенным отрядом своих вооруженных; цепь сия бесконечна.

Теодорик восходит на престол свой, и обе государыни садятся по бокам его. Вельможи занимают места на ступенях трона, четыре герольда трубят в трубы, и все умолкает; все тихо, как будто какое божество за один раз превратило в камни миллионы. Никто не смеет дышать, никто не смеет сойти с места, на котором остановился.

Тут поднялась *Ильдегерда* с своего стула и начала говорить следующее предстоящим:

— Монарх Дании, повелитель и супруг мой, вельможи и народ, не ожидайте, чтобы просьба моя собрала вас только для того, чтобы сделать свидетелями поступка, который унизил бы мое сердце; несчастье, безвинно поразившее *Ильдегерду*, не уменьшило ее мужества и не лишило благородства ее сердца. Далека она от того, чтобы искать возмездия за свои страдания — нет, я не с тем пришла сюда, чтобы возвратить место, потерянное мною на престоле, воля моего государя и вы, достопочтенные вельможи, почли необходимым утвердить связь между державами севера и тем избежать брани и раздора — я чту вашу мудрость и не хочу похитить спокойствия, обитающего на полях Дании. Я признаю *Люитгардис*, если не своею, так, по крайней мере, вашу государыню... Да любит она *Теодорика* так, как и я его любила и люблю; *Ильдегерда* будет ее сестрою, а не соперницей. Итак, мне нечего просить от вас для себя! Просить? Нет, *Ильдегерда* никогда не просит! Она требует справедливости! Она требует от вас, вельможи и народ, чтобы возвратить сыну то, что отнял отец у матери; да не вос-

помнит никогда *Гальдан*, что он рожден от изгнанницы, воскликните единогласно, народы Дании: «*Принц Гальдан — перворожденный сын Теодориков*».

Народ. Принц *Гальдан* — перворожденный сын *Теодориков* (*повторяет еще многократно*).

Ильдегерда. Когда так, то где искать ему отечественного наследства?

Народ. Он наследник обоих государств!

Ильдегерда. Благодарю вас (*становится на одно колено перед государем*). *Теодорик*, скажи, подтверждает ли сердце твое то, что громкие клики народов твоих возвращают твоему первенцу?

Добрый государь, краснея, поднял преклонившуюся пред ним героиню и прижал ее к сердцу.

— Разве не тебе обязан я сей короной, сим престолом? — сказал он, — разве не тебя должен благодарить за многие блаженные часы своей жизни, и ты еще меня спрашиваешь? Или ты хочешь устыдить преступника!

— Хорошо! — сказала *Ильдегерда*, — недостает только твоего голоса, скромная *Люитгардис*.

Любезная красавица, в глазах которой давно блистали слезы, встала и бросилась к ногам героини.

— Несравненная, божественная *Ильдегерда*! Прости мне, что хочу подражать тебе в великодушии: возьми его, возьми обратно скиптр сей, которого без намерения лишила тебя *Люитгардис* — ах, ты одна его достойна — позволь мне в уединении заслужить имя твоего друга, заслужить любовь твою.

Ильдегерда (*поднимая ее*). Нет, нет, ты государыня и должна остаться ею; как *женщина* отказалась я от всего, но как *мать* говорю я теперь, говорю с тем, чтобы сын мой, которого судьба соединена с моею, не стал некогда проклинать моей слабости. Для того, чтобы отворить ему путь чести, загражденный для него в самой колыбели, предстала я пред лицо народов Дании! Изъяснись, *Люитгардис*!

Люитгардис. Внемлите, народы, внемлите слабому моему гласу! И ты, всеведущая *Вара*, богиня чистосердечных обетов, мстительница клятвoprеступным, пред лицом твоим признаю принца *Гальдана* законным наследником обеих держав севера, и если *Сиофна* благословит брачное мое ложе, то проклиною младенца, который дерзновенно осмелится преступить клятву своей матери.

(*Ропот благоволения в народе*).

Ильдегерда. *Люитгардис*. Ты не подумала о том, что заключает в себе обет сей? Знаешь ли ты, что такое материнская любовь? Помысли! Что оставишь ты сынам своим?

Люитгардис. Благодарное сердце!

Ильдегерда. Добрая женщина, ты больше стоишь, чем сколько я могу для тебя сделать! Похитить у детей твоих обе короны и отдать их моему сыну было бы уже не материнская нежность, а только неограниченное честолюбие — да ниспошлет *Один* ему силу носить один венец так, как должно прямо доброму государю; престол Норвегии — вот все, чего я для него требую, скиптр *Дании* останется для детей твоих.

Такой спор добродетельных сердец извлек слезы из глаз миллионов, *Ильдегерда* и *Люитгардис* были попеременно предметами любви и удивления, обеим желали дать все, ибо обе стоили больше, нежели сколько могли дать им. Но как *Ильдегерда* непоколебима была в своем намерении и ни под каким видом не хотела принять короны датской, то чины обеих держав определили провозгласить принца *Гальдана* государем Норвегии и присоединить к тому, чтобы, в случае пресечения одного или другого царского поколения, наследство переходило во владение соседнего государя.

Ильдегерда не требовала для себя ничего, но все сердца склонялись в ее пользу, все желали знаками любви своей истребить из души ее воспоминание прошедших страданий. «*Ильдегерда*, — так говорили чины государства, — *Ильдегерда* должна во всю жизнь свою носить имя норвежской королевы и избавительницы *Дании*, она должна неограниченно правительствовать во время юности своего сына, и медный обелиск, в честь ее сооруженный, возвестит потомству героические, славные ее подвиги».

В очах великой блистали слезы восторга. Она склонилась пред народом, и в громких кликах раздалось отсюда ее имя; загремели трубы и литавры, но громче и торжественнее звучало: «*Да здравствует Ильдегерда*». Великое празднество заключило знаменитый день сей, радость наполняла все сердца, радость гремела в восклицаниях шумных, и радость, наконец, заснула вместе с веселящимися под тихим покровом спокойной ночи.

Но уже материнское сердце влечет *Ильдегерду* на берег моря, уже кипит седая пена под рулем корабля, который должен нести ее по волнам моря в нежные объятия милого младенца.

Еще один вздох, еще одна слеза разлуки, и пловцы рассекают зыбкие волны шумящими веслами; весело развеваются флаги, благосклонный ветер надувает ветрила, и уже в сизом облаке тумана пропадают удаляющиеся берега, только громкие благословения народа несутся на крылах ветра к восхищенной *Ильдегерде*.

Больше не могу ничего сказать о героине! Она была подобна *Торе*, и в сыне своем образовала *Свенда*; кипарис, виющий на лире стихотворца, говорит: «*И она была смертная, и она, пресытаясь жизнью, заснула в объятиях Гель!*»

КОНЕЦ

ВИЛЬГЕЛЬМ ТЕЛЬ, ИЛИ ОСВОБОЖДЕННАЯ ШВЕЙЦАРИЯ

КНИГА ПЕРВАЯ

Друзья добродетели, великодушные смертные, всегда готовые умереть за свою независимость, дышащие для блага человечества, склоните слух к моим песням! Придите внимать, как единый человек, рожденный в стране дикой, посреди народа, согбенного под карающим жезлом бедствий, одним своим мужеством воздвигнул снова падший народ сей, дал ему новое существование и научил его знать права свои, открытые нам самою природою и толь долго скрываемые от нас злобою и невежеством. Сей человек, сын природы, возвестил громогласно законы своей матери, ополчился на поддержание их, возбудил своих соотечественников, усыпленных под бременем оков, победил, рассеял воинства, противу его поставленные, и, в веке диком и непросвещенном, посреди утесов необитаемых, соорудил святую обитель рассудку и добродетели, сим чадам неба, утешительницам смертных.

Не призываю тебя в час сей, небесная поэзия, ты, которую обожал я с младенческих лет своих, которой блестящие картины составляли мое блаженство. Пускай волшебная кисть твоя украшает героев, которым нужны украшения. Цветы твои обезобразят *моего* героя; венец твой неприличен его челу угрюмому; всегда ясные, но грозные взоры его укротятся пред тобою! Не дерзай коснуться его мрачному величию, оставь ему простую его одежду и неукрашенный лук его: пускай один скитается он по утесам и у потоков синеющих. Следуй издали по стопам его и робкою рукою рассыпай дикие цветы шиповника на пути, по которому проходит он.

В древней стране Гельвеции¹, знаменитой мужеством своих обитателей, три области, которых малое пространство было отвсюду ограж-

дено дикими утесами, сохранили драгоценную чистоту нравов, которою Творец наделил первых человек и защитил от пороков. Трудолюбие, воздержание, доверенность, стыдливость, все оные добродетели, священные для смертных, нашли убежище свое посреди сих гор неприступных. Долго были они там неизвестны, и неизвестность составляла их блаженство; скоро свобода соорудила престол свой на сих утесах, и с того времени каждый истинный мудрец, истинный герой, с почтением произносят имена Ури, Швица, Ундервальда².

Обитатели сих трех областей, беспрестанно занимаясь сельскими трудами, в течение многих веков не знали ни преступлений, ни бедствий, рождающихся от тщеславия, от раздора, от виновного иступления сих многочисленных вождей-варваров, которые на развалинах Римской Империи утвердили свое владычество, попрали права человек, правили кровавыми законами, начертанными невежеством в пользу тиранства и суеверия. Забытые, может быть, презренные сими опустошителями вселенной, земледельцы, пастыри урийские, слабо повинующиеся новым кесарям, имели, по крайней мере, утешительное имя свободных³. Они сохранили древние свои законы, обычаи и суровые нравы. Спокойно владычествуя в сельских куцах своих, отцы семейств старились в мире, окруженные любовью и почтением; чада их, не зная зла, страшась Бога и любя своих родителей, не имели другого блаженства, другого желанья, другой надежды, кроме того, чтобы уподобиться добродетельным смертным, от которых они получили жизнь.

Им повиноваться и подражать им — вот все, что составляло цель их жизни. Народ сей простой и неиспорченный, почти неизвестный в мире, оставшийся один с натурою, защищаемый нищетою своею, продолжал быть добродетельным и не был еще за то наказан.

Недалеко от Альторфа, столицы Ури, на берегу озера, от которого город получил свое название, возвышается высокая гора, с которой путешественник, утомленный продолжительным и трудным шествием, открывает взором множество долин, осененных горами и утесами. Источники, быстрые потоки, то ниспадая каскадами и катясь по утесам, то извиваясь по свежей и цветущей зелени, низвергаются, стремятся в долины, смешиваются, сливают струи свои, орошают луга, покрытые тучными стадами, и, наконец, исчезают в недре кристальных озер, в которых воли приходят купаться.

На вершине сей горы стояла бедная хижина, окруженная небольшим полем, виноградником, рощею. Земледелец, герой, сам себе еще неизвестный, который в сердце своем умел различать только одно пламенное чувство патриотизма, Вильгельм Тель, на двадцатом году

от рождения, получил от отца своего сие наследие. «Сын мой, — сказал ему умирающий старец, — я трудился, я жил. Шестьдесят зим протекли в сем мирном убежище, и ни разу порок не дерзнул осквернить моей хижины, и ни одной ночи не провел я без сна, в мучениях совести. Трудись, подобно мне, сын мой; подобно мне, избери добрую супругу, которой бы любовь, доверенность, нежная и терпеливая дружба услаждали невинные твои удовольствия, разделяли с тобою твои горести. Найди себе такую супругу, о мой Вильгельм! Добродетельный человек без супруги вполнину только добродетелен. Прости, укроти горесть свою; смерть ничто для непорочного. Когда я посылал тебя с плодами и пищею к братьям твоим, лишенным пропитания, ты возвращался ко мне с радостью в сердце и весело давал мне отчет в добродетелях, которые возложил я на тебя, друг мой; и я иду к Отцу моему, иду с отчетом в должностях, которых исполнение Он оставил мне в сем мире; сын мой, Он примет меня так же, как и я тебя принимал. При Нем буду я ожидать тебя в обителях радости. Будь счастлив, сын мой, будь счастлив, покуда ты свободен; но если какой-нибудь тиран дерзнет восстать на поражение твоих сограждан, умри, Вильгельм, умри за твою отчизну; смерть будет твоею славою».

Слова сии остались в душе чувствительного Теля. Воздавши последний долг праху почтенного старца, вырыв ему могилу при корне древней сосны, у своей хижины, он произнес клятву, которой никогда не преступал; клятву, каждый вечер уединяясь к священной сей гробнице, воспоминать на ней все дела и мысли свои в течение дня и вопрошать отца своего, доволен ли он своим сыном!

О, сколькими добродетелями был он обязан священному сему обету! Страшась устыдиться при воззвании к тени родительской, приучил он огненную душу свою побеждать, обуздывать страсти. Будучи владыкою сильнейших желаний своих, обращая самую их неукротимость в пользу мудрости, Тель, наследник имущества отцов своих, наложил на себя труднейшие работы, пожинал на полях своих двоекратную жатву и делил ее с неимущими. Вставая с утреннею зарею, управляя жиловатою рукою острым плугом, который два вола влекли чрез силу, он пронзал сияющим железом своим землю, усеянную камнями, возбуждал медлительных животных своим голосом, и облитый потом, только тогда успокоивался, когда солнце скрывалось за горы, и самое отдохновение свое посвящал состраданию о несчастных, не имеющих плуга. Мысль сия не оставляла его, когда он возвращался в хижину; не оставляла и тогда, когда он наслаждался сном; и наутро, с юною зарею, Тель оставлял одр и взрывал плугом своим поле неимущих друзей своих; усеивал его в их отсутствие и скрывался от них не для того, чтобы лишить их наслажде-

ния благодарности, но для того, чтобы избавить себя от стыда быть благодотворителем себе подобных. Таковы были заботы его, таково отдохновение. Трудолюбие и благодотворительность вместе и занимали, и успокоивали его.

Природа, наделив Вильгельма такую нежною, прелестною душою, даровала ему и гибкость, и силу телесную. Он целою головою превышал высочайших из своих товарищей; он, подобно серне, взбирался на крутые утесы, переплывал широкие реки, бегал по ледовитым вершинам. Мощные руки его сгибали, преломляли дуб, едва надрубленный секирою, и на плечах своих один поднимал его с густыми ветвями. В дни празднества, когда юные стрелки увеселялись играми, Тель, которому не было подобного в стрельянии из лука, принужден был оставаться праздным, чтобы другие могли спорить о наградах. Несмотря на юные лета свои, он должен был сидеть с стариками, собравшимися судить. Тут, трепеща от такой чести, безмолвно, едва дыша, следовал он взорами за быстрыми стрелами, с восторгом превозносил стрелка, которого удары ближе подходили к цели, и его руки, беспрестанно подъятые, казалось, ожидали достойного соперника, чтобы обнять его. Но когда колчаны истощались, когда голубь, который служил метою, уставши биться, садился спокойно на вершине шеста и бесстрашно смотрел на слабых своих неприятелей, Вильгельм один вставал с своего места, Вильгельм брал тугой лук свой, поднимал с земли три стрелы; первая, ударясь в шест, освобождала голубя; вторая разрывала узы, обременявшие полет его; третья устремлялась за ним под облака и упала с трепещущею птицею к ногам удивленных судей.

Не гордясь такими преимуществами, предпочитая блистательнейшим успехам скрытное доброе дело, Тель укорял себя за то, что так долго медлил повиноваться воле своего родителя. Тель захотел быть супругом, и молодая Эдме привлекла его взоры. Эдме была самая скромная, самая прелестная красавица в Ури. Ветерок, который перед зарею волнует листья и деревья; ручеек, струящийся из утеса, и которого каждая капля блестит от утреннего солнца, были не столь чисты, как сердце милой Эдме. Спокойствие, кротость, ум избрали его своим святилищем. Добродетели, которыми она обладала, не зная даже и их имени, так слиты были с существом ее, что она не могла бы понять, как можно ей, не переставши жить, перестать быть добродетельною.

Будучи сиротою, не имея ничего, Эдме с самого младенчества воспитывалась у одного старика, своего родственника, и смотрела за его стадами. Эдме, окруженная своими овечками, с своею работою появлялась на горах прежде, нежели заря озлащала верхи черных сосен. С прише-

ствием вечера возвращалась она в хижину, готовила ужин, приводила все в порядок, чтобы наутро слабый старец не имел никаких забот в ее отсутствие; потом предавалась она сладостям сна, будучи довольна днем своим, блаженна тем, что заплатила приятный долг благодарности, и уверена, что следующий день будет для нее днем этих же наслаждений.

Тель узнал ее и полюбил. Тель не употреблял с нею сего искусства, неизвестного его сердцу, которое часто унижает любовь, смешивая ее с хитростью. Чуждый сей науке, не зная, что искусство нравиться могло быть отделено от искусства любить, Тель не искал случаев чаще видеть Эдме; он не ходил за нею по горам, не ожидал ее вечером, когда она возвращалась с своим стадом: Вильгельм, напротив, в отсутствие Эдме посещал ее благодетеля. Тут, в продолжительных разговорах, при которых присутствовала откровенность, чистосердечие, Вильгельм внимательно слушал старца, который любил говорить о Эдме; рассказывал все, что она ни делала, что ни говорила, и со слезами на глазах перевозносил терпение, кротость, неисчерпаемое добродушие, которые каждый день больше и больше заставляли его любить милую свою воспитанницу. Похвалы сии, которые впечатлевались в душе Вильгельмовой сильнее, нежели самый образ его любезной, увеличивали и страсть его. Эдме приходила во время сих разговоров, и Тель на лице ее, в ее взорах и скромном виде читал все, что об ней слышал. Едва осмеливался он, трепеща, сказать ей несколько слов; скоро оставлял ее с потупленными глазами; прощался с нею с сожалением и медленно удалялся в уединенную хижину свою, чтобы свободнее заниматься ею.

Наконец, по прошествии шести месяцев, Вильгельм, уверенный, что любовь его была новою добродетелью, решился в ней открыться своей красавице. Наедине с нею он бы не осмелился сего сделать, но ободренный присутствием целого народа, однажды, при выходе из храма он остановил юную Эдме. «Эдме, — сказал он ей, — я люблю тебя и еще более почитаю; я был добр, ты сделала меня чувствительным. Если надеешься ты быть счастлива со мною, то прими сердце мое и руку; приди обитать в моей хижине и на гробе отца моего учить меня добродетелям, которым я от него учился». Эдме потупила взоры и покраснела, как роза. Потом успокоясь и будучи уверена, что могла и должна была сказать пред всеми свои мысли, отвечала: «Вильгельм, благодарю тебя за то, что ты удостоил меня своего выбора. Я до сего времени спокойно наслаждалась мирным своим счастьем, но теперь чувствую, что оно еще увеличится, когда я скажу тебе, что одного тебя избрала бы своим супругом». При сих словах подает она ему руку, молодой Тель прижимает ее к сердцу; они смотрят друг на друга и, не говоря ни слова, уже произносят

свои клятвы. С сим браком поселилась радость в хижине Вильгельмовой. Работа была вдвое для него приятнее потому, что Эдме наслаждалась ее плодами; благотворительность была для него сладостнее потому, что Эдме знала об ней и ее одобряла. Будучи всегда вместе, разлучаясь только с тем, чтобы скоро опять соединиться, они дружелюбными свойствами и размышлениями своими укрощали сие опасное упоение любви, беспрестанно удовлетворяемой; они успокоивали ее исступления продолжительнейшими удовольствиями дружбы, доверенности, взаимным почтением, непрестанным желанием быть достойными друг друга и уверением, что сердца их будут добродетельнее, чище, когда они будут сливать воедино и свои мысли, и свои чувства.

Сын, прелестный младенец, скоро утвердил союз их, и драгоценные имена отца и матери сделались новым источником неизвестных еще наслаждений. Юный, пленяющий Жемми прежде поручен был попечениям Эдме. Она одна хотела пещись о первом его младенчестве, но как скоро достиг он шестилетнего своего возраста, Вильгельм не оставляя его более. Он водил его с собою в поле, на паствы; показывал ему землю, покрытую колосьями, горы, воды, леса и, возводя взоры его к небу, заставлял его с трепетом произносить великое имя Бога; он говорил ему, что Бог сей, судия и свидетель всех мыслей наших, повелевал человеку быть только добродетельным, чтобы соделать его навсегда блаженным; каждое утро и каждый вечер он повторял ему сие правило; своим собственным примером изъяснял ему то, что значит быть добродетельным, и невзирая на слабость и лета робкого младенца, водил его по снегам громадным, заставлял его взбираться на льды высокие, учил слабые руки его управлять волами, без робости ласкать сих грозных животных, привязывать их к плугу и водить на поле за собою.

Сей самый младенец, угрюмый, задумчивый с отцом своим, был не иное что, как сын кроткий и стыдливый, когда, возвращаясь в хижину, бросался в объятия своей матери. С нежным вниманием и ласками читал он в глазах Эдме малейшее ее желание; он предчувствовал, узнавал его; Эдме еще не требовала ничего, Жемми уже все исполнил. О! Каким утешением служил милый ребенок доброй своей матери! Как часто, в отсутствие Теля, которого суровый вид не одобрял излишества и в самых невинных ощущениях, Эдме прижимала к сердцу своему юного, любезного Жемми и говорила ему в исступлении, в восторге материнской любви: «Сын мой! Единственный сын мой, в твоей жизни заключила я жизнь свою, в душе твоей существует душа моя. Знай это, сын мой; но при отце своем скрывай это в глубине сердца».

Тель, с сими сокровищами, обладал и драгоценностью, необходимою и в счастья, и несчастья. Тель имел друга. Друг сей, одинаких почти

лет с ним, обитал на скалах, разделявших Ури с Ундервальдом. Сходство сердец их, а не характеров соединяло их с младенчества. Мелькталь⁴ столь же добрый, столь же неустрашимый и великодушный, как Тель, подобно ему любил страстно добродетель, свободу, отечество, но любовь его, не столько глубокая, не столь спокойная, была способна к великим подвигам, но не к продолжительным страданиям. Мелькталь, живой, кипящий, необузданный, не мог скрывать ни единого чувства души своей, обнаруживал в словах, истощал в первом исступлении пламенную страсть, которая его волновала. Тель, напротив, умел ее обуздывать, питал, усиливал ее и не позволял ни устам своим, ниже чертам лица своего выражать ее или обнаруживать. Оба гнушались несправедливостию, но один только гремел против нее, готов был погибнуть, чтобы наказать ее, другой в тишине наблюдал за нею и втайне искал средство, чтобы ее загладить. Один, подобный грозному потоку, разрушающему все преграды, не щадил ничего в первом своем исступлении; другой, всегда повелевая глубоким негодованием своим, осторожно ополчал на преступников гнев свой, подобный снегам, веками собранным на вершинах гор, которые низвергаются громадами, как скоро воссияет солнце.

Мелькталь и Вильгельм часто переходили малое пространство, их разлучавшее, чтобы соединять семейства свои и наслаждаться вместе днями отдохновения. Сии веселые дни, ожидаемые нетерпеливо обоими друзьями, разделены были между ими. Иногда милая Эдме, с супругом своим и сыном, отправлялась в путь и относила Мелькталю плоды, молоко и вино от своих виноградников. Иногда Мелькталь приходил к ним, поддерживая дряхлого отца своего и ведя за руку дочь свою, залог единственный, оставленный ему обожаемою супругою, которую он еще оплакивал. Тель ожидал их у дверей своей хижины. Место уже было готово для успокоения старца; Эдме держала уже для него в руках своих чашу, наполненную вином; и Жемми, которого нетерпеливые взоры устремлены были на дорогу, нес уже в руках своих букет полевых цветов, который он должен был поднести милой Клере.

О! Как были чисты и трогательны удовольствия, которые они вкушали вместе! Какие наслаждения находили они вокруг сельской своей трапезы, которую они всегда нарочно продолжать старались! Когда же она оканчивалась, то старый Мелькталь, несмотря на бремя осьмидесяти лет, без другой опоры, кроме посоха своего, всходил на высочайшую вершину горы, садился на ней посреди друзей своих и чад, открывал почтенную голову свою, чтобы солнце проливало кроткую теплоту на седые его волосы и, насладившись несколько минут зрелищем природы, сим величественным зрелищем, которое так же восхищало его,

как и в золотое время юности, начинал говорить о первых годах своей жизни, о своих горестях, удовольствиях и страданиях, неразлучных с жизнью, о утешениях, которые всегда мы находим в совести своей и добродетели. Тель, Мелькталь, Эдме слушали его с внимательным почтением; Клера и Жемми, оба сидя у ног доброго старца, взгляды вали иногда друг на друга, иногда пожимали один другому руки. Один взор Вильгельмов заставлял их краснеть; и старик, который также примечал это, извинял их перед Вильгельмом.

Клера и Жемми вырастали оба; и невинная любовь их росла вместе с ними. Уже веселые дни, которые они проводили вместе, становились для них слишком редки. Жемми в продолжительные недели, в которые он не зрел своей любезной, искал, изобретал причины оставить дом свой и лететь к Клеру. Иногда приходил он сказывать Мелькталю, что медведь показался на горе, что стада в опасности; иногда уведомлял он его, что в прошедшую ночь от северного ветра поблекли виноградные отпрыски. Мелькталь слушал Жемми, улыбаясь, благодарил его за такую заботливость, за внимательную его дружбу. Клера спешила принести ему чашу, наполненную пенящегося молока. Жемми, принимая чашу, касался руками своими рукам Клеры, которые оставались неподвижны по тех пор, покуда благодетельный напиток не истощался. Жемми пил его медленно, глаза его не спускались с той, которая была ему драгоценна, и довольный сим взором, довольный своим путешествием и своим днем, он возвращался к отцу своему, занимаясь изобретением нового предлога, чтобы посетить Мельктяля.

Так жили оба семейства; так жил народ братьев, в котором старцы, дети, матери и супруги не знали другого блаженства, другого богатства, других радостей, кроме трудолюбия, невинности, любви и равенства. Вдруг смерть Родольфова⁵ похитила у них сии сокровища.

Родольф, вознесенный счастьем на престол кесарей, всегда чтил свободу швейцаров. Преемник его, гордый Алберт⁶, надменный суетными своими титулами, пространством своего владычества и могущественным соединением всех сил Империи и Австрии, вознегодовал, что в странах, ему повинующихся, несколько пастырей, несколько земледельцев не имели имени подданных. Наместник был от него назначен на угнетение кантонов, и сей наместник был Геслер⁷, самый жестокий, самый малодушный из льстецов юного императора.

Геслер, сопровождаемый вооруженными рабами, из которых по воле выбирал он палачей своих, назначил местом пребывания своего стены Альторфа; Геслер, неукротимый, пламенный, подозрительный, пожираемый алчностью, которую только бедствия удовлетворить могли, Геслер мучил самого себя, чтобы усовершенствоваться в

искусстве мучить людей. Трепеща при одном имени свободы, подобно волку, преследуемому ловцами, трепещущему от свисту стрел, он обещал, поклялся самому себе истребить и самое сие имя. Все было позволено от него сообщникам его; он сам подавал им пример хищничества, убийства, развращения. Вотще вопиял народ; жалобы его были наказаны. Робкая добродетель скрывалась в хижинах; юная дева трепетала подле унывающей матери своей; земледелец проклинал землю, которую обливал потом своим и от которой не надеялся получить жатвы; старцы, радуясь летам своим, которые представляли им близкую смерть избавительницею от бед, соединяли обеты свои к обетам чад своих, требовавших от неба смерти; одним словом, везде в трех несчастных кантонах раскинут был мрачный покров несчастья рукою жестокого Геслера.

С прибытием Геслера Тель предчувствовал бедствия своей отчизны. Не говоря ни слова Мелькталю, не возмущая своего семейства, он в великой душе своей приготовился не страдать, а спасти бедную страну свою. Преступления усугублялись; три области, пораженные ужасом, трепетали у ног Геслера; Вильгельм не трепетал, Вильгельм не изумлялся: он смотрел на злодеяние тирана, как на терновник, вырастающий на песчаном утесе. Скоро необузданный Мелькталь обнаружил при нем свое бешенство. Вильгельм внимал ему безмолвно; слезы не катились по щекам его, неизменяемое чело и взоры его не обнаруживали его предприятий. Почитая друга своего, будучи в нем уверен, как в самом себе, но страшась его пылкости, он скрывал от него горесть свою, дабы не раздражить его горести; он скрывал от него тайну свою до минуты исполнения. Его предусмотрительность показывала ему сию минуту еще отдаленною. Тихо, мрачно, угрюмо проводил он медлительные дни, не обращая взоров на супругу свою, не обнимая своего сына; прежде обыкновенного часа он вставал, обуздывал волов своих, выводил их в поле, которое взрывал рассеянно; плуг выпадал из рук его, незапно останавливался он посреди недоконченной бразды, голова его преклонялась к груди, взоры его устремлялись в землю; неподвижно, уныло, едва дыша, мысленно измерял, рассчитывал он силы тирана, средства разрушить их; полагал на весы рассудка своего, с одной стороны, жестокого Геслера, окруженного грозною стражею, ополченного необоримою властью и подкрепленного всеми силами Империи, а с другой, земледельца с одною мыслию свободы.

Одним вечером Вильгельм и его супруга сидели у дверей своей хижины; они смотрели на Жемми, который в некотором отдалении испытывал силы свои против овна, предводителя стада; образ сего младенца, предающегося невинным удовольствиям, картина ужасных бедствий, которые неволя ему приготовляла, повергли чувствительного

Теля в мрачную задумчивость, и в первый раз в жизни слезы потекли из глаз его. Эдме смотрела на него; долго не решалась она говорить с ним; наконец, уступив пламенному побуждению любви, побуждению разделить горести своего любезного, она подходит, берет руку своего супруга и смотрит пристально в глаза его. «Друг мой, — говорит она, — что сделала я тебе, что ты меня забываешь? Для чего лишил ты меня доверенности своей, которою я так гордилась? Ты страдаешь, а супруга твоя не знает страданий твоих; разве хочешь ты, чтобы она более тебя терзалась? Пятнадцать лет мысли мои твои мысли; пятнадцать лет только тогда верю счастью и им наслаждаюсь, когда оно от тебя происходит. Увы! Напрасно я рассматриваю себя; сердце мое всегда то же; для чего же твое переменилось? Убежище наше все одинаково; супруг мой уже не тот! Посмотри на сию хижину, свидетельницу любви нашей; посмотри на это поле, возделанное рукою твоею и обещающее нам жатву изобильную; посмотри на сию луну, которая восходом возвещает нам день, столь же счастливый, как и протекший; наконец посмотри на сына нашего: радость, улыбка его, кажется, побуждают нас радоваться, улыбаться и быть счастливыми столько, сколько он сам счастлив. Чего недостает тебе, о мой Вильгельм? Говори, душа моя алчет уже того, чего ты желаешь!»

«Эдме, — отвечает ей Тель, — не произноси имени счастья: ты отягчишь бремя, беспрестанно меня подавляющее. Злополучная! Сожалею о тебе, если ты можешь верить счастью, находя его в постыдном спокойствии, которым одолжены мы неизвестности. Но Швейцария страждет; Геслер угнетает нас, изгибает наши головы под железным бичом своим. Ты показываешь мне на сию жатву, воспитанную трудолюбием нашим, но одно слово Геслера — и мы лишены ее. Ты показываешь мне на сию хижину, театр семейственных добродетелей в течение трехсот лет — Геслер одним мановением может ее разрушить; а этот младенец, которого я обожаю, который, обладая всею любовью моею, увеличивает ее к тебе, этот младенец зависит от Геслера. Нет, нет, не говори мне больше ничего. Душа моя не вмещает моих предприятий. Бойся меня отвлекать от них; бойся размягчить меня, занимая сердце мое собою и моим сыном! Невольник не имеет сына, невольник не имеет супруги. Я невольник, и вся природа перестала существовать для меня. Взоры твои, ослепленные любовью, с удовольствием устремляются на сию хижину, на прелестные места сии, в которых некогда наслаждались мы счастьем, мои глаза, открытые добродетелью, не видят ничего, кроме сих грозных стен, сооруженных на оном утесе на устрашение Ури».

«Или ты думаешь, — отвечает Эдме, — что сердце мое, недостойное твоего, давно уже не страдало при имени неволи? Или ты думаешь, что

я могла любить Теля, не ненавидя тиранов? Ах! Бойся презирать сих нежных и чувствительных смертных, которые, кажется, живут одними краткими чувствами. О друг мой! Чувствительность, иногда рождающая слабости, чаще рождает великие дела. Тот, кто льет слезы при виде бедствий или слыша о делах добродетельных, тот способен усладить первые и сотворить последние. Суди супругу твою по себе самом! Ужели два существа в нас? Ты обожаешь отчизну твою; суди же, могу ли я не обожать ее, когда она вместе и твоя, и моя отчизна? Все свойства души твоей вдвое для меня прелестнее от того, что они твои. Я была бы добродетельна и без тебя, но с тобой добродетельна вдвое. Будь же откровенен, обнаружь мне твои предприятия. Пол мой не допускает меня быть твоим помощником; но он не препятствует мне умереть для твоей пользы».

Тель при сих словах обнимает Эдме и готовится открыть ей душу свою, как незапно вопли, смешанные с рыданиями, послышались близ хижины. Супруги встают поспешно; они видят своего сына в слезах, с поднятыми к небу руками, бегущего к ним с ужасом. «О родитель мой! — кричал он прерывающимся голосом, — помогите ему, помогите ему.... Мелькталь, старик Мелькталь — жестокие! Они осмелились...» Тут показывается Клера, поддерживающая колеблющего несчастного старца. Он опирался правою рукою на свой посох, а левою держал руку неутешной Клеры. Он восклицал при каждом шаге: «Тель, друг мой! Тель, где ты?» И руки его простирались, чтобы обнять Теля, но, спотыкаясь о камни, он принужден был опять опираться на свою Клеру.

Вильгельм прибегает, бросается к старцу, прижимает его к груди своей, смотрит на него, восклицает ужасным образом; волосы его становятся дыбом; он не находит на сем почтенном лице ничего, кроме кровавых следов очей, похищенных острым железом. В ужасе и изумлении Тель отступает с трепетом; обессилев, он опирается о скалу. Эдме падает без чувств. Жемми старается подать ей помощь; а Клера, призывая Вильгельма, показывает ему на слепого старца и устремляет слезные взоры к небу.

— Ты бежишь от меня, единственный друг мой! — восклицает Мелькталь. — Ты боишься обагриться кровию, которая льется из ран моих. Ах! Приди, приди на грудь мою. Сердце мое еще оставлено; дай мне почувствовать его биение на твоем сердце: да уверюсь я, обнимая тебя, что жестокие, лишив меня очей, не лишили друга.

— Прости, — отвечает Тель, бросаясь в объятия старца, — прости невольному движению моего сострадания и ужаса! О добродетельнейший из смертных! Твое несчастье не увеличит моего к тебе почтения; оно усугубит только мою нежность; оно усилит и сделает для меня

священнейшими узы, нас соединяющие! Скажи! Скажи! Как, за что, в каком месте сии злодеи, алчущие преступлений, дерзнули поднять на тебя руку и посягнуть на дряхлость твою и на добродетель? Что сделал ты им, Мелькталь? Где сын твой? Или он погиб, защищая тебя? Ах, если бы он жив был, он бы тебя не покинул, не поручил бы тебя попечениям слабой, несчастной дочери, которая, увы, только плакать в состоянии! Но я буду сыном твоим; я наследую ныне и нежность его, и мщение.

— Не обвиняй моего сына, — отвечает старец, — не суди друга твоего поспешно! Посадите меня посреди вас, дети мои! Вильгельм, сядь подле меня! Клера, не оставляй старца, а вы, Эдме и Жемми, внимайте словам моим.

Старца посадили на дерновую скамью. Тель садится подле него; Эдме, стоя за ним, поддерживает, покоит на груди своей седую главу несчастного; Клера и Жемми, на коленях пред ним, целуют его руки и обливают их слезами.

— Внимайте мне, — говорит им Мелькталь, — удержите негодование любви своей и иступления своего гнева. Сим утром, в ту самую минуту, как солнце в последний раз для меня озлатило верхи гор, я, сын мой и Клера были на поле. Клера связывала вместе со мною снопы жатвы нашей; сын мой обременял ими волов. Вдруг является воин, один из сообщников жестокого Геслера. Попирая колосья наши, идет он прямо к нам, смотрит на волов и дерзкою рукою берется за узду их. «Кто дал тебе право, — говорит ему мой сын, — похищать у меня сих животных, в которых все мое богатство, которые питают мое семейство и платят твоему повелителю цену твоего служения?» «Повинуйся, — отвечает воин, — и не вопрошай владык своих!» При сих словах узрел я лицо Мелькталево, восплавленное от бешенства. Он схватывает острую косу свою, подымает ее на дерзновенного, но укрошенный воплем моим, говорит: «Бесчеловечный; благодари моему родителю; голос его, который могущественнее для сердца сына, нежели гнев правосудный, препятствует мне очистить землю от врага человечества: сокройся, малодушный! Сокройся не медля; иначе поле сие будет твоею гробницею». Воин был уже далеко. Я удерживал Мелькталья в своих объятиях. Сын мой, говорил я ему, заклинаю тебя именем неба, именем твоего отца и твоей матери, беги, беги сию же минуту от грозного мщения Геслера; ты знаешь его: он неумолим, он обагрится твоею кровию, он обагрит ею белые волосы отца твоего; пощади меня, сын мой; спаси жизнь мою, спасая самого себя.

«Нет, родитель мой, — отвечал он мне с выражением нежности, гнева и отчаяния, — нет! Я тебя не оставляю; я лучше погибну, защищая тебя, нежели в безопасности стану трепетать о твоей участи. Геслер и все могущество его не в силах исторгнуть меня из объятий даровавшего

мне жизнь. Я хочу, я должен...» Повиноваться мне, перехватил я суровым голосом, участь моя не должна ужасать тебя; оставь меня охранять твою хижину и твою дочь; оставь меня сохранить ей и отца, и ее наследие; сокройся на несколько дней в горах Ундервальда. Клера и я соединимся с тобою, как скоро успокоится буря, нам угрожающая. Поди, поди не медля; я просил тебя; теперь я тебе повелеваю, повелеваю как отец: повинуйся!

При сих словах пылкий Мелькталь уныло склоняет свою голову, становится на колена, прощается со мною и требует от меня благословения. Я прижал его к сердцу своему и облил его своими слезами. Клера бросилась на грудь его; Клера поцелуями своими отерла слезы, которые несчастный отец ее тщетно сокрывать старался. Скоро, исторгшись из объятий дочери своей, он пожал мою руку и побежал, не смея обращать своих взоров.

Клера и я, оставшись одни, возвратились в хижину. Я намеревался не медля идти в Альторф к жестокосердому Геслеру, узреть, увериться, точно ли и самая тень правосудия исчезла в душе его. Один хотел я предстать пред грозное лицо тирана, истребовать прощение сыну моему или умереть, оправдывая моего Мелькталя. Но вдруг узрел я хижину свою, окруженную множеством вооруженных воинов. Все зовут громогласно Мелькталя, все вопрошают, побуждают меня, обременяют меня оковами и влекут пред судилище Геслера.

«Где сын твой? — спросил он меня грозным голосом. — Ты или будешь наказан за его преступления, или предам его моему гневу». Рази, отвечал я, пламенно буду я благодарить Бога, если жестокостию твоею дважды дам жизнь моему сыну.

Геслер устремляет на меня неподвижные взоры, в которых вместе изображались и неутолимая жажда крови, и тщание изобресть новое мучение, которое бы не сократилось от дряхлых лет моих. Наконец, по долгом молчании, он подает знак палачам своим, и сии жестокие пред очами его бросаются на меня, повергают на землю, и рука их, вооруженная острым железом, вонзает его в слабые глаза мои. Злодей даже не отвратил взоров своих, и ужасная улыбка преступления, не страшась казни, не исчезла на устах его.

«Довольно, — сказал Геслер исполнителям жестокой воли своей, — оставьте жизнь слабому старику сему, снимите с него оковы; пускай идет он вслед за своим сыном».

Меня влекут и оставляют во вратах замка. Я иду, простирая руки, Клера бросается в мои объятия. Клера последовала за мною, но стражи удержали ее у первой ограды. Я чувствую трепещущую грудь ее на груди своей; слезы ее орошают меня; я слышу ее, с рыданием произно-

сящую имя, столь сладостное для души моей: «Родитель мой, родитель мой, это я!» Я стараюсь прекратить ее стенания; я утешаю, успокаиваю ее, скрываю от нее свое страдание и прошу вести меня к моему другу, к другу моего сына. «Мы уже идем туда», — отвечает она мне. Сердце мое мне сказала: «Мы здесь, о мой Вильгельм!» Увы! Я не могу больше тебя видеть, но я чувствую тебя подле себя, чувствую руку твою в своей руке; она дрожит при повествовании о моих бедствиях. Сын мой спасен, друг мой мне остался, ах! Я не всего лишен еще.

КОНЕЦ ПЕРВОЙ КНИГИ

КНИГА ВТОРАЯ

Когда окончил престарелый Мелькталь свое повествование, то Эдме, Клера и Жемми, рыдая, бросились на грудь его и оросили ее своими слезами. Тель, сохраняя ужасное молчание, склонив голову на одну руку, смотрел в землю; крупные слезы по каплям выкатывались из полузакрытых очей его; грудь его, отягченная ужасным бременем, едва дышала и воздымалась медленно, и рука, подпиравшая его голову, трепетала в судорожных движениях. По долгом и мрачном безмолвии, он вдруг подымается с места, обнимает дряхлого слепца, дважды прижимает его к волнующейся груди своей, силится говорить и только потухающим голосом произносит слова сии: «Отец мой, я отмщу за тебя».

После сих слов Вильгельм опять погружается в глубокую свою задумчивость. Стоя мрачно, молчаливо, он рассматривает, обдумывает то, что уже он прежде обдумал; скоро потом, пришед в себя, он спрашивает старика, знает ли он о месте, в котором скрылся Мелькталь?

— Знаю! — отвечает несчастный отец, — сын мой укрывается в мрачных пещерах горы Файгеля. Сии пустынные, неприступные скалы неизвестны сообщникам Геслера. Мелькталь обещал, клялся мне не оставлять их без моего повеления.

— Разрешите клятву его, — отвечает Вильгельм, — я прошу сего за Мелькталя; а ты, сын мой, изготвься; ты пойдешь в путь сию же минуту; во всю ночь будешь ты продолжать свое шествие, на рассвете дня придешь ты к утесам Файгеля: ищи Мелькталя; не останавливайся, покуда не обретишь его; ты скажешь ему: «Друг твой посылает меня к тебе, чтобы возвестить тебе новые преступления злобного Геслера. Он лишил зрения отца твоего. Вильгельм посылает тебе сей кинжал».

С сими словами Тель исторгает из-за пояса своего оружие, которое никогда его не оставляло. Жемми приближается с почтением, берет

кинжал и скрывает его на груди своей. Эдме и Клера, трепеща, не дерзают спросить Вильгельма, смотрят на Жемми, смотрят друг на друга и боятся обнаружить беспокойства свои о опасностях, какие его ожидают. Старец Мелькталь, изумленный повелением, которое он слышал, спрашивает Теля о его предприятиях.

— Сын твой все знает, — отвечает ему Вильгельм, — и один вид кинжала научит его, что делать. Время дорого, не будем терять его. Я только слово скажу тебе, отец мой: мщение близко!

Тут берет он Жемми за руку и ведет его, не говоря ни слова, на гроб отца своего; тут, приняв от него клятву, он поверяет ему некоторую часть своих предприятий, рассказывает пред ним свои средства и в подробности наставляет его в том, что он должен был объявить Мелькталю.

Оба возвращаются оживленные надеждою. Жемми уже готов пуститься в путь: Клера требует позволения сопутствовать своему любезному. Она хочет обнять своего родителя, хочет отнести ему плодов, хлеба и той пищи, которой недостает ему в горах. Старый Мелькталь позволяет Клере идти вместе с Жемми. Эдме наполняет хлебом и плодами тростниковую корзину, присоединяет к тому вина и молока, отдает корзину Жемми, прижимает его к сердцу, прощается с ним, обнимает его еще и тихим голосом просит Клере хранить своего любезного. Жемми, вооруженный палкою, окованною железом, которой употреблению научил его отец, ставит на голову корзину, подает руку Клере, и оба идут в путь, подобно двум юным оленям, которые во мраке ищут новой паствы.

Вильгельм зрел их отшествие, Вильгельм сам покрыл себя волчею кожею, которую он всегда носил в дальних путешествиях. Кожа сия, связанная поясом на груди его, покрывала и его голову, на которой зубы дикого зверя бились и сияли; ноги его до половины облечены были медвежьими сапожками. Медный колчан, наполненный блестящими стрелами, привязан к плечу его; в руках его оный ужасный лук, который никогда вотще не напрягался. Опираясь на великий лук сей, смотря неподвижным взором на Эдме, он говорит: «Эдме, прости, я иду! На руках твоих оставляю я сего старца, отца моего друга, которого я почитаю, которого люблю, как отца своего; не покидай его, не отходи от него во время сна его; и день и ночь неусыпно подавай ему помощь; укрощай, предусматривай малейшие его болезни. Каждую минуту исполняй то, чем мы обязаны несчастью, дряхлости, дружбе. Скоро ты узришь меня: двух дней довольно для пути моего. Не говори никому о моем отсутствии; дверь дома моего да будет затворена до моего возвращения».

Сказав сие, выходит он из хижины, устремляется по дороге, противной той, которую избрал Жемми, и скоро исчезает из виду.

Между тем Клера и Жемми вместе сходили с горы и спешили найти узкие тропинки, ведущие в Ундервальд. Они обходят Альторф, останавливаются у хижины одного рыболова, друга Вильгельмова, и просят его перевезти их на другой берег озера. Добрый рыболов, желая быть полезен детям, спешит отвязать челнок свой, сажает их в него и, хватаясь за весло, ровными и быстрыми ударами рассекает светлые волны. Сошед на противоположный берег, дети благодарят рыболова и взбираются на голые утесы, которые со всех сторон окружают озеро. Клера в свою очередь желает нести бремя своего друга. Она оспорирует у него сия приятную ношу, которой Жемми уступить не хочет. Наконец они разделяются, и оба, держа корзину, взбираются по тропинкам, говоря друг с другом, взглядывая друг на друга с горестию, с нежностью и останавливаясь изредка, как будто от усталости, но единственно для того, чтобы долее поговорить и насмотреться друг на друга.

Луна уже исчезла. Уже заря, толико медленная в сем холодном времени года, озлатила верхи снегов, как юные путешественники приходят к подошве Файгеля. Они взбираются на нее; ищут глазами какогонибудь пастыря, который бы мог указать им уединенную пещеру, убежище Мелькталево. Все пусто на сих утесах необитаемых. Вотще дети обращают всюду взоры свои: со всех сторон окружают их льды; они не видят никаких живущих тварей, кроме диких коз, висящих над пропастью или бегущих быстро, подобно птицам воздушным, при малейшем шорохе.

Наконец, через несколько часов малый дым, виющийся из недра скал, привлекает взоры Жемми, который обращает на него внимание Клеры. Оба спешат к сему дыму, переправляются чрез потоки, обратившиеся в лед, проходят чрез сосновый лес и, наконец, являются у входа пещеры, во внутренности которой видят волнующееся яркое пламя. Человек сидел перед пылающим костром, который он разжигал сухими ветвями. Едва услышал он шорох, как обратил голову, встал поспешно, схватил топор свой и, подняв его, пошел прямо на юных путешественников. «Чего вы ищите?» — вопрошает он с гневом. «Мы дети твои, родитель мой! — отвечает Клера, устремясь к нему, — это Жемми, это я; мы принесли тебе пищу и пришли обнять тебя».

С сими словами бросается она на шею к Мелькталю, который, откинув топор свой, восклицает от радости, прижимает к сердцу дочь свою и покрывает поцелуями лицо ее, потом, обратясь к Жемми, который смотрел на него в молчании, он обнимает его, обливает его слезами, сжимает в объятиях своих вместе с Клерою, произносит имя отца своего, имя Теля, своего друга, обременяет их вопросами и прерывает их

своими ласками и поцелуями. Наконец, подведши их к костру, сажает подле себя и внимает им, отирая свои слезы.

Клера осторожно извещает его о причинах, приведших к нему детей его, о священных повелениях старого Мелькталя. Скоро голос ее прерывается; она хочет и не может повествовать о ужасном несчастье, которое оплакивает, и о преступлении кровожадного Геслера; три раза начинает она говорить, и три раза прерывают ее слезы. Жемми спешит к ней на помощь.

— Мелькталь, — говорит он, — ты видишь слезы наши; они везещают тебе новые несчастья. Родитель мой повелел мне все открыть тебе; родитель мой уверил меня, что друг его будет тверд, что он сжа-лится над своею дочерью Клерою и что он укротит горесть свою.

Потом Жемми рассказывает, как Геслер, жестокий Геслер, отмстил старцу. При сем повествовании раздраженный Мелькталь вскакивает с места, бросается к своей секире, хочет оставить пещеру и, не медля, омыться в крови Геслера. Клера бросается пред ним на колена; Жемми его удерживает. «Вспомни об отце моем, — говорит он, — или ты забыл его? Или он уже не друг твой? Выслушай же, по крайней мере, то, что он повелел сказать тебе: Вильгельм готовится мстить; Вильгельм теперь у Вернера⁸. Поди, сын мой, говорил он мне, возвести Мелькталю о новом преступлении бесчеловечного; не бешенство может отмстить за нас, но мужество и осторожность. Я иду в Швиц; я найду Вернера и вооружу кантон его. Пусть идет Мелькталь в Станц⁹. Там друзья его, там правители Ундервальда. Пусть соберет он их, побудит приняться за ору-жия и потом в пещере Грютти¹⁰ ожидает меня; Вернер и я там соеди-нимся с ним».

С сими словами Жемми подает Вильгельмов кинжал Мелькталю. Мелькталь исторгает его из рук юноши с зверскою радостью — глаза его пылают.

— Я повинуюсь Телю! — восклицает он в исступлении. — Я лечу собирать друзей своих. Завтра, Жемми, ты можешь отвечать за то тво-ему родителю; завтра двести человек, мужественных, верных, горящих любовию к отечеству, готовых умереть за него и прежде смерти умерт-вить тысячу из его притеснителей, вооружатся по одному моему знаку. Сей минуты ожидало только мое мужество; оно было укрощаемо одним Вильгельмом и священной волею моего родителя. Мой родитель, мой друг возвращает меня самому себе; потечем, полетим к победе: она наша! Я горю сразиться с злодеем Геслером. Да придет он, да при-дет он на нас с многочисленными сообщниками своими, со всем своим могуществом; я сильней его, я ополчен любовию сыновнею и оскор-бленным человечеством.

Он сказал и устремился было по дороге к Станцу. Юная Клера удерживает его. Она принуждает его хотя часом пожертвовать природе, подкрепить силы свои пищею, которую она принесла ему. Необузданный, чувствительный Мелькталь обнимает дочь свою, проливая слезы, соглашается воссесть у огня своего, посреди юных детей, и вкушает с ними вместе простую пищу, ими ему принесенную. Скоро, вооруженный секирою своею и кинжалом Вильгельмовым, прощается он с детьми и говорит Жемми, пожимая его руку: «Послушай, сын мой, я могу погибнуть; смерть будет для меня приятна; всякий сын отечества позавидует мне. Но, по крайней мере, в последнюю минуту, мне оставшуюся, хочу я располагать по воле своей единственным моим сокровищем, которое мне после отечества дороже всего — мою Клеру! Она твоя с сей минуты. Вот супруга твоя, Жемми! Сожмите друг друга в объятиях близ моего сердца; клянитесь на груди моей, которая трепещет только для моего отечества, для вас, для моего родителя; клянитесь вечно любить друг друга и соединить чувства свои в пламенной и непорочной любви своей. Вы теперь супруги, дети мои; я благословляю вас во имя моего родителя, во имя моего достойного друга!

Клера и Жемми повергаются на колена, преклоняют головы, держа друг друга за руки, и, благоговей, принимают родительское благословение. Слезы катились по щекам их; сам Мелькталь плакал, и взоры его, оживленные восторгом, наполнявшим его пламенную душу, пылали огнем сквозь слезы. Он поднимает детей своих, снова их обнимает, прощается с ними, еще раз повторяет им ответ свой Вильгельму и, вооруженный топором своим и кинжалом, выходит из пещеры поспешно и идет по дороге к Станцу.

Дети, оставшись одни, не смеют несколько времени поднять взоров друг на друга. Безмолвно, склонив голову и держась еще за руки, они ощущают трепет, смешанный с радостию и некоторым ужасом. Сердца их, волнуемые тысячею различных чувств, с трудом могут вынести толико сильных потрясений; стыдливость детская, невинная, в первый раз заставляет их бояться быть одним. Жемми, первый ободрясь, говорит, наконец, трепещущим голосом: «Клера, ты моя; ты давно знаешь, что Жемми только тебе принадлежит. Но место, в котором мы находимся, и опасность родителей наших препятствуют нам заниматься собою; им одним должна принадлежать душа наша и все наши минуты. Клера, пойдем, пойдем к нашей матери; отдадим ей отчет в нашем путешествии; и когда родитель мой и почтенный старец Мелькталь утвердят благословения отца твоего, тогда, может быть, осмелюсь я сказать тебе, сколько я счастлив».

Клера, не отвечая ничего, сжимает его руку, и оба идут опять в путь свой.

Но солнце, хотя на половине только пути своего, едва-едва сияло из черных облаков. Сероватый покров всюду помрачал лазурь небесную, и снеговой пух, носясь в воздухе, подобно шерсти овец, оставшейся на терновнике, беспрестанно прибавляясь, сыпался с севера. Скоро подымается холодный ветер и усиливает ниспадающий снег сей. Он стремится, как дождь в жестокую бурю; покрывает тропинки, наполняет, изглаживает пропасти и принуждает закрывать глаза несчастным путникам, которые не могут снести его жестокости. Клера и Жемми, принужденные остановиться, ищут покрова под висящими скалами; снег достигает их всюду, снег сыплется на их головы. Жемми трепещет о Клере; Клера, чтобы успокоить его, улыбается, видя на себе снежный пух, который она сотрясает и пускает на ветер. Буря, наконец, укрощается, солнце золотыми лучами пронзает покров, его помрачавший, и блистает на снеге. Дети идут опять в путь свой, но уже не находят тропинок своих. Белый ковер покрывает утесы и пропасти. Жемми держит Клери за руки и идет с осторожностью; палкою своею испытывает он глубину снега и не позволяет Клере ни шагом вперед подвинуться, не узнавши, нет ли опасности. Клера, которая только за него трепещет, которая только по его следам идет, сильно сжимает руку его, будучи готова поддержать его в падении, и сие шествие трудное, продолжительное, и сии опасности смешаны с удовольствием для нежной Клеры.

Принужденные совращаться с дороги, идти иногда по берегам потоков, где быстрота воды оставила землю обнаженною, юные путешественники продолжают бродить во все оставшееся время дня и только вечером достигают деревни Эрфельд. Тут Жемми узнает место; он уверен, что, следуя течению Рейна, он к ночи достигнет до Альторфа. Он ободряет подругу свою, и луна, которая показывается, рассеивает страх его еще раз заблудиться. Успокоясь, шли они оба по левому берегу реки, орошающей кантон Ури; как вдруг приближается к ним человек, вооруженный копьем и окутанный в длинное платье. Снег и лед покрывали шапку, служившую украшением голове его; волосы его были сплены инеем. Этот человек прямо подошел к детям, которые остановились, его приметив, и сказал им прерывающимся голосом: «Юные друзья мои! Я — заблудившийся зверолов; потерял из виду своих товарищей и не могу найти дороги к Альторфу, где, я уверен, что отсутствие мое уже распространило тревогу. Не можете ли вы проводить меня, дети? Я награжу вас щедро!»

— Награда в услуге, — отвечает ему Клера, — мы знаем дорогу в Альторф и с таким же удовольствием возвратим тебя твоему семейству, с каким бы, конечно, и ты возвратил нас добрым нашим родителям. Следуй за нами; чрез час мы достигнем города.

Зверолов при сих словах соединяется с детьми и, рассматривая их со вниманием, при свете луны, шествует в молчании за ними.

Потом обращается он к Жемми. «Молодой человек, — говорит он, — кто твои родители? Где дом твой в Альторфе?»

— Я сын земледельца, — отвечает Жемми, не смотря на него, — отец мой не живет в городе!

— А где же его жилище?

— В горах, в пустыне, где он обрабатывает поле свое, где он исполняет законы добродетели.

— Добродетели! — перехватывает зверолов, — я не думал, чтобы имя сие было тебе известно в такие лета.

— Это имя первое произнес я, — отвечает Жемми твердым голосом.

— Итак, ты знаешь, что оно значит?

— По крайней мере, надеюсь!

— Изъясни мне его.

— Трех слов довольно будет: страх Божий, любовь к человекам и ненависть к их утеснителям!

— А кто сии утеснители?

— Тираны и их сообщники!

— В Швейцарии нет тиранов!

Клера не могла удержать восклицания; Жемми не отвечал ни слова; а зверолов, потупив голову, шел в безмолвии несколько времени.

Они приближались к стенам альторфским; уже светились пред ними копыя стражей, стоявших у ворот. Мрачный незнакомец вдруг спрашивает у Жемми грозным голосом, кто отец его? Клера, трепеща, сильнее сжимает его руку. Жемми, который ко лжи был не способен, колеблется несколько минут; наконец, побуждаемый незнакомцем, он смотрит на него с смелым видом и говорит: «Мы показали тебе путь твой, и сего довольно; здесь пределы нашей к тебе доверенности. Ты не узнаешь имени отца моего; оно известно только его друзьям!»

— Младой безумец! — восклицает тогда зверолов с негодованием, — отец твой не избегнет меня; ты не прежде избавишься от оков, покуда я не узнаю мятежного твоего семейства. Я умею так же открывать виновных, как и наказывать их.

С сими словами он приближается к градским воротам, произносит имя Геслера, и стражи преклоняют пред ним копыя.

— Возьмите сих детей, — говорит им вероломный, — бросьте их в темницу и представьте пред лицо мое первого, кто станет вопрошать об них.

Ему повинуются: стражи окружают Клеру и Жемми. Без сожаления к их юности и усталости от путешествия, влекут их в крепость, в которой мрачная темница становится их обиталищем.

Будучи оба спокойны, с нежностью взирая друг на друга и втайне благодаря палачей своих за то, что их не разлучили, дети без ужаса слышат железные двери, с громом затворившиеся за ними; они отдыхают на соломе, которую из сожаления к ним бросили, они разделяют сухой хлеб, который подле них положили. Не страшась ничего, с миром в совести, трепеща только о своих родителях, о опасности, которой подвергается Тель, если придет искать их, они молят небо только о том, чтобы Эдме и старец, лишенный зрения, почитали их оставшимися при Мельктале, чтобы они не знали о их несчастье, чтобы только они одни страдали.

Между тем как невинные дети наслаждались мирным сном во мрачной темнице и вкушали сие кроткое спокойствие, которое добродетель и в оковах не оставляет, Геслер в чертогах своих, окруженный многочисленною стражею, ополченный всем своим могуществом, Геслер не мог сомкнуть глаз: страх наполнял беспокойную душу его. Геслер, мрачный, грозный, колеблемый тысячью противных намерений, трепещущий о своей жизни, изобретающий новые казни, дабы ужаснуть тех, которые ему страшны, дабы смертию сохранить себя от смерти, дабы кровавою рекою отградить себя от погибели, Геслер мнил в душе своей: сколь ужасна должна быть ненависть сего народа ко мне, когда самые дети, слабые дети не могут скрыть ее перед путником, перед незнакомцем, случайно их встретившим. Что же говорят старцы, мужи? Чего же должен я страшиться от сего буйного народа, который размножается непрестанно, который возрастает с надеждою, с желанием похитить у меня власть мою, пронзить мне сердце! А! Я найду средство предупредить удары, мне угрожающие: ужасом подавлю тех, которые избегнут справедливого моего мщения, и изобрету новые казни, новые средства открывать врагов моих. Все, все враги мои; не все дерзают казаться ими, но отважнейшие не избегнут меча моего.

Тут предается он исступлению своего гнева и гордости; в мрачной душе его вращаются тысячи неисполнимых предприятий. Он предпочитает безумнейшие, наиболее могущие обнаружить презрение, которое он хочет показывать к сему народу, для него ужасному. Наконец он останавливается на бесчеловечном намерении принуждать обитателей Ури преклоняться перед шапкой, служащей украшением головы его.

Вотще распаленный рассудок его представлял все опасности, от сего безумного повеления родиться могущие; глас рассудка ему не внятен. Он призывает пред себя начальников многочисленной стражи своей, вопрошает их с беспокойством о ревности, о привязанности подчиненных им воинов; разделяет между ими сокровища, которые скупость его уступает страху, и обратясь к Сарлему, тайному и ревностнейшему исполнителю бесчеловечных повелений своих, говорит: «Завтра, как скоро воссияет день, да поставят на площади Альторфской длинное копьё; шапка, покрывающая мою голову, да будет выставлена пред лицо народа, воткнутая на сем копьё. Многочисленная стража моя с оружием да сберегает место сие и да побуждает каждого мимоходящего сгибаться с почтением пред сим знаком могущества губернатора трех кантонов; малейшее сопротивление, малейший ропот да накажется немедленно оковами. Твое дело читать на лицах, во взорах и чертах сих подлых людей, которых натура сотворила пресмыкаться; замечай самые скрытные чувства ненависти, независимости, мужества, ибо и мужество — преступление в тех, которые должны только повиноваться. Поди, исполни мое повеление и потщись открыть виновных родителей сих детей, которых я обременил оковами».

Он сказал, и Сарлем поспешил всё исполнить. Воины вперед получают цену преступлений, которых от них требуют. Золото и вино раздаются им в изобилии; шпионы рассеиваются в городе, в окружностях; вкрадываются в среду семейств; повествуют с притворною жалостию о двух младенцах, жертвах жестокости Геслеровой; ищут, замечают во взорах, в движениях действия, производимые сею новостью, чтобы обратить в преступление и горечь, и самое сострадание. Но небо, правосудное небо, которое охраняло хижину Вильгельмову, сокрыло ее от взоров сих наемников. Они не встречают доброй Эдме, которая одна, с слепцом-старцем, считала минуты, протекшие без ее супруга и милого сына. Ночь прошла посреди беспокойства; уединенная лампада, освещавшая хижину, не угасала ни на минуту; старец Мелькталь и нежная Эдме не смыкали глаз своих; они беспрестанно говорили о своих детях. Эдме сто раз прерывала разговор свой при малейшем шорохе, который слышался у дверей их. Ветер, свистящий в обнаженных ветвях деревьев и лаянье верной собаки, которая бродила вокруг дома, заставляли трепетать ее. Она вставала, подходила к двери, надеясь всегда, что то был Жемми: она смотрела — всё было мрачно; она прислушивалась — всё было тихо; только потоки вдали шумели. Печально возвращалась она к унывающему старцу, от которого желала скрыть горечь свою и беспокойство. «Сын твой, конечно, удержал их, — говорила она, — Мелькталь, спи, спи, добрый старик; я буду бодрствовать до утра». «Так, дочь

моя, — отвечал Мелькталь, — мой сын удержал их. Я засну, не заботясь обо мне и успокой волнующуюся свою душу». Тогда старик притворился спящим, спокойным; оба сохраняли безмолвие, чтобы взаимно обманывать друг друга; оба скрывали слезы свои, но при малейшем шуме оба вставали поспешно, и надежда опять их обманывала.

КОНЕЦ ВТОРОЙ КНИГИ

КНИГА ТРЕТЬЯ

Между тем Вильгельм задолго еще до солнечного восхода пришел к стенам Швица. Он стучит во врата Вернерова дому; страшные псы, хранители сего убежища, наполняют воздух своим лаянием. Изумленный Вернер, уже пробудившийся и сидевший у пылающего дуба, спешит к воротам своим, отворяет их, услышав голос своего друга, обнимает его, подводит к огню своему; и грозные псы, узнавши друга своего господина, окружают его, ласкаются к нему и скрывают ужасные головы свои под платье Вильгельмово.

— Друг мой, — говорит герой Вернеру, — наконец наступила минута, в которую должны мы избавить Швейцарию и прекратить бедствия, обременявшие горестные дни наши. Не мудрость твою пришел запросить я, но мужество твое пробуждаю; его хочу ополчить теперь. Новые преступления Геслера подают нам давно ожидаемый знак.

При сих словах он кладет к ногам Вернеровым множество копий, стрел, острых мечей, которые нес он на плечах своих. Вернер смотрит на них с спокойною радостью.

— Прежде всего, — говорит он, — сокроем сокровище сие в тайное место; здесь могут нас увидеть. Нет верного убежища от пронырства Геслера!

Тогда оба поднимают оружия, сходят вниз, скрывают их в подземелье, и Вильгельм, возвратясь к огню, повествует Вернеру о жестокости губернатора, о несчастьи старца Мелькталя, о убежище сына его, о путешествии Жемми, который должен был возвестить ему от его имени, чтобы с наступлением вечера пришел в пещеру Грютти утвердить с ним обет отмщения. Вернер слушает со вниманием; Вильгельм подробно извещает его о своих предприятиях; разбирает их с ним вместе; изобретает, противопоставит им препятствия, случиться могущие; и удовлетворенный ответами Теля, который все предвидел, который за все отвечает, обнимает его и говорит: «Мой друг, начнем; я готов!»

Потом, каждый особенно и различными путями, они разносят сохраняемые оружия друзьям своим, обитавшим в городе и в селах,

которые окружали стены Швица; ополчают друзей отечества; благодарят снегам, которые сыплются в изобилии, помрачают свет дневной и препятствуют путникам выходить на дороги, по которым они безопасно шествуют. Стократно отходят они и возвращаются за оружием, которые только по одному разносить дерзают, целых двенадцать часов проводят в сих важных трудах, согревают, оживляют сердце каждого из тех, которого они вооружать приходят; принимают с него клятву священную, извещают его о новом преступлении Геслера и возбуждают его к мщению.

День проходит, все оружие розданы. Вильгельм оставил себе один лук свой, Вернер — одно копие. Оба, обремененные усталостию, возвращаются в дом Вернеров, подкрепляют себя некоторою пищею, оживляют изнеможенные силы свои, и не успокоясь ни на минуту, побуждаемые пролетающим временем и словом, данным Мелькталю, отправляются в путь к пещере Грютти.

Они идут посреди снегов, собираемых вокруг них Аквилон¹¹; приходят к берегам озера; ищут судна во мраке; находят слабый челнок, привязанный крепко к берегу и ударяемый в него ветрами, вздымающимися волны. Вернер, видя волнение озера, останавливается и вопрошает Вильгельма, может ли несравненное искусство его в управлении ладьею бороться с бурей. «Мелькталь ожидает нас, — отвечает ему Вильгельм, — и участь отчизны нашей будет зависеть от нашего свидания. Как можешь ты вопрошать, могу ли я переплыть озеро? Я не знаю, возможно ли сие, но должен непременно все испытать. Мало полагаюсь я на свое искусство, но уповаю на Бога, который покровитель невинных и защитник друзей добродетели».

Он сказал и прыгнул в челнок. Вернер последовал за ним. Тель немедленно разрубает привязь, берет весло и удаляется от берегов. Но благоприятствовал ли случай, или сам Бог, призываемый Вильгельмом, покровительствовал защитникам Швейцарии, ветер вдруг утихает, волны успокоиваются, лодка несется по зыбкой поверхности озера. Вильгельм, схватив оба весла, быстро рассекает ими кипящую влагу и летит, как молния, в челноке своем. Скоро переплывает он озеро; пристает к противоположному берегу, привязывает лодку и, вместе с другом своим, идет в пещеру, им издавна известную.

Мелькталь уже ожидал их во входе. Едва примечает Вильгельма, как бросается в его объятия, прижимает к сердцу, обливает слезами, рыдая, произносит имя отца своего и друга и едва может укротить все чувства, которые его волнуют. Вильгельм проливает слезы с ним вместе, держа его руку, которую сильно сжимает; влечет его во внутренность пещеры. Там, в глубоком мраке, три друга, сидя на скалах,

забыв о самих себе, о своих страданиях, занимаются одним своим отечеством. Тель первый начинает говорить: «Мелькталь! Отец твой жив, отец твой в моей хижине; успокойся; да молчит сыновняя нежность твоя пред любовью к отечеству. Изобретем, рассмотрим вернейшие средства избавить и отмстить за его оскорбления, за его бедствия; каждый из нас в своем кантоне наслаждается почтением, привязанностию и доверием братьев своих. Мужественные обитатели Швица восстанут при воззвании Вернера; им недоставало только оружия; теперь они его имеют. Друзья наши в Швице вооружены также. Вернер уже повелитель двухсот воинов! Они уже клялись нам; они не изменят своим клятвам!

В Ури, в стенах Альторфа, где присутствие тирана увеличивает и питает ужас, где ужасная твердыня, им воздвигнутая, кажется, навсегда утвердила его могущество, мне было труднее обрести сообщников. Во всех сердцах пылает огонь свободы, но многочисленная стража Геслера, но сии подлые сообщники его преступлений неусыпно стараются открывать, наказывать малейшие ее движения. Еще не дерзаю я положиться на верность обитателей Альторфа: они трепещут; они изнемогают под железным бичом, их угнетающим, они видят секиру казни, беспрестанно подытаю; они обременены оковами и не дерзают их сбросить. Народ альторфский не восстанет на Геслера, но и не будет защищать его. Пойдем с оружием в Альторф; в селах, его окружающих, нашел я сто верных товарищей, готовых умереть со мною; они вооружены, они неустрашимы: сего довольно. Говори, Мелькталь, извести нас о успехах твоих в Ундервальде, да назначим непременно час, непременно минуту, в которую мы должны совокупить силы наши, в которую мы должны погибнуть или отмстить за Швейцарию».

— Друзья, — восклицает Мелькталь с невольным исступлением, — я не смел надеяться, чтобы вы были ополчены такою силою, но был уверен в успехе. Сто пятьдесят юных воинов готовы уже в Ундервальд. Ныне я их всех видел. Они избрали меня предводителем; они горят сразиться. Друзья! Не станем терять ни минуты; сею же ночью обступим стены Альторфа, соединим воинов своих в самом граде. Народ будет вспомоществовать нам. Мы накажем тирана; я исторгну очи его так, как он исторгнул очи моего родителя... Но я заблуждаюсь. Простите несчастнейшему из сынов. Пойдем. Завтра, несмотря на мрак ночи, на снег, покрывающий землю и затрудняющий шествие; завтра, при восходе дня, будем мы на площади альторфской, и сражение отчаянное, кровопролитное, предаст крепость во власть нашу, или мы погибнем.

— Так, мы погибнем, — отвечает ему Вернер спокойно, — и погибель сия, славная для нас, будет бесполезна нашему отечеству. Или не

слышишь ты, Мелькталь, что говорил нам Вильгельм: сто союзников наших из кантона Ури рассеяны в селах; потребно время для того, чтобы собрать их; а четыре тысячи телохранителей всегда окружают тирана. Народ альторфский, сдавленный бременем присутствия Геслерова, его стражею, его воинами, не дерзнет соединиться с нами. Слабые войска наши, пришедшие в беспорядок, не успеют вступить в город и погибнут бедственно. Три кантона слишком слабы, чтобы ниспровергнуть сие могущество Геслера, которое опирается на колосс Империи, которое ограждено крепостями, почти неприступными. Продолжительная их осада даст время Германии ополчить на нас свои воинства. Поверь моей опытности! Или ты думаешь, что мы одни воспламенены огнем свободы? Или ты думаешь, что Цирих, Люцерн, обитатели гор Цуга, Глариса и Аппенцеля не трепещут, подобно нам, при виде оков? Не сомневайся: великодушные сии народы жаждут независимости; некогда, сердце мое предвещает мне, они соединятся с нами, составят с нами республику, ужасную для народов и почитаемую царями земными. Приблизим сие время славы, пошлем от себя полномочных в Люцерн, Цуг и Цирих; распространим всюду возмущение; назначим день, священный день, в который бы в один час во всей Швейцарии все друзья свободы низложили врагов ее. Тогда мы возгремим, тогда Альторф за нас ополчится; и Геслер, узрев себя, окруженного грозными воинствами, побледнеет среди своего могущества и погибнет прежде, нежели его посланные успеют возвестить о его опасности императору.

Вернер умолк, и Мелькталь ропщет; Мелькталь хочет опровергать Вернера, как Вильгельм начинает говорить, и оба внимают ему в молчании.

— Я хвалю неустрашимость твою, Мелькталь, я извиняю кипящую твою дерзость, но она была бы нам пагубна. Я чту мудрость твою, Вернер, но она подвержена своим опасностям. Горе тем возмущениям, которые требуют времени и которых тайна не хранится в малом числе сердец благородных! Единое заблуждение, единое слово, малейшие превратности могут разрушить здание, воздвигнутое веком. Нужно найти одного только изменника в многочисленных городах, которых ты хочешь присоединить к нам, и все пропало, и отечество наше опять в оковах, и смерть пожрет избраннейших сынов его. Нет! Сохраним в сердцах своих наши великие предприятия. Нас довольно для того, чтобы возвратить свободу; и между тем как знамя независимости будет веять на утесах Швица, Ури, Ундервальда, мы, или наши чада, узрим обитателей других кантонов, текущих сражаться и отдыхать под ним. Вернер, время действовать; но, Мелькталь, еще несколько дней укроти себя. Вот начертание действий наших. Ундервальд и Швиц воору-

жены. Триста пятьдесят воинов готовы, говоришь ты, в сих кантонах за нами следовать: назначь им не город, не село, но долину пустынную, уединенную, в которую бы разными путями могли они собраться и устремиться в путь совокупно. Между тем как заботы сии будут утруждать тебя, я возвращусь в Ури и вместе с мужественным Форстом, единственным из сообщников моих, которому я поверил свои предприятия, соберу, если возможно, всех врагов неволи, которые клялись мне победить или умереть со мною. Форст пойдет за ними в Мазерен, Урзерен и даже на самые горы, с которых низвергается Аара, Тессин, Реин и Рона¹². Один останусь я в Альторфе, где посланный от Форста возвестит мне минуту выступления его воинства. При сем известии я воспалю костер, сложенный руками моими на вершине той горы, на которой находится моя хижина. Едва узрите вы развевающее пламя сие, Мелькталь и Вернер, то идите, каждый с своими сообщниками, к месту совокупления; отголе, соединясь, устремитесь прямо к Альторфу. Я измерил время и расстояние; Форст¹³ с своими воинами из Ури, Вернер с своими из Швица, Мелькталь с своими из Ундервальда почти в одно время явятся на юге, на востоке и севере Альторфа. Я там буду, неустрашимые друзья мои! Буду один посреди народа, который гласом моим возбудится к свободе. Я произнесу громко сие священное имя; оно будет для нас криком сражения. Вы произнесете его, вступая. Народ, изумленный, узрев и Ундервальд, и Ури, и Швиц, спешащие к нему на помощь, народ тогда, внимая одному только негодование и ненависти к Геслеру, приобщит силу свою к вашей. Мы обступим крепость, в которой тиран слабо защищаться будет. Скоро узрите вы знамена наши, водруженные на сих стенах ужасных, и вся Швейцария, подвигнутая сею первою победою, придет требовать от нас чести союза.

Тель умолк, и Мелькталь со слезами восторга обнимает героя; сам Вернер убежден, сам Вернер согласуется. Три избавителя Швейцарии, не связуя больше друг друга клятвами, ненужными для великих душ их, идут в путь свой. Мелькталь возвращается в Станцу, Вернер и Тель опять находят свой челнок, переплывают успокоившееся озеро, и достигши другого берега, разлучаются: Вернер идет по дороге в Швиц, Вильгельм по дороге в Альторф.

Он идет по берегу озера; он хочет прежде, нежели возвратится к своей Эдме, посетить друзей своих в Альторфе и возвестить им свои предприятия. Солнце всходило уже, когда он достиг города. Он вступает в него, приходит на площадь, и первый предмет, поразивший его взоры, было длинное копьё с воткнутою на нем шапкою, украшенною золотом. Вокруг копия многочисленная стража ходила в молчании

и, казалось, с почтением охраняла сей новый знак могущества. Вильгельм приближается в изумлении; видит народ альторфский, с низостию простирающийся пред сею шапкой, и вооруженных стражей, железом копыя пригибающих к самой земле головы тех, которые унижались. Едва удерживая свое негодование, он останавливается при сем зрелище; не верит глазам своим; в безмолвии, неподвижно, опершись на великий лук свой, смотрит он на пресмыкающихся, и презрение изображается в пылающих его взорах.

Сарлем, повелевающий стражею, Сарлем, которого зверская ревность старается превзойти самые повеления тирана, скоро примечает сего человека, который один посреди преклоняющегося народа гордо подымлет чело свое. Он летит к нему, и взирая на него очами, горящими от ярости, говорит: «Кто бы ты ни был, трепещи, чтобы я не наказал тебя за сию медлительность повиноваться повелениям Геслера. Или не знаешь ты провозвещенного закона, обязующего жителей альторфских поклоняться с почтением сему знаку его могущества!»

— Я не знаю его, — отвечает Вильгельм, — и никогда не думал, чтобы могущество могло довести кого-нибудь до такого безумия! Но подлость народа сего все извиняет! Я оправдываю Геслера; он должен почитать нас невольниками; он должен презирать людей, которые столь низки, что повинуются сим недостойным прихотям; что ж до меня, я преклоняюсь только пред Богом!

— Дерзновенный! — восклицает Сарлем. — Ты будешь наказан за свое неповиновение: пади на колена и обезоружь руку, на тебя подытую.

— Моя собственная рука наказала бы меня, — отвечает Тель, смотря на него, — если б я способен был повиноваться.

При сих словах и при знаке, поданном жестоким Сарлемом, толпа стражей бросается на Вильгельма. У него исторгают лук, лишают его стрел. Окруженного блестящими мечами, которые все устремлены на его сердце, его влекут в чертоги губернатора.

Спокойный посреди стражей, не внимая грубым их угрозам, сложив руки на грудь, Вильгельм является тирану. Он взирает на него оком неустрашимым; не прерывая, внемлет словам Сарлема, его обвиняющего, и в грозном молчании ожидает вопросов Геслера.

Его вид, его чело, его неустрашимое спокойствие удивляют, возмущают губернатора. Невольный ужас, тайное предчувствие, кажется, говорят ему, что пред ним мститель Швейцарии. Он боится поднять на него взоры, он колеблется вопрошать его; наконец, говорит изменившимся голосом: «Что понудило тебя не повиноваться моим повелениям и не воздать должного знакам моего могущества? Говори, защищайся,

я хочу простить тебя!» При сих словах Тель смотрит на него с гордою улыбкою.

— Накажи меня, — говорит он, — и не требуй от меня признания. Ты никогда не слыхал истины; ты не можешь снести ее.

— Я хочу слышать ее из уст твоих, я хочу от тебя узнать свои ошибки и свои должности!

— Я не научаю злодеев, но ужас, который вселяет в меня их присутствие, не лишает меня мужества; я нетрепетно могу вспоминать о их преступлениях и возвестить им ожидающую их участь. Внимай мне, Геслер, внимай, если ты того хочешь! Мера почти исполнена; чаша бедствий наших, врученная тебе раздраженным Небом, уже не вмещает их. Тобою Вышний истощил на нас весь ужасный гнев свой. Внимай воплям невинных, заключенных тобою в темницы; внимай воплям младенцев, вдов, которые требуют от тебя отцов, супругов своих, лишенных тобою жизни посреди мучений. Видишь ли окровавленные тени их, блуждающие вокруг чертогов твоих, преследующие тебя и в самый сон твой, во мраке ночи являющиеся пред беспокойный одр твой и показывающие тебе на зияющие раны свои, на растерзанные и трепещущие свои тела. Кровь их на тебя льется и пробуждает тебя во время ночи. Ты видишь кровь сию во мраке; видишь ее и вотще закрываешь очи, чтобы ее не видать! Малое число избегших смерти предаются бегству, покидают прародительские кущи свои, нивы, облитые потом трудолюбия, опустошенные твоею ненасытною алчностью, и скрываются во мраке лесов, в ущелиях утесов. Там трепещущий народ сей, страшщийся имени твоего более, нежели грозных снегов, с громом низвергающихся с высоты гор и погребаяющих села, там народ сей, коленопреклоняясь на главе утесов, подымлет умоляющие руки к Вечному, требует от Него мести, просит карающего злых: «Да истребит истребителя смертных!» Геслер, возвещаю тебе: сии молитвы целого народа, сии вопли толиких невинно страждущих, гонимых, умерщвляемых тобою, сия кровь, беспрестанно от тебя лиющая, сия кровь вопиет к небу, сии стоны слышны у престола Всемогущего; Его правосудие грянет, поразит тебя — и скоро, скоро отчизна моя разорвет оковы свои. Вот моя надежда, мои обеты, мои мысли. Ты от меня требовал истины: я удовлетворил тебя; я ничего более не могу сказать тебе, не хочу до того унизиться, чтоб укорять тебя за сие безумное повеление, которое принуждает обитателей Ури падать ниц пред украшением главы твоей. Ты все знаешь — теперь ты можешь назначить казнь мою!

Геслер внимал ему в молчании; гнев его укрощался только для того, чтобы вернее устремить свои удары; бешенство его обуздывалось в

надежде найти, изобрести новую казнь, которая бы лучше отмстила за него человеку сему, который, казалось, презирает смерть. Он вспомнил о двух младенцах, пред сим заключенных в темницу. Он вспомнил о дерзких словах их, и сравнивая их с теми, которые теперь слышал, подозревает, предчувствует, отгадывает, что сии дети, уже столь гордые, столь проникнутые ненавистию к тиранам, только тому принадлежать могут, кто столь неустрашимо восстает противу его могущества. Он хочет в сем увериться и дает тайное повеление представить обоих детей пред лицо его.

Сарлем поспешил за ними. Между тем хитрый Геслер, скрывая гнев свой, притворяясь спокойным, вопрошает хладнокровно Вильгельма о его состоянии, о его семействе, о его звании. Вильгельм не скрывает своего имени, и сие имя, столь славное в Альторфе, поражает, устрашает губернатора. «Как! — восклицает он в изумлении. — Ты тот, которого славят в искусстве управлять ладьею, которого стрелы никогда вотще не пускались?» «Я, — отвечает Тель, — но я стыжусь, что имя мое известно только подвигами, бесполезными моему отечеству. Сия тщетная слава ничто перед смертью патриота».

В сию минуту Сарлем, ведущий Клеру и Жемми, возвращается. Как скоро Тель узнает своего сына, то с криком бросается к нему.

— О сын мой, о Жемми, — восклицает он, — я могу еще обнять тебя! И в каком месте!

— Для чего? Как? Нет, нет, ты не отец мой, — отвечает ему Жемми, который видит опасность Вильгельмову и знает, какую участь приготовляет Геслер несчастным его родителям, — нет, ты не отец мой, я тебя не знаю! Моего семейства нет здесь!

Вильгельм, изумленный, останавливается неподвижен, с отверстыми объятиями; он не может понять, для чего сын от него отрекается. Клера усиливает его изумление, подтверждая слова Жемми и повторяя с ним, что Вильгельм не отец их. Сердце Теля ропщет, оно начинает оскорбляться; и Геслер, которого зверские взоры замечают все их движения, Геслер, проникший в таинство, которое открыть желал, увеселяется в сердце своем страхом, изумлением и горестию отца и детей.

Жестокая радость изображается на лице его; взоры его преисполнены огнем мрачным.

— Трудно обмануть меня! — говорит он. — Вильгельм, вот сын твой; он воспламенил гнев Геслеров; давно уже моя кротость сносит здесь твои оскорбления: вот достойное тебе наказание — внимай словам моим! Я хочу и наказуя тебя воздать должное уважение сей редкой способности, которую в тебе прославляют; я хочу, чтобы народ альторфский, свидетель моего правосудия, удивлялся и твоему искус-

ству. Лук твой возвратят тебе; перед тобой поставят твоего сына в некотором отдалении; яблоко на голове его будет твоею целью. Если рука твоя, никогда не обманывающаяся в ударах своих, выстрелом похитит яблоко, то вы оба свободны, я вас прощаю; если ж ты откажешься от опыта, то сын твой погибнет пред твоими глазами.

— Злодей, — прерывает его Тель, — какой демон, исшедший из ада, вселил в тебя ужасную мысль сию! Правосудный Боже! Ты внимаешь ему; ужели еще будешь Ты медлить поражением сего изверга? Нет! Я не соглашаюсь; нет, я не хочу быть убийцею сына своего; умертви меня! Где палачи твои? Они здесь; все, что ни окружает меня, все уже стократно было обагрено кровию. Да устремятся мечи их на меня, прямо в мое сердце. Я от тебя сего требую, я умоляю тебя об этом: да умру я невинен, да умру человеком и отцом. Внемли мне, Геслер! Ни бесчисленная стража твоя, ни пример целого народа, ни страшный вид казни не могли меня понудить пасть ниц пред тобою; я предпочел сей подлости смерть; хорошо! Я соглашаюсь, я преклоню свои колена; только умертви меня, только спаси меня от страшной опасности пронзить сердце моему сыну; обещаю тебе смерть, Геслер, и я паду пред тобою.

— Нет, — восклицает Жемми, которого трогательный голос вливает жалость в самые сердца стражей, его окружающих, — нет, не соглашайся; пускай на мне испытает он свое искусство. Что ни будет, ты обещал свободу моему родителю. Успокойся, достойнейший из отцов; Небо укрепит руку твою; сын твой в безопасности. Прости мне, если несколько минут я от тебя отрицался; я трепетал о твоей жизни, об одном тебе! Дабы спасти тебя, я отказывался от того, что для меня самое драгоценнейшее в свете: от сладостного имени твоего сына; прости меня ты, мой родитель, мой нежнейший родитель; дай мне стократно произнести имя сие, которое прежде произнести опасался. Ободришь, ты не умертвишь меня. Тайный голос меня в том уверяет. Поведите меня, поведите скорее; а ты, Клера, удались, но бойся известить о сем мать мою!

Жемми бросается тогда к сердцу Вильгельма, который сжимает его в своих объятиях, хочет говорить — и только что орошает лицо его слезами, и только что может произнести дрожащим голосом: «Нет, сын мой, нет Жемми!» Клера упала без чувств; стражи уносят ее в чертоги, и неумолимый Геслер, не трогаясь сим зрелищем, повторяет грозное свое повеление, предлагает опять Вильгельму ужасный выбор между смертью Жемми и опасным опытом. Вильгельм внимает ему, склонив голову; несколько минут не отвечает, держа сына своего в объятиях; наконец, вдруг, подняв свою голову и смотря на Геслера покраснев-

шими от слез глазами и пылающими от негодования, говорит: «Я повинуюсь, поведите меня на площадь».

Отец и сын, держа друг друга за руки, выходят, окруженные стражею, из дворца. Весь народ, узнавший уже о страшном зрелище, которое ему приготовлялось, собирается на площадь. Почти все страждут во глубине души, но никто не смеет обнаружить своей жалости. Робкие взоры их ищут Вильгельма; они открывают его посреди копий, идущего подле Жемми, который смотрит на него, улыбаясь. Слезы появляются в глазах каждого смотрящего на бедного отца, но ужас удерживает слезы: Геслер наказал бы их как преступление. Все взоры устремлены в землю; мертвое молчание царствует в народе, он страждет, терпит и молчит!

Расстояние уже измерено жестокосердым Сарлемом; двойной ряд стражей окружает с трех сторон сие расстояние. Народ сжимается позади их. Жемми стоит на своем месте и смотрит на сии приготовления взором тихим и неробким. Геслер, далеко от Теля, окруженный своими телохранителями, с беспокойным видом примечает мрачное безмолвие народа; Вильгельм посреди копий стоит неподвижно, потупя глаза в землю. Ему приносят лук и одну стрелу. Испытав острие ее, он ее преломляет, отбрасывает от себя и требует своего колчана. Ему подают его. Он рассыпает к ногам своим все стрелы; ищет, избирает между ими; долго пребывает согбенным; наконец, воспользовавшись благоприятною минутою, скрывает одну стрелу под свою одежду; другая в руке его, та, которую должен пустить он в цель. Сарлем повелевает унести другие, и Вильгельм медлительно навязывает тетиву на лук свой.

Он смотрит на своего сына, останавливается, поднимает глаза к небу, бросает лук и стрелу свою и требует позволения говорить с Жемми. Четыре стража ведут его к нему.

— Сын мой, — говорит он, — я хочу еще раз обнять тебя, еще раз повторить тебе то, что я уже говорил; будь неподвижен, сын мой, стань одним коленом на землю, тогда ты не поколебнешься; проси Бога, да покровительствует несчастному отцу твоему. Ах! Нет, проси Его только о себе, чтобы мысль обо мне тебя не растрогала, не ослабила в тебе сего мужества, которому я удивляюсь, но которому подражать не могу. О сын мой! Так, я не могу быть столь великим, как ты. Сохрани, сохрани твердость сию, в которой бы я желал быть тебе примером. Теперь стой так, мой сын: лучше я не требую! Лучше! О! Я несчастный! И ты попускаешь сие, о Всемогущий! Послушай — отврати голову! Ты не знаешь, не можешь предугадать, какое действие произведет в тебе сие острие, сие железо, на тебя устремленное. Отврати голову, сын мой, не смотри на меня.

— Нет, нет, — отвечает Жемми, — не страшись ничего: я буду смотреть на тебя; я не увижу стрелы; я буду видеть только отца своего!

— Ах, сын мой, — восклицает Тель, — не говори, не говори более! Твой голос, твой милый голос лишает меня сил! Молчи, моли Бога и будь неподвижен!

Вильгельм при сих словах обнимает его, хочет идти, возвращается, еще раз его обнимает, повторяет последние слова свои и, обратившись вдруг, поспешно идет на свое место.

Тут берет он лук свой, стрелу, устремляет опять взоры к милому предмету. Два раза подымает он лук, и два раза родительские руки его опускаются; наконец, вооружась всем искусством, всею силою, всем мужеством своим, он отирает слезы, беспрестанно наполнявшие глаза его; он призывает Всевышнего, Который с высоты небес призирает на отцов, и укрепив дрожащую руку свою, принуждает взор свой устремляться только на яблоко. Воспользовавшись сею минутою, быстрою, подобно мысли, в которую он забывает сына своего, целит, напрягает лук, пускает стрелу — и похищенное яблоко улетает с нею вместе.

Радостные восклицания раздаются отвсюду; Жемми летит в объятия отца своего. Сей, покрытый бледностью, неподвижный, истощенный своими усилиями, не отвечает на ласки его. Он смотрит на него померкшими глазами; он не может говорить; едва слышит то, что говорит сын его; он колеблется и, наконец, без сил падает в его объятия. Жемми спешит помочь ему и неосторожно открывает стрелу, таившуюся в его одежде.

Геслер уже стоял подле него, Геслер уже овладел стрелою. Вильгельм приходит в себя, он отвращает взоры при виде жестокого.

— Стрелец единственный, несравненный, — говорит ему Геслер, — я исполню обещание свое; но прежде ответствуй, что хотел ты делать сею стрелою, которую ты скрыл от моих взоров: одна только была нужна тебе; для чего ты приготовил другую?

— Для того, чтобы пронзить сердце твое, тиран, когда бы несчастная рука моя прекратила дни моего сына!

При сих словах, исторгшихся из груди отца, устрешенный Геслер укрывается в среду своих телохранителей; он уничтожает свое обещание, повелевает Сарлему обременить оковами Вильгельма и заключить его в крепость. Ему повинуются. Теля исторгают из объятия Жемми, который вотще устремляется за отцом своим; его отталкивают. Народ ропщет, мятется. Геслер спешит в свои чертоги, повелевает вооружиться своим войскам. Отряды австрийцев проходят по городу и принуждают устрешенных жителей скрываться в домах

своих. Ужас царствует в Альторфе, и уже готовые палачи ожидают новых жертв.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕЙ КНИГИ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Между тем как трепещущий тиран укрывался в своей крепости, рассеивал стражу свою вокруг стен и страшился, чтобы разъяренный народ не похитил у него Вильгельма, Жемми, несчастный Жемми, проливая слезы, простерши руки, требуя своего родителя от всех, кто ему ни встречался, Жемми блуждал вокруг крепости с горестными воплями. Клера, которую удерживали в чертогах в продолжение ужасного зрелища, наконец, вырвалась и искала повсюду Жемми. Она видит его, летит в его объятия и хочет отереть его слезы.

— Мой родитель в оковах, — говорит ей Жемми, — мой несчастный родитель погибнет. Клера, послушай: я лишился надежды проникнуть в его темницу, в ней остаться, ему служить и кончить жизнь свою с ним вместе; я хочу испытать последнее средство, чтобы спасти его; я спешу в Ундервальд; я скажу отцу твоему о опасности его друга. Мелькталь имеет друзей, он мужествен и вооружен; Мелькталь придет его избавить! Ты, Клера, возвратись к моей матери, скажи ей о происшедшем и о том, на что опускаюсь (так) в сию минуту. Поди, поди, утешь ее. Я возвращусь только с Мелькталем; я погибну или спасу моего родителя. Ты заступи место мое у моей матери.

Он сказал и оставил Клеру; скорыми шагами пошел из Альторфа и направил путь свой в горы.

Клера спешит возвратиться в хижину Теля, где старый Мелькталь и добрая Эдме, разлученные с Вильгельмом и с детьми своими, терзались в неизвестности. Прибытие Клеры, бледной, трепещущей, обливаемой слезами, усилило страх Эдме. Она встает, бежит к ней и восклицает: «Жемми! Жемми! Что сделалось с моим сыном?» «Он жив, он свободен», — отвечает ей Клера, бросаясь в объятия слепого старца. Она прижимается к его сердцу, обнимает Эдме и дрожащим голосом рассказывает все, что произошло с ним, как они были исторгнуты из темницы, представлены Вильгельму, и какому ужасному испытанию были подвержены отец и сын. Того, что случилось после, она не знает, но Вильгельм в оковах; Жемми для спасения отца своего пошел к Мелькталю; Тель угрожается смертию: Геслер поклялся погубить его.

При сем повествовании Эдме падает почти мертвая на стул, ею оставленный. Старый слепец, вне себя, наполняет воздух жалобными воплями. Он хочет идти к своему сыну; хочет с ним вместе сражаться, погибнуть, чтобы спасти Вильгельма. Юная Клера удерживает старца, подает помощь бесчувственной Эдме и разделяет нежные попечения свои между несчастными.

Наконец, по истечении первых минут сей глубокой и живой горести, старец Мелькталь, пришед несколько в себя, берет руку Эдме и, прижав ее к сердцу, говорит: «Не плачь, о моя добродетельная подруга! Не станем в слезах терять времени, столько нам драгоценного. Жемми в Ундервальде, в несколько часов будет он уже у моего сына. Я знаю Мелькталья; сею же ночью, последуемый друзьями своими, он поспешит в Альторф. Завтра, с наступлением дня, он там будет; он решится на все, чтобы спасти Вильгельма. Но малое число сообщников его недовольно для великого сего предприятия. Я имею несколько друзей в городе; я воспламеню их мужество, они меня проводят на площадь, во среду народа, с первыми лучами дня. Тогда я стану говорить; тогда покажу я на кровавые раны, полученные мною от Геслера; покажу на место очей моих, исторгнутых жестокою его рукою. Моя дряхлость, мои седины, мое обезображенное лицо, кровь, оставшаяся еще на моем платье, слезы сего младенца — все будет говорить со мною. Я надеюсь, я уверен, что растроганный народ захочет мстить за меня; народ приобщится к друзьям, мною собранным. Мой сын и твой тогда придут; они найдут воинство, готовое совокупиться с ними. Мы оступим крепость. Я останусь под ударами, чтобы воспламенять мужество воинов; я буду кричать им: “Мщение!” Я беспрестанно буду произносить имя отечества. Они понесут меня на руках, если я не буду иметь сил за ними следовать; они понесут меня к твоему супругу. Я возвращу его в твои объятия. Так, я уверен: Бог, Который вдыхает мне мысль сию, возвещает мне уже победу. Пойдем, дочь моя, пойдем немедля; дай мне посох и подпирай меня твоею рукою. Ночь должна наступить скоро; пойдем! ночь должна споспешествовать нам!»

— Я одобряю сии намерения, — говорит Эдме, — и сама буду тебе сопутствовать, но прежде, нежели мы оставим сие место, удостой меня выслушать и дать совет свой. Я давно знала, что супруг мой имел великое предприятие освободить Швейцарию. Тайные путешествия его в Швиц, в Ундервальд, в Урзерен; множество оружий, им сохраненных; ночные его отсутствия и заботливость, которую читала на лице его: все, все уверяло меня, что возмущение, которого душа Вильгельм, таится в трех кантонах. Не знаю имени других сообщников, но верю, что /она/ так есть, и что минута, один знак, положены между ими. Я не могла узнать,

в чем состоит знак сей; но за несколько пред сим дней я поражена была, как лучом света, одним словом моего супруга. Сие слово и другие некоторые заставили меня подозревать, что знак возмущения заговорщиков не иной, как костер, возженный на вершине горы нашей. Ни сил, ни времени недостает нам, дабы сложить и воспалить костер сей. Но тайный голос говорит мне, что если воспылает огонь на вершине горы, все друзья моего супруга стекутся его избавить. Скажи мне, Мелькталь, одной слабой руки моей довольно для возжжения хижины, служащей нам убежищем. Она на самом возвышенном месте. Сей великий пожар узритя всеми обитателями трех кантонов. На что мне хижина, мое имущество, если супругу моему грозит погибель! Если я спасу его, ты примешь нас в свое убежище, если ж его лишусь, то мне будет нужен только гроб.

Она сказала, и старый Мелькталь поощряет ее исполнить свое предприятие. Эдме немедленно собирает сухие ветви около хижины, зажигает их и без сожаления бросает в пламя и колыбель своего младенца, и целомудренный одр супружества, и уверяясь, что уже ничто огня потушить не может, берет руку старца, который другою опирается на плечо Клеры, и идет по дороге в Альторф.

Между тем как при гробовом безмолвии, которое ужас распростирает в городе, старец, супруга и несчастное дитя стучат в ворота друзей своих, огонь, возженный рукою Эдме, усиливается и достигает соломенного крова хижины. Солома вспыхивает и пылает; пламя становится яснее, разливая вокруг себя яркий свет и отражается в багровом зареве. Вернер примечает его в Швице, кипящий Мелькталь, к которому Жемми еще не пришел, трепещет от радости при сем виде, и Форст в Урзерене не сомневается, чтобы Вильгельм с своими друзьями не ожидал его в стенах альторфских. Сии три предводителя в единую минуту вооружаются, выходят из жилищ своих, спешат соединить своих друзей и зовут их на брань. Верные друзья сии пробуждаются, берутся за свои оружия, безмолвно стекаются вместе и составляют ополчение. С трех сторон почти в одну минуту три полководца выступают к Альторфу, последующие воинством, слабым в числе, но могущественным неустрашимостию, готовым погибнуть или избавить свою отчизну.

Все стремятся в путь, спешат, и препинаемые в течении своем снегами, потоками, не проложенными еще путями, трепещут, дабы не прийти слишком поздно к сей крепости, к сим грозным стенам, которые надлежит оступить совокупно и низложить вместе с тираном. Но тиран, трепещущий, приведенный в смятение негодованием, замеченным в народе, страшась лишиться своего пленника, принял уже новые меры, из которых одна уничтожила бы все умыслы трех заговорщиков. Геслер, при конце самого дня сего размышляя, что крепость его, пре-

исполненная многочисленною стражею, не заключала в себе довольно жизненных средств для выдержания долговременной осады, страшась не того, как бы не проникли к нему в сие непроницаемое убежище, но того, как бы не пресекли ему сообщения с остатком воинства, рассеянного окрест Люцерна, Геслер повелел предстать пред себя Сарлему, чтобы дать ему новые повеления.

— Друг, — говорит он ему, — я оставляю сие место; ты будешь сражаться в моем отсутствии; оставляю тебе мужественных моих воинов, которые только твоему гласу повиноваться будут. Низкий народ сей, который должен я наказать за его роптание, скоро будет подавлен силами, которых искать хочу. Повели приготовить мне большое судно, в котором бы пятьдесят избраннейших воинов могли ехать со мною в сей вечер. Как скоро ночь покроет небо, ты приведешь в ладью сию дерзновенного Вильгельма, который не утратился восстать на меня; обрени его оковами, окружи его стражами. Я сам буду сопровождать его в крепость замка Кузнаха, что на берегу озера Люзерра. Там, крепче охраняемый, нежели в сем месте, он будет ожидать, покуда я по прибытии моих войск не исторгну в мучениях его жизни, не покажу Швейцарии, коль ужасно раздражать Геслера.

Сарлем, гордясь порученною должностию, спешит повиноваться повелениям губернатора. Скоро судно изготовлено; скоро пятьдесят избранных стрельцов приведены самим Сарлемом к дверям темницы Вильгельмовой. Герой, обремененный тяжкими оковами, которые едва позволяют ему двигаться, отдается под их смотрение; и с пришествием ночи, в молчании влекут его на брег, где Геслер один, переодетый, ожидал его втайне. Геслер повелевает бросить своего пленника в ладью, окружает его стрельцами, садится сам, раздает золото и вино своим солдатам и гребцам и отплывает неприметно.

Ладья летит по волнам; воздух чист, вода спокойна, звезды сияют на небе. Легкий полуденный ветерок помогает усилиям гребцов и укрощает жестокость хлада, который от наступавшей ночи, от времени года и ближних льдов был почти несносен. Все споспешествует Геслеру. Он переплывает первое озеро четырех кантонов, направляет путь к Бруннеку, чтобы пройти через пролив, который должен был ввести его в другое озеро. Тель между тем, обремененный своими оковами, Тель, лежащий посреди стражей своих, узнает на левом берегу уединенные утесы Грютти и сию пещеру, в которой за день еще он помышлял с друзьями своими о свободе Швейцарии. Сие зрелище, сие воспоминание потрясают его мужество. Вильгельм чувствует в очах своих слезы, которых бы он устыдился. Он их удерживает и отвращает взоры, и смотрит на небо, которое, мнится, его оставило. В сию минуту со стороны Аль-

торфа примечает он багровое сияние. Скоро сие сияние увеличивается, и Тель видит большое пламя, поднимающееся со стороны Ури. Сердце его трепещет при сем виде; он не может понять, откуда подан знак сей, которого тайны никому не открывал. Он сомневается, рассматривает; уверяется, что сие пламя на той самой горе, где его хижина; благодарит небо, не зная еще, должен ли почесть сие благодеянием; он не надеется, не думает, что сие происшествие может спасти жизнь его, но оно спасет его отечество, и собственная опасность его забыта.

Геслер и его воины, подобно ему, примечают пламя сие. Они показывают на него с удивлением друг другу; приписывают его какому-нибудь пожару и мало заботятся о несчастье, которое только до врагов их касается. Геслер побуждает гребцов своих; Геслер, нетерпеливо желающий достигнуть своего места, повелевает удвоить усилия. Ладия обращается на запад, проходит через пролив и плывет по глубочайшим волнам опасного Ундервальдского озера¹⁴. Тут вдруг полуденный ветер престаёт благоприятствовать быстрому течению судна. Аквилон и западный ветер бунтуют в воздухе. Один, гоня перед собою бури, воздымает волны, несет их и с свистом раздробляет о колеблющуюся ладью, которая, уступив его ярости, его стремительным ударам, сбивается, несмотря на усилия гребцов, с дороги и, склонясь на бок, несется к берегу. Другой, принося с собою мраз, облака и снег, покрывает небо гробовым мраком, разливает мглу по волнам, поражает пронзительным льдом лица и руки гребцов, принуждает их оставить весла, скрывает от сжатых очей их и самый вид опасности, наполняет ладью льдинами, смешанными с снегом, грозно сопротивляется ее течению и, сражаясь с Аквилоном, который с ним спирается, обращает ее быстро на одном месте, удерживает висящею наверху седых вздымающихся волн, и вдруг, опуская вниз, повергает ее в недра пучины.

Воины бледные, лишённые бодрости, ожидающие близкой смерти, падают на колена и призывают Бога, столь долго ими забытого. Малодушный Геслер, утраченный еще более, ходит взад и вперед в отчаянии и вопрошает гребцов, обещая им все свои сокровища, имеют ли они надежду спасти жизнь его. Гребцы неподвижные, унылые, ответственуют одним молчанием. Слезы, поносные слезы малодушия и слабости в первый раз льются из глаз жестокого Геслера. Он погибает; он ждет смерти; его сокровища, его могущество, его казни, его палачи, ничто не отвратит от него погибели; он плачет, он сожалеет о жизни; он уже не будет упиваться кровию.

Тель, спокойный на своем месте, не столь тронутый воплями солдат, шумом кипящих волн и свистом ветров, сколько зрелищем Грюттийской пещеры, Тель ожидал смерти и мнил только о пользе, какую

отчизна его получит от погибели губернатора. В молчании увеселялся он страхом, воплями и мучениями Геслера, как один из гребцов, обратясь к сему жестокому, сказал: «Мы погibli! Не в силе нашей управлять посреди волн ладьею, уносимою северным ветром, который чрез минуту разобьет ее в щепы об утесы берегов. Один человек, славнейший, искуснейший во всех трех кантонах в управлении ладьею, может только нас избавить от смерти. Сей человек пред тобою: вот он, вот он, обремененный оковами! Избирай, Геслер, избирай, не медля, между погibelью и его свободою». Геслер затрепетал при сих словах. Ненависть его к Вильгельму сражается в низкой душе его с самою любовию к жизни; он колеблется, он не отвечает; но просьбы воинов и гребцов, побуждающих его спасти и свою, и их жизнь, освободив Теля, усиливающаяся буря наконец его склоняют. «Да разорвут оковы его, — говорит он, — я ему прощаю его преступления; я возвращаю ему и жизнь, и свободу, если искусство его приведет нас безвредно в пристань».

Воины и гребцы спешат освободить Вильгельма. Оковы его ниспадают; он встает и, не произнеся ни слова, берет в руки кормило. Вращая по воле своей ладьею, подобно как ребенок, сгибающий в руках своих юную ветку дерева, он сопротивляет нос ее двум борющимся ветрам, которых усилия, таким образом разделенные, содержат ее в равновесии. Наконец, воспользовавшись минутою спокойствия, с быстротою молнии он обращается от носа к корме, содержит ладью в направлении, которое одно только может спасти ее, дает весла двум гребцам, которыми он повелевает, и несмотря на усилия ветров и бури, плывет к проливу, который он опять пройти хочет. Мрак препятствует Геслеру заметить, что он возвращается опять в то место, которое оставил. Вильгельм продолжает путь свой; почти вся ночь проходит, но он уже опять на озере Ури, но он опять замечает умирающее сияние огня, воспаленного на горе Альторфской. Сие сияние служит ему светилом; озеро давно ему известно; он избегает его подводных камней и приближается мало-помалу к берегам Швица; он мыслит о Вернере; он исчисляет, что Вернер уже на пути и что дороги, покрытые снегом, понудят его идти около озера. В слабой сей надежде он плывет, притворяясь, что места, в которые занесла его буря, ему неизвестны, и усиливает тем ужас Геслера и его воинов.

Наконец восток озаряется, и буря начинает утихать с первым лучом Авроры. Рождающийся день показывает Телю утесы, окружающие Альторф прежде, нежели тиран, которого он опасается, успел узнать их. Вильгельм направляет к ним ладью, и она летит быстрее. Геслер, которого зверство возвращается по мере удаления опасности, смотрит на него взором мрачным. Он хочет и не смеет еще обременить его око-

вами. Его воины и гребцы скоро узнают место, в котором они находятся, уведомляют о том губернатора, который, приступя к Телю, вопрошает его грозным голосом, для чего ладья, которою управлял он, плывет опять к Альторфу. Вильгельм, не отвечая ему, устремляет судно прямо к утесу, несколько отдаленному от берегов, поспешною рукою выхватывает стрелу и лук у одного стрельца и, как молния, бросается из ладьи на утес. Он стремится по нем как горная лань, перепрыгивает на другой утес, с которого летит на берег, взбирается немедленно на крутую скалу и является на ее вершине, подобный мощному альпийскому орлу, когда он успокоивается под облаками и быстрыми взорами озирает стада на долинах.

Губернатор, изумленный, восклицает от гнева, от бешенства, немедленно повелевает пристать к берегу и воинам своим отсюда окружить скалу, на которой зрится герой. Ему повинуются; стрельцы уже готовят луки свои. Геслер, который идет посреди их, хочет, чтобы их стрелы все обагрились кровию Вильгельма. Вильгельм не страшится их: он имеет свои намерения; он останавливается; он показывает себя только для того, чтобы привлечь неприятеля; он дает приблизиться сему вооруженному ополчению на такое расстояние, которое бы могла пролететь стрела его; он смотрит, примечает Геслера, кладет стрелу на тетиву, направляет ее прямо в сердце тирана и пускает по воздуху. Стрела летит, свистит и пронзает сердце Геслера. Тиран упадает; черная кровь клубится из рта его; он стонет в бешенстве, злобная душа его излетает с проклятиями. Вильгельм уже исчез; Вильгельм, быстрый, как серна, уже сбежал со скалы, уже летит по льду, пробегает уединенные тропинки и стремится по дороге в Альторф.

Скоро открывает он на снеге следы многочисленных друзей Вернеровых, которые с ним вместе выступили из Швица. Вильгельм следует за ними, бежит, приближается к Альторфу, и гром оружий и смешанные крики издали поражают слух его; он летит, прибегает на площадь. Она полна, она занята тремя ополчениями героев. Вернер, предводительствуя Швицем, желает, чтобы прежде защитили ворота и потом приступили к осаде крепости; Форст, повелевающий Ури, хочет опаснейшего себе места; Мелькталь, последуемый воинами из Ундервальда, потрясает грозно тяжелым топором своим и криком требует осады. Жемми, который уже соединился с ним, Жемми, вооруженный долгим копьём, произносит имя Вильгельма, вопрошает об отце своем всякого воина и издали показывает темницу, в которой, как он думает, заключен Вильгельм. Старый Мелькталь, Клера, Эдме вмешиваются в толпу мужественных ратников, пробегают по рядам и возбуждают их мужество.

Вдруг Вильгельм является посреди трех ополчений; всеобщее восклицание гремит ему навстречу и продолжается в горах; глубокое молчание за ним следует. Все ожидают повелений Теля, все хотят ему одному повиноваться. «Друзья! — восклицает герой, — Геслера нет более: сей лук, сия рука наказала преступника. Тело Геслера, распростертое на берегу озера, окружено низкими его рабами, которых страх уже рассеивает. Нечего опасаться снаружи. Швейцария отмщена, но еще не свободна; она будет в оковах по тех пор, покуда хотя камень останется от сих грозных стен, возвышающихся пред вами. Разрушим их! Они единственная надежда, убежище жестоких австрийцев; пойдем на них совоюпно! Мужественнейшие да идут вперед!»

Он сказал, и схватив левою рукою знамя Ури, а правую топор, летит на гору. Форст с своими стремится за ним; Швиц и Вернер — им следуют; Мелькталь с Ундервальдом уже на половине пути; Жемми подле отца своего. Сарлем их ожидает, Сарлем готовится. Град стрел и камней летит с крепости; осаждающие герои презирают их; стрелы сии не останавливают их течения: они взбираются с луками своими вверх и уже под самыми стенами. Тогда ужасный Сарлем повелевает обрушить с высоты стен громады камней на осаждающих и излить на них растопленную смолу и кипящее масло. Герои трех кантонов поражены, подавлены; огненное масло сожигает их; они умирают посреди несноснейших мучений; раздробленные падшими на них камнями, они наполняют воздух воплем, но самые вопли сии для свободы. Умиравшие, забыв страдания и смерть, поощряют друзей своих, побуждают их попирать свои тела и по ним взбираться на стены. Австрийцы с злобою ругаются над ними. Сарлем, стоящий наверху стены, смеется их безуспешным усилиям; Сарлем воспламеняет своих воинов, и его присутствие и его мужество — сильнейший оплот для осажденных.

Вильгельм, окруженный мертвыми, умирающими, с мужеством взбирается вверх, но вдруг, приведенный в ужас множеством погибающих воинов своих, он останавливается, призывает Мелькталья и, укоряя себя за то, что внимал одному только слепому мужеству, учинив простую осаду, он повелевает ему оставить место сражения, взять с собою избранных воинов и идти осадить крепость с западу, между тем как он сам и Вернер удвоят усилия свои, дабы осажденным не дать приметить сего движения. Мелькталь повинует, Вильгельм и Вернер подают новый знак; громкие крики раздаются, и Сарлем и его сообщники, принужденные отражать новую, сильнейшую осаду, совокупляют все силы свои на защищение себя от Вильгельма. Между тем Мелькталь с своими летит, устремляется к западным, слабо защищаемым вратам крепости. Мелькталь поражает их своею секирою; Мелькталь повелевает прине-

сти факел; ворота пылают, и Мелькталь устремляется, Мелькталь проницает в средину крепости с друзьями своими из Ундервальда. Все уступает, все бежит, все гибнет. Сарлем, отражавший Теля, незапно внимает вопли бегущих, различает восклицания победителей. Он хочет лететь против них, обращается. Мелькталь уже пред ним, Мелькталь, быстрый, как удар Перуна, разит его топором своим, разделяет надвое его голову, и взбежав на стену, простерши руки, восклицает громко: *победа!* Вильгельм соединяется с ним; знамя Ури веет и блестит на ужасной твердыне. Вильгельм, Мелькталь и Вернер, стоящие на куче мертвых тел, поднимают руки к богу побед, приносят ему дань благодарности и отвечают восклицаниям народа, ими избавленного.

Скоро крепость очищается от трупов, которыми она была наполнена; воинства трех кантонов окружают, толпятся вокруг своих вождей, несут их во среду обитателей альторфских, которые стекаются со всех сторон на площадь, дабы узреть своих избавителей, дабы целовать победоносные руки их, дабы их мужеству, их искусству поручить хранение своей свободы. Но Вильгельм знаком требует молчания, Вильгельм говорит к народу: «Граждане! Вы свободны, но драгоценную свободу сию, может быть, труднее сохранить, нежели приобрести: для одного нужно только мужество; для другого добродетели, твердые, неизблемые, неизменяемые. Берегитесь уповаться победою и наиболее слепо обожать тех, которые одержали ее с вами. Вы уже хотите сделать нас вождями своими тогда, когда единственная награда, которой ищу я за свои заслуги, которой жаждет мое сердце, состоит в том, чтобы я опять вступил в сан простого воина, опять сравнялся с вами, сограждане! В обществе мы все полезны; горе тому, кто считает себя нужным! Горе народу, который не накажет его за единую мысль сию!

Совокупитесь, рассмотрите с мудростию свои пользы и ваши новые намерения; да каждый из вас, следуя законам, может мыслить, говорить о том, что он признает полезным для своей отчизны; да свобода сия дастся всякому совершеннолетнему гражданину! Кто любит свое отечество, тот имеет уже право заниматься им, платить ему дань ума своего. Изберите себе ландмана, да древнее имя сие, почтенное для предков наших, будет почтеннее для вас; да управляется он Верховным Советом, да Верховный Совет сей чтит его волю! Покоритесь законам: без них вы ничто! Свобода есть только повиновение мудрым законам. Сохраните чистоту нравов своих: без добродетелей нет свободы.

Я, сограждане, я не хочу, я не требую, не приемлю от вас ничего, кроме священного имени брата вашего. Ожидайте новых сражений; новые воинства пошлет на вас император. Готовьтесь отразить их, уповайте на Всемощного и на свою руку и призовите к свободе другие кан-

тоны Швейцарии. Или надежда обольщает меня, или сердца швейцаров будут отвечать вашему гласу. Тогда своими трудами, своими добродетелями и мужеством положите вы основание республики, которая удивит и приведет в ужас всю Европу. Тогда цари земные будут искать союза с вами и станут почитать себя непобедимыми под защитою швейцаров. Тогда мирное счастье поселится на цветущих долинах ваших, на неприступных утесах, вас ограждающих. Оно исчезнет только тогда, когда вы забудете добродетель».

Так говорил Вильгельм Тель. Народ отвечает ему восклицаниями; народ, не медля, приступает к избранию своих правителей. Тель, Вернер, Мелькталь, вступивши опять в сан простых граждан, получают в награду своих подвигов дубовые венцы и приобщаются к народу, который, в течение двух веков, неодолимо отражал усилия Империи и на победах соорудил колосс своей свободы.

КОНЕЦ

РОЗАЛЬБА

СИЦИЛИЙСКАЯ ПОВЕСТЬ

С тех пор, как начали во Франции философствовать, умствовать, верить только истинному, волшебство потеряло совсем свою силу. Теперь не верят уже ни колдовствам, ни любовным питьям, ни ворожбам, которые были столь славны в древние времена и кои приводили в ужас предков наших. Теперь смеются над теми, кои предсказывают будущее, узнают судьбу человека, ворожат в карты, угадывают все на яичном белке или на кофе; все над этим смеются, но я не смеюсь. Не приводя в пример многих приключений, утвержденных достоверными свидетелями, я вижу всякий день такие происшествия, которые уверяют меня в истине колдовства. Когда два любовника, страсть которых от разлуки, гонений и различных препятствий не только не уменьшается, но еще усиливается, соединятся наконец чрез долговременное постоянство узами брака, вдруг перестав любить, сделаются друг другу неверными, то не колдовство ли тому причиною, что они опять начинают любить друг друга и хранить взаимную верность. Когда безутешная вдова, умирающая почти от горести на гробе супруга и заставляющая всех друзей своих опасаться, что отчаяние лишит ее разума, приходит опять в себя при виде молодого, прекрасного мужчины и, отирая слезы, орошающие лицо ее, отдает своему утешителю драгоценно-

сти, которые милее ему всего, и счастье свое, о котором он мало заботится, то не очевидно ли, что причиною тому какое-нибудь любовное питье. Конечно, и я основываю свое утверждение на многих подобных сему приключениях. В Ишпании, Италии и Сицилии учреждены судища, кои должны строго наказывать колдунов и волшебников; вот новое доказательство, что искусство их не химерное. Этот истинный анекдот, который слышал я от очевидных свидетелей, подтвердит это доказательство.

Розальба родилась в Палерме¹ от знатных и богатых родителей. Счастье благоприятствовало ей, но природа еще более. Она была прекрасна, мила, тиха и умна; была единственная дочь отца своего, который почти боготворил ее. Тщательнейшее воспитание, лучшие учителя раскрыли счастливые дарования *Розальбы*. На четырнадцатом году превосходила она уже красотою всех сицилианок; она читала Расина, Попе, Серванта и даже Геснера², сочиняла стихи, кои не показывала никому, кроме отца своего, и кои нравились не только ему, но и другим, пела песни *Лео*³ восхитительно, и когда аккомпанировала их на арфе, то кардиналы и прелаты, кои знали музыку, утверждали, что и самые ангелы не могут петь лучше *Розальбы*.

С такими прелестями, с такими дарованиями соединяла *Розальба* сто тысяч червонцев ежегодного дохода. По сей причине знатнейшие сицилийские вельможи искали руки ее. Старый граф *Сканзано*, благо-разумный отец ее, знал, что блистательнейшее супружество не всегда бывает счастливо, и для того не старался найти знатного и богатого жениха своей дочери. Он не ласкал никого из молодых людей, приезжавших к нему на балы и концерты и желавших понравиться *Розальбе*, но оставил на ее волю выбрать себе супруга.

Розальба долго была в нерешимости. Она имела нежный, живой, пылкий характер, который составляет отличительное свойство всех сицилианок; она достигла шестнадцати лет, но сердце ее, которое начинало уже чувствовать потребность любить, не говорило еще ни в чью пользу. Однако ж глаза ее отличили от всех обожателей молодого герцога *Кастелламара*. Высокий, тонкий стан, прекрасное лицо, ум, мужество, знатность и молодость давали герцогу преимущество перед своими соперниками, умнейшими, нежели он. Лишившись еще в молодых летах родителей своих, он наслаждался полною свободою, которая и могла извинить заблуждения неопытной юности; да и заблуждения эти были никому неизвестны; и граф *Сканзано*, который сначала был недоволен, что он ищет руки *Розальбы*, лишь только заметил, что он предпочтен, предпочел его и сам всем прочим искателям. Он первый заговорил ей о герцоге; выхвалял его достоинства и последовал

в сем случае обыкновению, которого держался уже давно, чтоб советовать всегда своей дочери только то, что, по его догадкам, нравилось ей более.

Брак был скоро совершен. Граф Сканзано праздновал его великолепными пиршествами. Молодая герцогиня показала во дворце вице-роя⁴ и сделалась лучшим его украшением. Все говорили о ее прелестях; все завидовали участи герцога. Счастливая Розальба проводила время в одних удовольствиях. Будучи молода, прекрасна, богата и обожаема, она надеялась наслаждаться долговременным благополучием. Супруг любил ее; все окружающие старались угодить ей; и отец ее, восхищенный радостью, благодарил небо, обнимал зятя, смотрел на милую дочь свою и уже заранее веселился тем, что при жизни его ничто не нарушит его счастья.

Не прошло еще полгода, как уже и исчезло это счастье. Герцог, обольщенный ложными друзьями, развратителями его юности, предался опять непозволительным удовольствиям, от которых отказался только на короткое время. Он оставил свою супругу для недостойных любовниц. Старался сначала скрывать свое поведение, но скоро, потеряв весь стыд, расточал свои сокровища недостойным предметам минутной своей страсти; он сам рассказывал о своем распутстве и, казалось, гордился еще своим унижением.

Не нужно было, чтоб несчастную Розальбу уведомили о поведении ее супруга те услужливые люди, которым приятно раздирать сердце несчастных, оставленных супруг. Она любила герцога и скоро приметилась его перемену; проливая втайне слезы, скрывала печаль свою от всех людей и старалась обмануть глаза отца своего, боясь ввергнуть его в горесть, которая прекратила бы жизнь его. Притворяясь перед ним веселою, улыбаясь, когда слезы ее задушали, она извиняла частые отлучки герцога, на которые старый граф жаловался; она находила побудительные тому причины; выдумывала разные предлоги, для чего здоровье ее так приметно слабеет. Добрый отец не верил ей, но притворялся, будто верит; он скрывал от нее равномерно свои беспокойства, свои опасения; и они оба, боясь открыть друг другу, что происходило в сердцах их, обманывали себя из пустой чувствительности.

Розальба имела подругу, которая знала все ее тайны. Эта подруга, которую звали Лаурою, была верхней ее служанка. Зная больше госпожи своей о распутстве молодого герцога и не видя ни малой надежды к его исправлению, Лаура старалась многократно истребить или по крайней мере уменьшить страсть герцогини. Она убеждала ее жить для самой себя, для своего отца, для дружбы. Розальба не могла последовать сему совету; потребность любить, приятное удоволь-

ствие согласить должность со страстию, невольная благодарность, которую чувствует невинная девушка к тому, кто научил ее любить — все, все воспламеняло сердце Розальбы; все заставляло ее любить виноватого супруга. Она приписывала себе причину своего несчастья, упрекала себя тем, что думала, будто для постоянной любви довольно одной красоты и любезности; что пренебрегала, с самого брака, те дарования, которые столь мало уважала, но кои пленяют, льстят и больше, нежели постоянство, привязывают любовника, гордящегося ими. Розальба одевалась в лучшее платье; нашла тайну умножать свои прелести; стала опять играть на арфе и петь прекрасные Тассовы стихи, где Армида призывает Рено⁵. Отец, слушая ее, проливал слезы. Но все ее усилия были тщетны: ни ее кротость, терпение, ни ее нежная заботливость, ничто не тронуло ее супруга. Предавшись постыдным заблуждениям, проводя дни и ночи вне своего дома, в отдалении от герцогини, он очень редко видал ее и даже с неудовольствием слушал, когда другие рассказывали ему, до какой степени совершенства довела она очаровательные свои дарования, надеясь пленить его ими.

Розальба, доведенная, наконец, до отчаяния, желала смерти, и Лаура стала опасаться, чтоб горесть не прекратила жизни ее. «Любезная Розальба, — говорила она ей однажды, — когда вы не можете истребить пагубной страсти, ведущей вас ко гробу, когда для возвращения неблагодарного истощили вы уже все, что любовь имеет убедительного, то надобно прибегнуть к другим средствам. Я знаю старую жидовку, которая живет в Палерме не более двух лет и славится своим колдовством, особливо ж любовными питиями, которые она приготовляет. Мнимые наши умники смеются над ее чудесами и не верят им; но я, благодаря Бога, верю всему и не сомневаюсь в том, что сама видела. Вы сами помните молодую Лизету, у которой прошедшей зимой покупали флер и которой так много интересовались. Она была столь же умна, как и прекрасна; она жила у сестры моей, которая мне тысячу раз твердила, что лучше этой девушки нет у них в соседстве. Один молодой господин увидел ее в церкви и осмелился говорить ей о любви. Лизета не слушала его, не читала его писем и убегала встречи с ним. Огорченный любовник прибегнул к старой жидовке, открыл ей свою горесть и принес богатый подарок. Колдунья дала ему небольшую зеленую восковую свечу и велела зажигать ее в то время, когда он пожелает видеть предмет любви своей. Не знаю, зажигал ли он зеленую свечу в ту самую ночь, но знаю только то, что Лизета ходит с того времени одна, каждую ночь, к своему любовнику и возвращается от него уже на рассвете. Сестра моя, узнавши об этом, хотела сделать ей выговор, но бедная Лизета тронула ее, рассказавши ей чистосердечно, что лишь только

заснет она, то тотчас встает с постели, одевается чрезъестественною силою, выходит против воли из дому и находит молодого господина, которого совсем не любит. “У него, — говорила она, — горит восковая свеча, которая никогда не уменьшается и на самом рассвете погасает с шумом. Тогда вижу я свое заблуждение, выхожу из страшного очарования и возвращаюсь домой вся в слезах”».

По этому справедливому приключению можете вы судить, любезная Розальба, о силе колдовства этой жидовки. Зачем не посоветоваться с нею? Если вы хотите, чтоб вас не узнали, то наденьте мое платье; если вы боитесь идти к ней, то я приведу к вам ее”.

Герцогиня слушала Лауру с горестною улыбкою, отвергнула ее совет и не хотела употребить средства, которого рассудок ее не одобрял. Но в любви рассудок молчит. Сердце одобряет все средства, чрез которые можно поправиться. Розальба думала о жидовке. Пылкое ее воображение воспламенялось еще более любовью. Будучи чувствительна, она сделалась легковерною и впала в суеверие, которое есть порок, свойственный всем сицилианкам. Она потеряла всю надежду; Лаура рассказывала ей каждый день новое чудо колдуньи. Розальба, решившись наконец, послала Лауру за нею.

Старуха ходила только ночью. Ее привели тихонько в потаенную комнату, освещенную несколькими восковыми свечами. Герцогиня приходит тотчас к ней, сопровождаемая Лаурою, и чувствует трепет в сердце, увидя маленькую женщину, опершуюся на клюку из черного терновника и одетую в красное платье с желтым поясом. Старый капор на голове, которая тряслась беспрестанно, скрывал остаток седых волос ее; остроконечная кость, покрытая сухою кожею, которая служила ей некогда носом, соединялась с другою такою же костью, которая была подбородком. Сверкающие красные глаза окружены были белыми ресницами, а две морщиноватые впадины показывали место, где были щеки ее.

Герцогиня, пришед в себя, посадила колдунью и, не скрывая ничего, говорила, проливая слезы: «Я обожаю своего супруга; он любил меня; так, я уверена, что он любил меня! Теперь оставил он меня для подлых, недостойных любовниц; если вы можете возвратить его мне, можете сделать его таким же, каким он был в дни моего счастья, то мое золото, мои драгоценные камни — все, все вам принадлежит».

Колдунья наклонила голову, нахмурила брови и потеряла свой лоб сухою рукою. Помолчав с минуту, отвечала она охриплым голосом: «Милостивая государыня! У меня есть любовные питья, которые очень действительны над любовниками, но не над супругами. Последней зимою была я призвана к молодой княгине, которая находилась в

вашем положении. Супруг ее был влюблен в старую, безобразную римскую певицу. Тщетно употребляла я два любовных питья. Дивясь, что они не имели никакого успеха, сомневалась я, чтобы певица была колдунья и умела делать недействительным мое колдовство. Подстрекаемая честолюбием, которое ободряет дарования, вошла я тихонько в дом к певице и пробралась даже на чердак. Он заперт был тремя дверьми; вы знаете, что я не имею нужды в ключах, чтоб отпереть всякие двери. Вошедши в него, нашла я то, что делало недействительными мои любовные питья. Я увидела прекрасного петуха, прикованного за шею, крылья и ноги. Глаза его были закрыты вареною кожею, которая препятствовала ему видеть свет. Я засмеялась, схватила петуха, сорвала с глаз его кожу и возвратилась домой, твердо будучи уверена, что теперь исполнятся все мои желания. И подлинно, в ту же самую минуту, как петух стал видеть, супруг молодой княгини оставил певицу. Он увидел, что она была безобразна, стара, зла и вероломна, а супруга его, напротив, прекрасна, молода, верна и прелестна, и стал любить ее более, нежели когда-нибудь.

Но помочь вам еще труднее. Почти все женщины не любимы своими мужьями. Мое колдовство недостаточно, чтобы сделать их всех счастливыми; но я знаю одну ужасную тайну, и если б достала волосы, отрезанные вами у преступника, умершего на виселице, то непременно заставила бы супруга вашего любить вас во всю жизнь».

Герцогиня при сих словах затрепетала и отпустила от себя колдунью; но лишь только вышла она из дверей, как Лаура и воротила ее опять назад. Отчаянная Розальба предлагала ей богатейшие подарки, просила ее неотступно найти другое средство; но, видя непреклонность жидовки, которая утверждала, что только одно это средство может возвратить ей любовь супруга, решилась наконец и спросила ее, каким образом может она достать эти ужасные волосы.

— Послушайте, — говорила ей колдунья. — За полмили от Палермы, на Корлионской дороге, находится небольшая часовня, окруженная глубоким рвом; деревянный мост ведет к часовне, вокруг которой сделан из камней подмосток шириною в полфута. Над ними висят на стене тела преступников, судимых в Палермо. Они остаются там до тех пор, пока не упадут в ров, который служит им гробом. Если вы имеете столько мужества или любви, чтоб идти к часовне, одной, ночью, стать на подмосток и отрезать левою рукою волосы у первого трупа, который вам попадется, то я отвечаю за прочее. Но непременно должны вы идти одни и в самую полночь.

Розальба, подумав несколько минут, схватила руку старой жидовки и сказала ей: «Я иду».

Одиннадцать часов било; Розальба решилась тотчас исполнить свое намерение. Она велит подать себе мантилью. Лаура, подавая ее, трепещет. Она берет потаенный фонарь, ножницы и кинжал; велит колдунье дожидаться ее; запрещает Лауре следовать за ней и через сад выходит за город на Корлионскую дорогу; идет одна, по полю, твердыми и скорыми шагами, не думая ни о чем, кроме своего супруга.

Она приходит и видит часовню... Трепет объемлет ее; но, не останавливаясь, ищет с фонарем проходу на деревянный мост; переходит его, приближается к подмостку и рассматривает его при слабом свете фонаря. Подмосток имел полфута ширины и был покат ко рву. Герцогиня обертывает фонарь и бросает взор на глубокую пропасть, наполненную костями человеческими.

Трепещущая Розальба ободряется, становится одной ногой на узкий подмосток, становится потом и другой, старается схватиться рукой за что-нибудь... Находит ногу одного из висящих трупов; схватывает, держится за нее, берет фонарь из левой руки в правую, вынимает ножницы, становится на носки дрожащих своих ног и силится достать голову преступника, чтоб отрезать волосы, которые ей были нужны.

В самую сию минуту ехала по большой дороге коляска в шесть лошадей. В ней сидел молодой человек, который вез двух певиц в загородный свой дом; он видит с дороги бледный свет фонаря и женщину, которая, казалось, хотела снять труп одного из несчастных. Объятый страхом и ужасом молодой человек почитает ее за колдунью, которая имела в виду что-нибудь худое. Он велит остановиться, выходит из коляски, идет и, будучи суеверен, кричит страшным голосом: «Безбожная колдунья! Оставь в покое мертвых или страшись живых; трепещи, я сей час вырву у тебя страшную добычу и предам тебя инквизиции».

Что почувствовала герцогиня при сих словах! Это был ее супруг. В бесчувствии, в ужасе роняет она фонарь, который упадает, катится и погасает. Несчастливая Розальба не может сойти с места, трепещет, едва дышит и чувствует, что силы ее оставляют.

Герцог усугубляет свои угрозы, он проходит уже мост. Розальба, почти умирающая, говорит ему: «Удержитесь, удержитесь! Я не преступница; Бог и сердце мое тому свидетели. Не оскорбляйте несчастную, которая заслуживает сожаления. Не подходите ко мне, если не хотите, чтоб я сию же минуту бросилась в эту пропасть».

По сим словам, по сему голосу герцог узнает свою супругу. Он кричит, бросается к ней, называет ее по имени, просит ее подождать его, ободриться; просит именем любви, которая родилась в его душе при виде Розальбиной опасности. Он подходит наконец к ней, схватывает

ее, заключает в свои объятия, несет в коляску, велит выйти из нее певицам, летит с нею в город, вне себя от ужаса и изумления, и приезжает в свой дом, прежде нежели герцогиня, лежащая все это время в обмороке, могла прийти в себя.

Лаура, увидя госпожу, лишенную чувств, в объятиях ее супруга, наполняет воздух горестными криками. Она спешит к ней на помощь, приводит ее в чувство, между тем как изумленный герцог не верит тому, что видел, хочет догадаться, что это значит, и просит, чтоб ему растолковали. Старуха с почтительною важностию говорит ему:

— Жестокий и нечувствительный человек! Бросьтесь к ногам Розальбы и обожайте в ней беспримерный образец верных и великолепных супругов. Никакой любовник, никакой супруг не видал живейшего, убедительнейшего доказательства любви, какое сделано теперь для вас. Узнай, неблагодарный! Узнай, на что отважилась для тебя Розальба; терзайся совестью, что ты принудил ее к тому, и употреби всю жизнь свою на то, чтоб исполнить те обязанности, кои одна эта минута на тебя налагает.

Жидовка рассказывает потом разговор свой с герцогинею и ужасный опыт, который она от нее требовала. Герцог, не дослушав ее, бросается к ногам своей супруги, проливает слезы удивления, любви, раскаяния; клянется загладить вечным постоянством заблуждения свои, которыми теперь гнушается; просит у нее в них прощения и признается, что не достоин ее. Чувствительная Розальба поднимает его с горестною улыбкою, прижимает к своему сердцу и орошает лицо его радостными слезами. Супруги благодарят себя взаимно за счастье, которым обязаны друг другу.

С сей минуты молодой Каstellамар, оставив ложных друзей, которые не могли совсем развратить его, стал наслаждаться счастьем, которое ему прежде было неизвестно и которое доставляет добродетель, чистейшая любовь и душевное спокойствие. Каstellамар, любимый Розальбою, восхищался ею, любил ее страстно; жизнь его текла в радостях и удовольствиях посреди добродетельной супруги, посреди милых детей и старого графа Сканзано. Жидовка, награжденная герцогинею щедро, оставила по совету ее опасное свое ремесло и после признавалась, что, предлагая Розальбе идти к часовне, она знала, что герцог каждый вечер ездит мимо нее. Она предугадала следствия этого приключения; но это не умаляет славы ее и не заставит нас не верить ворожеям и колдуньям.

ВАДИМ НОВОГОРОДСКИЙ*

Безмолвные дубравы, тихие долины, обители меланхолии! К вам стремлюсь душою, певец природы, незнаемый славою! Сокройте меня, сокройте! Радости мира не прельщают моего сердца! Радости мира тленны; быстры, как тени облака, носимого вихрем! Под кровом неизвестным, на лоне природы, пускай расцветет и увянет жизнь моя! Гордый и славный не посетят моей хижины; взор их отвратится с презрением от скромной обители пустытника; но бедный и гонимый роком приблизится к ней с тихим восторгом благодарности; но сирота забвенный благословит ее; но добрый, чувствительный мечтатель, друг мира и добродетели, найдет в ней счастье, неизвестное гордым и славным. Благословляю тебя, жилище спокойствия и свободы! Теките мирно, дни моей жизни! Да грозная буря не помрачит вас; будьте ясны, как чистое небо в красоте весенней; цветы веселие по следам вашим; ваши следы да не будут ужасны, как следы льва разъяренного на песках пустынной Сары!¹

Божество сердец непорочных, уединение! Да осенят меня твои кипарисы! Задумчивый мрак их да погрузит мою душу в меланхолию! Здесь, на бреге реки, медленно льющейся и шумящей, воздвигну тебе алтарь из дерна и в часы торжественного безмолвия природы буду мечтать о жизни, смотря на тихие волны, угасающие с вечерним солнцем. Здесь моя скромная муза робко будет звучать на лире, обвитой цветами, посвященной свободе и добродетели. Здесь воображение будет воспалять мою душу, и ночь в угрюмом величии неприметно пролетать над главою моею! Здесь радостный образ мирного счастья пленит меня своим призраком, и пепел протекших радостей оживится моими слезами сладкими, посвященными воспоминанию²; и тени сокрытых во гробе, услышав мой голос, их призывающий, покинут безмолвные жилища праха, соединятся со мною оставленным и будут спутниками, друзьями души моей в уединенном странствии.

О ты, незабвенный! Ты, увядший в цвете лет, как увядает лилия, прелестная, благовонная! Где следы твои в сем мире? Жизнь твоя улетела, как туман утренний, озлащенный сиянием солнца. Ах! Где оби-

* Молодой автор этой пьесы и мой приятель, г. Жуковский, известен читателям «Вестника» по Греевой элегии, им переведенной. — К(арамзин Н. М. — Ф. К.).

тает бессмертная, преображенная душа твоя? Куда унесен ты смертию неизъяснимою? Где, где искать тебя? Восхищенный, счастливый тобою, обнимал я одну тень минутную. Руки мои не опустились еще, а тебя нет; и уже гроб твой, безмолвный, непроницаемый, передо мною! Священная тайна Провидения! Чье око дерзнет в сию бездну? Смертный исчезает во мраке! Ему ли вступить во святилище бесконечного? Ему ли вопрошать неизъяснимого? Но горесть, сия жестокая, сия непреклонная, вырывает стоны из слабого сердца! Да не оскорбится милосердие беспредельное: вся душа моя устремлена к сему невозвратному, навсегда улетевшему счастью! Ах! Где сие время наслаждений мирных и безмятежных? Куда девалось сердце, которое любило меня любовью чистейшею, мучилось моим страданием, восхищалось моим блаженством? Где мой товарищ на пути неизвестном? Где друг мой, с которым я шел рука в руку, без робости, без трепета, с беспечным, веселым спокойствием? ... Все исчезло! Никогда, никогда не встретимся в сем мире. О друг мой! Ты не усыплешь цветами уединенного пути моего; твой милый голос не прольет отрады в мою душу. Вотще потусклые взоры мои будут искать тебя в минуту страшную, когда смерть повлечет меня ко гробу; вотще буду простираť холодную руку, чтобы в последний раз ощутить биение твоего сердца: тебя не будет! Не примешь моего вздоха, не отпустишь меня с миром — ты упредил меня, счастливец! Рука утешительной дружбы закрыла глаза твои; рука нежная благословила тебя охладевшего и бесчувственного. А я, несчастный, я, разлученный с тобою, в решительный час сей — не слышал твоих стонов, не облегчил борения твоего с смертию; не зрел, как посыпалась земля на безвременный гроб твой и навеки тебя сокрыла! Покойся, милый, священный пепел! Неужели рука Провидения, милосердая, благодатная, могла угасить навеки светило души прелестной? Ах, нет! Пускай отец и друзья терзаются над гробом нечувствительным; пускай умоляют его возвратить свою добычу! Тень веселая и мирная! Ты наслаждайся беспримесным блаженством; носись невидимо над нами; простирай к нам руки с высоты эфира... мы твои, твои несомненно!

В сей тихой обители сокровится жизнь моя; в сей тихой обители воздвигну памятник тебе незабвенному. Я не зрел твоей могилы; в отдаленном краю осыпает ее весна цветами — но тень твоя надо мною; она собеседница безмолвных часов моих, незримый хранитель моего сердца! Так! В ее священном присутствии, прахом твоим любезным, драгоценным остатком милой жизни, клянусь быть другом добродетели³. Грозным и разъяренным да узрю тебя пред собою, если порок услышит хвалу мою, и гордый возвеселится моим унижением. Тихая муза моя непорочна, как сама природа: не бросит цветов на стезю недо-

стойного; в венце из роз и ветвей дубовых она скитается по тихим дубравам и с томным журчанием потоков соединяет свои песни⁴ простые, нестройные.

Тебе, увядший на заре прелестной, тебе посвящает она первый звук своей лиры*! Тихий месяц таится в дыме облаков прозрачных. Река шумит. Все покойно! Задумавшись, опирается муза на камень, обросший мохом, и легкою рукою играет на лире. Я пою: эхо раздается; рощи, одетые мраком, пробуждаются, и робкая лань трепещет на бреге реки, невидимо журчащей в кустарнике.

КНИГА ПЕРВАЯ

Оживись, пепел протекшего! Тени героев и великих, восстаньте из гробовых развалин! Явитесь, явитесь при блеске месяца в грозном величии! Дерзаю петь вашу славу; дерзаю сыпать цветы на мшистые камни могил ваших.

Осенний вечер ниспускался на землю. Солнце среди разорванных туч катилось в шумящее озеро Ладоги. На древней вершине черного бора сиял последний луч его. Ветер выл; озеро вздымалось; мрачные облака летели; седые туманы дымились.

На скате скалы, заросшей кустарником и глубоко вдавшейся в странное озеро, стояла хижина; дым вылетал из трубы и разносился бурным ветром. На пороге уединенной хижины сидел старец. Потусклый взор его неподвижно устремился на волны; задумчиво склонял он голову, как лунь седую, на правую руку, опирающуюся на колено; в левой держал арфу; борода его и длинные волосы, всклокоченные ветром, развевались. Часто во взорах его мелькало быстрое пламя, и лицо мрачное являлось грозным и ужасным; часто глубокие вздохи теснили грудь его, лицо опять омрачалось, и взоры снова потухали — он ударил по струнам арфы — сильный, величественный звук раздался — струны затрепетали — долго слышалось их томное, умирающее звучание — утихли — пустынный вздохнул, посмотрел на вечернее сумрачное небо, на арфу; вздохнул опять — заиграл и запел:

«Шумите, шумите, осенние ветры, чада угрюмого Позвизда!** Обнажайтесь, холмы, обнажайтесь, дубравы! Подымайся, лист иссохший,

* Сия трогательная дань горестной дружбы принесена автором памяти Андрея Ивановича Тургенева, недавно умершего молодого человека редких достоинств. — К.

** Борей славянский.

столбом с долины! Стелитесь, густые туманы! Улети, сокройся, веселое лето, как улетело и скрылось мое счастье! Давно белеет зима на главе слабого старца; давно исчезла крепость его мышцы, и охладевшая кровь не волнуется. Нет мирной тени под дубом, разбитым стрелою Перуна⁵; нет жизни и радости в моем сердце, увядшем, как лист осенний!

Пронеслось оно — пронеслось и сокрылось мое счастье. Слава дней моих улетела, как дым, унесенный ветром. Где вы, любимцы души моей, чада мужества и брани? Рассеяны по лицу земному или в могилах покоитесь! Ах! Блаженны почившие сном безмятежным: обитель их тиха и безмолвна, как час полуночи в долине уединенной. Мир вам, сыны праха!

Но горе, горе мне, страннику! Одни ветры пустынные, одни волны шумящие со мною беседуют. Сокрылись любимцы души моей — сокрылись, как ясные дни лета. Меч мой и палица закоснели в праздности; пыль на щите моем и шлеме. Угасаю, как заря на западе, как уголь истлевающий!

А ты, моя отчизна! Ты, незабвенная и в дикой пустыне, и на краю гроба! Куда девалось твоё величие? Почто утратился блеск твоей славы? Печаль, как туман, покрывает тебя своим мраком. Не вижу храбрых сынов твоих: пали могущие или сокрылись. Иноплеменники ругаются над твоим бессилием; иноплеменники терзают тебя, как волки хищные свою добычу. К тебе, обожаемая, к тебе летят мои вздохи. По тебе унываю; но кто услышит мои стенания? Кто прольет отраду в иссохшее сердце?

Посреди скал уединенных и бесплодных увяну в горестном одиночестве; земля не покроет костей моих; друг славы не посетит моей могилы. Набежит горный ветер, и прах мой рассеется; пропадут следы мои, как лучи вечерние на облаках летящих!..»

Старец замолчал; звуки арфы его исчезли в просторном воздухе — мрак всюду царствовал, и озеро невидимо шумело. Долго, уныло задумавшись, сидел пустынный и слушал свисты ветра; наконец встал и ушел в хижину. Яркий огонь, пылавший на очаге, освещал ее стены, почерневшие от дыму, и багровое сияние проливалось сквозь узкое окно и отверстия худой двери на мрачную зелень и кустарники, со всех сторон окружавшие хижину. Старец повесил арфу на стену, подле доспехов военных — щита, панциря, меча и шлема⁶, покрытых ржавчиною и паутиною, придвинул к огню сосновый отрубок, служивший ему стулом, сел и начал греть свои руки. Дым волновался, как пар, и выходил в узкое отверстие, на середине потолка оставленное. Старец был задумчив, мрачен; молчание царствовало в хижине; только изредка прерывалось оно шумом ветра и печальным криком сверчка. Вдруг слышался шорох — дверь застучала. «Впустите странника, потерявшего

дорогу!» — сказал голос. Вся внутренность старца содрогнулась: язык незабвенной, язык милой родины поразил слух его, долго внимавший одним волнам и ветрам. Со всею живостию молодых лет он бросился к двери, оттолкнул ее — и незнакомый юноша, прелестный, как Дагода, величественный, как Световид, с луком в руке⁷, с колчаном за спиною, представился его взорам*. Изумленный, долго не мог он произнести ни одного слова и быстрыми глазами смотрел на пришельца. «Позволь, добрый пустынный, — сказал юноша таким голосом, от которого запылала вся душа старца, — позволь провести ночь в твоей хижине. Я заблудился; на дворе темно и холодно». — «Благословляю приход твой, незнакомец! Войди, согрейся. Никогда еще голос человека не веселил меня в сей дикой пустыне. Давно сердце мое не трогалось разговором дружелюбным. Благословляю тебя, странник! Прижмись к моей груди». Молодой незнакомец кинулся обнимать его с таким живым, искренним чувством, что пустынный на минуту забылся — вообразил себя в объятиях милого сына. «Сядь к огню, добрый юноша! — сказал он. — Мой ужин прост и невкусен, постель жестка и беспокойна; но ты устал и голоден» — и юноша, ослабив тетиву своего лука и сняв с плеч колчан, туго набитый стрелами, сел подле очага, на котором блестящее пламя развевалось и дрова трещали. Старик между тем приготовил простой ужин, из плодов лесных и сушеной рыбы составленный; разостлал на полу медвежью кожу и сказал своему посетителю: «Вот все, чем богата моя хижина. Утоли свой голод и успокойся». Незнакомец поблагодарил гостеприимного пустынного, насытился, пожелал ему доброй ночи, и бросясь на медвежью кожу, скоро заснул глубоким сном.

Старик сидел, задумавшись над спящим незнакомцем; душа его была в волнении; сладкие, долго молчавшие струны в ней оживились. Очарованный взор его не мог отвлечься от сонного полубога, небрежно перед ним простертого. Сие лицо выразительное, запечатленное добродушием; сей взгляд быстрый, пылающий; темно-русые волосы, мягкие, как шелк, и кудрями по плечам рассыпанные; величественный стан; высокая, белая грудь; нежный и мужественный голос — все вместе производило неизъяснимое действие над сердцем пустынного. Темное воспоминание минувшего погружало его в тихую меланхолию; казалось, что вся протекшая слава, все протекшие радости и горести заключены были в одном очаровательном образе, в образе незнакомца, который так безмятежно покоился. Он пожирал его глазами; сердце его трепетало, и слезы градом катились. Время быстро

* Дагода — Зефир, Световид — бог света и брани, которому поклонялись славяне острова Рюгена.

и неприметно мчалось. Огонь на очаге погас, мерцали одни уголья и бледным, трепещущим блистанием озаряли мрачную хижинку — то гасли, то опять оживлялись; наконец все исчезло; глубокая тьма и безмолвие воцарились, и погруженный в мысли старец ничего не чувствовал: душа его летала над безднами протекшего. Вдруг мелькнула заря: он опомнился, осмотрелся — незнакомец еще спал, но утро уже цвело на восточном небе, и ночь стремилась к западу.

Он вышел из хижины — все блистало, все было великолепно. Не осталось ни одного следа ночной непогоды. Утихшее озеро алело; берега, озаренные и спокойные, изображались в нем, как в зеркале, и трепетали, как скоро мгновенный ветерок пролетал над тихой водою и к ней прикасался. На востоке парило солнце; голубые отдаленные леса, возвышаясь один над другим, подобно огромному, необозримому амфитеатру, были покрыты светлым, прозрачным туманом.

Смирною, обновленную душою стоял пустынный на утесе и безмолвно восхищался великолепным зрелищем. Изумленный, растроганный, он долго искал причины сей непонятной радости, которая так быстро пролилась в его сердце, — искал напрасно. Сей незнакомый, величественный странник своим явлением очаровал все предметы, перед ним рассеянные; чувство нового, сильного бытия пробудилось в нем и пылало.

Наконец отворилась дверь хижины — полубог явился, оживленный, украшенный мирным спокойствием. Юношеское пламя играло на щеках его; смятые, густые волосы вились и развивались; на быстрых глазах его мелькали еще легкие оттенки сна... Он подошел к пустыннику с оным ясным, пленяющим взором, который потрясает сердце, и подал ему руку. Они обнялись; пожелали друг другу приятного утра. «Сон твой был сладок и спокоен, молодой незнакомец, — сказал пустынный, — живость и свежесть блистают на лице твоём. Я внутренно веселился, когда ты спал — так тихо и беспечно. Печаль и заботы неизвестны твоём сердцу. Завидная участь! А я, пустынный обитатель утесов, я в первый раз еще вижу красное утро в сем безмолвном уединении. Семь лет, продолжительных и мрачных, сокрылись, не оставив ни одного следа радости в душе моей. Приход твой, странник, оживил ее, как луч весенний иссохшее дерево. Давно, давно я не был так счастлив, так весел!»

Юноша, который совсем уже изготовился в путь, опершись на лук свой, пристально смотрел на старца, и нежное сострадание в глазах его блистало. «Ты ошибся, пустынный, — сказал он, — и мне достался мой удел печали; молодость не защитила меня от горя; пасмурно утро моей жизни! Так же, как и ты, скрываюсь в пустыне; как и ты, оставлен я миром! Уединенный гроб отца, изгнанника, убитого печалью, составляет все мое богатство. Не зови меня счастливецом; не завидуй моему счастью...»

«Но кто ты, неизъяснимый?» — воскликнул пустынный с видимым беспокойством. — «Я — Вадим...»

«Вадим? О Перун!.. Вадим!» — «Разве ты меня знаешь?» — «Мне не знать тебя? Сердце мое не обманулось — не обманулось! — повторял старец, прижимая ко груди молодого человека и смотря ему в глаза с восторгом, — теперь понимаю, от чего такая радость, такое волнение в душе моей; от чего во всю ночь глаза мои не смыкались. Ты, несчастный! Ты в моей хижине, в моих объятиях! Но знаешь ли, кто перед тобою? Знаешь ли, кто дал тебе пристанище? Кто утолил твой голод, тебя успокоил?.. Гостомысл!»⁸

Вадим содрогнулся. «Ты Гостомысл!» — воскликнул он, упав на колена. «Ты Гостомысл! — повторил он, рыдая и прижав лицо к ногам пустытника, — о жребий человеческий!»

Несколько минут продолжилось унылое молчание. Старец, прижав ко груди Вадима, осыпал поцелуями лицо его. «Так, юноша! — говорил он. — Гостомысл перед тобою! Славянский вождь, убогий, оставленный, покрытый рубищем, перед тобою! Обними меня, обними, как сын отца обнимает. Твой образ оживил мою душу. Тайное предчувствие потрясло ее, когда ты вошел в мою хижину, когда устремил на меня взоры. Ах! Мне казалось, что сам Радегаст, товарищ моей славы, отец твой, со всем очарованием юных лет и красоты цветущей, стоял передо мною! Мечта не обманула меня. Это Вадим — живой, украшенный образ героя, любимца души моей!»

Вадим, безмолвный и горестный, мрачными глазами смотрел на пустытника. Сердце его разрывалось. Образ сего человека, пораженного роком, но величественного на самых развалинах величия, приводил его в трепет. «Ты Гостомысл, — повторял он, — ты друг отца моего? В сей пустыне, в сем бедном рубище?» И слезы его катились градом, и пламенные уста невольно прижимались к руке старца... «Успокойся, Вадим! Успокойся, сын мой! Тебе ли проливать слезы? Меня ли оплакивать? Вадим! Пощади Гостомысла! Твое сожаление да не оскорбит его! Кто выше бед и несчастий, тот может ли быть жалок? Скажи, что ужаснет мою душу в сей дикой пустыне, где узы ее все разорваны и где самая слава для нее не существует? О сын мой! Уже нет будущего в моей жизни: оно исчезло; желания, надежды не волнуют моего сердца, но память протекшего для меня священна; ему иногда посвящаю горестные вздохи. Погибшая слава, отчизна горестная и вы, сокрывшиеся друзья мои, по вас унываю, по вас льются мои слезы, и по вас терзаюсь сердцем. Но дам ли пасть моему духу? Погибнет ли мое мужество? Нет, Вадим! Нет, друг мой! Среди утесов я свободен; среди утесов не знаю властелина: кто дерзнет пожалеть о судьбе моей?»

Священный ужас таился в груди Вадима, и взор его неподвижно покоился на лице старца, которое пылало. В сию минуту Гостомысл, под рубищем пустынного, под седидами лет, казался божественным и грозным.

«Сядем, — продолжал старец, — сядем на сей гранитный отломок. Утро ясно и тихо: посвятим его сладким воспоминаниям. Вадим! Говори мне об отце твоём!.. Где покоится прах великого Радегаста? В какой стране потухла жизнь его, славная и несчастная? Каким случаем заведен ты в сию пустыню?»

«Ах! — сказал Вадим, устремив задумчивый взор на южный берег Ладожского озера, — давно покрыты землею кости отца моего. Тихая могила Радегаста заросла травой и скрыта от взоров человеческих. Там, на сей высокой горе, окруженной соснами, опеняемой шумящим озером, жил и угас старец, изгнанник, герой славянский! Мрачен и печален был вечер его жизни. С веселым сердцем он встретил кончину...»

«Благословляю тебя, могила моего друга!» — воскликнул Гостомысл, поднявшись с гранита и простерши руки в ту сторону, где находился гроб Радегастов. Быстрый, чувствительный Вадим бросился на колена, и слезы его на прах покатались. Пролетела минута священной горести. Пустынный прижал ко груди пылкого юношу; они сели опять на камень, и Вадим продолжал:

«Там гниет опустевшая хижина Радегастова. Старец, лишенный отчизны, лишенный сил телесных и, наконец, зрения, совершал путь свой, не слабея духом. Протекли пять лет, и ни одна жалоба не вырвалась из души его. Три года тому, как земля приняла в свое лоно сего странника, бедами не побежденного. Рука моя закрыла померкшие глаза Радегаста; рука моя украсила дерном священную его могилу. — Мирный сон безмолвному праху!» — Вадим умолк, снова отер слезы, блеснувшие на щеках его, и потом продолжал:

«Будучи двенадцатилетним младенцем, я скрылся в пустыню с отцом моим. Там, где шумящий Волхов с пеною ввергается в озеро и в нем исчезает, на крутой горе, во мраке сосн, построили мы хижину. С трудом питала нас рыбная ловля. Радегастов меч, некогда врагам ужасный, рубил дрова; на щите раскладывали огонь, а в шлеме варили пищу; время текло, и силы мои развивались. Я стрелял из лука, прежде в цель, потом в птиц, а наконец мои стрелы, меткою, сильною рукою пускаемые, сделались гибельны для зверей свирепых. Редко без добычи возвращался я к отцу моему слабому, отягченному болезнью и летами.

Он угасал неприметно, угасал, как ясный вечер на тихом небе угасает. Наконец глаза его померкли. Я перестал удаляться от хижины, покинул свой лук и стрелы, оставил охоту и посвятил все время своему

немощному старцу. Пример человека, непоколебимого и твердого среди волнений жизни; слова его, убедительные и сильные, образовали мое сердце: я трепетал и хватался за меч, когда отец мой со всею живостию пылкого юноши говорил о славе, о подвигах славян храбрых; изображал их великодушие, их верность в дружбе, святое почтение к обетам и клятвам. Душа моя пламенела; в восторге я падал к ногам Радегаста и орошал их кипящими слезами... О, если бы ты мог видеть слепого воина, простирающего руки к шумящему Волхову — благословляющего ту землю, из которой изгнали его неблагодарные!

Часто, согретый, оживленный лучами солнца, он летал мыслью в протекшее; думал о тебе, Гостомысл, и восхищал мою душу пленительным изображением твоих доблестей. Я боготворил тебя в пустыне. Образ великого вождя славян соединился в моем сердце со всеми совершенствами человека. Воображая Гостомысла, я воображал Перуна в его могуществе и блеске».

Тут невольный вздох вылетел из груди пустытника. Лицо его изменилось и взоры, печально устремленные в землю, померкли. Вадим продолжал:

«Время текло, дни исчезали. Радегаст сокрылся из моих объятий. Далеко от взоров человеческих цветет его могила. Мрак и спокойствие над нею; сон почившего безмятежен.

Долго в тоске сердечной я плакал над мирным гробом. Глыба земли, покрывшая нечувствительный пепел, казалась мне оживленною; вечер и утро находили меня в горести. Пустота хижины меня ужасала, безмолвие леса приводило в трепет; но я не мог с ними расстаться, не мог покинуть того места, в котором все говорило мне о незабвенном. Тень его носилась надо мною; таинственное молчание ночи возвещало ее присутствие. В шорохе листьев, потрясаемых ветром, я слышал голос знакомый, трогаящий сердце: изображение оживляло передо мною все предметы.

Прошел год, прошел другой: ничто не возмутило моей пустынной жизни. Мой лук и стрелы ужасали зверей; опасности меня веселили. Превозмогать трудности, взбираться на крутизны, прыгать с утеса на утес почитал я великою славою и сим ограничивал свое честолюбие. Сердце мое было спокойно; я не думал, чтобы сие спокойствие когда-нибудь могло исчезнуть — оно исчезло. Настала весна; природа обновилась, а я увял. Скука, жестокая, несносная, мною овладела. Беспокойные желания во мне пробудились. Я хотел действовать, но прежняя деятельность казалась мне слишком слабою, единообразною. Слава отца моего, слава героев славянских явилась предо мною во всем величии. Сей образ очаровал мою душу. Все для меня исчезло. Везде я видел воинов, везде встречал победителей. Гонимый воображением, я бегал

из леса в лес, по скалам, по долинам, без всякой цели, только для того, чтобы не сидеть на одном месте.

Вчера едва озарилось небо утренним светом, я вышел из хижины с луком и стрелами. Где я бродил и как здесь очутился, не знаю. Мрачная, бурная ночь застала меня среди утесов. Звуки арфы поразили слух мой — я опомнился, оглянулся, увидел огонь, хижину, жилище человека... Сердце мое затрепетало, кровь запылала... я бежал, летел... О Перун! Гостомысл обитал в сей хижине!

Мечты мои были прелестны, восхитительны. Я воображал себя гражданином великого Новаграда, воином, победителем; видел Гостомысла в его величии, грозным полководцем; видел славян, благословляющих память изгнанника Радегаста; видел венцы, летящие к ногам его сына, славу, благоденствие могущего народа — ужас врагов его... Ты плачешь, Гостомысл?»

[Продолжение и конец будут напечатаны особливо].

ПИСЬМО ФРАНЦУЗСКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Нам, жителям Парижа, гораздо известнее владения Великого Могола¹, нежели Франция. Выехав из Парижа, думал ли я, что под сельским кровом узнаю много нового? Я нашел других людей, совсем другие обычаи, упражнения — одним словом, новый народ. Аббат Галиани² сказал, что земледельцев можно назвать *игроками*: я уверился в справедливости слов его как в собственном, так и в аллегорическом смысле; но их должно отнести только не к простым земледельцам, а к умным откупщикам³.

Поля прекрасно обработаны. Земледельцев целою четвертью меньше прежнего, но полевые работы все идут гораздо лучше. Сия загадка может объясниться продажею церковных земель, которые достались в разные руки и ныне с большим старанием обрабатываются: вот одно из первых благодеяний Революции⁴.

Здесь откупщик нанимает землю за известную цену, вместе с строением; все другое принадлежит ему: лошади, рогатый скот, хлеб, собираемый с полей, и земледельческие орудия. Тот, у которого мы останавливались, имеет всего на все на 200 000 ливров, хотя нет у него ни клочка земли в собственности: от одних кур и сыра получает он 15 000 ливров годового дохода. Изобилие и порядок его дома нас порадовали. В конюшне мы нашли 20 или 30 лошадей, сильных, здоровых и больших. Многочисленные стада овец, испанской породы, удабривают

землю. Надобно думать, что плодородие последних лет способствовало нынешнему благосостоянию откупщиков во Франции.

Между ими есть такие, которых можно назвать патрициями, по великому их влиянию на целые округа. Н, у которого я был, имеет многих братьев, откупщиков, и, подобно ему, зажиточных. Дети их, конечно, не оставят отцовского состояния и будут в нем, без сомнения, также счастливы. Сия фамилия происходит от старинных откупщиков. Из нее давно уже избираются деревенские начальники, которые имеют большую власть над крестьянами — так что она пользуется всеми правами аристократии. Нет ничего страннее воспитания сих людей. Всякий десятилетний мальчик отсылается отцом в гимназию, учится по латыни и риторике, возвращается домой, женится, делается откупщиком и никогда не заглядывает уже в книгу. Я объездил больше 15 миль в окружности, но ни одна книга не попадалась мне в глаза. Знание латинского языка, приобретенное в училище, остается, так сказать, заключенным в их памяти; часто изумляли они меня целыми местами из Горация, приводимыми кстати и с умом. Нелюбовь их ко чтению, вероятно, происходит от того, что они слишком ограничивают себя исполнением должностей своих: пахут землю; если время хорошо, ходят на охоту; если дурно, собираются, садятся в кружок, разговаривают, судят о посеве хлеба, о жатве и тому подобном или берутся за карты, играют в *бульйот*⁵, и всегда в большую игру. Дочери и жены редко бывают вместе с ними: они стряпают на кухне, смотрят за курами и прочее. Люди сии не знают печали. Веселость с ними не растается. Ни один обед не проходит без песней шумных, веселых и по большей части вольных. И я должен был спеть что-нибудь в свою очередь. Не зная никакой песни по их вкусу, я запел *романс*. Такая новость сначала полюбилась моим хозяевам, но скоро излишняя нежность парижских Анакреонов⁶ им прискучила, и меня прозвали *Господином Романсом*. Я принужден был учиться их песням.

С крестьянами у них вечная ссора: первые беспрестанно требуют больше и больше, а другие хотят давать как можно менее. Вообще кажется мне, что революция не сделала пользы крестьянам. Их хижины бедны и смрадны, а лица отвратительны.

Можно из сего заключить, что сельские откупщики не слишком нежны в своих чувствах. Они обходятся просто, непринужденно, часто грубо, но в делах своих тонки и хитры.

Все, что касается до них непосредственно, что представляет им какой-нибудь выигрыш, действует на них очень сильно; все постороннее для них как бы не существует. Самый прелестный вечер, самое ясное утро, самое картинное местоположение не имеют ничего привлекательного для их взоров. Они хотят дичи, а не ландшафтов!

Я нашел на дороге прекрасные сады, я видел замок Бель⁷ с его парком. Он принадлежал бывшей принцессе Монако, прелестной любовнице принца Конде⁸ — очаровательное место, которому не найдешь подобного в окрестностях Парижа. Все величественно; во всем совершенная гармония; высокие тенистые деревья прекрасны. Здесь рассказали мне анекдот, достойный замечания. Он даст вам понятие о прихотливости знатных господ того времени. Пустой эрмитаж мог бы наскучить принцессе Монако. Что же сделали? Отгадайте. Уверили одного простяка, что ему являлся Святой Дионисий; что он, в угодность ему, должен отказаться от света и поселиться в Бельской пустыне. Принцессе Монако хотелось иметь настоящего анахорета⁹, и для украшения сада вскружили голову бедному человеку, который, со времени революции, постится гораздо более, нежели сколько нужно для его спасения. Этот несчастный, которого я видел, совершенно помешан, говорит нелепости и сам себя не понимает.

Я заезжал и в Морфонтень, дачу Иосифа Бонапарте¹⁰, одно из лучших мест во Франции. В самый сильный жар, когда иссохшие листья сыплются с деревьев, трава блекнет, цветы исчезают и ручьи скрываются, Морфонтень цветет и благоухает, как в мае. Осень в нем незаметна и не уступает самой лучшей весне. Все сии чудеса делаются человеком: что ж останется для садов волшебных?

Прелестнее Морфонтеня и лучше всех садов на свете Эрменонвиль¹¹. Одно только грубое сердце не почувствует очарования, которым все здесь наполнено. Единство, первый закон изящного, сохранено в точности. Все трогательно, уныло, величественно, спокойно. Я не стану описывать Эрменонвиля. Природа не производила другой пустыни, столь привлекательной и плодоносной. Здесь всякий ветерок, потрясающий листья или струящий воду, погружает сердце в меланхолию и сладкое забвение.

Следы Жан-Жака¹² не исчезли в Эрменонвиле. Еще цела та хижина, которую посещал он ежедневно. Я наслаждался прелестным видом, которым некогда Руссо наслаждался в этом месте. При конце жизни своей не хотел он иметь сообщения ни с кем, кроме поселян; останавливал тех, которых лица ему нравились; говорил с ними по несколько часов и платил им деньги за потерянное время в разговоре.

Жаль, что, по смерти Жан-Жака, Эрменонвиль достался в худые руки. Обыкновенные люди не умеют обходиться с изящным и не знают ни в чем меры. Они *заговариваются*, желая все *выговорить*. Эрменонвиль испещрен глупыми надписями. Где природа великолепна и прекрасна, там не нужны украшения искусства: они оскорбляют ее девственные прелести. Господин Жирарден и его предшественники загромоздили

Эрменонвиль храмами, алтарями, фигурами. Все глупее стихи, везде написанные. Конечно, владельцы боялись забыть, что сад принадлежал точно им. Здесь не гуляешь, а тебя водят на веревке и на всяком шагу говорят: «тут ты должен *спать*, там *плакать*, а там *смеяться*» и пр. Признаюсь, такое тиранство уменьшило приятность моей прогулки. Но больше всего рассердил меня один алтарь, поставленный на таком месте, которое природою создано для мирных размышлений и пиитических восторгов. Нельзя быть в нем без сладкой сердечной меланхолии — но у вас перед глазами гипсовый алтарь, с надписью: «Задумчивости», «a la reverie» — и все очарование исчезает!

Одна только надпись мне понравилась, на стене, откуда видны прекрасные ландшафты:

*Happy the man whose wish and care a few paternal acres bound, and who breathe his native air on his native ground*¹³.

Счастлив человек беззаботный, ограниченный в своих желаниях; он дышит воздухом своей родины и никогда не оставляет родительской хижины.

Один простой памятник обратил на себя все мое внимание. Это гроб неизвестного молодого человека, который за 12 лет перед сим явился в Эрменонвиле и жил в нем несколько недель в совершенном уединении, наслаждаясь красотами природы. В одно утро нашли его мертвого: он прострелил себе голову. В кармане у него было письмо к г. Жирарденю, из которого узнали, что горестная любовь заставила его возненавидеть жизнь. Несчастливого погребли на том самом месте, на котором он умертвил себя; два камня лежат на его могиле. Прошедшим летом видели здесь неизвестную девицу. Она приходила на гроб юноши, плакала, целовала камни и написала на одном из них стихи, которые остались в моей памяти. Вот они:

Оставленная всем, забытая судьбою,
К тебе, священный прах, иду я слезы лить! —
Когда откроется могила предо мною?
Ах! Долго ль жизнь сию влачить?
Мелькнули годы и сокрылись,
А горе верное со мной!

Тоскою чувства изнурились;
С угасшей, мертвою душой,
Как блага, смерти ожидаю! —
Когда? — когда? — увы, не знаю!

ИЗ ЧЕРНОВЫХ И НЕЗАВЕРШЕННЫХ РУКОПИСЕЙ

ЧУВСТВА ОТЦА НА ГРОБЕ СЫНА

Натура, плачь со мною, нет сына моего! Увяла юная роза, увяла, не успевши развернуться — его нет! Один прах (его) остался, душа отлетела на небеса, в обитель света, к которой тленность не дерзает приблизиться, холодное тело его лежит предо мною — тщету ищу улыбки на сих бледных устах — они отвердели; тщету ищу огня, блиставшего в сих глазах, они закрылись, закрылись навеки!! Гора сырой земли покроет его тело, в котором обитала ангельская душа, горсть сырой земли скроет все мои надежды, — все радости, которых я ожидал от тебя, сын мой. Не родительский поцелуй будет гореть на устах твоих; алчный червь источит бездушные твои остатки, и я, один, один, оставленный в природе, тщету буду искать радости, она с тобой исчезла — тогда только почувствую ее, когда, преступив предел гроба, узрю тебя в полях эфирных, там, где творец природы, одянный лучами любви, восседает на престоле милости — там увижу тебя, сын мой, и только тогда радость оживит меня.

Но здесь? — здесь лютая тоска грызет мое сердце, слезы мои льются, и никто их не разделяет со мною; они орошают холодную землю — погасло в груди моей чувство жизни. Ах! Жизнь мне несносна! Натура, внимай гласу моему и участвуй в горести отца. Подобно розе, расцвечал сын мой — в глазах его блистала нежность, на щеках горел румянец скромности, и уста его улыбались добродетелью — я видел в нем все, им ощущал жизнь свою, им чувствовал радость, им питал дух свой.

Часто, под светлым небом, сидя на холме, пробегал с ним взором в пространную картину природы, наставлял его добродетели, учил познавать Бога — его душа пылала тогда восторгом, и он — в юном сердце своем — клялся быть добродетельным.

А когда с сыновнею нежностью прижимался он к груди моей, когда слезы радости катились из глаз его и упали на горячее родительское мое сердце, тогда — тогда чувствовал я рай в душе своей — казалось, небеса улыбались, и вся природа торжествовала радость отца.

Сердце мое было полно, на нем было сердце моего сына — ах! И горесть тогдашняя была бы мне блаженством в сии минуты — ее разделял сын. Светлее для меня горело тогда утреннее солнце на востоке, прозрачнее казалась кристальная вода, и душистее были цветы — ах! Я знал тогда, что каждый выход сего солнца разделял со мною сын мой — и оно было для меня предвестником радости — но теперь!.. Увы!..

Скоро пробежало время счастья, оно погасло, подобно вечерней заре, и с ним потухла жизнь в моем сердце. Скорыми шагами* бежала смерть к моему сыну, не остановилась она при виде прелестей юноши; не содрогнулась рука ее, пагубная коса восшумела в воздухе — и где сын мой? Холодное тело его лежит предо мною, тщету хочу я жизнь свою излить в его сердце, он бездыханен, и стон родителя не возбуждает его — все исчезло для меня! Нет в мире сердца, которое бы трепетало моею горестью, нет слез, которые бы лились для меня, и я еще жив, и я еще не пал мертв на тело моего сына — скоро остатки твои покроются камнем, единственный друг мой; он ощутит мои слезы, сей камень! Мрак ночи и свет дня услышат стоны мои над

* Он был болен.

твоей могилой; — пускай сердце мое сохнет от горести; торжественная минута наступит, и глухой звук колокола возвестит природе: «Отец идет в объятия сына»^{*}.

**ПРИМЕРЫ СЛОГА, ВЫБРАННЫЕ ИЗ ЛУЧШИХ ФРАНЦУЗСКИХ
ПРОЗАИЧЕСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПЕРЕВЕДЕННЫЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
ВАСИЛИЕМ ЖУКОВСКИМ**

О слоге

Во всякое время были люди, сильные даром красноречия, но только в одних просвещенных веках находим великих писателей и великих ораторов. Сильное напряжение гения и образование рассудка соединено с истинным красноречием, которое весьма далеко от сей натуральной легкости изъясняться, таланта, качества людей, одаренных сильными страстями, гибкими органами и быстротою воображения. Люди сии чувствуют с живостью, трогаются сильно и выразительно обнаруживают свои чувства, и совершенно механическим впечатлением переселяют в других свой энтузиазм и пламень. Тело говорит телу; все движения, все знаки соединенно действуют и поражают. Скажите, что надобно для оболъщения толпы народной, для убеждения и большей части других людей! Сильный и мужественный голос, выразительные телодвижения, слова быстрые и звучащие. Но малое число мыслящих, имеющих вкус нежный, чувство разборчивое, презирающих ничтожные украшения наружности, звуков и телодвижений, требует мыслей, рассуждений, доказательств, предложенных в порядке, в натуральной постепенности. Недовольно того, что пленять ухо и занимать взоры: надобно действовать на душу, трогать сердце, говоря рассудку.

Слог есть не иное что как порядок и движение наших мыслей. Он силен, быстр и важен, когда идеи стеснены и сжаты; растянут, слаб и жидок, когда их течение медленно и связь состоит в одних словах, приятных для слуха, но малозначащих.

Прежде начертания сего порядка наших мыслей мы должны иметь перед глазами другой, общий, постояннейший, в который входят одни первоначальные виды, одни главные идеи: назначив их место на сем первом плане, мы ограничим предмет свой и узнаем обширность его; беспрестанно имея перед глазами сие начальное начертание, мы определим истинные промежутки между главными идеями и вместе найдем идеи относительные и средние, которыми их наполним. Силою гения представим себе в цепи, в настоящем их расположении сии общие и частные идеи. Тонкою разборчивостью отделим идеи бесплодные от обильных и проницательностью, которую получаем от привычки писать, откроем все главные следствия сих различных действий рассудка. Трудно окинуть одним взглядом или проникнуть в целости единым и первым усилием гения предмет обширный и имеющий множество отношений. Трудно даже по многим размышлениям узнать его в совершенной точности. Итак, устремляйте на него все ваше внимание: вот единственное средство усилить, распространить и возвысить ваши мысли. Чем больше будете образовывать и объяснять их размышлением, тем свободнее изобразите их словами.

Сей план не есть еще самый слог, а только его основание: он им управляет, определяет его движение и подчиняет его законам. Без него лучший писатель теряется;

^{*} Подчеркнуто В. А. Жуковским. — И. А.

покорству перу своему, которое бросает на бумаге черты неправильные и фигуры одна другой противные. Блестящие краски и красоты частные не могут заменить беспорядка или несообразности в целом, которое одно составляет достоинство сочинения. Тогда, удивляясь уму автора, мы скажем, что он не имеет гения. Вот отчего все те, которые пишут, как говорят, пишут дурно, которые предаются первому пламени воображения, не выдерживают своего тона; которые боятся потерять свои мысли, рассеянные и отдельные, и сочиняют отрывками в разное время, соединяют их принужденно и не могут обойтись без натяжки; одним оловом, вот отчего видим так много книг, составленных из клочков, и так мало связных, напитанных одним духом.

⟨ПОВЕСТВОВАНИЯ⟩

Дружба, или Дамон и Пифиас

На одном из островов Эгейского моря, в тени древних тополей находится алтарь, посвященный дружбе. День и ночь сжигали на нем фимиам, чистый и приятный богине. Но скоро узрела она перед собою толпу обожателей недостойных, друзей корыстолюбивых и скрытных. Она сказала наперснику Креза¹: «Не приемлю твоих приношений: ты жертвуешь не мне, а фортуне». Жителю Афин, который называл себя другом Солона² и об нем молился: «Ты хочешь прославиться дружбою мудрого человека и загладить свои преступления». Двум женщинам из Самоса, которые обнимались перед жертвеником: «Не дружба, но любовь к сладострастию вас соединяет. Зависть гнездится в сердцах ваших и скоро уступит место непримиримой ненависти».

Наконец два сиракузца, последователи Пифагора, Дамон и Пифиас, положили дары свои на алтарь богини. «Принимаю их, — сказала она, — еще больше: оставляю жилище, оскверненное жертвами, меня недостойными; отныне сердца ваши будут моим храмом. Спешите показать сиракузскому тирану³, вселенной и потомству, что может дружба в душах великих, одаренных моим могуществом». Они возвратились в Сиракузы. Дионисий, жестокий и несправедливый, по одному подозрению осудил на смерть Пифиаса. Но важные дела отзывали его в соседственный город. Он просил позволения их кончить, клялся возвратиться к назначенному дню, Дамон подтвердил его клятву. Надел на себя цепи своего друга, и Пифиас поехал.

Время проходит — Пифиаса нет. Между тем наступает ужасный день, народ собирается; вопят, оплакивают Дамона, который спокойно идет на смерть, слишком уверенный, что друг его возвратится, и слишком счастливый, когда не возвратится! Уже приближалась роковая минута, вдруг тысячи восклицаний наполняют воздух. Явился Пифиас. Он бежит, летит на место казни, видит меч над головой своего Дамона, стремится в его объятия — они обливают друг друга слезами, спорят о смерти, как о благе; зрители тронуты; сам тиран спешит сойти с престола и хочет иметь участие в сей дружбе единственной и прекрасной.

Бартеlemi. ⟨Анахарсис⟩

Потоп

Для быстрых коней не осталось поприща на земле, поглощенной водами. Свиное море сделалось неприступным для кораблей и мореходцев. Напрасно чело-

век искал убежища на высотах горных; тысячи потоков по ним стремились, и глухой шум вод мешался с воем ветров и грозным гулом грома. Черные бури шумели над их вершинами; день казался ужасною ночью. Напрасно взоры искали места, на котором должна была расцвести заря; одни бесконечные ряды облаков носились вокруг горизонта; бледные молнии, вихрь, рассекали их грозные и бесчисленные сонмы. Светило дня, помраченное, багровое, разливало тусклый свет; едва зрелся его шар, катящийся среди новых созвездий. При виде беспорядка небес человек отчаялся в спасении земли, не находя в самом себе последние утешения добродетели, невинности перед ужасным концом. Он искал убежища в объятиях любви и дружбы, напрасно! В сем веке преступления и ужасов чувства природы были забыты; друг оттолкнул своего друга, мать сына, супруг супругу. Все, все поглощено водами: грады, чертоги, величественные пирамиды, торжественные врата, обремененные трофеями царей, и вы, которые были достойны пережить разрушение самого мира, тихие гроты, мирные рощи, скромные хижины, убежища непорочности! Ни единого следа человеческой славы и счастья не осталось на земле в оные дни мщения и гибели.

Бернарден де С. Пьер

Сражение при Рокруа⁴

Надлежало провести ночь в виду неприятеля: д'Ангиен, как бдительный полководец, заснул последний, и сон его никогда не был так безмятежен. Он спокоен, накануне одного решительного дня, перед первым сражением! Спокоен... Все знают, что наутро, в назначенный час, надлежало пробудить сего нового Александра⁵. Так естественно для него сие состояние! Смотрите, как он стремится к победе или к смерти! Пролетев из строя в строй и оживив ратников своим мужеством, он в одно время сражает правое крыло неприятеля, расширяет свое уже стесненное, соединяет рассыпанных французов, гонит испанцев побеждающих, разносит повсюду страх, погибель и сверкающим взором своим изумляет бегущих от его ударов. Оставалась сия ужасная пехота испанцев, которой легионы, как грозные башни, но башни, способные исправлять свои проломы, стояли неподвижно посреди поражения и метали вокруг себя гром и пламень. Трикратно юный победитель устремляется на сих бесстрашных; трикратно отражает его мужественный граф Дефонтень⁶, который зрелся перед воинством, носимый на носилках, мучимый болезнью, но грозный и величественный в самых телесных страданиях: наконец, надлежало уступить. Напрасно Бек⁷ с своею быстрою неутомленною конницею стремится через лес на наших воинов, уже ослабевших: д'Ангиен все предвидел, все опрокинул, и пораженные требуют пощады. Но скоро победа будет ужаснее самого сражения для юного героя. Он приближается к сим неустрашимым, желает принять от них обет покорности, идет спокойно, с видом победителя, но побежденные боятся нового нападения, их страшные громы встречают победителя. Ратники его разъяренные стреляют, начинается ужасная сеча, льются потоки крови. Но д'Ангиен не может видеть сих грозных львов, умерщвляемых, подобно робким агнцам, он успокаивал оскорбленное мужество, милосердием довершил победу. Как изумилось тогда сие древнее воинство, как изумились вожди его, когда не нашли спасения нигде, кроме объятий победителя. Какими глазами смотрели они на сего юного полубога, украшенного величием победы, получившего новые прелести от милосердия. С какой радостью возвратил бы он жизнь храброму

графу Дефонтеню! Но он лежал бездыханно посреди множества погибших, которых потеря и теперь еще горестна для Испании. Тогда не знала она, что истребитель древних ее легионов в день Рокруанского поражения рассыплет их остаток на равнинах Ленских⁸. Так первая победа сделалась залогом множества славнейших. Принц преклонил колено и на поле сражения прославляет Бога опять, ниспославшего ему славу. Тогда восторжествовало Рокруа освобожденное, угрозы сильного врага, обратившиеся ему в поругание, регентство усиленное, успокоенная Франция и царствование, столь прелестное последствие, начавшееся таким счастливым предзнаменованием. Первый гимн воспело воинство, с ним соединился голос Франции; вознес до небес начинание д'Ангиеня, которым целая жизнь могла бы прославиться, но которое в жизни его есть только первый шаг на обширном поприще.

Боссюэт. (Надгробное слово принцу Конде)

Дюге Труэнь⁹, победитель на морском сражении

Дюге Труэнь приближается. За ним следует победа. Хитрость и мужество, искусство действий военных и дерзость нападения покоряют ему начальствующий корабль. Между тем, сражаются отовсюду; страшная брань свирепствует на обширном пространстве моря. Все смешивается: кормы спираются с кормами, быстрые маневры пересекаются маневрами; громы гремят. Дюге Труэнь спокойным взором наблюдает за сражением, готовый сюда устремиться с помощью, там подкрепить побеждаемых, здесь довершить победу.

Он видит стопушечный корабль, защищаемый целым воинством; предпочитается опасное сражение легкой победе, и стремится к нему с своими ударами. Двукратно дерзает он к нему приблизиться; пожар, воспламенивший корабль неприятеля, отражает его. «Девоншир»¹⁰, подобный горящему вулкану, пылая внутренностями, распространяет окрест себя пламень еще ужаснейший. Англичане одной рукою бросают свои молнии и другою стремятся потушить пожар, их окружающий отовсюду. Дюге Труэнь желает победы для их спасения! Напрасно! О страшное, разительное зрелище! Огромный корабль, сгорающий посреди вод, ужасное зарево, далеко по волнам льющееся, тысячи несчастных в отчаянном иступлении, неподвижно трепещущих посреди пламени, объемлющих или терзающих друг друга, молящих небо с подъятыми, полусожженными руками, или, дымясь, низвергающихся в море; шум и пламень пожара; стоны умирающих, моления и вопли отчаяния, соединенные с криками бешенства; наконец, разрушение корабля, с громом и треском, и грозное спокойствие пучины, которая все поглотила, сравнялась и утихла.

О вы, правители народов, повелевающие браней! Обратите взоры на сие зрелище и содрогнитесь. Между тем Дюге Труэнь стремится за устрешенным флотом; все бежит и рассыпается; волны покрыты обломками; наши пристани—добычами.

Томас. (Похвальное слово Дюге Труэню)

Погребение Гиппия

Телемак, омыв тело Гиппия благовонными водами, повелел соорудить костер. Огромные сосны восстали под ударами секир и скатились с вершин горных; дубы,

сии многолетние сыны земли, которые так гордо возносили главы свои к небу, высокие тополи, вязы, которых верхи так зелены, которых ветви так густы и приятны для взора; мощные буковые деревья, краса тенистых рощей, пали на берегу реки Галеза. Возвышается костер, подобный великолепному зданию; пламя начинает показываться, дым черным столбом восходит к облакам. Лакедемонцы приближаются медленно, в унынии, с обращенными копьями, с потупленными взорами. Их грозные лица печальны, ланиты орошены слезами. За ними идет Перезид, старец, обремененный меньше летами, нежели горестью о потере Гиппия, своего воспитанника, своего нежного друга. Руки и глаза его, слезами наполненные, были устремлены к небу; лишенный Гиппия, он не вкушал пищи, не находил сна на уединенном ложе, нигде и ничем не мог усладить жестокой тоски своей. Он шел медленно, трепещущими стопами, следовал за толпою, не зная, куда и зачем, с увядшим растерзанным сердцем, в глубоком безмолвии. Безмолвие ужасное, приличное одной безнадежной горести. Увидя костер, уже воспламененный, он вдруг пробудился, свирепое бешенство изобразилось на лице его, и он воскликнул: «О Гиппий, Гиппий! Ужели мы разлучились навеки. Тебя нет, а я еще живу. О мой Гиппий. Я, жестокий, я, безжалостный, научил тебя презирать смерть! Я думал, что рука твоя закроет мне глаза, что ты примешь последний вздох мой. Несправедливые боги! Вы осуждаете меня видеть конец моего Гиппия! О юноша, которого я так любил, который стоил мне таких забот и попечений, уже никогда тебя не увижу! Но увижу твою мать, которая умрет с печали, упрекая меня твоею смертью; но увижу твою супругу неутешную, рвущую свои волосы, терзающую грудь свою! О драгоценная тень! Призывай меня к брегам Стикса. Я ненавижу сияние дня! Тебя одного желаю видеть, нежнейший друг мой! О мой Гиппий, мой незабвенный Гиппий, живу еще для того, чтобы воздать последнюю почесть твоему праху!»

Тело юного Гиппия несли на одре, украшенном серебром, золотом и пурпуром. Смерть, помрачившая взоры юноши, не изгладила его прелести, и приятность полужизненная украшала еще бледное лицо его; вокруг шеи, белой как снег, но преклоненной на плечо, веяли длинные черные волосы, прелестные, как Атисовы или Ганимедовы, и которым надлежало в пепел обратиться: на боку зрелась глубокая рана, врагом нанесенная, низведшая его в обители Плутона.

Телемак, унылый и мрачный, шел за печальным одром и осыпал его цветами. Приближаясь к костру и видя, как пламя снедало покров, обвитый вокруг тела, сын Улиссов не мог не пролить новых слез и воскликнул: «Прости, великодушный Гиппий, не смею сказать “друг мой”! Успокойся, о тень, удостоившаяся толикой славы! Я позавидовал бы твоему счастью, когда бы не любил тебя с нежностью брата! Наслаждайся вечным спокойствием бессмертных! Ты оставил сию бедственную жизнь, которая нас обременяет, и оставил со славою! Ах! Да будет мой конец твоему подобен! Прости! Да мирная тень твоя беспрепятственно пройдет воды Стикса, да откроются для нее сени полей Елисейских; да сохранится веками память твоя и да покоится безмятежно твой пепел!» Тут вопли всего воинства наполнили воздух; все оплакивали Гиппия; все прославляли его подвиги, его добродетель, и в сию минуту горести недостатки юноши, неразлучные с буйностью молодых лет и данные ему худым воспитанием, были забыты...

Тело Гиппия уже истребилось пламенем. Телемак оросил благоговениями пепел его дымящийся, закрыл его в золотую урну и, увешав ее цветами, отнес к Фалланту, простертому на одре болезни, покрытому ранами и уже приближенному к дверям мрачного ада.

Фенелон

**Дюге Труэнь с одним судном уходит
от двадцати английских военных кораблей**

Ужасная опасность ожидает Дюге Труэня: двадцать военных кораблей на него устремляются, теснят его и окружают. Уже один истреблен его громами, но торжество бесполезное! Враги двадцать раз могут возродиться для его гибели. Внезапно ветер утихает. Сражение перестало. Ночь наступила! Нет спасения для героя! Наконец англичане имеют во власти сего ужасного человека, разрушителя их флотов и могущества. Но дух его не слабеет. Он хочет своею гибелью поразить победителя. Он ожидает утра, чтобы устремиться на ужаснейший из неприятельских кораблей. Воины его оживлены мужеством отчаяния, последним усилием души возвышенной. Ночное спокойствие от него удалилось; печальный взор его устремляется то на врагов, то на пространное море, то на отдаленный край небес, на котором скоро должна воссиять свидетельница его поражения. На горизонте являются признаки ветра, готового подняться. Он раздаст повеления. Повинуются в молчании; все паруса натянуты. Ветер веет, и корабль его, с чудесною быстротою пролетев посреди англичан, пораженных, изумленных, исчезает.

Томас. (Похвальное слово Дюге Труэню)

**Бегание, колесничное ристание¹¹ и борьба
на Олимпийских играх**

Судьи сели по местам. Герольд¹² воскликнул: «Желающие бегать да явятся». Их явилось множество, стали в один ряд. Каждый занял место, жребием назначенное. Герольд провозгласил имена и отчизны соперников, и некоторые уже прославленные победами были приняты с громкими рукоплесканиями. Потом герольд опять воскликнул: «Кто может укорить сих атлетов ношением цепей или развратною жизнью?» Все умолкло... Надежда и страх изобразились на лицах зрителей: они усиливались по мере приближения решительной минуты. Наконец минута сия наступила. Труба зазвучала; атлеты бросились вперед и в один миг явились у ограды, за которою судьи сидели. Герольд провозгласил имя Пора Киринейского¹³, и тысячи многократно его повторили...

В следующие дни многие их атлеты должны были совершить двойные стадии, то есть, достигнув цели своей, возвратиться на прежнее свое место. Другие двенадцать раз без отдыха должны были пробежать всю длину стадии¹⁴. Некоторые неоднократно остались победителями, получили не одну награду. Между тем иные атлеты исчезали и укрывались от насмешек зрителей, другие, уже близкие к цели, спотыкались и падали. Некоторые изумляли своею быстротою и легкостью. Следы их едва на прахе изображались. Два кротонианца держали зрителей в нерешимости: они далеко оставили назади своих соперников, уже приближались к цели, как вдруг один, толкнув другого, роняет его на землю, раздаются крики негодования. Победивши коварством, он лишается награды. Здесь всякая хитрость почитается вероломством. Одним только зрителям позволено выкликать своими криками атлетов, к которым они благосклонны.

Последние дни праздников были назначены для увенчания победителей. Но при конце поприща они получили, как справедливо сказано, похитили пальму, им назна-

ченную. С сей минуты каждый шаг их был новым торжеством. Беспреданно многочисленные толпы их окружали. Все спешили их видеть, все их поздравляли, родные и друзья, соотечественники, проливая радостные слезы, подымали их на плечи, носили показать зрителям, предавали рукоплесканию целой Греции, которая осыпала их цветами.

Ристание колесниц

Желая видеть приготовления к ристанию, мы пошли на поприще. Великолепные колесницы, привязанные к натянутым канатам, которые вдруг должны были отпустить при начале ристания, стояли рядами. Легчайшее платье покрывало их правителей. Кони, едва обуздываемые сильными руками, восхищали своею красотою. Некоторые были уже славны победами. По данному знаку все они двинулись вперед и построились в ряд при начале поприща. Вдруг густое облако пыли их покрыло, они устремились, полетели, понесли колесницы так быстро, что глаз не мог за ними следовать. Стремительность их усиливалась, как скоро они пробегали мимо статуи одного гения, который, как говорят, поражает их тайным ужасом; когда они слышали громкие звуки труб, гремевших у ограды, славной падением ристателей: будучи сооружена посреди самого поприща, в ширину, а не в длину, она его стесняет, и в узком пространстве, ею оставленном, колесницы, несмотря на все искусство правителей, нередко падают и ломаются. Опасность, тем ужаснейшая, что всякая колесница должна двенадцать раз проскакать мимо сей ограды взад и вперед по гипподрому.

При всяком обороте какой-нибудь нечаянный случай возбуждал сожаление или оскорбительный смех зрителей. Иные колесницы были унесены конями с ристалища, другие, столкнувшись, разлетелись в куски: поприще, усыпанное обломками, сделалось гораздо опаснейшим для ристателей. Их оставалось только пять: фессалиец, сиракузянин, коринфиец, фивянин и ливиец. Первые два и ливиец были уже готовы в последний раз обскакать ограду, но фессалиец за нее цепляется и падает, опутавшись вожжами; кони его заграждают дорогу ливийцу, который его преследовал; сиракузянин насккивает на них, хочет стремительно поворотить в сторону колесницу, но она вместе с конями попадает в канал, окружавший ограду; пронзительные, шумные восклицания раздаются отовсюду; все глаза обращены на коринфийца и фивянина; они летят, несутся, и воспользовавшись благоприятною минутою, скачут мимо ограды. Опережают, поджигают бичами быстрых коней своих и являются перед судилищем, покрытые потом и пылью: первая награда назначена коринфийцу, вторая фивянину.

Борьба

Атлеты, которым надлежало бороться в ближнем портике. В полдень они явились, их было числом семь; такое же число билетов бросили в ящик, стоявший перед судьями. На двух была написана литера «А», на других двух — «Б», еще на двух — «В». А на последнем — «S». Их перемешали в ящике. Всякий атлет взял по билету. Судьи отделили попарно тех, которым достались одни буквы, а седьмой должен был сражаться с победителями. Они скинули с себя одежды, обтерлись маслом,

бросились на песок и несколько времени на нем катались для того, чтобы соперникам их можно было с ними ловчее схватываться.

Первые явились на стадию фивянин и аргивец. Они сомневаются, долго взаимно испытывают взорами, наконец, схватываются рука с рукою. Иногда опираясь лбами, стоят неподвижно, напрягаются, истощают напрасные усилия; иногда потрясают друг друга с необычною силою, сплетаются как змей, вытягиваются, сжимаются, гнутся вперед, назад, налево, направо. Сильный пот бежит по всему их телу. Они останавливаются, отдыхают минуту, опять вступают в бой с новою бодростью, схватываются поперек тела, опираются грудь с грудью, и, наконец, фивянин подымлет своего соперника на воздух, но он колеблется под тяжестью; они падают, катаются по песку, попеременно берут верх, напоследок фивянин переплетением ног и рук отнимает все движения у противника своего, под ним лежащего, давит его за горло и принуждает поднять руки, признать себя побежденным. Однако сего не довольно; требуют, чтобы победитель двукратно поборол своего соперника, и они обыкновенно три раза начинают борьбу. Аргивец победил во второй раз, фивянин снова в третий.

Когда другие четыре атлета кончили борьбу свою, то побежденные удалились в стыде и горести. Оставались три победителя: агригентянец, эфезианец и фивянин, о котором сказано выше, и еще родосец, отделенный от других по жребию. Он вступал свежим на поприще, но должен был несколькими сражениями заслужить награду. Он поборол агригентянца, был побежден эфезианцем, которого, наконец, повергнул фивянин. Сей последний получил пальму. Так за первую победу следовало множество других, и нередко случалось, что победитель сражался с четырьмя атлетами из семи и с каждым по три раза.

В последний день праздников надлежало увенчать победителей. Сей обряд для них славный был совершен в священном лесе, по принесении богам жертвы. Победители вместе с судьями игр явились в театре, облеченные в богатые одежды, с пальмовыми ветвями в руках. Они шли в упоении восторга, при звуке флейт, окруженные многочисленною толпою, которой рукоплескания повсюду гремели. За ними следовали другие атлеты, сидящие на пышных колесницах! Гордые кони их выступали со всем величием победы, украшенные гирляндами из цветов и как будто оживленные торжеством своим.

В самый день венчания атлеты принесли богам жертвы в знак благодарения. Их имена внеслись в публичные списки эллинцев, а сами они были великолепно угощались в Пританее. В следующие дни победители давали праздники с музыкою и плясками.

Следуя древнему обычаю, сии люди, уже обремененные почестями на поле сражения, возвращаются в свои отечества со всей пышностью триумфа, предшествуемые и преследуемые многочисленною толпою, в пурпуровых одеждах, на колесницах, ведомых двумя или четырьмя конями через проломы, нарочно для них в городских стенах делаемых.

Бартеlemi. (Анахарсис)

Тишина посреди океана

Десять раз всходило и заходило солнце, а ветер не умирался. Наконец он утих, настает совершенное спокойствие. Воды, сильно разъяренные, долго еще возды-

маются; но мало-помалу их валы мелеют, сравниваются, исчезают. Ни малейшее дуновение ветра не потрясает корабля, который кажется пригвожденным к неподвижному морю; паруса, многократно распускаемые, падают и висят без движения на мачтах. Вода, небо, мерцающий горизонт, в котором зрение теряется. Необъятная, беспредельная пустота; безмолвие и необозримость — вот все, что представляется плователям. Сия печальная и гибельная атмосфера. В терзаниях ужаса она требует бурь и ветров от неба, и небо, неподвижное, как море, отсюда представляет им страшную ясность. Дни и ночи проходят в сем грозном спокойствии солнца, которого утреннее блистание обновляет и радует землю; сии звезды, которых сверкающее пламя так приятно для мореходцев; сия небесная равнина вод, которая так притягательна для взоров, когда сияние дня и лазурь небесная изображаются на гладкой ее поверхности. Зрелище, словом, все, что взято в природе, столь прелестно и восхитительно, что возвещает тишину и радость, все теперь ужасно, приводит в трепет и наполняет сердце предчувствием гибели.

Между тем пища начинает истощаться, ее разделяют с бережливостью, по выбору. Требования природы усиливаются по мере истощения жизненных источников, недостаток увеличивает нужды. За ними следует голод, бедствие ужасное на земле, но ужаснейшее на пространных пучинах вод. На земле, по крайней мере, слабый луч надежды может обмануть горесть и поддержать мужество! Но посреди моря необъятного и пустынного человек, окруженный ничтожеством, оставленный всею природою, не может даже обманом спастись от отчаяния: страшное пространство, отдаляющее от него всякую помощь, кажется ему бездною; мысль его и желания в ней исчезают. Голос самой надежды не может до него достигнуть. Первые мучения голода сделались ощутительны. Страшный образ тоски и бешенства: несчастные, простертые на скамьях, поднимающие к небу руки с воплями отчаянной горести или в неистовстве и забвении бегающие по кораблю и зовущие смерть к себе на помощь.

⟨Мармонтель. Инки⟩

Приближение и ужас урагана в Иль-де-Франс¹⁵

Пламенное лето, которое бывает так ужасно в сторонах, между тропиками лежащих, здесь явило все свое могущество. При конце декабря, в то время, когда солнце, вступивши в знак Козерога, целые три недели палило Иль-де-Франс вертикальными лучами; зато восточный ветер, который дует почти во весь год беспрестанно, совсем утихнул. Длинные столбы пыли взвивались вихрями по дорогам и висели на воздухе. Земля везде трескалась; трава бала сожжена; пламенные испарения выходили из гор; все источники воды иссохли. С моря не показывалось ни одного облака. Иногда в полдень подымались на равнинах красноватые пары, которые при захождении солнца подобились обширному зареву пожара. Самая ночь не освежала атмосферы; луна, красная как кровь, тускло блистала на туманном горизонте и казалась величины чрезвычайной. Стада, поверженные на холмах, вытянув шеи, с трудом вбирали в себя воздух и наполняли долины печальным блеянием: сам кафр¹⁶, неугомонный их пастырь, простертый на земле, искал в ее недрах прохлады. Но земля раскаленна везде пылала, и в душном воздухе раздавалось жужжание насекомых, которые кровью животных и человека утоляли жажду.

Между тем от сильного жару поднялись с поверхности океана густые пары, которые как шатер раскинулись над островом и скопились над высотами горы. Яркие огненные бразды повремено рассекали их мрачные недра. Скоро загрели ужасные громы: леса, поля, долины наполнились их гулом, страшные дожди как водопады полились с шумом; пенные потоки устремились по горам, сия долина сделалась морем; возвышение, на котором построены хижины, — островом, а узкий выход из долины — протоком, из которого вместе с ревушею водою неслись глыбы земли, деревья и утесы. Перед вечером дождь перестал, свежий юго-восточный ветер начал дуть снова. Бурные облака пронесли на северо-запад, и заходящее солнце явилось на горизонте.

Бернарден де С. Пьер. (Павел и Виргиния)

Сон Марка Аврелия

Я размышлял о телесных и душевных страданиях: ночь уже царствовала повсюду; сон обременял мои вежды; я несколько времени с ним боролся, наконец, изнуренный, должен был уступить, заснул, и таинственное сновидение мне представилось. Я увидел себя во храме обширном и величественном, посреди людей, которых лица поразили меня изумлением и казались божественными. Хотя я никогда, нигде с ними не встречался, черты их были мне знакомы: я вспомнил, что много раз смотрел на их статуи, воздвигнутые в Риме. Я стоял в размышлении, как вдруг ужасный и сильный голос воскликнул: «Смертные, научайтесь страданию!» В сию минуту перед одним явился пламень — он положил в него руку. Другому подали яд, он выпил его и принес благодарение богам. Третий, опершийся на разрушенную статую свободы, держал в одной руке книгу, а в другой кинжал, устремленный острием на его сердце. Далее представился мне человек, на земле простертый, окровавленный, но тихий и с улыбкою взирающий на убийц своих, пораженных страхом. Я подбежал, восклицая: «О, Регул¹⁷, тебя ли вижу». Его страдания возмутили мне душу, я отвратил взоры. Тогда явился мне Фабриций¹⁸ в бедности, Сципион¹⁹, умирающий в изгнании, Эпиктет²⁰, мудрствующий в оковах, Сенека²¹ и Фразей²² с отворенными жилами, спокойно смотрящие на льющуюся кровь свою. Окруженный сими великими страдальцами, я пролил слезы; они изумились. Один из них, Катон²³, ко мне приблизился и сказал: «Не плачь, но подражай нам, и ты должен научиться побеждать страдание». Между тем он готов был вонзить острие кинжала в свое сердце; я хотел остановить его руку, затрепетал и пробудился. Тогда размышлив о сем чудесном сновидении, заключил я, что мнимые беды не должны устрашать моего мужества, решился быть человеком, терпеть и утешать себя добродетелью.

Томас. (Похвальное слово Марку Аврелию)

Тиранство и доносы в Риме

Жестокость являлась под видом справедливости, когда тираны обнаружили тайну заговора или торжествовали над возмущением; тогда государственная причина оправдывала убийства. Гражданин, едва известный виновному, был уже преступником. Нежнейшие чувства природы назывались злодейством. Тайная слеза друга,

падшая на бездушное тело друга, была его обвинением; мать влеклась на казнь за то, что плакала о смерти своего сына.

Явились люди, губители законов, под видом их защитников, живущие обвинением, торгующие клеветой; всегда готовые предать невинность ненависти, богатство корыстолюбиею; тогда все сделалось государственным преступлением. Тогда было ужасно говорить о правах человечества, славить добродетель, сожалеть о несчастных, любить искусства, души возвышающие; ужасно призывать священное имя законов. Слова, движения, самое молчание обвиняли! Что я говорю! Таинственные мысли были истолкованы, искажаемы! Искусство доносчиков на все изливало свою отраву. И доносчики сии были осыпаны сокровищами империи, и сан их возвышался по мере их унижения. Какое же убежище оставалось невинности в такой земле, где умерщвлялись во имя законов. Увы! Нередко и самое имя законов не произносилось. Грозное, без всякой препоны самовластие отнимало свободу, изгоняло и лишало жизни! Таково было сие тиранское правосудие, которое волею одного человека заменяло могущество закона, которое случай или заблуждение одной минуты обращало в вину, отъемлющую жизнь или имущество у гражданина; ужасное своими ударами невидимыми, неизвестными, дающее чувствовать несчастному одну силу поражения и сокрывающее от него поразившую, повергающее его в бездну темницы, навеки разлучив со всей природой, оставив ему жизнь для беспрестанного ощущения смерти, забыв его навсегда, не знающего ни преступления своего, ни обвинителя, лишенного свободы, которой прелестный образ уже никогда не оживит его сердца, лишенного подпоры законов, безмолвных и неслышимых во мраке заточения.

Томас. (Похвальное слово Марку Аврелию)

Падение Протезилая

Эгезипп пошел в Протезилаев дом, не столь великолепный, как царский, но приятнейший и построенный с большим вкусом: Протезилай расточил на него несметные суммы, орошенные кровью и слезами несчастных. Он находился тогда в прохладной галерее неподалеку купален своих и лежал, небрежно раскинувшись на пурпуровом ложе, украшенном золотым шитьем и великолепною бахромою. Он казался усталым от трудов, утомленным; в глазах его изображалось какое-то беспокойство, мрачность и суровость. Знатнейшие вельможи государства сидели вокруг него на коврах и применяли лица свои к лицу Протезилая, которого все мановения замечались их острыми взорами. Лишь только отворял он уста, все восклицали, удивляясь тому, что он сказать был намерен. Один из самых знатных рассказывал ему, с пышными украшениями, о том, что сам он сделал для государя. Другой уверял, что Юпитер обольстил его мать и что он есть сын верховного бога. Один поэт, в громкой оде, называл его питомцем Муз, соперником Аполлона, другой, бесстыднейший, доказывал стихами, что он настоящий изобретатель изящных художеств, отец народов и счастлив, и представлял его с рогом изобилия, из которого цветы и плоды сыпались. Протезилай внимал сим похвалам с сухим презрением и рассеянностью, как человек, уверенный, что все они еще недостаточны и что он многомилостив, позволяя хвалить себя. Один льстец осмелился сказать ему на ухо нечто смешное насчет Менторовых заведений, Протезилай улыбнулся, все собрание засмеялось, хотя никто не слышал сказанного. Протезилай принял опять угрюмый надменный вид свой, и все опять

утихло, все опять явилось покорным и смиренным. Некоторые из вельмож с терпением ожидали той минуты, когда Протезилай на них взглянет и позволит им говорить; они казались беспокойными, смущенными, они ожидали милости; умоляющий вид красноречиво говорил за них. В своем унижении они подобились матери, простертой пред алтарем и воссылающей мольбы к небу о жизни единственного милого сына: все казались довольными, приверженными к Протезилаю, хотя во всех таилась неумолимая к нему ненависть. В сию минуту входит Эгезипп, берет его меч и объявляет, что он сослан на остров Самос в заточение. При сих словах надменность Протезилая пала, как камень, скатившийся с высоты горной. Он лежит у ног Эгезиппа; он плачет, трепещет, говорит, заикаясь, объемлет колена сего человека, которого за час перед сим не достаивал ни единого взгляда. Все пресмыкавшиеся пред ним, за минуту видя его погибшего, мгновенно переменяют вид свой и вместо лести обременяют его поношениями и укоризнами.

Фенелон. (Телемак)

Клазомен²⁴, или Страждущая добродетель

Клазомен испытал все бедствия человечества. Юношеские радости его увяли в болезнях, постигших его еще в колыбели. Будучи определен для чувствительнейших горестей, он в самой нищете сохранил гордость и честолюбие. Друзья забыли его в несчастии. Оскорбления поразили его добродетель; он был обижен и лишен возможности отомстить оскорбителю. Ни дарования, ни трудолюбие неусыпное, ни страстная любовь к добру — ничего не смягчило жестокой его участи; самая мудрость не предохранила его от незагаданных проступков. Он терпел несчастия и незаслуженные, и неосторожностью на него навлеченные; и в то самое время, когда фортуна, казалось, утомилась его преследовать, он похищен смертью, сокрылся во цвете юных лет.

Умирая, мучился горестной мыслью, что после него не останется довольно имущества для заплаты его долгов: добродетель его не спаслась от сего нареkania. Скажите, найдется ли подобная сей участь? Кто изъяснит мне, почему искусные игроки нередко разоряются от игры, а неискусные богатеют. Отчего в иные годы нет ни весны, ни осени, и плоды увядают в своем цвете! Со всем тем Клазомен не согласился бы отдать своих бедствий за счастье слабого. Фортуна может играть мудростью добродетельного человека, но вся напряженная сила ее не поколеблет его мужества.

Вовенарг

Затмение солнца в Перу

Светило, божество сего климата, вдруг помрачилось посреди неба ясного и спокойного; незапно черная ночь покрыла землю. Тень его простиралась не с востока: она пала с высоты неба и вдруг раскинулась по всему горизонту. Сырой холод разливался по всей атмосфере: животные, неожиданно лишенные благотворной теплоты и света, их озаряющего, унылые, неподвижные, кажется, вопрошают друг друга о причине сего непредвиденного мрака. Их природный инстинкт, считающий минуты, говорит им, что минута их спокойствия не наступила еще. В лесах они перекликаются трепещущим голосом, удивленные, что не видят друг друга; в долинах они сходятся, теснятся и дрожат. Птицы, при свете дня в высоту поднявшиеся, пораженные

мраком, не знают, куда стремиться. Горлица слетается с ястребом и пугает его. Все живущее объято страхом. Самые растения ощущают его. Как будто мир, потрясенный, готов рассыпаться и исчезнуть; как будто могущая река жизни, вдруг неподвижная, иссякла в своих источниках.

А человек?.. Ах! В нем размышления присоединились к ужасам инстинкта; все ужасы без силы предусмотрительности; мучимый любопытством, он, в слепоте своей, обращает в призрак все, для него непонятное, он предпочитает страх неведению и мучит душу свою грозными предвещаниями. О, сколь в сии минуты счастливы оные народы, которым мудрец открыл таинства природы. Без трепета узрели они помрачение солнца, на самой середине его поприща, без трепета ожидают того времени, когда оно рассыплет тьму и снова явится лучезарным и животворящим. Но как изобразить ужас, как изобразить смятение обожателей сего светила! Божество их, окруженное всеми лучами своими, на самой высоте неба, вдруг исчезает: и причина, и продолжение сего чуда им неизвестны. Город Квито²⁵, город солнца Куско²⁶, воинства инков, все в унынии, все трепещет и теряет мужество.

Мармонтель. <Инки>

Несчастья 1709 года²⁷ и человеколюбие Фенелона

Оно еще не изгладилось из памяти нашей, сие ужасное бремя бедствий, сей гибельный год, злополучнейшая эпоха при конце царствования Людовика, — сей год, в который небо, казалось, хотело наказать Францию за надменность ее величия, хотело помрачить сие столетие в ее летописях. Земля бесплодная под струями крови, по ней льющейся, является жестокою, неумолимою, подобно людям, ее опустошающим, и они убивают друг друга, издыхая от голода. Народы, обремененные пороками, недостатками, несчастною войною, лишены мужества и надежды. Съестные припасы истощились, необъятная цена их ужасает нищету и тяготит самое изобилие. Тщетно войско, единственная защита Франции, ожидает из магазинов своего пропитания. Жестокость разрушительной зимы не позволила их наполнить. Фенелон первый являет пример великодушия, он отдает все богатство полей своих; соревнование распространяется; окрестные места желают подражать ему, все хотят быть щедрыми в самой крайности. Болезни, неотвратимое следствие голода, и недостаток начинают свирепствовать в войске и провинциях. Нападение неприятеля соединяет ужас и уныние к сим многочисленным бедствиям. Села и поля опустели. Их устрешенные обитатели скрылись в городах; недостаток убежищ для несчастных. Тогда-то явилась чувствительность Фенелона во всей своей силе, тогда узрели ясно, что любовь ко всем человекам не исключает любви к отечеству в благодарном сердце. Его жилище открыто для больных, для раненых, для бедных без разбора. Он жертвует своим имуществом для доставления убежищ тем, которых в доме своем поместить не может. Он печется об них отечески с заботливостью, поощряет других к попечениям. Ни зараза, ни ужас всех человеческих болезней, перед ним скопившихся, ничто его не отвращает: он видит одно страждущее человечество; он друг, он утешитель, он святое провидение сих страдальцев. О! Кто не тронется во глубине сердца, видя сего человека, почтенного своими летами, своим саном, своим просвещением, сего божественного смертного, подобного гению-благодетелю, стоящего посреди сих несчастных, подъяемлющих к нему руки с благословениями, подающего

им помощь и отраду и самым трогательным примером подтверждающего свои трогательные наставления в добродетели.

Лагарп. ⟨Похвальное слово Фенелону⟩

Буря и змеинная пещера в Перу

Грозный отдаленный шум предшествует борению ветров. Они со всех сторон с ужасным свистом поднимаются. Густая ночь покрывает небо и смешивает ее с землею. Молния, быстрыми огненными браздами рассекая черный покров, усугубляет его мрачность. Громы, катящиеся в пространстве и как будто горами отражаемые, наполняют воздух непрерывным гулом, подобным реву морей, то утихающему, то с новою силою восстающему. Гора, потрясенна громом и ветрами, разверзается, и быстрые потоки с ужасным шумом стремятся к ее утесам. Животные в страхе бегут из леса в поле, и три путешественника, при свете молнии, видят льва, тигра, леопарда, гиену, мимо их идущих и подобно им трепещущих. При сей общей гибели природы зверинство, ярость исчезли, все укротилось боязнию.

Один из проводников Алонцо взбирается в ужасе на крутизну скалы. Поток, стремительно бегущий, отрывает его и уносит: и он, вместе с камнем скатившийся в волны, в них исчезает. Другой индеец хочет сокрыться в дуплистом древе: пламенные столбы нисходят с облаков, воспаляют древо, и несчастный вместе с ним обращается в пепел.

Между тем Молина истошил силы в борении с волнами: он пробирается вперед, хватаясь за сучья, за древесные корни, оставил своих путеводителей, он занят сохранением собственной жизни своей, ибо есть минуты у жизни, в которые сострадательность исчезает и человек, в самого себя погруженный, к одним только своим страданиям чувствителен. Наконец он видит себя у подошвы крутого утеса при входе пещеры, которая дикостью и мрачностью в другое время поразила бы его ужасом. Израненный, но исполненный благодарности к небу, утомленный усталостью, он тащится под своды ее и падает на землю в совершенном бессилии.

Наконец буря утихла, громы и ветры замолчали, воды потоков успокоенные потекли без реву. Молина, склоненный ко сну, погрузился в забвение: но вдруг новый шум, ужаснейший самого грома, пробудил его; шум сей, подобный трению камней, происходил от множества змей, которым пещера служила гнездилищем. Своды ее были ими покрыты, усеяны. Переплетшись между собой, они беспрестанным движением производят оный шум, которого причина известна Молине. Он знает, что змеи сии вооружены ужаснейшим ядом; что пламень быстрый и снедающий проливается в жилы несчастного, ими уязвленного, и умерщвляет его посреди мучений самых чувствительных и нестерпимых; он слышит их шипение; он видит их, перед собою пресмыкающихся или над ним висящих, или свернутых в кольцо и на него устремиться готовых. Истощенное мужество его исчезает; кровь леденеет; он боится дышать, хочет ползти из пещеры и содрогается: нога его может наступить, рука наложиться на грозных пресмыкающихся.

Обвитый хладом и трепетом, неподвижный, окруженный тысячею смертей, он проводит мучительнейшую ночь, желая, ужасаясь дневного света; стыдясь своего страха и не имея сил преодолеть сей слабости. При блеске зари он увидел весь ужас своего положения, который превзошел самое предчувствие. Надлежало умереть или

бежать. Он собирает последние силы, подымается медленно, сгибается и, опершись руками на трепещущие колена свои, выходит из пещеры, бледный, обезображенный, подобный привидению, из могилы встающему.

Он спасен тою же бурей, которая привела его к гибели, ибо змеи, подобно ему приведены в ужас, робость громом и вихрями, потеряли всю свою жестокость: животные, гонимые опасностью, перестают быть вредными. Ясный день утешал природу, опустошенную во время ночи. На земле, освободившейся от бури, являлись повсюду следы ее, ознаменованные разрушением. Леса, накануне до облаков досягавшие, лежали простерты на земле, иные разгибались и трепетали еще как будто ужасом пораженные! Холмы, которые представлялись взорам Алонца во всей пышности цветов и зелени, были отверсты, обнажены, изрыты. Старые деревья, сосны, кедры и пальмы, сорванные с гор, были рассеяны по равнине, которую покрывали своими разбитыми корнями, своими изломанными ветвями.

Стремление протекших вод было означено огромными скалами, оторванными от гор, по сторонам глубоких рвов, ими сделанных, было несчетное множество животных, тихих и жестоких, робких и яростных, поглощенных водами и опять ими изверженных.

Между тем утреннее блистание дня оживляло леса и равнины. Казалось, что небо, с ними примиренное, смотрело на них с улыбкою милосердия и любви. Животные, которых буря пощадила, начинали наслаждаться жизнью; птицы и дикие звери забыли прошедший ужас: благодетельный дар природы — скорое забвение несчастий, в котором она одному человеку отказала.

Мармонтель. <Инки>

Извержение вулкана

Внезапно тишина ночи прерывается ужасным шумом; слышен отдаленный рев моря, которое надулось, всколебалось и ударило в берега своими волнами, в глубоких подземельях раздались глухие удары, земля содрогнулась. Вдруг ближняя гора с треском разверзается, и пламенный столб стремится из жерла ее к облакам. Багровое зарево пылает на черном небе; огромные, раскаленные камни сыплются градом, раздаются грома; огненное море в быстром стремлении наводняет равнины, леса, горы, и вся поверхность земли является обширным пожаром. Куда бежите вы, несчастные смертные? Куда сокроетесь от гибели, всем грозящей! Пропасти открываются под ногами вашими. Пламенные вихри, пепел, дым и камни на вас стремятся; и пенное море, озаряемое блистанием молнии, подымается из берегов и идет поглотить вас своими волнами.

Между тем ужасные явления исчезают мало-помалу. Огни перестают пылать; море, полностью успокоенное, возвращается с глухим воем. Земля опять неподвижна. Все успокаивается, и день показался.

Какое горестное и ужасное зрелище представляют опустошенные окрестности, покрытые буграми пепла, разбросанными обломками утесов, потоками пламенной лавы, деревьями, до половины сожженными и дымящимися, и печальными остатками несчастных погибших посреди сего опустошения. Облачное небо озаряет сии предметы бледным и тусклым сиянием; грозное безмолвие царствует в воздухе: отдаленные грома возвещают новые несчастья; и море ответствует глухим ревом ужас-

ному шуму, слышимому в глубоких пещерах подземных. Люди, пораженные страхом, унылые, стесненные в узком пространстве, до которого пламя не достигнуло, поднимают руки к небу и молят о пощаде всемогущего повелителя морей и громов. Молитва и непродолжительна, и трогательна; они многократно возобновляют ее, всякий раз с новым сильнейшим чувством, как будто желают пробудить слух божества и тронуть его милосердие: сильные чувства, их волнующие, страх, отчаяние, беспокойство живо изображаются в их голосе воплями.

Ласепед. (Поэзия музыки)

Зараза в Афинах

Никогда язва сия не опустошала столько климатов в одно время. Она протекла Египет, Эфигению, Ливию, часть Персии, остров Лемнос и другие земли. Купеческое судно принесло ее в Пирей, откуда она распространилась по всему городу и особенно заразила сии мрачные и смрадные жилища, в которых обитатели сел собираются. Болезнь постепенно распространяется по всему телу; начала ее были ужасны, успехи быстры, следствия почти всегда смертельны. Бессонница, страх, рыдания, сильные конвульсии мучили страждущих. Жестокий пламень пожирал их внутренности.

Они шатались по улицам, покрытые струпьями и пятнами, с горящими глазами, стесненною грудью, растерзанною внутренностью, ядовитое дыхание с трудом выходило из уст их, покрытых черною, нечистою кровью; они с жадностью впивали в себя воздух и бросались в колодцы, на реки, покрытые льдинами, не будучи в состоянии утолить жажды, которая их палила.

Большая часть умирала в седьмой или девятый день, когда позже, то с неопи- санным и продолжительнейшим мучением. Напротив, не умерщвленные болезнью больше ею не заражались. Но утешение ничтожное! Сии несчастные представляли одни обезображенные остатки собственного бытия своего. Иные лишались несколь- ких членов, другие памяти, с которою теряли понятие о бедственном своем положе- нии; но, увы, они уже не узнавали друзей своих.

Одни и те же пользования имели действия вредные и тлетворные; болезнь как будто (здесь явно пропущено Жуковским словом.—И. А.) над всеми правилами, на опытах основанными. Царь Артаксеркс²⁸, которого провинции, пораженные зара- зою, опустошались, захотел призвать Гиппократу к ним на помощь; он думал осле- пить его золотом, чинами; но великий человек отвечал великому царю, что не имеет ни честолюбия, ни желания, что он обязан служить грекам, а не врагу их. Он поехал в Афины, где принят был с чувством благодарности, тем сильнейшей, что многие из лекарей афинских сделались жертвами своего усердия и человеколюбия. Он исто- щил все свое искусство; несколько раз подвергался опасности заразиться, но труды его не увенчались тем успехом, которого сии пожертвования добродетели, сии вели- кие дарования были достойны; по крайней мере, он принес отраду и оживил угас- шее мужество.

Говорят, что Гиппократ велел для очищения воздуха зажигать огни по улицам; другие уверяют, что первый, употребивший сие средство с успехом, был *Акрои*²⁹, лекарь агригентский.

Сначала видели множество примеров детской любви, дружбы великодушной и героической, но они были всегда напрасны и впоследствии сделались редкими.

Тогда разорвались святейшие связи; глазам, готовым закрыться и угаснуть, представлялись отовсюду пустота и уединение; слезы перестали орошать мертвых.

Сие ожесточение произвело необузданный разврат. Потеря такого множества добродетельных людей, брошенных в один гроб с злодеями, падение стольких домов блестящих и знатных, чьих остатки достались в добычу гражданам слабым, неизвестным и недостойным, поразили сильно воображение людей, обуздываемых одним страхом. Уверясь, что более не приемлют участия в добродетельности и что наказание законов не так быстро, как смерть, им угрожавшая, они решились воспользоваться жизнью, которой непостоянство и превратность была так очевидна, и наслаждаться быстротою кратких немногих минут, судьбою им оставленных.

По истечении двух лет язва несколько успокоилась. Но скоро явилась она в новой силе, свирепствовала целый год, и те же сцены ужаса и горести возобновились. Во все ее продолжение погибло множество граждан, между прочим, пять тысяч мужей, способных носить оружие, и с ними человек, которого потеря ничем не могла заменить. Перикл³⁰, умерший в третий год войны от следствия сей болезни.

Бартеlemi. (Анахарсис)

Смерть Марка Аврелия

Кто из вас, о граждане Рима, не желал сему великому человеку бессмертия или не просил от богов продолжительной старости? Увы! Сии благотворные души так редки, и земля наслаждается ими так мало! Бедствия гонят, утесняют нас и лишь только является могущий дух для утешения страждущих, лишь только мир, увядший в несчастьях, подымается и начинает предчувствовать свое блаженство, подпора его падает. Хранитель его скрывается и вместе с одним человеком исчезает счастье целого столетия. Марк Аврелий еще два года пробыл посреди нас. Вечные врата Рима в третий раз увлекли его в Германию³¹. Слабый здоровьем, он возвратился на берега Дуная. Там лишились мы его, трудами обремененного. Я видел его в последние минуты. Он был все тот же мудрец, великий человек, не смущаемый болезнью, покорный природе, которой законы познал размышлением. Аполлоний³² так некогда говорил: «Все изменяется, вчера вселенная была не та, которую видим нынче; наутро будет она другая. Посреди всех сих бесчисленных движений могу ли один остаться неподвижным? Я должен уступить стремлению. Все уверяют, что некогда бытие мое прекратится. Земля сия, на которой теперь существую, была жилищем миллионов, которые исчезли. Все сии летописи империи, все сии развалины градов, сии урны, статуи не говорят ли о том, чего уже нет!.. Сие солнце сияет над гробами». Так сей великий монарх-философ заране усиливал и приготавливал к размыслительной минуте свою душу: он не изумился, когда она наступила.

Внимая словам его, я возвышался душою. О римляне, великий человек, умирающий, имеет в себе нечто небесное, священное; отделяясь от земли, он, кажется, приемлет черты оного сего божества, с которым скоро соединится. Я с трепетом почтения прикасался к сим рукам, уже ослабевшим, и ложе, на котором он ожидал смерти, казалось мне святилищем. Между тем воинство было в унынии, ратник стонал под шатром своим; сама природа казалась облеченною в покров печали, и небо чернело, затмевалось тучами; бури колебали верхи лесов, окружавших лагерь, и мрачность сих предметов как будто согласовалась с нашею печалью. Он хотел несколько вре-

мени посвятить уединению, хотел перед лицом Всевышнего существа устремить взоры на протекшую жизнь свою и насладиться в последний раз своими мыслями. Наконец он повелел призвать нас. Все друзья сего великого человека, все вожди воинства оступили его ложе. Лицо его было бледно, взоры тусклы, уста уже мертвы. Но мы заметили нежное беспокойство, на челе его изображенное. Для тебя, о, государь, [Комод³³] оживился он на минуту! Умиравшая рука его представила тебя сим старцам, при нем служившим; он поручил им твою молодость! «Будьте ему вместо отца, — сказал он. — Ах! Будьте ему вместо отца». Тогда он дал тебе свои последние наставления, такие наставления, какие один умирающий Марк Аврелий может дать своему сыну, и скоро потом Рим и вселенная потеряли его.

Томас. (Похвальное слово Марку Аврелию)

Смерть Тюреня³⁴

Тюрень умирает — все смущается, фортуна колеблется, победа медлит, мир спешит удалиться, союзники в нерешимости, мужественные воины, убитые печалью, оживленные одним мщением; лагерь неподвижен; раненые забыли о ранах и помнят об одной потере своей; умирающие отцы посылают сыновей плакать над мертвым своим полководцем; воинство горестное и мрачное воздает ему последний долг, и слава, разносящаяся здесь необычайными слухами, поражает всю Европу чудесным описанием жизни сего человека и горьким, но бесплодным сожалением о его смерти.

Все плачет, все уныло в градах и селах, повсюду раздаются хвалебные оды. Один, видя расцветающие поля свои, вздыхает горестно и еще раз благословляет память их защитника; другой, в тишине мира наслаждающийся наследием отцов своих, молит Бога: «Да наградит спокойствием вечности сей усмиритель народов сего сохранившего сельские кровы от разорения». Здесь приносят святую жертву И. Христу, во спасение души великого мужа, и кровь, и жизнь отдавшего за отечество.

Там, вместо победного торжества готовят для него почести погребения; все устремляют взоры на сию жизнь, столь славную и прелестную и, увы, столь внезапно пресеченную; все хотят усладить свою печаль хвалением, и все, прерываемые слезами и вздохами, чуждятся протекшему, сожалеют о настоящем и трепещут будущего. Так целая земля оплакивает своего хранителя, и потеря единого человека есть бедствие всеобщее.

Флешье. (Надгробное слово Тюреню)

Первый человек в первые минуты бытия своего

И теперь еще помнят сию минуту радости и смятения, сию минуту, в которую ощутил я, в первый раз, чудесное бытие свое, не зная, кто я, где и откуда?

Открываю глаза: новое, сильнейшее чувство! Сияние дня, свод неба, прелестная зелень, светлая вода, все меня занимает, веселит и наполняет душу мою необъяснимым чувством удовольствия: думаю, что все сии предметы во мне, что все они составляют часть бытия моего. Устремляю глаза на солнце, поражаюсь сиянием, закрываю их, снова чувствую легкую боль в сию минуту мрака. Воображаю, что бытие мое прекратилось.

Пораженный, печальный, размышляю о сей чудесной перемене и в душе слышу звуки. Пение птиц, смешанное с тихим журчанием ветерка, производило гармонию, которой приятность очаровывает мою душу: слушаю долго и уверяюсь, что сия гармония есть Я.

Занявшись совершенно сим бытием нового рода, забываю о свете, другой части существа моего, прежде мне известной. В другой раз открываю глаза! Какая радость, сии блестящие предметы сделались опять моими; удовольствие мое сильнее прежнего. Прелестное действие звуков на несколько времени прекращается!

Смотрю на множество различных предметов и скоро замечаю, что могу терять их и снова находить, могу разрушать и возобновлять свободно сию прекрасную часть самого меня, которая по разнообразному действию света и красок казалась мне необъятно пространною, но заключенною только в некоторых теснейших пределах бытия моего.

Уже не смущаясь, начинаю наслаждаться зрением и слухом. Веет свежий благотворный ветерок, и новое внутреннее чувство меня оживотворяет: ощущаю некоторую любовь к самому себе.

Движимый силами разнообразных ощущений, волнуемый удовольствиями сего бытия, столь прелестного и великого, вдруг встаю, и мне кажется, что неизвестная сила меня увлекает, ступаю шаг, и новость от положения делает меня неподвижным, останавливаюсь в несказанном изумлении; мне казалось, что бытие мое убежало: с моим движением менялись предметы, воображаю, что все пришло в беспорядок.

Кладу руку на голову; ощупываю лоб, глаза, все тело и нахожу, что рука есть главный орган существа моего. Ее впечатления так явственны, так полны, мое удовольствие так совершенно в сравнении с тем приятным чувством, которое возбуждалось во мне светом, звуками, что я прилепляюсь всеми силами к сей твердейшей части бытия моего, и мысли мои делаются тверже, существеннее. Каждая часть моего тела отвечает моим чувством на чувство, и каждое прикосновение производит в душе моей двойную идею.

Скоро замечаю, что сия способность ощущать разлита по всему моему составу, и наконец узнаю пределы бытия моего, казавшегося прежде обширным и необъятным.

Смотрю на свое тело, нахожу его столь великим, что все предметы, доселе представавшие глазам моим, кажутся в сравнении с ним одними блестящими точками.

Долго рассматриваю себя со вниманием, с удовольствием, следую глазами за рукою, замечаю ее движения. Все сие производит во мне самые странные понятия; движение руки мне кажется бытием преходящим, исчезающим, попеременным явлением одиноких предметов; подношу ее к глазам, нахожу, что она обширнее всего моего тела; множество предметов, прежде видимых, за нею скрывается.

Начинаю подозревать, что сие чувство, зрением производимое, обманчиво.

Знаю по опыту, рука есть малейшая частица моего тела, не понимаю, каким чудом могла она так чрезмерно расшириться, наконец, решаюсь не верить никакому образу бытия и чувства, кроме осязания, которое еще не было обмануто.

Сия предосторожность была не бесполезна. Иду вперед, подняв голову к небу, нахожу на пальму, пугаюсь и кладу руку на сей предмет, который кажется мне чуждым, потому что не отвечает чувством на чувство. Отвращаюсь с некоторым ужасом и в первый раз узнаю, что есть вещи, вне меня существующие.

Пораженный сим новым, из всех важнейшим для меня открытием, долго не могу успокоиться, наконец, по некотором размышлении, полагаю, надобно судить

о других предметах так, как я судил о моем теле, и уверяться в существовании их осязанием.

Хочу ко всему прикоснуться, хочу осязать солнце, обнять горизонт и нахожу одну пустоту воздуха.

При каждом новом опыте изумляюсь: все предметы кажутся равно ко мне близкими, наконец, повторяя опыты, научаю глаза управлять рукою. Но понятия, осязанием сообщаемые, не сходятся с идеями зрения, и в мыслях моих происходит несогласие, мои суждения несовершенны, все бытие мое представляется мне беспорядочным.

Занимаюсь собою, тем, что я был, что буду. Беспредельные противоречия погружают меня в уныние, все кажется мне сомнительным, нерешимость сия беспокоит, волнует мою душу, чувствую слабость, колена мои подгибаются, погружаюсь в приятное забвение, сия минута спокойствия дает новые силы моим чувствам.

Сию под тенью прекрасного дерева; плоды, красного цвета, висят кистями над моею головою; стираю руку, прикасаюсь к одному из них, он падает, как фига во время ее зрелости. Беру плод, радуюсь своей добыче, веселюсь способности заключать в руке целое существо, тяжесть плода кажется мне оживленной сопротивлением, которое мне приятно побеждать.

Приближаю плод к своим глазам, рассматриваю цвет его и образ; чувствую приятный запах, еще приближаю, прикасаюсь им к губам, вдыхаю в себя сладость благоухания, наслаждаюсь и чувствую, что внутренне им наполнен, отворяю рот, хочу выдохнуть, закрываю опять, чтобы опять им наполниться, и нахожу в себе внутреннее чувство обоняния, тончайшее, нежнейшее первого; наконец вкушаю. Какая сладость! Какое новое ощущение. Прежде я имел одни удовольствия, теперь узнаю чувство роскоши. Непосредственность наслаждения возбуждает во мне идею собственности, думаю, что сущность сего плода сделалась моею; что я могу преобразовать творение.

Горжусь своим могуществом. Подстрекаемый удовольствием, срываю другой, третий плод, радуюсь движениям руки моей, наслаждаюсь вкусом. Но скоро приятное расслабление меня объемлет: чувства мои в бездействии, члены в утомлении, деятельность души моей остановилась: течение мыслей моих медленно. Все предметы представляются мне помраченными, неясными, глаза мои, уже бесполезные, смыкаются; голова, не поддерживавшаяся силою мускулов, клонится, падает; опускаюсь на траву; все изглаживается, все исчезает; след мыслей моих прерывается. Теряю чувство бытия.

Сон мой был глубок: не могу сказать, продолжителен или краток, ибо не имел еще понятия о времени и не знал, как оно изменяется. Пробуждаюсь, как будто снова рождаюсь, и только чувствую, что переставал существовать. Сие кратковременное уничтожение вызывает во мне идею страха. Я думаю, что бытие мое не вечно и должно кончиться.

Новое беспокойство во мне рождается: хочу знать, не потерял ли во сне какой-нибудь части существа моего, испытываю свои чувства, снова себя рассматриваю.

В сию минуту светило дня, приближенное к концу своего поприща, угасло, не примечая, что зрение мое затмевается, не боюсь ничтожества, бытие мое утвердилось, и мрак уже не вызывает во мне той идеи, которая с первым сном возбудилась в душе моей.

Бюффон. (О человеке)

〈КАРТИНЫ〉

〈Достоинство человека, возвышенность его природы〉

Мужчина имеет силу, величество, женщина — красоту, приятность. В том и в другой видим властителей природы! Все в человеке, самая наружность, показывает превосходство над прочими тварями. Он прям, возвышен, одарен видом повелителя. Голова его поднята к небу и представляет привлекательный образ, озаменованный печатью высоты. В его физиономии сияет душа, во всех телесных органах, во всякой черте лица, оживленного небесным огнем, видно совершенство его природы. Величественность стана, смелая, мужественная поступь возвещает сан его и благородство; он прикасается к земле одними крайними частями тела, видит ее в отдалении, как будто ею пренебрегает; его рука служит опорой телесной тяжести, не должна попирает земли, не может беспрестанным трением лишиться тонкости осязания, которым одарена отличительно; должности ее благороднее, она исполняет повеление воли, стремится за отдаленными вещами, отклоняет препятствия, отражает удары; удерживает приятное и наделяет им другие чувства.

Если душа спокойна, то все черты лица представляются в каком-то безмятежном состоянии: их соразмерность, согласие, целостность изображают сладкую гармонию мыслей и отвечают тишине внутренней. Если душа в волнении, то человеческий образ кажется живою картиною, на которой все страсти выражены сильно и нежно, где всякое движение души озаменовано чертою, всякое действие знаком, которых быстрое, живое впечатление упреждает воля, нас обнаруживает и открывает все тайны сокровеннейших волнений наших.

Но совершенно выражаются они взорами: глаз принадлежит душе непосредственно, предпочтительно перед другими органами. Он участвует во всех ее изменениях, выражает живейшие страсти, стремительнейшие движения, самые нежные чувства, самые сладкие впечатления, выражает во всей их силе, во всей их природной чистоте, быстрыми чертами, которые переливают пламень, образ, действие одной души в другую; согревает теплою чувства и, так сказать, отражает сияние мыслей, он есть орган ума, а язык — рассуждения.

Бюффон. 〈Натуральная история〉

Происхождение человеческой деятельности

Нужды производят человеческую деятельность, телесную и умственную: по мере их развития и обширности она развивается, усиливается. Можно следовать за ее постепенным приращением от самого простого ее состояния до самого сложного. Голод, жажда возбуждают в человеке еще диком первые движения души и тела; велят ему бегать, искать, примечать, употреблять хитрость или насилие: вся деятельность отвечает тем способам, какими он может доставить себе пропитание. Если они легки, если земные плоды, рыба и дичь у него под рукою, то он не столь деятелен, ибо должен только протянуть руку, чтобы утолить свой голод и насытиться; не имеет нужды ни о чем заботиться по тех пор, пока не испытает многих разнообразных наслаждений, которые, наконец, делаются новыми нуждами и, следовательно, новыми побуждениями к деятельности. Есть ли способ затруднительнее? Если дичь

быстра и малочисленна, рыба осторожна, плоды недолговременны, то человек, принуждаемый чаще действовать, приучает ум и тело побеждать препятствия, делается быстрым, как дичь, осторожным, как рыба, предусмотрительным для сохранения плодов своих. Тогда желание расширить свои природные способности начинает его беспокоить. Он задумывается, размышляет, он делает лук из крепкой согбенной ветви, стрелу из тростника, топор из острого камня, прикрепленного к палке, он вяжет сети, рубит деревья, выдалбливает пни для челноков. Уже он преступил через пределы простых потребностей, уже познал опытом удовольствие и неудовольствие, уже возбуждает свою деятельность, желая умножить количество первых и отклонить от себя последние. Он наслаждался прохладой тенистого дерева и строит хижину; испытал, что звериная кожа согревает, и делает одежду; знает вкус вина, курил табак, полюбил их, желает чаще ими наслаждаться; должен платить за свое удовольствие мехом, слоновою костью, золотым песком и прочее, удваивает деятельность, становится промышленнее и, наконец, научается продавать человека, ему подобного.

Волней. (Путешествие в Сирию)

Смерть Сократа³⁵

Смерть добродетельного сама по себе возносит, восхищает душу! Но если сей добродетельный гоним пороком, если невежество предает в руки палача божественную истину, если непорочность казнится как преступление, если в минуту смерти она не имеет перед собою никого, кроме Бога и малого числа друзей, по ней рыдающих; если она благословляет своих гонителей; если из мрака темницы, в которой она борется со смертью, мирные взоры ее безмятежно стремятся к небу; если прощаясь с людьми, она в последние минуты занимает их благом и наставлениями, если, наконец, погибнув, она одна счастлива, а злоба, ее погубившая, одна терзается и страждет, то в целой природе не найдем зрелища величественнейшего, святейшего.

Томас. (Опыт о похвальных словах)

Сюлли, удалившийся от двора³⁶

История изображала мудрецов уединенных, героев гонимых, но Сюлли в несчастье всего разительнее: в тишине убежища он имел образ добродетели спокойной, великой, не подчиненной ни человекам, ни царям, ни фортуне. Его душа всему сообщает возвышенность. Многочисленная толпа служителей, стражей, оруженосцев, конюших, дворян. Роскошь не суетная, но великолепная, пышность и важность в обрядах, почтение вассалов, покорность знаменитого семейства; обширность комнат, украшенных изображением славных деяний Генриха и его министра³⁷; сады, в которых царствовали простота и величие. Посреди сих предметов Сюлли, покрытый сединами, свято хранящий обычаи праотцев и носящий на груди Генрихов образ, священная важность его бесед, взоры его величественные и спокойные, возвышеннейшее место его в кругу семейства, почтительность, с какою принимались в доме его старцы, робкое молчание и покорность юношей, приводимых отцами удивляться сему великому человеку; все сие вместе производило нечто сверхъестественное; наполняло сердце каким-то живым чувством, которое возвышало душу изумленную, растроганную. О святость прародительских нравов, столь неизвестная нашему времени! Так

провел он тридцать лет жизни в уединении, не жалуясь на людей, забыв их несправедливость, оплакивая своего старого короля, повинуясь новому, почитаемым и нетерпимым кардиналам*, наконец, всего лишенный, кроме одной добродетели.

Она сопутствовала ему до гроба.

Смерть прекратила сию жизнь, почти столетнюю, которой одна половина была, другая могла быть посвящена благоденствию отечества.

Томас. <Похвальное слово герцогу Сюлли>

Скромность Тюреня

Кто сделал столько великого и кто смиреннее в словах своих: одержал ли он победу? Слыша слова его, думаешь, что неприятель ошибся, что не искусство сделало его победителем! Описывать ли сражение? Ничто не забыто, кроме того, что он его выиграл. Говорит ли о славнейшем своем подвиге? Почитаешь его простым свидетелем происходившего, не знаешь, кому верить, словам ли полководца или его славе! Возвращается ли с поприща славных браней? Взор твой напрасно его ищет, он убегает рукоплесканий, он краснеет от побед своих, боится приветствий, не смеет приближаться к государю, которого похвалы из почтения должен выслушивать.

В сладкой тишине простого состояния сей великий человек, сбросив тяготу военной славы, ограниченный малым кругом своих друзей, невидимый, неслышимый, откровенный в беседе, простой в делах, верный в дружбе, точный в исполнении должностей, умеренный в желаниях, великий в самых малых вещах, наслаждается безмятежным удовольствием гражданских добродетелей. Он таится, но слава его открывается: он идет один в толпе, но всякий его мысленно ставит на торжественную колесницу. Видя его, считаешь врагов, им побежденных, а не служителей, за ним идущих; он один, но воображаешь его, окруженного добродетелями, победами: непонятное величие соединено с сею простотою, великий человек в своей скромности кажется божественным.

Флешье. <Надгробное слово Тюреню>

Тюрень в минуту сражения и побед

Бывают случаи, когда человеческая душа слишком собою наполнена, подвергается опасности забыть самого Бога. Устремим взоры на сего мужа, возвеличенного могуществом ума, чудесной неустрашимостью, силою руки, бесчисленностью полков, ему покорных, являющегося не смертным, а больше богом, восхищенного своею славою, наполняющего землю слухом, удивлением, любовью.

Самый наружный образ войны, звук и сверканье оружий, порядок воинства, молчание ратников, ярость битвы, начало, успехи совершенной победы, восклицания побежденных и победителей неодолимо действуют на душу, со всех сторон поражаемую. Тогда слабый остаток смиренности в ней исчезает, она забывается; не помнит Бога. Тогда безбожные салмоней³⁸ дерзают подражать небесному грому и отвечают ему земными; тогда нечестивые антиохи³⁹ не доверяют (*нрзб.*) ничему, кроме руки

* Ришелье.

своей и мужества, тогда горделивые фараоны, ослепленные своим могуществом, восклицают: «Я создал самого себя». Но также тогда религия и кротость христианина сердцам, очарованным своею славою, но умиленным и покорным пред Богом, являются во всем величии, во всех своих прелестях.

Тюрень никогда сильнее не чувствовал, что есть Бог над главою его, как в оные чрезвычайные минуты, когда все другие о нем забывают. Тогда молитва его воспламеняется, тогда удалившись в лес, орошенный дождем, на коленях в грязи, он обожал сего Бога, пред которым легионы ангелов трепещут и исчезают. Израильтяне выносили в стан кивот завета и уверялись в победе; Тюрень почел бы свое воинство неогражденным и бессильным, когда бы в каждый день не освящал его принесением небесной жертвы, ниспровергшей все силы ада. Он стоял перед святынею с оным трепетом и умилением, которые поразили бы грубые души, столь нечувствительные при виде ужасных тайн.

В самые решительные минуты, когда победа вблизи явилась, когда самолюбие вождя могло заранее наслаждаться, он не дерзал оскорбить божества своею надеждою, слишком смелою. Вотще окрест его раздавались клики победы, вотще уверения в успехе со всех сторон стремились обольстить его душу: он усмирал свою радость, усмирал порывы гордого самолюбия и говорил с кротостью веры: «Если Бог не довершит своего подвига, если рука Его не поддержит нас, еще имеем время быть побежденными».

Маскарон. (Надгробное слово Тюрению)

Фенелон в Камбре

Он был всегда одинаков, спокоен в душе: приветлив, прост в обхождении, приятен, жив и обилен в разговоре. Важность его пасторского сана умерялась нежным, веселым его характером; религия Фенелона была привлекательна, любезна. Во время войны все чиновники отечественные и неприятельские, привлекаемые в Камбре славою епископа, приглашались к столу его без разбора. Он находил для них минуты посреди забот своего звания, многочисленных, утомительных. Сон его был краток, пища умеренна. Жизнь протекала в тишине и совершенной непорочности. Он не знал ни забав, ни скуки, увеселялся одною прогулкою и ее посвящал благотворению. Любил встречаться с поселянами и тогда сидел посреди их на траве, как святой Людовик под дубом венсенским⁴⁰. Он посещал их хижины, принимал с удовольствием дары гостеприимного простодушия, и, конечно, сии счастливые, которых он отличил своим посещением, не один раз, в веселии сердца, рассказывали новому поколению, перед глазами их рожденному, что в сельской их хижине был некогда Фенелон.

Лагарп. (Похвальное слово Фенелону)

Земля в гармонии трех царств природы

Рощи, кустарники, цветущая зелень суть украшение Земли, суть пышная ее одежда. Ничто не может быть так печально для взоров, как поле голое и неплодное, покрытое камнями, песчаное, болотное. Но Земля, оживотворенная природою, представляющаяся в брачной одежде, в пленительной гармонии трех царств, пред-

ставляет зрелище восхитительное, преисполненное жизни, привлекательное, волшебное, всегда разнообразное для души и взоров.

Чем живее чувствительность созерцателя, тем пламеннее, тем продолжительнее восторги его при виде сего совершенства и согласия. Тогда задумчивость сладкая, неизъяснимая пронизает всю его душу, он исчезает в некотором очаровательном упоении перед обширностью сей великой системы, с которою существо его кажется слившимся. Тогда он забывает частные предметы, все видит, все чувствует только в целом. Одни особенные обстоятельства могут стеснить его идеи, ограничить его воображение и побудить его душу заниматься по частям сею вселенною, которую он стремился объять в целом.

Ж.-Ж. Руссо

Натура дикая и натура образованная

Натура есть видимый престол величия Божия. Человек, рассматривающий ее внимательным оком, постепенно возвышается к невидимому престолу всемогущества. Он обожатель Творца и повелитель творений; он данник неба, владыка земли, он населяет, облагораживает, обогащает землю, он учреждает порядок, повиновение, гармонию между живущими тварями, украшает самую природу; обрабатывает, распространяет, образует: на место цикуты и терна разводит виноград и розу. Что представляется взорам в пустыне, которую никогда человеческая нога не попирала, в сих печальных странах, покрытых, или лучше сказать, обремененных густыми, черными лесами? Деревья без коры и без вершины, согнутые, преломленные, падающие от дряхлости; одни, простертые перед корнями других, на грудах уже сгнивших, давят, умерщвляют зародыши, готовые распусться. Здесь природа юная, цветущая повсюду, являет вид изнеможенный: земля подавлена, осыпанная развалинами своих произведений; вместо земли представляет дичь, непроходимую, заваленную старыми деревьями, которые покрыты нечистыми растениями, порослью, губкою, плоды гнилости и порчи! Все низкие места наводнены стоячею, зловонною водою, не имеющею протоков; везде трясины, топкие, ни твердые, ни жидкие, неприступные для животных, обитающих и в воде, и на суше; везде болота, поросшие дикою травю, гнездилище вредных, нечистых гадов.

Между сими заразительными болотами, в которых низкие места утопляются, и сими дряхлыми лесами, растущими на возвышениях, простираются пустыри, с нашими лугами не сходные. Напрасно будете искать на них сего прелестного дерна, который, как нежный пух, на земле пробивается, расстилается, сей благовонной муравы, испещренной цветами, возвещающей обильное плодородие. Увидим одни грубые растения, травы жесткие, колючие, одна с другою переплетенные, одна другую сплетающие; сдавленные, ссохшиеся, образующие грубый и твердый слой, подобный коре в несколько футов толщиною. Нет пути, нет сообщения, нет признаков жизни в сих неприступных пустынях. Человек, по ним бегущий вослед диким зверям, всегда подвержен опасности, всякую минуту может быть жертвою своей дерзости. Пораженный их рыканием, пораженный тишиною сих глубоких уединений, он не дерзает (идти — пропущено у Жуковского. — *И. А.*) вперед и говорить. Дикая натура печальна и мертва, один я могу ее украсить и оживить. Осушим сии болота, одушевим сии неподвижные воды, проведем на них каналы, источники. Употребим

сию деятельную, пожирающую стихию, которую природа от нас сокрыла и которую мы похитили силою; сожжем сию ненужную кору, сии древние леса, до половины истлевшие; довершим железом разрушения огня. Скоро на месте тростника и [косатника]* болотных трав, из которых жаба извлекает яд свой, увидим клевер, травы сладкие и питательные; веселые, шумящие стада наполнят сии поля, теперь пустынные и нетронутые, найдут на них изобильную пищу, приятные пажити, будут плодиться и множиться. Тогда найдем в них неутомимых сотрудников: тяжелый вол, покорный (*пфзб.*), напряжением сил своих покроеет поле браздами; земля обработанная обновится; новая натура выйдет из рук наших.

О, сколь прелестна сия обработанная натура! Как она блистает, как великолепна ее одежда под рукою человека! Но сам он есть первая краса ее, благороднейшее ее создание: он размножается, он как будто ее самое размножает. Его искусство извлекает из мрака все драгоценности, в недрах ее сокрытые. Сколько новых богатств, сколько неизвестных сокровищ! Цветы, плоды, семена усовершенствованные, размноженные до бесконечности. Роды полезных животных, переселенные из климата в климат, образованные до бесконечности, расплодившиеся роды животных опасных искореняются, ограниченные в числе, перемещенные из одного места в другое; золото, железо, нужнейшее самого золота, исторгнутые из земного недра, укрошенные потоки, реки сжатые, повинующиеся новому направлению, море покорное, измеренное, безопасное, из края в край обтеченное; земля, повсюду открытая, повсюду живая и плодотворная; в долинах приятные луга; на полях богатые пажити, великолепные нивы, холмы, украшенные виноградом и плодами, увенчанные младыми рощами, полезными деревьями; пустыни, обращенные в города, пышные, обитаемые многолюдною толпою народа, промышленностью, деятельностью, дороги открытые, наполненные путниками, повсюду сообщение, повсюду знаки общественного могущества и союза; тысячи других образов славы и силы доказывают, что человек, повелитель земли, обновил ее наружность, навсегда разделил владычествование вместе с природой.

Но его владычество не есть победа; скорее можно сказать, что он наслаждается, нежели властвует; он сохраняет силу свою одними заботами, одними трудами, беспреестанно возобновляемыми. Без них все изменяется, все вянет, все падает, все снова входит в подданство природы: она берет назад свои права, изглаживает произведения руки человеческой, покрывает пылью и мохом надменные памятники его величества, наконец, разрушает их, наконец, оставляет человека унылого посреди одних развалин. В сии времена, в которые человек теряет свое владычество, сии века варварства всегда приготавливаются войнами, всегда приходят с недостатком и опустением. Человек, могущий только в множестве и соединении, счастлив одним только миром, в безумной слепоте своей он вооружается, на свое несчастье и, поражая ближних своих, он погибает; подстрекаемый ненавистною алчностью, влекомый беспокойным честолюбием, он отказывается от человечества, обращает силы свои против самого себя, желает себя уничтожить, уничтожает, и после, когда протекут часы убийства и крови, когда разнесется туман славы, взорам его предстанут земля в опустении, падшие художества, рассыпанные нации, народы расслабленные, его собственное счастье в развалинах, его истинное могущество уничтоженным.

Бюффон

* На полях под знаком * записано: Nénufar.

Леса и обитатели холодных климатов

Под небом, всегда помраченным густыми облаками, едва пропускающим лучи дневные, простерты древние обширные леса. Там обитает ужас, ночь и безмолвие. Там высокие деревья, рожденные вместе с землею, возносят главы свои и, так сказать, сплетаются в беспорядке, одни с другими. В густом переплетении их ветви едва оставляют узкую тропу, поросшую колючим терновником. Огромные вершины, сгибаемые ветрами, обремененные дряхлостью, падают с шумом на древние пни, лежащие пред ними на грудах пней, уже сгнивших.

Все тихо в сих ужасных уединениях, в сих диких и мертвых пустынях. Повременно раздаются печальные крики хищных птиц, рев медведей, идущих за добычею, шум водопада, который стремится с крутизны утеса, разбивается в мелкие брызги и гремит, повторяемый отзывом, или падение скалы, обрушенной рукою времени и в глубине леса катящейся.

Там обитают в глубоких пещерах грубые, кровожадные люди. Звероловство есть их промысел, война — привычка их и удовольствие. Когда земля покрывает снегом сии печальные страны, когда неподвижные воды обращаются в лед и твердеют, когда море представляется одною пространною ледовитою стеною, сии жестокие дикари выходят из своих логовищ, бегают по снегам, протекают леса, вооруженные дубинами, ловят животных, опустошают целые селения и пожирают свои жертвы. Они повсюду разносят смерть, и сами ей подвергаются. Мучимые голодом, подстреляемые своим зверством, неустрашимые, грозные, сильные, оживленные воспоминанием побед протекших, пренебрегающие опасностью и погибель, сии люди громкими восклицаниями выражают свои ужасные чувства; они кричат, с усилием напрягают свой голос; страшное иступление оживляет их; дикое пение, вопли, голос варварства исторгаются из уст их вместе с восклицаниями смерти и бешенства.

Ласепед. (Поэзия музыки)

Натура в Южной Америке

Там, в оных странах Южной Америки, где натура, оживленная большою деятельностью, с высоты кордильеров орошает изобильными водами, которым человеческие руки никогда не полагали преграды, там, на тучных берегах потоков цветут пространные, древние леса.

Дерева омываются животворною сыростью, вечно зеленые, тенистые, представляют образ неиссякаемого изобилия; здесь натура во всей силе юности льет жизненные источники; не одни растения рождаются в сих пространных пустынях; жизнь, движение, разнообразность их украшают. Сии цветущие леса в ожидании человеческого владычества наполнены множеством животных, прельщающих своими чешуями, ярким цветом, живостью движения, быстротою бега или блистающими перьями, пышным убранством, легким полетом; все они представляют в сих счастливых климатах нового мира величественное, привлекательное зрелище, одушевленную сцену разнообразия. Там светлые воды протекают спокойно, там падают с ревом и стучом с высоты огромных утесов, производят облака светлой пыли, которые блистают тысячами радуг от лучей солнечных. Здесь пестрота цветов смешивается с живостью зелени, помрачается разнообразным блеском птиц. Здесь встреча-

ются во множестве яйцеродные, четвероногие огромные ящерицы с гладкими светящимися кожами, украшающие вершина деревьев и как будто разделявшие с пернатыми воздушную область.

Ласепед. (Натуральная история яйцеродных животных)

Прекрасная ночь в пустынях нового мира

Через час по заходе солнца луна показалась над деревьями, с востока вслед за нею прилетел благовонный ветерок, который как будто свежил ее дыханием; растворились внутренности леса. Царица ночи мало-помалу поднималась; и когда спокойно совершала уединенный путь свой, и когда сияла посреди светлых облаков, которые, подобно вершинам высоких гор, увенчанных сиянием сего облака, свивают и развивают покров свой, дымилась прозрачным туманом, то рассыпались клоками легкой пены, то плыли грядою, то составляли бугры ослепительного, нежнейшего пуха, столь приятного для взоров, что, кажется, можно было чувствовать его мягкость и упругость.

Зрелище на земле было не меньше восхитительно; голубоватый, кроткий блеск луны сиял в промежутках деревьев и некоторыми лучами проникал в самую глубокую мрачность. Река, протекавшая у ног моих, то исчезала в лесе, то снова являлась блестящею от ночных созвездий, которые в них изображались. Тени от берез, колеблемых ветерком, и кое-где рассыпанные по пустырям, казались черными плывущими островами посреди неподвижного моря лучей. Все было тихо и покойно. Иногда слышатся мгновенно шорохи падающих листьев, быстрый шум пролетающего ветра, прерываемое редкое стелание совы; в отдалении раздавался повременно величественный шум ниспадающей Ниагары, который в безмолвии ночи катился из пустыни в пустыню и умирал в лесах уединенных.

Возвышенность, чудесная меланхолия сего зрелища не могут изобразиться языком человека; прекраснейшая ночь Европы не может дать о нем понятия. Напрасно посреди обработанных полей наших хотим вознестись воображением; везде встречаются ему человеческие обитатели: но в оных обширных пустынях душа любит исчезать в пучине лесов, скитаться по берегам сих неизмеримых озер, парить над пропастями водопадов и, так сказать, являться уединенною пред Богом.

Шатобриан

Великий полководец и его воинство перед сражением

Сражение! Какая минута для великого полководца, для Катината⁴¹, уже привыкшего к победам, способного рассматривать ее глазами философа в то самое время, как он должен действовать как военачальник! Какое зрелище представляет сия толпа людей, со всех сторон соединенных, оживляемых, так сказать, единым духом вождя своего, возвеличенных друг другом, превосходящих самих себя, готовых совершить оные чудесные подвиги, которых они, оставленные на произвол собственной силы своей, никогда бы себе не представили. Ах! Все сие множество в руке великого человека, он должен преобразить его, чтобы им действовать; должен воспламенить в нем сии непобедимые чувства, которыми оно движется и которого отразить невластно.

Тогда погибает смерть и робость, тогда все тайные, низкие страсти удаляются, исчезают; голос чести, сильнейший, величественнейший самого звука орудий военных, заглушающий разрушительный гром, наполняет умы одним иступлением; полководец владеет, управляет им, дает ему новые силы, но сам его не чувствует; он один не имеет в нем нужды. Мысли о благе всех наполняют его и волнуют. Одна мысль сия движет всеми силами напряженного ума его. Ему принадлежит все великое, он один выше сего величия, взоры его устремлены на победу, следуют за всеми ее движениями, которые отдаляют ее или приближают, видит ее, наконец, уловляет и, усмотрев потоки крови, за нее пролитые, отвращается от сцены убийства и утешает себя взглядом на Отечество!

Лагарп. (Похвальное слово Катинату)

Поклонение огню

В сих климатах, где царствование зимы так продолжительно, где все погребено под горами нетающих льдов, открытие огня должно было казаться даром небес, благотворением для человека. Видя, что все источники жизни хладели, исчезали, оживленный животворною теплотою, он должен был помыслить, что бытие возвращено ему снова. Холод, враг, возбужденный против него натурою, уступал огню, который, торжествуя над ним, казался божеством, благодетельным и сильным. Самая сущность сей стихии благоприятствовала сим идеям: он так быстр в своих движениях, его могущество так очевидно, крепкие деревья, мертвые произведения земли обращены им в пепел. «Пожирай все, живи, оживляй меня своей жизнью», — сказал ему человек; он одаряет его, печального в отсутствии солнца, живущего во мраке ночи, дает ему утешительный свет, разгоняет мрак целой половины года, рассеивает скуку, ужас и все химеры воображения, неразлучные с тьмою. Он согрел тела, умерщвленные хладом, оживил, развеселил воображение мрачное, как ночь, которая покрывала землю: сии услуги, без сомнения, были достойны алтарей. Но сей огонь, произведенный молниею, слетевшею с неба, или случайным ударением кремня, сей огонь, рожденный внезапно посреди льдов и хлада, никому дотоле неизвестный, должен был храниться, как сокровище; можно вообразить, как боялись его потерять; надлежало хранить его, как святыню, воздвигать храмы, священным жрицам, девам, столь же чистым, как сия святыня, поручили его сохранение.

Бальи. (Письма об Атлантиде)

Огнедышащая гора в Квито

Счастливы народы, обитатели долин и холмов, произведенных морскими волнами из песков, ими скопляемых, и земных произведений! Пастух бесконечно пасет на них стада; земледelec в мире на них сеет и собирает обильную жатву. Но горе вам, обитатели оных возвышенных гор, которых основание никогда не орошалось океаном, которых верхи в облаках исчезают! Они суть не иное что, как ужасные отверстия, произведенные подземным огнем, который разрушил своды пространных пещей, горнил, где заключенный беспрестанно пылает и свирепствует и на свободу исторгся (...)

⟨Мармонтель. Инки⟩

〈МОРАЛЬНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ〉

〈Деревенская жизнь Ж. Жака Руссо〉

〈...〉 Весело было сидеть за их длинным столом, я бы охотно пел с ними старинные деревенские песни и плясал в их просторном сарае с большим удовольствием, нежели в оперной зале.

Ж. Ж. Руссо

Наружность счастья и истинное счастье

Мы слишком часто заключаем о счастье по наружности; нередко воображаем его там, где его нет, а ищем, где оно быть не может; веселость очень подозрительна; веселый человек очень часто бывает несчастный, который старается обмануть других и переуверить самого себя. Сии люди, живые, смеющиеся, открытые в кругу света, почти всегда угрюмы и сердиты дома, и слуги их должны чувствовать тяжесть того удовольствия, которое они принуждают себя приносить обществу. Истинное, сердечное счастье редко совместно с сею живостью и веселостью. Мы не хотим расточать столь сладостного чувства, бережем его, наслаждаясь об нем размышлением, питаемся им, боимся его рассеять. Человек истинно счастливый говорит мало, редко смеется; так сказать, сжимает счастье у самого своего сердца. Шумные игры, звучная радость прикрывают скуку и неудовольствие. Но меланхолия есть подруга наслаждения, волнения чувств и слезы неразлучны с восторгом, и самая сильная радость означается чаще слезами, нежели смехом.

Сначала множество и разнообразие удовольствий покажется необходимым для счастья, однообразие одинокой жизни скучною и тяжкою, но, рассмотревши их вблизи, уверяешься, что самая сладостная привычка души состоит в умеренности наслаждений, которая не дает места ни желаниям, ни отвращению. Беспокойство желаний производит любопытство, непостоянство; недостаток в сильных удовольствиях рождает скуку. Но тот никогда не будет скучать своим состоянием, кто не знает приятнейшего.

Ж. Ж. Руссо

Честолюбие

Честолюбие показывает издали человеку, ослепленному ее блеском, цветущее состояние, в котором ему не останется ничего делать, потому что все его надежды будут исполнены; в котором он будет наслаждаться вождеденнейшим для него удовольствием, удовольствием начальствовать, повелевать, представлять в делах и раздавать награды, удовольствием блистать в достоинствах министра, полководца; слышать похвалы, видеть покорность общества; удовольствием возбуждать внимание, почтение, трепет. Все сие представляется его воображению, нечто привлекательное, но, в самом деле, есть призрак, существенно только то, что путь его усеян терниями непобедимыми и трудностями. И какими терниями, и какими

трудностями! Чтобы достигнуть к сему состоянию, которое так украшено его воображением, надлежит принять множество мер, самых затруднительных и самых противных его склонностям, надлежит иссушить себя размышлением, наукою; раздроблять тысячи мыслей одну за другой, колебаться между тысячами противных видов предприятия, считать и взвешивать все свои слова; составлять свои поступки, иметь беспрестанное, неутомимое надзирание как над самим собою, так и над другими, чтобы удовлетворить собственные страсти, неодолимое желание достигнуть сего состояния, должно решиться быть жертвою всех страстей; потому что нет ни одной, которая бы не возбуждалась против нас честолюбием! И не она ли, смотря по различным обстоятельствам, смотря по различным намерениям чувства, иногда ожесточает нас горчайшей досадою, иногда нас мучит сильною ненавистью, иногда воспаляет гибельным гневом, иногда ввергает в глубокую печаль, иногда сушит мрачною меланхолиею, иногда сдает жестокою ревностью, которая преобразует душу в ад и предает ее на терзание внутренним палачам, неумолимым и многочисленным.

Чтобы приблизиться к сему состоянию, чтобы очистить себя, освободить путь, посреди несчетного множества препятствий надлежит преодолеть соперников, равно постоянных и решимых; соперников, которые следуют за нами по пятам, разрушают все наши планы, противятся нашим предприятиям, не дают нам действовать; надлежит противоположить силу силе, покровителя покровителю, подвергнуть себя самым скучным исканиям, не утомляться отказами, сносить тысячи неприятностей, быть в беспрестанном движении, отказаться от самого себя, жить посреди смятения и шума, в ожидании сего счастливого состояния, надлежит терпеливо сносить всякое противоречие, в течение многих лет томиться неизвестностью, бояться, надеяться, терять надежду и часто, по долгом утомительном течении к нестерпимой (*нрзб.* — залито чернилами. — *И. А.*), видеть все твои надежды обманутыми, остаться с бесплодным сожалением о потере трудов и времени, с бешенством в сердце, с стыдом перед людьми. Прибавлю! Самое сие состояние, которого ищут с такою деятельностью, с таким постоянством, не удовлетворит никакого честолюбия, напротив, оно придаст ему новые силы, раздует сие пламя; с одной степени захотим на другую, будем ко всему стремиться и ни на чем не останавливаться, всего желать, ничем не наслаждаться; беспрестанная перемена планов, исканий, предприятий и, следовательно, беспрестанное страдание! И в самом наслаждении малейшее обстоятельство может мучить раздражительную душу честолюбца; во всем он видит врага, все представляется ему чудовищем!

Бурдалу

Честолюбие

Честолюбие, сие ненасытимое желание возвышаться над другими на развалинах других, сия змея, грызущая сердце и не дающая никогда покою, сия пружина всех хитростей и всех волнений дворских, сей источник государственных перемен и потрясений; сия страсть, которая на все дерзает и все может, сия гибельная, непобедимая страсть творить несчастным того, кто ей покоряется. <...>

⟨Массильон⟩

〈ХАРАКТЕРЫ. СРАВНЕНИЯ〉

Греки. Римляне

История греков вопреки Саллюстию⁴² заимствовала блеск свой не от одного искусства и гения великих историков. Взгляните на сию нацию, и вы признаетесь, что она нередко превышает самое человечество. Иногда целый народ имеет великодушие Фемистокла⁴³ и справедливость Аристида⁴⁴. Скажите, Марафон⁴⁵, Термопилы⁴⁶, Саламина⁴⁷, Платея⁴⁸, Микала⁴⁹ и множество других исторических случаев великих не превосходят ли всякую похвалу повествователя. Римляне победили греков самим греками. Спрашиваем: какой успех имели бы сии завоеватели, когда бы вместо греков, испорченных пороками и расслабленных междуусобными войнами, они были встречены сими полководцами, сими воинами, сими гражданами, которые некогда рассыпали ксерсовы ополчения?⁵⁰ Тогда мужество было противопоставлено мужеству, дисциплина дисциплине, умеренность умеренности, знание знанию, любовь к свободе, отечеству и славе любви к свободе, отечеству и славе.

Греция может хвалиться тем, что произвела величайших людей, известных по истории, не выключая из сего и римской республики, которой правление было так способно воспалять умы, возбуждать дарование и открывать дорогу смелым, необыкновенным гениям. Кого сравнит она с Ликургами⁵¹, Фемистоклами, Кимонами⁵², Эпяминондами?⁵³ Величие римлян есть произведение целой республики; мы не видим ни одного из граждан, который бы, вознесшись выше своего века, давал новый образ вещам и силою одного своего духа производил всеобщие перемены: великость и мудрость каждого римлянина образовалась великостью и мудростью правления; каждому была начертана дорога, и величайший из всех только ее опереждал несколькими шагами своих спутников.

Напротив, Греция первая представляет нашим глазам оных обширных, могущих и творческих гениев, которые противятся всем предрассудкам и навыкам своего времени, умеют образоваться с общими нуждами; открывают себе новую дорогу и, переносясь в будущее, подчиняют силе своей все происшествия. Греция не испытала ни одного несчастья, не предсказанного заране которым-нибудь из правителей, и многие из них возводили свое отечество падшее и униженное на высочайшую степень славы и благоденствия. Напротив, какой из римлян говорил своей республике, что победы будут причиною ее упадка? И когда правление Рима начало изменяться, когда (*нрзб.* — заклесено) (получили) неограниченную власть, освободившую их от подчинения законам, какой римлянин предсказал республике, что она будет побеждена своими собственными воинами? Какой римский гражданин поспешил на помощь к своему отечеству, приближавшемуся к разрушению, и отдалил свою мудростью минуту его гибели?

Римляне, потеряв свободу, сделались низкими, презренными рабами. Греки, покоренные Филиппом и Александром⁵⁴, не лишась надежды возвратить свою прежнюю независимость, и в самом деле по смерти Александра ее возвратили. Греция, имевшая многих тиранов, имела и многих Тразибулов⁵⁵.

Наконец, растерзанная междуусобиями, подавленная могуществом Рима, она все еще сохранила некоторое преимущество над самими своими победителями. Ее ученость, образованный вкус и философия отмстили, так сказать, за ее порабощение и в свою очередь поработили гордых римлян. Победители сделались питомцами побеж-

денных. Они захотели учиться тому языку, который Гомеры, Пиндары, Ксенофоны, Демосфены, Платоны, Софоклы, Эврипиды украсили всеми сокровищами своего дарования. Римские ораторы старались заимствовать у греков все тонкости вкуса и сии тайны искусства, которые придают новые силы гению, старались приобрести сии драгоценные особенности всё украшать и всё делать привлекательным.

В школах философии, где самые знатнейшие из римлян забывали свои предрассудки, они научились уважать своих наставников; возвращались в свое отечество с благодарностью и удивлением, и Рим облегчал их узы, опасаясь употреблять во зло право победы, и отличал их отечество своими благодеяниями от всех других поработанных им провинций. Отдадим справедливость науке и философии, они предохранили Грецию от многих несчастий, которых ни законодательство, ни правление, ни полководцы ее отвратить были не в состоянии.

Мабли

Народ афинский

История представляет его иногда стариком легковерным и неопасным, иногда ребенком, которого надобно забавлять всякую минуту; иногда просвещенным и великим; приверженным до чрезмерности к свободе и удовольствиям, ко славе и покою; восхищающимся похвалами, которыми его осыпают, принимающим с рукоплесканиями заслуженные упреки; довольно проницательным для обозрения с первого слова предлагаемых ему дел; слишком нетерпеливым для разбора подробностей и предвидения следствий; ужасным для своих правителей в ту самую минуту, когда он милостив к жесточайшим врагам своим, переходящим с невероятною скоростью от (...)

⟨Бартеlemi. Анахарсис⟩

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ ЖАН-ЖАКА РУССО ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО ТОМ ПЕРВЫЙ

Рассуждение на вопрос,
заданный Дижонской академиею в 1750 [году]
«Послужило ли восстановление наук и художеств к очищению нравов»

⟨Decipimur specie recti⟩⁵⁶

Какое действие имело возобновление наук и художеств на нравы: благотворное или вредное? Вот что я должен рассматривать! И буду говорить языком человека незнающего, но не менее почтенного, в собственных глазах своих.

Какие слова прилично изобразят мою мысль перед судилищем, которое ожидает меня? Унижать науки в святилище наук, хвалить невежество в Академии! Согласить презрение к учености с уважением к истинным ученым! Сколько противоречий,

но я не колеблюсь. Защищая добродетель перед лицом добродетельных, не думаю ругаться над науками. Справедливость драгоценней учености. Чего же могу опасаться! Просвещения моих слушателей? Может быть, они обвинят оратора в неискusstве, но будут согласны с его мнением.

Государя, друзья справедливости, всегда уступали убеждению: всего выгоднее защищать истину перед соперником просвещенным, беспристрастным судьей в собственном деле своем.

Другая причина побуждает меня говорить откровенно. Какой бы не имело успех мое красноречие, не останусь без награды: защищаю истину, защищаю всеми силами ума и способностей, натурою мне данными: моя награда в моем сердце.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Какое прекрасное и величественное зрелище! Человек один, своими силами выходит из ничтожества! Рассыпает лучами ума густую тьму, которой окружила его натура; возвышается выше самого себя; стремится духом в страны небес; обтекает исполинскими шагами, подобно солнцу, необъятное пространство вселенной и, что еще труднее, необычайнее, беседует с самим собою, разбирает и познает свою природу, свои должности, свое определение.

Вот чудеса: весьма недавно возобновившись в мире, Европа была низвержена в первобытное варварство. За несколько веков состояние народов ее, ранее столь просвещенных, уступает самому невежеству. Какой-то запутанный язык учености, похитив имя просвещения, непобедимо ему противился. Одна всеобщая революция могла возвратить людей здравому смыслу: вечный бич наук, безумный мусульманин произвел сию перемену⁵⁷. Словесность оживилась в Европе. С падением трона Константина остатки древней Греции рассыпались по Италии⁵⁸. Франция в свою очередь обогатилась своими сокровищами. Словесность произвела науки; с искусством писать соединилось искусство мыслить; порядок чудный, хотя естественный. Скоро почувствовали главную выгоду общения с музами: оно усилило в людях любовь к общению, возбудило в них желания привлекать и нравиться произведениями, достойными общего одобрения.

Тело, как и ум, имеет свои потребности. Одни служат основанием обществу, другие делают его приятным. Правление и законы охраняют целость и благосостояние человека в союзе с человеком. Науки, словесность и художества, не столь самовластные, но может быть сильнейшие, обвив цветами железные цепи, на него наложенные, заглушают чувства первородной свободы, для которой он казался рожденным; украшают неволю и производят так называемую образованность нации. Нужда возвысила троны. Художества и науки утвердили их. Цари земные, любите, поощряйте дарования!⁹ Образуйте их, народы просвещенные! Им вы обязаны сим

* Привязанность к искусствам приятным и ко всем излишествам образованных обществ питает в человеке сие малодушие, столь благоприятное рабству. Всякую новую потребность почитаю новою цепью. Александр, желая покорить ихтиофагов (рыбоедов), принудил их оставить рыбную ловлю и питаться такою же пищею, какою все другие народы питались. Дикае американцы, не носящие никакой одежды, живущие одним звероловством, непобедимы. В самом деле, каким игом обременить людей, которым ничего не нужно!

тонким и нежным вкусом, которым так превозносите, сей кротостью характера, любезностью, нравами столь привлекательными и приятными в союзе общественном; словом, наружностью всех добродетелей, кроме самой добродетели.

Сим тонким учтивством, которое тем любезнее, чем меньше старается себя обнаруживать, отличались Рим и Афины во дни величия и блеска, — им, без сомнения, век наш и наша нация будут отличаться от всех времен и народов. Тон философии без вечного педантства, наружность простая, привлекательная, непринужденная: вот плоды вкуса, образованного учением, усовершенствованного общественной жизнью.

Как бы приятно было жить посреди нас, когда бы сия наружность, всегда согласовывалась с внутренним расположением сердца, когда бы добродетель и благопристойность значили одно и то же, когда бы настоящая философия была неразлучна с именем философии! Когда бы наши словесные правила были действительными, но столько достоинств редко объединяются в одно целое; добродетель не окружает себя такою толпою. Великолепие и приличность одежд показывает и образованность вкуса: крепость и здоровье познаются по другим признакам. Под сельским рубищем земледельца, не под блестящим покровом придворного находим телесную силу и мужество. Добродетель, будучи силой и мужеством души, не терпит убранств! Человек добродетельный есть атлет, который сражается обнаженный: он презирает сии ничтожные украшения, мешающие действовать его силе, изобретенные по большей части для закрытия какого-нибудь безобразия.

Прежде, нежели искусство преобразило нашу наружность и страсти научились говорить языком приготовленным, обычаи наши были грубы, но просты; с первого взгляду по различию в обращении познавалось различие характеров. Человеческая натура в своем основании была не лучше, но люди находили свою безопасность в сей простоте и нескрытности. Преимущество, которого цены мы чувствовать не можем, но которое избавляло их от многих пороков.

Наконец, когда утонченный вкус и многочисленные исследования подвели под правила искусство нравиться; какое-то низкое и обманчивое однообразие воцарилось в обычаях; как будто все умы брошены в одну форму: беспрестанно учтивость требует, благопристойность повелевает, беспрестанно следуем приличию, никогда своему сердцу. Никто не смеет казаться собою, и под бичом сего беспрестанного принуждения, люди, составляющие стадо, которое называется обществом, в одинаковых обстоятельствах поступят все одинаково, если не отвратятся другими сильнейшими причинами.

Итак, никогда не знаем, с кем имеем дело. Не иначе как в случаях важных будем познавать друзей своих, то есть когда упустим время, ибо только для важных случаев нужно запастись сим познанием.

И какая толпа пороков присоединяется к сей неизвестности. Неискренность в дружбе, притворное почтение, доверенность без оснований! Сомнения, страх, холодность, скрытость, ненависть и предательство сокроются под сим покровом учтивства, блестящим и обманчивым; под сею любезностью, которой мы так хвастаем, которою обязаны просвещению своего века. Не будут осквернять имени Творца природы словами, будут ругаться над ним хулами, непотворными разборчивому слуху. Не станут хвалиться своими достоинствами, будут унижать чужие. Не обидят грубым образом своего неприятеля, искусно убьют его клеветой. Национальная ненависть исчезнет, но с нею и любовь к отечеству. Презренное невежество заменяется опасным пиirro-

низмом⁵⁹. Некоторые излишества и пороки посрамятся, но вместо их другие будут украшены именем добродетели.

Остается на выбор: или иметь их, или показывать. Пускай превозносят умеренность мудрецов моего времени, я вижу в них одно утонченное сластолюбие, которое так же недостойно похвалы моей, как и притворная простота, их украшающая*.

Таковую очищенность получили наши нравы. Так сделали мы добродетельными. Отдадим справедливость художествам, наукам и словесности. Мы многим обязаны всесильному их влиянию. Прибавлю: пускай вообразят обитателя страны отдаленной, пришедшего в Европу и хотящего заключить о нравах по состоянию наук и совершенству изящных искусств между нами, по строгой благопристойности наших зрелищ, по нашей приятности в общении, любезности в разговоре, по сим бесконечным изъявлениям благосклонности и дружбы, наконец, по сему стечению людей всякого возраста и состояния, живущих, по-видимому, для того, чтобы с утра до вечера одолжать и услуживать — сей чужестранец, говоря, получил бы о наших нравах идею совершенно противную настоящей.

Нет действия, нет и причины. Здесь действие очевидно — испорченность их неоспорима. Наши нравы развратились по мере возвышения наук и художеств? Не скажут ли, что несчастье принадлежит в особенности нашему веку. Нет, милостивые государи, бедствия, причиненные безрассудным любопытством сынов адамовых, современны миру. Не столь покорен вседневный прилив и отлив океана течению светила, сияющего во время ночи, как участь наших нравов — успехам наук и художеств. Они являлись, и добродетель исчезала — феномен, замеченный во всех странах, во всякое время.

Взгляните на Египет — сию колыбель наук и просвещения, климат плодотворный под раскаленным небом — отечество Сезостриса⁶⁰, который хотел обладать вселенной.

Что же? Являются философия и искусства и вскоре за ними победы греков, римлян, арабов и наконец турков.

Взгляните на Грецию, некогда населенную героями, двукратно победившими Азию: перед стенами Иллиона⁶¹ и на отечественных полях своих. Словесность еще не поселила разврата в сердцах ее обитателей. Но изящные искусства, испорченность нравов и македонское иго быстро последовали друг за другом. И Греция, всегда ученая, всегда сладострастная, всегда низкая, переходя из рабства в рабство, наконец, исчезла в своих развалинах. Все Демосфеново красноречие⁶² не могло возвратить жизни сему телу, расслабленному роскошью и искусствами. Во время Энниев⁶³ и Теренциев начинает упадать сей Рим, основанный пастухом и прославленный земледельцами. Но после Овидиев и Катуллов, Марциалов и сей толпы развращенных писателей, которых одно имя ужасает целомудрие, величественных ранее, сие святилище добродетели обращается в ужасный вертеп преступлений, и посрамленный, ничтожный, рассыпается под ногами варваров. Сия столица приемлет с покорностью то иго, под которым стенола такое множество народов, и в самый день постыдного порабощения один из граждан ее поименован судьей вкуса.

* Люблю, — говорит Монтень, — рассуждать и спорить, но только для себя и с немногими. Выставляя напоказ свой ум и красноречие, забавлять ими знатных господ почитаю ремеслом, недостойным благородного человека. По несчастью, это есть ремесло всех наших остроумцев, кроме одного.

Что скажу о сей метрополии Востока, о сей Византии, которая по своему положению казалась средоточием и царицею мира, о сем убежище наук и художеств, изгнанных из Европы не столь варварством, сколько мудростью предусмотрительною и осторожною. Все, что испорченность и разврат имеют постыднейшего: предательство, отравы, убийства; ужасного: скопище преступлений всякого рода лютого и жестокого, — вот в двух словах содержание истории Константинополя, вот чистый источник просвещения, которым наш век прославляется.

Но для чего в далеких временах искать доказательств истины, которые у нас перед глазами. На краю Азии видим страну обширную, где уважаемая ученость возводится на первые степени государства. Когда бы науки очищали нравы, одушевляли мужество и научали жертвовать жизнью за отечество, тогда бы в обитателях Китая мы нашли мудрецов свободных и непобедимых. Но если нет порока, им незнакомаго, преступления, им чуждого, если все просвещение министров, вся мудрость законов, вся сила народа бесчисленного не могли сохранить империю от ига татар необразованных и грубых, то к чему послужила ей сия толпа ученых? Что извлекла она из сих почестей, которыми они освящены. Ничего, кроме рабства и развращения.

Левит Ефраимский⁶⁴

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Священный гнев добродетели, оживи мой голос. Трепещу, говоря о преступлениях Вениаминовых⁶⁵, о мщени сынов Израиля. Злодейства неслыханные! Беспримерное наказание! — О смертные, любите красоту, храните невинность и святость нравов и гостеприимства; будьте справедливы не жестокостью; милосердны без малодушия. Знайте, что лучше простить преступника, чем наказать невинного.

Какое зрелище представляю вам, друзья добродетели, враги бесчеловечных, вам, которые, ужасаясь одного вида злодеев, братия, оставляете их без наказания, какое зрелище? Тело женщины, разорванное на части; нежные члены ее истерзанные, окровавленные, трепещущие, перед глазами двенадцати колен Израильских; целый народ в ужасе, в трепете пред лицом небесного правосудия, с иступлением в один голос восклицавшие: «Нет, никогда Израиль не видал подобных ужасов!» Подвигнись, народ священный, произнеси приговор строгий! Да погибнут преступники. Один малодушный, один предатель правосудия удалится и не дерзнет воззреть на подобное злодейство. Друг человечества смотрит на него баз слабости, узнает его, чтобы осудить, возненавидеть его. Осмелимся войти в подробности, откроем истоки к вражде междуусобной, погубившей одно из колен священного народа, кровопролитной и ужасной. Вениамин, сын болезни и горести, невинный убийца матери⁶⁶, твои потомки осквернились преступлением неслыханным, приводящим в трепет; на них пала грозная рука мщени!

Во дни свободы, когда не имел царя народ израильский, было время смятений и безначалия, не знали покорности. Противились верховной власти, внимали собственным страстям необузданным. Израиль, обитавший рассеянно по полям цветущим, не имел городов пространных и пышных, простой обычаями и нравами, не чувствовал нужды в законах. Но чистота невинности не всем была драгоценна; под кровом добродетели мирной и беспечной порок находил убежище.

В один из сих промежутков тишины и согласия, неизвестных и неславных потому, что никакие преступления властолюбивых, никакое злодейство не запечатлеет их, Левит Ефраимских гор⁶⁷ увидел в Вифлееме девушку прелестную, во цвете лет, и полюбил ее сердцем. «Дочь Иуды, — сказал он ей, — ты не из одного колена со мной, ты не имеешь брата, ты подобна дочерям Сакнаидовым; я не могу быть супругом твоим по закону Божию. Но мое сердце принадлежит тебе; приди в дом мой; живи со мною; будем свободны в своем союзе и счастливы друг с другом». Левит был молод и прекрасен; молодая девушка улыбнулась; они соединились и пошли на горы.

Там, наслаждаясь мирным спокойствием, столь драгоценным для сердец простых и нежных, он вкушал в своем уединении все приятности любви взаимной. Там часто на златой цитре, для прославления Всевышнего настроенной, прославлял он красоту юной супруги своей. Сколько раз гремющий отзыв повторял пение его на горе Гебале!⁶⁸ Сколько раз водил он свои любезную в Сихамские долины⁶⁹ под тень прохладную; пленялся вместе с нею журчанием и свежестью ручейков; украшал грудь ее полевыми розами. Иногда из расселин утесов похищал для нее соты златого меда, которым она услаждала вкус свой; иногда на зеленых оливах скрывал обманчивые западни для птичек и приносил к ней робкую горлицу — она целовала ее, гладила нежной рукою; прижимала ко груди своей и восклицала от жалости, чувствуя, как птичка билась и трепетала.

«Дочь Вифлеема, — говорил он ей, — для чего проливаешь слезы по родным твоим и по отчизне? Разве дети Ефраима не имеют праздников? Разве девы цветущего Сихема не прелестны и не веселы? Разве обитатели древнего Афарота⁷⁰ бесильны и непроторны? Будь свидетельницею и украшением блестящих игрищ! Оживи душу мою твоим веселием, о любезная! Могу ли радоваться жизнью, когда ты унываешь?»

Но Левит наскучил молодой девушке, может быть потому, что не оставил ничего желать ее сердцу. Она исчезает, возвращается к своему отцу, к своей нежной матери, к резвым сестрам; надеется опять наслаждаться удовольствиями невинного младенчества, как будто бы сердце ее было все то же: и быстрые лета не улетали.

Но Левит, покинутый непостоянною, не мог изгладить ее образ из сердца. Все говорило ему о днях счастливых, проведенных вместе с нею и неприметно протекших, об играх, удовольствиях, ссорах и нежных примирениях. Восходящее ли солнце осыпало златыми лучами вершины холмов Гелбоезских⁷¹; вечерний ли ветерок прилетал с моря и прохладил раскаленные утесы, несчастный оставленный бродил уединенно по местам прелестным, для него унылым и опустевшим, и ночью один на брачном ложе обливал его слезами горести.

Наконец, колебавшись долго между печалью и досадою, подобно как ребенок, выгнанный из игры товарищами, сперва скрывает свое желание к ним возвратиться, притворяется довольным и веселым, потом со слезами просит, чтобы его опять приняли, молодой Левит, побежденный любовью, собирается поспешно в путь, берет с собою служителя и двух ослов эфаонских⁷², навьюченных припасами и дарами для родителей молодой девушки; едет в Вифлеем, чтобы с ней примириться и склонить ее к возвращению на горы.

Молодая супруга, увидев его издали, затрепетала, полетела к нему навстречу, взяла его с ласкою за руку и повела в дом родительский. Отец восхищенный благословляет приход своего сына, прижимает его к сердцу, старается угостить его дружески; назначает место для служителя и ослов его. Но Левит молчал, имея сжатое

сердце. Наконец, растроганный приемом добродушного старца, он поднял глаза на молодую супругу свою и сказал ей: «Дочь Израиля, для чего убегаешь меня? Какое зло я тебе сделал!» — Молодая девушка заплакала, закрыв лицо руками. Потом он сказал отцу: «Возврати мне мою подругу, из любви к ней возврати ее! Как жить ей одной и оставленной? Мне отдала она цвет невинности! Один я могу называть ее именем супруги».

Отец посмотрел на дочь свою; дочь его была тронута возвращением Левита. Отец сказал Левиту: «Сын мой, проведи с нами три дня в удовольствиях безмятежных; на четвертый возьмешь дочь мою и пойдешь с миром». Левит провел три дня с отцом своей супруги, с ее матерью и сестрами, в приятном согласии, в откровенных разговорах. На четвертый, проснувшись с солнцем, хотел идти, но старец остановил его за руку и сказал: «Для чего так рано? Раздели с нами наш завтрак и потом пойдешь на заре». Они сели за стол, насытились, отец сказал Левиту: «Сын мой, останься в нынешний день с нами». Левит противился, хотел ехать; всякая минута, которую проводил он не в своем уединении, не один с любезною, казалась ему потерей для любви и счастья. Но доброму отцу было трудно расстаться с милой дочерью, он устремил на нее умоляющие взоры; молодая девушка сказала одно нежное слово своему супругу, и он остался.

Наутро, изготоясь в путь, он еще раз был оставлен своим тестем, еще раз приужден сесть за стол, и время пролетало неприметно. «Сын мой, — сказал отец, удержав опять за руку молодого человека, совсем готового к отъезду, — солнце на закате, вечер близок, уже поздно, утешь мое родительское сердце, проведи сей вечер с нами! Завтра перед зарею отпущу тебя с миром». Говоря это, старец был вне себя, и слезы глаза его наполняли. Но Левит не склонялся и хотел ехать в ту же минуту.

О, как печальна была минута сей разлуки погибельной и (*1 слово нрзб.*). Как трогательно прощались и не могли проститься: как безутешно плакали сестры молодой девушки, орошая слезами лицо ее. Сколько раз они вырывались из ее объятий и опять в них стремились! С какою неизъяснимою горестью и любовью смотрела ее отчаянная мать. А бедный отец! Он не плакал, обнимая дочь свою: он прижимался к ней в мрачном безмолвии, с судорожным содроганием; тяжелые вздохи колебали грудь его. Увы! Он предчувствовал ужасную судьбу несчастной. Что если бы он знал, что заря для нее уже не восстанет! Что день сей был для нее последним... Они удаляются, удаляются с нежным благословением всего семейства, с молитвами, достойными исполнения. Счастливо, блаженно семейство, мирное и согласное, которого все члены имеют одно сердце, которого дни текут спокойно и неприметно в наслаждениях любви безмятежной. О невинность нравов, кротость души, простота прародительская, сколь вы любезны! Как могло иступление порока найти место между вами? Как бешенство бесчеловечных могло не пощадить ваших радостей?

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

Молодой Левит, восхищенный возвращением милой супруги, продолжал путь свой с веселым сердцем. Солнечный жар и пыль его беспокоили, подобно как всякое дуновение ветерка беспокоит мать, несущую младенца своего к кормилице. Уже вдаль на правой руке показывались башни города Зевула⁷³; древние стены его могли быть убежищем для странника на время ночи. Служитель сказал своему господину:

«День исчезает; сумрак скоро покроет нас: жители города Зевула дадут нам пристанище; пойдем к ним; завтра можем достигнуть до Гебы⁷⁴».

Левит сказал служителю: «Никогда не войду в жилище неверного. Никогда священный Левит не успокоится в хижине хананеянина⁷⁵. Гаваон⁷⁶ близко: в сем городе обитают наши братья, потребуем от них гостеприимства». Они прошли мимо Иерусалима и на закате солнечном приближались к Гаваону колена Вениаминова. В сем городе остановились странники; сели на обширной площади; ночь уже царствовала; никто не предлагал им убежища: вотще ожидали они гостеприимного.

Не обвиняйте своих праотцев, дети моего времени. Конечно, сии века невежества и грубости не изобиловали приятностями жизни. Презренный металл еще не всему предпочитался: но человек имел сердце; гостеприимство не покупалось; корыстолюбие не торговало добродетелью. Не одни потомки Вениамина имели железное нечувствительное сердце, правда, но сия нечувствительность была не обыкновенна: терпеливый везде находил братьев, а неимущий странник сострадательных гостеприимцев.

По долгом и напрасном ожидании Левит хотел уже снять с ослов свои пожитки, составить из них постель для молодой девушки, не столь жесткую, как голая земля, как увидел старого человека, опоздавшего на поле и шедшего с земледельческими орудиями в свою хижину. Этот человек также, как и он, родился в горах Ефраимских; и давно обитал между потомками Вениамина, в городе Гаваоне.

Старик, поднявши глаза, увидел странника с молодою женщиной посреди площади; при них служителя и ослов навьюченных. Приблизясь, он сказал Левиту: «Незнакомец, откуда пришли вы? И куда?» — Левит отвечал: «Идем из Вифлеема, города Иудина; возвращаемся в свое отечество, на гору Ефраим; нет гостеприимных в Гаваоне; мы не наши пристанища на время ночи. Есть у нас корм для скотов наших; вино и хлеб для меня, для жены моей, для служителя, все имеем, кроме покрова».

Старик отвечал: «Мир с вами, друзья мои; вы не останетесь без убежища, войдите в мою хижину». Старик повел их в свою хижину; приказал развьючить ослов, наполнить для них ясли кормом, и обмыв ноги у своих посетителей, предложил им ужин патриархальный, умеренный, простой, но изобильный.

Между тем как странники сидели за столом вместе с гостеприимным старцем и его дочерью, невестою* молодого гаваонца, между тем как за чашею вина дружные разговоры наполняли сердца их веселием, обитатели Гаваона, дети Белиаловы⁷⁷, необузданные, испуленные, неукротимые, понося Небо, как Циклопы Эгейские⁷⁸, окружили дом, стуча в ворота, потрясая двери и грозным голосом крича старцу: «Отдай нам молодого чужестранца, вошедшего в город без нашего согласия; пускай своею красотой заплатит за пристанище, ему тобой данное; да изгладим вину твою его наказанием». Узрев на площади Левита, они из почтения к священному праву человечества не захотели в домах своих сделать ему насилие; не предложили ему убежища, но согласились напасть на него среди ночи; узнав же, что старец отворил ему дверь своей хижины, прибежали к ней, без стыда и совести, с гнусным намерением обругать беззащитного.

* По древнему обычаю женщины дома не выходили обедать, когда за столом сидели одни мужчины; но если с ними были и женщины, то им позволялось.

Старец, услыша вопли неистовых, ужасается и бледнеет и говорит Левиту: «Мы погибли. Сии порочные люди неумолимы, непреклонны: голос рассудка для них невятен». Но он выходит к ним с молением. Он простирается перед ними, подъемлет к небу руки, не оскверненные хищничеством, и восклицает: «О братья мои, что вы произнесте дерзнули! Ах! Не творите зла сего пред лицом Всемогущего! Не ругайтесь над природою, над святостью гостеприимства». Но, видя, что ему не внимали, что были уже готовы силою ворваться в дом, отчаянный старик в минуту решился, дал знак рукой, чтобы умолкли, возвысил голос и воскликнул: «Нет, скорее умру, нежели выдам посетившего дом мой и позволю осквернить мое жилище таким злодейством: но жестокие, бесчеловечные люди, услышьте просьбу отца несчастного; я имею дочь еще невинную, невесту вашего согражданина; отдаю ее на убийство; умертвите непорочность, насытитесь, алчные звери, но рука ваша да не коснется к Левиту священному». Не ожидая их ответа, он входит в дом и готовится кровью своею искупить странника.

Но Левит, доселе безмолвный и неподвижный от ужаса, пробужденный сим горестным зрелищем, предупреждает великодушного старца, бросается к нему, иступленный, останавливает, принуждает его возвратиться, и сам, взявши за руку свою подругу, не говоря ей ни слова, не смея поднять на нее глаз, влечет ее ко дверям и предает неистовым.

В минуту они окружают, схватывают невинную жертву, толпятся, теснятся, безжалостно вырывают ее друг у друга; так у подошвы Альпов, снегами покрытых, голодные волки настигают и рвут на части слабую телицу, отставшую от стада и потерявшую дорогу. О вы, бесчувственные, вы, недостойные оскорбители природы, ужели сия померкшая красота может возбуждать ваши желания! Смотрите, глаза ее тусклы, неподвижны. Лицо мертво, черты изглажены: розы на щеках увяли, страшная синева, бледность их покрывают; несчастная не имеет голоса для воплей, не имеет силы для отражения ваших бешенств: увы! Ее уже нет! Жестокие, ваши восклицания подобны крику страшной гиены; подобно ей вы пожираете трупы.

Восходящее солнце, от которого свирепые звери рассыпались и сокрылись в свои норы. Несчастная собирает последние силы, влечется к хижине старца; и падает у дверей лицом к земле, простерши руки на пороге. Между тем Левит, проведя ужасную ночь в слезах и тоске неизъяснимой, спешит оставить хижину, отворяет дверь и видит свою любезную. Какое зрелище для растерзанного сердца! Горестный стон его подъемлет к небу, мстителю преступления; он бросается на колени и говорит своей супруге: «Встань, несчастная; проклятие пало на сию землю, сокроемся, убежим. Я причину твоей гибели, я буду твоим утешением: какой несправедливый и низкий человек дерзнет ругаться над твоею бедностью. Ты теперь священна для души моей». Молодая девушка не отвечает; он смущается, сердце его предчувствует нечто ужасное: он зовет ее, смотрит, прикасается к ней рукою: она уже не существует! «О подруга моя, невинная жертва, слишком любезная моему сердцу! Для сего ли я извлек тебя из дому родителей: такой ли жребий любовь моя тебе готовила?» — Несчастный хотел за нею последовать, но имел силы пережить ее для мщения.

С сей минуты угрюмая задумчивость им овладела. Чувствительность его исчезла, горечь, любовь, сожаление соединились в душе его в одно ужасное чувство злости. Вид охладевшего и бездушного тела, перед которым должен обливаться слезами, не извлек из него ни слезы, ни жалобы: он смотрел на него сухими, неподвижными глазами, он видел в нем один предмет отчаяния и бешенства. С помощью служителя он кладет сие тело на осла и отводит в дом свой. Там, не колеблясь, на трепеща, бесчело-

вечный осмеливается разрезать его на двенадцать частей. Без страха, верною рукою вонзает в него нож, отделяет член от члена, голову от плеч, раздробляет кости, потом, отослав по части каждому из двенадцати колен израильских, идет в город Масскфу⁷⁹, рвет на себе одежду, осыпает голову пеплом, падает ниц перед народом священным и громогласно призывает небесное правосудие.

ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ

Сына Израильские восколебались, вышли из домов своих, столпились, притекли к Масскфе пред лицо Судии правосудного, подобно рою пчел, с жужжанием слетающихся к матке. Пришли все, пришли отовсюду, согласно, единодушно, от Дана до Вирсавии, от Галаада до Масскфы⁸⁰.

Левит печальный и мрачный предстал пред своим народом. Он сказал старейшинам: «Я пришел с моею супругою в Гаваон, город Вениаминов; я желал провести ночь в стенах его, и жители Гаваона окружили дом, в котором я остановился, они хотели ругать меня и умертвить. Я предал им мою супругу: она умерла, вышед из рук бесчеловечных. Я взял ее тело, изрезал на части, послал их к вам, сыны Израиля... О народ священный, я сказал истину: судите меня, как прилично судьям справедливым пред лицом Всевышнего». В сию минуту во всем Израиле раздалось единое восклицание, громозвучное, всеобщее: «Да погибнут убийцы! Слава Всемогущему! До тех пор ни один из нас не возвратится в дом свой, доколе не падут стены Гаваона». Тогда воскликнул Левит сильным голосом: «Благословение Израилю, врагу осквернителей, мстителю за невинных. Веселись, дочь Вифлесема, я иду к тебе с вестью радости: память твоя не покроется поношением». Он падает ниц и умирает. Прах его с честью предают земле, и вместе с ним в одном гробе члены молодой женщины, сыны Израиля плакали над ними.

Начались приготовления к войне кровопролитной; произнесли клятву наказывать смертью всех непокорных, которые не пойдут противу Гаваона. Сочли евреев, носящих оружие, взяли по десяти со ста, по сту с тысячи, по тысяче с десяти тысяч, десятую долю всего народа: сорок тысяч воинов должны были сражаться с сынами Вениаминовыми, другие сорок тысяч охранять припасы, нужные для прокормления воинства. Потом народ предстал пред кивот Господен, говоря: «Которое колено будет вождем Израиля?» И Господь отвечал: «Кровь Иуды вопиет о мщении; да будет Иуда вашим полководцем».

Но прежде обнажения мечей убийственных они спросили потомков Вениамина: «Для чего между вами сии ужасы? Выдайте преступников, да накажем их; да исторгнем зло из сердца Израиля».

Жестокосердые сыны Вениаминовы, которым известно было собрание в Масскфе, известна торжественная клятва разрушить стены Гаваона, приготовились к обороне и думали, что бесстрашные могут не быть справедливыми: они отвергли увещания своих братьев, презрели долг священный, ополчились, притекли с оружием к Гаваону от всех городов колена Ваниаминова, не ужасаясь превосходства сил, готовые одни сразиться с целым народом. Число их простерлось до двадцати пяти тысяч, вооруженных мечами, не считая семи сот гаваонцев, неустрашимых, искусно сражавшихся обеими руками, столь метко бросающих пращи, что всякий с удивительной верностью мог попасть в волос, едва приметный. Воинство Израиля, избравши полководцев, приступило к стенам Гаваона в надежде без труда их разрушить. Но вени-

амитяне⁸¹ вышли противу них в порядке; устремились; опрокинули, погнали их с бешенством: все рассыпалось: смерть и ужас пали на сынов Израильских. Неустрашимые гибли тысячами; обширные поля Рамы усыпались трупами⁸². Как пустыня песчаная Элафы⁸³ покрывается тучами насекомых, которых пламенный ветер наносил и в один день умерщвлял их.

Двадцать две тысячи воинов Израиля исчезли; но друзья их не покорились унынию; сила и мужество им оставались: наутро собрались они опять на прежнем месте, готовые к новому нападению, надеясь больше на силу и мужество, нежели на справедливость стороны своей. Но прежде сражения они предстали пред лицо Господне, плакали до вечера и вопрошали о судьбе войны с Вениамином: он отвечал им: «Идите, сражайтесь; ваш долг зависит ли от случая?»

Сыны Израиля пошли к стенам Гаваона; опять устремились на них вениамитяне, опять рассыпалось их воинство, и осьмнадцать тысяч воинов погибло. Тут весь народ еще раз предстал пред Господом, простерся и плакал поднесь до вечера и сжигал жертвы. «Бог отцов наших, — восклицали они в горести, — ужели народ твой, столько раз помилованный и спасенный, погибнет, стремясь исторгнуть зло из своего сердца?» Потом, окружив кивот ужасный, они вопрошали Всемогущего устами Финесса, сына Элеазарова⁸⁴: «Пойдем ли против братий наших или оставим в мире Вениамина?» Милосердный удостоил их ответа: «Идите, — оказал Он, — не полагайтесь более на число ваших воинов; полагайтесь на Господа: Он дает и отнимает мужество: завтра предам Вениамина в ваши руки».

В минуту ощутили они в сердцах своих действие сего обещания. Холодная, но постоянная неустрашимость заступила место их буйства и дерзости; новый свет озарил сынов Израиля; не спеша готовятся они к сражению, идут в порядке, без иступления, желая победы, не ужасаясь смерти. Часть воинов скрывается за горою Гаваонскою; оставшиеся идут прямо к городу, заманивают далеко от стен его сынов Вениаминовых. Они стремятся за ними без осторожности, обольщенные прежними успехами, не думая сражаться, а только убивать своих противников; преследуют с яростью воинство, которое отступает и влечет их за собою; они приходят на распутье и восклицают: «Мужайтесь, падут враги Вениаминовы. Безумцы, ослепленные ничтожным успехом трепещите, ангел мщения с мечом гибели парит над вами».

Воины, сокрывшись за горою, числом десять тысяч, выходя в порядке из своей засады, стремятся к Гаваону, окружают его; стены падают пред ними, ожесточенные без жалости умерщвляют жителей; бросают огонь в развалины; страшный дым, волнуясь, подымается. Между тем сыны Вениамина узрели черный дым, ужасный знак победы. Они воскликнули, обратились, вениамитяне содрогнулись, полки Израиля грозные расширились, подвиглись, ударили на их воинство, которое поколебалось, и, бросив глаза на Гаваон, узрело с ужасом вихри дыма. Тогда вострепетали сыны Вениаминовы. Рука Всемогущего их постигла. Они рассеялись, в беспорядке побежали к пустыне. Победители устремились за ними в бешенстве, умерщвляли, топтали их ногами, другие, вступивши в город, без пощады побивали жен, детей и старцев. В сей день убийства и ужаса почти все колено Вениаминово, числом двадцать шесть тысяч человек, пало от меча Израилева. Осьмнадцать тысяч погибли в своем бегстве от Менухи до востока горы Гаваонской; пять тысяч на пути к пустыне; две тысячи близ Гаваона, остаток на стенах города, который обращен в пепел и которого жители, жены и мужи, старцы и дети, самые скоты побиты без сожаления и пощады: о мщение беспримерное! Страна сия, прежде цветущая, пре-

лестная, оживленная и обильная, теперь пожата мечом и пламенем, обратилась в ужасную и бесплодную пустыню, покрытую пеплом и костями.

Шесть сот воинов, единственный остаток несчастного колена, спаслись от ярости Израиля и удалились на утес Реммонский⁸⁵: там скрывались они четыре месяца, поздно оплакивая преступление своих братьев, страшную судьбу, их постигшую.

Но победители, увидя кровь, пролитую их семейством, скоро почувствовали рану, сердцу их нанесенную. Народ, собравшись перед храмом Бога сил, воздвигнул алтарь, на котором воспалили жертву благодарения и славы, потом возвысил голос, оплакал свою победу, оплакав прежде свое поражение. «Бог Авраама, — восклицали они в печали сердца, — где, где твои обещания? Целое колено угасло в Израиле!» О смертные, слепые и несчастные! Глаза ваши не видят прямого блага; напрасно хотите святыней оправдать свои страсти. Ваше наказание в погибельных крайностях, к которым они приводят; небо карает ослепленных, исполняя их обеты безумные, несправедливые.

ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Сыны Израиля, оплакав зло, причиненное их гневом, подумали о том, как бы опять восстановить потомство Иакова⁸⁶ в совершенной целости. Сожалел о судьбе шести сот вениамитян, удалившихся на утес Реммонский, они сказали: «Что сделать для сохранения сего последнего, драгоценного остатка от колена, почти угасшего между нами?» Они клялись перед лицом Господа, в Масскфе, говоря: «Никто из нас да не смешает крови своей с кровью Вениамина». И чтобы уклониться от сей жестокой клятвы, помышляют о новых убийствах. Они исчислили воинство, дабы узнать, все ли сохранили торжественный обет явиться с оружием к стенам Гаваона: все явились, кроме обитателей Явеса Галаадского⁸⁷. Сия отрасль потомков Манасии⁸⁸, которую пролитие крови братьев ужасало больше, нежели их преступление, не захотели вооружиться мечами наказания, забыв, что предательство и нарушение долга виновнее невольной жестокости. Увы! Смерть, ужасная смерть была наградою сих сострадательных. Десять тысяч человек от воинства Израилева исполнили сей приговор бесчеловечный: «Подите, — сказали им, — истребите Явес Галаадский; да погибнут его жители, мужи и жены, старцы и младенцы, все, кроме дев, которых приведите в стан Израильский; да отдадим их в супруги сынам Вениамина». Так сей народ немилосердный хотел изгладить ужасное злодейство другим еще ужаснейшим, подобаясь оным железным ядрам, летящим с громом из машин раскаленных; сразив, они упадают и вдруг подымаются с новым стремлением: целые ряды гибнут и в прах обращаются.

Между тем, когда кровавый приговор совершился, Израиль послал вестников мира на утес Реммонский к сынам Вениамина: они возвратились к своим братьям. Их возвращение было нерадостно и неторжественно; их образ печален, взоры потуплены; лица покрыты стыдом и раскаянием: и весь Израиль, в унынии, вопиял горестно при виде сих несчастных остатков благословенного колена, о котором сказал Иаков: «Вениамин — волк-хищник, утром пожрет добычу, а на вечер с другими разделит похищение».

Десять тысяч воинов, посланных к Явесу, возвратились, но дев, пришедших с ними, было только четыреста, их отдали вениамитянам, как добычу, нарочно для них похищенную. Какой брак для робких и невинных дев, которые видели погибель отцов, братьев и матерей своих, которые принимают узы любви и счастья из рук,

дымящих кровью их близких! Пол прелестный, всегда лишенный свободы или самовластный, всегда боготворимый либо утесненный, совершенное равенство есть залог твоего и нашего счастья.

Между тем двести человек, сынов Вениаминовых, не имели супруг, и сей народ, жестокий в самой жалости, расточительный на кровь своих братьев, может быть, уже думал о новых злодеяниях, как один старец, уроженец Левоны, сказал старейшинам: «Сыны Израиля, внемлите словам одного из братьев ваших. Когда устанете убивать невинных? Приближается день торжественного праздника в Силоме. Скажите вениамитянам: сокройтесь в виноградники, девы Силомские⁸⁹ выйдут плясать при звуке флейт: окружите их; всякий изберет себе жену, похитит ее, и возвратитесь с ними в страну Вениаминову.

И когда придут к нам с жалобами отцы и братья похищенных, мы скажем: “Будьте к ним сострадательны, смягчитесь из любви к нам и к самим себе; они ваши братья”. Мы не можем преступить своей клятвы, не можем смешать крови своей с кровью Вениамина, мы одни будем виновны, если несчастное колено совсем исчезнет и не оставит потомства».

Сыны Вениамина повиновались совету, пришли, и когда молодые девушки Силомские вышли за город плясать при звуке флейт, они устремились и окружили их. Робкие бегут, рассыпаются, ужас следует за невинной радостью; каждая пронзительным воплем зовет подруг своих на помощь; виноградные лозы раздрают их одежды, земля усыпана их украшениями. Бегство оживляет их образ и стремление похитителей. Куда бежите вы, прелестные? Спасаясь от гонителя, вы спешите навстречу к другому, который лишает вас свободы. Каждый похищает себе подругу, и, стараясь ее успокоить, ужасает больше своими ласками, нежели насилем. Но весь народ стекается на крик и стенания; отцы и матери, пронзив толпу, стремятся на помощь к дочерям своим; похитители противятся; наконец, старейшины возвышают свой голос, и народ, сожалеющий о судьбе вениамитян, берет с живостью их сторону.

Но родители, раздраженные обидою дочерей своих, наполнили воздух своими укоризнами. «Как! — восклицали они с негодованием, — дочери Израиля примут неволю и рабство перед глазами Всевышнего. Вениамин поступит ли с нами, как и моавитянин?⁹⁰ Где же свобода твоя, народ священный?» — Колебаясь между справедливостью и состраданием, сыны Израиля произнесли, наконец, приговор: девы Силомские должны были возвратить себе свободу и сами решить судьбу свою. Похитители, принужденные повиноваться, отпускают их с сожалением и стараются преклонить юные сердца прелестных другими сильнейшими средствами. Все они вырываются и бегут толпами; юноши их преследуют, простирают к ним руки, восклицают: «Девы Силомские, будете ли счастливы с другими? Ужели недостойны смягчить вас остатки несчастного Вениамина?» — Но многие из них, любившие и любимые, трепетали от радости, видя себя на свободе. Акса, нежная Акса, устремившись в объятия своей матери, которая спешила к ней навстречу, бросает быстрый взгляд на Эльмасина, прелестного юношу, жениха своего, который с иступлением горести и бешенства летел спасти свою невесту. Эльмасин видит ее, простирает к ней свои руки, восклицает и не может произнести ни слова: бег и смятение почти лишили его памяти; вениамитянин замечает сие восхищение, сей быстрый взор, угадывает истину: вздыхает и, готовый удалиться, видит отца Аксы, который к нему приближается.

Это был самый тот старец, который подал совет вениамитянам. Он сам наименовал Эльмасина супругом своей дочери; но прямодушие воспрепятствовало ему

открыть Аксе опасность, которой подвергал он дев Силомских. Он берет ее за руку и говорит ей: «Акса, ты знаешь мое сердце! Я люблю Эльмасина; Эльмасин был бы моею радостью, моим счастьем при старости; но спасение твоего народа, но честь отца твоего должны победить любовь к Эльмасину. Исполни свою должность, милая дочь, сохрани меня от стыда перед лицом братьев моих; я подал совет сынам Вениаминовым». Акса, опустив голову, отвечала одним вздохом; но взоры ее, поднявшись, встретились с выразительным взглядом почтенного старца; взгляд сей был красноречивее слов его: в минуту Акса решилась: не смея взглянуть на любезного, слабым дрожащим голосом произносит она имя Эльмасина и слабое последнее прости, потом полумертвая обращается к вениамитянину и падает в его объятия. Народ зашумел, поколебался. Но Эльмасин выходит перед собранием и дает знак рукою: все умолкает, он говорит: «О Акса, о любезная моего сердца, услышь торжественную клятву Эльмасина. Ты одна была мною любима, никто кроме тебя не будет обладать моим сердцем; отныне все мое блаженство заключается в прелестных воспоминаниях моей юности, украшенной любовью и непорочностью. Никогда железо не прикасалось к голове моей, никогда уста мои вином не орошались; я чист сердцем и телом: священник Бога Живого, посвящаю себя его служению; примите назарейнина Господня⁹¹».

В сию минуту все девы Силомские, оживленные внезапным вдохновением, подвигнутые примером Аксы, стремятся ей уподобиться. Забывают своих любезных и летят в объятия вениамитян.

Израиль, пораженный сим трогательным зрелищем, восклицает громогласно: «Девы Эфраимские, вами оживится погибший род Вениамина, благословение Богу отцов наших; есть еще добродетельные в Израиле».

Письма к Саре

Jam, nec spes animi credula mutui

Нот.⁹²

От сочинителя

Следующие четыре письма сочинены по вызову. Хотели знать, может ли быть смешным любовник, проживший полвека. Мне казалось, что человек, во всякое время жизни, подвержен искушению, что всякий седой обожатель, не опасаясь потерять уважение честных людей, может написать четыре любовных письма, не больше. На что говорить о причинах, которые заставили меня так думать. Их угадают, читая сии письма, и будут судить об них по прочтении.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Ты читаешь в моем сердце, милая Сара, тайны его тебе открыты. Я это вижу, чувствую. Ты беспрестанно за мною следуешь любопытными взорами. Хочешь видеть, как сильно действуют твои прелести. Жестокая, сии презрительные ласки, сей довольный вид, сие очаровательное обхождение со мною уверяют меня, что ты веселишься втайне моим страданиям. С улыбкою в насмешку ты торжествуешь над несчастным, отчаянным, для которого любовь есть поношение. Ошибаешься, милая Сара, я не смешон, а только несчастлив, достоин жалости, не презрения, потому что

не лщу своему самолюбию, не говорю, что я молод, хорош, могу нравиться, любя страстно. Гибельное очарование, ослепившее мое сердце, украсившее тебя всеми прелестями в глазах моих, не совсем лишило меня рассудка: смотря на Сару с восторгом, я могу смотреть на себя с хладнокровием. Во всем кроме самого себя могу обмануться; всему кроме любви твоей могу поверить.

Обманчивые ласки твои прибавляют к моему унижению; люблю с ужасной достоверностью, что ты не можешь любить меня.

Будь же довольна, Сара. Вот мое признание: люблю тебя до безумия, пылаю к тебе страстью самую сильную, неизлечимую; но если смеешь, покусись приковать меня к своей колеснице как воздыхателя с седыми волосами, как старого прелестника, не потерявшего еще (*1 слово нрзб.*) быть приятным, мечтающего, в сумасбродстве своем, о правах на сердце молодой девушки. Нет, Сара, не обманывайся, ты не получишь такой победы, я не брошусь к ногам твоим, не буду смешить тебя любовным вздором и мучить своими вздохами. Я могу плакать, не от любви, от бешенства. Смейся, если хочешь, над моею слабостью; но я клянусь, что никогда не будешь смеяться над моим легковерием.

Я не мог равнодушно говорить о своей страсти: презрение тягостно, унижение нестерпимо: но страсть моя, слепая и безумная, спокойна, жива и тиха, как ты, моя Сара. Лишившись надежды, я погиб для своего счастья и живу только твоею жизнью. В твоих удовольствиях нахожу свои. Одни твои наслаждения имеют для меня прелесть; для одних желаний твоих открыто мое сердце. Я буду любить моего соперника, если он понравится моей Саре, буду желать, чтобы он ей понравился, чтобы имел мое сердце, для ее счастья, для нежной и постоянной страсти. Вот желание, позволенное тому, кто любит, не будучи любезным! О, Сара, люби и будь любима. Видя, что спокойна и довольна, я умру без горести.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Я писал к тебе, Сара, пишу опять. Мой первый проступок влечет другой за собою, но я, не сомневаясь в этом, могу остановиться. Твое обхождение со мною, ослепленным, будет мерою чувств моих, когда исчезнет очарование. Напрасно хочешь показывать, что не читала письма моего: притворство! Я знаю, что ты его читала. Непринужденный, спокойный вид твой меня не обманет; ты теперь такова точно, как прежде, как всегда; верный знак, что никогда не была искренна. Не примечая моего безумства, ты надеешься его увеличить; не довольствуешься моими письмами, хочешь видеть меня у ног своих; хочешь сделать меня совершенно смешным, глупым, забавляться надо мною, может быть, забавляешь и других; считаешь неполною свою победу, если я не лишен чести, не совершенно унижен.

Ясно видно, коварная очаровательница, из притворной скромности, которою надеешься обмануть меня; из этой притворной непринужденности, которою, по-видимому, хочешь загладить воспоминание моего проступка, показывая, что ничего об нем не знаешь; повторяю, ты читала мое письмо. Я в этом уверен, я это видел: ты держала в руках ту книгу, в которую оно положено было, и бросила ее с торопливостью, когда я вошел в горницу, покраснела, замешалась. Смущение жестокое, очаровательное, и может быть, такое притворное! Ни один пронзительный взгляд твой не действовал на меня так сильно и непобедимо, как оно подействовало! Что сделалось со мною при этом виде, который и теперь еще волнует всю

мою душу. Сто раз в минуту я был готов упасть к ногам надменной! Какое жестокое, опасное сражение с самим собой; но я победил; победил и трепетал от радости, что не унился. Одной этой минутою отмщаю за все твои оскорбления. Сара, не гордись: я могу торжествовать над тобою; страсть моя не совсем еще непобедима. Несчастный, бедный человек! Мечты моего самолюбия приписывать твоей гордости. Ах, если бы я имел счастливое право думать, что ты мною занимаешься. Да, Сара, занимаешься, хотя бы для того, чтобы только мучить обветшалою любовника, не слишком много для него чести. Нет, ты не имеешь другого искусства, кроме равнодушия; невнимание — вот все твое кокетство! Ты терзаешь меня, забывая, что я есть на свете. Я так несчастлив, что самым своим дурачеством не могу занять тебя на минуту. Твое презрение не хочет удостоить меня даже насмешки. Ты прочла мое письмо и забыла о нем; ты не сказала ни слова об моем страдании, потому что перестала об нем думать. Как, неужели я совсем ничто для Сары! Неужели мое бешенство, мои мучения ее не трогают и даже ею не замечены? Ах! Где же это милое добродушие, блестящее в глазах ее? Где же это нежное чувство, которым они оживляются?.. Жестокая... К чему же ты чувствительна? Лицо твое обещает душу. Оно лжет! Ты имеешь одно только зверство... Ах! Сара! Я ожидал от твоего сердца, по крайней мере, утешения.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Наконец ты довольна, Сара! Я пристыжен! Я совершенно унижен! Моя досада, мои жестокие сражения с самим собою, мое постоянство и твердость были напрасны: вот к чему они привели меня! Я был бы не столь низок, если бы меньше противился! Как! И я мог сравниться с ветренным мальчиком: мог целые два часа стоять на коленях перед ребенком; обливать слезами ее руки; мог ей позволить утешать меня, жалеть обо мне, отирать мои слезы, помраченные летами! Я мог принимать ее советы, одобрения! К чему же послужила мне долговременная опытность: какую пользу извлек я из горестных моих размышлений. Как часто в двадцать лет краснел я от того, что делаю в пятьдесят! Ах! Я жил только для посрамления! По крайней мере, хотя бы прямое раскаяние могло возвысить мои чувства: но нет, я люблю свое иступление, люблю свою низость. Воображая себя на коленях перед тобою, видя свои седины, я бешусь и мучаюсь; но сердце мое забывается, исчезает в неизъяснимом восторге, восплавшем его в ту минуту. Ах! В эту единственную минуту я не мог себя видеть, не мог ничего видеть, кроме тебя, несравненная! Твои прелести, твои слова, твои чувства живили, составляли все бытие мое, твоя молодость, ум, добродетель были тогда моими! Ты показывала ко мне почтение — мог ли я презирать себя! Ты называла меня своим другом — мог ли я себя ненавидеть! Увы, эта отеческая нежность, которой ты от меня требовала, милым трогательным голосом, это имя дочери, которым хотела называться, возвратили мне память. Твои разговоры, твои очаровательные ласки и восхищали меня, и мучили, слезы стремились ручьями из глаз моих. Я чувствовал, что бедность моя была моим счастьем: с большими правами на любовь Сары я бы не получил ее милостей.

Но я мог тронуть твое сердце. Сожаление затворяет его для любви, знаю, но твое сожаление имеет для меня прелесть неизъяснимую. Как! Я видел слезы на томных глазах твоих, слезы, мне посвященные! Чувствовал пламень одной, упавшей на мою щеку? О, эта слеза! Какое пожирающее воспаление она причинила! И я не счастливейший человек на свете! Ах! Я счастлив, выше меры, выше ожидания, самого смелого, самого дерзкого.

Так пускай беспрестанно возобновляются сии минуты неизъяснимого наслаждения! Пускай наполняется ими или бессмертным их воспоминанием весь остаток моей жизни! Что имеет она в себе достойного сравнения с тем чувством, которое одушевляло меня у ног твоих! Я был унижен, безумен, смешон, но я был счастлив, я наслаждался так, как никогда в течение жизни моей не наслаждался. О Сара, милая, пленительная Сара, я потерял все чувство раскаяния, весь стыд, я могу только думать о тебе, только чувствовать пламя, снедающее мою душу: пускай смеются над моим иступлением; в оковах твоих презираю ругательства целого мира! Мне ли думать о том, что найдут во мне люди. Я имею для тебя сердце юноши — довольно.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Как, Сара? Тебя ли я боялся, тебя ли стыдился любить с такою силою! О Сара! Несравненная, душа единственная, милая! Как могу не почитать себя, когда имею сердце, способное знать твою цену. Так, сгнужусь любви своей — она была слишком несовершенной, слишком бессильна, слишком недостойна своего предмета. Шесть месяцев ты восхищаешь мои глаза и сердце; шесть месяцев душа моя наполнена, оживлена тобою: но только вчера научился я любить тебя в совершенстве. Когда ты говорила, когда и слова, и чувства, достойные неба, выражались твоими устами, восхищенным взорам моим казалось, что все твое лицо, твой стан, твой образ, твои черты переменились! Не знаю, какой очаровательный пламень стремился из глаз твоих; какое блистание тебя окружало! Ах, Сара, если ты существо несмертное, ангел, слетевший с неба указать истинный путь заблужденному, открой мне сию тайну; может быть еще время. Да умрут желания моего сердца, невольные, но для тебя оскорбительные. Увы, если я обманут моею страстью, моим иступлением, моими дерзкими надеждами, уничтожь это прелестное заблуждение, скажи, как должно тебя обожать.

Ты овладела мной, Сара, овладела совершенно. Ты научила меня любить мое безумство, но слишком жестоко даешь его чувствовать. Когда я сравниваю свои поступки с твоими, то нахожу мудреца в молодой девушке и в старике ребенка. Твоя кротость величественная, соединенная с таким умом, с таким благородством, гораздо выразительнее самого жестокого (*1 слово ифзб.*): она больше всяких упреков устыдит меня перед самим собою. Вчера тон разговоров твоих, необыкновенно важный, дал мне сильно почувствовать, что я не должен принуждать тебя к их повторению. Понимаю тебя, Сара; ты увидишь, что я достоин тебе нравиться, если не своею любовью, то чувствами, с нею соединенными. Заблуждение мое будет так же не продолжительно, как было сильно; ты мне его показала — довольно; я выйду из заблуждения, будь в этом уверена: никогда, со всем своим безумством, не сделал бы я первого шага, если бы мог видеть, сколь оно велико. Я стоил упреков, ты подавала мне советы; я был преступник, ты видела во мне только слабого человека. Но я умею сказать себе то, что не сказала мне Сара: умею дать моим поступкам то имя, которого не хотела она дать им; она узнает, что сердце мое благородно, хотя, по незнанию, могло быть низким. Сара, не мои, но больше твои лета сделали меня виновным. Совершенно презирая себя, я не мог видеть ясно, сколь недостойн мой поступок. Тридцать лет разницы между нами давали мне чувствовать один только стыд мой и скрывали от меня твою опасность. И какую опасность! Я слишком мало ценил себя, чтобы почитать ее возможною; слишком был уверен в своей неспособности уловить твою невинность, и если бы ты была не столь добродетельна, то я без мысли мог сделаться обольстителем.

О Сара, добродетель твоя подвержена опаснейшим искушениям; лучший выбор предоставлен твоим прелестям. Но долг мой зависит ли от твоих прелестей и добродетели? Нет, голос его внятен моему сердцу, я хочу ему повиноваться. Для чего мои заблуждения не могут навеки изгладиться из моей памяти! Для чего я сам не могу забыть их совершенно! Ах, я чувствую, что рана сия никогда не закроется! Хочу залечить ее и только что растравлю; мой удел пылать до гроба неисцелимою страстью; всякий день сильнее, всякий день безнадежнее. Могу ли сказать «умри» своему сердцу; но, Сара, я могу молчать, обещаю и сдержу свое слово — никогда не говорить тебе о страсти безумной и несчастной, которая могла умереть при своем рождении, но теперь, усилясь, умрет только со мною. Все во мне умолкнет; глаза мои не будут выражать сокровенного в моем сердце: но запрети (*1 слово нрзб.*) вырывать из него бедственную тайну. Всему готов противиться, кроме твоих взглядов. Ах, Сара, знаешь, как легко тебе сделать меня клятвопреступником. Сие торжество для тебя верное, для меня посрамительное, может ли прельщать твою прекрасную душу. Нет, моя Сара, не оскверняй того храма, в котором тебе поклоняются; оставь какою-нибудь добродетелью сердцу, всего лишенному тобою.

Не могу и не хочу возратить несчастной тайны, которая сама обнаружилась; поздно, пускай она останется твоею; она так ничтожна, что скоро была бы забыта тобою, когда бы воспоминание об ней не возобновлялось беспрестанно. Ах, как я бы был жалок в своей бедности, когда бы не знал, что ты сожалелась о ней, тем более сожалелась, что никогда не можешь меня утешить. Ты будешь видеть меня всегда таким, каким я должен быть; никогда слова мои не будут выражением пылающего сердца, позволь мне к тебе писать: больше ничего не требую. Буду приближаться к тебе, как к божеству, пред которым страсти умолкают (*1 слово нрзб.*). Твоя добродетель уничтожит все очарование твоих прелестей; пред тобою сердце мое будет чисто; говоря тебе только то, что тебе прилично, что непротивно самой невинности, я потаю возможность сделаться обольстителем; перестану почитать себя смешным, когда не буду смешон в глазах твоих; не пожелаю быть виновным, ибо не могу быть виновен в твоём присутствии.

Писать к тебе? Нет, Сара, никогда на это не соглашайся! Такое желание не должно иметь места в моем сердце. Я бы не столько почитал тебя, если бы думал, что ты способна к сему снисхождению.

Сара, вот оружие, которым ты можешь от меня защититься. Не будь моим поверенным, будь только хранителем моей тайны: ты знаешь ее; довольно, всякое новое повторение бесполезно. Итак, замолчу; и что еще могу оказать тебе?! Моя Сара. Презри меня. Лиши своего присутствия, если когда-нибудь увидишь страстного любовника в друге, тобою избранном. Говорю тебе, прости навек, не имея сил различиться с тобою — последняя моя жертва, единственно достойная моего сердца и твоих добродетелей.

Отрывок от письма к Дидроту

Ты жалуешься на зло, мною тебе сделанное! Какое зло, скажи мне, что ты называешь злом? Не то ли, что я не совсем терпелив, когда ты сам меня огорчаешь; не то ли, что не люблю сносить твоего тиранства; досаую, когда ты не исполняешь данного мне слова; и, обещав ко мне прийти, не приходишь. Другого зла я никогда тебе

не делал! Если можешь, обличи меня в неправде. Мне делать зло моему другу! Ах, боже мой, со всею моею жестокостью, со всем моим бесчувствием, я умер бы с печали, когда бы мог перед злейшим врагом своим обвинить себя в таких поступках, какими несколько недель меня терзаешь.

Ты говоришь мне о своих услугах; они всегда в моей памяти, но ты не должен себя обманывать. Я получал услуги от многих, и недрузей моих. Честный человек, услуживая без всякого чувства, думает быть другом; он ошибается, он только честный человек. Все твое усердие, все твое желание доставлять мне такие вещи, в которых не имел нужды, меня не трогают. Ничего не требую, кроме дружбы, в ней одной мне отказывают. Неблагодарный, я не делал тебе услуг, но я тебя любил; ты жизнью своею не заплатишь мне за то, что я к тебе чувствовал в продолжении трех месяцев. Пускай жена твоя, более справедливая, прочтет это письмо и скажет, считал ли я шаги свои, смотрел ли на погоду, когда мой друг печальный и оставленный требовал моего присутствия, когда он томился в Венсене* без всякого утешения. Человек жестокий и нечувствительный! Две слезы на мое сердце были бы для меня драгоценнее всех тронов на свете; но ты не имеешь слез, ты только меня умеешь заставить плакать; удались, я ничего больше от тебя не требую.

Письмо к нему же

2 Марта 1758

Я должен, мой любезный Дидрот, написать к тебе еще раз в моей жизни. Ты слишком меня от этого уволил, но что делать, не имею духу от тебя оторваться: вот главное преступление того человека, которого ты чернишь таким странным образом.

Я не намерен входить в изъяснение тех ужасов, которыми ты меня обременяешь. Вижу, что всякое изъяснение теперь бесполезно. Ты натурально добр, не знаешь никакого притворства, но имеешь в себе несчастную склонность толковать в худую сторону слова и поступки друзей своих. Ты так предубежден против меня, что всякое слово, сказанное мною в мое оправдание, примешь в противном смысле. Объясняясь с тобою, подам только случай гибкому уму твоему растолковать невыгодным образом все мои объяснения. Нет, Дидрот, я чувствую, что этим начинать не должно. Предложу твоему благоразумию некоторые предрассудки; они проще, справедливее, основательнее твоих и, надеюсь, не покажутся тебе новыми преступлениями.

Я злой человек, не правда ли? Ты имеешь на это самые сильные доказательства; можешь представить свидетелей. Хорошо, но в то время, когда тебе сказали эту приятную новость, я был уже целые шестнадцать лет достойным человеком в глазах твоих и сорок лет в глазах целого света. Люди, обличившие меня перед тобою, имеют ли право то же сказать о себе. Если возможно так долго без всякой пользы носить на себе маску честного человека, то почему знаешь, что на лице их нет такой же маски, какая была на моем? Достойны ли веры доносчики, обвиняющие тайно и заочно человека, лишенного способов оправдаться! Дело идет не об этом.

Я злодей, но для чего злодей? Подумай, любезный Дидрот; это достойно внимания. Можно ли делать зло без причины! Когда бы такая ужасная склонность была разнообразна с натурою человек, то в сорок лет ужели бы она не раскрылась. Разбери

* Дидрот был заключен в Венсенском замке.

же мою жизнь, мои страсти, мои склонности, мои привычки. Найди причину, которая бы могла побудить меня ко злу. Мне желать разрыва с моими любезными; мне, которого сердце, по несчастию, так чувствительно! Для какой же выгоды? Скажи мне, искал ли я какого-нибудь места! Желая пенсион, чинов! Имею ли опасных соперников! Могу ли надеяться пользы, делая зло! Ничто кроме уединения, тихого и спокойного, меня не прельщает; лень и праздность поставляю верховным благом, безбожен до крайности, обременен болезнями, которые почти не дают мне работать из хлеба. Скажите, могу ли предаться мучительным беспокойствам преступлений, заботам и хитростям злодеев? Что ты ни говори, но тот, кто хочет вредить людям, от них не бежит: он может в уединении готовить свои удары, все поражает в обществе. Коварный человек хладнокровен и гибок; предатель всегда осторожен, всегда владеет собою: находишь ли во мне что-нибудь подобное? Чрезмерная вспыльчивость, скорость в самом хладнокровии; вот мои недостатки. Злодей не может иметь их; он только пользуется ими для погубления того, кто их имеет.

Подумай о самом себе. Остерегись своего добродушия. Ты еще не знаешь, до какой степени пример и заблуждение могут развратить его. Хитрые льстецы никогда в глаза не хвалят, под видом коварной откровенности они уловляют простосердечного! Разве ты никогда не боялся их хитрости! Какая участь! Лучший из людей обманут своим прямотушием, несчастное орудие в руках предателей! Знаю, что мысль сия противна самолюбию, но как бы то ни было, она достойна внимания рассудка.

Вот все.

Дидрот, войди в мое рассуждение, взвесь его и обдумай это письмо хорошенько, прежде нежели решишься отвечать на это письмо. Если оно тебя не тронет, все кончено; между нами нет никакого сношения, но если оно поразит тебя, мы объяснимся; ты возвратишь своего друга, тебя достойного, и, может быть, тебе не совсем бесполезного. Дидрот, я имею сильную причину требовать от тебя сего внимания.

Ты мог быть оболещен и обманут; между тем друг твой томится в уединении, забытый всем, что было ему дорого; он может прийти в отчаяние, может умереть, проклиная неблагодарного, который видел слезы его (*1 слово нрзб.*) и так жесток к нему в его несчастии.

Может быть* и то, что доказательства его невинности некогда рассеют твое заблуждение, принудят тебя почтить его память, но образ твоего друга, уединенно хладеющего на одре, поразит твою дуду, лишит тебя спокойствия во время ночи. Дидрот, подумай об этом. Я больше не скажу ни слова.

Письмо к Верну

Монморанси, 25 Марта 1758

Мне приятно уверять себя, мой милый Верн, что мы достойны любить друг друга и любим. Никакого сокровища на свете не предпочту сему счастью. Люби меня, друг мой, соотечественник мой, не думая ни о каких предложениях. Я богат твоим сердцем: все остальное ничто в страданиях тела и в горестях души! Бедность в дружбе есть истинная бедность. Во всякой другой умею помочь себе — нищета никогда не делает мне зла: успокойся.

* Он обманулся!

Так много вещей, в которых мы согласны, что бесполезно заводить спор о малости. Я столько раз говорил тебе и говорю опять, что нет человека на свете, который бы так искренне почитал Евангелие, как я. Эта книга в глазах моих есть совершенство. Ее перечитываю с новым удовольствием, когда скучаю с другими. В ужасных случаях моей жизни, когда надежда и твердость умирали в моем сердце, я находил в ней отраду и утешение. Но эта книга неизвестна двум третям человеческого рода! Могу ли поверить, чтобы африканец или скиф были меньше любезны Отцу Небесному; неужели нам одним даны способы узнавать Его и к Нему возвышаться мысленно! Лишены ли они сего блага! Нет, друг мой, не будем клеветать на Провидение; устремим взоры в человеческое сердце; на нем Милосердного рукою начертало оно свои законы.

Человек, кто бы ты ни был, войди в самого себя, покорись гласу совести, гласу природы и будешь справедлив, невинен, добродетелен, преклонись перед Создателем, и небо Его тебе откроется. Не полагаюсь ни на свой, ни на чужой рассудок! Но тишина души моей, но удовольствие, с каким живу и мышлю перед глазами великого существа, уверяют меня, что я не обманул в своих об Нем заключениях и в той надежде, которой благодать Его служит основанием. Как бы то ни было, друг мой, но я хотел не спорить с тобою, все мои чувства в твоей душе. Довольно! Такая материя не для писем.

Мое здоровье становится хуже. Что-то будет весною! Но я потерял всю надежду возвратиться в мое отечество.

Письмо к нему же

Монморанси, 25 мая 1758

Я пишу к тебе редко, любезный друг, но думаю о тебе ежедневно. Болезнь и слабость увеличивают мою лень. Одна душа моя в движении, но и в ней, кроме Бога, моего отечества, человеческого рода и тебя — не осталось ни к кому привязанности; опыты, открывшие мне глаза насчет людей, горестны и несчастны; теперь и твое вероломство не могло бы удивить меня: оно бы только растерзало мое сердце, но я не хочу и думать, чтобы ты мог быть к этому способен. Посети мое уединение, привычка видеть и узнавать друг друга утвердит между нами эту истинную дружбу, которой сохранения так пламенно желаю. Если обстоятельства, состояние и собственное твое сердце не противны сему путешествию, приезжай скорее, но уведоь меня заранее: я хочу приготовить себя к удовольствию прижать хотя один раз в жизни честного человека, верного друга, к своему сердцу.

Касательно до моей веры, скажу тебе искренне, что все твои опровержения нимало не убедительны. Имея в сердце твердую надежду на бессмертие, не должно так высоко ценить житейские блага и несчастия. Последние мне знакомы больше, нежели тебе, больше, нежели кому-нибудь, но я благословляю правосудное Провидение; смешно бы было роптать на горести минутной жизни... Человек, прошедший худую ночь в беспокойном трактире, имеет ли право называть себя несчастным... Однако перестанем спорить, любезный друг; помни, что ты защищал, что все, мною сказанное, было говорено в защиту моего мнения. Одобряю и твое, хотя не думаю, чтобы все непременно были обязаны почитать его справедливым.

ПРИЛОЖЕНИЯ



ПРОЗА В. А. ЖУКОВСКОГО

Уже в ранней эстетике Жуковского на первый план выдвигаются проблемы прозы, ее соотношения с поэзией, оценки русской художественной прозы, прежде всего, творчества Н. М. Карамзина, вопросы становления прозаического слога. Так, в своих конспектах западноевропейской эстетики и критики, относящихся к 1804—1811 гг., Жуковский предполагал сделать предметом специального рассмотрения «сравнение прозы с поэзией». В «Конспекте» содержатся интересные размышления о жанровых аспектах этого соотношения, о «поэтическом» и «стихотворном» повествовании (Эстетика и критика. С. 59, 69—70, 96—97 и др.).

Вслед за Карамзиным*, который, как известно, выступал против отождествления «стихотворства» и «поэзии» и уже тем самым доказывал художественную правомочность прозы, Жуковский исходит из того, что стихотворная форма сама по себе не может быть достаточным критерием разграничения поэзии и прозы, а тем более мерой оценки их эстетического достоинства. «Поэтическое» слово, независимо от того, стихотворное оно или прозаическое, считает Жуковский, это образное слово, передающее представление, отличное от того, которое составляет его лексическое значение. Опираясь на такое широкое понимание «поэтического» как «художественного», а именно эта точка зрения, по утверждению В. В. Виноградова, «решительно укреплялась» в начале XIX века в русской литературе**, Жуковский отстаивает свободу писателя в выборе изобразительных средств***. Он, может быть,

* Ю. Н. Тынянов справедливо указывал, что уже В. К. Тредиаковский, утверждавший в своем «Способе к сложению стихов», что «определенное число слогов (...) не отменяет их от Прозы», что «рифма (...) равным же образом не различает Стиха с Прозой», что «высота стиля, смелость изображений, живость фигур (...) не отличают Стиха от Прозы», «пошел довольно далеко в определении специфичности стиха вне признаков стиховых систем» (Тынянов Ю. Н. Теория литературы // Тынянов Ю. Н. Литературный факт. М., 1993. С. 47. См. также: Тредиаковский В. К. Сочинения. СПб., 1849. Т. 1. С. 123—125).

** Виноградов В. В. О художественной прозе. М.; Л., 1930. См. с. 85—91.

*** По мнению Жуковского, выраженному в «Конспекте», любое произведение является поэтическим, если оно достигает «назначенной цели — действия на душу». «Оселок всякого произведения есть его действие на душу. (...) Всякий выбирай

одним из первых начинает использовать слова «поэзия» и «проза» как термины, обозначающие не только разные типы речи художественного произведения, но и разные типы художественного сознания, миромоделирования: поэзия как мир идеала или, по удачному выражению Д. Н. Овсяннико-Куликовского, «гармонического ритма души», проза как мир действительности, внешнего разнообразия, окружающего человека. Формулируя свое представление о цели искусства как о движении к жизни, о том, что действительность — источник искусства («Жизнь и Поэзия — одно»), Жуковский настойчиво ищет пути к сближению поэзии и прозы, к использованию потенциалов развития литературы, заложенных в их взаимодействии.

Подобно Карамзину, Жуковский отталкивается от классицистической жанрово-родовой иерархии, в рамках которой проза не только ставилась ниже поэзии, но нередко и вовсе выводилась за пределы художественной литературы. Напротив, он представляет прозу как явление более позднее, чем поэзия, возникающее в эпоху более зрелого эстетического сознания. Несмотря на кажущуюся простоту и близость к обычной речи, проза эстетически гораздо сложнее поэзии. Именно об этом Жуковский писал еще в 1800-е гг. на полях книги «О старом и новом слоге русского языка, адм. А. С. Шишкова»: «Язык тогда может назваться образованным, когда уже и проза образована. Известно, что поэзия предшествует прозе» (БЖ, I, 111). Критерием зрелости литературы, как видим, признается именно уровень развития прозы, ее «образованность» определяет, по мнению Жуковского, прогресс всей словесности в целом. Эта мысль, высказанная Жуковским в самом начале XIX века и во многом противоречившая общепринятым на то время «аксиомам», будет характерна и для пушкинской эпохи.

При этом, «подготавливает» прозу, как считает Жуковский, именно поэзия. Потому взгляд на прозу и поэзию как на самостоятельные конструкции соединяется в сознании Жуковского с мыслью о том, что они не могут быть рассматриваемы без взаимной соотнесенности*,

свою дорогу», — записывает поэт в конспекте «Лекций по риторике и изящным искусствам» Х. Блера (Эстетика и критика. С. 65).

* Интересна позиция К. Н. Батюшкова по этому вопросу. Как бы в дополнение к словам Жуковского он указывает на существование и «обратной зависимости»: «Для того, чтобы писать хорошо в стихах в каком бы то ни было роде, писать разнообразно, слогом сильным и приятным, с мыслями незаемными, с чувствами, надобно много писать прозою (...). “Она питательница стиха”, — сказал Альфьери, если память мне не изменила» (*Батюшков К. Н. Собр. соч.* Т. 2. СПб., 1885—1886. С. 330). Не оставив подобных высказываний, Жуковский следовал этому правилу

что проза, именно в силу своей «эстетической вторичности» по отношению к поэзии, воспринимается на ее фоне как отталкивание от нее и одновременно притяжение к ней. На полях упоминавшейся выше книги Шишкова Жуковский пытается выявить существенные признаки прозы именно путем сравнения ее с поэзией. Разница между ними обосновывается не столько признаками стихотворной системы как таковыми (ритм, фоническая системность, высокий стиль, эмоциональность и т. д.), сколько глубокими внутренними различиями.

Предвосхищая в известной степени и А. А. Бестужева-Марлинского, и А. С. Пушкина, Жуковский в своих заметках впервые отмечает важнейшие, сущностные особенности прозы, прежде всего, ее глубокую связь с эпосом, установку на широкое и полное осмысление бытия, ее поистине неограниченные возможности выражения идей времени («мыслей»), все более усложняющихся представлений о человеке и мире. Жуковский одним из первых высказывает мысль о коммуникативности прозы как о ее художественном достоинстве. Позднее это получит в эстетике первого русского романтика свое закономерное развитие. В плане «Обзора русской литературы 1823 года» он формулирует уже со всей определенностью дорогие для себя идеи: «Для прозы мало таланта. (...) Нужны знания. Проза требует понятия о чел(овеке)» (БЖ, I, 43). Во втором варианте плана вновь читаем: «Поэзия живет — вообр(ажение себя). Проза требует знания» (БЖ, I, 43). Сам «Обзор» открывается развернутым тезисом о том, что «для писателя в прозе мало выраженного таланта — нужен ум, налитанный и распространенный основательными знаниями, нужно искусство, которое не иное что, как талант, просвещенный знаниями, воспитанный размышлением, очищенный вкусом» (Эстетика и критика. С. 311).

Отмечая как основные особенности прозы ее эпичность, интеллектуальность, коммуникативность, установку на изображение действительности, Жуковский обращает внимание и на большую, по сравнению с поэзией, трудность разработки языка в прозе («стихотворные величественные картины меньше требуют чистого языка, нежели простые мысли, которые тогда только приятны, когда выражены приятно» (БЖ, I, 111)). Исходя из того, что проза должна создаваться по иным законам, нежели поэзия, с другой стороны, Жуковский, как и Карамзин, утверждает принципы «поэтической прозы», в первую очередь, «чистоту» и «приятность» прозаического повествования. В статье 1811 г. «О слоге простом и слоге украшенном», переведенной из Д. Юма, поэт вслед

непосредственно на практике. В частности, его прозаические переводы сыграли немаловажную роль в становлении его как поэта.

за автором утверждает: «Если язык писателя неприятен, замечания не отличаются ничем необыкновенным, чувства несильны, то он напрасно будет хвалиться простотою и ясностью слога; он может быть правильным, но никогда не будет привлекателен» (ВЕ. 1811. № 8. С. 285). В своем примечании к переводу фрагмента из «Писем маршала принца де Линя» Жуковский уверяет читателей, что в каждом сочинении французского прозаика они найдут «приятность, несмотря на небрежность его слога», так как, читая его, «представляешь себе прекрасную физиономию автора (...), и самая небрежность его слога делается для вас привлекательной» (ВЕ. 1809. № 15. С. 174). Помещая в «Вестнике Европы» переводы писем И. Миллера к К. Бонстеттену, Жуковский замечает, что «эти письма, в которых изображается характер славного человека, будут приятны читателю» (ВЕ. 1810. № 16. С. 263).

Из приведенных выше и других высказываний Жуковского видно, что эстетические категории «чистоты» и «приятности» означают для него не только собственно речевые характеристики — смысловую ясность и точность, языковую правильность, но и связываются с уровнем содержания, с постижением в прозе индивидуальной психологии и морали личности: «характера человека» или «физиономии автора». Проза требует, в понимании Жуковского, обязательную связь «мысли» с «я» субъекта речи, что влечет за собой индивидуальную «окраску» высказанной мысли, которая, как и «окраска» чувства, подводится им под традиционные для лирики категории «приятного», «чистого». Именно оценка действительности, понятий и представлений о мире со стороны нравственного чувства, психологического состояния души рождает сложный синтез мысли и эмоции — «поэтическую прозу».

Это, в свою очередь, напрямую связывается с проблемой «простого и украшенного слога», которая оказывается одной из центральных для Жуковского уже в 1800-е гг. «Украшенность» признается необходимым для прозы, как и для поэзии, знаком того, что это именно искусство. В этом плане Жуковский был склонен проводить четкую грань скорее между художественной прозой и риторикой, чем между прозой и поэзией. Более того, всем своим творчеством писатель выступает за эмансипацию прозы от морализирования, дидактики именно в опоре на поэзию*. Однако при этом Жуковский пытается не только разграни-

* Уже в «Конспекте» (1804—1811 гг.) в поле зрения Жуковского вопросы дифференциации не столько прозы и поэзии, сколько «поэтического повествования» и риторики. Неизменно разграничивает «моральный трактат» и художественное произведение. Писатель «не хочет только учить других или доказывать им какую-нибудь моральную истину (...) он творит» (Эстетика и критика. С. 64). «Поэтическое повествование», в котором, по мнению Жуковского, принцип убеждения и на-

чить «украшенность» в прозе и в поэзии, но со временем эти мысли дополняются и корректируются возникшими в эстетике прозы Жуковского идеями «простоты» и «краткости».

Читая произведения русской и западноевропейской эстетики, Жуковский обращает особое внимание на мысли авторов «о существе украшений, об их классификации» (БЖ, I, 33). Он всегда тщательно отмечает определения тропов и фигур*. Прочитанные им художественные произведения, в том числе и прозаические, также сохранили следы интереса к наиболее живописным, поэтическим фрагментам**. Переосмысливая классицистическое понимание природы воспитательного воздействия художественного произведения на читателя, Жуковский видит секрет литературного слога (и стихотворного, и прозаического) в его «установке на выражение» (Б. В. Томашевский), в его «необычности», которую обычной речи придают, кроме использования поэтической семантики слова, и особые принципы лексического отбора, и синтаксис, и звукопись, и графика текста, и ритм. Все это, взятое в том или ином сочетании, как единство, призвано обратить специальное внимание читателя на выражение мысли, заставить его «ощутить выражение».

Исходя из того, что «характер стихов весьма отличен от характера прозы», Жуковский считает, что в поэзии силу эмоционального воздействия определяет в первую очередь «стихотворная гармония, которая без всякого сравнения приятнее прозаической» (ВЕ. 1810. № 3. С. 192). В этом утверждении видится стремление не умалить достоинства художественной прозаической речи, а подчеркнуть ее своеобразие. Если в стихах обязательна закономерная упорядоченность звуковой формы, которая и волнует читателя, и способствует накапливанию однородных эмоциональных впечатлений и нарастанию эмоции в целом, и является тем «эстетическим заданием», которому в стихах подчинено все, от выбора и соединения слов до смысла, то центр тяжести в прозе, полагает Жуковский, перемещается с «гармонии размера» на «простое выражение».

ставления должен органично сочетаться с принципом художественности, эстетической красоты, в «Конспекте» противопоставляется «историческому повествованию», которое «есть простое изложение истин» (Там же. С. 96).

* Пометы подобного рода обнаружены томскими исследователями библиотеки поэта в «Опыте риторики» И. Рижского, в «Лицее» Лагарпа, в «Лекциях по риторике» Х. Блера (см. об этом: БЖ, I, 33—34; II, 87, 136).

** Такие отчеркивания имеются, например, в «Приключениях Телемака» Ф. Фенелона (см. об этом: БЖ, III, 220—250).

Потому «излишняя украшенность», самоценность выражения, по мнению Жуковского, абсолютно противопоказана прозе. Проникая в «дьявольскую разницу» слова в прозе и в поэзии, Жуковский пишет: «Разительное в стихах становится резким в прозе, сильное становится грубым, живое пылким» (ВЕ. 1810. № 3. С. 192). Здесь замечено самое главное: семантическая ценность слова в стихе регулируется всем стиховым рядом (строкой, строфой), слово в стихе выбирают и организуют в первую очередь по его эмоциональному тону, который должен соответствовать общему эмоциональному тону произведения. Слово в прозе свободно, симультанно, для него существенны тонкие смысловые различия. Совсем не исключая использования поэтических стилистических средств и приемов, прозаик сознательно должен употреблять их не так, как в поэзии. У него должно быть особое чувство меры и гармонии, поскольку «украшения», являясь конструктивным фактором стиха, не могут мешать в стихе и, напротив, в прозе они являются моментом, иногда отвлекающим и даже разрушающим гармонию текста, его нейтральную среду, в которой возможно введение читателя как в «музыку» слова, так и в движение его содержания. В своей прозе Жуковский и пытается найти правильное соотношение, равновесие логико-семантического, синтаксического принципа отбора и связи слов и музыкальной гармоничности, ритма, художественной образности повествования.

В ряде статей и заметок Жуковского единственным критерием художественности прозы выдвигается именно «простота». Давая, например, положительную оценку «Путешествию Мунго-Парка по Африке», он отмечает, что оно «написано простым слогом» (ВЕ. 1808. № 12. С. 203). Требование «простого рассказа» для одного из жанров — прозаической басни — находим в статье «О басне и баснях Крылова». Здесь же сформулирована и общая идея: «Язык (...) самый простой и краткий — следовательно, проза» (Эстетика и критика. С. 184).

Как видим, к Жуковскому приходит понимание простоты и краткости как эстетической ценности прозаического текста. Но эти понятия, будучи для эстетики Жуковского (да и всей русской литературы) типологически «вторичными» (позднейшими, по сравнению, например, с категорией «приятности»), оказываются очень подвижными, сложными, зависящими от системы, на которую проецируются. Поэтому, вероятно, оказалось возможным в эстетике прозы Жуковского соединение несоединимого: «простоты» и «приятности» («украшенности»).

Поэт-романтик, открывший эмоционально-лирическое содержание для прозы, отыскивает для нее и стилистические особенности, близкие к признакам стихотворной речи, выступающим взамен

метрической организации языка (различные формы грамматико-синтаксического параллелизма, повышенная эмоциональность, поэтическая образность текста). Чуть позднее это будет поддержано Батюшковым и в дальнейшем процессе литературного развития найдет свое закономерное завершение в поэтической, «цветистой» прозе русских романтиков. С другой стороны, отметим не менее интересный факт: уже во второй половине 1810-х гг. Жуковский одним из первых будет настаивать на необходимости простоты в поэзии и попробует возможности гекзаметра. В дальнейшем, как указывает исследователь, простота становится «важнейшим критерием его отношения к поэзии» (Янушкевич. С. 201).

* * *

Особого внимания заслуживают замечания Жуковского о русской художественной прозе. Первым из них по времени появления можно считать следующее: «⟨...⟩ искусству учат одни хорошие авторы, а у нас их нет — я говорю о прозаиках. Назовите хотя одно оригинальное русское сочинение в прозе, прежде Карамзина» (запись на полях «Рассуждения» Шишкова; БЖ, I, 110). Позднее поэт повторит это в своих статьях, написанных для «Вестника Европы». Так, имея в виду низкий уровень развития отечественной прозы, Жуковский пишет в статье «О критике»: «⟨...⟩ мы еще не богаты произведениями превосходными; наша словесность едва начинает выходить из младенчества; оригинальных русских книг весьма немного» (Эстетика и критика. С. 224). Давая резкую оценку русской прозе в «Письме из уезда к издателю», Жуковский замечает не без горькой иронии: «достоинство» самого популярного жанра в России, романа, состоит «всегда почти в одном великолепном названии» (Эстетика и критика. С. 159). «Наша проза еще во младенчестве», «наша литература не богата сочинениями в прозе» — это «заготовки» мыслей в планах «Обзора русской литературы 1823 года» (БЖ, I, 43). «Проза не так богата. Пишут много, но оригинальных сочинений мало», — отмечает Жуковский в «Конспекте по истории русской литературы», характеризуя современное ему состояние прозы (1826—1827 гг.; Эстетика и критика. С. 326). В конце 1820-х гг. мысль Жуковского о «младенчестве» русской прозы поддержат и разовьют Пушкин, Бестужев-Марлинский, Вяземский.

Отрицая значение своих русских предшественников в области прозы в 1800-е гг. (позднее Жуковский откажется от нигилистического отношения к русской прозе XVIII в., и его взгляд на литературу и развитие русской прозы станет историчнее), Жуковский делает исключе-

ние лишь в отношении Карамзина. Связывая с его достижениями прогресс русской прозы, поэт, в полемике с Шишковым, называет Карамзина «лучшим русским прозаистом». «Он один у нас писал свое в прозе и так, как надобно» (БЖ, I, 111).

В своей программной статье «О критике» Жуковский называет сочинения Карамзина образцами, «довольно близкими к тому идеалу изящного, который должен существовать в голове каждого критика» (Эстетика и критика. С. 224). Позднее, в «Обзоре русской литературы 1823 г.», а также в «Конспекте по истории русской литературы» поэт, как известно, связывает с именем Карамзина целый период развития отечественной словесности. «Мы имеем одну только классическую книгу в прозе, которую с гордостью можем поставить наряду со всеми лучшими произведениями всех веков и народов, — это “История” Карамзина», — пишет Жуковский (Эстетика и критика. С. 311).

Рассматривая русский историко-литературный процесс под углом зрения русского языка, Жуковский считает, что «период Ломоносова» «обогастил поэтический язык и подготовил материал для прозы». Заслугу же «лучшего русского прозаиста» Жуковский видит, прежде всего, в открытии «тайны слова», «ясности, изящества и точности» прозаического слога («Он открыл нам тайну языка. (...) Благодаря ему язык вообще сделался чище» (Эстетика и критика. С. 321, 322 311). «Истинного совершенства» проза Карамзина, по мнению Жуковского, достигает в период редактирования им «Вестника Европы». При этом акцент Жуковский делает на большом влиянии, оказываемом журнальной прозой Карамзина на мышление современников. Столь серьезное влияние, в свою очередь, связывается с тем, что мысли была придана «привлекательность» «очарованием стиля». «История государства Российского», рассматриваемая Жуковским как литературное произведение, по его оценке, — «клад поучений для писателей. Они найдут там и тайну того, как надобно пользоваться своим языком, и образец того, как следует писать большое произведение» (Эстетика и критика. С. 322). Богатства прозы, считает автор «Конспекта», развернуты здесь во всех ее формах. Думается, что ориентацией на Карамзина определялось многое и в собственной прозе Жуковского (и в переводной, и в оригинальной, и в ранней, и в поздней).

Озабоченный проблемами становления отечественной прозы, Жуковский настойчиво ищет пути к ее прогрессивному развитию. Важнейшим из них он считает перевод, о чем писал еще в 1803—1804 гг. на полях «Рассуждения» Шихова. Его чрезвычайно беспокоит тот факт, что переводом беллетристики занимаются второразрядные авторы, чаще всего из конъюнктурных соображений. Неслучайно проблема

прозаического перевода так волнует Жуковского и в теоретическом плане, и на практике*.

Известно, что большую долю прозы Жуковского (как и поэзии) составляют переводы, в связи с чем высвечиваются ее весьма своеобразные грани, позволяющие определить ее место и в творчестве Жуковского, и в истории русской литературы. Но с другой стороны, этот факт весьма усложняет и без того нелегкую проблему определения объема прозаического наследия Жуковского, границы которого, вследствие специфического понимания Жуковским-поэтом, романтиком начала XIX в., категории «проза», «оригинальный текст» и «перевод», очертить оказывается достаточно сложно.

Понимая, что возможности прозы не ограничены и что в ней скрыт огромный потенциал для самого разного применения, Жуковский пользуется этим термином для определения не только собственно художественной прозы (назовем ее беллетристикой), но и научной прозы, публицистики, критики. Жанровые рубрики, которыми пользуется Жуковский при публикации своей прозы, например, в «Вестнике Европы», «Собирателе» или «Муравейнике» — «Смесь», «Критика», «Повести», «Мысли», «Отрывки» — не только подчеркивают ее своеобразие и разнообразие, но и позволяют говорить о том, что прозу Жуковский воспринял изначально как самостоятельную конструкцию без свойственной классицизму четкой жанровой иерархии.

Именно в прозе оказалось возможным более легко трансформировать жанры и, что главное, превратить их из канонических в неканонические. Сомнению была подвергнута Жуковским-прозаиком каноничность межжанровых и даже жанрово-родовых границ. Жанр в прозе Жуковского чуть ли не с самого начала уступает место другой категории — автор. Потому оказывается возможной и столь активно используемая Жуковским-прозаиком жанровая интеграция. Разные жанровые традиции, и поэтические, и прозаические, модифицируясь, складываются в новое метажанровое целое.

Жанровый канон уступает место «внутренней мере»**, которую автор устанавливает для себя в процессе создания произведения. С учетом этого обстоятельства неудивительно то, что проза Жуковского представляет собой живую развивающуюся жанрово-стилевую систему, удивительно созвучную и общей творческой эволюции первого русского

* В план «Обзора русской литературы 1823 года» Жуковский вносит, например, такие тезисы: «Переводы в прозе могли бы быть значительнее, но у нас только учатся»; «Все переведено и все испорчено» (БЖ, I, 43).

** Это понятие теоретически эксплицировано в работах Н. Д. Тмарченко, М. М. Гиршмана, С. Н. Бройтмана.

романтика, и задачам, выдвинутым русской прозой и всем русским литературным и, шире, культурным процессом XIX в.

* * *

Осмысление прозы Жуковского как цельного явления, уникальной и вместе с тем характерной для русской литературы системы, определяется самой природой его художественного сознания, тяготеющего к универсализму, синтетизму. В разные периоды творчества обращение Жуковского к прозе имело свой определенный смысл, на первый план выдвигались те или иные уровни системы, в зависимости от социально-философских, нравственно-эстетических исканий и самого Жуковского, и времени. В целом же интерес поэта-романтика к прозе, его активные и целенаправленные художественные поиски в этой сфере — свидетельство общих глубинных сдвигов, происходивших в русской литературе первой трети XIX в. и определявших ее закономерное, объективное движение в сторону прозы.

Опорные пункты концепции мира и человека и художественных прозаических форм ее выражения находим уже в ранней прозе Жуковского (1797—1806 гг.), развитие которой сразу пошло по двум путям — оригинальное творчество и переводы. В разных направлениях, жанрах Жуковский пробует силу своего пера и таким образом расширяет пространство русской прозы, заметно опираясь при этом на свои достижения в лирике. Почти одновременно он пишет бессюжетные произведения, ориентированные на лирические жанровые традиции (элегии, оды), и переводит большой по объему авантюрный роман автора так называемого «второго ряда» (А. Коцебу «Gergrüfte Liebe»), создает свою первую историческую повесть, первую критическую статью, которая была посвящена жанру путешествия, и работает над переводом романа Сервантеса и повестей французского моралиста Флориана.

Именно в 1797—1806 годах, во многом прошедших для Жуковского под знаком Карамзина, рождались первые идеи и образы его прозы. Если рассматривать произведения этих лет в их совокупности, то можно установить, что внимание Жуковского-прозаика было сосредоточено на выработке принципов психологической прозы, предметом изображения которой являлся новый тип личности, находящейся в постоянном процессе самопознания и самосовершенствования. Изображение внутреннего состояния человека в прозе, в свою очередь, потребовало новых объяснений сути его связей с миром. Предельно важны Жуковскому оказались в связи с этим процессы интеллектуализации, философизации, эпизации прозы, ее гражданский и нравствен-

ный пафос. Особую роль здесь сыграло увлечение Жуковского французскими и немецкими просветителями. Он много читает и активно переводит их прозу — укажем на его незавершенные замыслы издания в собственном переводе «Избранных сочинений Ж.-Ж. Руссо» и «Примеров слога, выбранных из лучших французских прозаических писателей», на его многочисленные незаконченные переводы 1804—1806 гг. из Гуфланда, Энгеля и др.*

Однако главные усилия Жуковского-прозаика в начале 1800-х гг. подчинены становлению прозаического слога. В его ранних оригинальных прозаических опытах слово, как в поэзии, явно окрашено эстетическим заданием, в зависимости от которого текст приобретает элегическое, одическое, идиллическое звучание. Именно на фоне этих текстов отчетливо выделяются попытки Жуковского-переводчика реализовать такие образцы прозы, в которых слово в художественном отношении было бы свободным, подчиненным коммуникативной функции. Вместе с тем, ранние переводы сюжетной прозы демонстрируют тот факт, что самая попытка «нейтрализации» прозаического слога есть результат поэтического искусства Жуковского.

Энциклопедизм прозы Жуковского как следствие универсализма его мышления, единая система ее этических основ как фундамент психологизма, принципиально эстетический характер поисков в области прозы, устремленность к взаимодействию с поэзией — все это нашло свое развитие в прозаических произведениях, написанных и переведенных для «Вестника Европы» (1807—1811 гг.). Они отражают процесс перехода Жуковского-прозаика от сентиментализма к романтизму. Уникальное явление в этом отношении представляет собой его журнальная беллетристическая проза. Феномен психологизации прозаического текста, захватывающий все его уровни, составляет одну из основных особенностей этого корпуса произведений Жуковского. Причем основные трудности в этом плане он преодолевает, явно опираясь на свою романтическую поэзию, в первую очередь, на балладу, являвшуюся, как известно, «универсальной формой выражения поисков» Жуковского-поэта, начиная с 1808 года (Янушкевич. С. 81). С другой стороны, открытые в повести принципы эпической детализации, установка на эпическое воссоздание бытия, интерес к обыкновенному и будничному, скрывающему за собой вечное и сущностное, уже во второй половине 1810-х гг. дадут о себе знать в творчестве Жуковского-поэта. Он, как известно, обра-

* Упомянутые здесь незавершенные переводы из Гуфланда, Энгеля и др., вошедшие в тетрадь под названием «Старые сочинения и переводы в прозе», датированную 1802—1811 гг. (РНБ. Оп. 1. № 18), см. в т. 10 настоящего ПССиП.

тится к таким лиро-эпическим жанрам, как идиллия, поэма, в которых будет разрабатывать «новые возможности поэзии на пути ее сближения с прозой» (Янушкевич. С. 200).

Параллельно повестям в небеллетристических текстах, созданных для «Вестника Европы», по-своему утверждались определенные философские и нравственно-этические концепции, способствовавшие повышению онтологического статуса прозы. В целом же проза «Вестника Европы» выстраивалась по принципу функционального взаимодополнения в условиях размывания жанрово-родовых границ. Проза «младших жанров»: «популярная» или «моральная практическая философия», письма, путешествия, анекдоты, отражая важнейшую черту мышления Жуковского, тесную взаимосвязанность в его сознании морали и эстетики, философии и психологии, отличалась органичным сочетанием этического и эстетического, художественного и документально-публицистического. Выполняя прежде всего познавательные функции, будучи направлены на формирование сознания читателя, они являлись хорошей школой для Жуковского-прозаика и сыграли свою роль в становлении русской прозы. Типологически же все прозаические произведения, написанные или переведенные для «Вестника Европы» в 1807—1811 гг., родственны, отражая становление *романтического миропонимания* Жуковского, универсализм его мышления, движение к целостному охвату действительности и заключая в себе как эстетическое единство две стихии творчества писателя — эпическую и лирическую.

1810—1820-е гг. в творческом развитии Жуковского занимают, как известно, совершенно особое место. Это, по точному выражению А. С. Янушкевича, «эпоха романтических манифестов». Весьма примечательно, что именно на это время приходится переиздание Жуковским своих переводов из Коцебу, Флориана, Сервантеса, а также издание избранной прозы 1807—1811 гг., публиковавшейся в «Вестнике Европы» («Переводы в прозе», 1816 г.; в 1827 г. в свет вышло 2-е изд.). К этому же времени относится замысел «Собрания переводов из образцовых немецких писателей» в двух томах (1816 г.), о котором Жуковский писал Д. В. Дашкову (см.: РА. 1868. № 4. С. 837—843). Один из двух томов должен был содержать прозу. В 1818 г. Жуковский впервые ввел прозу в собрание своих сочинений. В 1826 г. проза писателя была издана отдельным томом.

Подводя определенные итоги в области поэзии, Жуковский серьезно думает в 1810—1820-е гг. и о прозе, стараясь отыскать новые черты ее эстетики и поэтики. Его собственная лирика, а также философия, эстетика и творчество немецких романтиков, которыми Жуков-

ский, как свидетельствует его библиотека, увлекся в конце 1810-х гг., сыграли здесь свою роль. У писателя, отдавшего дань и эстетической бессюжетной прозе сентиментализма, и беллетристике в духе карамзинских традиций, зреет убежденность в необходимости поиска новых путей развития русской прозы, которое связывалось с актуализацией ее философичности, в связи с чем он обращается к исходным формам философствования, к дидактико-аллегорическим, наивным фольклорным жанрам (притча, сказка, басня, анекдот), что совпадало с давним стремлением писателя к «простоте и краткости» в прозе.

С другой стороны, Жуковский все решительнее поворачивает прозу в сторону реальной действительности — прежде всего с целью выявления ее онтологической сути или, как позднее сам писатель выразится, «существенности». Художественный вымысел все меньше и меньше интересует Жуковского-прозаика. Собственно его работа над переводом басен, сказок, притч (для занятий с великой княгиней Александрой Федоровной), т. е. таких текстов, которые издавна опирались на откровенную фантастику, будет едва ли не последним (если не считать некоторых материалов «Собирателя» и «Муравейника») всплеском интереса к вымышленным сюжетам и героям в прозаическом произведении.

Эстетизация внеэстетического материала, начавшаяся в прозе Жуковского в 1820-е гг., в корне меняла всю систему эстетики и поэтики его прозы. Начиналась закладка фундамента для ее развития на новых принципах. Особенно значительной Жуковскому-прозаику представляется сейчас жизнь человека в ее конкретном, биографическом плане. Жуковский обращается к описанию фрагментов своей реальной жизни как сложного и многогранного процесса. В 1820-е гг. создаются, на основе личных писем, такие шедевры, как «Рафаэлева „Мадонна“», «Путешествие по Саксонской Швейцарии», «Отрывки из писем о Саксонии» и другие сочинения, которые выливаются в философско-эстетические программы. В прозу Жуковского, стремящуюся к раскрытию романтического сознания, эпически осваивающего реальный внешний мир и свою взаимосвязь с ним, открывающего поэзию жизни, образ бытия в обыкновенном и будничном, войдет тончайший психологизм и символизм. Сближаясь с реальностью, она все больше приближается к поэзии, наполняясь лирической философией и эстетикой, образной символикой. Не менее показательным является и сознательное стремление Жуковского-прозаика в эти годы к целостному охвату бытия. Отсюда его работа в конце 1820-х гг. над такими изданиями, как «Собиратель» и «Муравейник». Они отражают поиски Жуковским синтетических форм выражения «мыслей».

В 1830-е гг. интенсивность прозаического творчества Жуковского не уменьшается. Его путь к эпосу пролегает через сближение поэзии и прозы (вспомним его стихотворные переложения европейской романтической прозы и попытки обратного переложения — например, собственных лиро-эпических произведений в прозу), но вместе с тем, Жуковский последовательно занимается собственно прозой. Практически вся она — оригинальная.

Необходимо отметить при этом, что своими творческими поисками Жуковский-прозаик органично включается в логику развития русской литературы, переживавшей, по словам исследователей, «кризис, сопровождающий процесс изменения социальной функции литературы»*. Отечественная словесность, и в первую очередь проза, стремится к взаимодействию, «скрещению» (Л. Я. Гинзбург) с философией, историей, политикой, эстетикой. Процесс этот, безусловно, был связан с продолжающимися поисками нового содержания прозы. Характерно, что Жуковский именно в 1830—1840-е гг. совершенно очевидно подчиняет свою прозу «поэзии мысли». Об этом он постоянно размышляет в письмах А. С. Стурдзе, А. Ф. Бриггену, П. А. Плетневу.

Уже в начале 1830-х гг. Жуковский-прозаик обращает свой специальный интерес к истории, к философии истории и активно вводит эти проблемы в литературу. При этом он отнюдь не стремится освободить свою прозу, наполняемую новым содержанием, от художественности. Другое дело, что формы ее и средства принципиально менялись. В частности, в 1830-е гг. складывается новая система жанров, отличающаяся очень подвижными межжанровыми границами и внутрижанровыми принципами. Так, в 1830-е гг. ведущими жанрами Жуковского-прозаика становятся заметки, воспоминания, очерки, литературные портреты, которые пишутся в форме открытого письма редактору журнала, предисловия к изданию сочинений, юбилейной речи и пр. Личное и публичное, документальное и субъективное в них принципиально переплетены в одно целое.

Все эти тенденции найдут свое закономерное развитие в 1840-е гг., ощущаемые самим писателем как «эпоха прозы», когда к нему пришло время делиться со своими читателями «мыслями», накопленными за всю предыдущую жизнь. Позднюю прозу Жуковского, циклы его статей философско-мировоззренческого характера, которые сам писатель собирал в «целый том», невозможно рассматривать, не учитывая его углубляющегося интереса к проблемам религии, христианской веры.

* Гинзбург Л. Я. Опыт философской лирики // Гинзбург Л. Я. О старом и новом. Л., 1982. С. 194.

Практически все проблемы человеческой жизни, в том числе и своей собственной, Жуковский пытается увидеть сквозь призму евангельской концепции человека и связать их в одно целое, выработать некую общую идею, которую можно определить одним словом — жизнестроение. В этом Жуковский сближается с такими своими современниками, как Гоголь, молодые славянофилы, писатели-декабристы, Чаадаев.

Итак, 1797—1806 гг. — время «стилистических упражнений» в прозе и начало его жанрово-родовых экспериментов, 1807—1811 гг., период работы в «Вестнике Европы», занятый поисками романтического героя в прозе и в связи с этим освоением новых для русской прозы тем, проблем, мотивов и сюжетов, 1810—1820-е гг. — переходный период в творчестве Жуковского-прозаика, отличавшийся системой экспериментов, направленных на введение принципиально нового содержания в прозу, что повлекло за собой перестройку ее эстетики и поэтики, и наконец, 1830—1840-е гг. — «эпоха прозы», главным содержанием которой становится, по собственному признанию Жуковского, «поэзия мысли». На любом из названных отрезков времени наблюдается органическое единство нравственно-философских исканий Жуковского с его поисками в области прозы, сопряженными в свою очередь с открытиями в поэзии, а также в эстетике и поэтике художественного перевода. В центре этих поисков всегда находился человек, его сложная внутренняя природа и особенности отношений с миром, что привело Жуковского в конце творчества к созданию целостной философии жизни, которую он сам называл «христианской философией» и которой посвятил «том святой прозы», сложнейшее жанровое образование, подводящее итоги и являющееся завещанием писателя своим потомкам.

Пройдя путь от «Мыслей на кладбище», «Мыслей при гробнице» (через увлечение жанром повести, через работу в бесфабульных, промежуточных жанрах) к «целому тому» «мыслей и замечаний», складывающихся в циклы и циклы циклов, Жуковский-прозаик демонстрирует свою эволюцию как отражение его общего мировоззренческого и творческого развития — от лирики к эпосу, от синкретизма к синтетизму, к целостности охвата бытия в художественном произведении, а следовательно, к органичному слиянию поэтического и прозаического, оригинального и переводного, собственно художественного и публицистического, философского начал. Усиление философичности прозы позднего Жуковского и в связи с этим символично-мифологической природы прозаического слова как закономерный итог эволюции Жуковского-прозаика во многом определит путь русской художественной литературы не только к Толстому

и Достоевскому, но и предскажет важнейшее направление художественного развития XX в. И поэтому в сегодняшних размышлениях о судьбах русской прозы прозаическое наследие первого русского романтика, собранное в полном объеме, рассмотренное в эволюции, должно занять свое вполне определенное и значимое место. Тем самым не только дополнится картина творческой эволюции Жуковского, но и будет конкретизирована история русской прозы, ее перехода из века Просвещения в век романтизма и реализма, от сентиментальной повести и многочисленных небеллетристических малых эпических жанров к классическому русскому роману.

ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТАМ

В настоящий том включена проза Жуковского, относящаяся к периоду между 1797 г., когда было создано его первое опубликованное прозаическое произведение — статья «Мысли при гробнице», и 1803 г., когда Жуковский, по приглашению Н. М. Карамзина, начал публиковать свою прозу в «Вестнике Европы», ведущем русском журнале начала XIX в. Это была историческая повесть «Вадим Новгородский», критическая статья «О “Путешествии в Малороссию” г. Шаликова» и переводное «Письмо французского путешественника». В том вошли также незавершенные и никогда не публиковавшиеся переводы 1804—1806 гг. — тексты хрестоматии «Примеры слога, выбранные из лучших французских прозаических писателей» и «Избранные сочинения Жан-Жака Руссо».

Названные произведения, как и ряд других оригинальных статей, публиковавшихся в «Приятном и полезном препровождении времени», «Иппокрене», «Утренней заре», и прозаических переводов: роман «Мальчик у ручья, или Постоянная любовь» (перевод из А. Коцебу), повести «Королева Ильдегерда» (также перевод из Коцебу), «Вильгельм Тель, или Освобожденная Швейцария», «Розальба. Сицилийская повесть» (и то и другое — переводы из Ж.-П. Флориана), создавались в очень напряженной историко-культурной атмосфере, в эпоху, характеризовавшуюся в литературе особым переходным состоянием — от рефлексивного традиционализма, нормативности, риторичности к неканоническому, индивидуально-творческому осмыслению и эстетического объекта, и содержательно-художественных форм его выражения. Чрезвычайно характерным было смещение установленных классицизмом границ между «высоким» и «низким», следствием чего стало разрушение строгой иерархичности в соотношении поэзии и прозы и их взаимодействие. Неслучайно, уже первые стихотворные и прозаические произведения Жуковского оказались тесно связанными и проблематикой, и поэтикой.

Для Жуковского это были не менее напряженные годы. Они были временем нравственного формирования его личности, закладки фундамента его философско-эстетических концепций, в том числе основ его теории прозы и прозаического перевода, временем становления его прозаического слога, вызревавшего параллельно поэтическому стилю и во многом под влиянием Н. М. Карамзина. Ранние прозаические сочинения Жуковского рождались «на почве эмпирико-рационалистического мышления» (А. С. Янушкевич), складывавшегося у начинающего писателя под воздействием европейских и русских деятелей Просвещения. Они отразили прививаемые ему в Университетском благородном пансионе идеалы нравственного само-усовершенствования, культ добродетели, духовности как основы человеческой жизнедеятельности, органично входя, таким образом, в общее русло его творчества и прокладывая пути к развитию отечественной прозы.

Несмотря на значительность произведений 1797—1806 гг. и для становления русской прозы, и для самого Жуковского, большая часть из них не получила признания в современной писателю критике. Да и сам Жуковский не был склонен к высокой оценке своих первых прозаических опытов. Писатель, по-видимому, относился к ним как к ученическим, лабораторным произведениям. Неслучайно многое осталось незавершенным и никогда не публиковалось самим Жуковским в составе своих собраний сочинений. Но, как это часто бывает с авторской самооценкой, а тем более это верно в отношении к столь требовательному к себе Жуков-

скому, он был, скорее всего, не прав, не придавая значения своим первым прозаическим произведениям. Они заняли подобающее им место в закономерном процессе становления и прозы Жуковского, и шире — русской прозы, без «образованности» которой, по словам самого Жуковского, нет смысла говорить об «образованности» русской словесности.

Полный корпус произведений 1797—1806 гг. собран в одно издание впервые. Издатели и редакторы посмертных собраний сочинений Жуковского (начиная с П. А. Ефремова /С. 7/), первыми введя в их состав раннюю оригинальную прозу, проигнорировали целый пласт переводной прозы этого периода. Это касается и «Мальчика у ручья», второе (оно же и последнее) издание которого относится к 1819 г., и повести «Королева Ильдегерда», единственное издание которой было предпринято в 1801 г., и к переводам из Флориана, последняя публикация которых относится к 1817 г. Такие же переводы, как «Полные сочинения г. Леонарда», «Письмо французского путешественника» вообще никогда не перепечатывались, будучи опубликованными в первый (и последний) раз в периодических изданиях. Эти произведения давно стали библиографической редкостью и уже в силу этого до сих пор не введены в научный оборот, не говоря о широких читательских кругах.

Кроме того, публиковавшаяся в составе собраний сочинений проза Жуковского, не поддаваясь традиционному изданию по жанровым рубрикам, вся определялась издателями как «смесь». Это не позволяло увидеть важнейшие жанрово-родовые закономерности, многое определявшие в развитии Жуковского, и поэта, и прозаика, в развитии русского романтизма в целом.

Вошедшие в представляемый том произведения потребовали уточнения датировки. К сожалению, до нас не дошли автографы данных произведений (сохранились только автограф «Истинного героя» и поздняя копия статьи «Мысли при гробнице»), что, безусловно, усложнило работу комментаторов. Даты создания произведений устанавливались на основе фронтального просмотра архивных материалов, дневников и писем Жуковского, мемуаров его современников. Изучение этих материалов позволило датировать произведения с максимальной точностью и, следовательно, увидеть самое начало становления прозы Жуковского во всей сложности и динамике этого процесса. Последовательно выдержанный в томе хронологический принцип позволил увидеть и жанрово-родовую динамику Жуковского-прозаика. Так, например, ранние статьи 1797—1800 гг., своего рода стихотворения в прозе, представляют собой некое единство. Такой же целостностью обладают и произведения 1803 г., опубликованные в «Вестнике Европы» и свидетельствующие о признании Жуковского Карамзиным, и незавершенные переводы, представляющие нам эксперименты писателя в разных областях прозаического повествования и составившие специальный раздел, логически завершающий настоящий том — «Из черновых и незавершенных рукописей».

В пределах годовых подборок материал, по возможности, также расположен хронологически последовательно.

В примечаниях к произведениям использован материал, касающийся их творческой истории, отмечены различия в разных изданиях. Особый пласт комментария составляет поэтический контекст прозаических произведений, вводящий их в общую логику развития творчества Жуковского и русской литературы в целом. Комментарий переводных произведений содержит сведения об авторе оригинала, об источнике и характере перевода.

1797

Мысли при гробнице

(«Уже ночь раскинула покров свой...»)

(С. 23)

Автограф неизвестен.

Копия: ПД. № 27800. Л. 1—2 с об. — рукою И. И. Давыдова, приложено письмо от 28 января 1845 г.

Впервые: Приятное и полезное препровождение времени. М., 1797. Ч. 16. С. 106—111.

В прижизненные собрания сочинений не входило.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: 1797 г. (после 16 мая).

Первое опубликованное прозаическое произведение Жуковского. По семейному преданию, непосредственным поводом для написания «Мыслей при гробнице», так же как и первого печатного стихотворения Жуковского «Майское утро», опубликованного в том же издании, что и «Мысли...», послужили впечатления о смерти сводной сестры Жуковского Варвары Афанасьевны Юшковой (1768—16.05.1797), матери А. П. Елагиной и А. П. Зонтаг, сыгравшей огромную роль в духовном и культурном воспитании юного Жуковского в период до поступления его в Московский университетский благородный пансион (см.: Зонтаг. С. 12—14). Во многом ученическое, произведение было написано во время обучения Жуковского в Московском университетском благородном пансионе, в журнальной публикации сделано указание: «Сочинил Благор. Универ. Пансиона воспитанник В. Жуковский» (Приятное и полезное препровождение времени. Указ. соч. С. 111).

«Мысли при гробнице» несут сильную печать влияния на Жуковского карамзинского направления, в частности, опытов Н. М. Карамзина в области лирической прозы, ее разнообразных жанровых модификаций: «прогулок», «медитаций», «элегий в прозе», «миниатюр», «психологических портретов» (см.: *Петрушина Н. Н.* Жуковский и пути становления повествовательной прозы // *Ж. и русская культура.* С. 47—51). Образцом для первого опыта Жуковского могли послужить сочинения его наставника, учителя словесности М. Н. Баккаревича: его «Надгробный памятник», написанный в 1795 г., был опубликован в одном номере с «Мыслями при гробнице» Жуковского (См.: Резанов. Вып. 1. С. 127—138).

В «Мыслях при гробнице» получили развитие активно осваиваемые русской литературой традиции Макферсона («Песни Оссиана»), готического романа (см. *Вацуро В. Э.* Готический роман в России. М., 2002), кладбищенской поэзии, связанной с творчеством Юнга, Грея и других английских сентименталистов, утверждавших культ благородной чувствительности меланхолического героя (см.: Вацуро. С. 8—19, 48—73). Пессимистические медитации, восходящие к Юнгу, по поводу неизбежности смерти («все гибнет под сокрушенными ударами косы твоей») сочетаются с мужественной твердостью и уверенностью в возможности духовного спасения для добродетельного человека. Идеи внесловной ценности личности получают развитие в утверждении равенства всех людей перед смертью, заслуживающих «слезы чувствительности».

Структура произведения, выбор sentimentalного героя-повествователя определяются стремлением Жуковского воссоздать в единстве картину мира и переживания ее героем. Структурообразующим являются не только идеи (нравственно-этическая ценность постулатов), но процесс переживания, само протекание чувств, облагораживающих и выявляющих их общечеловеческий смысл. Для повествования характерно сочетание высокой патетики, торжественной лексики («небо, распростертое шатром», «ратай», «пространная область творения»), использование эмблематики (Морфей — «сон с целебной чашею в руке»; смерть — «с лезвием страшной косы» или «иссеченный сверху череп») и лиризма, суггестии, музыкальности, кантиленности слога. Лирико-элегическая манера психологической прозы более всего сказалась в описаниях природы, характеризующихся «плавностью движения зрительных картин» (см.: Вацуро. С. 70), а также осуществляемым в процессе живописания единством принципов контраста и гармонического уравнивания оппозиций путем использования разного рода повторов (например: «Все тихо, все молчит (...) Один я не могу сомкнуть глаз»; «не слышно работы кузнечика, и трели соловья не раздаются уже по роще. Спит ратай, спит вол, верный товарищ трудов его, спит вся натура»), вопросов, восклицаний, «сладостной» лексики, оксюморонов («сладкое уныние»), акцентировки звукового восприятия природы («царствует *тишина*» — «вдали *шепчет* дремлющий ручеек и *едва-едва слышно* колебание листьев»), обилием глаголов и преобладанием форм, означающих неопределенность, незавершенность, длительность, зыбкость состояний («*бледно-мерцающий свет*»; «древние дубы, *коих вершины изображались в тихой и спокойной поверхности вод*, как в чистом зеркале»).

В первом прозаическом опыте Жуковского обнаружилось органическое единство поэзии и прозы, а также свойственное и стихотворениям соединение одического и лирического начал. Найденные здесь идеи и образы оказались доминантными в последующем творчестве поэта как в лирике, так и в прозе, в частности, мотивы смерти, добродетели, бессмертия, кладбища получают развитие в «Мыслях на кладбище», «Истинном герое», «Добродетели», «Элегии» из Грея и других. Кроме того, на страницах принадлежащих поэту экземпляров «Созерцаний природы» Ш. Бонне, к которому Жуковский обратился вслед за Карамзиным, а также трудов натуралистов Бюффона и Ласепада, сочинений Томсона и Клейста, прочитанных в связи с замыслом описательной поэмы «Весна», исследователями обнаружены довольно значительные по объему и чрезвычайно глубокие по содержанию прозаические фрагменты, выполненные писателем в форме «мыслей и замечаний». Они очевидно перекликаются с «Мыслями при гробнице», продолжая их проблематику прежде всего постановкой «общих вопросов происхождения человека и вселенной» (БЖ, I, 339) и развивая схожие принципы повествования и стиля. В письме (1845), сопровождавшем копию «Мыслей при гробнице», И. И. Давыдов писал о начале статьи «Мысли при гробнице»: «(...) именно первая строка поэта-отрока, будущего поэта-гения. Тогда впервые прочли имя, которым мы теперь гордимся» (ПД, № 27800, л. 2 об.)

¹ *Лепобразный* — от церковно-славянского «лѣпный» — хороший, красивый, прекрасный, благовидный.

² *Впоследствии* — т. е. в последний раз.

1798

Мир и война

(«Зазвучали оружия брани...»)

(С. 25)

Автограф неизвестен.

Впервые: Приятное и полезное препровождение времени. М., 1798. Ч. 20. С. 259—262 с подписью в конце: «В. Жуковский».

В прижизненные собрания сочинений не входило.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: 1798 г. — на основании времени первой публикации.

Судя по времени и месту публикации, «Мир и война» представляет собою ученическое сочинение на заданную тему. Пацифистское по содержанию, оно строится на резком противопоставлении картин войны и мира. Композиционно состоит из двух частей, каждая из которых, в свою очередь, составлена из двух картин-панорам, изображающих войско и мирных жителей в ситуации военных сражений и наступившего мира. Венчаются первая и вторая части взволнованным обращением повествователя к миру: «Поспеши, благодетельный мир, поспеши утушить вражду между людьми (...)» и «Продлился, вожделенный мир, продлился между людьми (...)». Стиль произведения характеризуется сочетанием одического и элегического повествования, ярко выраженной ориентацией на традиции классицизма и классических образцов «батальной живописи старой манеры Ломоносова, Державина, Хераскова» (см.: Иезуитова. С. 59), что проявилось в выборе темы (война и мир), в характере эпитетов, сравнений при описании сражения, в ритмической организации прозы, в звукописи.

Описание людского бедствия («пламя войны все пожирает») носит обобщенно-философский характер: картину всеобщих страданий Жуковский воссоздает последовательным перечислением несчастий людей, представляя размахом возрастных колебаний (от младенца до старца) весь мир. Панорама обрамляется лирико-философским рассуждением чувствительного повествователя: «(...) всюду отчаяние и горсть поселилась, и радость отвратила блестящий взор свой». По такому же принципу создана картина наступившего мира: «ратники (...) с дружелюбием обнимаются», «супруги (...) вкушают неизреченные радости», «сын на коленях объемлет руку седовласого родителя», «теплые слезы текут из очей старца и орошают румяные щеки юноши».

Лирическое слово повествователя отличается кантиленностью, создаваемой повтором гласных звуков («Поспеши, благодетельный мир, поспеши утушить вражду человека, осени крылом твоих ратующих братий и излей бальзамический сок в сердца, возженные пламенем войны») и музыкальным контрапунктом во внутреннем развитии главной идеи произведения — в обретении миром тишины и всеобщего умиротворения после разрушительных бедствий войны.

Найденный Жуковским синтез одического и элегического повествования во многом предвосхитил стилистику и пафос более поздних произведений, таких, например, как «Песнь барда над гробом славян-победителей».

Э. Жилкова

Жизнь и источник

(«Солнце торжественно появлялось на горизонте...»)

(С. 26)

Автограф неизвестен.

Впервые: Приятное и полезное препровождение времени. М., 1798. Ч. 20. С. 280—284 с подписью в конце: «В. Жуковский».

В прижизненные собрания сочинений не входило.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: 1798 г. — на основании времени первой публикации.

Сочинение явно написано на заданную тему в форме философской аллегории в прозе: этапы человеческого развития, от младенчества до старости, соотносятся с жизнью природы. Жуковский обращается к широко распространенному роду описаний кладбищенского или сельского пейзажа как способу развертывания философских и психологических медитаций, типа статьи «Жизнь человеческая в сравнении с водами», опубликованной в «Приятном и полезном препровождении времени» (№ 14). См.: Резанов. Вып. 1. С. 161.

Произведение состоит из двух частей. В первой нарисованы картины наступающего утра и вид с холма на бегущий ручей — от истока его на лугу до моря. «Вид с холма» мог быть навеян юному автору воспоминаниями о Мишенском, однако, как замечает В. И. Резанов, присутствие в картине моря явно свидетельствует об учебном и во многом подражательном характере произведения Жуковского (см.: Резанов. Вып. 1. С. 61). В целом описание природы выдержано в традициях сентиментального живописания со свойственной ему памятью классицистической аллегоричности, приверженности к античной образности, торжественностью стиля и статуарностью форм и жестов изображаемых явлений: «солнце торжественно появлялось на горизонте», «заря скинула (...) покров ночи», «Морфей отлетает в царство теней», «крылья зефиров». Однако присутствие чувствительного героя, знакомого с «флеровой мантией меланхолии», вносит в описание черты субъективности и суггестии, что особенно проявляется в характере определений: «тихий покров ночи», «пестрый луг», «нежные своды душистых цветов».

Описание этапов человеческой жизни в соответствии с картинами природы подчинено развитию морально-этического наставления, выдержанного в духе просветительской концепции личности, о необходимости добродетельного поведения. Жизнь человека уподобляется бегущему потоку: младенчество соотносится с зарей или истоком ручья, поскольку младенец еще «ничего не знает» и «самая добродетель не имеет прелестей в глазах его»; юность похожа на «струи ручья уже среди цветов», когда все определяется тем, закрепится ли в душе «семя добродетели», которое со временем «пустит корни и превратится в дерево», или нет; человек в «мужеских летах» уподоблен «источнику жизни», который «течет по голому утесу, совратясь с благовонных лугов и с шумом низвергается в море», и только добродетель может помочь ему достигнуть берегов среди бушующего моря; в старости человек «либо погибает в пучине», либо старость его «тиха и праведна». Авторский дискурс заканчивается весьма характерным для просветительской прозы предостережением читателю: «Смертный! Берегись совращаться с истинного пути, иначе ты, подобно

источнику, будешь поглощен неизмеримым морем несчастий!» Типологическим сходством отмечено решение этой проблемы в пансионских «нравоучительных одах» Жуковского на тему добродетели.

Важнейшей идеей статьи становится утверждение способности человека делать свободный нравственный выбор своего жизненного пути. Два противопоставления оказываются здесь весьма значимыми. Ручей, течению которого подобна жизнь человека, не может изменить русла своего движения, человек (сам или с помощью мудрого наставника) может «извлечь из неопытного сердца (...) жало страстей», его «благоразумие» может «рассеять туман заблуждений». Параллельные рассуждения находим на полях прочитанных Жуковским чуть позже (в начале 1800-х гг.), с карандашом в руках, сочинений Руссо: его «Трактата о науках и искусствах», «Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства между людьми», «Новой Элоизы», «Эмиля, или О воспитании». Здесь создаются целые страницы прозы, посвященной тем же сложнейшим философским, нравственно-этическим вопросам природы человеческой личности и сути ее отношений с миром.

Жуковский использует в миниатюре устойчивые аллегории: море как «океан несчастий», берег — «тихая и счастливая обитель», дерево как воплощение устойчивости в жизни.

Э. Жилыкова

**Речь на акте в Университетском благородном пансионе,
14 ноября 1798 г.**

(«Любезные товарищи! Никогда еще не посещали...»)

(С. 27)

Автограф неизвестен.

Впервые: Речь, разговор и стихи, читанные в Публичном акте, бывшем в Благородном университетском пансионе. М., 1798.

В прижизненные собрания сочинений не входило.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: первая половина ноября 1798 г.

Целый ряд ранних прозаических произведений Жуковского был посвящен непосредственно теме нравственного содержания личности. Интерес к ней, протекающий из самого хода русского общественно-литературного движения переходной эпохи, формируется у писателя еще в Московском университетском пансионе. Совпадая с важнейшей «идеей времени» о нравственном самоусовершенствовании как пути к общественному прогрессу, будучи органически связанной с литературными поисками Жуковского, проблема нравственности в разных ее аспектах была поднята специально в пансионской речи, читавшейся Жуковским на торжественном акте 14 ноября 1798 года, проводимом по случаю освящения нового каменного флигеля, в зале которого тогда же были поставлены портреты кураторов пансиона, упомянутых в речи: И. И. Шувалова, И. И. Мелиссино и М. М. Хераскова.

Центральным понятием, вокруг которого строится вся речь, является добродетель как необходимый элемент общества и каждого его члена. Развитие человека не мыслится автором речи без нравственного совершенствования. Категория

добродетели понимается и в пространстве «нравственной вертикали» (в связи с чем в речи утверждаются идеи безропотного приятия страданий), и по общественно-исторической «горизонтали» (красной нитью через весь текст проходит мысль о преданности государю, «ревности к службе», о необходимости быть «другом человечества»). И в том, и в другом случае тема нравственности для Жуковского — это тема человека. Антропоцентрическая установка автора речи очевидна, в чем, безусловно, сказались уроки кураторов пансиона и университета, московских масонов И. П. Тургенева, И. В. Лопухина, И. И. Шувалова, М. М. Хераскова, И. И. Мелиссино, А. А. Прокоповича-Антонского. Именно благодаря их стараниям у воспитанников пансиона, в том числе и у Жуковского, складываются принципы определенной этической системы — благонравие, стремление к добру, совесть, возникает интерес к эстетическим идеям и художественным образам масонской прозы. О масонской прозе и о восприятии Жуковским позднего масонства см.: *Сахаров В. И.* Русская проза XVIII—XIX веков. Проблемы истории и поэтики. М., 2002. С. 7—14; *Его же.* Иероглифы вольных каменщиков. Масонство и русская литература XVIII — начала XIX века. М., 2000. С. 25—28, 75—77 и др.; *Лотман Ю. М.* Жуковский-масон // Уч. зап. Тартуского ун-та. Тарту, 1960. Вып. 98. С. 311; *Янушкевич А. С.* В. А. Жуковский и масонство // Масонство и русская литература XVIII — начала XIX века. М., 2000. С. 179—192.

Большое влияние на Жуковского в этом плане оказывает Карамзин и шире — сентиментализм как художественная система, воспользовавшаяся, по утверждению исследователей, «открытиями масонской творческой антропологии» и ушедшая «далеко вперед в поэтическом анализе личности и ее души» (*Сахаров В. И.* Иероглифы вольных каменщиков. Масонство и русская литература XVIII — начала XIX века. М., 2000. С. 137).

В связи с этим прежде всего следует подчеркнуть главную установку Жуковского-автора речи — на эмоциональное воздействие на публику. Нравоучение, высокие мысли о тесной связи нравственности и просвещения должны были в первую очередь увлечь сердца слушателей. Отсюда сочетание высокой патетики, торжественной лексики, устойчивых аллегорий и поэтичности, музыкальности, достигаемых вопросительно-восклицательными интонациями, повторами, звукописью: «Что просвещение без добродетели? Медь звенящая, кимвал бряцающий, нечистый, заразительный источник. Просвещение и добродетель! — соединим их неразрывным союзом; да царствуют они совоюпно в душах наших. К сему должны стремиться все мысли и дела наши. Сего ожидает от нас отечество...». Совсем еще молодой человек, Жуковский необычайно прозорлив в постановке проблем, являвшихся центральными в общественно-философских и этических учениях таких западноевропейских мыслителей, как Руссо, Бонне, Дюкло, Гарве, репрезентативными и плодотворными для русских философско-эстетических исканий начала XIX века и в дальнейшем для русского классического романа: нравственная мысль (нравственное слово) и безнравственное дело, культура и нравственность, природа и нравственность. Проблема нравственности продолжает интересовать Жуковского и далее и осмысливается им все в более и более широком контексте.

¹ ...лик Шувалова! — И. И. Шувалов (1727—1797), граф, государственный деятель. Член Конференции при Высочайшем дворе. Фаворит императрицы Елизаветы Петровны, оказывал влияние на внешнюю и внутреннюю политику России. Осно-

ватель Академии художеств (1757). Участвовал в издании «Собеседника любителей русского слова». Покровитель и друг М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, А. В. Храповицкого и других деятелей русской культуры и науки. В числе прочего он поддерживал многие начинания М. В. Ломоносова. Под его покровительством в 1755 г. был основан Московский университет, Шувалов стал его первым куратором.

²...*образ Мелиссино!*.. — И. И. Мелиссино (1718—1795), государственный деятель. Выпускник Сухопутного шляхетского кадетского корпуса; обучался вместе с А. П. Сумароковым, которому помогал в организации драматической труппы. Был директором Московского университета и обер-прокурором Святейшего Синода. Уволенный в 1768 г. с должности обер-прокурора, Мелиссино был назначен почетным опекуном Воспитательного дома, а в 1771 г. — куратором Московского университета. Учреждение при университете Благородного пансиона, «Вольного Российского Собрания», «Общества любителей русского языка» — его главные заслуги.

³... *Херасков, добрый, чувствительный, незабвенный основатель сего благотворного места...* — Благородный пансион при Московском университете был открыт в 1779 г. куратором М. М. Херасковым (1733—1807), поэтом, государственным деятелем, для проживания детей провинциального дворянства «на полном пансионе» и обучения их по университетской программе, что позволяло готовить их к поступлению в университет.

И. Айзикова

1799

**Полные сочинения г. Леонарда,
собранные и изданные Винцентом Кампеноном
в 3 т. Париж, 1798**

(«Сие собрание сочинений Леонардовых...»)

(С. 33)

Автограф неизвестен.

Впервые: Иппокрена, или Утехи любословия. 1799. Ч. 2. С. 81—90, 97—107 — с подзаголовком: «Из Spectateur du Nord» и подписью: «Василий Жуковский».

В прижизненные и посмертные собрания сочинений не входило.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: май-июнь 1799 г.

Как удалось установить, статья является довольно-таки точным переводом из журнала «Le Spectateur du Nord, journal politique, littéraire et moral. Janvier, fevrier et mars» (Hambourg, 1799. Т. 9. Р. 368—382). Автор этой рецензии на сочинения французского писателя Никола Жермена Леонара (Léonard; 1764—1793) не указан и не установлен.

Время создания перевода можно определить приблизительно. 9-й том французского журнала, содержащий информацию за первые три месяца 1799 г., вышел в апреле этого же года и мог появиться в России в самом конце апреля — начале мая. О времени выхода в свет второй части «Иппокрены» (дата цензурного разрешения

отсутствует) сведений нет. Но скорее всего она появилась в мае-июне 1799 г. Всё это позволяет предположительно датировать перевод Жуковского маем-июнем 1799 г.

Имя Никола Леонара было известно в России уже в XVIII веке, прежде всего как автора идиллий. Его опыты в этом жанре традиционно связывали с традицией известного швейцарского идиллика Саломона Геснера (см.: *Вауфр В. Э.* Русская идиллия в эпоху романтизма // *Русский романтизм.* Л., 1978. С. 119). Появление в 1771 г. сборника пасторальных стихотворений Леонара (*Léonard N.-G. Poésies pastorales.* Genève; Paris, 1771) вызвало в России отклик. В. М. Протопопов в свой сборник «К чему может служить досужное время?..» (М., 1789) включает шесть переводов из Леонара (см.: *Рак В. Д.* Библиографические заметки // XVIII век: Сб. 20. СПб., 1996. С. 187—188). Одновременно перевод идиллии «Миртис и Дамон» появляется в «Магазине чтения для всякого возраста и пола людей...» (М., 1789. Ч. 1. С. 9—18). См.: Там же. С. 171. М. Н. Муравьев публикует в «Модном ежемесячном издании» за 1779 г. стихотворение «Буря» с подзаголовком: «Перевод осьмой идиллии г. Леонарда» и с посвящением своей сестре Ф. Н. Муравьевой. В письмах к ней он настоятельно советует прочитать «les poésies past(orales) de mr. Léonard», а Леонара называет «лучшим подражателем Геснера» (Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980. С. 330, 333, 336). Б. В. Томашевский соотносил со стихотворением Леонара «Les plaisirs du rîvage» стихотворение А. С. Пушкина «Земля и море» (*Томашевский Б. В.* Пушкин и Франция. Л., 1960. С. 450), а А. С. Грибоедову приписывают вольный перевод стихотворения «Буря», опубликованный в альманахе «Радуга на 1830 год» (М., 1830) под заглавием: «Элегия (из Леонара)» и с подписью: «А. Г-в» (в оглавлении: «А. С. Г-в»). См.: *Грибоедов А. С.* Сочинения: В 2 т. М., 1971. Т. 2. С. 25.

Большую известность в России имел роман Леонара «Тереза и Фальдони, или Письма двух любовников, живущих в Лионе» (1783). Как установил Б. М. Эйхенбаум, Н. М. Карамзин в «Письмах русского путешественника» (Лион. Марта... 1790) пересказал сюжет этого романа и затем упомянул о нём в балладе «Алина» (*Жихарев С. П.* Записки современника / Ред., статья и коммент. Б. М. Эйхенбаума. М.; Л., 1955. С. 718—719). В последнем, наиболее авторитетном издании произведения Карамзина (*Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника / Изд. подгот. Ю. М. Лотман, Н. А. Марченко, Б. А. Успенский. Л., 1984) почему-то об этом не говорится ничего.

Роман под заглавием «Тереза и Фальдони, или Письма двух любовников, живущих в Лионе» (Ч. 1—2. М., 1804; 2-е изд. М., 1816) был известен в переводе М. Т. Каченовского. В «Дневнике студента» С. П. Жихарев записывает 5 января 1806 г.: «На свободе проглотил, наконец, многохвальный роман «Тереза и Фальдони», перевода Каченовского, и чуть было не подавился» (*Жихарев С. П.* Записки современника: Дневник студента. Л., 1989. Т. 1. С. 182). Вероятно, Каченовский ввёл новую транскрипцию фамилии французского писателя: не «Леонард», а «Леонар». Во всяком случае в списке литературных замыслов Жуковского под заглавием: «Что сочинить и перевести» (РНБ. Оп. 1. № 12. Л. 51 об.), относящемся к лету 1805 г., в разделе: «Перевести» мы уже встречаемся с этой транскрипцией: «Из Леонара» (Ср.: Резанов. Вып. 2. С. 256).

Отзвуки интереса к этому роману можно обнаружить в «Бедных людях» Ф. М. Достоевского. В письме к Вареньке от 12 апреля Макар Девушкин, рассказывая о своей хозяйке, замечает: «В доме и людей-то всего двое: Тереза да Фальдони, хозяйский слуга. Я не знаю, может быть, у него есть и другое какое имя, только он и на это откликается; все его так зовут. Он рыжий, чухна какая-то, кривой, курносый,

грубиян: всё с Терезой бранится, чуть не дерутся» (*Достевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972. Т. 1. С. 23). Как указывает Г. М. Фридендер в комментарии к роману: «Имена несчастных героев-любовников популярного в конце XVIII — начале XIX в. sentimentalного романа (...) в 1840-е годы употреблялись в качестве нарицательных: незадолго до появления «Бедных людей» в «Литературной газете» (1843, № 7—8) появился рассказ М. Воскресенского «Замоскворецкие Тереза и Фальдони», добродетельные герои которого уподоблялись героям Леонара» (Там же. С. 480).

Обращение Жуковского к переводу статьи о Леонаре скорее всего было связано с его интересом к жанру идиллии. Известен устойчивый интерес молодого Жуковского к творчеству Геснера (см.: Янушкевич. С. 159). В период работы над описательной поэмой «Весна» он постоянно обращается к опытам европейских поэтов-сентименталистов и их идиллиям (подробнее см.: *Вётшьева Н. Ж.* Замысел поэмы «Весна» в творческой эволюции Жуковского // Ж. и русская культура. С. 112—125). По мнению Ц. Вольпе, «Вечер» «настолько полон идиллико-пейзажных формул европейской sentimentalной поэзии, что кажется почти контаминацией отдельных стихов и выражений» (Стихотворения. Т. 1. С. 360). В списке литературных замыслов 1805 г. раздел «Идиллии» занимает важное место, а имена Теокрита, Геснера, Фосса и Леонара (Резанов. Вып. 2. С. 254, 256) конкретизируют намерения Жуковского.

Сам перевод статьи из «*Le Spectateur du Nord*» точен. Жуковский только опускает последний абзац, не имеющий прямого отношения к жизни и творчеству Леонара, да не решается ещё переводить стихотворные фрагменты из сочинений французского поэта в стихах, давая прозаический подстрочник.

¹ *Полные сочинения* (...) *изданы Винцентом Кампененом...* — речь идёт о следующем издании сочинений Н. Леонара: *Oeuvres complètes de Léonard, recueillies et publiées par Vincent Campenon.* 3 vol. in — octavo. Paris, 1798. Издателем этого собрания сочинений был французский поэт и переводчик Винсент Кампенон (1772—1843). И. А. Бычков высказал предположение о знакомстве Жуковского с дидактической поэмой Кампенона «*La maison des champs*» (1809) и возможном замысле её перевода (Дневники. С. 49).

² *Геснер произвёл сие в действо.* — Как явствует из последующего изложения, автор статьи в «*Le Spectateur du Nord*» также рассматривал Леонара в числе подражателей швейцарского идиллика.

³ *Беркен* — имеется в виду Беркен Арно (Berquin, 1749—1791), писатель, известный идиллиями и романами, современник Леонара.

⁴ «*Два ручья*». — В. Э. Вацура указал на существование стихотворного перевода этой идиллии, принадлежащего известному масону и вольнодумцу кн. М. П. Баратаеву. Под заглавием: «*Два ручья, перевод из Леонара*» и с датой: «1816. Августа 23 дня. Симбирск» он находится в рукописном альбоме М. В. Беклешовой (урожд. Сушковой), тётки Е. П. Ростопчиной, в собрании Пушкинского дома (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1877 год. Л., 1979. С. 52).

⁵ *...прекрасное письмо о страстях.* — Думается, об этом письме Жуковский мог вспомнить, когда готовился к речи «О страстях» в Дружеском литературном обществе в апреле 1801 г. (см. примеч. в наст. томе).

⁶ *...одного Лионского фехтмейстера...* — т. е. учителя фехтования. В подлиннике указано имя: «прозванного Фальдони» (nommé Faldoni), почему-то опущенного при переводе.

А. Янушкевич

К надежде

(«Надежда, кроткая посланница небес!»)

(С. 40)

Автограф неизвестен.

Впервые: УЗ. Труды воспитанников Университетского благородного пансиона. М. 1800. Кн. 1. С. 18—21 — напечатано под № IV с подписью в конце: «В. Жуковский».

В прижизненные собрания сочинений не входило.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: начало 1800 г. — на основании времени первой публикации.

Ученическое произведение в форме элегической миниатюры, в которой ярко выразилась морально-этическая и философская концепция оптимизма и демократизма молодого Жуковского, сказавшаяся в развиваемой идее равенства и внесо-словной ценности личности. Надежда, по мысли автора, должна даваться всем — от «венценосца до пастуха, от первого счастливец до последнего бедняка». Утверждению идеи равенства людей подчинена композиция произведения: каждый абзац, последовательно вводя образы людей разного социального положения и занятий (царь, герой, земледелец, мореход, «нежная мать», нищий, узник и среди них последним — лирический герой), заполняет обширную панораму человеческого общежития. Произведение построено по принципу ораторской речи в традициях жанра оды, предполагающей обращение к высокому предмету — лицу или моральной идее. Образцы подобных од Жуковский отметил в «Плане» задуманного (в 1802—1805 гг.) «Собрания русских стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских и из многих русских журналов»: «К милости» Н. М. Карамзина, «К Борю» А. Х. Востокова и др. (см.: Иезуитова. С. 64—66).

Для стиля характерно сочетание одического начала с лирико-элегическим. Особое качество элегизма создается музыкальностью повествования. Жуковский создает целую систему повторов: это анафоры (с обращения «Надежда!» начинаются первый и последний абзац, передающие впечатление гармонической завершенности и целостности всего текста; с предлога «без» начинаются два абзаца, с местоимения «ты» — пять абзацев), устойчивые сложные синтаксические конструкции с причастными оборотами («бедняка, отверженного миром», «земледельца, в поте лица возделывающего поле свое», «кораблем морехода, плывущего по зыбким хребтам», «нежную мать, неусыпно пекущуюся о детях своих» и др.). К концу произведения нарастает повторение внутри текста в самих абзацах (в седьмом и восьмом по два раза повторяется обращение: «Ты радуешь {...} Ты говоришь {...}», «Ты утешаешь {...} Ты снимаешь {...}»; в девятом же абзаце обращение, начинающееся с местоимения «ты» повторяется трижды. Подобная система нарастания повторов способствует усилению ритма и эмоциональной напряженности как выражения торжества нравственно-этической программы Жуковского.

Э. Жилкова

Мысли на кладбище

(«Ночь наступает»)

(С. 41)

Автограф неизвестен.

Впервые: УЗ. Труды воспитанников Университетского благородного пансиона. М., 1800. Кн. 1. С. 68—70 — напечатано под № XI, с подписью в конце: «В. Жуковский».

В прижизненные собрания сочинений не входило.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: начало 1800 г. — на основании времени первой публикации.

Ранний натурфилософский опыт Жуковского, выполненный в форме лирико-элегических размышлений в духе традиций кладбищенской поэзии, идущих от Юнга (о литературном контексте «Мыслей на кладбище» см.: Резанов. Вып. 1. С. 136—140). В произведении меланхолические раздумья связаны с проблемами вечной жизни природы, смерти и бессмертия человека, добродетельной жизни. По сути, Жуковский «пересказывает» прозой такие свои, написанные ранее стихотворения, как «Майское утро», «Добродетель». В свою очередь, «Мысли на кладбище» можно считать одним из первых подступов Жуковского к переводу элегии Т. Грея «Сельское кладбище».

В отличие от более раннего произведения «Мысли при гробнице» (1797) Жуковский сосредоточен на изображении душевного состояния героя и изменения мира, его окружающего. Философски и эстетически значимой является мысль о бессмертии человека. Идея равенства всех людей, вне сословий, перед лицом вечности воссоздана не рационально, а через процесс переживания этой мысли лирическим героем. Жуковский обращается к традициям русской сентиментальной и английской кладбищенской поэзии, в которой философская и этическая концепция внесословной ценности личности и равенства людей развивается через изображение процесса созерцания чувствительным героем меняющихся картин природы. Внешняя неподвижность лирического героя Жуковского (эмблема созерцания — «облокотясь на падший столб, смотрю я вокруг себя»; эффект неподвижности усиливает образ «гения уныния», который «в белой одежде, с поникшею головою, сидит на гробовых обломках(...)») подчеркивает его задумчивость и сосредоточенную погруженность в мир ночной природы и мыслей о судьбе человека.

Природа, олицетворяющая идею вечной жизни, изображается в изменчивости, движении, непрерывном процессе внешнего и внутреннего превращения. В центре — изображение ночи, в котором все используемые глаголы даются в форме настоящего времени (только в двух последних абзацах — в будущем) и изображают длительное состояние: «ночь наступает», «луна (...) подьемлет» и «осеребряет», «облачка опушают», «луч преломляет, разливают» и пр.

Звуковая, философски нагруженная доминанта в восприятии ночи лирическим героем, — «тишина», «молчание». Атмосфера тишины усиливается мотивом сна и смерти. Но тишина и молчание таят под покровом внешнего безмолвия исполненную тайной и движения жизнь. Центром, обнаруживающим бесконечные изменения в природе и душе, является луна, изображение которой погружено в стихию суггестии: «собеседница *горестных*», «*задумчивый* образ луны, — тем она *любезнее*,

тем *привлекательнее!*...». Неторопливое и богатое деталями описание маршрута луны, который она совершает с наступления ночи до полуночи, составляет композицию зрительного сюжета, обнаруживающего в процессе повествования внутренний план, связанный с переживанием героя. Таким образом создается поэтическое пространство вселенной, включающее в себя дальнее и ближнее, земное и вечное. Тему бессмертия, вечной связи времен после катарсиса ночного мрака и всеобщего молчания и «благоговеющего ужаса» подхватывает и развивает картина наступающего утра, несущего надежду на «утро бессмертия». Мотивом времени идущего и ожидаемого завершается произведение.

В «Мыслях на кладбище» (в сравнении с «Мыслями при гробнице») Жуковский отказался от использования античной мифологии. Явственнее ощущается влияние оссианической традиции, что проявилось в динамизме и драматической напряженности описаний («Молчание, *одеиное мраком, величественно несется по земле*», «луч (...) тихо *несется долу*»).

Меланхолическое звучание достигается музыкальной организацией текста, созданием монотонного, но одновременно эмоционального звучания. Небольшой по объему текст разделен на 13 абзацев, каждый из которых включает от двух до четырех предложений, повторяющихся по своей синтаксической конструкции или отдельным элементам ее. Развитие же интонации всего текста строится на движении по восходящей линии: от спокойного повествовательного описания (в первом-шестом абзацах) к эмоционально приподнятому, драматически торжественному тону, создаваемому вопросами, восклицаниями (в седьмом — двенадцатом абзацах). Последний абзац, величиной всего в одну строку, составлен из двух предложений: восклицательного («Спите, сыны тления!») и кончающегося многоточием («еще не время...»). Двойная тональность финала с угасающей интонацией, возвращающей к началу текста, замыкает его как единое целое и выявляет философский драматический смысл всего произведения.

Э. Жиликова

Истинный герой

(«Последний луч зари угас на западе...»)

(С. 42)

Автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 281. Оп. 2. № 40. Л. 11—11 об.

Впервые: УЗ. Труды воспитанников Университетского благородного пансиона. М., 1800. Кн. 1. С. 160—162 — напечатано под № XXV с подписью в конце текста: «В. Жуковский».

В прижизненные собрания сочинений не входило.

Печатается по первой публикации.

Датируется: начало 1800 г. — на основании времени первой публикации.

Произведение морально-философского и дидактического содержания, развивающее нравственные и эстетические принципы сентиментализма: утверждение внесловной ценности личности, идеи бессмертия души, отказ от возвеличивания людей, прославившихся жестокостью и злодейством, и противопоставление им истинного «друга человечества» — того, «кто имеет сердце, кто любит добродетель».

В. И. Резанов утверждает обусловленность такой концепции героя у Жуковского влиянием на него идей И. В. Лопухина (см.: Резанов. Вып. 1. С. 64—65). Близкую к этой трактовку образа героя, «бранного витязя», скорбящего о человечестве и любящего добродетель, Жуковский давал чуть раньше, в своей речи на Акте в Университетском благородном пансионе, произнесенной 14 ноября 1798 г. Лирической параллелью к прозаической статье «Истинный герой» является стихотворение того же 1800 г. «Герой», в котором высочайшая добродетель и истинное героичество также связываются воедино. Комментатор «Героя» в настоящем издании Полного собрания сочинений и писем Жуковского даже называет статью «Истинный герой» конспектом-планом данного стихотворения (Т. 1. С. 431). Идеи и сам образ героической личности, найденные в «Истинном герое», перейдут в переводы Жуковского 1800-х гг. из Коцебу, Флориана, Сервантеса и в его более позднюю прозу.

«Истинный герой» состоит из двух частей. Открывается элегическим по содержанию и форме описанием природы — картины наступившей ночи — и состояния лирического героя-повествователя, созерцающего мир и обелиск с надписью: «Победителю». Описание природы отличается повышенной суггестивностью, стремлением запечатлеть природу в ее длительности и изменениях, использованием сентиментального канона: «последний луч зари угас на западе» (предложение предвосхищает поэтическую строку из стихотворения «Вечер»: «Последний луч зари на башнях умирает»); тишина, спустившаяся на крыльях на землю; «луна в кротком сиянии катится по синему своду небес», «лучи ее осеребряют верхи дубов».

Начало второго абзаца мелодическим рисунком (четыре ударных слога ямбического типа) подхватывает концовку предыдущего абзаца, и через мелодию волна восхищения природой накрывает и размышления повествователя, обращенные к переживанию ложных подвигов и истинной добродетели людей.

Вторая часть (пять абзацев) написана в форме ораторской речи с ориентацией на одическую традицию, восходящую к творчеству русских поэтов — классицистов. Для повествования характерны многочисленные восклицания, вопросы, обращения, архаическая и торжественная лексика.

Э. Жилкова

1800

Мальчик у ручья, или Постоянная любовь

(«Вильгельм сидел у ручья под березою»)

(С. 43)

Автограф неизвестен.

Впервые: Мальчик у ручья, или Постоянная любовь. Повесть г. Коцебу. Перевод с немецкого. М.: Университетская типография, 1801. Т. 1: Кн. 1—2.; М.: Сенатская типография, 1801. Т. 2: Кн. 3—4.

В прижизненных изданиях: Мальчик у ручья, или Постоянная любовь. Сочинение г. Коцебу. Перевод с немецкого. М.: типография С. Селивановского, 1819. Т. 1—2: Кн. 1—4. (Ц. р. от 4 ноября 1818). Тексты идентичны.

В прижизненные собрания сочинений не входило.

Печатается по тексту 1819 г.

Датируется: лето 1800 г.

«Мальчик у ручья, или Постоянная любовь» представляет собой перевод романа А. Коцебу (A. Kotzebue, 1761—1819) «Gepflichtete Liebe». Выбор Жуковским названного романа для перевода, на первый взгляд, может показаться вполне случайным, вызванным внешними обстоятельствами: заказан книгопродавца, финансовыми затруднениями начинающего поэта. К. Зейдлиц в своей книге «Жизнь и поэзия Жуковского» сообщает: «В Пансионе содержали Жуковского М. Г. Бунина и П. Н. Юшков, но карманных денег ему давали мало. Он должен был умножать их своими литературными трудами. Очень кстати пришлось ему требования книгопродавцев на (...) переводы с немецкого, с французского» (Зейдлиц. С. 21; см. также: Семенко. С. 7—8).

«Мальчик у ручья» действительно был выполнен Жуковским по заказу книгопродавца и призван был удовлетворить читательский спрос. «Теперь в страшной моде Коцебу, — писал Н. М. Карамзин в 1802 г. в статье с весьма примечательным названием “О книжной торговле и любви к чтению в России”, — наши книгопродавцы требуют от переводчиков (...) Коцебу, одного Коцебу! Роман, сказка, хорошее или дурное — все одно, если на титуле имя славного Коцебу» (ВЕ. 1802. Ч. III. С. 60—61; см. также «Письма русского путешественника», в частности, письмо от 2 июня, в котором Карамзин замечает: «Коцебу знает сердце», или письма Карамзина к И. И. Дмитриеву (например, от 14 июня 1792 г.).

Известно письмо А. Ф. Мерзлякова к Жуковскому (1802 г.), свидетельствующее о широком интересе обоих, а также многих их друзей и знакомых к Коцебу: «Коцебу! — Ох, этот Коцебу! Что мне с ним делать. Только три книжки дома, прочие Александр Иванович (Тургенев. — И. А.) роздал и не знаю, как их взять. (...) Итак, подожди, мой любезный; как скоро возьму, так и доставлю» (РА. 1871. Стлб. 0135). А. Ф. Мерзляков и был, по-видимому, посредником между Жуковским и книгопродавцем И. Зеленниковым, поощряя начинающего поэта к переводам из Коцебу (см. письма А. Ф. Мерзлякова к Жуковскому в: РА. 1871. Кн. 2. Стлб. 0139—0140).

По выражению В. И. Резанова, «крайне мало оригинальный писатель», Коцебу четко улавливал и концентрировал в своих произведениях достижения сентименталистской литературы, находящие горячий отклик у массового читателя. Он удачно воспроизводил многие принципы элитной литературы, ориентируя их на массовое сознание. «Во всей всемирной литературе искал он своей добычи; Вольтер, Мольер и все французские комики, Гольдони, Гоцци, поэты Sturm-und-Drang'a, Гёте и Шиллер, Шредер и его английские образцы — были им использованы; в биографиях, характеристиках, романах, новеллах, умел он находить черты, которыми и наделял своих героев» (Резанов. Вып. I. С. 278). Жуковскому же, как справедливо отмечает С. С. Аверинцев, несовершенство оригинала было, если так можно выразиться, даже необходимо, оно «требовалось (...) для того, чтобы оставалось место для нового творческого порыва к совершенству, которое преуказано оригиналом, но которого еще нет на свете» (Аверинцев С. С. Поэты. М., 1996. С. 141). Эти слова, сказанные исследователем о Жуковском — переводчике поэзии, по его же утверждению, «касаются не только поэтического перевода» (Там же; некоторые замечания о Коцебу в России, о переводах Жуковского из Коцебу, а также о других переводах этого автора на русский язык в конце XVIII — начале XIX в. см.: Резанов. Вып. I. С. 284—292, 301—306).

«Мальчик у ручья» органично вписывается в раннее творчество Жуковского, в логику его развития и демонстрирует первые попытки писателя овладеть стили-

стическими и жанровыми приемами сентиментальной повести, обратив ее при этом к массовому читателю.

Первое издание перевода появилось в 1801 г., когда в России, строго говоря, не было библиотек «публичного» типа. Книга разошлась по нескольким десяткам читателей. В списке «благоволивших подписаться» на нее, приводящемся в конце кн. 4 (с. 219—234), — 157 человек. Некоторые из них подписались на 2 и даже 3 экземпляра. Среди подписавшихся — М. Г. Бунина, А. А. Алымова, Е. А. Протоцова, а также, что очень показательно, Н. М. Карамзин. Открывался первый том посвящением И. Зеленникова: «Особам, подписавшимся на сию книжку, от издателя посвящается». Закрывалось издание списком сочинений Коцебу, продающихся в книжной лавке Москвы у купца М. Глазунова (12 названий). Второе издание романа вышло в свет в 1819 г., в год смерти Коцебу, под тем же названием, вновь без указания имени переводчика, так же, как и раньше, в 2-х томах (в 4-х книгах). Во 2-м изд. сохранен курсив, фиксация конца и начала книг. Текст романа в нем, как и в первом издании, предваряется «Посланием к Д* (И. И. Дмитриеву)» Н. М. Карамзина, правда, без указания на «Аглаю». Что касается разночтений, то, как показывает выборочное сличение изданий, во 2-м изд. нет ни языковых изменений, ни изъятий, ни лексических, ни формальных замен. Встречаются случаи изменения пунктуации. Однако настаивать на том, что эти изменения внесены самим Жуковским, весьма проблематично. Никаких сведений о возвращении Жуковского к работе над «Мальчиком у ручья» в связи с его вторым изданием нет.

В первую очередь привлекает внимание название перевода, по поводу которого недоумевал еще К. К. Зейдлиц в своей монографии о Жуковском: «В 1801 г. он перевел роман Коцебу “Die jüngsten Kinder meiner Laune”, который он назвал неизвестно почему, — “Мальчик у ручья”» (Зейдлиц. С. 21). Здесь требуется несколько уточнений. Во-первых, переведенное Жуковским произведение называется «Geprüfte Liebe», Зейдлиц же указывает сборник, в состав которого оно вошло (*Kotzebue A. Die jungsten Kinder meiner Laune. Leipzig, 1795—1797. T. 4, 6*). Во-вторых, приведем полное название перевода Жуковского: «Мальчик у ручья, или Постоянная любовь. Повесть г-на Коцебу. Перевод с немецкого».

Заглавие перевода находится в соответствии с распространенной сентименталистской традицией — оно двойное. К названию подлинника — обобщенно-абстрактному заголовку «Постоянная любовь» — переводчик прибавил свое, возникшее, впрочем, «по поводу чужого»: «Мальчик у ручья» — это расширенное название первой главы «Geprüfte Liebe». Таким образом, в название оказались вынесенными ключевые для сентиментализма понятия, раскрывающие основную идею перевода, — природа, человек и его чувства.

Кроме того, примечательно стремление и автора, и переводчика определиться в жанровом отношении уже в заглавии произведения — отсюда подзаголовки «повесть». Так названо большое по объему, по количеству действующих лиц и сюжетных линий произведение, являющееся своего рода roman d'aventures. Это лишний раз доказывает, что в России начала XIX века до полного признания романа было далеко, хотя жанр достиг своего расцвета в западной литературе уже в последнюю треть XVIII века. Кроме того, следует учитывать и синкретизм мышления как важнейшую черту русского общественного сознания начала XIX века в целом и первого русского романтика, в частности.

Характер перевода «Мальчика у ручья» свидетельствует об особой заботе Жуковского о соразмерности объема произведения, задаваемого жанровыми традициями, и его содержания. Жуковскому важна гармония в сюжетном построении, в системе персонажей. Хотя вслед за Коцебу он допускает здесь некоторую растянутость, что вытекает из несовершенной композиции и общей сюжетно-фабульной аморфности. Вместе с тем, растянутость для романа — своего рода достоинство. Этим объясняется полнота перевода Жуковского.

«Мальчик у ручья», как и «Gegrüfte Liebe», состоит из 4-х книг (оригинал делится автором еще и на 2 части, в каждой по 2 книги). Внутри книг (у Коцебу — внутри частей) текст делится на главы. Количество глав и их названия совпадают в подлиннике и в переводе. Поглавный анализ обнаруживает высокое искусство структуры текста Коцебу, у которого Жуковский, будучи в данном случае очень точным, явно сознательно учится. В переводе, как и в подлиннике, соблюдена определенная гармония объема глав, чередование глав о «сердечной» жизни и о внешнем мире, окружающем героев.

Все это задает тексту (и Коцебу, и Жуковского) определенный ритм, которому подчиняется само содержание. Чувство соразмерности, рамок текста передается и четкой фиксацией конца главы, книги. Вслед за Коцебу, отмечающим «Ende der ersten Theils», «Ende» и т. д., Жуковский также фиксирует начало и конец текста: «Книжка I», «Конец I книжки» и т. д. Однако переводчик отказывается от разрыва нумерации глав романа. У Коцебу в каждой части произведения — своя нумерация глав, у Жуковского она — продолжающаяся.

Наконец обратим внимание на еще один подзаголовок, вынесенный на титульный лист издания: в соответствии с общепринятой в русской культуре традиции перевода традицией Жуковский не указывает имя переводчика. Но четко указано, с какого языка был сделан перевод, и имя автора подлинника. Уже это указание имеет принципиальное значение. Жуковский подчеркивает именно переводной характер текста, т. е. тот факт, что в его тексте, не являющемся ни переложением, ни подражанием, ни переделкой, будет господствовать специфическая атмосфера произведения иноязычного автора. Это было новостью — «XVIII век не знал ничего подобного, и притом не только в России, но и в Европе», — пишет С. С. Аверинцев (*Аверинцев С. С. Указ. соч. С. 142*). Действительно, Жуковский, приступая к переводческой деятельности (и в поэзии, и в прозе), изначально формирует отношение к переводу как к «законному и в принципе равноправному с другими жанру литературы».

Содержание «Gegrüfte Liebe» составляет рассказ о судьбе двух молодых людей — Вильгельма и Анхен. Их социальное неравенство мешает им вступить в брак, что и определяет завязку действия. Однако основные события, изображенные в романе, связаны с «сердечной жизнью» героев. Вот характерный отзыв о читательском восприятии «Мальчика у ручья», принадлежащий М. А. Дмитриеву: «“Мальчик у ручья” Коцебу — решительно извлекал слезы! Дело в том, что при этом чтении, в эти минуты вся семья жила сердцем или воображением и переносилась в другой мир, который на эти минуты казался действительным, а главное — чувствовалось живее, чем в своей однообразной жизни» (*Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869. С. 48—49*). Внутренняя жизнь героев поставлена в романе в зависимость от внешних, случайных причин: встреч с разбойниками, неожиданными разлуками и т. п. Характерной особенностью повествования у Коцебу является дидактизм, открытое морализирование всеведущего автора, начинающего каждую

главу с аллегорических рассуждений о «хитреце Амуре, Самолюбии и Чувственности», о «ласковости» и т. д.

Жуковский переводит этот роман полностью, без каких-либо значительных по объему купюр и прибавлений «от себя». Немецкий язык Жуковский знал вполне достаточно и был в переводе точен, не позволяя себе сбиться на столь модное в то время переложение. И тем не менее даже этот первый перевод Жуковского воспринимается сейчас почти как самостоятельное произведение.

Очевидно, что одной из важнейших для переводчика была проблема языка. По этой причине в переводе, особенно в первых главах романа, допускается буквализм, из подлинника в перевод переносятся стилистические штампы, подобные, например, такому: «Бездыханен, полумертв стоял бедный юноша, ноги его, казалось, были прикованы на одном месте, колена дрожали, волосы стояли дыбом» («Kalt wie Stein und leblos stand der arme Jungling, seine Füße wurzelten am Boden, seine Knie schlotterten, sein Haar straubte sich») или «Вильгельмово сердце раздиралось, слезы катились градом и мешались со слезами Лизы» («Wilhelms Herz war zerknirscht, seine Thränen mischten sich mit den ihrigen»). Зная установку Жуковского на отрицание буквализма, о чем он очень скоро уже заявит как о принципе любого перевода, и прозаического, и стихотворного, случаи буквального перевода в «Мальчике у ручья» можно объяснить именно как следствие незрелости русского литературного языка.

Обращает на себя внимание постепенное повышение стилистического уровня перевода. Вначале, как уже было сказано, Жуковский затрудняется при передаче довольно пространных и часто встречающихся у Коцебу описаний, отличающихся лексическим и синтаксическим однообразием, ритмической монотонностью. В первых главах, кроме буквализмов и стилистических штампов, находим лексические архаизмы, соседствующие с просторечиями. Например: «расстреляли почти всю амуницию» («Munition»), «своеручное письмо» («eigenhändiges Empfehlungsschreiben»), «укралась из трактира» («geschlichen»). Калькируется и синтаксис: «она представила ему свою нужду» («sie trug ihm ihr Anliegen vor...»), «тонкий пол способствовал его любопытству» («der dünne Fußboden begünstigte seine Neugier»). Рядом с архаической лексикой («червь», «особливо» и т. п.) используется разговорная: «сударка», «разинув рот», «глазеешь» и др. К концу перевода значительно сократилось количество подобных словоупотреблений, что привело к выравниванию стиля.

В процессе перевода Жуковский настойчиво разрабатывает сентименталистскую стилистику. В активный словарь переводчика входит эмоционально-психологическая и морально-этическая лексика: «шутливый ветерок», «печальные однозвучные песни», «трогательный», «ласковый» в сочетании с существительными «голос», «взгляд» и т. д.

Как известно, ближайшую к языку пушкинской прозы версию русского литературного языка создал Н. М. Карамзин. «Посланием Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву» (в качестве эпиграфа) Жуковский открывает свой перевод, и это было для него принципиальным и даже программным моментом, так как сразу же вводило восприятие перевода в русло карамзинской традиции.

«Наиболее общие положения карамзинской языковой программы, — пишет В. Н. Топоров, — состоят в признании историчности языка и литературы» (Топоров В. Н. «Бедная Лиза» Карамзина. Опыт прочтения. М., 1995. С. 15—16). Жуковский весьма последовательно развивает эти идеи. В «Мальчике у ручья» он,

как видим, открыт и западному влиянию (в частности, влиянию немецкого языка), и внутренним ресурсам родного языка. Именно это позволяет писателю уже в первом своем прозаическом переводе говорить с читателями о том, о чем до него на русском языке сколько-нибудь адекватно говорить было невозможно. Жуковский, первый русский романтик, развивая традиции законодателя русского сентиментализма — Карамзина, усовершенствует язык сердца и философских рефлексий.

Поиски в области языка, стиля влекли за собой и преобразование законов прозаического текста. Это были тесно взаимосвязанные процессы, которые выходили, в свою очередь, за пределы языка и литературы. Они становились фактом русской культуры и всей русской жизни того времени. В «Мальчике у ручья» Жуковский осваивает различные повествовательные формы, стилистические приемы изображения внутренней жизни человека, процесса его самосозидания. В центре произведения оказались довольно сложные (для прозы начала века), разносторонние, вплоть до противоречивости характеры. Причем переводчик постоянно переключает внимание читателей на изображение «внутреннего человека», пытаясь сделать повествование более эмоциональным, психологически более точным, глубоким и напряженным. Особую роль в раскрытии характеров героев у Жуковского играют сцены, где они — наедине с собой и с природой. Наиболее важными оказываются мотивы слез, музыки, ручья, луны и т. п.

Постоянное возвращение к важнейшим мотивным ситуациям (встреча, расставание), что было эстетическим каноном сюжета авантюрного романа, повлекло за собой своеобразную «парность» героев (Лиза — Вильгельм; Полина — Фриц). Кроме того, в романе (и в подлиннике, и в переводе) достаточно четко выделяются главные и второстепенные герои, что также способствует строгой выстроенности системы персонажей в целом.

Интересна поэтика имен в переводе. Жуковский заменяет имя героини «Анхен» на «Лизу». Это был весьма значительный и смелый шаг. Имя «Лиза» уже многое говорило русскому читателю. В его контекст вошли и «Новая Элоиза» Ж.-Ж. Руссо, и «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина. Дав своей героине столь обязывающее имя, Жуковский строит этот образ, очевидно опираясь на карамзинскую традицию. Лиза Карамзина и Лиза Жуковского обладают многими общими чертами — чувствительностью, наивностью, неумением постоять за себя, беззащитностью, добротой и т. д. Именно это сходство позволяет увидеть ориентацию Жуковского не столько на «Бедную Лизу» Карамзина, сколько на его более поздние повести, такие, как «Остров Борнгольм» и «Сиерра-Морена». Так, у Жуковского, как и в названных преромантических повестях Карамзина, идея верности героини своему возлюбленному очень сильно осложняется. Лиза, потерявшая свою невинность из-за трагически сложившихся обстоятельств, будучи внутренне чуждой греховности, безнравственности, долгое время живет с ощущением вины перед Вильгельмом. Отсюда — ее манера поведения и в целом образ жизни, который она ведет после своего падения, потеряв возлюбленного, как ей кажется, навсегда. Храня ему верность, она избегает встречи с ним. Отсюда же акцентировка Жуковским элегического звучания образа Лизы и связанной с ней линии повествования, несмотря на «happy end» романа и судьбы героини. Кроме того, Лиза Жуковского — не крестьянка. Последнее было уже литературным штампом: только крестьяне — люди от природы, они нравственны уже в силу своего происхождения. Близость героини к природе, безусловно, осмысливается Жуковским как почва, питающая ее нравственность, но эта идея перерабаты-

вается им в направлении ее углубления новыми мотивировками, включая психологические. В этом плане можно говорить об определенной близости «Мальчика у ручья» и «Марьиной рощи» — та же сюжетная ситуация, только рассказанная с точки зрения другого участника коллизии. «Такое перемещение субъектного плана, — отмечает В. Э. Вацуро, — стало возможным потому, что самые характеры перестали соответствовать традиционному разделению ролей» (Вацуро В. Э. Готический роман в России. М., 2002. С. 284).

В связи с проблемой изображения внутренней жизни героев в «Мальчике у ручья» некоторые графические и чисто языковые особенности текста заслуживают особого разговора. Прежде всего обращает на себя внимание активное использование курсива. В том, что это не просто работа типографии, легко убеждает сравнение с переводом «Gegrüfte Liebe» А. Версилова (Мальчик у ручья, или Постоянная любовь. Повесть. Сочинение г. Коцебу. Перевод с немецкого. Смоленск, 1802), который часто буквально повторяет перевод Жуковского, и в котором курсива нет. Нет курсива и в оригинале. К тому же, если судить по рукописям, Жуковский всегда был очень склонен к различным графическим способам акцентировки внимания на отдельные слова, фрагменты или даже целые фразы. Эта особенность сказалась и в методике Жуковского-читателя, всегда пользовавшегося выработанной им самим определенной системой помет.

Конечно, в переводе встречается и формальное использование курсива — чаще всего, в диалогах. Только формальное использование разрядки (имена в диалогах) встречаем как раз у Коцебу и в переводе Версилова. Но, как правило, у Жуковского курсив служит смысловой и эмоциональной потребности выделить текст, курсивом подчеркиваются интонации, читателю предлагается более вдумчивое прочтение. В этом плане очень показательное оформление с помощью курсива внутренних монологов героев.

Примечательна и система знаков препинания. Жуковский активно использует тире и многоточие, передавая ощущение неопределенности, текучести изображаемых чувств. Довольно часто встречаются в тексте скобки, служащие уточнению и вместе с тем некоторой драматургичности повествования. Одним из самых любимых знаков препинания у Жуковского является восклицательный знак (он может быть двойным и даже тройным). Соразмерности фразы (а следовательно, ее ритмизации) за счет внутрифразового членения служат многочисленные точки с запятой.

Интересно отношение Жуковского-переводчика к элементам готического романа, активно используемым Коцебу. Он старается перевести их, говоря словами В. Э. Вацуро, «на язык сентиментального психологизма и сентиментальной поэтики». В первую очередь переводчика интересуют такие экстраординарные обстоятельства (и поведение героев в них), как безумие возлюбленной, воскрешение умерших влюбленных. Впоследствии эти мотивы перейдут и в лирику Жуковского, и в его прозу (начиная от «Марьиной рощи», переводов, сделанных для «Вестника Европы», и кончая поздней статьей «Нечто о привидениях»). Сцены, отличающиеся грубым натурализмом и в силу этого приводящие читателя в ужас, у Жуковского смягчены. При этом Жуковский явно привлекают пейзажи Коцебу, картины полуразрушенных замков, склепов, выполненные в духе готического романа, сопровождаемые готическими мотивами слухов о нечистой силе, предзнаменований, явления призраков. Все это перейдет в прозу Жуковского периода становления его романтической эстетики.

Вместе с тем интересующее Жуковского изображение процесса формирования личности потребовало от него новых объяснений сути связей человека с миром, их взаимозависимости. Поэтому он так заботится уже в первом своем прозаическом переводе о соответствии психологического, морально-нравственного, литературного и исторического, историко-литературного, историко-культурного контекстов.

Предельно важны ему и процессы интеллектуализации, философизации прозы. Эту функцию в «Мальчике у ручья» значительно более отчетливо, чем в подлиннике, выполняет автор-повествователь. Жуковский неслучайно так внимательно переводит его «отступления» — часто уточняя и расширяя их — на темы молодости, любви, дружбы, войны и мира, смерти, а также авторские размышления по поводу конкретных исторических событий, деятелей и др. Личные истории героев тесно переплетены (и для переводчика это принципиально) с большой историей. Очень показательна, например, в этом плане та роль, которая отведена в повествовании теме Великой французской революции и вообще революционному вмешательству в ход истории. Так авантюрный любовный роман в переводе Жуковского не просто передавал многообразную информацию о внешнем мире, он становился одновременно романом если не историческим, то, по крайней мере, наполненным многообразным историческим материалом. Преодолеть инерцию недооценки ранней прозы Жуковского, в том числе и переводного произведения «Мальчик у ручья», можно, лишь приняв во внимание высокий гражданский и нравственный пафос, во многом внесенный в текст переводчиком в процессе работы над образом автора-повествователя.

Переводя сентиментальную историю любви двух молодых людей, Жуковский «попутно» открывал русской литературе многофункциональность прозы. Так, его перевод можно было читать и для забавы, для удовольствия и развлечения, но и для того, чтобы возвыситься душой, вынести нравственный урок. Это был огромный шаг, открывающий новую, следующую за карамзинской, страницу в истории русской прозы.

Конечно, пока еще рано говорить о полном разрыве Жуковского с литературными клише. Но очевидно одно — пейзаж, портрет, бытопись, авторские отступления не являются здесь (ни в одном случае) просто украшением, внешним атрибутом, как это часто бывало в подлиннике. Все это у Жуковского — органическая часть художественного повествования, реализующая общий замысел и идею произведения. Хотя, «кусточки» и «птички» — дань моде — все это есть в переводе Жуковского, но это не может зачеркнуть открытия, сделанные им в «Мальчике у ручья», зарождение интереса Жуковского к лиро-эпическому типу прозаического повествования, предначертывая хотя бы в самом общем виде дальнейший ход развития русской романтической прозы.

Отзывы критики на этот перевод не выявлены. Интерес к «Мальчику у ручья» был проявлен только в начале XX века В. И. Резановым. В своей монографии «Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского» (Вып. 1) он отводит этому произведению значительное место, рассматривая его в контексте раннего творчества Жуковского и шире — в контексте русской литературы рубежа XVIII—XIX веков. В послереволюционный период «Мальчик у ручья» и не издавался, оставаясь практически неизвестным читателям, и не привлекал к себе внимания исследователей.

КНИГА I

¹ *Послание к Д** — Послание Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву // Аглая. Кн. 2. М.: Университетская типография у Ридигара и Клаудия, 1795.

² ...могу понимать своего Корнелия Непота... — Корнелий Непот (Cornelius Nepos) — римский писатель, друг Цицерона, Катутла (99—24 гг. до Р. Хр.).

³ *Г. Жером ~ французский эмигрант, выгнанный из Франции не Эдиктом Нантским и не Национальным Конвентом...* — Нантский эдикт 1598 г., изданный французским королем Генрихом IV, объявил католицизм господствующей религией, гугенотам предоставил свободу вероисповедания и богослужения, тем самым завершив Религиозные войны. Национальный конвент — высший исполнительный и законодательный орган Первой французской республики, действовавший с сент. 1792 г. по окт. 1795 г.

⁴ *Книстер* — сорт американского табака.

⁵ Гульден — золотая, затем серебряная монета в некоторых европейских странах (Франции, Австрии, Германии и др.) в XIII—XX вв.

⁶ ...обе (любовь и смерть. — И. А.) переселяют нас в Елисейские поля... — в греческой мифологии Елисейские поля — это обитель блаженных, куда попадают после смерти герои, любимцы богов.

⁷ ...выучили петь «Мальбруг в поход пустился»... — первая строка одной из известных французских песен, относящейся к началу XVIII века («Malborough s'en va-t-en guerre»).

⁸ ...до самой клетки Феи Стригилины, с которою познакомил нас шутливый Казотт. — Казотт Жак (Cazotte, 1719—1792) — французский писатель. Его перу принадлежат стихотворения, романы и сказки. Увлекался мистикой и каббалой. Фея Стригилина — действующее лицо «поэтического романа в 12 песнях» «Оливье» (1762), сюжет которого взят из сборника восточных сказок «Тысяча и одна ночь».

⁹ *Антиной (?—130)* — греческий юноша, любимец римского императора Адриана, обоженный после смерти.

¹⁰ ...не должны ли мы сказать с Буффлером... — Буффлер Станислав (Boufflers, 1737—1815) — французский государственный деятель, занимался военной службой, был губернатором на Сенегале, член Французского национального собрания, академик. Увлекался литературной деятельностью. Его собрание сочинений издано в Париже в 1852 г.

¹¹ ...Кантова *Critik der reinen Vernunft*. — «Критика чистого разума» (1781), известный труд немецкого философа И. Канта.

¹² ...в деревне Вальдорф! — Вальдорф — в настоящее время город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

¹³ ...мешет *al fresco*... — живопись а-фреско — способ писания картин на стенах, сводах и потолках зданий по свежей (по-итальянски *fresco* значит «свежий», отсюда название способа), т. е. по еще сырой штукатурке. Произведения, исполненные этим способом, называют фресками.

¹⁴ ...в ясиновой беседке... — ясмин — то же, что жасмин.

¹⁵ ...нахлучив на глаза шляпу... — нахлучить (ряз.) — наклбучить, надеть.

¹⁶ ...песню ~ Мир вам, сплящте во гробе! — Стих из оды Ф. Шиллера «К радости».

¹⁷ ...песню: Кто любезную имеет ~ Твердость в горестях ~ данным клятвам! — Стихи из оды Ф. Шиллера «К радости»

¹⁸ ...*Шеллеровой песни «К радости»*. — Имеется в виду ода Ф. Шиллера «К радости» (1785).

¹⁹ ...*своих менторов*... — имеется в виду «менторов», т. е. наставников, воспитателей (от имени персонажа «Одиссеи» Ментора, воспитателя Телемака, сына Одиссея).

²⁰ «*Caractères de la Bruyere*. — Ж. Лабрюйер (J. de La Bruyère, 1645—1696) — знаменитый французский моралист. Его самый известный труд «Les Caractères de Théophraste, traduits du grec, avec les Caractères ou les Moeurs de ce siècle» вышел первым изданием в 1687 г., а окончательным (8-м) в 1694 г. На русский язык «Характеры» были переведены Н. Ильиным в 1812 г.

²¹ ...*блондовый прибор*... — имеется в виду наряд из блондов — кружева из шелка (фр. *blondes*), сетевидная основа которого украшена цветами или другими фигурами. Кружева названы так за желтоватый отлив ниток.

²² ...*был уже мускетером*. — Имеется в виду мускетер — во Франции в XVIII в. так назывались гвардейские кавалеристы, в России, Пруссии в XVIII—нач. XIX вв. мускетерами называлась большая часть пехоты.

²³ «*Благодарный сын*» — имеется в виду комедия И. Я. Энгеля «Der dankbare Sohn» (1771).

²⁴ ...*Дон Кишот и Том Джон ~ Оберон и Дон Карлос*... — имеются в виду следующие произведения: роман Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», роман английского писателя эпохи Просвещения Г. Филдинга «Том Джонс, Найденыш», поэма немецкого писателя-просветителя К. М. Виланда «Оберон» и историческая драма Ф. Шиллера «Дон Карлос».

²⁵ ...*Вителлиева голова*... — Вителлий (Vitellius, 15—69) — римский император, в 69 г. погиб в борьбе с другим претендентом на трон — Веспасианом. Отличался чрезвычайной жестокостью.

²⁶ ...*как Крез*... — Крез (595—546 до н. э.) — последний царь Лидии с 560 г., разбит и взят в плен Киром II, богатство Креза вошло в поговорку.

²⁷ ...*физиогномист*... — физиогномика — учение о выражении человека в чертах лица и формах тела.

²⁸ ...*бутылку полпива*. — Имеется в виду полупиво (или Простое пиво) — один из сортов (низший) приготавливаемого в России конца XVIII — начала XIX века пива.

²⁹ *Епанча* — старинная русская одежда, представляющая собой длинный широкий дорожный плащ, в XVIII—XIX вв. женская короткая шубка-накидка.

Книга 2

³⁰ ...*темляк мой золотой, а его нитяной*... — Темляк — петля из ремня или ленты, которую носили на рукоятке шпаги. В русской армии темляк из орденской ленты, которой обтягивались колодки орденов и медалей, орденские планки и цвета которой устанавливались статутом ордена или медали, был знаком отличия.

³¹ ...*как брамины бояться сойтись с париями на Коромандельских берегах*. — Брамины — жреческая и с давних пор первенствующая, строго замкнутая каста Индии. Парии — ряд племен, рассеянных по южной Индии, которые не стоят вне касты и не могут считаться низшей из каст, но в больших городах Южной Индии они были прислугой у европейцев. Коромандельский берег — на востоке Индии, место обитания обезьян.

³² *Минстер* — примечательный город... — имеется в виду Мюнстер, в котором готовился мирный договор, так называемый Вестфальский мир 1648 г.

³³ ...в *Ратгаузе*, где некогда заключен оный славный *Вестфальский мир*... — Ратгауз — высший орган городского управления, в данном случае, вероятно, имеется в виду ратуша в Мюнстере, в которой по сей день заседает бургомистр и городской совет, в старинном дубовом зале заседаний ратуши был заключен Вестфальский мир, который завершил Тридцатилетнюю войну 1618—1648 гг. и укрепил и усилил политическую раздробленность Германии.

³⁴ ...*играл тогда в три и три*... — в подлиннике речь идет просто о карточной игре, без какого бы то ни было названия. Жуковский от себя вводит название игры — «три и три». Так называлась распространенная в России второй половины XVIII века карточная игра со ставками для троих человек, в которой двое играли против одного (см.: Описание картежных игр. Ч. 1—2. СПб., 1778. Ч. 1. С. 100—102).

³⁵ ... *укралась*... из *трактира* — Украсться — уйти тайно, украдкой, скрыться (устар.).

³⁶ ...*крючок винца*... — так Жуковский переводит словосочетание: «einen Schnaps zu trinken». Крючок — чарка с ручкой в виде крючка, на которой она висела, и покупатель сам черпал вино.

³⁷ ...подобно *Грессетову «Vert-Vert»*... — Грессе Ж.-Б.-Л. (J.-B.-L. Gresset, 1709—1777) — французский поэт и драматург. «Vert-Vert» — его знаменитая комическая эпопея, написанная в 1734 г., в которой рассказывается в изящных стихах история благочестивого попугая, воспитанного в женском монастыре.

³⁸ ...*сказал собаке: «Куш Фагель!»* — Так переведено словосочетание «kusch Fagel» («держи, Фагель»).

³⁹ ...*Вувермановы ландшафты*... — Вуверман Филипп (1619—1668) — голландский художник, изображал военные сцены, игры, охоты, кавалькады.

⁴⁰ ...*феи Карабоссы*... — считалось, что одной из «обязанностей» фей было их присутствие при рождении ребенка, которому они должны были дать плохие или хорошие пожелания на будущее. В одной из сказок центральной Франции рассказывается, что все местные феи были приглашены на рождение Изабо де Пинсака (Isabeau de Pinsac), но была забыта фея Карабосса, которая пожелала, чтобы Изабо была съедена семиголовым чудовищем, когда ей исполнится семь лет.

⁴¹ ...*Мориц в своем «Психологическом Магази́не»*. — Имеется в виду «Gnothi Sauton oder Magazin zur Erfahrungsseelenkunde als ein Lesebuch für Gelehrte und Ungelehrte» (Bde 1—7. Berlin, 1783—1789) немецкого писателя К. Ф. Морица (Moritz K. Ph., 1756—1793). Это издание есть в библиотеке Жуковского (Описание. № 1685).

⁴² ...*подарок северной Семирамиды славному Casanova*. — Семирамида — дочь богини Деркетто, жена правителя Сирии Онна, отбитая у него ассирийским царем Нином. Много говорили о ее любовных делах. Северной Семирамидой в Европе называли Екатерину II. Казанова Джованни (1725—1798) — Джакомо Джироламо Казанова (итал. *Giacomo Girolamo Casanova*) кавалер де Сенгалът — итальянский авантюрист, известный своими любовными похождениями, путешественник и писатель. Об истории их знакомства см. статью Шарля Генри «Джакомо Казанова и Екатерина II. (По неизданным документам)» // Исторический вестник. 1885. Т. 21. № 8.

⁴³ *Циммерманово Уединение и Юнговы ночи уступили место Опытам Монтяня, Путешествию Анахарсиса и веселому Жильблазу*... — имеются в виду следующие произведения: трактат «Об уединении» («Об одиночестве» — *Über die Einsamkeit*; 4 тома,

1784—85) швейцарского философа И. Г. Циммермана (1728—1795), «Ночные думы» («The complaint, or night-thoughts») Э. Юнга, английского поэта-сентаменталиста (1683—1765), книга французского философа-гуманиста М. Де Монтеня «Опыты» (1580—1588), роман Ж. Ж. Бартеlemi «Путешествие молодого Анахарсиса в Грецию», роман А. Р. Лесажа «История Жиль Блаза из Сантлиьяны» (1715—1735).

⁴⁴ *Прислушивать* — слушать внимательно, стараясь услышать; подслушивать, слушать тайком, украдкой (устар.).

⁴⁵ *...Незапная радость...* — то же, что внезапная (устар.).

КНИГА 3

⁴⁶ *...срубили древо вольности...* — дерево свободы (*arbre de la liberté*, *Freiheitsbaum*) — ведет свое происхождение от распространенного у многих европейских народов обычая встречать наступление весны. Символический смысл впервые получило во время Северо-американской войны за независимость, при начале которой жители Бостона собирались под таким деревом для совещаний. Первое дерево свободы было посажено во время Великой французской революции священником Н. Прессаком в департаменте Виенны. В мае 1790 г. почти в каждой деревне Франции был торжественно посажен молодой дубок как напоминание о свободе. Дерево свободы было посажено и в Париже якобинцами в 1790 г. Они увенчали его красной шапкой и пели вокруг него революционные песни. При реставрации все деревья свободы должны были быть уничтожены. Эта традиция распространилась по Европе в XIX в. Деревья свободы сажали в Германии, Италии.

⁴⁷ *...о той Эфесской вдове...* — имеется в виду популярный сюжет Средневековья и Нового времени о неверной вдове, пришедший еще из античности (в римской литературе есть басня Федра на эту тему «Вдова и Воин», из Федра сюжет попал в сборники *exempla*). Однако свое название сюжет получил по вставной новелле в «Сатириконе». Ученые считают, что, скорее всего, у новеллы и басни был общий фольклорный источник. Сюжет новеллы сводится к следующему: некая эфесская матрона, когда умер ее муж, решила уморить себя, оставшись в склепе возле тела умершего без еды и питья. Весь город был потрясен таким примером любви и верности. На пятые сутки некий солдат, охранявший неподалеку трупы распятых на кресте разбойников, заметил свет в склепе и, решив полюбопытствовать, что там происходит, увидел плачущую женщину редкой красоты, мертвое тело и служанку. Он принес в склеп обед и предложил женщинам разделить с ним трапезу. Первой сдалась служанка. Вдова тоже позволила сломить свое упорство. Счастье солдата и «верной» матроны продолжалось до тех пор, пока с одного из крестов не исчез труп. Воину грозило наказание, и он уже почти отважился покарать себя собственным мечом. Но вдова решила иначе: «Я предпочитаю повесить мертвого, чем погубить живого». Известны многочисленные обработки данного сюжета: в «Декамероне» Боккаччо, в сказке Лафонтена «Матрона Эфесская», в повести Вольтера «Задиг», в комедии Э. А. Ф. Клингемана (Е. А. Ф. Klingemann, 1777—1831) «Эфесская вдова», в стихотворении А. П. Сумарокова «Отчаянная вдова» (1781) и И. Хемницера «Вдова» (1799), в оперетте «Матрона Эфесская» (слова В. Буренина).

⁴⁸ *...неприятелем республики.* — Имеется в виду Французская республика, установленная в результате Великой французской революции.

⁴⁹ *...молодому Лафайету.* — М. Ж. Лафайет (1757—1834) — французский политический деятель, участник Войны за независимость в Северной Америке, Великой

французской революции (командовал Национальной гвардией, в 1792 г. перешел на сторону контрреволюции). Был заключен в Ольмюцкую крепость на 5 лет.

⁵⁰ *Хлебные* — то же, что хлебные (устар.).

⁵¹ *...перо Гесснера...* — С. Гесснер (S. Gessner, 1730—1788) — популярный в свое время швейцарский поэт-идиллик.

⁵² *...в Морицево «Магазине»...* — см. примеч. 41 к кн. 2.

⁵³ *...в ... лесничей избушке...* — то же, что лесной избушке (устар.).

⁵⁴ *Эрмитаж* — от французского *hermitage* — место уединения, келья, жилье отшельника.

⁵⁵ *...инде цветы...* — т. е. местами, в ином, в другом месте цветы (устар.).

⁵⁶ *...матерние свои радости...* — то же, что материнский (устар.).

⁵⁷ *...дорога Гименей...* — Гименей — в греческой мифологии божество брака.

⁵⁸ *Вертер* — герой романа И. В. Гёте «Страдания юного Вертера» (1774).

КНИГА 4

⁵⁹ *...злодейств Робеспьеровых.* — М. Робеспьер, деятель Великой французской революции, один из руководителей якобинцев. Фактически возглавив в 1793 г. революционное правительство, сыграл огромную роль в разгроме внутренней и внешней контрреволюции.

⁶⁰ *San culotte* — термин времен Великой французской революции (от *sans* — без и *culotte* — короткие штаны). Аристократы называли санкюлотами представителей городской бедноты, носивших в отличие от дворян не короткие, а длинные штаны. В годы якобинской диктатуры так называли себя сами революционеры.

⁶¹ *...с трехцветным поясом...* — соединение трех цветов — белого, голубого и красного — стало символом Великой французской революции. С тех пор три цвета Французской Республики изначально несут символ единения народа и власти — народовластия.

⁶² *...под красными шапками...* — имеется в виду так называемый красный фригийский колпак, символ Великой французской революции.

⁶³ *...в Тюльерийский сад...* — Тюльери (Tuileries) — дворец, существовавший в Париже на правом берегу Сены, выходявший главным своим фасадом в обширный сад того же названия. 10 августа 1792 г. дворец был захвачен, и в северном крыле некоторое время помещался Конвент. Наполеон I избрал Тюльери своей официальной резиденцией и занимал его до своего падения. Сад был устроен еще в 1600 г., в 1655 г. был красиво распланирован знаменитым садовым архитектором Людовика XIV Ленотром во французском вкусе, с террасами, цветниками, фонтанами. Наполеон I украсил этот сад еще больше, окружил его великолепной решеткой. Сохранился до сих пор.

⁶⁴ *...одетая по-гречески дама.* — Стиль «а-ля грек», трансформировавшийся в дальнейшем в ампир, пришел из Франции. После Французской революции 1789 г. французские дамы, приветствовавшие перемены, отказывались от корсетов, остригали длинные волосы, повязывая короткие стрижки лентами, и облачались в свободные платья, чем-то напоминавшие античные туники. Тогда же прочно вошла в обиход широкая светлая шаль — палантин, украшенная стилизованным орнаментом. Идея нового веяния была отражением романтических представлений общества об античной истории, главным образом, ее демократических идей.

⁶⁵ ...подобно Дионисию, учителем в каком-нибудь маленьком городке. — Возможно, имеется в виду Дионисий Галикарнасский, греческий ритор и историк, с 30 по 8 г. до н. э. жил и преподавал риторику в Риме.

⁶⁶ ...Лафает страждет в темнице... — см. примеч. 49 к кн. 3.

⁶⁷ ...как спартане наказывали мальчиков, которые неуксусно воровали. — Как указывает Плутарх в своем труде «Древние обычаи спартанцев», юноши Спарты, воровали продовольствие, обучаясь таким образом нападать на спящих и ленивых стражей. Попавшихся наказывали голодом и поркой. Обед у мальчиков был такой скудный, что они, спасаясь от голодной смерти, вынуждены были быть дерзкими и ни перед чем не останавливаться. М. Гаспаров в своей книге «Занимательная Греция» (М., 2004) пишет о том, что, чтобы привыкнуть к военной жизни, подростки в Спарте учились воровать. Кто приходил ни с чем, того били, кто был пойман с поличным, того тоже били.

⁶⁸ ...радовался как сатана в «Мессиаде». — В исходном тексте была опечатка «Десиаде». Имеется в виду «Мессиада» — название эпической поэмы немецкого писателя Ф. Г. Клопштока (F. G. Klopstock, 1724—1831), работа над которой продолжалась в течение нескольких десятилетий и была завершена в 1800 г. В ноябре-декабре 1814 г. Жуковским был осуществлен перевод фрагмента из «Мессиады». Но первое обращение Жуковского к тексту Клопштока было гораздо раньше. В альбоме «Подарок 1806 года, января 16 дня», хранящемся в РНБ (Оп. 1. № 14. Л. 19 об.) находится беловой автограф первых 16 стихов «Аббадоны». Копия этого фрагмента, сделанная рукой А. А. Протасовой (РНБ. Оп. 1. № 13. Л. 20 об.), озаглавлена «Отрывок из “Мессиады”. 1806 год 1 Апреля» (см. об этом в настоящем издании, т. 4, с. 394—401). В библиотеке Жуковского хранится два издания сочинений Клопштока — 1798-го и 1814-го гг. издания, первое — с пометами поэта (см.: Описание. №1433, 1434).

⁶⁹ ...миною, какую, верно имела Катерина де Медичис тогда, когда она прощалась с раненым Колиньи. — Екатерина Медичи (1519—1589) — французская королева, Г. де Ш. Колиньи (1519—1572) — адмирал Франции, с 1569 г. глава гугенотов, был убит в Варфоломеевскую ночь.

⁷⁰ ...из Пикардии в Лангедок... — Пикардия — историческая провинция на севере Франции, Лангедок — историческая область на юге Франции.

⁷¹ ...в Гиенскую провинцию. — Гиенн (Гюйенн) — историческая область на юго-западе Франции. Имела статус провинции до 1790 г.

⁷² ...как степь Сары. — Возможно, имеется в виду Сары-Арка — великая бескрайняя степь, раскинувшаяся на 2 тыс. кв. км в центре Евразии.

⁷³ ...Луветово перо... — Ж.-Б. Луве де Куврэ (J.-B. Louvet de Couvray, 1760—1797) — французский писатель и политический деятель. Приобрел известность как автор романа «Aventures du chevalier Faublas».

⁷⁴ ...вместе с Вольтером говорили... — цитата из стихотворения Вольтера «Erite LXIV: Á Madame Denis, nièce de l’auteur» («Послание LXIV: Мадам Дени, племяннице автора»).

И. Айзикова

1801

**Речи, произнесенные
в Дружеском литературном обществе**

История Дружеского литературного общества оказалась короткой. 12 января 1801 г. состоялось его учредительное собрание, а уже в начале июня этого же года оно прекратило свое существование. Это общество стало продолжением собрания воспитанников Благородного пансиона при Московском университете. Его питомцы образовали общество и определили направление своей деятельности. «Наше Общество есть прекрасное предуготовление к будущей нашей жизни», — заявил уже на первом заседании А. Ф. Мерзляков (Амфион. 1815. Кн. 1. С. 51; ср.: ПД. Ф. 309. № 618. Л. 21). Еще четче задачи общества определил его организатор Андрей Тургенев. В своей первой же речи он сказал: «Цель наша — образование себя в литературе, особенно в русской, образование нравственного нашего характера» (Там же. Л. 39 об.).

Согласно уставу общества его «заседания будут однажды в неделю по субботам, в 6 час. вечера», «каждое заседание открывает чередной оратор нравственную речь» (л. 18 об.). Рукописная копия речей «чередных ораторов» (ПД. Ф. 309. № 618. Л. 1—122 — с заглавием: «Речи, говоренные на собраниях Дружеского литературного общества 1801 года»), содержащая датировки большинства речей (всего их было сделано 23) и, по всей очевидности, зафиксировавшая их последовательность, позволяет реконструировать хронику заседаний Дружеского литературного общества в январе — июне 1801 г. Исследователи, обращавшиеся к рукописным материалам общества: В. И. Резанов (Резанов. Вып. 2) и В. М. Истрин (ЖМНП. 1910. № 8; 1913. № 3), во многом способствовали этому своими разысканиями. Вот как она выглядит (предположительные датировки даны в квадратных скобках; в круглых скобках — указание на лист рукописной копии):

12 января, суббота. Учредительное заседание. Речь А. Ф. Мерзлякова «О главных законах общества» (л. 3—6, 17—24; нумерация листов нарушена).

19 января, суббота. Речь А. Ф. Мерзлякова (без заглавия) в продолжение предыдущей о предназначении общества (л. 16 об. — 7; нумерация нарушена).

[19 января, суббота]. Речь А. Ф. Воейкова о русской истории и деятельности Петра III (л. 26—30. Датировка предложена В. М. Истриным // ЖМНП. 1910. № 8. С. 287).

26 января, суббота. Речь М. С. Кайсарова «О том, что воображение доставляет нам больше удовольствий, нежели сущность» (л. 31—35).

9 февраля, суббота. Речь А. С. Кайсарова «О кротости» (л. 36—39).

16 февраля, суббота. Речь Андрея И. Тургенева о целях и задачах общества (л. 39—43).

27 февраля, среда. Речь В. А. Жуковского «О дружбе» (л. 44—52).

1 марта, пятница. Речь А. Ф. Мерзлякова «О деятельности» (л. 53—56).

8 марта, пятница. Речь А. Ф. Воейкова «О героизме» (л. 57—59).

[15 марта, пятница]. Речь М. С. Кайсарова «О том, что если б человек с самого рождения оставлен был на необитаемом острове, то мог ли бы он отличать впоследствии времени порок от добродетели» (л. 60—63).

22 марта, пятница. Речь Александра И. Тургенева. Похвальное слово И. В. Лопухину (л. 64—67).

29 марта, пятница. Речь А. С. Кайсарова «О том, что мнение о славе зависит об образа воспитания» (л. 68—70).

7 апреля, воскресенье. Речь Андрея И. Тургенева «О поэзии и о злоупотреблении оной» (л. 71—74).

[14 апреля, воскресенье]. Речь В. А. Жуковского «О страстях» (л. 75—77).

[21 апреля, воскресенье]. Речь Андрея И. Тургенева «О русской литературе» (л. 78—82).

[28 апреля, воскресенье]. Речь В. А. Жуковского «О счастии» (л. 83—88).

[Между 28 апреля и 4 мая]. Речи С. Е. Родзянки «О бессмертии души» (л. 89—90); речь переписана не до конца, остались чистыми л. 91—93) и «О Боге» (л. 94—99).

[4 мая, суббота]. Речь А. Ф. Мерзлякова «О трудностях учения» (л. 100—107).

[11 мая, суббота]. Речь А. Ф. Воейкова «О предприимчивости» (л. 108—110).

[18 мая, суббота]. Речь М. С. Кайсарова «О самолюбии» (л. 111—115).

[25 мая, суббота]. Речь Александра И. Тургенева «О том, что люди по большей части сами виновники своих несчастий и неудовольствий, случающихся в жизни» (л. 115 об. — 118).

1 июня, суббота. Речь А. С. Кайсарова «О том, что мизантропов несправедливо почитают бесчеловечными» (л. 118 об. — 122).

Отсутствие протоколов заседаний не позволяет уточнить предполагаемые датировки и объяснить перенесение некоторых собраний с субботы на другой день. Но в целом, думается, реконструированная хроника дает общее представление о составе участников общества, его деятельности и об участии в его работе отдельных членов. Нельзя не согласиться с мнением авторитетного исследователя Дружеского литературного общества, впервые полностью опубликовавшего тексты всех речей, В. И. Резанова, о том, что «темы речей, служивших исходными пунктами прений в собраниях Общества, отличались серьезностью и большим разнообразием» и что три речи Жуковского «представляют весьма значительный интерес для определения мирозерцания и настроений нашего поэта в первое время по выходе его из Университетского благородного пансиона» (Резанов. С. 197, 199).

Три речи Жуковского, произнесенные на заседаниях Дружеского литературного общества в феврале-апреле 1801 г., органично соотносятся с его теорией нравственного самоусовершенствования и концепцией «внутреннего человека», определяя основные мотивы творчества этого времени... «Жизнь, мой друг, бездна // Слез и страданий...» («Майское утро»), «Повсюду дружба водворилась...» («Добродетель»), «Героем тот лишь назовётся, // Кто добродетель красну чтит...» («Герой»); «Брань, брань твоим страстям!...» («Человек»), «Друг человечества — вот истинный герой, которого дела в сердцах, которого слава в вечности» («Истинный герой». Курсив Жуковского) — эти поэтические афоризмы из произведений 1799—1801 гг. на правах автореминисценций почти без изменения входят в текст его речей.

Тематика речей Жуковского представляется далеко не случайной. Как справедливо заметил исследователь, «жажда дружбы и любви — яркая черта психики Жуковского; культ дружбы получает в нем теоретика и горячего пропагандиста» (Резанов. С. 199). Не менее актуальной для будущего романтика была и проблема страсти как источника творчества. Уже через четыре года, работая над «Конспектом по истории литературы и критики», он будет штудировать труды немецких критиков и «практических философов» Х. Гарве и И.-Я. Энгеля, развивавших теорию «смешанных страстей».

Одним словом, и собственные речи Жуковского, и размышления его друзей стали существенным этапом в эстетическом развитии первого русского романтика.

Как вспоминал впоследствии А. Ф. Мерзляков: «Мы, поистине, управляемые благороднейшею целью, все в цвете юности, в жару пылких лет, одушевленные единым благодатным чувством дружества, не отравленным частными выгодами самолюбия, учили и судили друг друга в первых наших занятиях, и, жертвуя, по-видимому, своим удовольствием, между тем нечувствительно и скромно, исполненные патриотизма и любви к изящному, приготавливали себя на будущее наше служение» (Амфион. 1815. Кн. 1. С. 50).

〈О дружбе〉

(«Друзья мои! Кто из вас не повторит сего со мною?»)

(С. 210)

Автограф неизвестен.

Копия: ПД. Ф. 309 № 618. Л. 44—52 — без заглавия, с датой: «27 февраля». Заглавие «О дружбе» находим в приведенном выше перечне речей, произнесенных в Дружеском литературном обществе.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 170—180. Текст речи перемежается примечаниями публикатора.

Датируется: 27 февраля 1801 г.

В. И. Резанов, впервые опубликовавший эту речь Жуковского, обратил особое внимание на ее связь с литературой того времени. «По этому вопросу, — писал он, — живо интересовавшему в ту сентиментальную эпоху, существовала у нас уже целая литература. в стихах и прозе, главным образом переводная» (Резанов. Вып. 2. С. 167).

Среди возможных источников, привлечших внимание молодого поэта во время работы над речью, исследователь называет трактат Цицерона «Лелий, или О дружестве» в переводе с лат. М. Павлова (СПб., 1781), «Рассуждение о дружестве» маркизы де Ламберт (перевод с фр. С. Смирнова; СПб., 1772), «Стихи на дружбу» И. Ф. Богдановича, многочисленные публикации в новиковских («Московское ежемесячное издание», «Утренний свет», «Покоящийся трудолюбец»), карамзинских («Аглая», «Аониды», «Пантеон иностранной словесности») и других периодических изданиях («Приятное и полезное препровождение времени», «Иппокрена», «Детское чтение для сердца и разума», «Новые ежемесячные сочинения»). Подробнее см.: Там же. С. 167—169.

Вероятно, круг источников можно было бы и расширить, но в этом нет необходимости: тема дружбы, мотивы дружбы и любви определяли атмосферу времени: «поэзия в уединении с друзьями — вот утопия западных и наших сентименталистов; в одиночестве не воспитать гуманного чувства, сердце возделывается в взаимодействии одинаково настроенных людей» (Веселовский. С. 63). Само название Дружеского литературного общества актуализировало эту тему среди важнейших и программных. Ее отзвуки можно найти в речах других членов общества.

Но, пожалуй, необходимо обратить внимание еще на один существенный источник — историю дружбы И. И. Дмитриева и Н. М. Карамзина и ее отражение в их стихотворной переписке. Жанр дружеского послания, отчетливо обозначившийся в поэзии Карамзина 1794—1795 гг. (послания к И. И. Дмитриеву, А. А. Плещееву),

атмосфера бесед с друзьями в «Письмах русского путешественника» — все это было питательной почвой для эстетической рефлексии автора речи.

¹ *Любовь и дружба — вот в чём можно ~ Недаром землю бременил!* — Стихотворный эпиграф к речи — отрывок (ст. 142—149) из «Послания к Дмитриеву, в ответ на его стихи, в которых он жалуется на скоротечность счастливой молодости» Н. М. Карамзина. Написано в апреле 1794 г. в ответ на «Стансы к Н. М. Карамзину» И. И. Дмитриева. Впервые опубликовано в сборнике Карамзина «Мои безделки» (М., 1794. Ч. 2). По всей вероятности, цитируя стихи по памяти, Жуковский внес некоторые изменения в их текст: ст. 142 вместо «*вот чем можно*» — «*вот в чём можно*»; ст. 146 вместо «*И кто любил...*» — «*И кто любим...*»; ст. 147 «*Был другом нежным, другом чтимым*» — «*Был другом, нежным, свято-чтимым*». Есть изменения и в синтаксисе: восклицательные знаки в конце ст. 145, 149, отсутствующие у Карамзина; отсутствие тире в ст. 145, но так как автограф речи не сохранился, трудно говорить со всей определённою о принадлежности этих изменений именно Жуковскому. Характерно, что эти стихи Карамзина Жуковский уже использовал как эпиграф в своём переводе «Мальчика у ручья» (см. комментарий в наст. томе). Нельзя не согласиться с мнением В. И. Резанова о том, что «Эпиграф этот послужил исходным пунктом последующего рассуждения» (Резанов. Вып. 2. С. 170).

² *Мы живём в печальном мире ~ назначенные нам судьбою...* — Еще в стихотворении «Майское утро» (1797) Жуковский говорил: «Жизнь, мой друг, бездна // Слез и страданий...» Мотив рока и судьбы — один из устойчивых в его творчестве. В стихотворении «На смерть Андрея Тургенева» (1803) читаем: «Во гробе нам судьбой назначено свиданье!».

³ *Любовь — которую не сравниваю с дружбою.* — Как убедительно показал В. И. Резанов, «вопрос об отношении дружбы к любви был уже достаточно разъяснен в тогдашней литературе» (Резанов. Вып. 2. С. 171). В качестве примеров исследователь называет многочисленные образцы стихотворной и прозаической продукции из журналов Новикова и Карамзина, имеющие заглавие «Любовь и дружба» (Там же. С. 171—172).

⁴ *Пифагор в разговоре о дружбе сказал ~ изречение, достойное великого философа, который произнёс его.* — Александрийский философ Порфирий в «Жизнеописании Пифагора» приписывал цит. изречение последнему. Однако, по всей вероятности, оно принадлежит греческому философу-стоику Зенону (ок. 346—264 гг. до н. э.). Латинская форма этого выражения *alter ego* (второй «я»). Далее, говоря о выборе друга, Жуковский, в частности, замечает: «...одним словом, это *второй я*, которого ничто, ничто не разлучит со мною» (Курсив мой. — *А. Я.*).

⁵ *...в дефинициях дружбы...* — Как указывает В. И. Резанов, «о правилах и законах дружбы говорил уже Цицерон в своем диалоге “Лелий о дружбе”; говорилось о том же в “Речи к молодым детям о выборе друзей” в новиковском “Покоящемся трудолюбце”» (Резанов. Вып. 2. С. 172).

⁶ *...но с нею не надобно смешивать грубости...* — Слово «грубости» выделено подчеркиванием. Жуковский, как уже заметил В. И. Резанов, повторяет то, что сказал в своей речи 16 февраля 1801 г. Андрей Тургенев. Ср.: «Да будет же, любезные друзья, искренность первым законом нашего собрания (<...>), но мы очень удалимся от нашей цели, если смешаем ее, хотя без намерения, с колкостью и *грубостию*» (Резанов. Вып. 2. С. 176. Курсив автора речи).

⁷ Тогда Пифиас радостно умирает за Дамона... — Жуковский, рассказывая об истории дружбы двух пифагорейцев из Сиракуз — Дамона (Damon) и Финтия (Phintias), вероятно, опирается на трактат Цицерона «Об обязанностях» (кн. 3; 45), который с многочисленными пометами сохранился в его библиотеке (Описание. № 817). Ср.: «Пифагорейцы Дамон и Финтий, по рассказам, относились друг к другу так, что когда тиран Дионисий назначил день казни одного из них, и приговоренный попросил его об ее отсрочке на несколько дней, чтобы обеспечить своих близких, то другой поручился за него — с тем, чтобы умереть, если тот не возвратится» (Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. М., 1975. С. 135. Перевод с лат. В. О. Горенштейна). Согласно же преданию, Дамон остался заложником и едва не был казнен за Финтия (Пифиаса). См. также статью «Дружба, или Дамон и Пифиас» из «Примеров слога» в наст. изд.

⁸ ...утешительный Гений... — Здесь впервые Жуковский употребляет одну из тех поэтических формул, которая впоследствии станет лейтмотивной в его творчестве. Так, в стихотворении «К самому себе» (1813) он пишет: «Будь настояще твой утешительный гений!» Эти же слова он неоднократно повторяет в дерптских письмах-дневниках 1814—1815 гг., используя их как обращение к Маше Протасовой. Уже первая запись от июня 1814 г. открывается словами: «Мой друг утешительный!» (Письма-дневники. С. 145). А затем в разных вариантах: «ангел утешитель» (С. 146), «утешительная мысль о моем друге» (С. 156); «будь настоящее наш утешительный Гений» (С. 160); «Испытание — приготовление к утешению» (С. 210) и т. д. — Жуковский развивает свою философию утешения.

⁹ Ах, скажите, не привлекателен ли и самый одр кончины... — Последние слова речи Жуковского предвосхищают его предисловие к повести «Вадим Новгородский» (1803), посвященное памяти Андрея Тургенева.

О страстях

(«Друзья мои, что такое страсти?»)

(С. 215)

Автограф неизвестен.

Копия: ПД. Ф. 309. № 618. Л. 75—77 — с заглавием: «О страстях», без даты.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 183—187.

Датируется: середина апреля 1801 г.

Как убедительно показал В. И. Резанов, тема очередной речи Жуковского «Относится к числу весьма популярных в то время» (Резанов. Вып. 2. С. 180). Исследователь приводит 18 публикаций в периодических изданиях того времени, где уже в названии заявлена эта тема (Там же. С. 181). Эта проблема волновала Н. М. Карамзина, который в четверостишии «Размышление: страсти и бесстрастие» сказал: «Нам страсти — горе, мука; // Без страсти жизнь — не жизнь, а скука» (Аонида. 1797. Ч. 3. С. 108). В романе Карамзина «Рыцарь нашего времени» читаем: «Страсти! страсти! Как вы ни жестоки, как ни пагубны для нашего спокойствия, но без вас нет в свете ничего прелестного; без вас жизнь наша есть пресная вода, а человек — кукла; без вас нет ни трогательной истории, ни занимательного романа» (ВЕ. 1802. Ч. 4. С. 41).

Сам Жуковский, выросший под влиянием масонской теории «внутреннего человека», почерпнутой им из сочинений пансионских наставников, прежде всего И. В. Лопухина и И. П. Тургенева, постоянно уже в раннем творчестве возвращается к теме воздействия страстей на человека. В статье «Жизнь и источник» (1798) он говорит «Если мудрый наставник гласом истины извлечет из неопытного сердца юноши жало страстей, то дни его просветятся и солнце благоразумия рассеет туман заблуждений» (С 7. Т. 5. С. 224). В стихотворениях «Мир» (1800) и «К человеку» (1801), написанных до произнесения речи, он призывает: «Лишь страсти буйные, строптивы побеждай, // И будь во брани только с ними...»; «Брань, брань твоим страстям!» Масонская установка на «умерщвление страстей» и изживание «ложных страстей» как путь к добродетели и самоусовершенствованию была близка молодому Жуковскому. Ее отзвуки можно обнаружить в его письмах и ранних дневниках.

Но чтение произведений Руссо, «Опыта о человеке» А. Попа, «Разговора о счастье» Карамзина, гётевского «Вертера», трактатов немецких «практических философов» — Х. Гарве и И.-Я. Энгеля, эстетических сочинений, связанных прежде всего с теорией драмы, — все это (а также собственный творческий путь) вносило существенные коррективы в масонскую теорию «внутреннего человека». Жуковский идет к постижению феномена «смешанных страстей», задумывается над изображением «характеров сумасшедших в трагедии» (примечания к трактату Х. Гарве «О ролях сумасшедших в трагедиях Шекспира и о характере Гамлета в частности». Эстетика и критика. С. 123—126). «Страсть потому всегда привлекает, что она близка к нам: ее источник в человеческом сердце» (Там же. С. 119), — констатирует Жуковский, работая в 1805—1810 гг. над «Конспектом по истории литературы и критики».

Речь «О страстях» в этом отношении показательна: она выявляет противоречивость позиций молодого поэта и раскрывает направление его поисков.

¹ ...ученик Зенонов... — полемика с представителями стоической школы во главе с греческим философом Зеноном (ок. 335 — ок. 262 до н. э.) — устойчивый элемент всех размышлений о страстях. Его имя постоянно повторяет Н. М. Карамзин: «С (... Зеноном // Сердце жестоких не смягчить...» (Послание к И. И. Дмитриеву... // Карамзин Н. М. Избр. соч.: В 2 т. Т. 2. С. 35). А. Поп в «Опыте о человеке» (эпистола вторая) писал: «Хоть стоик добродетелью зовёт // Апатию, холодную, как лёд, // Наш разум спорит с мудростью такой, // Предпочитая труд, а не покой» (*Поуп Александр*. Поэмы. М., 1988. С. 158. Перевод с англ. В. Микушевича).

² ...на костры Лиссабонские... — имеются в виду последствия разрушительного землетрясения в Лиссабоне в 1755 г.

³ ...на Потозскую мину... — мина — подкоп, подземный ход (Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля. М., 1881. Т. 2. С. 327). Здесь имеются в виду Потозские золотоносные рудники.

⁴ ...на могилу Вертера... — Жуковский говорит о герое известного романа Гёте «Страдания юного Вертера», покончившего жизнь самоубийством. В 1798 г. к переводу этого романа обратился Андрей Тургенев. По всей вероятности, и Жуковский вместе с А. Ф. Мерзляковым принимал участие в этом проекте (см.: *Жирмунский В. М.* Гёте в русской литературе. М., 1998. С. 61). См. также: Письма Андрея Тургенева. С. 371.

⁵ *Какой-нибудь ученик Зенонов ~ пользоваться благими дарами природы!* — Весь этот пассаж из речи Жуковского, как справедливо заметил В. И. Резанов, «составляет

перифраз Карамзина» из его «Разговора о счастии» (Резанов. Вып. 2. С. 183). Ср.: «Мелодор. Ты хочешь быть панегиристом страстей: но я укажу тебе на мыс Левкадский, на пепел городов, на высокие бугры, составленные из костей человеческих; на Африканские берега, где люди продают людей в рабство — и скажу: *вот действие страстей!* (...) *Филалет.* (...) Нет, нет! Природа не виновата, если мы несчастливы и врожденные склонности, источник верных благ, превращаем в источник зол, вопреки ее доброму намерению» (Карамзин Н. М. Сочинения: В 2 т. Л., 1984. Т. 2. С. 193, 197. Курсив автора).

⁶ *Что же такое страсти? Не иное что, как самолюбие...* — выделенное подчеркиванием понятие «Самолюбие» — своеобразная реминисценция из рассуждений о страстях, на которые ориентировался автор речи. Так, А. Поп в «Опыте о человеке» (эпистола вторая), уделив особое внимание философии себялюбия (самолюбия), замечал: «Все страсти себялюбьем рождены...» (Поуп Александр. Поэмы. С. 157).

⁷ *...говорит Руссо...* — первая фраза кн. I романа «Эмиль, или О воспитании» («*Tout est bien, sortant des mains de l'Auteur des choses; tout dégénère entre les mains de l'homme*» — «Все выходит хорошим из рук Творца, все вырождается в руках человека»). Именно эту фразу Жуковский отметит и прокомментирует при чтении «Эмиля» (БЖ, III, 78).

⁸ *...пускай страсти повинуются рассудку...* — впоследствии в примечании к трактату Х. Гарве «О ролях сумасшедших в трагедиях Шекспира и о характере Гамлета в частности» (см. преамбулу к речи) Жуковский подробно разовьет это положение своей речи. «Ум оживляется страстию, — пишет он, — страсть направляется умом; не оживленный страстию ум спит; расстроенный страстию ум убит — состояния одинакие» (Эстетика и критика. С. 125).

О счастии

(«Взгляните со мною на театр мира...»)

(С. 217)

Автограф неизвестен.

Копия: ПД. Ф. 309. № 618. Л. 83—89 — с заглавием: «О счастии», без даты.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 190—197. Публикация сопровождается комментариями.

Датируется: около 28 апреля 1801 г. на основании местоположения текста в составе рукописной копии всех речей.

Тема третьей речи Жуковского — «одна из самых популярных в нашей литературе конца XVIII века; с разных сторон этот вопрос рассматривался и освещался в стихах и в прозе, в произведениях переводных и оригинальных» (Резанов. Вып. 2. С. 187). Исследователь приводит названия 34 произведений (Там же. С. 187—189), среди которых особенно известны были оды В. Майкова «Счастье» и В. Капниста «На счастье», поэма М. Хераскова «Пилигримы, или Искатели счастья», «Разговор о счастии» Н. М. Карамзина, переводы оды Горация «К счастью».

Жуковский уже в предшествующем творчестве — статья «Жизнь и источник» (1798), речи на акте в Университетском благородном пансионе 14 ноября 1798 г.,

стихотворении «Добродетель» (1798) — последовательно проводит мысль о неразрывной связи счастья и добродетели. «Счастлив тот юноша, который в златое время своей непорочности посаждает в своём сердце семя добродетели...» (С 7. Т. 5. С. 224); «мы все ищем пути к счастью: он в добродетели» (Там же. С. 227) — эти изречения Жуковского определяли его философию счастья и отразились в речи.

¹ *...тысячи пилигримов бегут за счастьем...* — Очевидна переключка с заглавием поэмы М. М. Хераскова «Пилигримы, или Искатели счастья» (М., 1795), которая имеет следующий эпиграф: «Все люди пилигримы, // Которы на стезе слепой фортуны зримы...»

² *...фантомом, который от них беспрестанно скрывается...* — Как установил еще В. И. Резанов, эти слова — почти точная цитата из «Разговора о счастье» Карамзина (Резанов. Вып. 2. С. 190). Ср.: «Филалет. Я помню слова одного философа. “Есть ли счастье?” — спросил у него любопытный человек. “Люди с начала мира ищут его и по сие время не нашли, — отвечал он, — следственно...” “Следственно, его нет?” — сказал любопытный. “Однако ж, — продолжал мудрец, — если бы оно было не что иное, как пустой фантом, то люди давно бы уже перестали искать его; но как они все упорствуют в своих мыслях, и все ищут, то надобно...”» (Карамзин Н. М. Сочинения: В 2 т. Т. 2. С. 191).

³ *...адамантовыми цепями...* — адамант — упоминаемый впервые у Гесиода мифический металл, сталь, которая по своей твердости служила будто бы материалом для различных орудий, употреблявшихся богами, в том числе для оков Прометея.

⁴ *...ты хочешь уничтожить горести, но счастье без них не существует...* — подобную мысль в «Разговоре о счастье» развивал Н. М. Карамзин. Еще отчетливее он выразил ее в «Послании к Александру Алексеевичу Плещееву» (1794): «Тот в мире с миром уживётся // (...) Тому сей мир не будет адом; // Тот путь свой розой осветит // Среди колючих жизни терний, // Отраду в горестях найдёт...» (Карамзин Н. М. Избр. соч.: В 2 т. Т. 2. С. 44).

⁵ *...жизнь была бы жестока и единообразна ~ с которою сливается унылое небо...* — как указал В. И. Резанов, «подобные мысли не впервые высказывает здесь Жуковский» (Резанов. Вып. 2. С. 193). Так, А. Ф. Мерзляков в письме к Жуковскому от 7 сентября 1800 г. напоминает ему: «Вспомни свои наставительные слова: что бы была твоя жизнь без этого непостоянства, без этой безумной пылкости, без этой ветренности? Степью, в коей глаза наши ничего не видят, ничего не встречают, кроме неба отдаленного, безмолвного, которое сливается с горизонтом...» (РС. 1904. Май. С. 446. Курсив автора).

⁶ *...моё счастье во мне...* — концепцию счастья как самоусовершенствования Жуковский четко сформулировал во время чтения «Философских замечаний к трактату Цицерона “Об обязанностях”» (начало 1800-х г). На страницах этого сочинения он записал: «Человеческое счастье есть продолжающееся всегда или почти всегда приятное ощущение бытия своего. Такое счастье в нем самом, а не в предметах. Следовательно, он должен заниматься больше собственным образованием, нежели стремиться за внешними предметами. Чувство радости и неудовольствия заключается в самом человеке, а не в предметах, следовательно, он должен быть главным предметом собственного образования. Искать счастья в самом себе. Человеческое совершенствование почитаю счастьем» (Philosophische Anmerkungen und Abhand-

lungen zu Cicero's Büchern von den Pflichten. Von Christian Garve. Wien, 1787. Bd. 1. S. 14—15. Курсив Жуковского. Текст публикуется впервые). См.: Описание. № 1072.

⁷ ...подадим друг другу руку, и пускай вихрь времени влечёт нас, куда хочет. — К этим словам Жуковский сам сделал примечание: «*Подадим друг другу руку и пр. из "Писем русского путешественника"*». Эти слова в письме из Женевы от 1 декабря 1789 г. из «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина звучат так: «Друзья мои! дайте мне руку, и пусть вихрь времени мчит нас, куда хочет!» (*Карамзин Н. М. Письма русского путешественника*. Л., 1984. С. 167).

А. Янушкевич

Ильдегерда, норвежская королева

Героическая повесть

(«Кто ты, героиня, одаренная духом Одина...»)

(С. 221)

Автограф неизвестен.

Впервые: Королева Ильдегерда. Повесть г-на Коцебу. Ч. I—II. М.: Губернская типография у А. Решетникова, 1801.

В прижизненные и посмертные собрания сочинений не входило.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: 1801 г.

Оригинал — «Ildegerte, Königin vor Norwegen. Historische Novelle» (Revel; Leipzig, 1788). Как сообщает В. И. Резанов, роман Коцебу представлял собой свободное подражание роману Ле Нобля «Ildegerte, reine de Norvège ou l'amour magnanime» (Paris, 1693). См.: Резанов. Вып. I. С. 307. Резанов же и атрибутирует данный перевод Жуковскому, приводя две следующие записки Мерзлякова к писателю: «Вот *Ильдигерда*. Дни четыре как она у меня, — но с кем послать к тебе?» и «Переводи, переводы скорее и будь уверен, что все с рук сойдет (...) Завтра увижусь с Зеленниковым (московский книгоиздатель, для которого Жуковский перевел «Мальчика у ручья». — *И. А.*) и скажу ему последнее слово» (Резанов. Вып. I. С. 277).

В тексте легко найти выражения и конструкции, знакомые нам по произведениям и переводам Жуковского (напр., «*Края восточных облаков позлатились*» (ср. в «Вечере»), «*неизъяснимое чувство*», «солнце погрузилось в недре вод», «*приблизился час*», «слезящий взор» или «*Кто ты, непонятная?*» — такая реплика неоднократно встречается даже в поздних произведениях Жуковского, напр., в сцене встречи Одиссея и Пенелопы), что может служить косвенным обоснованием авторства перевода «Королевы Ильдегерды».

В основу сюжета «Королевы Ильдегерды» положены события из легендарной истории Дании, Норвегии и Швеции. Военно-историческое повествование, сцены, передающие национально-исторический колорит, переплетаются здесь с изображением личных судеб героев, которые последовательно связываются с судьбой государства, нации. Жуковского привлекает к повести Коцебу, если судить по времени работы над переводом, по характеру перевода, по контексту творчества переводчика, несколько моментов. Прежде всего, это — историческая тема «Ildegerte, Königin von Norwegen».

Пробуждение интереса к истории, русской и всемирной, как указывает исследователь, «относится к самому началу пути Жуковского» (*Канунова Ф. З.* Русская история в чтении и исследованиях В. А. Жуковского // БЖ, I, 400. См. также: АБГ. Вып. 2. С. 265 и далее). Уже ранние прозаические произведения Жуковского, и среди них в первую очередь следует назвать «Ильдегерда», позволяют не только в целом подтвердить интерес писателя к истории, но и проникнуть в природу этого интереса, в своеобразие его понимания историзма. Уже тема выбранной для перевода повести, ее проблематика, сюжетно-композиционный строй свидетельствуют о представлении Жуковского об истории как о постоянном изменении в жизни отдельного человека и всей нации.

Сюжет исторической повести «Ильдегерда» отличается многособытийностью (в этом плане он вполне сопоставим с романным сюжетом «Мальчика у ручья») и главное — необычайной динамичностью (и именно жанр повести играет здесь свою роль: краткость рассказа требует динамики). Примечательно, что в переводе точно воспроизведен весь сложнейший *ход* событий. Интересно и то, что здесь соблюдена их прямая хронологическая последовательность. Время в исторической повести (и в подлиннике, и в переводе) линейное. Как известно, именно идея линейности истории сыграла ведущую роль в историческом сознании конца XVIII — начала XIX века, будучи органически связанной с культурой эпохи Просвещения и предромантизма (См. об этом: *Лотман Ю. М.* Идея исторического развития в русской культуре конца XVIII — начала XIX столетия // *Лотман Ю. М.* О русской литературе. СПб., 1997. С. 285 и далее).

Источником всепроникающей динамики в исторической повести об Ильдегерде являются не столько общественные проблемы или политика, сколько столкновение нравственных основ бытия: добра и зла, верности и предательства, чести и коварства, любви и ненависти и т. д. Судя по переводу, Жуковский *акцентирует* мысль о том, что история и нравственность — две вещи неразрывные. Потому в центре исторической повести у Жуковского, как и в исторических повестях Карамзина, оказываются не исторические события как таковые, а отдельные личности, их мораль и психология, страсти. Причем, внимание в переводе явно сосредоточено на главной героине, Ильдегерде, в которой Жуковский видит героическую личность. Именно в связи с таким пониманием ее образа переводчик вносит характерное уточнение в жанровое определение повести: не «историческая», как у Коцебу, а «героическая».

Все средства характеристики Ильдегерды, начиная от ее портрета и поступков и кончая прямыми авторскими оценками, ее положением в системе героев, направлены на создание образа идеальной личности. Перед нами высоконравственный человек, отличающийся целостностью, гармонией внешнего и внутреннего, личного и общественного. Однако при этом Жуковский явно отталкивается от традиционного для высоких классицистических жанров образа героя. Работа переводчика направлена на преодоление абстрактности, условности образа героической личности, и в связи с этим в Ильдегерде подчеркиваются весьма примечательные качества: она добра, искренна, способна преданно и нежно любить, тонко и глубоко чувствует окружающий мир, голос ее совести всегда сливается с голосом ее сердца. Все это — комплекс идей, связанных с просветительской, сентименталистской, карамзинской концепцией человека, согласно которой общественный пафос понимания личности разворачивается в сторону его сердечного звучания. Гражданский

долг, ответственность человека перед обществом – эти идеи обогащаются в переводе Жуковского принципами гуманизма. Важнейшим критерием истинного героя у Жуковского является чувствительность, способность Ильдегерды быть «другом человечества». В этом плане прозаический перевод «Ильдегерды» встает в один ряд с таким ранними оригинальными (стихотворными и прозаическими) произведениями Жуковского, как «Добродетель», «Герой», «Истинный герой». Опыт работы над «Ильдегердой» нашел впоследствии свое отражение в «Вадиме Новгородском», «Вильгельме Телле».

Сентименталистский, карамзинский пафос определил особенности перевода Жуковским «героической повести». Сохраняя и точно передавая все сцены, характеризующие Ильдегерду как мужественную защитницу своего народа, переводчик обращает особое внимание на изображение ее внутренней жизни, подчеркивая ее женское начало. Стремясь глубже раскрыть внутренний мир героини, Жуковский освобождает повествование от излишней «бурности», гиперболизма и напыщенности в изображении душевного состояния Ильдегерды, что было столь характерным для Коцебу, типичнейшего представителя так называемой тривиальной литературы («смотрела пылающим взором» у Жуковского переведено как «слезящий взор ее обратился», «соловей жаловался отдельными тоскливыми звуками» — «соловей запел унылую томную песнь», «поднимающийся шар луны» — «восстающая луна», «страшное предчувствие» — «горестное предчувствие»).

Оссианический тип повествования дал выход интересу к национальному и историческому тону рассказа. Неслучайно Жуковский очень точен в передаче всех сцен, создающих исторический национальный колорит повести. В перевод вошли все имеющиеся в оригинале эпически развернутые описания событий, предметов.

В стилистическом отношении переводчик обращался с оригиналом достаточно свободно. Прежде всего, весьма радикально был изменен синтаксис: исчезли, например, многие восклицания и повторы, видимо, избыточные с точки зрения переводчика.

Изменения, внесенные переводчиком в текст, не ограничиваются синтаксисом и заменой отдельных слов. Устранены почти все элементы открытой литературной полемики, упоминаемые Коцебу имена писателей, цитаты и проч. Возможно, это произошло под влиянием рецензии на немецкий оригинал «Ильдегерды», в которой говорилось: «Северная мифология хорошо использована, но с ней странно контрастируют ссылки на Лессинга, Монтескье, выпады против Мейнера, Бюшинга и притча о злорадстве дьявола, который смотрит на грехи верующих» (ADB. 1790. № 95/2. S. 479; текст рецензии приведен на сайте «Projekt Historischer Roman» — <http://histrom.literature.at>).

¹ *Один* (сканд.) — высшее божество, мудрец и маг, он добывает священный мед и руны, он бог военной дружины. У древних германцев — *Водан, Вотан*. Автор романа недостаточно отчетливо представляет себе соотношение германских и скандинавских мифов, и ниже в тексте рядом с Одним упоминается и Водан — как другое божество.

² *Фрейя* — богиня плодородия, жена и сестра *Фрейра*.

³ *Вингольф* — дворец богини в Асгарде — мире асов (богов).

⁴ ...*изломать с ними Ланц...* — Так переведено нем. *Lánze* («копье»).

⁵ ...*достойным Сатурновых золотых времен...* — в мифологии с золотым веком, временем блаженного состояния человека на Земле, связан Сатурн, земледельческий бог древних римлян, имя которого можно перевести как «сеятель».

⁶ *Асгард* — верхний мир, мир богов (асов).

⁷ ...*наслаждается сном спокойным...* — реминисценция из «Ричарда IV» Шекспира: «Счастливец сторож дремлет на крыльце, Но нет покоя голове в венце».

И. Айзикова

Вильгельм Тель, или Освобожденная Швейцария

(«Друзья добродетели, великодушные смертные...»)

(С. 296)

Автограф неизвестен.

Впервые: Вильгельм Тель, или освобожденная Швейцария. Сочинение г. Флориана. С историческою картинкою и с присовокуплением новейшего сочинения сего автора под названием: *Розальба, сицилийская повесть*. М.: Сенатская типография, 1802.

В прижизненных изданиях: Вильгельм Тель, или Освобожденная Швейцария. Сочинение г. Флориана. С историческою картинкою и с присовокуплением новейшего сочинения сего автора под названием: *Розальба, сицилийская повесть*. Перевод с французского. М.: типография С. Селивановского, 1817. Тексты 1-го и 2-го изд. идентичны.

Печатается по тексту последней прижизненной публикации.

Датируется: конец 1801 г. — начало 1802 г.

Перевод прозаической «поэмы» Ж.-П.-К. Флориана «Guillaume Tell», опубликованной на французском языке посмертно (Oeuvres posthumes de Florian, contenant Rosalba, nouvelle sicilienne, plusieurs fables inédites, et le poème de Guillaume Tell. Paris, s.d.).

Вильгельм Тель — легендарный народный герой, ставший олицетворением патриотизма и свободолюбия. Его имя связывается с важным эпизодом из двухвековой истории национально-освободительной борьбы Швейцарии против австрийского правления: в начале XIV в. для совместного противостояния династии Габсбургов оформился союз трех кантонов — Швица, Ури и Унтервальдена, — послуживший в дальнейшем основой Швейцарской Конфедерации. Флориан изображает те же события, что и Шиллер в драме «Вильгельм Тель», видимо, опираясь на тот же источник — «Швейцарские хроники» Эгидия Чуди (XVI в.).

Жуковский значительно смягчает тираноборческий пафос оригинала, переводя его в общеэтическое русло; это изменение заявлено уже первой фразой («Друзья добродетели!..» вместо «Друзья свободы!..») и далее проводится последовательно: «злоба» вместо «деспотизм», «под карающим жезлом бедствий» вместо «под бичом угнетателя» и т. п. При этом путем активного использования риторических восклицаний, повторов, анафор, инверсий, архаизмов и т. д. усиливается лирико-эмфатическая стилевая окраска текста. Кроме того, через детализацию внешнего проявления чувств персонажей заметно обогащается их психологическая характеристика. Все это говорит о принципиальной общности «Вильгельма Теля» с ранней оригинальной прозой Жуковского, и прежде всего с «Вадимом Новгородским».

¹ *Гельвеция* — латинское название Швейцарии.

² *Ури, Швиц, Ундервальд* — т. н. первоначальные кантоны Швейцарии.

³ *...пастыри урийские, слабо повинующиеся новым кесарям, имели по крайней мере утешительное имя свободных.* — С 1033 г. Швейцария входила в состав Священной Римской империи, но некоторые кантоны в предгорьях Альп сохраняли самоуправление.

⁴ *Мельхталь* — Арнольд Мельхталь, от имени кантона Унтервальден участвовавший в повторном (впервые — 1291) заключении союза трех кантонов в 1307 г.

⁵ *Родольф* — германский император Рудольф II (1218—1291).

⁶ *Преемник его, гордый Альберт...* — Альбрехт I, сын Рудольфа II, германский император (1298—1308).

⁷ *Геслер* — Герман Гесслер (Гесслер из Брунека), ландфогт кантонов Швиц и Ури, известный своей жестокостью.

⁸ *Вернер* — Вернер Штауфахер, от имени кантона Швиц участвовавший в заключении союза трех кантонов в 1307 г.

⁹ *Станц* — имеется в виду город Штанс (Stans), расположенный в Швейцарии, кантон Нидвальден. Административный центр кантона.

¹⁰ *...в пещере Грютти...* — имеется в виду долина (поляна) Грютли, или Рютли, где, по преданию, в ночь с 7 на 8 ноября 1307 г. был заключен союз трех кантонов.

¹¹ *Аквилон* — северный ветер (в древнеримской мифологии — бог северного ветра).

¹² *Мазарен, Урзерен, ...Аара, Тессин, Рейн и Рона...* — Ааре, Тессин (Тичино), Рейн, Рона — реки, берущие начало в Швейцарии.

¹³ *Форст* — Вальтер Фюрст, от имени кантона Ури участвовавший в заключении союза трех кантонов в 1307 г.

¹⁴ *Ундервальдское озеро* — описываемые события по преданию связаны с Фирвальдштетским (Люцернским) озером.

Н. Разумова

Розальба

Сицилийская повесть

(«С тех пор, как начали во Франции философствовать...»)

(С. 338)

Автограф неизвестен.

Впервые: Вильгельм Тель, или Освобожденная Швейцария. Сочинение г. Флориана. С историческою картинкою и с присовокуплением новейшего сочинения сего автора под названием: *Розальба, сицилийская повесть*. М.: Сенатская типография, 1802.

В прижизненных изданиях: Вильгельм Тель, или Освобожденная Швейцария. Сочинение г. Флориана. С историческою картинкою и с присовокуплением новейшего сочинения сего автора под названием: *Розальба, сицилийская повесть*. Перевод с французского. М.: типография С. Селивановского, 1817. Тексты 1-го и 2-го изд. идентичны.

В прижизненные собрания сочинений не входило.

Печатается по тексту последней прижизненной публикации.

Датируется: конец 1801 г. — начало 1802 г.

Перевод «сицилийской повести» французского писателя Ж.-П.-К. Флориана (1755—1794), опубликованной на французском языке посмертно вместе с «Вильгельмом Телем» (*Oeuvres posthumes de Florian, contenant Rosalba, nouvelle sicilienne, plusieurs fables inédites, et le poème de Guillaume Tell. Paris, s. d.*). В «сицилийской повести» Флориана Жуковский усмотрел целый ряд важнейших для развития отечественной литературы — и поэзии, и прозы — эстетических идей, обладающих, в свою очередь, глубокой преемственной связью с отечественными художественными традициями предшествующего периода — в частности, с таинственной повестью Н. М. Карамзина. «Розальба», появившаяся в творчестве Жуковского на почве его увлечения оссианической поэзией, «кладбищенскими элегиями», была, по сути, первым опытом Жуковского в жанре фантастической (таинственной, как ее принято было называть в начале XIX в.) повести. Она, в свою очередь, подготавливала этап его творческих поисков в лирике — в его излюбленном жанре баллады, прирешем в русскую литературу романтизм.

Сюжетная схема Флориана разрабатывается Жуковским в своем эмоциональном и стилевом ключе. Прежде всего, он продолжает в этом переводе поиски в области поэтики страшного, ужасного, которая внедрялась в русскую литературу на волне увлечения готическим романом. Вслед за Карамзиным и вместе с его последователями, своими современниками П. И. Шаликовым, В. В. Измайловым и др., Жуковский ставит вопрос о возможности сделать ужас «приятным». Отталкиваясь от классицизма с его рационалистическими установками, писатель утверждает, что интерес человека к «сильным движениям», в том числе к страшному, ужасному, проистекает из его духовных потребностей. Специфику эмоционального воздействия, производимого на человека искусством, он видит в сопереживании, которое может сделать приятным и полезным для человека даже ужас, способный произвести глубочайшее потрясение, целый переворот в личности: «Трагедия делает для нас ужас и сожаление приятными — вот ее цель (...) будучи некоторым образом сами приведены в страстное положение, нечувствительно доходим до тех ужасов, до которых страсть доводит действующих перед нами и которые казались бы нам отвратительными, когда бы мы могли быть (...) просто зрителями» (Эстетика и критика. С. 137).

Весьма примечательна творческая установка Флориана, сформулированная в подзаголовке, не оставленная без внимания и Жуковским: «сицилийская повесть». Для переводчика этот подзаголовок важен не столько в связи с насыщением текста национальным колоритом, сколько с возможностью введения психологических мотивировок характера главной героини. В Розальбе, с одной стороны, подчеркивается сентименталистский «колорит». Она «прекрасна, мила, тиха и умна», «счастье благоприятствовало ей, но природа еще более». Она сочиняет стихи, поет под аккомпанемент арфы так, что «и самые ангелы не могут петь лучше». Вместе с тем в русскую литературу Жуковским вводилась необычная героиня. При всей ее чувствительности и кротости она — сицилийка — обладает «пылким характером, который составляет отличительное свойство всех сицилианок». Это была героиня, чье поведение не поддается рационалистической упорядоченности, предсказуемости.

Однако самое главное в повести — это общая, особая «таинственная» атмосфера, в осмыслении и изображении которой и проявляются в первую очередь зачатки новой эстетической системы. В «Розальбе» представлен неповторимый художественный мир, во многом новый для русской прозы. Это мир, в котором уже произошел сдвиг в мировосприятии. Он определяется отходом от рационалистического

отношения к жизни и человеку, как к чему-то упорядоченному, раз и навсегда данному. Перевод «Розальбы» обогатил Жуковского навыком «быстрого» острою-жетного повествования, ориентированного на исследование сложных морально-психологических коллизий, который впоследствии был применен в повести «Марьяна роща» и в балладах.

¹ *Палермо* — главный город острова Сицилия.

² ...*Попе, Серванта и даже Геснера*... — Поп (Роре) Александр (1688—1744), английский поэт, приверженец просветительского классицизма; Сервантес Сааведра Мигель де (1547—1616), испанский писатель; Геснер Саломон (1730—1788), швейцарский писатель, автор идиллий, нравоучительных сказок и др. сочинений.

³ ...*песни Лео*... — Ди Лео Леонардо Ортензио Сальваторе (1694—1744), итальянский композитор, один из крупнейших представителей неаполитанской оперной школы.

⁴ *Вице-рой* — вице-король, наместник, правитель Сицилии.

⁵ ...*Тассовы стихи, где Армида призывает Рено*. — Имеется в виду поэма итальянского поэта Торквато Тассо (1544—1595) «Освобожденный Иерусалим».

Н. Разумова

1803

Вадим Новгородский

(«Безмолвные дубравы, тихие долины...»)
(С. 346)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1803. Ч. 12. № 23—24. С. 211—234 — с подписью: В. Жуковский.

В прижизненные собрания сочинений не входило.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: между 8 (20) июля и ноябрем 1803 г.

Интродукция «Вадима Новгородского» посвящена памяти Андрея Тургенева, смерть которого последовала 8 (20) июля 1803 г., что позволяет датировать повесть промежутком между этим днем и датой выхода № 23—24 журнала «Вестник Европы», где она впервые была опубликована. К словам Жуковского из интродукции «Вадима Новгородского»: «Тебе, увядший на заре, тебе посвящает он первый звук своей лиры» издатель ВЕ Н. М. Карамзин делает следующее примечание: «Сия трогательная дань горестной дружбы принесена автором памяти Андрея Ивановича Тургенева, недавно умершего молодого человека редких достоинств. К.». Опубликованная в ВЕ начальная часть «Вадима Новгородского» (интродукция и книга первая) не имела продолжения. Может быть, поэтому она не вошла ни в одно прижизненное собрание сочинений Жуковского, будучи в дальнейшем напечатанной только в С 7, а потом в С 8, 10 и ПСС (Т. IX. С. 13—20), повторяя текст публикации в ВЕ. Однако в программе автобиографических «Записок» Жуковского, озаглавленных «Прошедшая жизнь», в ряду значительных для автора событий сразу же после смерти Андрея Тургенева назван «Вадим Новгородский» (Бумаги Жуковского. С. 5).

Повесть Жуковского написана под непосредственным влиянием Карамзина. В статье «О случаях и характерах Российской истории, которые могут быть предметом художества» Карамзин в числе других рекомендуемых им исторических тем говорит о Вадиме Храбром и Гостомысле, которые принадлежат к «баснословию нашей истории» (ВЕ. 1802. № 4; см. также: *Карамзин Н. М.* Сочинения: В 2 т. Л., 1984. Т. 2. С. 156). Жуковский пользовался и другими историческими сведениями о Вадиме, например, из «Истории российской» В. Н. Татищева, на которую опиралась в своей интерпретации Вадима Екатерина I и Я. Б. Княжнин, хотя они трактовали новгородского героя противоположным образом. Имел в виду Жуковский и поэму М. М. Хераскова «Царь, или Спасенный Новгород» (1800), на которую откликнулся Андрей Тургенев, во многом определивший полемичность Жуковского по отношению к Хераскову (см.: *Петрунина Н. Н.* Жуковский и пути становления русской повествовательной прозы // Ж. и русская культура. С. 57—58, 62). Определенное воздействие на создание первой повести Жуковского оказал его перевод прозаической повести Флориана «Вильгельм Тель, или Освобожденная Швейцария» (1802). Об этом см.: *Тихофравов Н. С.* Сочинения. М., 1898. Т. 3. С. 436 и след.; Резанов. Вып. 2. С. 104; *Петрунина Н. Н.* Указ. соч. С. 58.

Однако преимущественное воздействие на первый опыт оригинальной повести Жуковского оказал Карамзин, чье общественное, нравственное, художественное влияние на молодого поэта было огромно (см.: *Капунова Ф. З. Н. М.* Карамзин в историко-литературной концепции В. А. Жуковского // XVIII век. Сб. 21. СПб., 1999. С. 337—347). «Вадим Новгородский» создавался в условиях поклонения Карамзину. С близости к себе Жуковского говорит и сам издатель ВЕ в специальном примечании: «Молодой автор этой пьесы и мой приятель, г. Жуковский, известен читателям “Вестника Европы” по Грессовой элегии, им переведенной» (ВЕ. 1803. № 23. С. 211).

Явственно ощущаемая в стиле «Вадима Новгородского» оссиановская тональность, о которой говорят многие исследователи прозы Жуковского (В. И. Резанов, А. Н. Веселовский, Н. Н. Петрунина и др.), пришла к Жуковскому главным образом от Карамзина, одного из самых убедительных пропагандистов Макферсона, почувствовавшего огромную роль Оссиана в становлении нового направления русской литературы — сентиментализма, преромантизма. «Велик ты, Оссиан, велик, неподражаем», — скажет Карамзин в своем программном стихотворении «Поэзия» (Московский Журнал. 1792. С. 260).

Оссианизм явился и для Карамзина, и для Жуковского лабораторией особой лирически интонированной прозы, несшей на себе большое воздействие поэзии. Ритмизованная проза, «свободная от жестких границ стихотворного размера» (Ю. Д. Левин) — важнейшая форма развития русской прозы в период ее создания Карамзиным и Жуковским. Уже в стиле «Вадима Новгородского» Жуковский демонстрирует эту внутреннюю связь прозы и поэзии, во многом определяющую принципиальный интерес его к прозе в самый ранний период своего творческого самоопределения. Впоследствии Жуковский-поэт и переводчик неоднократно демонстрировал глубокую эстетическую связь поэзии и прозы, понимая важность каждого из этих родов для развития отечественной литературы.

Генетическое родство поэзии и прозы объясняет близость «Вадима Новгородского» к элегическому и балладному творчеству Жуковского. Н. Н. Петрунина видит в «Вадиме Новгородском» своеобразную параллель к элегии «Сельское кладбище», также посвященной Андрею Тургеневу (Ж. и русская культура. С. 55).

«Вадим Новгородский» создавался в атмосфере нравственных и общественных исканий Дружеского литературного общества, в котором важнейшую роль играл Андрей Тургенев. Это обстоятельство объясняет тесную связь между лирической медитацией интродукции и книгой первой «Вадима Новгородского», выражающей идеи и постулаты Дружеского литературного общества. Тема дружбы, патриотизма и душевной стойкости, тема преемственности поколений определяет важнейшие идейные точки книги первой (Резанов. С. 101; *Петрунина Н. Н.* Указ. соч. С. 62—65).

Говоря о раннем периоде жизни Вадима, Жуковский выдвигает на первый план тему формирования нравственной и общественной позиции героя, пафос жизнестроения, важный в программе Дружеского литературного общества и определяющий в нравственной философии и эстетике Жуковского на протяжении всей его жизни.

Встреча с Гостомыслом, «великим предводителем славян», другом отца Вадима, Радегастом, оказавшимся в роли «мудрого Ментора» — решающая в судьбе Вадима. Это поворотный пункт сюжета повести, восстанавливающий утраченную было связь поколений (проблема чрезвычайно важная для Дружеского литературного общества).

В стилиевой палитре «Вадима Новгородского» определенное место занимает славянская и русская мифология, что также свидетельствует о ее тесной связи с Дружеским литературным обществом (см.: *Лотман Ю. М.* А. С. Кайсаров и литературно-общественная борьба времени. Тарту, 1958. С. 28—29; Резанов. С. 100—102).

Повесть не была закончена, и в письме к Д. Н. Блудову от начала августа 1804 г. Жуковский так объяснял причину отказа от продолжения «Вадима Новгородского»: «А “Вадима” я бросил; мне все говорят, что он есть подражание “Марфы Посадицы”. Не хочу выходить на сцену подражателем, даже толковым» (цит. по: *Трофимов И. Т.* Поиски и находки в Московских архивах. М., 1982. С. 66).

¹ ...на песках пустынной Сары! — См. прим. 72 к тексту «Мальчик у ручья».

² *Здесь радостный образ мирного счастья пленит меня своим призраком, и пепел протекших радостей оживится моими слезами сладкими, посвященными воспоминанию...* — Жуковский варьирует здесь стихи Ан. Тургенева из его «Элегии»: «И в самых горестях нас может утешать // Воспоминание минувших дней блаженных».

³ ...тень твоя надо мною; ~ клянусь быть другом добродетели. — Ср. с первым параграфом Устава Дружеского литературного общества: «Единственная и главнейшая должность — любовь к добродетели» (Резанов. Вып. 2. С. 117).

⁴ *Тихая муза моя непорочна, как сама природа: не бросит цветов на стезю недостойного; в венце из роз и ветвей дубовых... и с томным журчанием потоков соединит свои песни...* — ср. в элегии Жуковского «Вечер»: «Приди, о Муза благодатна, // В венке из юных роз, с цевницею золотой; // Склонись задумчиво на пенистые воды // И, звуки оживив, туманный вечер пой // На лоне дремлющей природы».

⁵ ...разбитым стрелю Перуна... — в славянской мифологии Перун — бог грозы (грома).

⁶ *Страец повесил арфу на стену, подле доспехов военных — щита, панциря, меча и шлема...* — Гостомысл в повести Жуковского, подобно героям Оссиана, певец и воин. «Оссиановскими мотивами (...) проникнута и элегическая песнь, влагаемая Жуковским в его уста» (Резанов. Вып. 2. С. 92, 94 и след.).

⁷ ...незнакомый юноша, прелестный, как Дагода, величественный, как Световид, с луком в руке... — Дагода, Световид — персонажи славяно-русской мифологии, которыми интересовался круг ближайших друзей Жуковского во главе с А. С. Кайсаровым, составившим книгу о славянской и русской мифологии. Оба примечания Жуковского к тексту заимствованы у М. Д. Чулкова или у М. Попова (Словарь русских суеверий. СПб., 1782. С. 223; Краткое описание славянского баснословия. Ч. 1. СПб., 1772. С. 191).

⁸ *Гостомысл* — Легендарный предводитель новгородских славян, первый князь или посадник (см.: *Карамзин Н. М.* История Государства Российского. Т. 1. Прим. 274 к гл. IV; см. также: *Карамзин Н. М.* О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств: «Если бы Гостомысл был в самом деле историческим характером, то мы, конечно бы, захотели его изображения...» — *Карамзин Н. М.* Соч.: В 2 т. Т. 2. Л., 1984. С. 156).

Ф. Канунова

Письмо французского путешественника

(«Нам, жителям Парижа...»)

(С. 355)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1803. № 23—24. С. 238—246, подписано: «Перевел из фр. жур. В. Ж.»

В прижизненные собрания сочинений не входило.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее декабря 1803 г., по времени первой публикации.

На переводной характер сочинения указывает подпись к его первой (и единственной) публикации — «Перевел из фр.(анцузского) жур.(нала) В. Ж.», она же доказывает принадлежность текста Жуковскому. Источник перевода установить пока не удалось, что, безусловно, не дает возможности оценить характер передачи переводчиком оригинала на русский язык. Однако без всяких оговорок можно утверждать, что это произведение органично вписывается в логику творческих интересов Жуковского 1803 г., демонстрируя, в частности, его внимание к жанру путешествия. Оно проявилось в первой критической статье Жуковского «О “Путешествии в Малороссию”», посвященной книге П. И. Шаликова, которая была прочитана Жуковским, по его словам, с удовольствием. Статья тоже была опубликована в «Вестнике Европы» в 1803 г. (№ 6). В ней Жуковский обращает особое внимание на избранный Шаликовым жанр и на цели автора «Путешествия в Малороссию»: «...едет не с тем, чтобы описывать города и провинции, но с тем, чтобы уехать от времени, и если можно, увести читателя с собою» (ПСС, IX, 11). Он высоко оценивает саму установку Шаликова, ориентирующегося на стернианско-карамзинскую традицию повествования, менее всего связывающего путешествие (и его описание) с практическими задачами. Как важнейшую особенность «Путешествия в Малороссию» Жуковский отмечает то, что оно описывает приятную поездку, которая насыщает душу чувствами; его автор, по словам Жуковского, «думал об одном удовольствии читателя» (ПСС, IX, 11). Разделяя путешествия на «сельские» и «городские», Жуковский отдает предпочтение первым, поскольку описание посещения

«мирного села», «хижины земледельца» наиболее благотворно для постановки проблем нравственно-этического плана. В центре критической статьи у Жуковского оказалась эстетическая программа ведущего в сентименталистской прозе жанра и именно те его принципы, которые позволяют увидеть в путешествии плодотворность синтеза описательного, эмоционального и философско-эстетического начал в прозе. Статья заканчивается описанием Жуковского Девичьего Поля, которое во многом противоположно шаликовскому «Путешествию» и справедливо оценено современным исследователем как «мастерский художественно-описательный фрагмент» (*Петрунина Н. Н. Жуковский и пути становления русской повествовательной прозы // Ж. и русская культура. С. 53*).

Все эти принципы в полной мере воплощены в переводе Жуковского «Письмо французского путешественника», который можно рассматривать как своего рода продолжение статьи «О “Путешествии в Малороссию” г. Шаликова». В «Письме французского путешественника» осваиваются самые разные повествовательные формы. С этим связана и его фрагментарная композиция. Первый фрагмент выполнен по законам идиллии, но переведенной в гражданский, социальный план. Здесь описано идеально устроенное, в духе Руссо, общество, в котором сочетаются естественное начало и воспитание. Публицистическое звучание этого фрагмента оттеняет лирические интонации следующей части статьи, в которой путешественник описывает прекрасные сады и замок Бель с его парком. Упоминание о владелице замка, в свою очередь, позволяет повествователю перейти к жанру анекдота. Описание Бель, прерванное анекдотом, плавно перетекает в зарисовку Эрменонвиля, где все пронизано духом Ж.-Ж. Руссо, что и привлекает путешественника-повествователя к этому пространству. Описание Эрменонвиля тоже прерывается — чувствительной «историей» в духе шиллеровских «Страданий юного Вертера» — о горестной любви юноши, «возненавидевшего жизнь и прострелившего себе голову». Заканчивается прозаическая статья стихами, высеченными на памятнике, воздвигнутом на могиле погибшего незнакомца.

В заглавии статьи указана еще одна жанровая дефиниция — письмо, что и мотивирует подчинение всего материала путешествия, его построения личности героя-путешественника, являющегося одновременно и повествователем. Начатый в ранних оригинальных статьях Жуковского процесс размывания жанрово-родовых границ, синтеза объективного и субъективного, очеркового, публицистического и эмоционально-выразительного начал закрепляется в «Письме французского путешественника». Продолжаются и эксперименты с субъектом повествования, с героем и автором. Вслед за Карамзиным Жуковский стремится к созданию художественного (вымышленного) образа автора-повествователя, близкого к биографическому автору, но не тождественного ему, что принципиально меняло отношения между «жизнью и поэзией», реальностью и литературным текстом. Это получит свое закономерное развитие в дальнейшей прозе Жуковского и в русской прозе 1820—1840-х гг.

¹ ...*владения Великого Могола...* — Великие Моголы — тюркские правители узбекского происхождения, правившие Индией с 1526 по 1858.

² *Аббат Галлиани* — Галиани Фердинандо (Galiani, 1728—1787) — аббат, один из самых замечательных и остроумных политиков-экономистов эпохи Просвещения, был знаком со многими энциклопедистами.

³ ...не к простым земледельцам, а к умным откупщикам. — Крестьяне, получившие в ходе революции возможность купить или взять в аренду церковные земли.

⁴ ...вот одно из первых благоденствий Революции. — Имеется в виду Великая французская революция.

⁵ Бульот — карточная игра.

⁶ ...парижских Анакреонов... — Анакреонт (ок. 570 — ок. 485 до н. э.), древнегреческий лирический поэт.

⁷ ...замок Бель... — имеется в виду Монтрой-Белле (фр. Château de Montreuil-Bellay) — средневековый замок. Расположен во Франции, в долине Луары. Построен в XI веке Фульком Неррой, графом Анжуйским. Фульк Нерра уступил замок своему вассалу Дю Белле.

⁸ ...бывшей принцессе Монако, прелестной любовнице принца Конде... — вероятно, имеется в виду Монакская Мария Катерина, княгиня, урожд. маркиза де Бриньоль-Саль (1739 — 1813).

⁹ Анахореты (греч. αναχωρησις) — удалившиеся от мира, отшельники, пустычники; так назывались люди, живущие в уединённых и пустынных местностях, по возможности чуждаясь всякого общения с другими.

¹⁰ ...Морфонтедь, дачу Иосифа Бонапарте... — имеется в виду поместье Морфонтен, принадлежавшее Жозефу Бонапарту (1768—1844), старшему брату Наполеона I.

¹¹ Эрменонвиль — история поместья начиналась в X веке, с возведения на дороге, ведущей в восточные провинции, укрепленного замка. В 1762 г. потомок знатного флорентийского рода, маркиз Луи-Рене де Жирарден (de Girardin, 1735—1808), получил в наследство имение Эрменонвиль (в окрестностях Парижа) площадью 850 гектаров. Исключительную известность Эрменонвиля связывают с именем именно этого человека, последовательного руссоиста, чья артистическая натура, находящаяся в постоянном творческом поиске, позволила воплотить в жизнь сад-мечту Жан-Жака Руссо из его романа «Юлия, или Новая Элоиза». Значение Эрменонвиля в истории пейзажного стиля огромно, поскольку его создатель, маркиз Рене-Луи де Жирарден, был еще и автором книги «О составлении пейзажей». Философский парк Эрменонвиль, точно воспроизводивший ландшафт, описанный Руссо в «Новой Элоизе», сыграл исключительную роль в формировании пейзажной традиции в Европе.

¹² Следы Жан-Жака... — имеется в виду Ж.-Ж. Руссо, который в мае 1778 г. уединился в Эрменонвиле, в коттедже, предложенном ему маркизом де Жирарденом, и умер там от апоплексического удара 2 июля 1778 г.

¹³ Happy the man ... native ground. — Несколько неточная цитата из стихотворения А. Поупа «Solitude» («Одиночество»).

И. Айзикова

ИЗ ЧЕРНОВЫХ И НЕЗАВЕРШЕННЫХ РУКОПИСЕЙ

Во второй половине 1800-х гг. процессы формирования нового художественного мышления набирают силу в творчестве Жуковского, распространяясь в самые разные области. Процессы эти протекали в поэзии и в прозе хотя и одновременно, но неравномерно. Явное опережение наблюдалось в поэзии. Неслучайно 1806 г.

заканчивается, по выражению исследователя, «невиданным лирическим взрывом» (Янушкевич. С. 316), а в прозе многое так и осталось незавершенным.

Незаконченные опыты Жуковского в прозе 1804—1806 гг. (хрестоматия «Примеры слога, выбранные из лучших французских писателей» и «Избранные сочинения Жан-Жака Руссо») являются переводами из французской литературы XVII—XVIII веков. Незавершенность можно назвать важнейшей особенностью их поэтики. Взятые вместе, они представляют собой энциклопедию возможностей прозы, открываемых Жуковским для русской литературы. Пытаясь предугадать в самом начале XIX века основные тенденции и закономерности ее развития, Жуковский предстает перед нами как писатель, с самого начала своего творческого пути размышляющий о взаимодействии поэзии и прозы и о том, что это может дать становлению того и другого видов словесного искусства и отечественной литературы в целом. Как свидетельствуют рукописи, деятельность Жуковского в области прозы в 1800-е гг. оказывается принципиально эстетической. Писатель посредством перевода сознательно ищет парадигму перехода русской прозы из века Просвещения в эпоху романтизма, открывшую столько нового, особенно в сфере духовного бытия человека. Незавершенные переводы 1804—1806 гг. представляют нам лабораторию писателя, поэта, экспериментирующего в области различных форм прозаического повествования. Опытным путем Жуковский пытается найти способы расширения эстетического пространства русской прозы, ее идейного обогащения, углубления ее философского, морально-психологического содержания, жанрово-стилевого разнообразия. Эти поиски сыграли свою роль и в дальнейшем развитии романтической поэзии Жуковского.

Данный раздел представляет собой первую попытку систематизации черновых незавершенных рукописей Жуковского-прозаика, относящихся к 1803—1806 гг. Этот материал, в основном подробно описанный И. А. Бычковым и В. И. Резановым, частично датированный ими, не публиковался ни в одном издании сочинений писателя, в связи с чем задачей раздела является, по возможности, полное представление текстов Жуковского, уточнение их датировок, а также введение их в контекст творческой биографии писателя и в логику его эстетической позиции.

Чувства отца на гробе сына

(«Натура, плачь со мною...»)

(С. 359)

Автограф: ПД. Р. I. Оп. 9. № 49. Л. 1—2 с об. — черновой, без даты, с подписью под текстом: «В. Жуковский».

При жизни Жуковского не печаталось.

Печатается по автографу.

Датируется: 1803 г., после 8(20) июля.

Черновой автограф, написанный характерным для раннего Жуковского почерком, озаглавленный автором и подписанный его полной фамилией, по-видимому, следует связать со смертью Андрея Тургенева, произошедшей 8 (20) июля 1803 г., и на этом основании датировать его. Текст написан в эстетике «элегий в прозе», «лирической миниатюры в прозе», освоенной писателем еще во время обучения в Московском университетском благородном пансионе, в продол-

жение таких ранних сочинений Жуковского, как «Мысли при гробнице», «Мысли на кладбище» и др. Очевидны и переклички данного сочинения с интродукцией к повести «Вадим Новгородский», посвященной памяти Ан. И. Тургенева. В связи с этим отметим в данном произведении очевидное влияние карамзинской прозы, активное использование оссианических традиций, мотивов и образов кладбищенской поэзии, а также взаимодействие поэзии и прозы.

Судя по автографу, который хотя и является черновым, но имеет малое количество исправлений и зачеркиваний, сочинение рождалось легко.

**Примеры слога, выбранные из лучших французских
прозаических писателей и переведенные
на русский язык Василием Жуковским**
(С. 360)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. 42 л., из них л. 3—4 с об. чистые — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Одним из примечательных явлений раннего творчества Жуковского-прозаика является незавершенная хрестоматия «Примеры слога, выбранные из лучших французских прозаических писателей и переведенные на русский язык Василием Жуковским». 16 ноября 1805 г. Жуковский записал в своем дневнике: «В апреле (1806 г.) кончу перевод “Leçons”» (Дневники. С. 29). Эта запись позволяет не только довольно точно датировать переводы хрестоматии (о датировке переводов см. также: Резанов. Вып. 2. С. 561), но и указывает на их источник. Речь идет о французском издании «Leçons de Littérature et de Morale, ou Recueil, en prose et en vers, des plus beaux morceaux de la langue française dans la littérature des derniers siècles» (V. 1—2. Paris, 1804, составители — F. Noel, F. De la Place. Атрибуция всех переводов принадлежит В. Резанову), содержание первого тома которого и легло в основу «Примеров слога» Жуковского. Хрестоматия представляла собой сборник текстов преимущественно морально-философского содержания, изложенного в различных повествовательных формах (Narrations, Tableaux, Descriptions). Важнейшее место в ней занимали традиционные для подобного содержания жанры красноречия (Discours et morceaux oratoires, Allégories, Dialogues littéraires et philosophiques). Ставшая весьма популярной во Франции, хрестоматия привлекла к себе внимание и в России. Уже в конце 1804 г. в «Патриоте» находим извещение о выходе в свет «Leçons». Автор аннотации, редактор журнала В. Измайлов очень высоко оценивает книгу как дидактическую: «Вот драгоценный подарок для воспитания» (Патриот. Журнал воспитания. 1804. Т. 3. Кн. 2. С. 273). В аннотации было соответственно изменено и название издания — «Уроки Морали и Литературы».

Черновые автографы 41 статьи (из них 37 сохранились полностью) находятся в тетради, первоначально озаглавленной «Образцы, избранные из лучших французских писателей и изданные в русском языке Василием Жуковским» (л. 1). Л. 2 открывается подзаголовком «Переводы». Бумага в тетради синяя, с водяным знаком 1804 г. В угловых скобках приводим некоторые зачеркивания Жуковского.

Оглавление хрестоматии находим на л. 39—40 с об. Приведем его здесь полностью:

Оглавление

О слоге

Повествования

1. Дружба или Дамон и Пифиас. Бартеlemi. +
2. Потоп. Бернарден С. Пьер. +
3. Сражение при Рокруа. Боссюэт.
4. Дюге-Труэнь победитель на морском сражении. Томас.
5. Погребение Гиппия. Фенелон.
6. Дюге-Труэнь, с одним судном, уходит от двадцати английских военных кораблей. Томас.
7. Бегание, колесничное ристание и борьба на играх Олимпийских. Бартеlemi.
8. Тишина посреди океана. Мармонтель.
9. Приближение и ужас урагана в Иль-де-Франс. Бернарден де С. Пьер.
10. Сон Марка Аврелия. Томас.
11. Тиранство и доносы в Риме. Томас.
12. Падение Протезилая. Фенелон.
13. Клазомен, или Страждущая добродетель. Вовенарг.
14. Затмение солнца в Перу. Мармонтель.
15. Несчастья 1709 года и человеколюбие Фенелона. Лагарп.
16. Буря и змеиная пещера в Перу. Мармонтель.
17. Извержение волкана. Ласепед.
18. Зараза в Афинах. Бартеlemi.
19. Смерть Марка Аврелия. Томас.
20. Смерть Тюрения. Флешье.
21. Первый человек в первые минуты бытия своего. Бюффон.

Картины

1. Достоинство человека, возвышенность его природы. Бюффон.
2. Происхождение человеческой деятельности. Вольней.
3. Смерть Сократова. Томас.
4. Сюлли в удалении от двора. Томас.
5. Скромность Тюрения. Флешье.
6. Тюрень в минуту сражения и победы. Маскарон.
7. Фенелон в Камбре. Лагарп.
8. Земля в гармонии трех царств природы. Ж.-Ж. Руссо.
9. Натура дикая и натура обработанная. Бюффон.
10. Леса и жители холодных климатов. Ласепед.
11. Природа в Южной Америке. Ласепед.
12. Изображение прекрасной ночи в пустынях нового мира. Шатобриан.
13. Великий полководец и его воинство в минуту сражения. Лагарп.
14. (Тот же предмет, рассматриваемый с другой точки зрения. Маскарон.)

15. Поклонение огню. Бальи.
16. ⟨Огнедышащая гора в Квито. Мармонтель.⟩
17. ⟨Падение Ниагары. Шатобриан.⟩
18. Темпейская долина. Бартеlemi.
19. ⟨Сельский патриарх при заходе солнца. Рейрак.⟩*
20. ⟨Рудники и их⟩ Рудокопы. Ж.-Ж. Руссо.
21. ⟨Кузнецы.⟩ Г-жа Севиньи.
22. ⟨Простая и счастливая жизнь обитателей острова Крита. Фенелон.⟩
23. Нравы, союз и счастье семейств в Северной Америке. Реналь.
24. Мельерийские утесы. Ж.-Ж. Руссо.
25. Лилия и Роза. С. Пьер.
26. Ничтожность человеческого могущества перед могуществом природы. С. Пьер.
27. Счастье неизвестности. Флориан.
28. Счастье неизвестности. С. Пьер.
29. Возрасты человеческие. Ласепед.

Описания

1. ⟨Теория зари. Бальи.⟩
 2. Восхождение солнца. Ж.-Ж. Руссо.
 3. Весна в Греции. Бартеlemi.
 4. Гроза. Бартеlemi.
 5. Вихрь на Антильских островах. Реналь.
 6. Счастье поселян. Фенелон.
 7. Аполлон Бельведерский. Винкельман.
 8. ⟨Оружия Телемака. Фенелон.⟩
 9. Вид Египетских пирамид. Вольней.
 10. Развалины Пальмиры. Вольней.
 11. Вид Ливана. Вольней.
 12. Аравийская пустыня. Бюффон.
 13. Средства узнавать великие действия разнообразия природы. Бюффон.
 14. Собака – товарищ дикого человека и первая хижина. Ласепед.
 15. Собака.
 16. Лошадь.
 17. Коза и овца.
 18. Лев и тигр.
 19. Зяблица.
 20. Чижик и Соловей.
 21. Павлин.
 22. Лебедь.
 23. Мушка-птица.
 24. Змея.
 25. Серая ящерица.
 26. Дракон.
- } Бюффон.
- } Ласепед.

* Заглавия, начиная с «Сельского патриарха...» и до конца, перечеркнуты. — И. А.

Аллегии

1. Басня и аллегория. Бартеlemi.
2. Стадо и пастух. Ла Брюер.
3. Человек. Боссюэт.
4. Одно начало, один конец для всех человеков. Боссюэт.
5. Милость, немилость. Ла Брюер.
6. Модный человек, достойный человек. Ла Брюер.
7. Смерть и ее свита (служители) перед тронем Плутона. Фенелон.
8. Духи. Бартеlemi.

Дефиниции

1. Добродетель. С. Пьер.
2. Истина. Массильон.
3. (Ум. Флешье.)
4. (Ум. Дагессо.)
5. (Остроумие. Дагессо.)
6. Самолюбие. Ларошефуко.
7. Злословие. Массильон.
8. Скука и лекарство от нее. Мармонтель.
9. Блюститель правосудия. Томас.
10. Писатель. Ла Гарп.
11. Честолюбивый. Бурдалу.
12. Честолюбивый. Массильон.
13. Жизнь человеческая и люди. Массильон.
14. (Наука.)
15. (Истинная и ложная ученость.) Дагессо.

Моральная практическая философия

1. (Молодые люди, рано испорченные, бесчеловечны и жестокосерды; но молодой человек, сохранивший себя до двадцати лет, есть самый лучший, самый любезный из людей. Ж.-Ж. Руссо.) Целомудрие сохраняет чистоту души. Ж.-Ж. Руссо.
2. Атеизм. Вольтер.
3. Религия и атеизм. Шатобриан.
4. Мы не совсем умираем. Массильон.
5. Бытие Бога. Массильон.
6. Бессмертие души. Ж. Ж. Руссо.
7. Чувство Божества. С. Пьер.
8. Совесть. Массильон.
9. О угрызении совести. Шатобриан.
10. О угрызении совести. Ж.-Ж. Руссо.
11. Любовь к человечеству. }
12. Любовь к отечеству. } Бартеlemi.
13. О христианском красноречии. Шатобриан.
14. О забвении бедных. Бурдалу.

15. О жестокости с неимущими. Массильон.
16. Роскошь. Фенелон.
17. Умей отказываться от всякого состояния и быть человеком вопреки судьбе. Руссо.
18. Победа над самим собою славнейшая из побед. Массильон.
19. Писатель должен быть другом истины. } Томас.
20. Изображение писателя-гражданина. }
21. Уединение необходимо для писателя (для работы гения). Ла Гарп.
22. Уединение мудреца. Томас.
23. Истинные удовольствия и независимость сельской жизни в сравнении с ложными удовольствиями и рабством городов. Бартеlemi.
24. (Дом, друзья, удовольствия Жан-Жака в деревне, когда бы он был богат). Руссо. Деревенская жизнь Ж.-Жака Руссо.
25. Наружность счастья и истинное счастье. Руссо.
26. Честолюбие. Бурдалу.
27. Честолюбие. Массильон.
28. (Лесть, или Сокрытие истины. Флешье.)
29. Лесть. Массильон.
30. (Женщина. С. -Пьер.)
31. Слава. Томас.
32. Настоящее, будущее. Фенелон.
33. (Смерть. Флориан.)
34. Смерть. Массильон.
35. Смерть. Бюффон.

Характеры. Сравнения

1. Греки и римляне, Мабли.
2. Афиняне, Бартеlemi.
3. Афиняне, Арно.
4. Новейшие нации, Шатобриан.
5. Французы, Дюкло.
6. Французы, Реналь.
7. Арабы, Реналь.
8. Плутарх, Томас.
9. Гомер,
10. Симонид, } Бартеlemi
11. Эсхил, } Бартеlemi
12. Софокл, } Бартеlemi
13. Эврипид, } Бартеlemi
14. Платон, } Томас
15. Ксенофон, } Томас
16. Исократ, } Томас
17. Демосфен, Мори
18. Цицерон,
19. Тацит,
20. Пигмалион, Фенелон.
21. Тиверий, Томас.

22. Лудвиг XI.
23. Николай Габрино Риенци, Буапрео.
24. Опиталь, Томас.
25. Опиталь, Гено.
26. Сюлли, Томас.
27. Кромвель, Боссюэт.
28. Бэдмар, С.-Реаль.
29. Вальштейн, Саразен.
30. Кардинал Ришелье, Флешье.
31. К. (ардинал) Ришелье, Фонтан.
32. К. (ардинал) Ришелье, Мабли.
33. Мазарень, Флешье.
34. Кардинал де Рец, Боссюэт.

Несмотря на желание Жуковского закончить работу над хрестоматией, она все же осталась незавершенной. Ни один фрагмент хрестоматии не был опубликован Жуковским. Позднее, в абсолютном большинстве случаев с очень значительными сокращениями, статьи из «Примеров слога» были опубликованы, точнее сказать, представлены В. И. Резановым в его монографии, где ученый ставил перед собой вполне определенную задачу: «дать подробное обозрение» этого труда Жуковского (Резанов. Вып. 2. С. 514—561). Таким образом, в настоящем издании предпринимается попытка первой полной публикации хрестоматии «Примеры слога».

Выполненный примерно на одну треть, проект Жуковского, тем не менее, наглядно демонстрирует ряд важнейших тенденций его творчества и русской литературы в целом. Органично вливаясь в процесс нравственно-философского самовоспитания писателя, он в первую очередь подтверждает стремление Жуковского продолжить начатые им в первой половине 1800-х гг. поиски в жанрово-родовой сфере, упорядочить прозаический слог и, что самое главное, выработать систему образного и вместе с тем точного прозаического слога. Показательно в этом плане название хрестоматии — «Примеры слога» вместо «Уроки литературы и морали». С решением проблемы слога связывает значение труда Жуковского его первый исследователь В. И. Резанов: «Труд этот интересен особенно в том отношении, что это была своего рода созданная самим поэтом для себя школа выработки и усовершенствования своего писательского языка, которым он должен был передать тонкую, блестящую, мастерскую речь длинного ряда образцовых французских писателей» (Резанов. Вып. 2. С. 514).

Проблема прозаического слога особенно остро встает для Жуковского именно в 1800-е годы. Это связано с несколькими моментами: с его собственными творческими процессами, с ясным пониманием зависимости уровня развития языка и зрелости художественной прозы, определявшей в свою очередь зрелость литературы и культурный прогресс общества в целом. Мысль о необходимости формирования нового русского прозаического слога вытекала и из знакомства Жуковского с огромным пластом западной и русской прозы XVIII — начала XIX века (см.: БЖ, I—III). И наконец, очевидна связь жанрово-стилевых поисков Жуковского-прозаика с полемикой «шишковистов» и «карамзинистов» (см.: БЖ, I, 27—51, 105—123). В центре этой полемики, как известно, находились проблемы прозаического слога, прежде всего, в связи с «новым слогом», введенным Карамзиным в русскую прозу

(см. об этом: *Купреянова Е. Н.* Французская революция 1789—1794 годов и борьба направлений в русской литературе первой четверти XIX века // РЛ. 1978. № 2. С. 87—107). Жуковский в своей полемике с Шишковым выступил вполне определенно как карамзинист, отстаивая значение Карамзина как лучшего русского прозаика, связывая его роль в отечественной словесности в первую очередь с его заслугами перед русской прозой.

В отличие от шишковистов, защитников «старого» слога, Жуковский не считал формы языка, введенные предшественниками, раз и навсегда данными. Это относилось даже к Карамзину, чьи открытия, по логике Жуковского, также должны были найти развитие и совершенствование в живом художественном процессе. Позднее, в «Обзоре русской литературы за 1823 год», в «Конспекте по истории русской литературы» (1826—1827) Жуковский обобщит свои мысли по этому поводу: язык всегда «разделял судьбу государства и следовал за ним во всех его преобразованиях», и, следовательно, «он окончательно не установился, но продолжает формироваться в произведениях писателей» (Эстетика и критика. С. 317).

Конкретные аспекты реформы прозаического слога Жуковский сформулировал в статьях «Вестника Европы», поставлены же были эти проблемы в его хрестоматии «Примеры слога», в частности, в статье, ее открывающей. Статья имела программное название — «О слоге» (в «Leçons» статья названа «Règles de l'art d'écrire»). Она представляет собой перевод отрывка из «Discours de réception à l'Académie Française» Ж. Л. Л. Бюффона. Прежде всего, Жуковский акцентирует идею необходимости для прозаического слога «мыслей, рассуждений, доказательств», которых, однако, «недовольно» для того, чтобы «пленять», для этого «надобно действовать на душу, трогать сердце, говоря рассудку» (л. 5). Важнейшим положением статьи стала мысль о «целостности», т. е. единстве стиля как о достоинстве сочинения литературы. Словами Бюффона Жуковский, по сути, сказал здесь о необходимости отхода от «сознательно-традиционной поэтики» (Л. Я. Гинзбург), об обновлении авторского образа в прозе, который, прежде всего, должен «выдерживать *свой* тон».

Л. Я. Гинзбург справедливо пишет о том, что «русской литературе нужно было пройти через период стилистического упорядочения и очищения, выработки гибкого и точного языка, способного выразить все усложняющийся мир нового человека. И выразить его как мир прекрасный» (*Гинзбург Л. Я.* Школа гармонической точности // *Гинзбург Л. Я.* О лирике. М., 1997. С. 25). Собственно в своих «Примерах слога» Жуковский и стремится к систематизации прозаического слога, к подчинению его задаче поэтического, художественного воздействия на читателя. При этом ему важно выработать некий средний слог, органично сочетающий устойчивость стиля и его гибкость. Такое было возможно лишь при одном условии: предельность основных элементов произведения (лексика, синтаксис, семантика) типом авторского образа, заданного в свою очередь жанровым канонem, должна была быть переосмыслена в плане акцентации неповторимости, индивидуальности авторского сознания. Жуковскому важно было совместить традиционную жанрово-стилистическую окраску текста с индивидуальными контекстами или, по крайней мере, попытаться ввести их наряду с теми, которые восходят к нормативному эстетическому мышлению.

Осваивая прозаическую монологическую речь в «Примерах слога», Жуковский ищет ее разные жанровые модификации. Причем в полном соответствии с

названием французского источника («уроки») Жуковский смело экспериментирует. Его хрестоматия стала своего рода энциклопедией жанрово-стилевых разновидностей прозаического слога. Установка на «лучшее», также исходящая от авторов «Leçons», была не менее важна для Жуковского. Он выбирает уже из состава французской хрестоматии самое значительное, с его точки зрения. Лучшее для Жуковского — это именно удачный пример слога того или иного автора, той или иной формы художественной прозаической речи. Выстраивая свой тип и свою композицию хрестоматии, Жуковский делит ее на семь разделов: «Повествования», «Картины», «Описания», «Аллегории», «Дефиниции», «Моральная практическая философия», «Характеры. Сравнения», не выделяя в своем издании таких разделов «Leçons», как «Введения к трактатам», «Ораторские рассуждения» (о составе разделов, степени полноты и точности воспроизведения Жуковским соответствующих отделов «Leçons» см. ниже).

Как видим, образцы собственно ораторской речи, строго подчиняющиеся канонам, остаются за рамками издания Жуковского, но в целом в основу построения книги Жуковский кладет жанрово-стилевой принцип. Правда, первое, что бросается в глаза при знакомстве с хрестоматией — это отсутствие строгой внутрижанровой и межжанровой дифференциации. Примечательно и то, что Жуковский последовательно проводит через всю хрестоматию четкую номинацию, атрибуцию фрагментов, что призвано было позволить читателю судить о составе авторов, а следовательно, индивидуальных стилей, отобранных Жуковским для своего издания.

Не менее показательно и то, что в выстроенной Жуковским композиции хрестоматии (т. е. в системе прозаических стилей) на первое место поставлены (здесь Жуковский полностью согласился с составителями французской хрестоматии) не традиционные для классицистической иерархии «Дефиниции» и даже не «Моральная практическая философия», а раздел под названием «Повествования». Уже это свидетельствует о переосмыслении Жуковским устоявшихся эстетических канонов, представлений о прозе как ораторской речи, строго подчиненной не собственно художественным задачам, а дидактике. Выдвижение на первый план «Повествований» отражает складывающееся у Жуковского представление о прозе, прежде всего, как о художественном, эпическом по своей природе, тексте.

Только первый из задуманных Жуковским разделов хрестоматии — «Повествования» — был осуществлен полностью. Его состав и композиция демонстрируют глубину размышлений Жуковского о самом понятии повествования. Раздел (единственный в «Примерах слога») — и по замыслу, и фактически — полностью повторяет соответствующий отдел в «Leçons», который выстроен по определенной системе, очевидно, вполне удовлетворявшей Жуковского. В раздел вошли фрагменты из собственно художественной (романы) и нехудожественной прозы (научно-популярная литература, похвальные и надгробные слова). Таким образом складывается некая внутрителивая классификация раздела, включающего в себя повествовательные эпизоды, изображающие как природные, так и социальные явления, как реальные, так и вымышленные события. Тексты научно-публицистические легко обнаруживают философско-этический подтекст, тексты собственно художественные отличаются тем же пафосом. Эту дифференциацию, вполне заметную в разделе, безусловно, можно классифицировать как дань традиции классицизма. Но вместе с тем, фрагменты представляют собой некий единый текст под названием «Повествования», совершенно очевидно демонстрирующий

философичность и целостность, всеохватность как особую направленность сознания Жуковского-прозаика.

При этом, как свидетельствует характер перевода и правки текстов, их нравственно-философская идея осуществляется, как правило, не декларативно, а художественно, т. е. персонафицированно. Этико-онтологическая идея, установка на универсальность взгляда в переводах Жуковского — это суть мирозерцания повествователя. Логика индивидуальной философской мысли оформляется в индивидуальную повествовательную логику. Раздел же в целом приобретает структуру цикла со сквозным героем-нарратором, границы мышления которого и определяют границы раздела. Проблемы войны и мира, сотворения человека и жизни на земле, жизни и смерти, смерти и бессмертия, дружба, предательство, человеческие страсти — вот круг вопросов, поднимаемых в разделе «Повествования». Все они уже привлекали внимание Жуковского ранее и в хрестоматии получили свое закономерное развитие.

Структура второго раздела — «Картины» — демонстрирует практически тот же перечень авторов и произведений, что и «Повествования», тот же композиционный принцип, хотя по объему уже в оглавлении раздел был сокращен вдвое, по сравнению с французским источником. В «Картины» включаются торжественные, одического звучания тексты, взятые из похвальных и надгробных слов и выполняющие прежде всего воспитательные функции, и собственно картины — природоописания, строящиеся на специфике «местного колорита», на живом индивидуальном мироощущении героя-нарратора, хотя и здесь ощутимы веяния классицистической, просветительской эстетики. Пейзажи во многом нацелены на передачу знаний и наставлений. В рамках же раздела выстраивается эпически целостная картина мира, отражающая излюбленный тезис Жуковского о единстве, родстве всего сущего и о человеке как высшей формы природы и очень близкая к такому многосоставному и разнообразному явлению, как описательная поэзия, являющаяся, по утверждению исследователей, дериватом поэзии дидактической (Ю. Д. Левин).

С точки зрения повествовательной формы в обоих разделах представлены два антитетических модуса изображения события: показ (сцена) и рассказ (панорама). В «повествованиях» и «картинах» первого типа автор определенно выступает в роли всезнающего обозревателя. В «повествованиях» и «картинах» второго типа панорама внешнего мира, как правило, соединена с показом мира внутренних переживаний героя-нарратора. Трудно говорить о предпочтениях, отдаваемых Жуковским тому или иному типу повествования. Важнее другое — его стремление попробовать свое перо в самых разных повествовательных формах, нащупать их достоинства и недостатки.

Ни одной статьи третьего раздела «Описания», предусмотренного в «Оглавлении» хрестоматии, нет. Все названия статей раздела «Аллегории» перечеркнуты уже в оглавлении, текста ни одной статьи нет и, по-видимому, не было. Нет также ни одной статьи из «Дефиниций». Из «Моральной практической философии» сохранились последние строки статьи «Деревенская жизнь Ж.-Ж. Руссо» (перевод отрывка из «Эмиля») и полностью две статьи: «Наружность счастья и истинное счастье» (также перевод из «Эмиля») и «Честолюбие» (отрывок из проповеди Бурдалу), а также начало другой статьи под таким же названием (автор подлинника, судя по оглавлению, Массильон). Наконец из последнего раздела «Характеры. Сравнения» сохранился текст только одной (первой) статьи «Греки и римляне» (перевод

из «Очерка истории Греции» аббата Мабли) и начало второй статьи «Народ афинский» (отрывок из «Путешествия Анахарсиса» Бартеlemi).

Сличение переводов хрестоматии с подлинниками (подробнее о характере и принципах перевода хрестоматии см. в нашей дис. ... канд. филол. наук и ее автореферате «В. А. Жуковский — переводчик прозы». Томск, 1988) и черновой характер рукописей позволяет выявить некоторые стиливые тенденции Жуковского-прозаика. Прежде всего, отметим стремление Жуковского к стилистической уместности слова, которой иногда отдается предпочтение перед точностью предметной. Довольно часто прозаическое слово Жуковского окрашивается лирической традицией, несет в себе выработанные в лирических жанрах значения. Чаще всего подобное словоупотребление идет от подлинника.

Вместе с тем, Жуковский не боится смешивать привычные и непривычные словосочетания, изобретать значения, соответствующие данному контексту. В них не затемнен и первичный, конкретный смысл, они лишены отвлеченной оценочности. В силу этого Жуковским создаются образы, которые в смысловом отношении не могут быть однозначными, предсказуемыми, ожидаемыми именно потому, что рождаются в определенном контексте, вне которого они уже будут непонятны (так, например, «светило дня» может быть в тексте Жуковского одновременно *помраченным и багровым*, шум может быть *глухим*, а молния *бледной*).

Жуковский смело вводит в свои тексты бытовое слово, в котором не заглушено предметное содержание, слово, эстетически вообще не обработанное, не поддающееся уподоблению абстрактным поэтическим словам-сигналам. Причем разным нарративным формам оказалась свойственна разная степень предметности, конкретности стиля: чем более личностна позиция нарратора, чем больше удалена она от всеведения и вездесущности, тем меньше конкретные по своей природе слова по стилистической функции уподобляются абстрактным, тем шире используется бытовое, эмпирическое слово. Жуковский-прозаик в принципе склонен разрушать гармоническую однородность слога, вернее расширять ее границы. Стилистическое смешение высокого и низкого, конечно, эстетически ощутимо в текстах «Примеров слога», более того, думается, что оно имеет сознательный экспериментальный характер.

Синтаксический рисунок статей Жуковский оказывается еще более разнообразным и свободным, чем лексика. Жуковский, часто отступая от подлинника, пробует соотносить синтаксическое членение с ритмическим. Он может нагнетать какую-либо одну интонацию, отсутствующую в подлиннике, а затем резко обрывать ее. Жуковский может выстраивать предложения, абзацы по своему усмотрению, например, симметрично или, наоборот, асимметрично (так выстроены природоописания, в которых повествование ведется от лица невидимого нарратора: его личный ассоциативный взгляд передается асимметричным построением текста).

Синтаксис, как видим, работает на извлечение из слов и словосочетаний дополнительных смыслов, оттенков. В целом стиль Жуковского оказывается непредсказуемым: традиционное соединяется здесь с непривычным, абстрактное с конкретным. Главное, чего, по-видимому, добивался Жуковский, было разрушение четких межстилевых (а значит, и межжанровых и даже межродовых) границ, стиливое взаимодействие. За всем этим стояла попытка реализовать убеждение в том, что проза должна говорить на художественном языке, но вместе с тем не на языке поэзии. Конечно, Жуковский пользуется критерием логики, приятности, стилистической уместности, но он позволяет себе совмещать это с новым художественным опытом.

О слоге

(«Во всякое время были люди, сильные даром красноречия...»)
(С. 360)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 5—6 с об. — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 514—516.

Печатается по тексту первой публикации, со сверкой по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод отрывка из «Discours de réception à l'Académie Française» Ж.-Л. Л. Бюффона (Buffon G.-L.L. de, 1707—1788). Источник перевода — «Leçons»: «Regles de l'art d'écrire» (отрывок из «Histoire naturelle générale et particulière, par L. de Buffon». V. 1—36. Paris, 1749—1788. V. 21. P. 402). Для своих «Примеров слога» Жуковский перевел три первые страницы введения в «Leçons», весьма примечательно изменив его название. Характерно, что примерно в это же время (1805 г.) к переводу этого же фрагмента обратился другой русский романтик, который как поэт всегда находился в состоянии творческого соперничества с Жуковским, — К. Н. Батюшков. Его перевод называется «Об искусстве писать», подзаголовок звучит так: «Почерпнуто из Бюффона» (см. прим. первого публикатора В. А. Кошелева в кн.: *Батюшков К. Н. Сочинения*. Архангельск, 1979. С. 215—217. Исследователь ошибочно утверждает, что данная статья Батюшкова «является не переводом какой-то конкретной работы Бюффона, но оригинальным рассуждением на тему «Стиль — это человек». Думается, источником перевода для Батюшкова, как и для Жуковского, стало введение к «Leçons de Littérature et de Morale, ou Recueil, en prose et en vers, des plus beaux morceaux de la langue française dans la littérature des derniers siècles»). Как мастер прозаического слога Бюффон упоминается Жуковским в «Конспекте по истории литературы и критики». Рассуждения о причинах «малого успеха “Генриады”» Вольтера в «Конспекте» переходят в утверждение, что это не связано с «духом» французского языка, который «может все изображать: Расин, Буало и Бюффон это доказали, одни своими стихами, другой своею прозою!» (Эстетика и критика. С. 99). Позднее, обдумывая план предисловия к «Собранию русских стихотворений», Жуковский делает ряд набросков, составляет списки русских и иностранных мастеров и теоретиков слога. Имя Бюффона вновь упоминается и идет в них первой строкой. Концепция слога Бюффона привлекала Жуковского до конца его творчества. Так, например, в книге П. А. Вяземского «Фон-Визин» (СПб., 1848) Жуковский подчеркивает знаменитое бюффоново определение слога: «(...) по выражению Бюффона, в слоге весь человек» (см.: БЖ, I, 40).

⟨ПОВЕСТВОВАНИЯ⟩

Название раздела зачеркнуто, также как и эпиграф — стих из «Поэтического искусства» Н. Буало, которым Жуковский, следуя за составителями «Leçons», предполагал открыть «Повествования» (Soyez vif et pressé dans vos narrations. Voileau. Art poétique). Раздел «Narrations» из «Leçons» (объем, композиция, состав) воспроизведен в «Примерах слога» полностью, за исключением одной статьи, которая,

думается, была пропущена случайно: «Combat d'Adraste et de Thélémaque» (отрывок из кн. 20 романа Ф. Фенелона «Приключения Телемака»). В «Повествования» вошел 21 текст.

Дружба, или Дамон и Пифиас

(«На одном из островов Эгейского моря...»)

(С. 361)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 7—7 об. — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 518—519.

Печатается по тексту первой публикации, со сверкой по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод статьи № 1 из «Narrations» под названием — «L'Amitié, ou Damon et Phintias», представляющей собой отрывок из романа Ж. Ж. Бартеlemi (Barthélemy J. J., 1716—1795) «Путешествие молодого Анахарсиса в Грецию» (*Barthélemy J. J. Voyage du jeune Anacharsis en Grèce. Paris, 1804. V. 6. P. 440—442 / Ch. LXXVIII*). И автор, и один из самых известных его романов, и история двух друзей из Сиракуз, Дамона и Финтия (в переводе имя последнего читается — Пифиас), были хорошо известны Жуковскому. Еще в речи «О дружбе», произнесенной в Дружеском Литературном Обществе 27 февраля 1801 г. Жуковский ссылается на суждение Бартеlemi о роли разума в дружеском союзе: «Разум, говорит Бартеlemi, не может быть единственным союзом в дружбе — он хочет только блистать, он не терпит ничего ни выше себя, ни наравне с собою, он разрушает его равенство, столько необходимое друзьям в непринужденном взаимном сообщении чувств своих» (Резанов. Вып. 2. С. 176). И далее, рассуждая о «сообразности характеров», которая усиливает дружбу и приучает владеть собою, Жуковский приводит в пример Дамона и Пифиаса: «В древние времена умереть за своего друга, лишиться для него чести было священной добродетелью. Тогда Пифиас радостно умирал за Дамона и боялся только того, чтобы друг его не предупредил его казни своим прибытием» (Резанов. Вып. 2. С. 177—178). Жуковский ошибочно приписывает здесь поступок Дамона Финтию.

Возможно, в библиотеке Жуковского к этому времени (1804—1806 гг.) уже имелось парижское издание сочинений Бартеlemi в двух томах 1798 г. (Описание. № 609). С сюжетом об идеальной дружбе Дамона и Пифиаса Жуковский столкнулся, по-видимому, еще раз в период своего редакторства и сотрудничества в «Вестнике Европы», когда его внимание привлекли «Прогулки Платона» Ж.-Ф. Мармонтеля. «Первую прогулку» здесь составляет история двух сиракузских друзей. Жуковский, выбирая тексты для перевода, не останавливается на ней, поскольку уже использовал этот сюжет в «Примерах слога» (см.: БЖ, III, 193). Позднее в руках писателя оказалось парижское издание «Путешествия молодого Анахарсиса в Грецию» (1824). В томах 1 и 2 содержатся его пометы, свидетельствующие об обращении Жуковского к произведению Бартеlemi уже в зрелый период своего творчества.

Данный перевод подписан: «Бартеlemi (Анахарсис)», он — полный, близкий к подлиннику. Как показывает черновая рукопись, наиболее трудным для Жуковского оказался эпизод, описывающий кульминационные события: отъезд Пифиаса,

покаявшегося возвратиться, и принятие Дамоном на себя цепей друга. Приведем здесь зачеркнутые варианты: ⟨Пифиас имел важные дела в соседнем городе, непременно был должен их кончить⟩; ⟨которые не мог оставить без окончания, просил тирана отпустить его, обещал возвратиться в назначенный день и поехал — но Дамон остался на его месте⟩; ⟨просил позволения отлучиться и поехал. Дамон остался на его месте, готовый умереть за своего друга⟩; ⟨он просил тирана отпустить его на короткое время, обещал возвратиться к назначенному дню, поехал, и Дамон остался на его месте в Сиракузах, на месте своего друга, готовый⟩.

¹ *Крез* — Крез (595—546 до н. э.) — последний царь Лидии с 560 г.

² *Солон* — Солон (между 640—635 — ок. 559 до н. э.), афинский архонт (с 594 г.), античные предания причисляли его к 7 греческим мудрецам.

³ ...*сиракузскому тирану*... — имеется ввиду Дионисий I Старший (ок. 432—367 до н. э.), тиран Сиракуз с 406 г.

Потоп

(«Для быстрых коней не осталось поприща на земле...»)
(С. 361)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 7 об. — 8) — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 520—521.

Печатается по тексту первой публикации, со сверкой по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Источник перевода — статья № 2 из «Narrations», называемая «Le Déluge» и являющаяся отрывком из «Etudes de la nature» (1783—1784) Бернарден де Сен-Пьера Ж. А. (Saint-Pierre B. de, 1737—1814 / étude 4: Réponses aux objections contre le Providence, tirées du désordre du Globe // Oeuvres complètes de B. de Saint-Pierre. Paris, 1825. V. 3. P. 171—172). Статья переведена Жуковским полностью, близко к подлиннику, подписана: «Бернарден де С.-Пьер».

Сражение при Рокруа

(«Надлежало провести ночь в виду неприятеля...»)
(С. 362)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 9—9 об. — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 521—522 (начало).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод статьи № 3 из «Narrations», которая называется «Bataille de Rocroi» и представляет собой фрагмент из «Надгробного слова принцу Конде» Ж.-Б. Боссюэ (Bossuet J.-B., 1627—1704; Oraison funebre de L. de Bourbon prince de Condé // Oraison

funebre de Bossuet. Paris, 1802. P. 232—233; это издание есть в библиотеке Жуковского, см.: Описание. № 2588). Среди французских моралистов, привлекавших к себе внимание Жуковского, начиная с первых же шагов его в творчестве, имя Боссюэ следует назвать одним из первых. Как указывает А. С. Янушкевич, «сочинения французских моралистов становятся (в начале XIX века. — *И. А.*) предметом не только чтения, оценок, но и объектом идеологической борьбы» (БЖ, III, 138). «Шишковисты» откровенно не принимали их за «щегольство выражений» (см.: *Жихарев С. П.* Записки современника. М.; Л., 1955. С. 349). «Карамзинисты» же, включая Жуковского, напротив, ценят их сочинения как «истории человеческого сердца» (К. Н. Батюшков) и как «примеры слога» (см.: *Янушкевич А. С.* Сочинения французских моралистов в восприятии В. А. Жуковского // БЖ, III, 138—178).

В. И. Резанов называет источник данного перевода («Надгробное слово принцу Конде») в литературном отношении «блестящим». Исследователь пишет: «Оратор обозревает здесь современные военные события, изображает боевые подвиги принца Конде, дает художественные характеристики тогдашних деятелей» (Резанов. Вып. 2. С. 522). Жуковский не только переводит в начале 1800-х гг. ряд фрагментов из Боссюэ для своей хрестоматии «Примеры слога, выбранные из лучших французских прозаических писателей», но и позднее, рассуждая в своих заметках 1816 г. о теории словесности, об учебе у классиков как необходимом способе обретения собственной оригинальности, он называет в качестве образцового оригинального иностранного прозаика Боссюэ. Это имя открывает список носителей образцового слога, составленный Жуковским на нижнем форзаце «Опыта риторики» И. Рижского (см.: БЖ, I, 31—34). В библиотеке поэта имеется 4-хтомное издание «Discours sur l'histoire universelle» Боссюэ (Paris, 1796), с пометами и записями владельца, еще одно, дополненное издание «Discours...» (Paris, 1845), а также «Histoire des variations des églises protestantes» (V. 1—3. Paris, 1844—1845) (см.: Описание. № 712—714).

К переводу Жуковский приступал дважды, на л. 8 об. — зачеркнутое начало текста, на л. 9 — второй черновой вариант, подписанный: «Боссюэ. Надгробное слово принцу Конде». В конечном итоге был сделан полный и близкий к подлиннику перевод.

⁴ *Сражение при Рокруа* — состоялось 19.5.1643 во время Тридцатилетней войны. В ходе сражения французская армия герцога Л. Энгиенского (французский полководец (1621—1686), с 1646 г. принц — Людовик II Конде Великий; Боссюэ рисует идеализированный портрет принца, на которого реальный Конде, отличавшийся надменностью и жестокостью, походил мало) разгромила считавшуюся непобедимой испанскую наемную пехоту.

⁵ *...нового Александра*. — Речь идет о сравнении принца Конде с Александром Македонским.

⁶ *Дефонтедь* — испанский граф де Фонтен (Фонтейн), выступил с 1-м, центральным, эшелом испанского войска против французской армии в сражении при Рокруа.

⁷ *Бек* — испанцы осуществляли военные операции вместе с немцами генерала Бека, возглавившего имперский контингент после возвращения в Германию генерала Пикколомини. Вице-король испанских Нидерландов дон Франсиско де Мелос назначил его следующим после себя по рангу командиром, возвысив над испанскими и валлонскими офицерами. Бек был компетентным офицером и стал удачным заместителем для живого и предприимчивого Мело.

⁸ ... на равнинах Ленских. — Равнина протяженностью 2500 метров, на которой произошла битва, располагалась юго-западнее Рокруа.

Дюге-Труэнь, победитель на морском сражении

(«Дюге Труэнь приближается»)

(С. 363)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 9 об. — 10 — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 523 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Статья (№ 4), которую переводит Жуковский из французской хрестоматии, называется «Combat et triomphe de Duguay-Trouin». Это отрывок из «Похвального слова Дюге Труэню» (1761) А. Тома (Thomas A. — L., 1732—1785; *Eloge de R. Duguay-Trouin // Oeuvres complètes de Thomas. Paris, 1802. V. 1. P. 116—117*). С самого начала 1800-х гг. Жуковский озабочен проблемами морального самосовершенствования, поисками своей моральной системы, с чем и связан был интерес к французским моралистам, в том числе и к Тома, автору многочисленных похвальных слов. В библиотеке поэта имеется два издания сочинений Тома (в 4-х т., Амстердам, Париж, 1773 — с пометами и записями Жуковского — и посмертное парижское издание 1802 г. в 2-х т.; см.: Описание. № 2255, 2256).

Кроме того, Тома очень рано заинтересовал Жуковского как эстетик, автор трактатов о поэзии. Раздел «Эпическая поэма» «Конспекта по истории литературы и критики» Жуковского содержит часть, озаглавленную «Томас: о Вольтеровой «Генриаде»» и представляющую собой конспект «Фрагмента об эпической поэме Вольтера», входящего в состав трактата Тома «Опыт о поэтическом языке» (это сочинение находится в т. 2 «Посмертных сочинений» Тома, которые, как уже указывалось выше, есть в библиотеке поэта). Комментаторы «Конспекта» указывают на то, что Жуковский «в основном следует логике автора» (Эстетика и критика. С. 385). В конспекте ставятся сложнейшие проблемы «поэтического языка», который, с точки зрения Тома, может «все изображать», как стихами, так и прозой. Не менее важным для Жуковского оказывается поднимаемый Тома вопрос о соотношении истории и вымысла в эпической поэме, о природе воздействия художественного произведения на читателя. Причину малого успеха «Генриады» Вольтера Жуковский, как и Тома, видит в его слоге, «быстром, приятном, образованном, гармоничном», но это «больше слог красноречивого историка, нежели эпического поэта» (Там же. С. 101).

Перевод «Дюге-Труэнь, победитель на морском сражении» полный, подписан: «Тома. Похвальное слово Дюге-Труэню», количество исправлений и зачеркиваний в рукописи невелико. Однако перевод является примером экспериментов Жуковского в области повествования. Здесь в процессе перевода произведена важная замена: «это было ужасное зрелище для сердца (Дюге-Труэня. — И. А.)» переведено «О, страшное, разительное зрелище!». В подлиннике картина гибели корабля, передаваемая безличным повествователем, служит иллюстрации мужества и в то же время чувствительности французского военачальника. Фрагмент отлича-

ется открытым дидактическим пафосом, это — моральный пример читателю. В переводе образ повествователя конкретизирован. Трагическая сцена передается глазами героя-нарратора. Отсюда психологическая точность и эмоциональная выразительность текста.

⁹ *Дюге Труэнь* — Дюге-Труэн Рене (Dugay-Trouin, 1673—1736), французский моряк, в 18 лет командовал 14-пушечным корсаром, сжег два английских корабля и овладел фортом в Ирландии, чем начался целый ряд его военных подвигов. Участвовал в войне за испанское престолонаследие, взял Рио-де-Жанейро (1711). Был искусным мореплавателем, отличался личной храбростью, захватил свыше 300 купеческих и 20 военных кораблей противника. Людовик XIV возвел его в дворянское достоинство и сделал генерал-лейтенантом морских сил Франции. Дюге-Труэну поставлен памятник в Версале.

¹⁰ «Девоншир» — в отрывке речь идет о так называемой конвойной войне, которую в 1706—1708 гг. Франция вела с Англией и Голландией, чтобы парализовать их прибрежную торговлю и таким образом добиться выхода этих государств, живущих на привозных товарах и морских перевозках, из войны вследствие разорения. В 1707 г. произошла знаменитая конвойная битва — бой у мыса Лизард (французский вариант — сражение у Уэссана). Английский караван из 100 войсковых транспортов с охраной из 50-пушечного и 54-пушечного кораблей должен был отплыть в Португалию. С ним решили отправить 30 торговых купцов из Вирджинии, идущих в Средиземное море с товарами. Охрана увеличилась на два 80-пушечных корабля: «Кумберленд» и «Девоншир», и один 76-пушечный «Ройал Оак». Этот конвой был обнаружен эскадрами Дюгэ-Труэна, который сразу же повел свой корабль на флагман конвоя — «Кумберленд», буквально протаранив его, он взял «Кумберленд» на бордаж. Был атакован и второй английский конвойный — «Девоншир», который в течение часа не допускал абордажа, однако на его корме вспыхнул пожар и вскоре «Девоншир» горел от киля до клотика. Последовал взрыв кюйт-камеры, и горящие обломки разлетелись в радиусе 300 метров.

Погребение Гиппия

(«Телемак, омыв тело Гиппия благовонными водами...»)

(С. 363)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 10 об. — 11 об. — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 523—524 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод статьи № 5 из «Narrations» под названием «Funerailles d'Hippias», являющейся отрывком из романа Ф. Фенелона «Приключения Телемака» /кн. 13/ (Fénélon F. de S. de L., 1651—1715; Les Aventures de Télémaque // Oeuvres de Fénélon. Paris, 1843. V. 3. P. 104). Среди писателей, привлечших внимание Жуковского и оказавших на него серьезное и длительное влияние, следует назвать Ф. Фенелона, прозаика, видного деятеля французского Просвещения. В библиотеке поэта имеются многие

книги Фенелона, в том числе его роман о Телемаке (в составе собрания сочинений в 22-х т., с записями и пометами владельца). Жуковский располагал также переводом «Приключений Телемака», выполненным Ф. Лубяновским (Ч. 1—2. СПб., 1839), изданием «Телемахида» В. К. Тредиаковского (Т. 1—2. СПб., 1766). Пробуждение интереса Жуковского к Фенелону и к его роману приходится на самое начало века. Уже в письме 1803 г. к А. И. Тургеневу, рассуждая о Боге, Жуковский цитирует Фенелона (ПЖТ. С. 9), а в «Роспись во всяком роде лучших книг и сочинений» 1805 г. были внесены «Приключения Телемака». В период работы над «Примерами слога» Фенелон интересует Жуковского прежде всего как автор «Телемака», где он проявил себя мастером прозаического слога. Делая примечания к статье «Фенелон, воспитатель герцога Бургонского» в «Вестнике Европы» (1809. № 4), Жуковский обращает внимание на одно из основных достоинств его прозы: «она написана языком для всех равно привлекательным». Имя Фенелона находим и в списке мастеров прозаической речи, составленном Жуковским на нижнем форзаце «Опыта риторики» И. Рижского (см.: БЖ, I, 31—34).

В конце 1820-х гг. роман Фенелона «Приключения Телемака», наряду с другими его книгами, становится для Жуковского учебником «политической педагогики». Не ослабевает интерес и к художественной стороне произведения. Ряд фактов говорит об обращении поэта к роману Фенелону в начале 1840-х гг., в период его работы над «Одиссеей» (см. об этом подробно: БЖ, I, 494—507; III, 220—249). На протяжении многих лет роман Фенелона представлял для Жуковского интерес и в плане его жанрового своеобразия. Известно, что ряд критиков, современников Фенелона, (Ж. Террассон, Ж.-Ф. Де Пон, Н.-Ш.-Ж. Трюбле) признавали его прозаический роман образцом высшего поэтического жанра — эпической поэмы (см. об этом: Русский и западноевропейский классицизм. Проза. М., 1982). Начавшийся во Франции спор о жанре «Приключений Телемака» получил свое развитие в России (см. об этом споре и об участии в нем Жуковского: БЖ, III, 240—242).

Будучи нацелен, как и другие переводы хрестоматии, на ознакомление русского читателя с образцами французской прозы XVIII века, на усвоение западноевропейской (французской) литературной традиции, перевод отличается большой степенью точности. В этом плане показательны то, как Жуковский его подписывает: «Фенелон» (подробнее о характере перевода и его правке см.: БЖ, III, 228—230).

**Дюге Труэнь с одним судном уходит
от двадцати английских военных кораблей**
(«Ужасная опасность ожидает Дюге Труэня...»)
(С. 365)

Автограф: РНБ. Оп. I. № 16. Л. II об. — черновой, первоначальное название: «Дюге Труэнь с одним кораблем избавляется от двадцати (одного) английских военных кораблей, его окружавших».

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 524—525 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод статьи № 6 из «Narrations», называющейся «Duguay-Trouin enveloppé, avec un seul bâtiment, par vingt-un vaisseaux de guerre ennemis, leur echange» и представляющей собой фрагмент из «Похвального слова Дюге Труэню» (V. I. P. 112—113) А. Тома (см. комментарий к статье «Дюге-Труэнь, победитель на морском сражении»). Перевод достаточно точный и полный, подписан: «Тома. Похвальное слово Дюге-Труэню». В рукописи зачеркнуты лишь отдельные слова.

Бегание, колесничное ристание и борьба на Олимпийских играх

(«Судьи сели по местам»)

(С. 365)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 12—14 об. — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 525 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Источник перевода — отрывки из гл. 38 «Путешествия молодого Анахарсиса в Грецию» Ж.-Ж. Бартеlemi (V. 3. P. 478—479, 507, 511—512; см. комментарий к статье «Дружба или Дамон и Пифиас»). Жуковский в своем переводе идет строго за составителями французской хрестоматии, где статья называется «La source à pied, la source des chars et la lutte dans les jeux solennels de la Grèce». Статья Жуковского, как и в «Leçons», делится на три части, две последние так же, как в источнике перевода, имеют свои названия («Ристание колесниц» и «Борьба», ср. в «Leçons» — «Course des chars» и «La lutte»). Жуковским опущено название первой части «La source à pied». Возможно, текст первоначально не предполагалось делить на части. В целом перевод точный и полный. Зачеркиваний немного, как правило, они состоят из одного-двух слов. Другой вид правки — изменение места того или иного слова в предложении. Перевод подписан: «Бартеlemi. Анахарсис».

¹¹ *Ристание* — турнир (от устар. глагола «ристать» — бегать, скакать, ездить, бороться и т. д.).

¹² *Герольд* — в Западной Европе в Средние века глашатай, церемониймейстер при дворах королей и крупных феодалов, распорядитель на торжествах, рыцарских турнирах и т. д.

¹³ *Пор Киренейский* — из Кирены, крупнейшего греческого города (7 в. до н. э.).

¹⁴ *...всю длину стади.* — Бег на стадию (греч. στάδιον, лат. stadium) — бег с одного конца стадиона до другого на дистанцию в одну олимпийскую стадию (192 м). Первый и единственный вид состязаний с I-й по 13-ю Олимпиаду (724 до н. э.). С бега на стадию начинались соревнования среди взрослых, затем соревновались в двойном беге. Двойной бег (греч. δίαυλος, diaulos) — бег на две стадии (384 м). Атлеты пробегают стадион, поворачивают вокруг столба и возвращаются назад к старту. Добавлен в Олимпийские состязания на 14-й Олимпиаде в 724 до н. э. Долгий бег (греч. δολιχος, dolichos) — бег на 7 стадий (1344 м). Атлеты, пробегая стадию, разворачивались вокруг столба на одном конце стадиона, затем бежали

стадию назад и разворачивались вокруг другого столба. Добавлен в Олимпийские состязания на 15-й Олимпиаде в 720 до н. э. Длина дистанции менялась в разные годы от 7 до 24 стадий (до 4608 м).

Тишина посреди океана

(«Десять раз всходило и заходило солнце...»)

(С. 367)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 14 об. — 15 — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 526 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод статьи № 9 из «Narrations» («Le calme au milieu de l'Océan»), являющейся отрывком (V. 1. Ch. 22) из романа Ж.-Ф. Мармонтеля (Marmontel J.-F., 1723—1799; «Les Incas» (1777) // *Oeuvres complètes de Marmontel*. Paris, 1787. V. 9. P. 296—299). Французский моралист, участник «Энциклопедии», известный в свое время писатель и теоретик литературы, Мармонтель был хорошо известен Жуковскому. В «Росписи во всяком роде лучших книг и сочинений, из которых большей части должно сделать экстракты» (РНБ. Оп. 1. № 79) имя Мармонтеля встречаем в нескольких разделах (Эстетика. Грамматика. Риторика. Пиитика. Критика). Работая над «Конспектом по истории литературы и критики», Жуковский ссылается на Мармонтеля в вопросах, касающихся того, «что такое поэт, каков должен быть поэт, его науки (...) роды лирической поэзии» (БЖ, II, 36—37). Большой интерес был проявлен Жуковским в период своего самообразования к Полному собранию сочинений Мармонтеля, когда с карандашом в руках были прочитаны «Элементы литературы», «Велисарий», «Прогулки Платона в Сицилии» и др. (*Oeuvres complètes de Marmontel*. V. 1—17. Paris, 1787—1788; см. об этом: БЖ, II, 35—74; III, 183—219). Переводы из хрестоматии свидетельствуют об интересе Жуковского к Мармонтелю и в связи с проблемами прозаического слога. К переводу прозы Мармонтеля, его «Прогулок Платона в Сицилии», Жуковский обратится позднее, в период своего редакторства и сотрудничества в «Вестнике Европы».

Перевод «Тишина посреди океана» — полный и точный, подписан: «Мармонтель. Инки».

Приближение и ужас урагана в Иль-де-Франс

(«Пламенное лето, которое бывает так ужасно...»)

(С. 368)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 15 об. — 6 — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 527 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Статья из «Narrations» (№ 10, под названием «Symptômes et ravages d'un ouragan à l'Île-de-France»), переведенная Жуковским для своей хрестоматии, представляет собой соединенные вместе три отрывка из повести Б. де С.-Пьера «Поль и Виргиния» (1788) (Paul et Virginie, par B. de Saint-Pierre. Lpz., 1845. P. 43—45). Перевод близок к подлиннику, подписан: «Бернарден де С. Пьер. Павел и Виргиния». В тексте много исправлений, свидетельствующих, прежде всего, о стремлении Жуковского к эмоциональности и выразительности слога, к стилистическому единству и вместе с тем к смысловой точности каждого слова, к «правильному» с точки зрения русского языка и «приятному» звучанию фразы. Для примера приведем здесь небольшой фрагмент перевода со всеми исправлениями: «Пламенное лето, которое бывает так ужасно в сторонах, ⟨лежащих⟩ между тропиками лежащих, здесь явило⟨сь⟩ ⟨со⟩ все⟨м⟩ сво⟨им⟩ е могущество⟨м⟩ при конце декабря в то время, ⟨в которое⟩ когда солнце, вступивши в знак Козерога, ⟨бросает на Иль-де-Франс несколько⟩ целые три недели ⟨освещало⟩ палило Иль-де-Франс вертикальными лучами; ⟨...⟩ стада, поверженные на ⟨скатах⟩ ⟨горах⟩ холмах, ⟨с трудом вдыхали⟩ вбирали в себя воздух и наполняли долины печальным блеснением: сам каффр, неугомонный их пастырь, ⟨который пас их, был простерт⟩ простертый на земле, искал ⟨в ней⟩ в ее недрах прохлады». В окончательном варианте исправлены такие синтаксические конструкции, как «пастырь, который пас», «в то время, в которое», использована поэтическая и вместе с тем, более точная в смысловом отношении лексика, инверсия.

¹⁵ *Иль-де-Франс* — историческая провинция во Франции.

¹⁶ *Кафр* — от араб. «кафир» — неверный, неверующий, т. е. не мусульманин, название, данное европейскими колонизаторами южно-африканскому народу банту.

Сон Марка Аврелия

(«Я размышлял о телесных и душевных страданиях...»)

(С. 369)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 16—16 об. — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 528 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Источник перевода Жуковского — статья (№ 11) из французской хрестоматии (раздел «Narrations») «Songe de Marc-Aurèle» — является фрагментом из «Похвального слова Марку Аврелию» А. Тома («Eloge de Marc-Aurèle» // Oeuvres complètes de Thomas. Paris, 1802. V. 2. P. 19—21). Марк Аврелий — фигура, привлекавшая внимание Жуковского, начиная с 1800-х гг., прежде всего как идеальная личность, образец нравственного совершенства. Имя Марка Аврелия вошло в список выдающихся греческих и римских поэтов, историков, философов, ораторов, который был составлен Жуковским на нижней обложке книги И. И. Эшенбурга «Handbuch der klassischen Literature» (Berlin, 1792), когда он читал ее, работая над «Конспектом по истории литературы и критики». Данный перевод в этом плане встает в один ряд

с такими немаловажными фактами творческой биографии Жуковского, как чтение в указанный период «Мыслей императора Марка Аврелия» (*Pensées de l'empereur Marc Aurèle — Antonin*. Paris, 1803; личная книга поэта содержит множество помет), открытие первого же номера изданного Жуковским «Вестника Европы» портретом Марка Аврелия и помещением далее отрывка из Гиббона «Характер Марка Аврелия», в котором акцент делается на «добродетели строгой и деятельной», «способности покорять тело душе и страсти рассудку, почитать добродетель единственным благом, порок единственным злом» (ВЕ. 1808. № 1. С. 41—42). Интерес к Марку Аврелию как к идеальному монарху возникнет у Жуковского в 1820—1830-е гг., когда он займется придворно-педагогической деятельностью, вопросами о правах и обязанностях государя. Отбирая статьи для перевода в «Собиратель», Жуковский обратится к «Зеркалу для князей» И. Я. Энгеля. На верхнем форзаце книги он запишет среди произведений Энгеля «Похвальное слово Марку Аврелию» Тома (См.: БЖ, I, 482—491).

Перевод, выполненный для хрестоматии как «стилистическое упражнение» (Резанов) — полный и точный, подписан: «Тома. Похвальное слово Марку Аврелию» (см. комментарий к статье «Дюге-Труэнь, победитель на морском сражении»).

¹⁷ *Регул* — римский полководец (Regulus, ? — ок. 248 г. до н. э.)

¹⁸ *Фабриций* — Гай Фабриций (Fabricius) Лусцин (III в. до н. э.), римский полководец, воевал против эфирского царя Пирра прославился своею строгой справедливостью и благородством. Когда Публий Корнелий, считавшийся человеком жадным и вороватым, однако же храбрцом и хорошим полководцем, благодарил Гая Фабриция за то, что тот, его враг, выдвинул его в консулы, да еще во время большой и тяжелой войны, Фабриций сказал: «Нечего тебе меня благодарить, просто я предпочел быть ограбленным, чем проданным в рабство». Когда Фабрицию послал эфирцев Киней давал в дар большое количество золота, он не взял его, сказав, что предпочитает повелевать владеющими золотом, чем владеть им.

¹⁹ *Сципион* — Публий Корнелий Сципион Африканский Старший (Publius Cornelius Scipio Africanus Major, ок. 235 — ок. 183 до н. э.), полководец и государственный деятель времен 2-й Пунической войны. В 190 г. Сципион Африканский в качестве легата своего брата Луция, избранного консулом для войны с сирийским царем Антиохом III, отправился в Малую Азию. Он немало сделал для победы, хотя в решающем сражении у Магнесии ему участвовать не довелось из-за болезни. По возвращении в Рим политические противники Сципионов начали кампанию по их дискредитации. Луций Сципион, получивший за победу над Антиохом III прозвище Азиатского, был привлечен к суду за утаивание денег из добычи и признан виновным. В 185 г. обвинение в получении крупной взятки от Антиоха III было предъявлено и Сципиону Африканскому. Не доводя дело до суда, он удалился в добровольное изгнание в Литерн, где и умер в 183 г.

²⁰ *Эпиктет* — римский философ-стоик, раб, позднее вольноотпущенник (Epictetus, ок. 50 — ок. 140 г.).

²¹ *Сенека* — Сенека (Seneca) Луций Анней (ок. 4 до н. э. — 65 н. э.), римский политический деятель, философ и писатель, воспитатель Нерона, покончивший жизнь самоубийством по его приказу.

²² *Фразей* — в царствование Нерона сенатор Фразей Пет (ум. в 66 г. н. э.), по сознанию современников — воплощенная добродетель, принужден был вскрыть себе вены, так как был обвинен, что никогда не приносил жертв за благоденствие

государя, или за его небесный голос, не верил в божественность Помпеи. По другим источникам, он, в знак осуждения действий Нерона, перестал посещать заседания сената и был осужден на смерть и казнен как участник заговора.

²³ *Катон* — Катон Младший (или Утический, 96—46 до н. э.), в Др. Риме республиканец, противник Цезаря, сторонник Гнея Помпея. После победы Цезаря в 46 г. при Тапсе над приверженцами Помпея покончил с собой.

Тиранство и доносы в Риме

(«Жестокость являлась под видом справедливости...»)

(С. 369)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 16 об. — 17 — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 529 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод статьи № 12 из «Narrations» («La tyrannie et les délations à Rome»), которая, как и предыдущая статья «Сон Марка Аврелия», является отрывком из «Похвального слова Марку Аврелию» А. Тома. Он подписан: «Тома. Похвальное слово Марку Аврелию» (см. комментарий к предыдущей статье).

Падение Протезилая

(«Эгзипп пошел в Протезилаев дом...»)

(С. 370)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 17 об. — 18 — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 529—530 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Статья № 13 «Disgrace de Protèsilas» из «Narrations», которую перевел Жуковский для своих «Примеров слога», является отрывком из «Приключений Телемака» Ф. Фенелона (кн. XI; Oeuvres de Fénelon. Paris, 1843. V. 3. P. 82). Перевод тематически продолжает два предыдущих, будучи посвящен проблеме соотношения власти и добродетели. Текст подписан: «Фенелон. Телемак». О характере перевода и правке см.: БЖ, III, 225—231. См. также комментарий к статье «Погребение Гиппия».

Клазомен, или Страждущая добродетель

(«Клазомен испытал все бедствия человечества»)

(С. 371)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 18 — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 530—531.

Печатается по первой публикации со сверкой по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод статьи № 14 из «Narrations» («Clazomène ou la vertu malheureuse»), представляющей собой гл. 9 «Характеров» Л. Вовенарга (Vauvenargues L. de C., 1715—1747; *Vauvenargues L. de C. Caractères // Oeuvres complètes de Vauvenargues*. Paris, 1806. V. 1. P. 227—228). Как указывает исследователь, чтение Жуковским «Лицея» Ж. Ф. Лагарпа в период «белевского уединения» (в частности, т. 15, где Лагарп рассматривает труды Вовенарга) следует считать его «первым основательным и систематическим знакомством с французской философией XVII—XVIII веков. (...) в процессе чтения уже наметились некоторые проблемы (...), заставившие его впоследствии обратиться к трудам Дюкло, Вовенарга, Ларошфуко, Кондильяка и др.» (БЖ, II, 84). В 1806—1807 гг. Жуковский читает «Характеры» Вовенарга «в атмосфере подъема лирического творчества (...) и подготовки к редакторской деятельности в «Вестнике Европы» (БЖ, I, 8), в связи с интересом к проблемам морали и психологии человека, что, в свою очередь, было обусловлено эстетическими, художественными поисками писателя (о чтении Жуковским Вовенарга, в том числе и «Характеров» см.: БЖ, III, 158—179). В своем переводе из «Характеров» Жуковский, как указывает исследователь, «точно следуя автору, раскрывает своеобразную драму страждущей добродетели, силу человека в борьбе с обстоятельствами. Мотив “самостояния человека”, столь важный для всего творчества Жуковского, получает в этом переводе первоначальное осмысление» (подробнее об особенностях перевода «Клазомен, или Страждущая добродетель» см.: БЖ, III, 161—162). Перевод подписан: «Вовенарг».

²⁴ *Клазомен* — Анаксагор из Клазомен (др.-греч. Ἀναξαγόρας, ок. 500 до н. э. — 428 до н. э.) — древнегреческий философ, математик и астроном, основоположник афинской философской школы.

Затмение солнца в Перу

(«Светило, божество сего климата...»)

(С. 371)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 18 об. — 19 — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 531—532 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод статьи № 15 из «Narrations» («L'éclipse du soleil au Pérou»), представляющей собой еще один фрагмент из романа Ж.-Ф. Мармонтеля «Инки» (V. 2. Ch. 35 // *Oeuvres complètes de Marmontel*. Paris, 1787. V. 12. P. 57—59). См. комментарий к статье «Тишина посреди океана».

Перевод близок к подлиннику, подписан: «Мармонтель. Инки».

²⁵ *Город Кито*... — имеется в виду Кито (исп. *San Francisco de Quito*) — ныне столица, а также политический, экономический и культурный центр Эквадора, назван по наименованию древнего индейского племени *киту*. Кито был построен в конце I тысячелетия н. э. и являлся столицей индейского государства Киту. В XV в. он был завоеван инками. Кито расположен на высоте 2800 м над уровнем моря в окружении заснеженных вершин вулканов.

²⁶ *...город солнца Куско*... — ныне — крупный город в Перу, в древности *Куско*, расположенный в *Священной Долине* реки *Урубамба*, был столицей империи инков и считался центром Вселенной. Название города переводится с языка индейцев *кечуа* как «пуп Земли». Он действительно был таковым в период наивысшего расцвета империи инков, которая пять столетий назад управляла большей частью южноамериканского континента.

Несчастья 1709 года и человеколюбие Фенелона

(«Оно еще не изгладилось из памяти нашей...»)

(С. 372)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 19 об. — 20 — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 532 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод статьи № 16 из «Narrations» («Les fleaux de 1709, l'humanité de Fénelon»), которая является фрагментом из «Похвального слова Фенелону» Ж. Ф. Лагарпа (*La Harpe J.-F.*, 1739—1803; *La Harpe J.-F. Eloge de F. de S. de la Motte- Fénelon // Oeuvres de m-r La Harpe revues et corrigées par l'auteur. Yverdon, 1777. V. 2. P. 67—68*). Фенелон, привлекая Жуковского как прозаик, мастер прозаического слога, очень рано заинтересовал его и как личность, идеал добродетельного человека, посвятившего свою жизнь служению обществу. Это видно из намерения начинающего поэта перевести биографию Фенелона (см.: Резанов. С. 255) и из дошедших до нас переводов из «Похвального слова Фенелону» Лагарпа (в «Примеры слога» вошли два фрагмента из него). Позднее, будучи редактором «Вестника Европы», Жуковский помещает в одном из его номеров (1809. № 4) статью «Фенелон, воспитатель герцога Бургонского», к которой делает свои примечания. Выделяя два аспекта деятельности французского писателя (просветительско-педагогическую и художественную), Жуковский подчеркивает его популярность в России, заслуженную им «как деятельностью для блага людей, так и искусством изображать свои мысли и чувства». Еще позднее в библиотеке Жуковского появится книга Л.-Ф. Боссэ «История Фенелона, архиепископа из Камбре» (т. 1—4, Версаль, 1817; см.: Описание. № 613). Что касается автора «Похвального слова Фенелону», Ж. Ф. Лагарпа, то здесь следует отметить весьма примечательный факт: работе над «Примерами слога» предшествовало штудирование «Лицея» Лагарпа, имя которого фигурировало в «Росписи», составленной чуть ранее, в нескольких разделах. Кроме «Лицея» в «Росписи» значатся переписка Лагарпа и полное собрание его сочинений (в разделе «Поэзия»). Свои отзывы о Лагарпе Жуковский оставляет в статье 1809 г. «О критике», а также в письмах А. И. Тургеневу 1800-х гг. См. о Жуковском и Лагарпе: БЖ, II, 75—96, а также: Эстетика и критика. С. 381—386.

Перевод «Несчастье 1709 года и человеколюбие Фенелона» — полный и достаточно близкий к подлиннику, подписан: «Лагарп. Похвальное слово Фенелону».

²⁷ *Несчастья 1709 года...* — речь идет о войне за Испанское наследство (1701—1714) — крупном европейском конфликте, начавшемся в год после смерти последнего испанского короля из династии Габсбургов, Карла II. Карл завещал все свои владения Филиппу, герцогу Анжуйскому — внуку французского короля Людовика XIV — который впоследствии стал Филиппом V Испанским. Война началась с попытки императора Священной Римской империи Леопольда I защитить право своей династии на испанские владения. Когда же Людовик XIV начал более агрессивно расширять свои территории, некоторые европейские державы выступили на стороне Священной Римской империи, чтобы воспрепятствовать усилению Франции. Другие государства присоединились к союзу против Франции и Испании, чтобы попытаться заполучить новые территории или же защитить уже имеющиеся. Война длилась более десятилетия. В 1709 г. союзники попытались осуществить три наступления на Францию, два из которых были незначительными, служившими для отвлечения внимания. Более серьезное наступление организовали Мальборо и Евгений, продвигавшиеся к Парижу. Они столкнулись с войсками герцога Виллара в битве при Мальплаке (11 сентября 1709 года), самом кровавом сражении войны. Битва стала поворотной точкой войны, поскольку несмотря на победу у союзников из-за огромных потерь не осталось сил продолжать наступление. Тем не менее общее положение франко-испанской коалиции казалось безнадежным: Людовик XIV вынужден был отозвать из Испании французские войска, и Филипп V остался лишь со слабой испанской армией против объединенных сил коалиции.

Буря и змеяная пещера в Перу

(«Грозный отдаленный шум предшествует...»)

(С. 373)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 20—21 об. — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 533 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод статьи № 17 из «Narrations» — «Lorage et la caverne des serpents au Perou», которая является отрывком из романа Ж. Ф. Мармонтеля «Инки» (Т. 1. Гл. XX) // *Oeuvres complètes de Marмонтel*. Paris, 1787. V. 11. P. 266—271. См. комментарий к статье «Тишина посреди океана». Перевод подписан: «Мармонтель. Инки».

Извержение вулкана

(«Внезапно тишина ночи прерывается...»)

(С. 374)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 21 об. — 22 — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 533—534 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Источник перевода Жуковского — статья из «Narrations» № 18 («L'éruption d'un volcan et ses ravages») — является отрывком из сочинения Б.-Ж.-Э. Ласпеда (Lacépède B.-J.-E., 1756—1825) «La poétique de la musique» (Paris, 1781—1785. V. 1. Ch. 1 «De l'origine de la musique». P. 25—27). К Ласпеду, его трудам по естественным наукам Жуковский обратился в связи с замыслом поэмы «Весна» в начале 1805 г., когда он, будучи заинтересован эмпирическими знаниями о природе, читает наряду с Томсоном, Клейстом и французских натуралистов (кроме Ласпеда) Бюффона, Бонне (см.: БЖ, I, 331—346). В библиотеке поэта имеется «Натуральная история яйцеродных животных и пресмыкающихся» Ласпеда, в 10-ти томах (Париж, 1799) с пометами владельца во всех томах, его же «Натуральная история рыб» в 10-ти томах (Париж, 1799), тоже с пометами Жуковского. Позднее поэтом были приобретены т. 3 и 4 «Краткой натуральной истории» Бюффона и Ласпеда с раскрашенными литографиями, изданной П. Лакруа (Париж, 1844). Так что ко времени работы над «Примерами слога» Жуковский, по-видимому, имел достаточное представление о Ласпеду и его сочинениях. В своих переводах из Ласпеда он пытается точно и полно воспроизвести вслед за автором «поэзию природы». В них очень широко применены поэтические выразительные средства: эпитеты, сравнения, метафоры, рождающиеся у Жуковского в процессе перевода. Приведем некоторые примеры из данного перевода и их соответствия в подлиннике: «море надулось, вскобалось и ударило в берега» («la mer dirige ses vagues vers le rivage»), «земля содрогнулась» («la terre tremblait»), «гора с треском разверзается» («la montagne s'ouvrit avec force»), «пламенный столб стремится из жерла ее (горы. — И. А.)» («la montagne jete en haut une colonne ardente»), «камни сыплются градом» («les rochers volent de tous côtés») и др. Среди употребляемых переводчиком тропов и калькированные слова и выражения, и такие, которые принято называть отступлениями от подлинника. Здесь образная лексика, которая входит в контекст, уже имея свою традиционную экспрессивность, и такая, которая отличается сочетанием узнаваемого и неожиданного, условного и неповторимо индивидуального. Усиление лиризма, между тем, не исключает внимания к элементам сюжета, позволяющим Жуковскому акцентировать внимание на важнейшей для себя проблеме: человек и природа, вечное противостояние человека природным стихиям. Перевод «Извержение вулкана» подписан: «Ласпед. Поэзия Музыки».

Зараза в Афинах

(«Никогда язва сия не опустошала...»)

(С. 375)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 22—23 — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 535 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод статьи из «Narrations» (№ 19) — «La peste d'Athènes», представляющей собой отрывок из первого тома романа Бартеlemi «Путешествие молодого Анахарсиса в Грецию» (*Barthélemy J. J. Voyage du jeune Anacharsis en Grèce*. Paris, 1804. Introduction au voyage, part. II, sect. III, p. 500—505). Перевод подписан: «Бартеlemi (Анахарсис)», он — полный, близкий к подлиннику, его правка незначительна. См. комментарий к статье «Дружба, или Дамон и Пифиас».

²⁸ *Артаксеркс* — Артаксеркс I Долгорукий, царь государства Ахеменидов в 465—424 гг. до н. э.

²⁹ *Акрон* — в VI—V вв. до н. э., по мнению Геродота, существовали две крупные медицинские школы — киренская (в греческой колонии в Африке) и кротонская, основоположником которой был Пифагор. В перечне десяти самых известных врачей V в. до н. э. названы почти исключительно пифагорейцы, и лишь один из них, возможно, принадлежит другой школе — это Акрон из Агригента, прославившийся сочинением «О диете здоровых».

³⁰ *Перикл* — Перикл (ок. 490—429 г. до н. э.), афинский стратег, вождь демократической группировки, руководитель ряда военных кампаний во время Пелопоннесской войны. Умер от чумы.

Смерть Марка Аврелия

(«Кто из вас, о, граждане Рима...»)
(С. 376)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 23 об. — 24 — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 536 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод статьи № 20 из «Narrations» под названием «La morte de Marc-Aurèle», являющейся фрагментом из «Похвального слова Марку Аврелию» А. Тома («Eloge de Marc-Aurèle» // *Oeuvres complètes de Thomas*. Paris, 1802. V. 2. P. 47—50). Перевод полный, подписан: «Тома. Похвальное слово Марку Аврелию». См. комментарий к статье «Сон Марка Аврелия».

³¹ *Вечные врата Рима в третий раз увлекли его в Германию*. — В 178 г. Марк Аврелий возглавил поход против германских племен, которые вторглись в римские владения на Дунае, и ему удалось добиться больших успехов, но римские войска настигла эпидемия чумы. 17 марта 180 года Марк Аврелий скончался от чумы в Виндобоне на Дунае.

³² *Аполлоний* — вероятно, имеется в виду Аполлоний Тианский (1 в. н. э.) — легендарный философ-неопифагореец.

³³ *Комод* — Коммод (Commodus, 161—192), римский император с 180 г., преемник власти Марка Аврелия.

Смерть Тюреня
(«Тюрень умирает...»)
(С. 377)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 24 — черновой.
При жизни Жуковского не печаталось.
Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 536—537 (начало и конец).
Печатается по автографу.
Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод статьи № 21 из «Narrations» («Morte de Turenne»), которая является фрагментом из «Надгробного слова Тюреню» В. Флешье (Flequier V.-E. (1632—1710). Oraison funèbre de très-haute et très-puissant prince Henry de la Tour d’Auvergne, vicomte du Turenne, prononcée à Paris le 10 Janvier 1676 // Recueil des oraisons funèbres prononcées par messir Esprit Flequier. Paris, 1740. P. 194—196). В библиотеке Жуковского имеется более позднее издание этой книги (в двух томах, Париж, 1802). Перевод полный, подписан: «Флешье. Надгробное слово Тюреню».

³⁴ *Тюрень* — Тюренн А. де Ла Тур д’Оверн (Turenne, 1611—1675), маршал Франции, одержал ряд крупных побед над баварскими и имперскими войсками.

Первый человек в первые минуты бытия своего
(«И теперь еще помнят сию минуту...»)
(С. 377)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 24 об. — 27 об., л. 27 — чистый — черновой.
При жизни Жуковского не печаталось.
Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 537—539 (начала абзацев и конец).
Печатается по автографу.
Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Переведенная Жуковским статья № 22 из «Narrations» — «Le premier homme fait l’histoire de ses premiers mouvements, ses premières sensations, ses premiers jugements, après la creation» — это отрывок из «Histoire naturelle» (Paris, 1799—1809. Matières générales. V. XX. P. 51) Ж.-Л. Л. Бюффона (Buffon G.-L. L., 1707—1788). Все 56 томов «Натуральной истории» Бюффона есть в библиотеке Жуковского, во многих из них — пометы владельца. Как и Ласепед, Бюффон привлекает внимание Жуковского в связи с его замыслом поэмы «Весна». «(...) будущий поэт-романтик (...) с жадностью изучает природу, каждую ее клетку, стремится осмыслить место каждого, даже самого примитивного явления в системе мира», — справедливо пишет Ф. З. Канунова (БЖ, I, 336). Наибольший интерес проявляет Жуковский к тому, какое место занимает человек в этой системе, каковы точки его сближения и отталкивания с другими живыми существами и неживыми явлениями природы. Этой проблеме и посвящен комментируемый перевод, который выполнен полно и точно. Он подписан весьма показательно: «Бюффон. О человеке» (ср. с тем, как подписан фрагмент в «Leçons»: «Buffon. Histoire naturelle de l’homme»).

⟨Картины⟩

Раздел «Tableaux» в «Leçons» состоит из 30 текстов. Из них, судя по оглавлению, в «Примеры слога» должны были войти 22 статьи (1—14, 17, 21, 22, 24, 25—27, 30), статьи № 15, 16, 18, 20 были внесены и вычеркнуты Жуковским из оглавления («Огнедышущая гора в Квито» (Мармонтель), «Падение Ниагары» /Шатобриан/, «Сельский патриарх при захождении солнца» (Ррейрак), «Простая и счастливая жизнь обитателей острова Крита» (Фенелон)), остальные не были введены в оглавление раздела изначально. Название раздела зачеркнуто. Из задуманного переведено было 14 статей. Перевод статьи № 15 («Огнедышущая гора в Квито»), вычеркнутый из оглавления, все же был начат, но не окончен и перечеркнут. Остальное, по-видимому, и не переводилось, во всяком случае, в оглавлении названия статей, начиная с № 16 и до конца (кроме «Темпейской долины» (Бартелеми)), перечеркнуты.

⟨Достоинство человека, возвышенность его природы⟩

(«Мужчина имеет силу, величество...»)

(С. 380)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 28—28 об. — черновой, название зачеркнуто.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 540—541 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Статья в «Tableaux» называется «Dignité de l'homme, excellence de sa nature» и является фрагментом из «Натуральной истории» Бюффона. Перевод этой статьи в «Примерах слога» выполнен полно и точно, подписан: «Бюффон. Натуральная история». Позднее Жуковский сделал еще один перевод начала этого фрагмента и поместит его в «Собирателе» (№ 2. С. 1—2) под названием «Человек», где в финале, представляющем собой не вошедший в «Примеры слога» отрывок из «Натуральной истории», будет поднята проблема общественной природы человека. В связи с этим изменится пафос всей статьи, она окажется выстроенной на контрасте общественного и индивидуального начал в человеке, причем акцент, в соответствии с задачами альманаха, будет сделан именно на том, что «человек один ничто; его могущество заключается в его общезитии: оно пробудило его способности, усовершенствовало его ум, соединило его силы; без него человек был бы самое дикое и в то же время самое беспомощное творение» (Собиратель. № 2. С. 1—2). См. также комментарий к статье «Первый человек в первые минуты бытия своего».

Происхождение человеческой деятельности

(«Нужды производят человеческую деятельность...»)

(С. 380)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 28 об. — 29 — черновой, с первоначальным заглавием: «Начала и пружины человеческой деятельности», которое было зачеркнуто.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 541 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод статьи из «Tableaux» под названием «Origine et mobiles de l'activité et de l'industrie humaine», которая представляет собой фрагмент из «Путешествия в Египет и Сирию» (1783—1785) С.-Ф. Вольнея (Volney C.-F. de Ch., 1757—1820; *Voyage en Egypte et en Syrie, par Volney. Paris, 1823. V. III. Ch. XIX. P. 182*). В полном соответствии с измененным названием статьи Жуковский сосредоточен в ней на проблеме происхождения человеческой деятельности и усложнения ее мотивов по мере духовного развития личности. Безусловно, Вольней не мог не привлечь Жуковского и как блестящий стилист. Много позднее в библиотеке поэта появится книга Шлейермахера «De l'influence de l'écriture sur le langage» (Darmstadt, 1835), получившая приз, установленный Вольнеем. Перевод подписан: «Вольней. Путешествие в Сирию».

Смерть Сократа

(«Смерть добродетельного сама по себе возносит...»)

(С. 381)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 29—29 об. — черновой, с первоначальным названием «Добродетельный в несчастье», которое было ззачеркнуто.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 541—542.

Печатается по первой публикации со сверкой по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Статья из «Tableaux» под названием «Le juste opprime, ou la mort de Socrate», переведенная Жуковским для «Примеров слога», является отрывком из гл. 8 («De Platon considéré comme panégyriste de Socrate») «Очерка о похвальных словах» (1773) А. Тома («Essai sur les éloges» // *Oeuvres complètes de Thomas. Paris, 1802. V. 3. P. 68*). Фрагмент в несколько строк — типичный образец «стилистического упражнения» Жуковского. Возможно, именно малый объем отрывка заставил Жуковского отказаться от двойного длинного названия, который предлагался составителями французской хрестоматии. Перевод подписан: «Тома. Опыт о похвальных словах».

³⁵ *Сократ* — (470/469—399 г. до н. э.) — древнегреческий философ, был обвинен в «поклонении новым божествам» и «развращении молодежи» и казнен (принял яд цикуты).

Сюлли, удалившийся от двора

(«История изображала мудрецов...»)

(С. 381)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 29 об. — 30 — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 542—543 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод статьи из «Tableaux» («Sulli loin de la cour»), являющейся фрагментом из «Похвального слова герцогу Сюлли» А. Тома («Eloge de Maximilien de Béthune, duc de Sully» // *Oeuvres complètes de Thomas*. Paris, 1802. V. 1. P. 203—204). Перевод полный, подписан: «Томас. Похвальное слово герцогу Сюлли». В начале 1800-х гг. «Похвальное слово герцогу Сюлли», безусловно, интересует Жуковского как образец прозаического слога, а фигура Сюлли как пример высоконравственного человека. В период между 1814 г. и 1815 г., читая изложение трактата де Сен-Пьера «О вечном мире» и «Суждение» Ж.-Ж. Руссо о нем, Жуковский отметит двойным отчеркиванием рассуждение Руссо о том, что первым автором проекта вечного мира следует считать Генриха IV и его советника Сюлли, которые в представлении женеvского мыслителя отнюдь не были ни сумасшедшими, ни фантазерами. Однако попытку аббата де Сен-Пьера возродить систему, предложенную Генрихом IV и Сюлли, Руссо считает невозможной, поскольку изменились и времена, и обстоятельства (см.: БЖ, III, 68). Здесь уже очевиден интерес Жуковского к Сюлли как к советнику короля и соавтору его проекта. Именно этот аспект интереса к Сюлли будет проявлен и позднее. В процессе подготовки к изданию «Собирателя» Жуковский обратится к книге Энгеля «Зеркало для князей», в которой сделает большие отчеркивания мест, посвященных проблеме роли советников в государстве. В частности, он выделит пример из истории отношений Генриха IV и его советника Сюлли, осмысление которого вызовет у Жуковского ряд вопросов, проявляющих его общественные интересы и позиции. На полях книги Жуковский запишет: «От чего государи не любят советов? От ложного стыда? От лени? От невыг(одного) мнен(ия) о себе? От (испуга) (нрзб.) Признать свои слабые свойства?» (см. об этом: БЖ, I, 486).

³⁶ Сюлли — Сюлли М. де Бетюн, барон Рони, герцог (Sully, 1560—1641).

³⁷ ...*Генриха и его министра...* — в 1599—1611 гг., при правлении Генриха IV, находившегося во главе Франции с 1594 г. (фактически) по 1610 г., Сюлли был сюринтендантом (министром) финансов.

Скромность Тюренья

(«Кто сделал столько великого...»)

(С. 382)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 30 — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 543 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод статьи из «Tableaux» («Modestie de Turenne»), представляющей собой еще один отрывок из «Надгробного слова Тюренью» Флешье (*Oraison funèbre de*

très-haute et très-puissant prince Henry de la Tour d'Auvergne, vicomte du Turenne, prononcée à Paris le 10 Janvier 1676 // Recueil des oraisons funèbres prononcées par messir Esprit Flechier. Paris, 1740. P. 173—175). Перевод полный, близкий к подлиннику, подписан: «Флешье. Надгробное слово Тюреню». См. комментарий к статье «Смерть Тюреня».

Тюрень в минуту сражения и побед

(«Бывают случаи, когда человеческая душа...»)

(С. 382)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 30 об. — 31 — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 544 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Еще одна статья, посвященная Тюреню, в «Leçons» так и называется «Même sujet». Жуковский при переводе сам подбирает ей название. Первоначально оно было следующим: «Тюрень, победитель, умиленный пред Богом». Это заглавие было зачеркнуто. Данная статья является отрывком из «Надгробного слова Тюреню» Ж. Маскарона (Mascaron J. de, 1634—1703); Oraison funebre de très-haute et très-puissant prince Henry de la Tour d'Auvergne, vicomte du Turenne, prononcée en 1675 ... par Jules Mascaron // Recueil des oraisons funèbres prononcées par messier Jules Mascaron. Paris, 1740. P. 405—409). Перевод полный и точный, подписан: «Маскарон. Надгробное слово Тюреню». Образ Тюреня благодаря выбранной составителями «Leçons» композиции, которой придерживается и Жуковский, оказался целостным, освещенным с разных сторон.

³⁸ *Салмоней* — Имеется в виду Салмоней (Salmōneus, Σαλμωνεύς), в греческой мифологии сын Эола, муж Алкидики, потом Сидеро, имевший от первого брака дочь Тиро (Туго) — см. Гомер. Одиссея, 11, 235. Из Фессалии он переселился в Элиду и там основал город Салмону. Так как он осмелился ставить себя наравне с Зевсом и пытался подражать его грому кожами и котлами или своей колесницей и молниям-факелами, то Зевс убил его молнией и наказал в подземном царстве, город же его был разрушен.

³⁹ *Антиохи* — Вероятно, имеются в виду цари Сирии из династии Селевкидов, вошедшие в историю своими войнами с другими эллинистическими государствами.

Фенелон в Камбре

(«Он был всегда одинаков...»)

(С. 383)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 30—31 об. — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 544—545 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод статьи из «Tableaux» («La vie et les moeurs de Fénelon»), представляющей собой еще один фрагмент из «Похвального слова Фенелону» Лагарпа (Eloge de F. de S. de la Motte- Fénelon // Oeuvres de m-u La Harpe revues et corrigées par l'auteur. Yverdon, 1777. V. 2. P. 70). См. комментарий к статье «Несчастья 1709 года и человеколюбие Фенелона». Перевод полный, близкий к подлиннику, первоначально он должен был называться, как в «Leçons», «Образ жизни Фенелона», но Жуковский заменил это заглавие на более конкретное.

⁴⁰ ...как святой Людовик под дубом венсенским. — Французский король Людовик IX (1214—1270), еще при жизни получил столь почетную приставку к имени — «Святой» — и после смерти был канонизирован церковью в небывало короткий срок. По средневековому обычаю, вершил суд, сидя под дубом в своей резиденции — Венсенском замке близ Парижа.

Земля в гармонии трех царств природы

(«Рощи, кустарники, цветущая зелень...»)

(С. 383)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 31 об. — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 545—546.

Печатается по первой публикации со сверкой по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод статьи из «Tableaux», которая называется «L'aspect de la terre dans l'harmonie des trois regnes» и является отрывком из «Прогулок одинокого мечтателя» Ж.-Ж. Руссо (Rousseau J.-J., 1712—1778; *Rêveries du promeneur solitaire*. Ch. 7 // *Collection complètes de Rousseau J.-J.* Genève, 1782. V. 10. P. 465). Перевод подписан: «Ж. Ж. Руссо» (о его особенностях см.: *Айзикова И. А.* В. А. Жуковский — переводчик Ж.-Ж. Руссо» (статья первая) // ПМиЖ. Вып. 12. Томск, 1986. С. 50—66). Работе над хрестоматией предшествовало (а отчасти и совпало с ней) глубокое изучение Жуковским творческого наследия Руссо. В библиотеке поэта имеется ПСС Руссо в 12-ти т. (Женева, 1782, с многочисленными пометами, записями и рисунками во всех томах), два «Прибавления» к ПСС в 3-х и в 2-х т. (Женева, 1782, тоже с пометами и закладками), кроме того, имеется два парижских издания романа «Эмиль, или О воспитании» 1829 г., одно из них — трехтомное — с пометами и записями Жуковского во всех томах. Чтение Жуковским Руссо имело для него, для становления его как поэта и прозаика, как личности, значение, которое трудно переоценить (см. об этом специальное исследование Ф. З. Кануновой: БЖ, II, 229—336; III, 17—138). Одним из прямых следствий фронтального знакомства Жуковского с творчеством французского писателя стал возникший почти одновременно с проектом «Примеров слога» замысел «Избранных сочинений Ж.-Ж. Руссо», которые должны были выйти в его переводе (см. об этом ниже).

Натура дикая и натура обработанная
(«Натура есть видимый престол величия Божия»)
(С. 384)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 32—33 об. — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 545—547 (фрагменты).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод статьи из «Tableaux» под названием «La nature brute et la nature cultivée», представляющей собой фрагмент из «Натуральной истории» Бюффона («Histoire naturelle» (Paris, 1799—1809. Matières générales. V. XXIII. P. 363 и далее). Перевод полный и довольно точный, подписан: «Бюффон». Позднее Жуковский сделает еще один перевод этого фрагмента и поместит его в «Собирателе» (№ 2. С. 2—6) под названием «Природа, преобразованная человеком». В более позднем переводе отчетливо звучит романтическая концепция двоemiрия и двойственной природы человека, носителя земного и небесного начал, устремленного к Создателю, но рожденного жить на земле. Сравнение переводов позволяет говорить и об эволюции стиля Жуковского-прозаика. См. комментарий к другим переводам фрагментов из «Натуральной истории» Бюффона.

Леса и обитатели холодного климата
(«Под небом, всегда помраченным густыми облаками...»)
(С. 386)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 33 об. — 34 — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 548 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод статьи из «Tableaux», которая называется «Les forêts et les habitants des régions glaciales» и является отрывком из кн. 1, гл. 1 «La poétique de la musique» (Paris, 1781—1785. V. 1. Ch. 1 «De l'origine de la musique». P. 33—35) Ласпеда. Перевод выполнен в полном объеме, близко к подлиннику, подписан: «Ласпед. Поэзия музыки». См. комментарий к статье «Извержение вулкана».

Натура в Южной Америке
(«Там, в оных странах Южной Америки...»)
(С. 386)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 34—34 об. — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 548—549 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод статьи из «Tableaux» под названием «De la nature dans l’Amérique méridionale», представляющей собой фрагмент из «Histoire naturelle des quadrupeds ovipares» (начало гл. 1 второго раздела о ящерицах («Des lézards»)) Ласепада. См. комментарии к другим переводам из Ласепада. Данный перевод полный, точный, подписан: «Ласепед. Натуральная история яйцеродных животных». Дополняя предыдущий фрагмент, он выстраивает целостную картину природы в ее разных состояниях и проявлениях.

Прекрасная ночь в пустынях нового мира

(«Через час по захождении солнца...»)

(С. 387)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 34 об. — 35 — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 549 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Источник перевода Жуковского — статья из «Tableaux», называющаяся «Le spectacle d’une belle nuit dans les deserts du Nouveau-Monde» и являющаяся фрагментом из «Гения христианства» Ф. Р. Шатобриана (Chateaubriand F. R., 1768—1848; Chateaubriand. Genie du Christianisme. Partie 1. Livre 5. Ch. 12 «Deux perspectives de la nature»). В оглавлении перевод имеет название «Изображение прекрасной ночи в пустынях нового мира». Французский образец слога воспроизведен полно и точно, подписан: «Шатобриан». Однако в нем ощущается и «перо» переводчика, который стремится передать не столько «букву», сколько «дух» Шатобриана, изображение природы как живого зеркала человеческой души. Жуковскому важно подчеркнуть основной мотив фрагмента — таинственной, неуловимой изменчивости, величия и красоты лунной ночи. Своими отклонениями от оригинала Жуковский акцентирует сугубо индивидуальный характер внутренних ощущений героя-нарратора.

Позднее, в 1808—1810 гг., Жуковским был сделан для «Вестника Европы» ряд переводов из Шатобриана, в том числе и из «Гения христианства». Примерно в это же время он откликнется на знаменитые слова Шатобриана из гл. 2 «Гения христианства» — «О природе таинственного»: «Il n’est rien de beau, de doux, de grand dans la vie que les choses mystérieuses» (Нет ничего более прекрасного, сладостного и великого, чем таинственное). По этому поводу Жуковский напишет довольно большое примечание и назовет его «О таинственности» (см. об этом подробно: Янушкевич. С. 89—90). Шатобриан надолго останется для Жуковского образцовым стилистом. Его имя войдет, например, в список мастеров слога, который был составлен Жуковским на полях «Опыта риторики» И. Рижского. Оно окружено такими именами, как Боссюэ, Фенелон, Руссо. К Шатобриану Жуковский обратится и в конце 1830-х гг., в связи с его нашумевшим переводом «Потерянного рая» Д. Мильтона, вокруг

которого велось много разговоров в России, Пушкиным была написана статья «О Мильтоне и Шатобриановом переводе “Потерянного рая”», готовить к печати которую пришлось после гибели Пушкина Жуковскому. Сам Жуковский в ответ на возникшую полемику пытается дать свой вариант переложения поэмы Мильтона — на страницах книги из его личной библиотеки: *Le paradis perdu, de Milton. Trad. nouv. par M. de Chateaubriand (V. 1—2. Paris, 1836)*. См.: БЖ, II, 483—485. Кроме того, в библиотеке поэта имеются многие другие сочинения Шатобриана, включая его полное собрание сочинений в 5-ти т. (Париж, 1840). См.: Описание. № 800—802.

Великий полководец и его воинство перед сражением

(«Сражение! Какая минута для великого полководца...»)

(С. 387)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 35 об. — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 550 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод статьи из «Tableaux» под названием «Le grand général et son Armée, au moment d’un bataille», представляющей собой отрывок из «Похвального слова Катинату» Лагарпа («Eloge de N. de Catinat, maréchal de France, discours qu’il a remporté le prix de l’Académie française, en 1775, par La Harpe» // *Oeuvres de m-r La Harpe revues et corrigées par l’auteur. Yverdon, 1777. V. 2. P. 227—228*). В оглавлении перевод называется «Великий полководец и его воинство в минуту сражения». Перевод полный и точный, подписан: «Лагарп. Похвальное слово Катинату». См. комментарии к статье «Несчастья 1709 года и человеколюбие Фенелона».

⁴¹ ...для *катината*... — Катинат (Катина) Николя (Catinat Nicolas, 1637—1712), французский полководец, маршал, входит в плеяду наиболее прославленных военных деятелей Франции за всю ее историю.

Поклонение огню

(«В сих климатах, где царствование зимы...»)

(С. 388)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 36 — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 551 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Источник перевода Жуковского — статья из французской хрестоматии под названием «Le culte de feu» — является отрывком из сочинения А. Д. Байи

(Baillly A. D., 1749—1820) «Lettres sur l'Atlantide de Platon et sur l'ancienne histoire de l'Asie» (Londres et Paris, 1779). Перевод выполнен полно и точно, подписан: «Бальи. Письма об Атлантиде».

Огнедышащая гора в Квито

(«Счастливы народы, обитатели долин и холмов...»)
(С. 388)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 36 об. — черновой, зачеркнут, незакончен.
При жизни Жуковского не печаталось.
Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 551—552.
Печатается по первой публикации со сверкой по автографу.
Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод статьи из «Tableaux» («Le volcan de Quito»), которая представляет собой еще один фрагмент из романа Мармонтеля «Инки» (т. 1, гл. 28). Перевод не окончен и зачеркнут, не подписан. См. комментарий к статье «Тишина посреди океана».

⟨МОРАЛЬНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ⟩

Раздел в «Leçons» «Philosophie morale et pratique» состоит из 37 фрагментов. Судя по оглавлению «Примеров слога», в хрестоматию Жуковского должно было войти 34 отрывка. В целом Жуковский намерен был сохранить композицию раздела «Leçons». Из всего раздела в рукописи сохранились только л. 37 и 38 с об. — на них два полных перевода и два неполных.

⟨Деревенская жизнь Ж.-Жака Руссо⟩

(«⟨...⟩ Весело было сидеть за их длинным столом...»)
(С. 389)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 37 — черновой, последние строки.
При жизни Жуковского не печаталось.
Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 555.
Печатается по первой публикации со сверкой по автографу.
Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Статья «La maison, les amis, les plaisirs de Jean-Jacques á la campagne, s'il était riche» из «Philosophie morale et pratique» (№ 24) представляет собой отрывок из романа Ж.-Ж. Руссо «Эмиль или о воспитании» (Collection complète de Rousseau J.-J. Genève, 1782. V. 5. P. 188). Сохранились лишь последние строки перевода, подписанного «Ж. Ж. Руссо». В оглавлении перевод первоначально был назван так: «Дом, друзья, удовольствия Жан-Жака в деревне, когда бы он был богат». Это название зачеркнуто. См. комментарий к статье «Земля в гармонии трех царств природы».

Наружность счастья и истинное счастье

(«Мы слишком часто заключаем о счастье...»)

(С. 389)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 37—37 об. — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 556 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод статьи (№ 25) из «Philosophie morale et pratique», называющейся «L'apparence du bonheur et le vrai contentement» и являющейся отрывком из «Эмиля» Ж.-Ж. Руссо (Collection complète de Rousseau J.-J. Genève, 1782. IV. 5. P. 395). Перевод полный и близкий к подлиннику, подписан: «Ж. Ж. Руссо». См. комментарий к предыдущим переводам из Руссо.

Честолюбие

(«Честолюбие показывает издали человеку...»)

(С. 389)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 37 об. — 38 об. — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 556—557 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод статьи № 26 из «Philosophie morale et pratique» («L'Ambition»), представляющей собой отрывок из сочинения Л. Бурдалу (Bourdaloue L., 1632-1704) «Sermon pour le XVI-e Dimanche après la Pentecôte, Sur l'Ambition // Bourdaloue. Oeuvres. Paris, 1834. V. 2. P. 152). Перевод сделан полный и точный, подписан: «Бурдалу».

Честолюбие

(«Честолюбие, сие ненасытимое желание возвышаться...»)

(С. 390)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 40 — черновой, начало.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 557.

Печатается по первой публикации со сверкой по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод статьи (№ 27) из «Philosophie morale et pratique», посвященной той же теме, что и предыдущая, названной «Même sujet» и являющейся отрывком из сочинения Ж.-Б. Массильона (Massillon J. B., 1663—1743; Oeuvres de Massillon. Paris, 1843.

V. 2. P. 617). Сохранилось лишь начало статьи. Оценку Массильону как писателю-моралисту находим в «Конспекте по истории литературы и критики», в той его части, материалом для которой явилось письмо Руссо к д'Аламберу о театре: «(...) всегда то действие сильнее, которое основано более на чувстве, нежели на убеждении рассудка, и из проповедников те называются лучшими, которые больше стараются трогать, нежели убеждать или риторствовать. Например, Массильон» (Эстетика и критика. С. 150).

〈ХАРАКТЕРЫ. СРАВНЕНИЯ〉

Раздел в «Leçons» называется «Caractères ou portraits, et parallèles». В своем оглавлении Жуковский воспроизводит лишь часть оглавления французской хрестоматии (34 названия), однако из задуманного и, вероятно, выполненного сохранились только один перевод полностью и начало еще одного перевода (л. 41 и 42 с об.).

Греки. Римляне

(«История греков вопреки Саллюстию...»)

(С. 391)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 41—42 об. — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 559—560 (начало и конец).

Печатается по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод статьи из «Caractères ou portraits, et parallèles», которая называется «Les Grècs, les Romains» и представляет собой фрагмент из сочинения Ж. Б. Мабли (Mably G. B. de, 1709—1785; Observation sur l'histoire la Grèce // Collection complète des oeuvres de l'abbé de Mably. Paris, 1794—1795. V. 4. P. 246). Перевод выполнен и сохранился полностью, он близок к подлиннику, подписан: «Мабли».

⁴² *Саллюстий* — римский историк, живший в 86—ок. 35 г. до н. э.

⁴³ *Фемистокл* — афинский полководец, вождь демократической группировки, в период Греко-персидских войн архонт и стратег. Годы жизни ок. 525 — ок. 460 г. до н. э.

⁴⁴ *Аристид* — афинский полководец (ок. 540 — ок. 467 г. до н. э.), политический противник Фемистокла.

⁴⁵ *Марафон* — древнее селение в Греции, около которого 13.9.490 г. до н. э. во время Греко-персидских войн греческие войска разбили персидские.

⁴⁶ *Термопила* — имеются в виду Фермопила — горный проход из Северной Греции в Среднюю. При Фермопилах в 420 году до н. э. греки под командованием спартанского царя Леонида держали героическую оборону против многочисленной персидской армии.

⁴⁷ *Саламина* — о-в Саламин в заливе Сароникос Эгейского моря. Во время Греко-персидских войн около этого острова 28 (или 27).9.480 г. до н. э. греческий флот разгромил персидский.

⁴⁸ *Платея* — Платеи — древнегреческий город-государство. Во время Греко-персидских войн около этого города 26.9.479 г. до н. э. греческие войска разгромили персидскую армию.

⁴⁹ *Микала* — Μυσαία, Μυκάλλη, западный отрог ионийской горы Мессогиса, против острова Самоса образует мыс Трогилий. Здесь в морском заливе побеждены были персы Леотихидом и Ксантиппом в морской битве в 479 г.

⁵⁰ *Ксерсовы ополчения* — Ксеркс I (?—465 г. до н. э.), царь государства Ахеменидов с 486 г. В 480—479 гг. возглавил поход персов в Грецию, окончившийся их поражением.

⁵¹ *Ликург* — спартанский законодатель, живший в 9—8 вв. до н. э. Греческие авторы приписывают ему создание институтов спартанского общественного и государственного устройства.

⁵² *Кимон* — полководец и политический деятель Афин (ок. 504—449 до н. э.). С юных лет воевал против персов, обнаружив незаурядные военные способности.

⁵³ *Эпаминонд* — фиванский полководец, живший ок. 418—362 г. до н. э.

⁵⁴ *Греки, покоренные Филиппом и Александром...* — Филипп II (ок. 382—336 до н. э.), царь Македонии с 359 г., отец Александра Македонского. К 338 г. установил гегемонию над Грецией.

⁵⁵ *Тразибул* — Θρασύβουλος, сын Ликона, выдающийся афинский полководец, демократ по убеждениям; отличался энергией, предприимчивостью и горячею любовью к отечеству, убит в 388 г. при восстании в Киликии.

Народ Афинский

(«История представляет его иногда стариком...»)

(С. 392)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 16. Л. 42 об. — черновой, начало.

При жизни Жуковского не печаталось.

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 560.

Печатается по первой публикации со сверкой по автографу.

Датируется: ноябрь 1805 г. — апрель 1806 г.

Перевод статьи из «Caractères ou portraits, et parallèles», которая называется «Le peuple Athenien» и является отрывком из «Путешествия молодого Анахарсиса в Грецию» (т. 2, гл. 14) Бартеlemi. Сохранилось только начало перевода. В оглавлении он назван «Афиняне». См. комментарий к статье «Дружба, или Дамон и Пифиас».

Избранные сочинения Жан-Жака Руссо

Перевод с французского

Том первый

(С. 392)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 17, 24 л., из них л. 1 об., 2 об., 3 об., 8 и 9 с об. чистые — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Печатается по автографу.

Датируется: лето-осень 1806 г.

Работа над «Избранными сочинениями Жан-Жака Руссо» относится к лету-осени 1806 г. (один из переводов — «Письма к Саре» — датирован рукой Жуковского. См. ниже). Подобных изданий в России еще не было. Этот проект, задачей своей имевший знакомство широкой читающей русской публики с творчеством великого французского писателя-просветителя, был органичным продолжением фронтального и глубокого изучения Жуковским Руссо. Женевское Полное собрание сочинений Руссо из библиотеки Жуковского испещрено его пометами и маргиналиями, датируемыми томскими исследователями началом 1800-х гг. (см. специальное исследование Ф. З. Кануновой: БЖ, II, 229—336; III, 17—182).

Издание «Избранных сочинений Жан-Жака Руссо» задумывалось Жуковским в нескольких томах. Дошедшие до нас планы (три варианта) обозначены как планы первого тома. Приведем их здесь:

Избранные сочинения Жан-Жака Руссо.

Перевод с французского.

Том первый.

Смесь.

Рассуждение о науках.

Рассуждение о неравенстве.

Письмо к д'Аламберу.

О театральном подражании.

Левит Ефраимский.

Письма к Саре.

Королева-причудница.

Письма и мысли (л. 1).

Руссо

О науках.

Письмо к д'Аламберу.

〈Уединенный мечтатель〉

Уединенные прогулки мечтателя

〈Некоторые письма и мысли〉

О хозяйстве

О дуэлях

О самоубийстве

О воспитании

Прогулка на озере

О воспитании

Путешествие по горам (л. 2).

〈Избранные сочинения Ж. Ж. Руссо〉.

Часть первая.

Содержание.

Рассуждение о неравенстве людей и состояний

Письмо к д'Аламберу

О театральном подражании
Рассуждение о влиянии наук и искусств на нравы
Левит Эфраимский
Письма к Саре
Королева-причудница
Письма
Разные мысли. Ответ К. П. и Борду (л. 10; весь план зачеркнут).

Сравнение планов показывает, как от варианта к варианту уточнялся состав первого тома. Универсализм мышления Жуковского проявился здесь в полной мере. Руссо интересует Жуковского и как философ, педагог, эстетик, и как талантливый прозаик, открыватель сентиментализма во французской литературе, как образцовый стилист.

Примечателен сам принцип построения тома. По типу и структуре он представляет собой своего рода «Смесь» — характернейшее для русской прозы начала XIX в. и для Жуковского как прозаика эстетическое явление. Первый том должны были составить, органично дополняя друг друга, философские и эстетические трактаты, которые привлекли особый интерес Жуковского при изучении Руссо, письма, а также беллетристическая проза. Такой состав тома, конечно, объясняется стремлением Жуковского представить творчество французского автора во всей его полноте. Но с другой стороны, такая композиция является прямым следствием синкретизма мышления автора замысла, понимающего пределы прозы очень широко и в силу этого не только допускающего, но сознательно стремящегося к синтезу документального, общественного, этического и художественного начал.

Открывать первый том «Избранных сочинений Жан-Жака Руссо» в переводе Жуковского должен был широко известный в России трактат «О науках» (либо, согласно другому варианту плана, не менее популярное «Рассуждение о неравенстве»). Оба сочинения были внимательно изучены русским писателем. Не принимая радикально-демократических воззрений автора, он сосредоточивается на нравственно-этическом, антропологическом и гносеологическом аспектах его учения. Жуковский осваивает руссоизм в связи с осмыслением коренных вопросов своего мировоззрения. Прежде всего, это вопрос о природе человеческой личности, о соотношении в ней материального и духовного начал, о роли нравственного инстинкта человека. С последним Жуковский вслед за Руссо связывает индивидуальность человеческой личности и специфику соотношения в ней общественного и природного начал.

Проблематику и пафос трактатов «О науках» и «О неравенстве» должны были продолжить эстетические рассуждения Руссо, выбранные Жуковским для перевода, — «Письмо к д'Аламберу» и «О театральном подражании». Повышенный интерес к ним был вызван, прежде всего, постановкой вопроса о нравственном влиянии театра, драмы, одного из наиболее демократичных видов искусства, о пользе зрелищ и развлечений вообще.

Острота нравственно-этической проблематики и вытекающая отсюда психологическая сложность характеров и конфликтов определили внимание Жуковского к собственно художественной прозе Руссо, к таким его произведениям, как «Письма к Саре», «Левит Эфраимский» и «Королева-причудница». Этот выбор во многом обуславливался и близостью Руссо принципам предромантизма, его интересом к

жанру повести, ее разным модификациям, что совпадало с интересами Жуковского и русской прозы начала XIX в. Жуковский предполагал обратиться к переводу лирической эпистолярной, лиро-эпической повести и философской повести-сказки.

Примечателен и интерес Жуковского к переписке Руссо, в которой глубоко раскрывается личность самого автора писем, отличающихся автопсихологизмом. Проблемы поведения человека, его отношения с природой, окружающими его людьми, Богом — все это вопросы, постоянно волнующие самого Жуковского и составляющие содержание переведенных им писем Руссо. Они привлекают его и своим стилем, обусловленным, в свою очередь, жанром дружеского письма.

Из достаточно обширных планов было переведено далеко не все (возможно, что не все дошло до нас). Мы располагаем переводом небольшого фрагмента из «Рассуждения о науках», двумя полностью переведенными произведениями — «Письма к Саре» и «Левит Ефραίимский», а также переводами четырех писем Руссо к Дидро и Верну. Сохранились также первые строки «Королевы-причудницы». На всех переводах в значительной степени сказались отразившаяся в читательских пометах Жуковского сложность его восприятия Руссо, а также их некий экспериментальный характер, отражающий художественные поиски Жуковского-прозаика.

**Рассуждение на вопрос,
заданный Дижонской Академиею в 1750 [году].
«Послужило ли восстановление наук и художеств к очищению нравов»
(«Какое действие имело возобновление наук и художеств...»)
(С. 392)**

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 17. Л. 4—7 с об. — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Печатается по автографу.

Датируется: лето-осень 1806 г.

Источник перевода «Discours qui a remportée le prix à l'Academie de Dijon, en l'année 1750, sur cette question...: si le Retablissement des Sciences et des Arts a contribué à épurer les moeurs» // Collection completes de Rousseau J.-J. Genève, 1782. V. 7. P. 25—35. С этим произведением, как указывает, Ю. М. Лотман, был связан «первый этап рецепции Руссо в России» (Лотман Ю. М. Руссо и русская культура XVIII — начала XIX века // Лотман Ю. М. Избранные статьи. Таллинн, 1992. Т. 2. С. 51). К началу XIX в. трактат был переведен на русский язык дважды — П. Потемкиным (1-е изд. — 1767 г.; 2-ое изд. — 1787 г.) и М. Юдиным (1792 г.).

Выбрав для перевода актуальнейший для себя и своего времени трактат «О науках», представляющий собой типично руссоистское освещение проблемы «дикости» и цивилизации, культуры, Жуковский проходит мимо второй части «Рассуждения», трактующей социальные причины общественного неблагополучия, и сосредотачивается на его первой части (о характере чтения трактата см. в указ. исследовании Ф. З. Кануновой). В ней Руссо говорит о связи распространения наук и искусств и падения нравов как о явлении, относящемся к любому социуму — будь то Египет, Греция или Рим. Везде было в свое время преодолено дикарство, усилием просвещения началось культурно-историческое строительство.

Именно эту мысль старается подчеркнуть Жуковский в своем переводе, вывести ее на первый план, оттеснив на второй ее авторское продолжение о том, что успехи наук и искусств предопределили разрыв между культурой и нравственностью. Здесь Жуковский оказывается близок к позиции Н. М. Карамзина, сформулированной в статье «Нечто о науках, искусствах и просвещении» (1796), которая, как известно, носит полемический характер по отношению к Руссо.

Очень деликатно Жуковский создает в своем переводе некоторое смещение проблематики (приведем лишь один характерный пример: Руссо — «*Ce n'est point la Science que je maltaite, me suis-je dit: c'est la vertu que je defends devant des homes vertueux*»; перевод А. Д. Хаютина (М., 1979) — «Не Науку я оскорбляю, — сказал я самому себе, — Добродетель защищаю я перед людьми добродетельными»; перевод Жуковского — «Защищая добродетель перед лицом добродетельных, не думаю ругаться над науками». Суть смещения акцента в переводе укрупняет помета Жуковского, сделанная на полях книги Руссо напротив приведенных слов: «*La vertu n'est-elle point aussi une science?*» (Разве добродетель не является такой наукой?)). За едва заметными отступлениями Жуковского-переводчика от подлинника стоит его убежденность в том, что приобретения человечества, связанные с культурным прогрессом, ограничиваются определенными трудностями, что на пути к культуре человека подстерегает множество испытаний, но самым главным является увеличивающееся в человеке по мере повышения его образованности, культурного уровня осознание себя свободной личностью.

Тема разрабатывается Руссо в характерном для него жанре «речь-рассуждение» и в типичной для него манере: страстный диалог с читателем (слушателем), активная авторская позиция, открытая и полемически заостренная. Эти особенности текста, думается, также сыграли свою роль при выборе Жуковским данного произведения Руссо для перевода. Масштабность поставленной проблеме придает широкая панорама повествования, стремящаяся к универсальности, к учету всех явлений, подтверждающих основные положения речи и, с другой стороны, к возможности их распространения на любую социальную модель. Жуковскому очень важна и нарисованная Руссо историческая перспектива, Жуковский сохраняет ее, что позволяет ему взглянуть на проблему во всей ее глубине. Эти два взгляда — вширь и вглубь — дали возможность Жуковскому в ряде случаев более отчетливо, чем Руссо, различить плюсы и минусы научно-культурного прогресса и определиться со своей позицией: творческий разум и успехи гражданского общества взаимозависимые величины — в этом заключается пафос перевода Жуковского, продолжившего его ранние опыты в области публицистической прозы. В заслугу Жуковскому следует поставить и его стремление осмыслить культурно-исторический прогресс как проявление самой сути природы человеческой личности. Показательным может быть сравнение перевода Жуковского с известным в России конца XVIII века переводом «Рассуждения» Руссо, сделанным М. Юдиным (СПб., 1792). Этот перевод отличается откровенно предвзятым отношением к подлиннику, грубым произволом переводчика по отношению к оригинальному тексту. Уже в переводе заглавия М. Юдин выразил свое отрицательное отношение к трактату Руссо: «Речь о вредных следствиях, происходящих от наук и художеств». Переводчик часто утрирует идеи Руссо, чтобы убедить читателей в несостоятельности его теории в целом.

Жуковского привлекла и полемика, развернувшаяся вокруг «Рассуждения» Руссо во Франции. Как известно, в 1751 г. в «*Mercure de France*» был опубликован «Ответ»

польского короля Станислава на сочинение Руссо. В этом же году Борд произнес в Лионской академии свое возражение на сочинение Руссо, в 1752 г. оно было опубликовано. Руссо отвечал на эти публикации полемическими статьями «Ответ польскому королю» и «Последний ответ г. Борду», который, в свою очередь, вызвал новую критику Борда (1753 г.). Судя по одному из вариантов плана, в первый том «Избранных сочинений Ж.-Ж. Руссо» в переводе Жуковского должны были войти эти «ответы» Руссо («Ответ К.(оролю) П.(ольскому) и Борду». Л. 10). Жуковский, как видим, заботился о том, чтобы масштаб и значение выступления Руссо в Дижонской академии в 1750 г. был осознан читателями его переводов в полном объеме.

⁵⁶ *Descrimur specie gestī* — Мы обманываемся видимостью правильного (лат.).

⁵⁷ *Одна всеобщая революция могла вернуть людей здравому смыслу: вечный бич наук, безумный мусульманин произвел сию перемену.* — Имеется в виду турецкий султан Магомет, покоривший 29 мая 1453 г. Константинополь.

⁵⁸ *Словесность оживилась в Европе. С падением трона Константинова остатки древней Греции рассыпались по Италии.* — Имеется в виду Константин XI, последний византийский император (1403—1453), погибший при обороне Константинополя от турок.

⁵⁹ *Пирронизм* — Пиррон из Элиды (ок. 360 — ок. 270 г. до н. э.), древнегреческий философ, основатель скептицизма (пирронизма).

⁶⁰ *Сесострис* — греч. Σέσωστρις — наиболее популярное собирательное имя египетской политической истории у классических писателей. По сообщениям Геродота, Диодора Сицилийского и Страбона, Сесострису приписывали завоевание всей Азии, Европы до Фракии, Ассирии, Мидии, Эфиопии, Скифов, Персии, Бактрии и т. д.

⁶¹ *...перед стенами Илиона...* — древний город Илион (Троя), известный по греческому эпосу.

⁶² *Демосфен* — афинский оратор (ок. 384—322 г. до н. э.).

⁶³ *Энний* — Энний Квинт (Ennius, 239—269 г. до н. э.), римский поэт.

Левит Ефраимский

(«Священный гнев добродетели...»)

(С. 396)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 17. Л. 10—18 с об. — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Печатается по автографу.

Датируется: лето-осень 1806 г.

Источник перевода — *Le Levit d'Ephraïm* // *Collection complètes de Rousseau J.-J.* Genève, 1782. V. 7. P. 163—186. Жуковский перевел повесть Руссо полностью, сохранив ее сюжет, композицию, систему художественных образов, тип повествования — лиро-эпический, интерес к которому возник у Жуковского уже на раннем этапе творчества. «Левита Ефраимского» можно считать одним из ранних обращений писателя к работе с библейской легендой, когда его отношение к религии, Библии было не столько мировоззренческим, сколько эстетическим. Примечательно уже то, что Жуковский обратился не непосредственно к Библии, а к переводу повести Руссо, являющейся поэтическим переложением одного из сюжетов

Священной Истории. В основе произведения Руссо — ветхозаветная легенда о Левите из Ефраима, о страшной смерти его наложницы в городе Гаваоне, принадлежавшем одному из колен Израилевых — колену Вениаминову — и о последовавшем за этим наказании вениамитянам (Книга Судей Израилевых, гл. 19—21).

Сам характер изложения легенды о Левите и в подлиннике, и в переводе говорит о том, что изображенные в ней события и для Руссо, и для Жуковского означают некую закладку основных принципов отношений человека с другими людьми, с государством, с законом. Они имеют для обоих писателей очень важное и более широкое, по сравнению с собственно религиозным, значение, касающееся человеческой истории вообще. Изображенный в легенде период, когда каждое колено сынов Израилевых должно было управляться старейшиной, а связующим звеном для них, кроме родства, должна была служить их общая вера, осмысливается и во французском, и в русском тексте как период борьбы не столько веры с неверием, сколько Добра со Злом. Суть эпохи Судей (и соответственно конфликт повести) переносится таким образом из религиозного в нравственно-этический план. В такой интерпретации — столкновение морального с аморальным — коллизия этого фрагмента Священной истории осмысливается и Руссо, и Жуковским в качестве основного стержня истории человечества вообще. История сопрягается в этой повести с философией, этикой, что чрезвычайно характерно для Жуковского. Отсюда — придаваемый Жуковским масштаб свершаемого героями повести личного нравственного выбора. Полное расстройство государственного управления, беззаконие, ослабление политического могущества всех 12 колен Израилевых в повести связывается с ослаблением нравственности, отрицанием отдельными членами общества безусловного приоритета духовных начал.

Обращая, как и Руссо, основное внимание на изображение характеров, Жуковский с особой силой подчеркивает идею их сложности, противоречивости, являющейся источником их нравственного развития. В связи с этим усложняются, уточняются психологические мотивировки поведения героев, их взаимоотношений. Как показывает сравнение перевода с подлинником, а также анализ правки перевода, писатель последовательно «очеловечивает» героев повести.

Так, Левит — это вовсе не абсолютный злодей. У него доброе сердце, он способен на глубокое чувство (он «полюбил сердцем» /л. 10 об./ девушку из Вифлеема; ср. у Руссо: «Левит увидел молодую девушку, которая ему понравилась»; ср. в Библии: «Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского» — гл. 19, ст. 1). Подчеркивается стремление Левита разделить счастье со своей возлюбленной (сравним: у Жуковского «пленялся вместе с нею», «украшал грудь ее полевыми розами» /л. 10 об./, у Руссо — «водил ее собирать полевые розы, наслаждаться прохладой»). Если в подлиннике с самого начала берется под сомнение чувство девушки к Левиту («он увел ее», ср. в переводе — «они пошли» /л. 10 об./; «постарается вновь привести» — у Жуковского «склонить ее к возвращению» /л. 11/), то в переводе показывается неустойчивость едва зародившегося чувства. Такая психологическая мотивировка, введенная переводчиком, объясняет и дальнейшее поведение героини: новый всплеск ее чувства, радость, вызванную приездом Левита, согласие снова пойти с ним. Свое преступление, леденящий душу читателей поступок Левит совершает в состоянии иступления, аффекта.

Судя по характеру перевода, Жуковский высоко ценит в переложении библейской легенды Руссо и объективное эпическое содержание. С большим мастерством

и точностью он передает крупномасштабные сцены воинского эпоса, архаической военной демократии, где нет места для любования геройским подвигом одного. Причем и здесь Жуковский-поэт делает свои акценты по сравнению с библейским эпосом, в котором эпическое служит, как и все в Библии, утверждению Закона Божия, Божественной, нечеловеческой (надчеловеческой) сути всего изображенного. Особенно явно это прослеживается в «чудесных» сценах повести. Библейский мотив чуда Божественного, практически опущенный у Руссо, акцентируется в переводе Жуковского, но в поэтической (не в религиозной) интерпретации. Божественные предзнаменования и т. п. явления обращаются у Жуковского в характерный для раннего романтизма мотив таинственной предначертанности, усиливающий драматическую напряженность повествования, трагизм характеров и конфликтов, одним словом, работающий на создание художественного произведения, точнее, — на создание нового мифа о Левите. Это становится особенно заметным при сравнении двух переводов повести Руссо — Жуковского и П. А. Пельского, изданного в 1802 г. (Ефраимский Левит, поэма Ж.-Ж. Руссо. Перевод с французского. М., 1802).

⁶⁴ *Левиты* — сословие низших храмовых служителей, считались принадлежащими к колену Левии. Учреждение левитов подробно описано в кн. «Исход» (XXXII, 25—29). После разделения Израильского царства левиты оставили свои города и переселились в земли колен Иуды и Вениамина.

⁶⁵ *Вениамин* — один из 12 сыновей Иакова, родоначальник одного из колен Израилевых. Последний сын Иакова и Рахили. Иаков, находясь на смертном одре, дает Вениамину благословение: «Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу» (Быт 49: 27). Это относится не к личности самого Вениамина, бывшего предметом особой заботы Иакова, а к последующей истории его племени (см.: Мифы народов мира: В 2 т. М., 1991—1992. Т. 1. С. 232).

⁶⁶ *...невинный убийца матери...* — Рахиль умерла при рождении Вениамина.

⁶⁷ *...Ефраимских гор...* — Ефремовы горы находились к югу от долины Ездрилонской. Цепь холмов тянулась по южной границе удела колена Ефремова, внука Иакова, второго сына Иосифа. Они состояли из покрытых лесами горных хребтов, пересекаемых длинными и плодородными равнинами.

⁶⁸ *...на горе Гебале!* — гора Гевал расположена в центре Палестины, была назначена для ежегодного чтения Закона при всенародном собрании.

⁶⁹ *Сихамские долины* — долина, разделяющая горы Гевал и Гаризим. В долине был выстроен город Сихем.

⁷⁰ *Афарот* — ошибочное название Атарофа, города, расположенного на границе земель колен Ефремова и Манассиина.

⁷¹ *...холмов Гелбозских...* — имеется в виду Гильбоа (ивр. גִּילְבּוֹא) — горный хребет в Изреэльской долине в Израиле. Хребет простирается с востока на запад и расположен к западу от реки Иордан. Здесь сходились границы трех колен — Иссахара, Звулуна и Менаше. Гора связана с именем царя Саула (Шауля), который воевал и погиб здесь вместе со своими сыновьями, в том числе Ионатаном, другом Давида, будущего царя Израиля. Тела погибших были выставлены филистимлянами на городских стенах Бейт Шеана. Все окрестные еврейские поселения названы именами детей царя Саула. Название упоминается в Ветхом Завете, русский вариант — Гелвуй.

⁷² *...ослов эфаонских...* — возможно, имеются в виду «афонские».

⁷³ *Зевул* — правитель Сихема.

⁷⁴ *Геба* — имеется в виду гора Гебал.

⁷⁵ *Хананеи* — потомки Ханаана, сына Хама. Они не имели над собой одного общего царя и гибли от взаимных междоусобиц. К этому присоединялись еще языческие обычаи. Союз израильтян с хананеями был запрещен.

⁷⁶ *Гаваон* — древний ханаанский город, впоследствии достался колену Вениамина.

⁷⁷ *...дети Белиаловы...* — имеются в виду хананеи, поклонявшиеся Ваалу; в западносемитской мифологии это одно из наиболее употребляемых прозвищ богов отдельных местностей. Ваал здесь, вероятно, объединяется с Велиалом, в иудаистической и христианской мифологии это — демоническое существо, дух небытия, лжи и разрушения, центральный антагонист делу Иисуса Христа.

⁷⁸ *Циклопы Эгейские* — согласно большинству источников циклопы живут на острове Сицилия либо на островах Эгейского моря.

⁷⁹ *Масскфа* — левитский город на земле Галаадской. Город называется также Галаадом. По другой версии это — город колена Вениамина, лежащий недалеко от Рамы и Гаваона, место народных собраний во Времена Судей.

⁸⁰ *...от Дана до Вирсавии, от Галаада до Масскфы.* — Вирсавия — город на южной границе земли Ханаанской, Дан — на северной границе. Выражение «от Дана до Вирсавии» обозначает «все пространство страны в длину», равно как «от Вирсавии до горы Ефремовой» — указывало на всю длину пространства царства Иудейского.

⁸¹ *Вениамитяне* — жители Гаваона (после того, как город перешел к колену Вениаминову).

⁸² *...поля Рамы усыпались трупами.* — Город, принадлежащий колену Вениаминову, лежавший на пути из Иерусалима к горе Ефремовой, через которую должен был проходить левит Ефраимский, возвращавшийся из Вифлеема домой.

⁸³ *Как пустыня песчаная Елафы...* — Елаф — город, через который проходили евреи, шествуя от Синая по Аравийской пустыне.

⁸⁴ *Финеес, сын Элиазаров* — Елеазар — третий сын Аарона (из колена Левия), избранный на священное служение, погребен на горе Ефремовой, на одном из холмов, принадлежавших его сыну Финесу (Пав., XXIV, 33).

⁸⁵ *Утес Реммонский* — Реммон (Риммон) — Ученые предполагают, что скала находится вблизи Риммонима, в 18 км северо-восточнее Иерусалима. В большой пещере (Шкаф-Дахер), расположенной южнее этого места, могли укрыться 600 человек.

⁸⁶ *...потомство Иакова...* — наиболее многочисленные и влиятельные колена — Ефремово и Манассии.

⁸⁷ *...Явеса Галаадского.* — Иавис Галаадский (1 Цар 11: 1, 1 Пар 10:11—12) — главный город Галаада, названный Иависом, вероятно по своему положению на сухой горе. Он один не принимал участия в междоусобной войне Израильтян против колена Вениамина и за это был почти весь истреблен (Суд: 20 и 21). По мнению ученых, Иавис Галаадский находился на месте настоящего Ед-Дейра, развалины близ ручья Вади-Йябес, впадающего в Иордан на юго-востоке от Вефсана.

⁸⁸ *Потомки Манассеи* — о Манассии Иаков пророчески сказал, что «...от него произойдет народ, и он будет велик; но меньший его брат будет больше его... И поставил Ефрема выше Манассии» (Быт 48: 13—20). Первенец Иосифа Манассия был, как и его брат Ефрем, оторван от служения Истинному Богу и жил в роскоши и неге языческого египетского двора, тем более что их мать по происхождению принадлежала к высшему жречеству. Но Иосиф неустанно заботился о том, чтобы привлечь своих сыновей к Богу. Манассия оказался в обстоятельствах, сходных

с теми, в каких когда-то был Исав — первородство, по праву принадлежащее ему, было отдано меньшему брату. И здесь проявился прекрасный характер Манассии, который в отличие от Исавы, не возмущался, не испытывал негодования, обиды, зависти и ненависти, а спокойно смирился с тем, что произошло. И в дальнейшей истории его колена нет вражды между племенами двух братьев.

⁸⁹ *...девы Силомские...* — Силом — город, находившийся во владениях колена Ефремова. Здесь, как в центре Земли Обетованной, была поставлена скиния. В царствование Давида она была перенесена в Гаваон.

⁹⁰ *Моавитяне* — потомки Моавы, сына Лота, от его старшей дочери. Находились в плохих отношениях с израильянами.

⁹¹ *Назаретин* — имеется в виду назарей — проповедник-аскет в Древней Иудее.

Письма к Саре

(«Следующие четыре письма сочинены по вызову»)

(С. 405)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 17. Л. 19—23 с об. — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Печатается по автографу.

Датируется: 4 августа 1806 г.

Источник перевода — *Lettres à Sara // Collection complètes de Rousseau J.-J. Gèneve, 1782. V. 7. P. 188—198*. К началу XIX века эта повесть уже была переведена на русский язык (Письма к Саре // Иппокрена, или Утехи любословия на 1800 г. Ч. 6. С. 193—203). Выбор для перевода «Писем к Саре» Жуковского объясняется творческими и отчасти биографическими мотивами, их взаимодействием. «Письма» переводились в начале августа 1806 г. (рукопись датирована самим Жуковским 4 августа). Это время расцвета первой любви писателя. Переключка чувств и положения героя «Писем» и их переводчика очевидна. Так, например, Жуковского мучает мысль о разнице в возрасте с М. Протасовой. «Можно ли быть влюбленным в ребенка», — записывает он в дневнике 9 июля 1805 г. (Дневники. С. 13). Герой Руссо, намного старше любимой им Сары, восклицает: «И я мог сравниться с ветренным мальчишкой! Мог целые два часа стоять на коленях перед ребенком» (л. 20). В июльских 1805 г. дневниковых записях Жуковского звучит сомнение в возможности достичь семейного счастья с Машей. В его душе чувство любви соседствует с неуверенностью в том, имеет ли он право «на любовь сию», может ли это чувство быть взаимным.

«Письма к Саре» — произведение о неразделенной любви, классическое воплощение предромантического художественного мира и, соответственно, лирического типа повествования, что и привлекает Жуковского, по-видимому, в первую очередь. Помимо культурно-философского задания — построение предромантической системы ценностей, предромантической этики, повесть Руссо имеет задание литературное — создание новой повествовательной структуры. Жуковский-переводчик и в том, и в другом плане оказывается чрезвычайно близким автору.

Прежде всего, Жуковский подчеркивает, выделяет в своем переводе как главную тему любви. Любовь в «Письмах к Саре» — это воображаемое и вместе с тем реальное чувство, тем более оно оказывается динамичным и сложным, включа-

ющим в себя сиюминутные переживания, воспоминания, предчувствия, тончайший нравственно-психологический анализ. Жуковскому в полной мере удастся передать и художественные особенности повествования подлинника. Как и у Руссо «Письма к Саре» в переводе Жуковского полемически заострены против рационалистической упорядоченности, логизированной фабулы.

Примечательно, что Жуковский укрупняет мотив любви как своего рода богослужения, как святыни, вечного таинства. В связи с этим переводчик вносит в текст некоторые собственные нравственно-эстетические акценты. Так, он заметно смягчает мотив обвинения героем Сары в своем несчастье. Жуковский возвышает героиню, сосредоточивает внимание читателей на чистоте ее души, не подвластной пороку. Причина ее невнимания к герою заключается лишь в том, что она его не любит. Неслучайно «тщеславие Сары» переведено у Жуковского как «гордость Сары», «коварная девушка» — поэтичным «коварная очаровательница». Обращения «варвар», «бесчувственная» вообще опущены. Нравственно возвышая героев, поэтизируя их чувства, Жуковский отчасти затушевывает внешнюю сторону конфликта и подчеркивает идею саморазвития чувства, его внутренних импульсов. Извне конфликт переходит вовнутрь и осмысливается как абсолютно неразрешимый.

Проявляя определенную степень свободы по отношению к оригиналу, Жуковский разрабатывает в первую очередь внутренний конфликт повести, углубляя таким образом психологизм повествования. В связи с этим перевод «Писем к Саре» оказывается интересным и как опыт Жуковского организатора повествования и как опыт Жуковского-стилиста. Здесь продолжают начатые в «Примерах слога» поиски форм выражения сложной и противоречивой жизни души. Черновая рукопись перевода наглядно демонстрирует этот творческий процесс.

Отсутствие голоса адресата, создание его образа голосом героя-нарратора оказывается его собственной дополнительной характеристикой. Перед нами возникает яркая личность, наполненная поэтическими чувствами и «сердечным воображением». Отсюда стиль писем — образная лексика, поэтический синтаксис, последовательный отказ от нарушающих стиль любовного послания слов и конструкций, от неясных, неточных (в моральном и психологическом отношении) характеристик. Текст эмоционально выразителен, отличается психологической емкостью, и в то же время непринужденностью, интимным, лирическим звучанием. В целом «Письма к Саре» были поразительным по глубине экспериментом Жуковского в области лирической по своей природе, возвышенной свободной прозы.

⁹² Jam, nec spes animi credula mutui Hor. — Стих из IV-й оды Горация:

Me nec femina, nec puer

Jam, nec spes animi credula mutui...

(И уже ни женщины, ни мальчика и никакой легковой надежды. — Гораций. Оды, IV, 1).

Отрывок от письма к Дидроту

(«Ты жалуешься на зло...»)

(С. 409)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 18. Л. 32 — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Печатается по автографу.

Датируется: лето — осень 1806 г.

Источник перевода — *Fragment d'une lettre à M. Didrot // Collection completes de Rousseau J.-J. Genève, 1782. V. 12. P. 212—213.* Письмо-исповедь Руссо наполнено глубоким психологическим, нравственно-этическим содержанием. При всей исповедальности, оно представляет собой диалог двух мировоззрений. Особый интерес для Жуковского это письмо представляет еще и потому, что оно является сугубо частным, вряд ли предназначавшимся самим Руссо для публикации. Жуковский идет на это, пытаясь рассмотреть общие проблемы сквозь индивидуальное сознание таких великих мыслителей, какими были Руссо и Дидро. Письмо переведено полно и точно.

Письмо к нему же

(«Я должен, мой любезный Дидрот...»)

(С. 410)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 18. Л. 32 об. — 33 об. — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Печатается по автографу.

Датируется: лето — осень 1806 г.

Источник перевода — *Lettre au même, 2 mars 1758 // Collection completes de Rousseau J.-J. Genève, 1782. V. 12. P. 213—216.* Письмо продолжает тему предыдущего, оно переведено так же полно и близко к подлиннику.

Письмо к Верну

(«Мне приятно уверять себя...»)

(С. 411)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 18. Л. 34—34 об. — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Печатается по автографу.

Датируется: лето — осень 1806 г.

Источник перевода — *Lettre à M. Vernes // Collection completes de Rousseau J.-J. Genève, 1782. V. 12. P. 216—218.* Письмо можно без особых натяжек назвать философско-психологической миниатюрой, в рамках которой Жуковский начинал свое творчество как прозаик. Его адресатом является Я. Верн (*Vernes Jacob, 1728—1791*) — швейцарский теолог-протестант. Верн задумал издавать периодический сборник, по поводу чего консультировался с Руссо, который напрасно пытался его отговаривать. Разлад начался между ними в связи с полемикой вокруг «Эмиля». Верн как пастор обрушился на своего давнего друга в своих «Письмах и диалогах с Руссо о христианстве» (Женева, 1763) и «Ответах на несколько писем Ж.-Ж. Руссо» (Женева, 1763). Письмо переведено Жуковским полно и точно.

Письмо к нему же
(«Я пишу к тебе редко...»)
(С. 412)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 18. Л. 34 об. —35 — черновой.

При жизни Жуковского не печаталось.

Печатается по автографу.

Датируется: 1805 г. — начало 1806 г.

Источник перевода — Lettre à M. Vernes. Monmoranci, le 25 mai 1758 // Collection completes de Rousseau J.-J. Genève, 1782. V. 12. P. 218—219. Письмо продолжает темы предыдущего и переведено Жуковским так же полно и точно.

И. Айзикова

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Архивохранилища

ПД — Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (С.-Петербург).

РНБ — Российская Национальная библиотека (С.-Петербург), ф. 286 (В. А. Жуковский).

Печатные источники

АБТ — Архив братьев Тургеневых. СПб.: Изд. Отд. рус. яз. и словесности Рос. Академии наук, 1911—1921. Вып. I—VI.

Айзикова — *Айзикова И. А.* Жанрово-стилевая система прозы В. А. Жуковского. Томск, 2004.

Белинский — *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1953—1959.

БЖ — Библиотека В. А. Жуковского в Томске: В 3 ч. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1978—1988.

Бумаги Жуковского — *Бычков И. А.* Бумаги В. А. Жуковского, поступившие в Имп. Публичную библиотеку в 1884 г. // Отчет Имп. Публичной библиотеки за 1884 г. Приложение. СПб., 1887.

Вацуро — *Вацуро В. Э.* Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб., 1994.

ВЕ — Вестник Европы.

Вяземский — *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. Т. 1—12. СПб., 1878—1896.

Дневники — Дневники В. А. Жуковского / Примеч. И. А. Бычкова. СПб., 1903.

Ж. и русская культура — Жуковский и русская культура: Сб. науч. трудов. Л.: Наука, 1987.

Зейдлиц — *Зейдлиц К. К.* Жизнь и поэзия В. А. Жуковского. 1783—1852: По неизданным источникам и личным воспоминаниям. СПб., 1883.

Зонтаг — *Зонтаг А. П.* Воспоминания о первых годах детства В. А. Жуковского / Вступит. заметка П. Висковатого // Русская мысль. 1883. № 2. С. 266—285.

Иезуитова — *Иезуитова Р. В.* Жуковский и его время. Л.: Наука, 1989.

МТ — Московский Телеграф.

ОЗ — Отечественные записки.

Описание — Библиотека В. А. Жуковского: Описание / Сост. В. В. Лобанов. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1981.

ПЖТ — Письма В. А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. М., 1895.

ПМиЖ — Проблемы метода и жанра. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1979—1997. Вып. 6—19.

ПСС — Полн. собр. соч. В. А. Жуковского: В 12 т. / Под ред., с биографическим очерком и примеч. А. С. Архангельского. СПб., 1902.

РА — Русский архив.

Резанов — *Резанов В. И.* Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского. СПб.; Пг., 1906—1916. Вып. 1—2.

РЛ — Русская литература.

С 2 — Стихотворения Василия Жуковского: В 3 т. 2-е изд. СПб., 1818. Ч. 4: Опыты в прозе. М., 1818.

С 3 — Стихотворения Василия Жуковского: В 3 т. 3-е изд., испр. и умнож. СПб., 1824.

С 4 — Стихотворения Василия Жуковского: В 9 т. 4-е изд., испр. и умнож. СПб.: Изд-во А. Ф. Смирдина, 1835—1844.

С 5 — Стихотворения Василия Жуковского: В 13 т. 5-е изд., испр. и умнож. Т. I—XI. СПб., 1849. Т. X—XIII. СПб., 1857.

С 6 — Сочинения В. А. Жуковского / Под ред. К. С. Сербиновича. 6-е изд. СПб., 1869. Ч. 1—6.

С 7 — Сочинения В. А. Жуковского: В 6 т. / Под ред. П. А. Ефремова. 7-е изд., испр. и доп. СПб., 1878.

С 8 — Сочинения В. А. Жуковского: В 6 т. / Под ред. П. А. Ефремова. 8-е изд., испр. и доп. СПб., 1885.

С 10 — Сочинения в стихах и прозе В. А. Жуковского: В 1 т. / Под ред. П. А. Ефремова. 10-е изд., испр. и доп. СПб., 1901.

Семенко — *Семенко И. М.* Жизнь и поэзия Жуковского. М.: Худож. лит., 1975.

СС 1 — *Жуковский В. А.* Собр. соч.: В 4 т. / Вступит. ст. И. М. Семенко. М.; Л.: ГИХЛ, 1959—1960.

СС 2 — *Жуковский В. А.* Собр. соч.: В 3 т. / Сост., вступит. ст. и коммент. И. М. Семенко. М., 1980.

УЗ — Утренняя заря.

Ц.р. — Цензурное разрешение.

Эстетика и критика — *Жуковский В. А.* Эстетика и критика / Вступит. ст. Ф. З. Кануновой, А. С. Янушкевича; Подгот. текста, сост. и примеч. Ф. З. Кануновой, О. Б. Лебедевой, А. С. Янушкевича. М.: Искусство, 1985.

Янушкевич — *Янушкевич А. С.* Этапы и проблемы творческой эволюции В. А. Жуковского. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1985.

Eichstädt — *Eichstädt H.* Žukovskij als Uebersetzer. München, 1970. (Forum slavicum. Bd. 29).

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции	7
-----------------------	---

ПРОЗА 1797—1806 ГОДОВ

1797

Мысли при гробнице	23	433
------------------------------	----	-----

1798

Мир и война	25	435
Жизнь и источник	26	436
Речь на акте в Университетском благородном пансионе, 14 ноября 1798 г.	27	437

1799

Полные сочинения г. Леонарда, собранные и изданные Винцентом Кампеноном в 3 т. Париж, 1798	33	439
К надежде	40	442
Мысли на кладбище	41	443
Истинный герой	42	444

1800

Мальчик у ручья, или Постоянная любовь	43	445
--	----	-----

1801

Речи, произнесенные в Дружеском литературном обществе	210	459
〈О дружбе〉	210	461
О страстях	215	463
О счастье	217	465
Ильдегерда, норвежская королева. Героическая повесть	221	467
Вильгельм Тель, или Освобожденная Швейцария	296	470
Розальба. Сицилийская повесть	338	471

1803

Вадим Новгородский	346	473
Письмо французского путешественника	355	476

Из черновых и незавершенных рукописей

Чувства отца на гробе сына	359	479
Примеры слога, выбранные из лучших французских прозаических писателей и переведенные на русский язык Василием Жуковским	360	480
Избранные сочинения Жан-Жака Руссо. Перевод с французского. Том первый	392	519

ПРИЛОЖЕНИЯ

И. А. Айзикова. Проза В. А. Жуковского	415
Примечания к текстам	431
Условные сокращения	532

Научное издание

Василий Андреевич Жуковский
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В двадцати томах

Том 8
Проза 1797—1806 годов

Издатель А. Кошелев

Корректор Г. Эрли
Оригинал-макет подготовлен И. Богатыревой

Подписано в печать 26.09.2011. Формат 70×100^{1/16}.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная, гарнитура Баскервилл.
Усл. п. л. 43, 21. Тираж 800. Заказ № 5108.

Издательство «Языки славянских культур».
№ госрегистрации 1037789030641.
Phone: 959-52-60 E-mail: Lrc.phouse@gmail.com
Site: <http://www.lrc-press.ru>, <http://www.lrc-lib.ru>

Отпечатано в ОАО ордена «Знак Почета»
«Смоленская областная типография им. В. И. Смирнова».
214000, г. Смоленск, пр-т им. Ю. Гагарина, 2.

*

Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».
Тел./факс: (499) 255-77-57, тел.: (499) 246-05-48, e-mail: gnosis@pochta.ru
Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).
Адрес: Зубовский проезд, 2, стр. 1
(Метро «Парк Культуры»)

